

Российская академия наук
Институт языкознания

Образы языка и зигзаги дискурса

Сборник научных статей
к 70-летию

В.З. Демьянкова

Культурная революция
Москва 2018

Образы языка и зигзаги дискурса. Сборник научных статей к 70-летию В.З. Демьянкова / Отв.ред. В.В. Фещенко. Ред.колл.: И.В. Зыкова, О.В. Соколова, М.А. Тарасова. М.: Культурная революция, 2018. – 564 с.

ISBN 978-5-6040343-6-1

Ответственный редактор В.В. Фещенко

Редакционная коллегия: И.В. Зыкова (научный редактор), О.В. Соколова (научный редактор, ответственный секретарь), М.А. Тарасова (редактор-корректор).

Сборник статей посвящен широкому спектру интересов юбиляра – д.ф.н, проф. В.З. Демьянкова – в лингвистике и ее окрестностях: теории языка, философии языка, семиотике, метаязыку филологических наук, дискурс-анализу, лингвокреативности, когнитивистике, контрастивной лингвистике, лингвокультурологии, терминоведению, теории перевода, лингвистической поэтике. Издание в том числе содержит статьи, написанные по результатам проекта «Лингвистические технологии во взаимодействии гуманитарных наук», выполнявшегося с 2013 по 2018 гг. в Научно-образовательном центре теории и практики коммуникации имени академика Ю.С. Степанова при Институте языкознания РАН. Книга является продолжением и расширением коллективной монографии «Лингвистика и семиотика культурных трансферов», изданной в 2016 г. в серии «Трансферы», посвященной разработке лингвистической теории культурного трансфера на базе мировых практик межъязыкового и междискурсивного взаимодействия в современном гуманитарном познании.

Сборник подготовлен за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14–28-00130) в Институте языкознания РАН.

© Культурная революция, 2018

Содержание

	Валерий Закиевич Демьянков: жизнь в языке и лингвистике	7
13	раздел I Теория языка и метаязык филологических наук	
	В.М. Алпатов Парадигмы лингвистики XIX–XXI вв.....	14
	В.И. Постовалова О межпарадигмальных переходах в полипарадигмальном пространстве постижения лингвистической реальности (Диалектический мир А.Ф. Лосева) ...	35
	Н.А. Фатеева Филологические термины как понятия креативной поэтики.....	70
	И.В. Зыкова К проблеме конвертируемости терминов при построении метаязыка междисциплинарной науки.....	80
	В.В. Фещенко Философия – эстетика – лингвистика: к истории трехсторонних трансферов	99
	А.К. Киклевич Постмодернизм и современная филология.....	125
	А.В. Вдовиченко Порождение знака. О коммуникативной концепции семиозиса	143
155	раздел II Дискурсы и события	
	С.Т. Золян О языке в политической функции.....	156
	И.В. Силантьев Дискурсный статус высказывания.....	174
	А.А. Кибрик, О.В. Федорова О структуре мультиканального дискурса	180
	О.К. Ирисханова К вопросу об измерении динамики нарратива.....	192

Т.Б. Радбиль Коммуникативно-прагматические рефлексы культурной апроприации заимствований в дискурсе Рунета..... 216

О.В. Соколова Особенности референции в авангардном художественном дискурсе (итальянский, русский и американский авангард) 227

241 раздел III Когниция и интерпретация текста

О.Г. Ревзина Системная поэтика vs. когнитивная поэтика..... 242

Н.Н. Болдырев, С.Г. Виноградова Когнитивно-доминантный принцип формирования смысла сложного предложения..... 261

Н.В. Уфимцева, О.В. Балясникова Стратегии оперирования знаниями в условиях ассоциативного эксперимента 278

М.И. Киосе «Удачная интерпретация» текстовой образности в современных когнитивных концепциях..... 290

М.Л. Ковшова Эвфемизмы в пьесах А.Н. Островского и А.П. Чехова..... 316

К.Я. Сигал Сочинительная связь и повтор в речевом взаимодействии (на материале словоформ)..... 341

О.С. Орлова Тема рождения в русских народных загадках 362

372 раздел IV Культурный трансфер в разных языках

Т.Е. Янко Просодия: языковые контрасты и языковые контакты 373

С.Г. Проскурин, А.В. Проскурина Лингвосемиотические типы концептуализаций в языке и культуре 386

В.Я. Порхомовский, И.С. Рябова Антропоморфизмы в версиях Ветхого Завета на языке суахили: стратегии перевода 402

И.И. Чельшева О России и русских в истории итальянского языка 411

Н.С. Бабенко Терминологическая база немецкоязычной версии лингвистического жанроведения.....	421
К.Г. Красухин Типы морфем и их изменение	436
П.С. Дронов Идиомы с компонентами <i>земля, почва</i> : метафоры, культурные коннотации и употребление (на материале славянской, германской и кельтской фразеологии).....	453

472 раздел V Поэтика и лингвокультурные трансферы

Н.М. Азарова, С.Ю. Бочавер Типология поэтического билингвизма	473
Л.Л. Шестакова Поэтика иноязычных вкраплений в стихотворном тексте.....	485
Х. Шталь «Молитва об откровении великой тайны» Владимира Соловьева и софийная поэзия Якоба Бёме.....	499
И.А. Пильщиков Стиховедческая терминология русского формализма (фрагмент тезаурусного описания).....	522
О.И. Северская Поэтическая «живопись» как явление семиотического трансфера	537
Ю.А. Дрейзис Интерпретация чуской литературной традиции в современной китайской поэзии	547
М.А. Тарасова Текст и контекст: зачем одному стихотворению несколько переводов?.....	556

Валерий Закиевич Демьянков: жизнь в языке и лингвистике

Этот сборник посвящен 70-летию профессора, доктора филологических наук Валерия Закиевича Демьянкова. Он содержит научные статьи близких ему коллег, в том числе статьи, написанные по результатам проекта «Лингвистические технологии во взаимодействии гуманитарных наук», выполнявшегося с 2013 по 2018 гг. в Научно-образовательном центре теории и практики коммуникации имени академика Ю.С. Степанова при Институте языкознания РАН. Сборник является продолжением и расширением коллективной монографии «Лингвистика и семиотика культурных трансферов», изданной в 2016 г. указанным Центром, руководимым В.З. Демьянковым. Но его структура определяется в большей мере интересами нашего юбиляра. Первые три раздела отражают основные из них – от теории языка и метаязыка лингвистической науки к дискурс-анализу, когнитивной лингвистике и теории интерпретации. Последние два раздела посвящены тематике лингвокультурного трансфера знаний, что также является предметом текущих исследований юбиляра. Валерий Закиевич – ключевой участник указанного проекта о трансферах в языке и культуре, его идеями проникнуты многие работы нашего коллектива, и не только нашего. Лишь формат фештшрифта объясняет отсутствие в данном сборнике статьи самого Jubilar. Вместо нее мы помещаем заметку о нем самом, о его жизни в языке, лингвистике, науке вообще.

Валерий Закиевич Демьянков (далее позволим себе аббревиатуру, которой el homenajeado обычно подписывает письма – ВЗД) родился 1 ноября 1948 г. в Москве, в семье технической интеллигенции. Родители его были специалистами по прикладным наукам: отец преподавал в МАИ, мама работала на предприятии электронной промышленности. Неудивительно, что школа для обучения сына была выбрана математическая. Родители очень хотели, чтобы он занимался техникой. Школьник с успехами осваивал математику и другие естественные дисциплины, однако заветными интересами с самых ранних лет становились другие. Это были языки. Первый опыт языкового любопытства был получен в семейной среде русско-татарского билингвизма. Бабушка на-

учила читать арабский алфавит. В школьные годы был выучен испанский, затем французский, английский и арабский. Страсть к языкам с годами только обострялась. В детстве же возник неизбывный интерес к немецкому языку. Этот интерес подкреплялся самостоятельным изучением. Это признак чисто лингвистического ума: когда не обстоятельства толкают на занятия языком, а именно любопытство к языку как таковому. Уже ко времени поступления в университет ВЗД был полиглотом. Впрочем, выпускнику программистской матшколы с серебряной медалью была уготована отнюдь не филологическая стезя. Юноша любил математику, и математика любила его. Путь лежал к мехмату МГУ. И только чистая случайность – недобор всего одного балла на вступительных испытаниях из-за «гуманитарного» опоздания на экзамен на полчаса – не дала потерять нашей науке о языке такого замечательного ученого.

Путь в языкознание начался у ВЗД с поступления на отделение структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ. Его переманили туда на тот момент уже звезды математической лингвистики В.А. Успенский и А.А. Зализняк. Это была эпоха зарождающихся компьютеров нового поколения, соответствующих математических дисциплин, связанных с изучением форм языка. На отделении занимались в равной мере и математикой, и языками, что полностью соответствовало стремлениям ВЗД. Его преподавателями были выдающиеся лингвисты П.С. Кузнецов, В.А. Звегинцев, А.Е. Кибрик, Б.Ю. Городецкий, С.К. Шаумян, С.В. Кодзасов. Выпускная дипломная работа была выполнена в 1971 г. под руководством С.К. Шаумяна и называлась «Вставные предложения в русском языке». В ней уже применялся метод глубинной грамматики Н. Хомского, специалистом по которой ВЗД вскоре стал.

По окончании университета он был направлен по распределению на работу в лабораторию по обработке японской патентной документации (ЦНИИ патентной информации при комитете по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР) в должности инженера. Главной задачей было изучать японский язык и применять вычислительные методы к анализу юридических текстов. Одновременно с этим ВЗД был зачислен в заочную аспирантуру в Институт востоковедения АН СССР, чему приятным виновником был замечательный лингвист-востоковед В.М. Алпатов. Аспирантские занятия были связаны с социолингвистическим исследованием языков Нигерии. В частности, были подготовлены публикации по языку йоруба, который ВЗД с легкостью освоил. Спустя некоторое время, однако, место работы и про-

хождения аспирантуры изменилось. Теперь он стал сотрудником Лаборатории структурной типологии языков и лингвостатистики при МГУ, располагавшейся тогда на Моховой улице. Возглавлял лабораторию один из пионеров советской компьютерной лингвистики В.М. Андрищенко. Он же стал руководителем кандидатской диссертации ВЗД, тема которой значительно изменилась и звучала как «Процедура преобразования словосочетаний естественного языка на язык числовых индексов (применительно к построению информационно-поисковых систем экономических показателей)». Защищена она была по специальности «Прикладная лингвистика» в 1978 г.

Долгие годы ВЗД работал в лаборатории Андрищенко. В 1993 г. стал ее заведующим; к этому времени она имела название Лаборатория автоматизированных лексикографических систем при факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ. После защиты кандидатской журнал «Известия ОЛЯ АН СССР» заказал ему несколько публикаций-обзоров по американской лингвистике. К тому моменту он был уже серьезным специалистом по хомскианской трансформационной грамматике и метаязыку зарубежной лингвистики. В 1978 г. выпустил брошюру по материалам кандидатской «Метод построения системы автоматического лингвистического анализа наименований экономических показателей в ИПС, использующей естественный язык». А годом позже – первый том своего новаторского словаря «Англо-русские термины по прикладной лингвистике и автоматической переработке текста», включавший около 300 терминов порождающей грамматики. ВЗД поддерживал знакомство с зарубежными учеными, в частности с известным лингвистическим типологом Б. Комри, а также – по переписке – с Н. Хомским. По рекомендации последнего ВЗД вступил в Европейское общество генеративистов.

С начала 1980-х гг. ВЗД публикует работы по теории интерпретации. В 1982 г. выходит второй том словаря англо-русских терминов, посвященный методам анализа и интерпретации текста. За этим следует целый ряд монографических изданий: «Основы теории интерпретации и ее приложения в вычислительной лингвистике» (1985); «Специальные теории интерпретации в вычислительной лингвистике» (1988); «Интерпретация, понимание и лингвистические аспекты их моделирования на ЭВМ» (1989); «Морфологическая интерпретация текста и ее моделирование» (1994). Под его авторством публикуются статьи в энциклопедических изданиях «Лингвистический энциклопедический словарь», «Современная западная философия». Итогом занятий генеративной и интерпретативной лингвистикой стала защищенная в 1986 г.

в Институте языкознания АН СССР докторская диссертация «Общая теория интерпретации и ее приложение к критическому анализу метаязыка американской лингвистики 1970–80-х гг.».

В 1970-х гг. ВЗД познакомился (на военной кафедре МГУ) с будущим академиком Ю.С. Степановым, ставшим во многом его путеводной звездой на дальнейшем научном пути. С семинарами Юрия Сергеевича по передовой проблематике в языкознании и в теории языка связаны первые появления ВЗД в Институте языкознания. В общении с его сотрудниками завязывались не только крепкие дружеские связи, но и новые направления исследований. Появляются работы ВЗД по философии языка и лингвистической философии (в общении с Ю.С. Степановым), прагматике (с Т.В. Булыгиной), теории речевых актов (с Н.Д. Арутюновой), а также по дискурс-анализу, теории коммуникации и т.д. Для самого него все эти теории были предметом для наблюдения и рефлексии. Главное, считал и продолжает считать он, – понять, как, куда и зачем движется лингвистическая теория.

Отдельный эпизод научной деятельности ВЗД связан с когнитивным поворотом в языкознании, произошедшим в 1970–1980-е гг. в мировой науке. По запросу ИНИОН РАН в начале 1990-х им был подготовлен ряд обзоров по когнитивной лингвистике. В те же годы на базе ИЯз РАН был сформирован коллектив, который возглавила, по словам самого ВЗД, «ракета-носитель нашей когнитивной лингвистики» Е.С. Кубрякова. В результате работы ее команды в 1996 г. в свет вышел сегодня уже легендарный «Краткий словарь когнитивных терминов», значительная часть статей которого была написана ВЗД. В 1994 г. была опубликована программная его статья «Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода», индекс цитирования которой в настоящее время просто зашкаливает. ВЗД стал не только тонким и глубоким когнитивистом от языкознания, но и успешным популяризатором этой новой сверхпопулярной дисциплины. По его сегодняшнему мнению, вся современная лингвистика может быть названа когнитивной, так как не может пройти мимо проблемы познания (когниции), будь то обыденный язык, или метаязык самой лингвистики, или любой дискурс. Поэтому сейчас, по прошествии нескольких десятилетий после когнитивной революции, термин «когнитивный» стал скорее оценочным.

С 1988 г., после блестящей защиты докторской диссертации, ВЗД работает в Институте языкознания АН СССР (затем РАН) сначала ведущим, а позднее главным научным сотрудником Отдела теоретического языкознания, руководимого в те годы Ю.С. Степановым. Участвует в

семинарах Ю.С. Степанова по философии языка и Н.Д. Арутюновой по логическому анализу языка (а также в сборниках материалов этих мероприятий). Реализует крупный проект «Доминирующие лингвистические теории в конце XX века», результаты которого, в частности, вошли в известную коллективную монографию «Язык и наука конца 20 века» (1995) в виде обширной главы. В 2001 г. становится заведующим, а в 2004 – штатным сотрудником и руководителем Отдела теоретического и прикладного языкознания ИЯз РАН. С 2005 по 2017 гг. являлся заместителем директора Института. В сфере его научно-организационного руководства находились отделы теоретического и прикладного языкознания, кафедра иностранных языков, а также международные научные связи Института с Западной Европой и США. В 2012 г. после кончины Ю.С. Степанова ВЗД возглавил Научно-образовательный центр теории и практики современной коммуникации им. акад. Ю.С. Степанова. Являлся руководителем нескольких проектов, поддержанных научными фондами, под эгидой лингвосомиотической научной школы Ю.С. Степанова. При этом стиль руководства ВЗД всегда был таков, что подопечные не чувствовали начальствования. Сам он постоянно подчеркивает, что его роль в администрации – координаторская, и это ему прекрасно удается.

В первые десятилетия XXI в. у ВЗД возникают новые интересы, которые воплощаются в фундаментальных научных работах. Среди таких новых направлений: лингвистическая политология, язык СМИ, лингвopsихология, лингвистическая эстетика, языковые техники трансфера знаний. ВЗД проводит филигранный анализ дискурсов на границе обычного языка, языка науки и языка литературы (искусства). Его статьи о метаязыковых терминах и понятиях (концепт, текст, дискурс и т.п.) в различных функциональных узусах пестрят ярчайшими примерами и их не менее ярким комментарием-интерпретацией. Особенно яркой чертой научного и коммуникативного стиля ВЗД является юмор – языковой, межязыковой, метаязыковой. Язык и рефлексия над ним (подчас ироническая) – неизбывный первоочередной интерес ВЗД как ученого.

Отметим также весомый вклад ВЗД в образовательную деятельность. С 1988 г. он преподавал в МГПИ им. В.И. Ленина (затем МПГУ), по стечению обстоятельств – сначала на узбекском отделении по приглашению тогдашней его заведующей М.А. Теленковой. Позже он стал завкафедрой контрастивной лингвистики МПГУ и многие годы профессорствовал на ней. Впоследствии возглавлял кафедру западноевропейских языков факультета славянских и западноевропейских языков МПГУ. Когда окна в Европу открылись в 1990-е гг., ВЗД первым делом стал

навещать Германию, страну его любимого языка и любимой культуры. Студенты Мюнстерского и Трирского университетов были в восторге – и до сих пор в восторге – от его приглашенных лекций и от уровня его языковой и метаязыковой competence и performance. Наконец, стоит отметить участие ВЗД в солидном учебном пособии «Язык средств массовой информации», вышедшем под редакцией М.Н. Володиной первым изданием в 2008 г. и неоднократно переиздававшимся. В 2004 г. ВЗД был удостоен звания «Почётный работник высшего профессионального образования РФ».

Обширна и организационно-экспертная деятельность ВЗД. Он является главным редактором журнала «Социальные и гуманитарные науки. Языкознание» (ИНИОН РАН), а также входит в состав редколлегий журналов «Вопросы языкознания», «Вопросы когнитивной лингвистики», «Вопросы филологии», «Language and Dialogue». Занимает посты заместителя председателя экспертного совета ВАК по филологии и искусствоведению, председателя совета по международным и целевым конкурсам Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), члена советов по научным проектам (координатора секции социальных и гуманитарных наук) и по научным программам Российского научного фонда (РНФ), председателя президиума Российской ассоциации лингвистов-когнитологов, члена бюро Международной ассоциации анализа диалога (IADA). Постоянно участвует в подготовке и организации научных мероприятий.

ВЗД является автором более 400 научных трудов, будучи одним из самых цитируемых российских лингвистов. Поистине безгранична его языковая (он владеет более чем пятьюдесятью языками) и научно-лингвистическая эрудиция. Языки естественные, искусственные (в том числе языки программирования) и, можно сказать, сверхъестественные (имея в виду метаязыки наук) сосуществуют в его ментальном мире настолько органично, что трансфер знаний происходит здесь без каких-либо когнитивных барьеров и диссонансов. Все, кто знает нашего jubilaire, думается, согласится, что образы языка в видении В.З. Демьянкова существенно обогащают наше знание о жизни посредством языка, а зигзаги самых разных дискурсов в его интерпретации способны заморозить любое, как обыденно-повседневное, так и изощренно-интеллектуальное сознание. Этот Festschrift – свидетельство интеллектуального восторга перед идеями нашего festeggiato.

В.Ф.

раздел I Теория языка
и метаязык
филологических наук

В.М. Алпатов

Парадигмы лингвистики XIX–XXI вв.

Безусловно, количество лингвистических школ и направлений за последние два столетия стало очень велико. Тем не менее можно в истории лингвистики выделить некоторые более общие течения, характеризующиеся своим объектом изучения, своими методами, своими теоретическими подходами (последние не всегда формулировались эксплицитно). Сейчас часто говорят по этому поводу о научных парадигмах. Нередко представители разных парадигм работают независимо друг от друга и зачастую друг друга не понимают, а то и отказываются понимать. При этом переход от одной парадигмы к другой в языкознании (в отличие от естественных наук) не означает превращения старой парадигмы в чисто исторический объект: она продолжает существовать и развиваться, хотя ее место в общем развитии науки о языке может меняться.

Хотя во многих странах, включая европейские, изучение языка имеет длительную историю, но о лингвистике в современном смысле этого термина обычно говорят начиная с первых десятилетий XIX в., когда разными учеными были четко поставлены основные проблемы этой науки и был сформирован первый строгий лингвистический метод – сравнительно-исторический. До этого времени языкознание еще не было четко отделено от других наук, прежде всего, от философии и филологии.

Наука о языке XIX в. обычно либо целиком сводится к развитию сравнительно-исторической парадигмы (яркий пример – история языкознания В. Томсена [Томсен 1902/1938]), либо, что точнее, подразделяется на две парадигмы. Так, например, поступали при разной оценочности В. Матезиус и В.Н. Волошинов.

Одна парадигма, если о ней вообще идет речь, всегда связывается с именем В. фон Гумбольдта, целью которого «было стремление углубить общие принципы лингвистического исследования. Именно поэтому он мало интересовался историческим развитием языка, а сравнивал различные языки с чисто аналитической точки зрения, не обращая внимания на их генетическое родство» [Матезиус 1947/1960:

88–89]; см. также оценку «индивидуалистического субъективизма» у В.Н. Волошинова [Волошинов 1995: 14–15]. Это был философский подход к языку, никак не исключавший анализа фактов, но ставивший их в систему на основе заранее выработанных общих принципов. Дедукция преобладала над индукцией, теория – над методом. Продолжателями идей Гумбольдта были Х. Штейнталь, А.А. Потебня, позже К. Фосслер и его школа. Эта парадигма никогда не привлекала большое количество ученых, но всегда продолжала существовать.

Другая парадигма – сравнительно-историческая – начала разрабатываться Ф. Боппом и Р. Раском, затем ее суть сформулировал А. Шлейхер, а законченное выражение она нашла в школе младограмматиков. Как указывает В. Матезиус, с одной стороны, результаты деятельности младограмматиков «поражали богатством и точностью» [Матезиус 1947/1960: 87], но, с другой стороны, период этих успехов «характеризовался необычайным безразличием к вопросам общего языкознания» [Там же: 88]. Характерно, что при частом употреблении словосочетания «сравнительно-исторический метод» почти никогда не говорят о «сравнительно-исторической теории», хотя всякая научная парадигма опирается на некоторую теорию, пусть эксплицитно не формулированную. А сравнительно-историческая парадигма всё же имела эксплицитную формулировку, высказанную А. Шлейхером, она может быть пересказана в нескольких фразах. Прежде всего, это так называемая идея родословного древа: языки расходятся, но не сходятся, и можно на основе сравнения данных известных языков-потомков реконструировать фонетику неизвестного нам языка-предка (но в обратную сторону мы двигаться не можем без опоры на письменные памятники). Данная парадигма была эмпирической, основывалась на индукции и сильно сужала проблематику лингвистики, против чего с конца XIX в. стали выступать с разных позиций многие лингвисты от Х. Шухардта до И.А. Бодуэна де Куртенэ.

Но может быть выделена и третья парадигма, которую развивало большее число ученых, чем вторую и тем более первую. Она строго не отделялась от предыдущей, ей могли заниматься одни и те же ученые, она не находила отражения в теоретических рассуждениях, но имела особые задачи и методы. И в то время, когда вся научная лингвистика считалась исторической, нередко противопоставляли историю дописанных и письменных языков. Сравнительно-историческое языкознание (по крайней мере, начиная с А. Шлейхера) считало главной задачей реконструкцию очень древних, не имевших письменности языков, а зафиксированные в памятниках языки (как и современные

языки и диалекты) были лишь исходным материалом¹. А выявление истории языка письменного периода имело другие корни и основывалось на филологии – дисциплине, изучающей тексты, в том числе (а до XX в. почти исключительно) древние. Филология в Европе сформировалась в эпоху Возрождения. Здесь не ставилась задача сопоставления с родственными языками, хотя сопоставление с предыдущими и последующими этапами развития данного языка было необходимо. В противоположность компаративистам филологи могли двигаться не только от поздних состояний языка к ранним, но и в обратном направлении. У филологов не было эксплицитной теории, но была хорошо разработанная методика предложения конъектур, выявления ошибок писцов, сравнения разных списков и реконструкции протографа и многое другое.

Филологическая лингвистика отличалась по целям от собственно филологии. Как писал еще М. Мюллер, в филологии «язык употребляется только как средство», а в языкознании «язык сам по себе делается единственным предметом научного исследования» [цит. по Вельмезова 2014: 49]. Филолог рассматривает исторический контекст создания памятника, личность автора (известную или реконструируемую), тогда как лингвисту контекст неважен, а автор существен лишь в общих чертах, например, важно понять, на каком диалекте он говорил. Но скрупулезный анализ памятников позволял проследить историю языка со времен появления письменности; в эпоху младограмматиков речь шла, прежде всего, о выявлении того, какие звуки в какой исторический период переходили в какие звуки.

Филологическая лингвистика еще в большей степени, чем компаративистика, была эмпирической индуктивной дисциплиной. Если сравнительно-историческое языкознание имеет дело с непосредственно не наблюдаемыми сущностями, то здесь опирались на факты и только на факты, часто избегая любых обобщений. У них господствовало «преклонение перед “фактом”, понятым как что-то незыблемое и устойчивое» [Волошинов 1995: 218]. В период появления новых парадигм в первой половине XX в. именно лингвисты-филологи более всех выступали против них. А.И. Томсон в 1928 г.: «Об общих вопросах имеет право

¹ Так было на уровне постановки задач, а в исследовательской практике могли происходить подмены неизвестного известным, что хорошо видно в книге [Мейе 1903/1938]. Там для индоевропейских реконструкций не применяются ни праиталийские, ни праславянские реконструкции, и их место занимают известные по памятникам соответственно классическая латынь и старославянский язык.

рассуждать только тот, кто сам годами барахтался в разрешении частных вопросов и потому может говорить по опыту, не с чужих слов» [цит. по Робинсон 2004: 153]. Он же в 1934 г. называл деятельность Н. Трубецкого и других ученых новой парадигмы «слабосилием» тех, которые «не могут больше преодолевать подготовительной работы по изучению накопившихся данных по истории языков» [Там же: 175].

Все три парадигмы науки XIX в. продолжились и в следующем столетии, лишь изменив в той или иной мере свой статус. Лингвистика, опирающаяся на проблематику, поставленную В. фон Гумбольдтом, большую часть XX в. продолжалась в гумбольдтианстве и неогумбольдтианстве, а в нашей стране получила выражение у В.Н. Волошинова и М.М. Бахтина; ее своеобразным ответвлением стали работы Б. Уорфа¹, а сейчас она развивается в функционализме (см. ниже). Сравнительно-историческое языкознание в XIX в. по своему уровню как бы «забежало вперед» по сравнению с другими дисциплинами. В следующем столетии оно сохранило основные черты, сложившиеся ранее, лишь обогатившись новыми методами (внутренняя реконструкция, глоттохронология) и значительно расширив круг изучаемых семей и языков. Однако из центральной области науки о языке компаративистика превратилась в достаточно обособленную дисциплину, хотя и в XX в. бывали лингвисты, совмещавшие теоретические и компаративные исследования: Е. Курилович, Э. Бенвенист, В.В. Иванов. Сохранила традиции и методы и филологическая лингвистика, где наряду с продолжением традиции в чистом виде мы видим и стремление связать эту дисциплину с развитием науки в XX в. Тут значим пример А.А. Зализняка. Этот выдающийся ученый в расцвете сил почти исключительно начал заниматься филологической лингвистикой, разумеется, не снизив теоретичность своих работ, в частности, по берестяным грамотам. Он совмещал подготовительную работу по изучению накопившихся данных с постановкой и решением общих проблем.

Но всё-таки в лингвистике XX в. центральное место заняли новые парадигмы, исторически первой из которых была структурная парадигма, преобладавшая около полувека. Впервые, как это общепризнано, она нашла четкое выражение в «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюра, изданном посмертно в 1916 г. На идеях этой знаменитой книги я остаюсь подробнее, особенно отмечая те ее черты, которые были характерны для структурализма в целом, но подвергнуты сомнению в

¹ Неясно, насколько Уорф и его учитель Э. Сепир испытали влияние В. фон Гумбольдта; весьма вероятно вторичное открытие ими сходной проблематики.

других парадигмах. «Курс» будет цитироваться по второму русскому изданию [Соссюр 1916/1977].

В лингвистике, как и в других науках, бывали периоды расширения и сужения проблематики той или иной науки, укрепления и, наоборот, разрыва междисциплинарных связей. В эпоху младограмматизма, если отвлечься от обособленной лингвистики, следовавшей идеям Гумбольдта, преобладало сужение научных задач до реконструкции праформ и/или истории звуковых переходов. В то же время в начале XX в. реакцией на такое сужение стали попытки расширить эти задачи за счет изучения пограничных с другими науками проблем (школа «слов и вещей», лингвистическая география и др.).

По сравнению с предшественниками Соссюр одновременно и расширил, и сузил лингвистическую проблематику. Расширение шло за счет «реабилитации» лингвистики, не занимающейся языковой историей. Младограмматики полагали: «Как только исследователь переступает за пределы простой констатации единичных фактов, как только он делает попытку усвоить связь между явлениями и понять их, так сразу же начинается область истории» [Пауль 1880/1960: 43]. Не то у Соссюра: «Только отбросив прошлое, он [лингвист – В.А.] может проникнуть в сознание говорящих. Вторжение истории может только сбить его с толку» [Соссюр 1916/1977: 115]. «Лингвистика уделяла слишком большое место истории; теперь ей предстоит вернуться к статической точке зрения традиционной грамматики» [Там же: 115–116]. «Ясно, что синхронический аспект превалирует над диахроническим, так как для говорящих только он – подлинная и единственная реальность. Это же верно и для лингвиста: если он примет диахроническую перспективу, то увидит отнюдь не язык, а только ряд видоизменяющих его событий» [Там же: 123]. Соссюр указывал, что исконно лингвистика занималась именно синхронией; «например, так называемая грамматика Пор-Рояля пытается описать состояние французского языка в эпоху Людовика XIV и определить составляющие его значимости» [Там же: 115].

Ф. де Соссюр провозгласил путь к лингвистике, развиваемой без использования и даже, может быть, без знания сравнительно-исторического метода. Точнее, речь шла о возврате на высшем уровне к тому, что уже было (типичный пример движения по спирали). Этот пункт концепции Соссюра ввиду его непривычности вызвал больше всего несогласий. Но в начале XX в. нужно было размежеваться с прежними парадигмами. Методы синхронных исследований, к моменту публикации «Курса» мало развивавшиеся со времен грамматики Пор-Рояля, шагнули после этого вперед.

Но Соссюр одновременно и сужал области первоочередных исследований сразу в нескольких направлениях. Это видно уже в связи с разграничением языка и речи, не вызвавшим в отличие от разграничения синхронии и диахронии особого неприятия у лингвистов, если только они не отвергали научную парадигму в целом, как это было у В.Н. Волошинова. Соссюр полагал: *«Надо с самого начала встать на почву языка и считать его основанием для всех прочих проявлений речевой деятельности»* [Там же: 47]. А «если мы изучаем явления речевой деятельности одновременно с нескольких точек зрения, объект лингвистики выступает перед нами как груда разнородных, ничем между собою не связанных явлений. Поступая так, мы распахиваем двери перед целым рядом наук: психологией, антропологией, нормативной грамматикой, филологией и т.д., которые мы строго отграничиваем от лингвистики, но которые в результате методологической ошибки могут притязать на речевую деятельность как на один из своих объектов» [Там же]. Если язык «представляет собой целостность сам по себе» [Там же: 48], то речь (= речевой деятельности – язык) принципиально разнородна и не составляет единства [Там же]. И вывод: «Что касается прочих элементов речевой деятельности, то наука о языке вполне может обойтись без них» [Там же: 53]. Речь определяется лишь остаточно: речевая деятельность минус язык; дается лишь очень общая ее характеристика: «Речь – сумма всего того, что говорят люди»; в ней «нет ничего, кроме суммы частных случаев» [Там же: 57].

Далее говорится о «лингвистике языка» и «лингвистике речи». Та часть изучения речевой деятельности, которая имеет своим предметом язык, признается основной; а лингвистика речи прямо названа второстепенной [Там же]. Говорится о том, что «мы займемся исключительно» лингвистикой языка [Там же: 58]. Правда, в дошедших до нас планах двух курсов в конце имеется тема «Лингвистика речи». Однако в легших в основу издания «Курса» студенческих конспектах ничего об этом нет; очевидно, что Соссюр ни разу такую лекцию не прочел.

Далее Соссюр отделял разнообразный комплекс дисциплин, который он назвал внешней лингвистикой (вопрос о соотношении лингвистики речи и внешней лингвистики им не обсуждается). Он говорит: «Наше определение языка предполагает устранение из понятия “язык” всего того, что чуждо его организму, его системе, – одним словом, всего того, что известно под названием “внешней лингвистики”, хотя эта лингвистика и занимается очень важными предметами и хотя именно ее главным образом имеют в виду, когда приступают к изучению речевой деятельности» [Там же: 59]. К ней отнесены «все связи, которые

могут существовать между историей языка и историей расы и цивилизации», «отношения, существующие между языком и политической историей», вопросы литературного языка, вопросы географического распространения языков [Там же: 59–60]. Можно видеть, что сюда отнесены едва ли не все вопросы, к которым в период, предшествовавший появлению «Курса», обратились лингвисты, недовольные ограничениями, установленными младограмматиками. В современной номенклатуре лингвистических специальностей сюда попадают социолингвистика, стилистика, лингвокультурология, изучение картин мира и др. Внешнелингвистические явления без всяких оговорок названы внеязыковыми, и хотя их изучение признано «весьма плодотворным», но в отличие от лингвистики языка внешняя лингвистика «может нагромождать одну подробность на другую, не чувствуя себя стесненной тисками системы» [Там же: 60–61].

«Сама по себе чужда внутренней системе языка» и письменность: это лишь «техника, с помощью которой фиксируется язык» [Там же: 62]; значение письма в лингвистике именуется «незаслуженным» [Там же: 64]. Также второстепенен в проблеме речевой деятельности и «вопрос об органах речи» [Там же: 48]; функционирование этих органов само по себе не является семиологичным, поэтому должно рассматриваться «лишь во вторую очередь» [Там же: 55]. Если органы речи всё же занимают место в «Курсе», то необходимость знания лингвистом реалий им решительно отвергается [Там же: 60].

За пределы лингвистики языка выводится также всё, что связано с сознательными процессами: «воля и разум» приписываются только речи [Там же: 52]. «Язык – не деятельность говорящего. Язык – это готовый продукт, пассивно регистрируемый говорящим; он никогда не предполагает преднамеренности» [Там же]. Здесь можно предполагать скрытую полемику с В. фон Гумбольдтом, считавшим язык деятельностью; вопрос о пассивности и преднамеренности отличал взгляды Соссюра от взглядов И.А. Бодуэна де Куртенэ (точка зрения Соссюра исключала сознательное вмешательство в язык и какую-либо языковую политику, что впоследствии вызвало жесткую критику ученика Бодуэна Л.П. Якубинского [Якубинский 1931]). Любой закон в языке, по Соссюру, лишь «случайный и невольный результат эволюции» [Соссюр 1916/1977: 119].

Наконец, говоря о проблемах, которые теперь принято называть типологическими, Соссюр указывал: «Язык дает сравнительно мало точных и достоверных данных о нравах и институтах народа, который пользуется этим языком» [Там же: 264]. Он отрицал и «мнение, что язык отражает психологический склад народа», поскольку «языковые сред-

ства не обязательно определяются психическими причинами» [Там же]. По сути, Соссюр не считал возможным изучение того, что сейчас называют языковыми картинами мира. В итоге, отмечая, что типологические исследования «не лишены интереса», он пришел к выводу о том, что отсюда «нельзя делать каких-либо заключений о том, что лежит за пределами языка как такового» [Там же: 265].

Издание «Курса» завершается знаменитой фразой: *«Единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в себе и для себя»* [Там же: 269]. Происхождение этой фразы, не зафиксированной в дошедших до нас конспектах, загадочно; существует гипотеза о том, что она придумана издателями курса Ш. Балли и А. Сеше и не соответствует идеям Соссюра [Холодович 1977: 19]. Однако нельзя сказать, что собственные работы Балли и особенно Сеше больше соответствуют данной формулировке, чем «Курс», а фраза могла быть записью высказывания Соссюра в беседе.

Впрочем, именно Ш. Балли принадлежит формулировка, может быть наиболее четко выражающая суть подхода Соссюра и его последователей. В книге 1913 г. он писал: чтобы у исследователя «появился некоторый шанс уловить реальное состояние языковой системы», «он не должен иметь ни малейшего представления о прошлом этого языка, он должен полностью игнорировать связь языка с культурой и обществом, в котором этот язык функционирует, чтобы все внимание исследователя было сосредоточено на взаимодействии языковых символов» [Балли 1913/2003: 39]. Таков был идеал структурализма, который, конечно, было легче достичь для изучавшихся дескриптивистами индейских языков, чем для французского языка, о котором шла речь у Ш. Балли.

В одной из недавних российских работ говорится: «Ф. де Соссюр (скорее даже его последователи) изменил предмет исследований, причем сделано это было замечательным образом – простым проведением границ: вот – синхрония, а вот – диахрония; это – язык, а это – речь» [Рахилина 2000: 343]. Границы всё же провел сам Соссюр, но его последователи обустроили эти границы. В структурной лингвистике (правда, с неодинаковой степенью последовательности: по-разному очень строго у глоссематиков и дескриптивистов, менее жестко у пражцев, см. ниже) был выделен круг первоочередных задач: синхронное изучение языка. Остальные проблемы делились на относящиеся к лингвистике, но второстепенные (диахрония, фонетика) и на то, чем лингвисты не должны заниматься, вроде нравов и институтов народа, который пользуется языком.

Некоторые положения «Курса» вызывали критику среди структуралистов, например несистемность диахронии; отмечали также отсутствие у него четкого понятия фонемы. Однако большинство из того, что было перечислено выше, стало существенным для структуралистов разных направлений. Для примера я рассмотрю отделенные от Соссюра более чем полувеком очень влиятельные в советской лингвистике 1960–1970-х гг. идеи И.А. Мельчука, наиболее обстоятельно изложенные в книге [Мельчук 1974].

К этому времени мировой структурализм уже прошел длительный период развития. На И.А. Мельчука влияние оказала не столько концепция самого Соссюра, разумеется ему известная, сколько ее дальнейшие модификации, прежде всего, у Р. Якобсона. Этот ученый выделял в языке два аспекта, соответствующие двум ролям в акте речевой коммуникации: роль говорящего (кодирующего) и слушающего (декодирующего). «Для говорящего значение является чем-то первичным. Говорящий идет *de verbo ad vocem* [от идеи к слову], а слушающий – в обратном направлении» [Якобсон 1959/1965: 401]. Учитывал до определенной степени И.А. Мельчук и идеи генеративизма. Наряду с этим на него влиял и процесс, начавшийся в мировой лингвистике уже после Соссюра и его непосредственных последователей: математизация науки о языке, построение формальных моделей (проводившееся не только в генеративизме).

Для И.А. Мельчука *«естественный язык – это особого рода преобразователь, выполняющий переработку заданных смыслов в соответствующие им тексты и заданных текстов в соответствующие им смыслы»* [Мельчук 1974: 9]. «Описать конкретный язык (или его фрагмент) значит построить для него (для его фрагмента) модель типа «Смысл ↔ Текст» [Там же: 5]. Модель для конкретного языка – «сложно организованная совокупность правил», их *«чисто механическое применение»* (курсив мой – В.А.) «должно в идеале обеспечивать» оба данных перехода [Там же]. «Модель «Смысл ↔ Текст» должна быть задана *совершенно формально* – посредством однозначных и логически последовательных формулировок, не требующих привлечения какой-либо добавочной информации. В качестве контрольного критерия выдвигается принципиальная осуществимость модели или любого ее фрагмента на вычислительной машине» [Там же: 20]. Формализация должна охватывать и формальную, и семантическую сторону языка. «Модель «Смысл ↔ Текст» есть *не порождающее, а преобразующее устройство»* [Там же: 21]. Двумя задачами, которые должны быть решены в модели, И.А. Мельчук считал «переход от данного текста на рассматриваемом языке к фор-

мальному описанию смысла этого текста» и «переход от данного смысла <...> к тексту (на рассматриваемом языке), несущему этот смысл» [Там же: 5].

Однако приходилось признавать, что построение полной модели для какого-либо конкретного языка пока невозможно, «по крайней мере, для автора этих строк» [Там же]. Одна из главных причин состоит в том, что «состояние соответствующих разделов [семантики и синтаксиса] нашей науки таково, что во многих случаях оно не позволяет опереться на имеющиеся результаты; возводить же весь необходимый фундамент самостоятельно – дело явно безнадежное» [Там же: 6–7]. «Мы отметим следующий (впрочем, общеизвестный) факт: семантика – наименее разработанная область лингвистики. В самом деле, главные успехи лингвистики до 50-х гг. XX в., как сравнительно-исторической, так и описательной, относятся прежде всего к фонологии, в меньшей степени – к морфологии и в еще меньшей степени – к синтаксису; при этом в морфологии и в синтаксисе изучалась в основном чисто формальная сторона – правила комбинирования означающих» [Там же: 53].

В целом И.А. Мельчук исходил из естественнонаучного взгляда на объект исследования, однако не избегал антропоцентризма. По крайней мере, в одном месте И.А. Мельчук прямо обращался к интуиции носителя языка (что, как известно, делал и Н. Хомский): «С формальной точки зрения понятие равнозначности является у нас неопределяемым. <...> Понятие равнозначности текстов принимается как интуитивно очевидное» [Там же: 10]. Как это совмещалось с «совершенно формальным» заданием модели? Но машинный подход к языку оставался определяющим.

Вводились ограничения, хотя и несколько иные, чем у Соссюра, но имевшие с ним сходство. «Поскольку лингвист как таковой не занимается и – по крайней мере в настоящее время – не должен заниматься нейрофизиологическим (нейрофизическим, нейрохимическим и т.п.) исследованием того, что в точности происходит в мозгу при говорении или понимании, постольку язык-преобразователь выступает для лингвистики в роли широко известного «черного ящика» [Там же: 13]. «Язык моделируется сугубо функционально, без попыток связать нашу модель с психологической (нейрофизиологической и т.п.) реальностью речевого поведения» [Там же: 27]. «Язык моделируется только в плане преобразования «Смысл ↔ Текст» без учета других функций языка и его исторических, социальных и т.п. связей» [Там же]. Некоторые ограничения в 1974 г. уже не требовали особых объяснений, например, строго синхронный подход. Всё это при некоторых модификациях стало

развитием пути, который впервые был четко обозначен Ф. де Соссюром. Лингвистика представлялась как замкнутая в себе наука (что не означало отказа от ее прикладных использований), жестко отграниченная от других наук о человеке.

В целом модель «Смысл ↔ Текст» выразила представления своего времени, согласно которым язык должен изучаться на основе естественнонаучных принципов с широким применением математики. Советские структуралисты тех лет стремились сделать лингвистику точной наукой на основе математических методов и вывести ее из сферы гуманитарных дисциплин. Считалось, что создание формальных моделей, «принципиально осуществимых на вычислительной машине», – дело близкого будущего. А тем, что происходит в процессе речи «на самом деле», занимались либо лингвисты, специализировавшиеся в дисциплинах, тогда казавшихся маргинальными (экспериментальная фонетика), либо ученые, чья деятельность проходила вне тогдашних рамок лингвистики (например, А.Р. Лурия и его ученики в психологии). Впрочем, показательна оговорка: «по крайней мере в настоящее время».

Однако к 1974 г. структурная парадигма уже не была господствующей в мировой науке. Часто, особенно в США, считается, что современная наука о языке начинается с 1957 г., когда Н. Хомский издал первую свою новаторскую книгу [Хомский 1957/1965]. У нас это новаторство не сразу оценили, что отразилось в первой рецензии на «Синтаксические структуры» [Падучева 1959], где значение работы сводилось к попытке применить дескриптивные методы к синтаксису. Однако Хомский, начиная с этой книги, резко противопоставил свои идеи структурализму¹.

Хомский непосредственно полемизировал с американскими структуралистами – дескриптивистами, в том числе отказываясь от сосредоточения на процедурах описания языка: его интересовала общая теория. Однако теорию стремились строить и в европейском структурализме, например, Л. Ельмслев. У Хомского же эта теория и строилась по-иному. Уже в «Синтаксических структурах», где грамматика языка *L* понималась как «своего рода механизм, порождающий все грамматически правильные последовательности *L* и не порождающий ни одной грамматически неправильной» [Хомский 1957/1965: 453], под «грамматически правильными предложениями» понимаются предложения, «приемлемые для природного носителя данного языка» [Там же]. И так,

¹ Я не рассматриваю разные модификации концепции Хомского и учитываю, прежде всего, его работы 1950–1960-х гг.

задачей лингвистики была не процедура открытия языковых регулярностей, а моделирование деятельности носителя языка, под которым, по сути, понимается сам лингвист. Хомский считал важным использование интуиции и интроспекции, которые изгонялись структуралистами из науки. Если у И.А. Мельчука обращение к интуиции при рассмотрении равнозначности было скорее вынужденным и противоречило общему подходу, то для Хомского оно имело принципиальный характер. Показательно, что Хомский, активно внедряя в лингвистику сложный математический аппарат, не заявлял о том, что критерий правильности модели – реализуемость на машине.

Для Хомского «грамматика отражает поведение носителя языка, который на базе своего конечного и случайного языкового опыта в состоянии произвести и понять бесконечное число новых предложений» [Там же: 455]. Если у структуралистов с разной степенью последовательности «опыт носителя языка» изгонялся из лингвистики, то здесь была поставлена задача его учета при построении модели.

В 1960-е гг. Хомский значительно развил свою теорию: «Задачей лингвиста, как и ребенка, овладевающего языком, является выявить из данных употребления лежащую в их основе систему правил, которой овладел говорящий-слушающий и которую он использует в реальном употреблении» [Хомский 1965/1972: 10]. Само по себе выявление «системы правил» из «данных употребления» производилось и в структурализме, но Хомский, не отрицая такого сходства, подчеркивал различие между структуралистской системой правил (образующей язык в смысле Соссюра) и системой правил в его теории (именуемой компетенцией). Язык, по Соссюру, «только систематический инвентарь единиц» [Там же: 10] (точнее, единиц и отношений между ними). Компетенция же динамична и представляет собой «систему порождающих процессов» [Там же]. Основанная Хомским генеративная (порождающая) парадигма «является менталистской, так как она занимается обнаружением психической реальности, лежащей в основе реального поведения» [Там же]¹. Ученый отвергал «воинственный антипсихологизм», свойственный структурализму [Хомский 1968/1972: 84]. Новая парадигма опиралась на традиционный лингвистический антропоцентризм, связанный с разъяснением языковой интуиции, однако он дополнял ее формальным, заимствованным из математики аппаратом, позво-

¹ Термин *ментализм* был, начиная с Л. Блумфилда, уничижительным в американском структурализме, последовательно отвлекавшемся от «психической реальности».

ляющим выявить строгие синтаксические правила. Синтаксис, согласно всем вариантам теории Хомского, является центральной областью лингвистики; к нему как нечто дополнительное примыкают с одной стороны семантика, с другой стороны фонетика.

Концепции Соссюра, прямо названной «убогой и совершенно неадекватной» [Там же: 32], Хомский противопоставил идеи «Грамматики Пор-Рояля» и других исследований XVI-XVIII вв. и теорию В. фон Гумбольдта, которая не принималась в структурализме¹. Вряд ли интерпретация Гумбольдта у Хомского может считаться адекватной. Однако американский ученый использовал идею великого предшественника о творческом характере языка, благодаря которому «говорящий использует бесконечным образом конечные средства» [Там же: 28].

Таким образом, Хомский поставил игнорировавшуюся в структурализме проблему владения человека языком. В то же время в какой-то степени наследием структурализма в генеративной парадигме можно считать понимание языка как системы правил, хотя эти правила отличались от тех, что были в структурной лингвистике. От структурализма унаследовано и стремление к формализации, к построению строго формальных моделей. Ограничения на границы лингвистического исследования, очень значительные в структурной парадигме, в генеративизме отчасти снимаются. Вновь поставлены вопросы о связи языка и мышления, допускаются интроспекция и учет языковой интуиции, снова устанавливаются связи лингвистики со смежными науками, прежде всего, с психологией. В то же время владеющий языковой компетенцией человек у Хомского обособлен и от других людей, с которыми он общается, и от условий, в которых он находится. Вопросы такого рода отнесены к сфере употребления (*performances*), исключенной из актуальных областей исследования, как и речь у Соссюра. Показательно, например, игнорирование им социолингвистики, которая, по его мнению, полезна для образовательных программ, но банальна с теоретической точки зрения [Edwards 1994: x].

Генеративная лингвистика стала господствующим направлением в США и ряде других стран (но не в СССР и не в современной России). Она и сейчас является главным направлением так называемой формальной лингвистики, представители которой, даже если в чём-то не

¹ Даже представитель далеко не крайней по взглядам Пражской школы В. Матезиус единственной заслугой Гумбольдта считал идею о сравнении языков без учета их родства, а концепцию, подхваченную Хомским, не признавал как связанную с «психологической точкой зрения» [Матезиус 1947/1960: 89]

следуют за Хомским, то объединяются на основе некоторых общих принципов. Помимо того, что они используют сложный математический аппарат, они «единодушны, по крайней мере, в одном: в основе языка лежит некоторая формальная система, представленная определенными правилами. Они также полагают, что одна из главных задач лингвистики – возможно, самая главная – понять природу данной системы и открыть законы, порождающие её» [Чейф 2015: 60]. В принципе подобные представления были у структуралистов, если не в реальной практике, то на уровне теоретических формулировок: они, начиная с Соссюра, также говорили о лежащей в основе языка системе, представленной правилами, пусть не называли ее формальной. Реально, однако, они не охватывали всю систему и ограничивались анализом фонологии и морфологии. А в формальной лингвистике еще одним общим пунктом является представление о центральной роли синтаксиса в устройстве языка, от которого зависят семантика и фонология [Там же: 66–67].

Однако в современной лингвистике обозначилась и другая парадигма, чаще всего именуемая функциональной; в России она сейчас наиболее заметна. Представители этой парадигмы подчеркивают, что Н. Хомский и его последователи к ней не относятся [Кибрик 2015: 31]. Её американский представитель считает, что «в очень упрощённом виде современную лингвистику можно представить как состоящую из двух основных лагерей, часто обозначаемых как “формализм” и “функционализм”» [Чейф 2015: 60]. Сейчас на экзаменах в вузах по лингвистическим специальностям иногда в билетах отдельно включают вопрос по формальной лингвистике и вопрос по функциональной. Представители этих направлений часто не понимают друг друга и работают независимо друг от друга, в том числе и потому, что уровень математизации в функциональной лингвистике много ниже, чем в формальной парадигме.

Как и в случае других парадигм, идеи функциональной лингвистики имели своих предшественников. Особенно значимы здесь идеи, которые еще в 1920–1930-е гг. высказывал в США Э. Сепир. Один из виднейших российских лингвистов-функционалистов¹ Александр Евгеньевич Кибрик (1939–2012) говорил в 2009 г. (устное высказывание, в том числе на лекциях для студентов): «Соссюр уже отзвучал, а вот Сепир по-прежнему актуален». А.Е. Кибрик указывал, что для Сепира «язык является не самодовлеющим, а *вспомогательным* инструментом, обе-

¹ В работах 1960–1970-х гг. он находился в русле идей И.А. Мельчука, но уже к началу 1980-х гг. пришел к функционализму.

спечивающим мыслительную деятельность», и он исходил из «неразрывного единства языка и мышления» [Кибрик 2015: 30]. Проблема «язык и мышление» была очень популярна в языкознании XIX в. особенно в парадигме В. фон Гумбольдта, но Ф. де Соссюр фактически снял ее с повестки дня. В последующие десятилетия Э. Сепир был одним из немногих, кто не забывал о ней.

Лингвистика XIX в., исключая гумбольдтовское направление, была сосредоточена на проблеме «Как изменяется язык?». Ф. де Соссюр и его последователи вернулись на более высоком уровне к исторически первичному (изучавшемуся уже в античности) вопросу «Как устроен язык?». Однако самая важная и самая сложная задача изучения функционирования языка, несмотря на отдельные пионерские идеи В. фон Гумбольдта и др., изучалась мало, а Ф. де Соссюр теоретически обосновал отказ от ее рассмотрения: всё функционирование языка у него относилось к игнорируемой сфере речи.

Впрочем, и внутри структурной парадигмы вопрос «Как функционирует язык?» иногда поднимался. Прежде всего, здесь надо упомянуть Пражский кружок, который уже в первом программном тексте – «Тезисах Пражского лингвистического кружка» (1929) – поднял проблему функционального подхода к языку: «К лингвистическому анализу нужно подходить с функциональной точки зрения. С этой точки зрения язык есть система средств выражения, служащая какой-то определенной цели» [Тезисы 1929/1960: 69]. Среди функций языка пражцы, как и ряд других лингвистов, прежде всего, выделяли коммуникативную функцию, функцию общения людей.

Э. Сепир несколькими годами позже выступил с более детальной классификацией функций языка. Среди них он, разумеется, выделял и коммуникативную, но на первое место он поставил другую функцию, названную им символической. Она обеспечивает «символизацию опыта»: «Язык воспринимается как совершенная символическая система, использующая абсолютно однородные средства для обозначения любых объектов и передачи любых значений, на которые способна данная культура. <...> Изначально язык является звуковой реализацией тенденции рассматривать явления действительности символически. <...> Нередко трудно провести четкое разграничение между объективной реальностью и нашими языковыми символами, отсылающими к ней; вещи, качества и события вообще воспринимаются так, как они называются» [Сепир 1933/1960: 185–186]. То есть наши представления о мире закрепляются с помощью языка. Сейчас эту функцию обычно называют когнитивной, то есть познавательной.

Впрочем, функционалисты сейчас нередко когнитивную науку понимают (вопреки даже этимологии термина) максимально широко, включая в нее и изучение коммуникативных процессов. Тем самым «когнитивная лингвистика» становится синонимом функциональной лингвистики вообще; см., например, [Кибрик, Кошелев 2015: 22]. Но всё же две функции, уже давно выделяемые в лингвистике, различны по своей природе, хотя и тесно связаны между собой: человек, по выражению М.М. Бахтина, «не Адам» и познаёт мир не только через концептуализацию личного опыта, но еще в большей степени через языковое общение с другими людьми.

У. Чейф выделяет области науки о языке, связанные с функциональной парадигмой. Это когнитивная лингвистика, антропологическая лингвистика, социолингвистика, психолингвистика, прагматика, дискурсивные исследования, корпусная лингвистика, документирование языков [Чейф 2015: 60–61]. Список, конечно, неполный. Разумеется, не все они жестко связаны с данной парадигмой, например, психолингвистика активно развивается и в рамках генеративизма. Но именно функциональный подход дал толчок для их развития, это относится и к типологии и семантике.

Многие существенные черты данной парадигмы были выделены в статье А.Е. Кибрика «Лингвистические постулаты», впервые опубликованной еще в 1983 г. (далее речь будет идти о ее переработанном варианте 1992 г.). Когда ее автор впервые выступил с вышеуказанными постулатами, его точка зрения не была принята рядом его коллег. Однако уже к этому времени советская наука о языке стала развиваться именно в эту сторону, что не всем хотелось признавать, хотя, разумеется, развивался и структурализм.

Вот наиболее важные постулаты. «Адекватная модель языка должна объяснять, как он устроен “на самом деле”» [Кибрик 1992: 19]. «Всё, что имеет отношение к существованию и функционированию языка, входит в компетенцию лингвистики» [Там же: 20]. «Как содержательные, так и формальные свойства синтаксиса в значительной степени предопределены семантическим уровнем» [Там же: 21]. «Исходными объектами лингвистического описания следует считать значения» [Там же: 24]. «Устройство грамматической формы отражает тем или иным образом суть смысла» [Там же: 25]. В большинстве, как пишет сам А.Е. Кибрик, эти постулаты и до того высказывались в нашей науке. Однако их значимость возросла именно в это время.

Можно видеть, что перечисленные постулаты полемичны по отношению либо к структурализму, либо к генеративизму, либо к тому

и другому. О первом из постулатов А.Е. Кибрик писал: «Что такое “язык на самом деле”? Это совокупность тех знаний, которыми располагает человек, осуществляя языковую деятельность на соответствующем языке. В отличие от метода “черного ящика” “естественное” моделирование языка должно осуществляться с учетом того, как человек реально пользуется языком, то есть как он овладевает языком, как хранит в своей памяти знания о языке, как использует эти знания в процессе говорения, слушания, познавательной деятельности, и т.д. <...> Предполагается, что различные по своему устройству объекты такого класса сложности, к которому относится естественный язык, не могут иметь идентичных “входов” и “выходов”. Конечно, далеко не все из перечисленных здесь процессов сейчас могут изучаться непосредственно, о многом мы можем судить лишь по косвенным данным, а во многих случаях пока что можно лишь высказывать более или менее правдоподобные гипотезы. Но стремление к указанной в вышеприведенной цитате адекватности очень важно, а оно заставляет расширять границы науки о языке и сближать ее с другими науками о человеке» [Там же: 19–20]. В различных направлениях структурализма эксплицитно или имплицитно исходили из метода «черного ящика», а то, что происходит у людей «на самом деле» в сфере, связанной с языком, традиционно изучала лишь одна довольно обособленная от остальных лингвистическая дисциплина: экспериментальная фонетика. Остальным если занимались, то психологи или физиологи. И.А. Мельчук прямо отказывался обращаться к данной тематике.

Следующий постулат относится к границам науки о языке. Все прочие лингвистические парадигмы по-разному устанавливали рамки для нее. Вот лишь один пример: Л. Блумфилд в полемике с представителем гумбольдтовского направления Л. Шпитцером писал, что обращение к «разуму», «сознанию», «понятию» «не приносит пользы, а, наоборот, приносит много вреда лингвистике, как и всякой другой науке» [цит. по Винокур 1957: 62]. А советский лингвист Г.О. Винокур, принадлежавший к иной, чем Блумфилд, школе структурализма, комментируя этот спор, согласился с Блумфилдом, посчитав, что Шпитцер «в своих стилистических штудиях <...> вообще не есть лингвист» [Винокур 1957: 62]. Теперь же провозглашалось иное: «То, что считается “не лингвистической” на одном этапе, включается в нее на следующем» [Кибрик 1983/1992: 20]. Нет ничего, что сознательно бы откладывалось «на потом», никакие границы заранее не устанавливаются. Как пишут уже в работе самого последнего времени, «проблематика когнитивной лингвистики понимается максимально широко, включая любые вопросы взаимо-

действия языка, ума и мозга человека» [Кибрик, Кошелев 2015: 22]. А еще недавно считалось, что взаимодействие языка и мозга, конечно, важная проблема, но она не относится к лингвистике, а об уме серьезным ученым говорить не следует.

Следующие постулаты А.Е. Кибрика были направлены против генеративной лингвистики, считающей строение языка независимым от его использования и подчиняющей семантику синтаксису; и в модели «Смысл ↔ Текст» не было приоритета семантики: она ставилась в один ряд с синтаксисом. Для автора постулатов иерархия иная: «Можно было бы, нарочито утрируя, сказать прямо противоположное: в лингвистике ничего (или почти ничего) нет, кроме проблемы значения» [Кибрик 1983/1992: 20]. Особо подчеркивается, что грамматическое описание не должно быть строго формальным, необходимо искать, как «устройство грамматической формы отражает суть смысла».

А.Е. Кибрик в публикациях того времени иначе, чем было принято прежде, высказался по поводу формальных методов. Хотя «развитие содержательно обоснованного формального аппарата лингвистики – необратимый и прогрессивный процесс», использование формального аппарата, в том числе для описания конкретных языков, «должно быть очень осторожным и осмотрительным». И вообще, хотя формализация «организует и дисциплинирует» мышление исследователя, «всякое хорошее формальное описание может быть изложено и неформально» [Кибрик 1985/1992: 42–43]. Задача «осуществимости на вычислительной машине» и «механического применения» вообще в функциональной лингвистике не ставится. «Далеко не все языковые явления поддаются описанию с помощью правил-предписаний. <...> Все это заставляет усомниться в универсальности алгоритмического способа мышления и строить деятельностьную модель на принципе *неполной детерминированности*» [Кибрик 1989/1992: 33]. Явно полемично и высказывание в конце статьи о постулатах: «Сложны лингвистические представления о языке, а язык устроен просто» [Кибрик 1983/1992: 25]. То есть формализация и математизация из сути развития лингвистики превратилась в полезный, но ограниченный по значению рабочий инструмент.

«В основе современного когнитивного подхода к языку лежит идея целенаправленной реконструкции когнитивных структур по данным внешней языковой формы. Реконструкция опирается на *постулат об исходной мотивированности языковой формы*: в той мере, в какой языковая форма мотивирована, она «отражает» стоящую за ней когнитивную структуру» [Кибрик 2015: 32]. Это отражение, разумеется, не идентично исходной структуре, но варьирование исходной формы ограничено.

Отказываясь от ограничений, налагавшихся структурализмом и генеративизмом (в том числе и от постулата о жестком разграничении синхронии и диахронии), функциональная лингвистика иногда обнаруживает сходство с парадигмой, шедшей от Гумбольдта. Вот лишь один пример. В наши дни пишут, что две стороны объекта лингвистики, выделявшиеся в парадигмах XX в.: язык – речь, компетенция – употребление – могут быть сопоставлены с объектами анатомии и физиологии [Кибрик, Кошелев 2015: 22]. Однако последователь Гумбольдта К. Фосслер (идеям которого следовал его вышеупомянутый ученик Л. Шпитцер) еще в 1904 г. писал, что в господствующих направлениях лингвистики «язык изучают не в процессе его становления, а в его состоянии. Его рассматривают как нечто данное и завершенное, т.е. позитивистски. Над ним производят анатомическую операцию. Живая речь разлагается на предложения, члены предложения, слова, слоги и звуки», тогда как «единство организма заключается не в членах и суставах, а в его душе, в его назначении <...> или как это там ни назови» [Фосслер 1904/1964: 327–328]. То есть место привычной лингвистики, изучающей устройство языка, там и там сопоставляется с местом анатомии среди наук о человеке: она полезна, но суть не в ней, а в «назначении», то есть в функциях.

Тематика исследований языка в функциональной лингвистике, безусловно, расширилась. Среди областей лингвистики, наиболее активно развивавшихся и развивающихся в СССР в последние его годы, а затем в России, особо следует выделить типологию и семантику. Типология, основанная В. фон Гумбольдтом и близкими к нему по духу учеными, не играла существенной роли в структурализме, за исключением как раз тех направлений, которые были ближе всего к функциональному подходу: Пражская школа, Э. Сепир (который вообще выходил за рамки структурализма). Генеративизм интересуется, прежде всего, общими свойствами языка. А функционализм активно развивает типологические исследования, стремясь сделать их объяснительными. Семантика ввиду ее особой сложности всегда была отсталой областью лингвистики, выше приводились слова И.А. Мельчука, здесь выражавшего общепринятую точку зрения. Структуралисты обычно ограничивались фонологией и морфологией (да и строгий метод компаративистики относился к фонетике), генеративисты перенесли центр внимания на синтаксис, и лишь функционализм сосредоточен на семантических исследованиях.

В то же время при значительном расширении тематики и установлении всё новых связей со многими науками о человеке возникают и новые проблемы. По сравнению не только с формальной, но и со струк-

турной лингвистикой (а также и с компаративной, и филологической) снизился уровень научной строгости (это не относится к экспериментальным и прикладным исследованиям). Не только не имеется в виду математизация лингвистики, но и не ставится задача выработки сколько-нибудь строгого метода (ситуация, в чем-то противоположная 1950–1970-м гг., когда считали, что полная математизация – дело близкого будущего). И расширение рамок науки, конечно, позитивный процесс, но не может же лингвистика покрыть всю гуманитарную проблематику. А склонность к экспансии такого рода заметна. Данная парадигма находится еще в стадии формирования, и окончательно ее место в развитии языкознания еще предстоит понять.

Литература

- Балли Ш.* Язык и жизнь [1913]. М., 2003.
- Вельмезова Е.В.* История лингвистики в истории литературы. М., 2014.
- Винокур Г.О.* Эпизод идейной борьбы в американской лингвистике // Вопросы языкознания, №2, 1957.
- Волошинов В.Н.* Философия и социология гуманитарных наук. СПб., 1995.
- Кибрик А.А., Кошелев А.Д.* От составителей: когнитивная лингвистика – в поисках единства // Язык и мысль. Современная когнитивная лингвистика. М., 2015.
- Кибрик А.Е.* Когнитивный подход к языку // Язык и мысль. Современная когнитивная лингвистика. М., 2015.
- Кибрик А.Е.* Лингвистические постулаты [1983] // Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 1992.
- Кибрик А.Е.* Типология и задачи описательной лингвистики [1985] // Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 1992.
- Кибрик А.Е.* Типология: таксономическая или объяснительная, статическая или динамическая? [1989] // Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 1992.
- Матезиус В.* Куда мы пришли в языкознании [1947] // Звегинцев В.А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Часть II. М., 1960.
- Мейе А.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков [1903] / Под редакцией и с примечаниями Р.О. Шор. М., 1938.
- Мельчук И.А.* Опыт теории лингвистических моделей «Смысл ↔ Текст». Семантика, синтаксис. М., 1974.

- Падучева Е.В.* Рецензия на: *Хомский Н.* Синтаксические структуры // Вопросы языкознания, 1959, №1.
- Пауль Г.* Принципы истории языка [1880]. М., 1960.
- Рахилина Е.В.* Когнитивный анализ предметных имен. М., 2000.
- Робинсон М.А.* Судьбы академической элиты: Отечественное славяноведение (1917 – начало 1930-х годов). М., 2004.
- Сепир Э.* Язык [1933] // Звегинцев В.А. История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. Часть II. М., 1960.
- Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М., 1977.
- Тезисы Пражского лингвистического кружка [1929] // Звегинцев В.А. История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. Часть II. М., 1960.
- Томсен В.* История языкознания до конца XIX века [1902]. М., 1938.
- Фосслер К.* Позитивизм и идеализм в языкознании [1904] // Звегинцев В.А. История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. Часть I. М., 1964.
- Холодович А.А.* О «Курсе общей лингвистики» Фердинанда де Соссюра // Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977.
- Хомский Н.* Синтаксические структуры [1957] // Звегинцев В.А. История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. Т.2. М., 1965.
- Хомский Н.* Язык и мышление [1968]. М., 1972.
- Хомский Н.* Аспекты теории синтаксиса [1965]. М., 1972.
- Чейф У.* На пути к лингвистике, основанной на мышлении // Язык и мысль. Современная когнитивная лингвистика. М., 2015.
- Яacobсон Р.* Выступление на первом международном симпозиуме «Знак и система языка» [1959] // Звегинцев В.А. История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. Т.2. М., 1965.
- Якубинский Л.П.* Ф. де Соссюр о невозможности языковой политики // Якубинский Л.П. Языковедение и материализм. Вып.2. М., 1931.
- Edwards J.* Multilingualism. London – New York, 1994.

В.И. Поставалова

О межпарадигмальных переходах в полипарадигмальном пространстве постижения лингвистической реальности (Диалектический мир А.Ф. Лосева)¹

Валерию Закиевичу Демьянкову в дни юбилея – in gloria

Познание истинной реальности осуществляется там,
где разные формы восприятия сходятся воедино.
Протоиерей Иоанн Мейендорф

1. Полипарадигмальность в гуманитарном познании и ее эпистемологические лики

Современное гуманитарное познание развивается под знаком плюрализма с его установкой на возможность рассмотрения изучаемой реальности с различных точек зрения. Как писала об этом Е.С. Кубрякова: «В разные эпохи, в разные исторические периоды существования человека язык изучался по-разному, и в поле зрения ученых оказывались разные функции языка, разные его ипостаси и особенности. В разных направлениях и школах язык как бы поворачивался к нам разными гранями. Все зависело от точки зрения на язык, а значит, в зависимости от этого фактора, мы могли увидеть в языке не только разное, но больше или меньше» [Кубрякова 1999: 3]. Такие точки зрения, или установки субъекта познания, именуются в современной эпистемологии научными парадигмами, а само рассмотрение познаваемой реальности через призмы различных исследовательских парадигм – полипарадигмальностью познания.

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-28-00130) в Институте языкознания РАН.

Что же касается собственно понимания лингвистической реальности, то в историографии и методологии науки о языке термин «лингвистическая реальность» используется в двух смыслах, которые в самосознании самих лингвистов воспринимаются обычно как практически тождественные. Во-первых, термин «лингвистическая реальность» используется в онтологическом смысле для наименования языкового ракурса реальности. И во-вторых, – в гносеологическом смысле для наименования языкового ракурса реальности, воспринимаемого сквозь призму лингвистического знания¹.

Вопрос о природе реальности в науке относится к числу сложнейших проблем эпистемологии, идет ли речь об установлении реальности лингвистической или же глобальной физической реальности. По словам В. Паули, одного из создателей квантовой механики, когда «не-специалист говорит “реальность”, он обычно считает, что речь идет о чем-то самоочевидном и всем хорошо известном» (цит. по [Копейкин 2014: 140]). Однако это не так, утверждает Паули и выдвигает в качестве актуальной задачи нашего времени «разработку новой идеи реальности» [Там же]. К числу таких новых идей относится представление о том, что «реальность является не наличной, но всегда искомой» [Геронимус 2002: 98]. Именно такой гносеологический смысл и имела в виду Р.М. Фрумкина, размышляя об обнаружении «как бы “новой” реальности» при «расшатывании» парадигмы и «выходе науки за пределы уже освоенных территорий» [Фрумкина 1995: 84]. Концепцию «новой реальности» слова и имени – реальности синергично-персоналистического типа – разделяли философы имени школы Всеединства. Резюмируя позицию П.А. Флоренского по данному вопросу, игумен Андроник (Трубачев) пишет: «Слово – новая реальность в мире, в которой сплетаются энергии познающего субъекта и познаваемого объекта. Слово есть мост между Я и не-Я» [Андроник Трубачев 2001: 433].

В современной философии науки существует множество толкований парадигмы, начиная от понимания ее как «господства некоторой идеи, преобладания некоторого (“парадигмального”) взгляда на вещи, выходящего за рамки одной научной дисциплины», до определения парадигмы как «образца, которому следуют в своих научных построениях ученые» [Демьянков 2009: 34, 27].

¹ Обсуждение разных видов «реальности» в науке о языке – «языковой» и «внеязыковой», «психологической» и «коммуникативной» см. в работе В.З. Демьянкова [Демьянков 2018: 73–78].

В одном из поздних вариантов своей теории науки Т. Кун интерпретирует парадигмы как образования, включающие следующие четыре компонента: 1) «символические обобщения», функционирующие в роли законов, 2) категориальные модели (метафизические части парадигмы), 3) критерии для выбора между конкурирующими теориями и 4) образцы конкретных решений проблем [Кун 1975: 228–236]. Согласно такому пониманию, парадигма задает для научного сообщества онтологическое видение предмета изучения, определяет общие предпосылки для развёртывания ее теории, а также формирует идеал научного объяснения.

В отличие от множественности определений парадигмы, в истолковании феномена полипарадигмальности как в самой эпистемологии, так и в самосознании творческих деятелей науки наблюдается относительное единство. Полипарадигмальность, именуемая также мультипарадигмальностью, признается конститутивной чертой научного познания, отличающей ее от таких сфер познания, как философия и религия с их установкой на внепарадигмальность и надпарадигмальность видения познаваемой реальности. Такую установку на надпарадигмальность богословы усматривают, например, в мистико-аскетических опытах «умного делания», направленного на сведение ума в сердце при молитвенном восхождении в исихазме.

В святоотеческом предании умным (или мысленным) деланием (*πράξις νοερά*) именуется внутреннее делание подвижника, направленное на достижение созерцания и соединение с Богом. Такое делание включает два тесно связанных момента – внимание, или трезвение (хранение ума), и непрестанную, обычно Иисусову, молитву. Глубинную суть умного делания так передает архим. Софроний (Сахаров): «Ум безвидный безмолвно внимает сердцу... Вся тайна в этих немногих словах» [Софроний Сахаров 2001: 252].

Как метафорически выражает гносеологическую суть установки умного делания свт. Феофан Затворник: «Около сознания в сердце должно собираться всеми силами – и умом, и волею, и чувством... Собранный зрит все в себе. Кто в центре, зрит по всем радиусам, все видит в круге ровно и как бы в один раз, а выступивший из центра видит по направлению одного только радиуса» [Феофан Затворник 1994: 206, 208]. По комментарию прот. А. Геронимуса, такой радиус и есть парадигма в современном понимании. Или, с другой акцентуацией, «парадигма и есть такой ракурс», а «каждая парадигма – целый мир, и таких миров великое множество» [Геронимус 1987: 75].

По словам В.Г. Гака, плюрализм в лингвистике, или полилог воззрений на одну и ту же реальность, «не только возможен, но и неизбе-

жен» [Гак 1998: 16]. Разнообразие научных мнений расценивается при этом в самосознании самой науки не как знак субъективизма и волюнтаризма, но как объективная данность и важнейшее условие постижения истины в человеческом познании. По афористическому выражению В.З. Демьянкова, «гуманитарные науки обречены на политеоретичность, а следовательно, на отсутствие единого парадигматического стандарта» [Демьянков 2009: 32]. Другими словами, современное научное познание полипарадигмально. Широкая панорама такой парадигмальности в науке о языке представлена в коллективной монографии «Язык и наука конца 20 века» в работах Ю.С. Степанова, Е.С. Кубряковой, В.З. Демьянкова, Р.М. Фрумкиной, посвященных воссозданию образов языка в ведущих лингвистических направлениях XX в. [Степанов 1995; Кубрякова 1995; Демьянков 1995; Фрумкина 1995]¹.

Современное гуманитарное познание представляет собой сложный процесс сосуществования и взаимодействия различных программ и парадигм исследования – традиционных и нетрадиционных, классических и неклассических, границы между которыми представляются достаточно подвижными. Известно, что в определенный момент новыми и неклассическими могут оказаться забытые и некогда бывшие классическими парадигмы и представления. К числу парадигм постижения лингвистической реальности, статус которых менялся на протяжении всего становления лингвофилософского знания, может быть отнесен развиваемый В. фон Гумбольдтом диалектический подход, получивший новую жизнь в отечественной лингвофилософской мысли школы Всеединства.

Полипарадигмальное пространство современной культуры неоднородно по составу образующих его парадигм и по множеству путей их взаимодействия. Парадигмы современной культуры различаются по степени универсальности в плане своего отношения к разным уровням изучаемой реальности. Это могут быть локальные парадигмы разного типа и мегапарадигмы, или парадигмы интегральные. Целью таких универсальных парадигм является установка на наиболее полное постижение изучаемой реальности. В этой установке на интегративность в познании проявляется действие универсального принципа цельности в культуре и жизнотворчестве, направленного на преодоление разрывов в понимании между разными сферами духовной жизни человека и на достижение утрачиваемой цельности человеческого духа.

¹ Из новейших работ см. исследования В.М. Алпатова.

Парадигмы современной культуры различаются, далее, по признаку рядоположенности, или одновременности или последовательности их существования. Среди парадигм такого типа имеются парадигмы, сосуществующие друг с другом в рамках какой-либо одной или нескольких сфер познания и культуры. И парадигмы, последовательно сменяющие друг друга в результате так называемых «научных революций» или же в результате совершающихся социальных катастроф, как это произошло с отечественной наукой XX в. (марризм и марксизм в языкознании)¹.

Ю.С. Степанов различает три основные семиотические парадигмы представления языка в истории лингвофилософской мысли, которые делают акцент соответственно на семантическом, синтаксическом или же прагматическом планах языка [Степанов 1998: 175–473]².

Это, во-первых, «философия имени» (*семантическая парадигма*), исходящая из имени и его отношения к миру, в которой «все» рассматривается сквозь призму данного вопроса. Данная парадигма разрабатывалась в философии языка со времен античности вплоть до начала XX в. «Великой фигурой» философии имени XX в., по признанию Степанова, был А.Ф. Лосев [Там же: 716, 181].

Во-вторых, «философия предиката» (*синтаксическая парадигма*), опирающаяся на предикат как на ядро суждения и изучающая синтаксические связи между языковым выражением и взглядом на мир усредненного носителя языка, лишенного личностных свойств. Данная парадигма развивалась в философии языка неопозитивизма.

И, наконец, «философия эгоцентрических свойств» (*прагматическая парадигма*), исходящая из момента связи между языком и говорящим субъектом. Такая парадигма развивалась в философии языка позднего логического неопозитивизма (Б. Рассел) и в формальной прагматике (Р. Монтегю, К.И. Льюис, Я. Хинтиikka и др.).

Иногда выделяются парадигмы рефлексивной направленности – так называемые метапарадигмы, обосновывающие другие парадигмы. В современной эпистемологии под метапарадигмой понимается универсальная парадигма, лежащая в основе всех парадигм, или «парадигма парадигм». Такая метапарадигма, по толкованию прот. А. Северюхина, «призвана вместить и объять все многообразие отдельных научных

¹ О «глобальных» и «локальных» научных революциях см. в работе В.З. Демьянкова [Демьянков 2016: 70]. О двух «когнитивных революциях» см. в работе Р.М. Фрумкиной [Фрумкина 1995: 100–105].

² См. также [Степанов, Демьянков 1991: 345].

взглядов и позиций», «включить различные стороны научного знания, придав ему внутренний смысл и единство» [Северюхин 2013: 6]. Образ такой метапарадигмы может значительно варьироваться.

Так, по мысли прот. А. Северюхина, с «позиции верующего разума» метапарадигмой может стать «христианская теистическая метафизика» [Там же: 7]. Для гуманитарного познания в качестве таковой метапарадигмы может выступать богословское учение о человеке. В видении современной богословской мысли с ее акцентированием антропологического начала «богословие в подлинном смысле слова изначально и, по сути, является <...> мета-антропологией: учением о человеке, познающем Бога и в этом познании узнающем самого себя» [Аванесов 2014: 124]. Универсальная метапарадигма, формируемая на теологическом основании, или теометапарадигма, в видении ее сторонников, способна дать науке надежную опору для осмысления многих онтологических и гносеологических проблем познания.

Одной из задач эпистемологического анализа феномена полипарадигмальности является семиотическое изучение межпарадигмальных контактов и переходов в гуманитарном познании и, в частности, – смысловых модификаций знания при трансферах. В семиотической интерпретации трансфер есть «перенос некоторого знака как элемента некоторой знаковой структуры и как потенциала формы и функции в состав другого знака, в качестве элемента другой знаковой системы» [Демьянков 2016: 61]¹.

Изучение таких межпарадигмальных переходов может способствовать осмыслению важнейшей проблемы современного познания – преодолению парадигмальных барьеров при коммуникации и познании в ситуациях глобальной полипарадигмальности.

В современной культуре существуют три различные стратегии поиска взаимопонимания в условиях глобальной парадигмальности. Первая стратегия, символизируемая идеей Ю.С. Степанова о «Воображаемой словесности», заключается в установке на создание особого эстетического пространства творческого существования человека в культуре, где происходит общение как бы «поверх барьеров», сверх разделяющих мир парадигм [Степанов 2010]. Вторая стратегия, предлагаемая в работах прот. А. Геронимуса, заключается в установке на «экзистенциальное со-пребывание» с автономными парадигмами культуры, на встречу и диалог с ними во взаимной свободе общения [Геронимус 2004: 46]. Тре-

¹ О языковых техниках, обслуживающих различные межпарадигмальные переходы, включая трансферы знания, см. [Демьянков 2016: 80–81].

тъя стратегия, разделяемая А.Ф. Лосевым, это установка на диалектическое единение парадигм знания с позиций учения о Всеединстве¹.

В истории гуманитарного познания сформировались три подхода к изучению языка и пониманию его природы, различающиеся широтой контекста рассмотрения лингвистической реальности и истолкованием самого феномена лингвистического². Внутри каждого из этих подходов формируются свои парадигмы, сквозь призму которых в данных направлениях и представляется лингвистическая реальность.

Первый подход – *имманентно-семиотический*. В данном направлении, наиболее рельефно представленном в структурализме середины XX в., язык рассматривается «в самом себе и для себя» как автономное семиотическое образование. Лингвистическая реальность понимается здесь как система отношений различительных единиц в рамках «внутренней» (реляционной) лингвистики. Все моменты языковой активности, связанные с духовно-творческой деятельностью человека в языке, самим человеком и его духовным миром, оцениваются при этом подходе как экстралингвистические и как лингвистически нерелевантные выносятся за пределы научно-лингвистического понимания языка в область «внешней» лингвистики или других гуманитарных дисциплин. Основная парадигма, формируемая в составе данного направления, – *структурно-функциональная*.

Второй подход – *имманентно-антропологический*. В данном направлении постижения лингвистической реальности язык рассматривается в контексте человека и его мира и понимается как конститутивное свойство человека и необходимый момент его жизнедеятельности. Сам же человек рассматривается здесь автономно, в его самодостаточном бытии, вне непосредственной связи с другими – высшими – планами реальности. Первый и наиболее полный вариант формирования программы изучения языка в рамках имманентно-антропологического направления был намечен В. фон Гумбольдтом, разрабатывавшим *энергичную парадигму* постижения лингвистической реальности. В последующем в лингвистике антропологической направленности были разработаны такие парадигмы, как *лингвокультурологическая*, *лингво-когнитивная*, *дискурсивно-коммуникативная* и др.

Третий подход – *трансцендентно-религиозный*. В данном подходе язык рассматривается в максимально широком понятийном и экзистенциальном контексте – Бог, человек, космос. Определение при-

¹ О данных стратегиях см. в нашей работе [Постовалова 2016а: 173–181].

² См. подробнее в нашей работе [Постовалова 2017: 23–29].

роды языка происходит здесь путем выхода за пределы узко имманентного человеческого существования в высшую – Богочеловекокосмическую – реальность, необходимым моментом которой, по такому воззрению, и выступает язык. Человек рассматривается при этом не имманентно (автономно), в его самодостаточном бытии, а как *homo religiosus*, «человек религиозный». Сам же язык понимается как важнейший момент в общей коммуникативной динамике бытия и как форма проявления и формирования целостного человека. В русле трансцендентно-религиозного подхода формируется особая *теоантропокосмическая парадигма* постижения лингвистической реальности, базирующаяся на идеале программы цельного знания с ее синтезом философии, богословия и науки.

Описанные три направления познания лингвистической реальности могут быть рассмотрены как ступени на пути достижения наиболее полного и адекватного осмысления языка. Продумывание оснований и принципов организации каждого из этих направлений приводит к осознанию границ их применимости и их способности выхода на более широкий уровень постижения лингвистической реальности. Так, продумывание оснований имманентно-семиотического подхода приводит к необходимости выхода за его пределы в пространство имманентно-антропологического подхода, обладающего большей полнотой и внутренней непротиворечивостью. А продумывание принципов имманентно-антропологического подхода – к необходимости выхода в пространство трансцендентно-религиозного подхода. Иногда в истории становления лингвистической мысли встречаются и обратные движения – переход на предыдущую ступень постижения лингвистической реальности, как это происходило при отказе от гумбольдтовского направления в истории лингвистики.

Производимый выход на новую ступень постижения лингвистической реальности не отменяет, в принципе, результатов предыдущей ступени, но предполагает возможные смысловые наращения определенных концептуальных элементов учений о языке за счет помещения в новый теоретико-эмпирический контекст. Так, принятие антропологического подхода (в разных версиях его реализации) предполагает включение результатов имманентного – структурно-семиологического – этапа изучения языка, но при их известной модификации в более широкую картину представления лингвистической реальности. Соответственно, возвращение на предыдущую ступень постижения лингвистической реальности предполагает редуцирование части смыслов концептуальных элементов учения о языке.

Полипарадигмальность может касаться не только определенных сфер познания, но и отдельных личностей – носителей таких парадигм. Как обращает внимание на этот момент В.З. Демьянков: «Один и тот же человек может принадлежать сразу к нескольким разным парадигмам» [Демьянков 2009: 30–31]. Образно говоря, быть личностью «многоочитой» и «многоголосой». То есть личностью, узревающей реальность через призмы многих призм восприятия и передающей ее смысл на языке голосов множества парадигм.

Таков был Лейбниц, явивший собой, по утверждению Демьянкова, образ такой «полипарадигмальной личности» в европейской культуре XVII в. «Когда он писал по-французски, – замечает Демьянков, – то ориентировался на среду, в которой в то время царили совершенно иные настроения и интеллектуальные течения (а именно дух Просвещения), чем в родной ему Германии» [Там же]. И поясняет: «Для французов он писал именно в духе “систем и гипотез”, здесь особенно популярна была его “Теодицея”. Латинские же произведения его были выдержаны в схоластическом духе, адресованы другой публике и были не менее популярны – но в иной среде. Лейбниц представляет собой, таким образом, пример “полипарадигмальности”, сходной с многоязычием» [Там же].

Такой поистине «полипарадигмальной личностью» в наше время был А.Ф. Лосев, выдающийся отечественный философ, ученый-энциклопедист и религиозный мыслитель. У него был дар говорить на разных концептуальных языках культуры – философии, филологии, математики, эстетики и др. Это проявлялось как в опытах его преподавательской деятельности, так и научно-исследовательской. Как упоминал Лосев в предисловии к изложению своего курса «История эстетических учений», с течением лет у него выработалась привычка излагать философские системы так, как будто бы он сам был их автором и пропагандистом. Это, по его словам, приводило к тому, что он часто просто забывал, что его «устаами говорит какой-нибудь Пиррон, Майстер Экгарт или Спиноза» [Лосев 1995а: 324].

Концептуальное многоголосие было характерно и для философского творчества самого Лосева. Как писала об этом В.М. Лосева-Соколова в предисловии к его «Диалектическим основам математики»: «Лосев – это одна из самых сложных фигур не только у нас, но и на Западе. В нем всегда уживалось столько разных традиций, идей и методов, что написанное им только в ничтожной степени отражает его подлинную философскую жизнь. Можно сказать, что это ничтожные аккорды огромной философской симфонии, да и сам Лосев ощущает себя так,

что он по-настоящему и не начинал писать философски» [Лосева 1997: 6–7]. Учитывая такую многомерность и симфонизм лосевской мысли, А.А. Тахо-Годи именует философскую систему Лосева «философией “высшего синтеза”» [Тахо-Годи 2001: 527].

Полипарадигмальность личности не означает ни в коей мере утраты ее цельности, т.е. своего «Я». Осмысливая свой философский путь и говоря о невозможности «втиснуть» основные тенденции своего мировоззрения в узкие рамки общеизвестных систем и точек зрения, А.Ф. Лосев писал: «Что же со мною делать, если я не чувствую себя ни идеалистом, ни материалистом, ни платоником, ни кантианцем, ни гуссерлианцем, ни рационалистом, ни мистиком, ни голым диалектиком, ни метафизиком, если даже все эти противоположения часто кажутся мне наивными? Если уж обязательно нужен какой-то ярлык и вывеска, то я, к сожалению, могу сказать только одно: я – Лосев! Все прочее будет неизбежной натяжкой, упрощением и искажением, хотя и не так трудно уловить здесь черты длинного ряда философских систем, горячо воспринятых в свое время и переработанных когда-то в молодом и восприимчивом мозгу» [Лосев 1995а: 356].

Не отождествляя себя ни с одной из философских позиций в силу их односторонности, Лосев солидаризируется с синтетической позицией В.С. Соловьева. Согласно этой позиции, «каждый крупный философ является для него [Соловьева – В.П.] только какой-нибудь односторонностью, в отношении которой его собственное мировоззрение казалось ему гораздо богаче и гораздо синтетичнее» [Лосев 1990: 164–165]. Лосев полагал, что «всякая подлинная философская система содержит в себе отголоски всех систем» [Лосев 1993б: 622]. Как говорит Лосев о своих творческих синтезах в одном из своих лагерных писем В.М. Лосевой: «В моем мировоззрении синтезируется античный космос с его конечным пространством и – Эйнштейн, схоластика и неокантианство <...> утончение западного субъективизма с его математической и музыкальной стихией и – восточный паламитский онтологизм и т.д. и т.д.» [Лосев 1993в: 384]. То есть парадигмы разных веков и направлений.

В настоящей работе мы попытаемся отметить некоторые особенности смысловых модификаций знания при межпарадигмальных переходах в гуманитарном познании на материале осмысления идей Лосева о природе лингвистической реальности, разрабатываемых им в русле учения о Всеединстве в составе двух парадигм – теoантропо-космической и антропологической – на основе диалектики неоплатонизма.

2. Путь А.Ф. Лосева в полипарадигмальном пространстве бытия и культуры: противостояния и синтезы

Жизненный и творческий путь А.Ф. Лосева начался с осмысления вопроса о том, «как мы можем остаться цельными при всеобщем разъединении и противоречии» [Лосев 1997б: 22]. По его мысли, такое всеобщее разделение в духовном мире человека и культуре можно преодолеть с помощью так называемого «Высшего синтеза», или единения всего того, что «образует собою духовную жизнь человека», – науки, религии, искусства и философии [Там же: 18]. В 1911 г., накануне поступления в Московский университет, Лосев начал писать одно большое сочинение «Высший синтез как счастье и ведение», где доказывает, по его словам, «необходимость примирения в научном мировоззрении всех областей психической жизни человека: науки, религии, философии, искусства и нравственности» [Там же: 67].

В понимании Лосева «Высший синтез» есть мировоззрение, охватывающее собой «весь мир, природу и человека, все явления, совершающиеся в ней и в нем» [Там же: 18]. Это, другими словами, «органическое соединение отдельных элементов знания и чувства в одном стройном мирозерцании» [Там же: 20]. Точнее сказать, утверждает Лосев, такой синтез есть, скорее, даже не мировоззрение, но «основа каждого мировоззрения» [Там же: 19]. По его образному выражению, «Высший синтез есть полотно, натянутое на раму, и уж чем художник покрасит это полотно – это его дело» [Там же]. «Высший синтез» научного, философского и религиозного знания в цельном познании воспринимался Лосевым в религиозном контексте грехопадения и восстановления человека в двойной перспективе – как возвращение к изначальному первоединству человеческого знания и как конечное, эсхатологическое обретение единства «всего и во всем».

В размышлениях А.Ф. Лосева о необходимости «Высшего синтеза» явственно просматривается связь с программой цельного знания школы Всеединства Вл. Соловьева. В основе этой программы лежит идея о том, что наивысший момент исторического развития человечества состоит в образовании «всцелой общечеловеческой, жизненной организации», определяемой как *summum bonum*, или высшее благо, что мыслилось Соловьевым в форме *цельного творчества* (свободной теургии), *цельного знания* (свободной теософии) и *цельного общества* (свободной теократии) [Соловьев 1988: 176].

По мысли В.С. Соловьева, цельное знание, представляющее собой *органическое единство* опытной науки, философии (умозрения) и тео-

логии (богословия), может быть достигнуто в итоге нескольких синтезов. Первый синтез, или внутрифилософский свободный синтез, касается объединения трех основных направлений в философии – мистицизма (иррационализма), ищущего своей опоры в данных религии, рационализма, ограничивающегося чистым отвлеченным мышлением, и эмпиризма, ищущего опоры в данных положительной науки. Второй синтез, или общий синтез трех степеней знания – научного, философского и богословского, – служит основой третьего синтеза, именуемого Соловьевым «вселенским синтезом общечеловеческой жизни».

В концепции В.С. Соловьева цельное знание есть, таким образом, момент единого интеграционного процесса, направленного на обретение идеальной полноты бытия, или всеединства. По Соловьеву, цельное знание, или свободная теософия, вместе с цельным творчеством в цельном обществе сможет образовать подлинно цельную жизнь, основу которой составит общение с «истинно-сущим». Это позволит достичь подлинного единства всех множественных форм бытия и культуры. Другими словами, «познать и осуществить на земле настоящее *ἐν καὶ πᾶν*» [Там же: 223]. То есть достичь такого состояния, когда все «частные формы и элементы жизни и знания» станут «необходимыми органами <...> одной цельной жизни» [Там же: 173]. Ведь «абсолютное первоначало» не есть только «*ἐν*» (единое) [Там же: 222]. Оно есть «*ἐν καὶ πᾶν*» (всеединое, или единое и все) [Там же]. И если «непосредственным чувством нам дается единое во всем», то необходимо также «познать и все в едином» [Там же: 233].

Если концепция цельного познания у Соловьева, как и у славянофилов, имела в основном характер критики отвлеченных начал, то в творчестве А.Ф. Лосева данное учение разрабатывалось, прежде всего, в аспекте поиска положительного всеединства. А именно создания на его основе целостной религиозно-философской системы – учения об абсолютной мифологии – и представления на основе данного учения разнообразных сфер бытия, познания, а также различных культурно-исторических типов мысли и жизни.

Абсолютная мифология, рассматриваемая Лосевым как абсолютно адекватный действительности мысленный аналог высшей реальности в ее наиболее полном проявлении, выступает, по данному учению, в качестве нормы, предела и цели для всякой другой – относительной мифологии, абсолютизирующей один или несколько принципов абсолютной мифологии. В относительных мифологиях (например, диалектике Гегеля) картина реальности задается с меньшей степенью полноты и всегда в той или иной степени ущербно. Что же касается понимания

самого мифа, то миф интерпретируется Лосевым как наиболее цельное выражение и наиболее разносторонняя формулировка того мира, который «открывается людям и культуре, исповедующим ту или иную мифологию» [Лосев 1993а: 772–773].

«Высший синтез» стал центральной темой жизни и творчества Лосева. В 30-е гг. XX в. «Высший синтез» А.Ф. Лосева обретает художественную форму «Великого Синтеза» – «союза музыки, философии, любви... И монастыря!», как это предстает на страницах философского романа Лосева «Женщина-мыслитель», где речь идет о соединении «глубины старых, давних молитв» с «вершиной современного искусства» [Лосев 2002: 131]. На языке философии всеединства Соловьева суть замысла «Великого Синтеза» может быть выражена как полнота достижения «цельной жизни» человека и созидания подлинно общечеловеческой, или вселенской, культуры, сочетающей в себе «высшую степень единства с полнейшим развитием свободной множественности» [Там же: 136]. В идее «Великого Синтеза» как созидания «нового Града» воплотилась лосевская интерпретация феномена «монастыря в миру», понимаемого им как единение духовной «пустыни» (аскетики) и «мира» (культуры). То есть образа жизни самого А.Ф. Лосева (в тайном монашеском постриге – монаха Андроника).

В отличие от чисто философского воплощения идеи синтеза в учении А.Ф. Лосева об абсолютной мифологии, где акцент делается на обосновании диалектической необходимости такого синтеза, при художественно-философском воплощении идеи синтеза в «Великом Синтезе» акцент перемещается на момент драматической сложности его осуществления в условиях земной реальности. И даже простой невозможности его адекватного жизненного осуществления в силу существования противоборствующих сил. Символами такого противоборства единению в художественном видении Лосева стали *суровость Митры* как символа религии, оторванной от культуры, *пошлость Цилиндра* как символа лишенных духовных корней философии и науки и *безумие Кепи* как слепой жизненно-материальной практики.

Смысл «Великого Синтеза», как и «Высшего синтеза», по замыслу А.Ф. Лосева, состоит, тем не менее, в том, чтобы преодолеть «тщету односторонностей» и достигать глубины и полноты в восприятии и понимании реальности [Там же]. Но если в «Высшем синтезе» основной упор делается на моменте восхождения от жизненной множественности к единству, то в «Великом Синтезе» акцентируется момент сосуществования такой множественности в единстве, соединения в ходе такого синтеза «старой, вечной истины» (религии) с завоеваниями «новой-

шего гения». Лосев усматривал «образ правды» людей двадцатого века в том, чтобы вместить в своем уме и сердце всемирно-исторический опыт человеческой культуры и «не оторваться ни от хорошего старого, ни от хорошего нового» [Лосев 1993в: 411].

Волею исторической судьбы А.Ф. Лосеву суждено было работать в различных жанрах цельного знания. Первый период его творчества проходил в жанре цельной философии и отчасти цельной теологии. Второй период проходил в жанре цельной науки, что во многом было вызвано запретом на язык той духовной культуры, в недрах которой Лосев сформировался как мыслитель и творческая личность. Философские тексты Лосева этого второго периода хранят в себе следы адаптивных усилий по вписыванию в общий контекст стиля мышления своего времени (марксизм, сциентизм), в его проблематику и систему понятий. И в то же время в них заметно стремление сохранить важнейшие философские результаты первого периода творчества, основные принципы и стратегии своего философствования, выражая глубинное содержание своих работ на новом, клишированном, языке эпохи, в новой, насильственно навязанной демагогической логике мышления.

Объединяющим началом работ Лосева обоих периодов является диалектика, что, по его признанию, менее всего менялось в его творческом подходе в течение всей его жизни. Данный метод, по замечанию В.М. Лосевой-Соколовой, был глубоко органичен для Лосева, и он «играл на нем так, как виртуоз-пианист на своем инструменте» [Лосева 1997: 11].

В основе диалектики А.Ф. Лосева лежат две исходные интуиции. Это *апофатическая* интуиция непостижимости и невыразимости в категориях человеческого мышления всей полноты реальности. И *катафатическая* интуиция всеединства – изначального мистического восприятия действительности как единого целого и всеобщей глубинной связанности всего со всем. Каждая вещь рассматривается при таком видении как частичное проявление всего мира в целом, и все рассматривается в глубокой связи со всеми сторонами реальности.

По мысли В.В. Зеньковского, диалектика, которую А.Ф. Лосев рассматривал как единственный метод, «способный охватить живую действительность в целом», проистекает из изначального восприятия действительности как целого. Такое восприятие не выводится из диалектики. Напротив, сама диалектика только и возможна при предположении изначальной смысловой взаимосвязанности [Зеньковский 1991: 137]. В одном из последних интервью А.Ф. Лосев так выражал свое понимание всеединства у В.С. Соловьева и отношение к нему: «Все существует во всем. Каждая отдельная вещь – частичное проявление всего мира

в целом... Это замечательное учение <...> и опровергнуть его невозможно» [Лосев 1990: 697, 704].

3. Лингвистическая реальность сквозь призму диалектики А.Ф. Лосева

Творческое наследие А.Ф. Лосева в области диалектической философии языка, а также теории и методологии языкознания многообразно и многомерно. И в краткой статье невозможно даже перечислить ее основные темы. В настоящей работе при рассмотрении лингводиалектических воззрений А.Ф. Лосева будем обращать особое внимание на становление и соотношение двух парадигм постижения лингвистической реальности в его творчестве – теоантропокосмической и антропологической, формируемых в рамках реализации программы цельного знания.

3.1. Диалектика первого периода творчества А.Ф. Лосева: теоантропокосмическая парадигма

Основу философской позиции А.Ф. Лосева составляет православно понимаемый неоплатонизм, суть которого образует единство диалектики и мифологии, а основу его методологии – логическое мифотворчество, или диалектико-мифологическое конструирование реальности, направленное на обоснование в разуме адекватности православно-христианского мирозерцания. По А.Ф. Лосеву, деятельность философа-диалектика в ее полноте протекает в единстве трех этапов:

1) исходный опыт (откровение, первичный философский миф как «нерасчлененная и бессознательная стихия опытно ощущаемого бытия», мифологемы, Миф);

2) категориальная схематизация и получение логического (диалектического) аналога действительности;

3) конструирование новой мифологии (сконструированного философского мифа и мифологем как аналога исходного опыта) [Лосев 1993б: 675, 676].

Осуществляемое философом диалектико-мифологическое конструирование, по А.Ф. Лосеву, включает две процедуры. Первая процедура фиксирует путь от исходной мифологемы к осмысляющей ее философеме. Вторая процедура – переход от этой философемы к конструируемой философом новой мифологеме. Этот последний переход – мифологическая интерпретация диалектического построения – проходит на пике завершения диалектического конструирования, когда логические струк-

туры «становятся живой жизнью» и «превращаются» в непосредственно данное бытие [Лосев 1993а: 865]. Когда, другими словами, достигается состояние полного тождества диалектики и мифологии.

Разделяя программу цельного знания В.С. Соловьева с ее установкой на построение универсальной системы знания, выявляющей основные принципы единства бытия, Лосев стремился разработать такую универсальную философскую систему на основе диалектико-мифологического осмысления православного мирозерцания. Этот замысел нашел свое воплощение в его учении об абсолютной мифологии, в облике которой отчетливо выступают черты православно-христианского мирозерцания в его наиболее строгой форме византийско-московского православия. Абсолютная диалектика, или, что то же, абсолютная мифология, по Лосеву, в «своей окончательной формулировке есть Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Св<ятой>, Троица единосущная и нераздельная, неисповедимо открывающая Себя в своем Имени» [Лосев 1999: 461]. Центром абсолютной мифологии Лосева является учение об Имени Божиим – *ономатодоксия* (имяславие).

Первым шагом на пути построения Лосевым его абсолютной диалектики является его «Философия имени». Лосев развивает здесь теoантропoкосмическую парадигму постижения лингвистической реальности, исходящую из принципов онтологизма с его признанием онтологического возвышения языка и символического (мистического) реализма в истолковании природы языка (слова и имени).

В основе принципа предельного онтологического возвышения языка лежит идея универсального характера лингвистической реальности. В соответствии с данной идеей сама реальность в своей символической явленности выступает как имя и начинает рассматриваться в аспекте имени и родственной с ним категории слова.

В универсальной философской системе Лосева вся реальность – действительность Бога, мира и человека, знания и жизни и, наконец, человеческого языка и его единиц, изучаемых в традиционных лингвистических исследованиях, – предстает в едином ономатологическом пространстве. В своем глубинном динамическом основании реальность предстает по этой модели как двойной путь к Имени. Как путь самооткровения Бога (Сущности) в Своем Имени. И как встречный путь восхождения всего творения и человека к Имени в опыте церковно-литургической и мистико-аскетической жизни. В «Философии имени» Лосева в ономатологическом ключе осмысливаются важнейшие моменты православного миропредставления, связанные с сотворением мира и домостроительством спасения человека, Богообщением, молитвенным вос-

хождением в духовной практике священнобезмолвия, обожением и осмыслением в этом процессе роли Имени Божия.

При онтологическом подходе между языком и реальностью постулируется не условно-субъективная, а сущностная связь, выражаемая с помощью категории символа. Язык начинает восприниматься при таком представлении как голос самого бытия и даже как само бытие в его открытости человеку. Бытие предстает, по этой модели, как общение. Ведь только «когда действительность подлинно заговорит, – утверждает Лосев, – только тогда открывается принципиальная возможность и для ее собственного объективного оформления, и для ее понимания и усвоения кем бы и чем бы то ни было» [Лосев 1993а: 808–809]. По концепции, развиваемой А.Ф. Лосевым, всякая энергия сущности является языком, на котором сущность говорит с окружающей ее средой, и «всякий символ есть языковое явление» [Лосев 2009: 164].

А.Ф. Лосев разрабатывает в своей «Философии имени» ономотологическую модель бытия, опираясь на неоплатоническое иерархичное видение реальности. По данной модели Лосева, реальность предстает в своей элементарной структуре как лестница разной степени словесности, ономатизма, именитства, сущего, бытия. Согласно иерархичной ономотологической модели, весь мир – человек, животное, неодушевленные предметы – видится как совокупность разных степеней жизненности или затверделости слова, а все бытие предстает то как «более мертвые», то как «более живые» слова [Лосев 1993а: 734].

Срединное место на этой лестнице занимает обычное, «нормальное» человеческое слово. Сохраняя основной признак слова и имени – выраженность смысла, такое слово, по Лосеву, принципиально отличается тем, что оно содержит в себе все моменты слова как такового, но в модифицированном виде. Поэтому его адекватное описание невозможно без раскрытия всего спектра бытия слова (имени) как такового. Низшая степень словесности – физическая вещь – это слово в зародыше, далекое от своего внутреннего осмысления и оформления. Высшая степень словесности представлена сверхумным именем.

Основу теоретического осмысления лингвистической реальности в данной парадигме составляет многоуровневая трактовка реальности с ее рассмотрением высших уровней реальности как прообразов низших¹.

¹ См. в этой связи размышления О.Е. Нестеровой о так называемой «типологической эзегезе – герменевтической технике приискания в Ветхом Завете (или в ветхозаветной истории) специфических “образов”, соотносимых с “образами” новозаветной истории» [Нестерова 2006: 65–66] и «расцениваемых как “типы” (или предзнаменовательные символы) последних» [Там же: 66].

В свете такой парадигмы земная реальность воспринимается как подражание другой, высшей, реальности. Разделяя идею рассмотрения высших уровней реальности как прообразов низших, А.Ф. Лосев полагает, что имя, как и само человеческое именование, имеет свой трансцендентный аналог, подобием которого они (имя и именование) и выступают. Таким трансцендентальным аналогом для имени, по Лосеву, было Имя Божие, по образу которого он рассматривал всякое имя и слово. В «Философии имени» А.Ф. Лосев развертывает представление, в соответствии с которым по образу Имени Божия рассматривается не только человеческое имя и слово, но и весь мир (вселенная), понимаемый как имя (слово).

По лосевской интерпретации оноματοдоксии, наиболее важными чертами в этом учении об имени являются следующие характеристики.

Во-первых, реализм. Имена, по Лосеву, – «реальное свойство самих вещей» [Лосев 1993а: 864]. Имя вещи для него – «предел смыслового самооткровения вещи» [Там же: 841].

Во-вторых, «магизм», или тайнодейственность и сила. Природа имени, по Лосеву, «магична в самом последнем своем существе» в том смысле, что «магия ведь и есть не что иное, как изменение бытия силою одного слова, преобразование и самосозидание вещей невещественной энергией одних имен» [Лосев 1997а: 198]. Слово, в видении Лосева, – «огромная духовная сила» [Лосев 1993а: 810].

В-третьих, энергичность и символизм. Имя, по Лосеву, – энергия сущности и символ вещи: имя есть «осмысленно-выраженная и символически ставшая определенным ликом энергия сущности» [Лосев 1995а: 37].

В-четвертых, ипостасное (личностное) начало. Имя, в интерпретации Лосева, есть «энергично-личностный символ» [Лосев 1997а: 237]. Оно – «откровение личности, лик личности, живая смысловая энергия жизненно утвержденной индивидуальности» [Лосев 1993а: 821].

И, наконец, в-пятых, коммуникативно-интерпретативное начало. Имя для Лосева есть «сама вещь в аспекте своей понятности для других, в аспекте своей общительности со всем прочим» [Там же: 763]. Имя (слово), по Лосеву, есть одновременно и выражение сущности, и понимание ее в синергично-персоналистических актах взаимного смыслового со-действия именуемого (называемого) и именующего (называющего). То есть, другими словами, тождество выражения и понимания. Такое толкование не является противоречивым в глубинном смысле, поскольку выражение для Лосева и есть «объективный аналог понимания вещи» [Там же: 831].

Такую же природу имеет и сам язык. В интерпретации Лосева, язык есть выражение. Он есть «предметное обстояние бытия, и обстояние – смысловое, точнее – выразительное, и еще точнее – символическое» [Там же: 686–687]. И язык есть понимание. По Лосеву, «язык есть система понимания, т.е., в конце концов, миропонимания» [Там же: 822]. Язык есть «само миропонимание» [Там же].

А.Ф. Лосев развивает в своей «Философии имени» сложнейшую диалектико-феноменологическую конструкцию имени (слова), начиная от звука как элемента фонемы, фонематической семемы, нозмы, энергемы и энергии до эйдоса, символа и мифа, опираясь на символическую концепцию языка и идею об эйдетической природе звука. По выражению Лосева, «сам звук – не психичен, но эйдетичен», т.е. «умен»; психична же – «переживательная текучесть звука», составляющая предмет психологии [Лосев 2009: 249].

3.2. Диалектическая лингвистика А.Ф. Лосева второй половины XX в.: антропологическая парадигма

Во втором периоде своего творчества А.Ф. Лосев предпринимает попытку адаптировать свою универсальную оноματοлогическую модель к проектированию собственно лингвистической науки, способной на основании разработанной им ранее теоретической философии языка осуществить переход к представлению имени и слова как момента живого процесса социального и культурно-исторического бытия, как стихии «разумно-живой», «реально-практической» жизни.

В своих исследованиях этого времени Лосев через введение системы аксиом фактически возводит научное понимание языка (имени, слова, фонемы) к его исходным философским первоначалам.

В этот период у Лосева наблюдается изменение его исследовательской парадигмы. Теоантропокосмическая парадигма изучения языка, где язык рассматривается в максимально широком контексте – Бог, человек, мир – предстает теперь в свернутом виде как антропологическая парадигма, в которой язык изучается в контексте человека и его мира. В философии языка А.Ф. Лосева этого времени речь идет исключительно о человеческом языке, рассматриваемом как «специально человеческое явление».

Лосев выступает против распространенного в лингвистической среде этого времени игнорирования человеческого сознания и мышления при изучении языка со стороны «абсолютно изолированного и последовательного структурализма», замечая, что «понятийно-смысловая и особенно математическая схема забывают о человеке» [Лосев 1982:

93]. Игнорирование же антропологического начала при изучении языка, по Лосеву, есть искажение природы самого языка. Языковой знак, в его представлении, есть «человеческий знак», т.е. знак в качестве орудия человеческого общения, и для определения специфики языкового знака нужен именно человек, поскольку «только человек обладает языком» [Лосев 1983: 135].

Если в первом периоде своего творческого пути Лосев интересовался преимущественно переходом от вещи к ее смысловому самораскрытию в мысли-слове, то во втором периоде его внимание переключается на человека, воспринимающего и интерпретирующего языковые сообщения. Лосев занимается в этот период созданием теории языковой сигнификации, направленной на изучение движения от чистой мысли к языку как непосредственной действительности мысли.

В связи с изменением теоретических стратегий в осмыслении языковых явлений происходит переакцентировка в определении единиц языка и, прежде всего, имени и слова. Язык рассматривается Лосевым как интерпретация и интерпретирующе-смысловое творчество. Идеи символизма и понимания, так значимые для диалектических построений первого периода, вводятся в диалектической лингвистике Лосева второго периода через понятие интерпретативности. Такая теоретическая возможность предполагалась самой лосевской концепцией символа: «Символ – это то, где совпадает самость вещи с той или иной ее интерпретацией» [Лосев 1994: 352].

Лосев различает три степени смысловой насыщенности языка – знак вообще, символ и миф. На втором этапе Лосева интересует природа языкового знака, а также динамический переход от знака к символу и мифу, от нерасчлененности простейших языковых единиц к многозначным структурам и насыщенной поэтической образности [Лосев 1982: 4]. В видении Лосева, языковой знак, занимая срединное положение между мышлением и действительностью, является вполне «оригинальным и своеобразным бытием», которое не может быть сведено «ни на чистую мысль, ни на слепую, глухую, никак не осмысленную, туманно текучую объективную действительность» [Там же: 122].

Язык трактуется Лосевым в этот период как: 1) смысловоразличительная коммуникация и орудие разумно-жизненного общения людей, 2) интерпретация и интерпретирующе-смысловое творчество, 3) сплошное и непрерывное предидирование и коммуникативное движение, 4) поток сознания, 5) звукомыслительное единство. Наконец, на метаязыке марксистской парадигмы язык рассматривается как непосредственная действительность мысли и «практическое мышление, извлекающее из объек-

тивной действительности те моменты, которые необходимы для общения людей, и те моменты из чистой логики, которые в результате сложнейшей модификации могут стать орудием разумного общения» [Лосев 1983: 38–39]. Осмысливая дихотомию язык/речь, Лосев различает язык в узком смысле слова как «смыслоразличительную деятельность коммуникации», речь – как «поток позиционных модификаций смыслоразличительных актов языка» и текст – как диалектический синтез языка и речи [Лосев 1989: 13].

Для раскрытия специфики языка и его элементов Лосев использует три тесно связанные понятия. Во-первых, понятие смыслового отражения. Он полагает, что, «не вводя понятия отражения в аксиоматику смысловой теории языка, мы теряем из виду и сам язык» [Лосев 1982: 42]. Во-вторых, под понятием коммуникации он понимает «структуру разумно-жизненного человеческого общения» [Там же: 19]. И, в-третьих, понятие интерпретации, или понимания, по Лосеву, является необходимым условием для конструирования специфики языка как свободной интерпретации всей мыслительной сферы и действительности, лежащей в основе самого мышления [Лосев 1983: 148]. С помощью этих категорий Лосев раскрывал также специфику отдельных языковых единиц и категорий языка. Так, всякая грамматическая категория не есть для него категория предметного мышления, но – «категория общения и понимания», т.е. представления предмета в определенном свете в целях «сообщения предмета другому сознанию» [Лосев 1982: 359].

Если на первом этапе в центре диалектической мысли Лосева была диалектика имени (таково было первоначальное название «Философии имени»), то последняя программная работа А.Ф. Лосева в области лингвистики – теоретико-аналитическое исследование «В поисках построения общего языкознания как диалектической системы» – есть фактически диалектика фонемы, доведенная до уровня конкретно-жизненной реальности.

Лосев развивает идею антропологически ориентированной фонологии, предметом рассмотрения которой является человек (говорящий и слушающий), владеющий фонологической системой языка и использующий ее в процессах речепроизводства и речепонимания. В противоположность узко-семиотическому подходу, характерному для фонологии этого времени, А.Ф. Лосев говорит о связи фонологии с «глубочайшими проблемами сознания и мышления» и разрабатывает диалектико-феноменологическую интерпретацию фонемы как «ноэтического акта» воспроизведения звука и через звук «той предметности, которую данный звук обозначает» [Лосев 1968: 138, 144]. «Субстанция звука» должна

быть «услышана», т.е. «переведена на язык человеческого сознания», – утверждает Лосев [Там же: 94].

Согласно принципам классической фонологии, исходящей из концепции структурной целостности человеческого языка как звукомыслительного единства, «звуковая оболочка» слова с лингвистической точки зрения не может рассматриваться просто как чисто «физическая реальность». Что же касается представлений о том, какова природа онтологически необходимой материи у звуковой оболочки слова, то эта тема относится к одному из дискуссионных вопросов фонологии. В философии имени А.Ф. Лосева первого периода в качестве «онтологически необходимой материи» выступает не только телесность, воспринимаемая органами чувств, что характерно для «нормально-человеческого слова», но также особая «умная» телесность, характерная для слова (имени) в его широком понимании.

Что же касается имени в его широком истолковании, то в первом периоде собственно материальное начало не включалось у Лосева в сущностную характеристику имени, которое определялось как «энергия сущности вещи, действующая и выражающаяся в какой-нибудь материи, хотя и не нуждающуюся в этой материи при своем самовыражении» [Лосев 2009: 253].

Осмысление диалектического единства явления (звука) и различной функции (сущности) Лосев совершает, опираясь на общенаучный диалектический «метод общностей», или восхождения к первопринципам, разрабатываемый им на основе неоплатонического толкования платоновской идеи как способа осмысления и смыслового конструирования вещи. В соответствии с таким пониманием, каждый элемент языка не есть нечто изолированное и отделенное от других элементов, но представляет собой «принцип того или иного континуума элементов языка, известного протяжения» [Лосев 1982: 469].

Универсальный диалектический метод восхождения к общностям как смысловому образцу и модели для описания индивидуальных явлений, как закону и принципу осмысления развивался Лосевым для решения задач поиска глубинных инвариантных структур и их многовариантного конкретно-жизненного воплощения. Этот метод Лосев широко использовал в своих работах по философии языка применительно как к конструированию лингвистического знания (построение аксиоматики), так и к анализу языковой активности человека, который он использует при осмыслении языковой активности человека, соответствующего «семантического оформления звука» [Лосев 1968: 159].

Так, грамматическое предложение предстает в соответствии с этим методом как принцип для бесконечного ряда других предложений, ко-

торые возникают только по «произвольному почину сознания, пользуемому ими для общения с другими сознаниями» [Лосев 1982: 363–364]. Члены предложения предстают как принципы понимания, сообщения или интерпретации языковых элементов в определенном направлении [Лосев 1983: 210]. А грамматические категории, теряя при таком их представлении «свой застывший и неподвижный вид», становятся «принципами бесконечно разнообразных значений и зависимости от живого контекста речи» [Там же: 179].

В соответствии с методом общностей, всякая фонема содержит в себе в неразвернутом состоянии целое множество реальных звуковых возможностей – «бесконечный ряд своих творчески-жизненных воплощений, тут же возникающих уже в развернутом и закономерно-оформленном виде» [Лосев 1968: 167]. По такому учению, фонема (в терминологии Лосева, «фонема звука») выступает как моделирующий принцип («принцип, метод и закон») определенного семантического оформления звука [Там же: 159].

В наиболее развернутом виде такое понимание представлено в работе А.Ф. Лосева «В поисках построения общего языкознания как диалектической системы», где фонема предстает как многомерная реальность. По концепции данной работы фонема («фонема звука») есть «идея звука, смысл звука, смысловразличительная ценность звука» [Лосев 1989: 86]. Она есть «закон, метод, правило звучания, его значение, его смысловая потенция (возможность) и интенция (направленность)» [Там же]. «Фонема звука» есть «его смысловая функция, его форма и принцип, его модель», но отнюдь не звук в «его физически ощущаемой данности» [Там же]. Хотя вполне возможны и самые разные «более частные и менее ясные обозначения связи фонемы со звуком», замечает Лосев, но «эту связь фонемы со звуком можно объяснить только диалектически» [Лосев 1968: 75]. Ведь природа фонемы диалектична [Там же: 83].

Интерпретируя фонему как сущность звука в отличие от «самого звука речи как глобальной текучести», Лосев сразу же оговаривается, что сущность он понимает «не как сверхприродную субстанцию, но как осмысление все того же самого реального речевого потока» [Там же: 75]. Фонема, в его формулировке, есть «сущность смысловая или просто смысл данного звука» [Там же].

В учении А.Ф. Лосева о «фонеме звука» как порождающей модели и принципе «семантического оформления звука» усматривается прямая связь с упоминаемой выше концепцией эйдетичности звука, диалектически развиваемой в «Философии имени» в рамках его общего учения о реалистической природе слова (имени) на основе концепции всеединства.

Результатом диалектического осмысления понятия фонемы у А.Ф. Лосева стала его попытка с позиции цельного познания представить понятие фонемы как диалектическую систему на основе диалектического синтеза исторических вариантов построения фонологических теорий, разработанных в рамках имманентно-семиологического подхода и рассматриваемых с позиции диалектического видения как односторонние.

4. Смысловые модификации при межпарадигмальных контактах

При формулировке своего учения о природе и формах существования лингвистической реальности, разрабатываемого им в составе двух парадигм познания – теоантропокосмической и антропологической – на основе диалектики неоплатонизма, Лосев столкнулся с необходимостью произведения целого комплекса смысловых модификаций при осуществляемых межпарадигмальных переходах и адаптациях. Рассмотрим в качестве примера три группы таких смысловых модификаций¹.

К первой группе (А) будем относить смысловые модификации, касающиеся соотношения логической формы и содержания в организме знания. Ко второй группе (Б) – смысловые модификации, связанные с адаптацией трансферируемых элементов в условиях концептуального многоязычия. К третьей группе (В) – смысловые модификации, связанные со смыслами, привносимыми в авторский текст за счет соединения в цельном познании философского, научного и художественного стилей мышления.

А. Смысловые модификации первой группы. Этот тип модификаций определяется стилистикой неоплатонического философствования. Действительно, как уже отмечалось ранее (в разделе 3.1.), суть неоплатонизма образует единство мифологии (опытного содержания) и диалектики (формы), а основу его методологии логическое мифотворчество, или диалектико-мифологическое конструирование реальности. При применении неоплатонического стиля философствования возможны три типа взаимосвязанных процедур, отличающиеся разной степенью сложности и глубины². Это, во-первых, отделение (экспли-

¹ О разных типах смысловых модификаций при трансферизации знания см. подробнее в нашей работе [Постовалова 20166].

² На другом метаязыке: а) распредмечивание, б) опредмечивание и в) перепредмечивание.

кация) формы от содержания, или *демифологизация*. Во-вторых, «оживление» формы (наделение формы содержанием), или *мифологизация*. И в-третьих, смена содержания при сохранении и частичной модификации формы, или *перемифологизация*.

Демифологизация. К числу смысловых модификаций, встречающихся в творческом опыте Лосева, философа и историка философии, относится демифологизация, направленная на экспликацию философской техники мышления. В частности, на отделение чисто диалектической схемы в философских концепциях и выявление формально-онтологической схемы представления реальности.

Лосев как историк философии был глубоко убежден в том, что разные философские системы могут иметь одинаковые формально-диалектические структурные элементы, не зависящие от конкретного типа мировоззрения. Многие из таких диалектических универсальных категориальных схем и инвариантных мыслительных структур были разработаны еще в античной философии. Как пишет об этом Лосев: «Диалектика – душа античной философии. Здесь были выработаны схемы, которые с тех пор остались во всякой диалектике» [Лосев 1993а: 76]. А это значит, что, «умев отделять диалектику от мифа, науку от верования, мы сумеем извлечь для себя многое из античной диалектики, применяя ее к нашему опыту и нашему миропониманию» [Там же: 64].

Никто не хочет знать, замечает А.Ф. Лосев, что в философии значительная часть всех учений не имеет прямого отношения ни к какому мировоззрению, а точнее, имеет равное отношение ко всем мировоззрениям. Сводить же всю философию на мировоззрение было бы ее вульгаризацией и игнорированием значительной (и притом наиболее научной) части ее содержания. Подобно этому, полагает Лосев, «можно было бы и в механике или физике находить только одно мировоззрение, в то время как наряду с несомненно мирозерцательными моментами в этих науках содержится, конечно, огромное количество материала, абсолютно нейтрального к любому мировоззрению» [Лосев 1994: 387].

Хотя оноματοдоксия А.Ф. Лосева и формировалась в связи с осмыслением конкретного духовного мистического опыта (творения умносердечной Иисусовой молитвы в традиции исихазма), выявленная при этом формально-онтологическая логическая структура *имяславия*, по его мысли, имеет универсальный характер. Такая логическая структура, подчеркивает Лосев, в чисто формальном плане совершенно одинакова и «для всякой исторической религии, и для всякого нерелигиозного социального образования» [Лосев 1999: 306]. Более того, полагает

Лосев, учение об имени в плане выявления своей логической структуры не зависит вообще ни от какого жизненного содержания, хотя некоторая печать определенного типа такого содержания при этом все же остается [Там же].

Мифологизация. Процедурой, обратной по отношению к демифологизации, является мифологизация, или «оживление» («овеществление») формы. Сюда могут быть отнесены смысловые модификации, связанные с прямым гипостазированием понятий, т.е. приписыванием им онтологического статуса живых существ и реалий. Другими словами, утверждением за смысловыми диалектическими конструкциями статуса самостоятельной вещи. Для Лосева данный тип смысловых модификаций относится к числу логических ошибок. Ведь для конструктивно-диалектического порождения свойственен эйдетический, т.е. смысловой, логический, а не натуралистически-вещный характер.

Лосев постоянно предостерегает от натуралистического толкования диалектической процедуры порождения категорий, с целью не допустить чуждого диалектике гипостазирования понятий. Диалектика, по Лосеву, антинатуралистична. В ней нет места метафизическому натурализму, который «всегда пытается понять эйдетическую природу ума как арену каких-то физических или психических сущностей» [Лосев 1993а: 246]. Поэтому настоящей ошибкой было бы совершать «натурализацию» («овеществление») платоновских чисто смысловых конструкций на манер новоевропейской метафизики, для которой «пространство действительно есть нечто вроде какого-то мистического абсолюта» [Там же].

Перемифологизация. Одной из самых глубоких смысловых модификаций при межпарадигмальных контактах и переходах является перемифологизация. Она заключается в адаптации трансформируемых элементов в ситуации, предполагающей полную смену картины мира. Именно с такой ситуацией столкнулся Лосев при формировании теo-антропокосмической парадигмы, открывающей наиболее глубокие возможности для постижения лингвистической реальности в аспекте единства бытия и личности, на основе православно понимаемого неоплатонизма.

Вопрос о возможности применения неоплатонизма в христианской философии относится к числу дискуссионных. Специфика его рассмотрения связана с тем, что неоплатонизм, возникший как философское осмысление античной мифологии с ее представлением о безличном Космосе, есть пантеизм. Для него Абсолют – безличное Единое. Православие же есть монотеизм, для которого Абсолют личностен. Православие – религия Абсолютной Личности. Христианская онтология пер-

соналистична и исторична. По выражению Лосева, «в христианстве, вырастающем на культе абсолютной Личности, персоналистична и исторична решительно всякая мелочь» [Лосев 2001: 168].

Разделяя убеждение о возможности применения неоплатонической техники мышления для выражения интуиций православно-христианского миропонимания¹, Лосев опирался при этом на всемирный исторический опыт философии, свидетельствовавший о том, что такая «тонко разработанная философия, каковой является неоплатоническая философия, могла привлекаться для логического оформления любого мировоззрения, особенно религиозного» [Лосев 1998: 27]. Причем, по словам Лосева, всякий раз, когда новая религия использовала неоплатонизм, эта религия «отбрасывала его языческую сторону, и, в частности, античную мифологию, а пользовалась только тончайшими методами неоплатонизма» [Там же].

Основная философская задача Лосева при адаптации неоплатонической модели к целям выражения православного миропонимания заключалась в том, чтобы избежать пантеизма. То есть представления творения мира как безлично-естественного процесса. Основания для разрешения этой задачи Лосев усматривал в самом неоплатонизме. По его мысли, античный неоплатонизм, выдвинув и осмыслив понятие Перво-единого, в учении Прокла приблизился к своему пределу и формально подошел к идее личности. От христианского философа требовался лишь один шаг – отбросить человечески абсолютизированный смысл, привнесенный в понятие личности в европейской философии Нового времени, и вернуться к античной абсолютизации, переживая ее уже как личность.

Какую же философскую технику применял Лосев по модифицированию неоплатонической модели в рамках православно понимаемого неоплатонизма? В отличие от классической неоплатонической модели, конструируемой по принципу тетрактиды «Единое – Ум (Эйдос, Идея) – Душа – Космос», философская модель Лосева строится по методу пентады: «Сущность – Эйдос – Миф – Символ – Личность – Имя». В «Диалектике художественной формы» Лосев так описывает данный процесс выявления («откровения») сущности: «Перво-единое, или абсолютно неразличимая точка, сущность, явлена в своем эйдосе. Эйдос явлен в мифе. Миф явлен в символе. Символ явлен в личности. Личность яв-

¹ Критическое рассмотрение вопроса о возможности использования неоплатонизма в христианской философии применительно к имяславию см., напр., у С.С. Хоружего [Хоружий 2003].

лена в энергии сущности. И еще один шаг. Энергия сущности явлена в имени... Имя есть осмысленно выраженная и символически ставшая определенным ликом энергия сущности» [Лосев 1995а: 37].

Как замечал сам Лосев, «увлечение неоплатонизмом дальше известной границы всегда приводило монотеистическую теорию либо к ее существенной деформации, либо прямо к ее катастрофе» [Лосев 1995 б: 121]. Возникает вопрос: удалось ли самому Лосеву избежать ошибок при создании своей монотеистической теории с помощью философской техники неоплатонизма?

Отвечая на подобный вопрос, В.В. Зеньковский утверждал, что у самого Лосева позиция христианского платонизма проведена весьма последовательно. Учение о Боге в его работах «нигде не подменяется учением об идеальном космосе, а восприятие космоса как живого целого (софиологическая концепция) решительно отделено от отождествления *kosmos noetos* с Абсолютом» [Зеньковский 1991: 142]. С.С. Хоружий же усматривает в «Диалектике мифа» Лосева эволюцию в направлении христианского (православного) персонализма и переход к разработке новой фундаментальной парадигмы русской мысли – православному энергетизму, связанному с исихастской традицией [Хоружий 1994: 92].

Б. Смысловые модификации второй группы. В эту группу процедур, связанных с адаптацией трансформируемых элементов в условиях концептуального многоязычия, могут быть отнесены *спецификация, смысловые наращивания, смысловая редукция, операции свертывания-развертывания* и др. Рассмотрим в качестве примера некоторые из них.

Спецификация. Во втором периоде творчества А.Ф. Лосев на всех доступных для него тогда концептуальных языках – математики, лингвистики, эстетики, марксизма и др. – пытался донести идеи философии всеединства. Он совершает переход от формально-онтологического конструирования реальности («чистой диалектики») к более конкретно-жизненным ее представлениям, сохраняя по возможности дух, стиль и ритмику диалектического мировидения и лежащего в ее основе всеединства. И акцентируя при этом внимание на историческом и коммуникативном компонентах осуществляемой спецификации.

Категориальный мир и умонастроение чистой диалектики предстают здесь в своем специфическом облике как современное научное представление о мире, которое, по утверждению Лосева, «не механистично, но жизненно-органично, и не дискретно-неподвижно, но жизненно-динамично и творчески-напряженно» [Лосев 1989: 15]. Категория всеединства, составляющая основание диалектического видения реаль-

ности Лосева, специфицируется им здесь через понятия организма и системы. Лосев видит язык как органическое целое, каждый элемент которого «в зародыше уже содержит в себе то целое, из которого получают те или другие языковые образования» [Лосев 1983: 133].

Свою спецификацию в творчестве Лосева второго периода обретают некоторые категории, разрабатываемые в диалектическом ключе в первом периоде. К ним относится, в первую очередь, категория энергии, которая во втором периоде у Лосева стала выражаться с помощью понятия заряда. Представляя человеческую речь как непрерывно осуществляемую энергию, Лосев усматривает подлинную специфику языка в бесконечной смысловой заряженности каждого языкового элемента, включая фонему, интерпретируемую теперь в соответствии с основными установками фонологии как «идеальное тождество звука и его внезвуковой значимости» [Лосев 1989: 90]. Опираясь на энергичную и «магическую» трактовку имени и слова первого периода, Лосев утверждает, что слово в основе своей – заряд, и не «физический заряд», а «коммуникативно-смысловой заряд», «физические размеры» возможных действий которого «часто даже нельзя заранее предусмотреть» [Там же: 28, 15].

Идею о смысловой потенции и смысловой мощи слова Лосев развертывал также в своем учении об интерпретативно-смысловой валентности слова, истолковывая валентность как своего рода «энергию» языка [Лосев 1983: 142]. Он различает валентность единицы (фонемы) как «неразвернутое состояние бесконечного множества ее жизненно-творческих функций и воплощений» и генерацию единицы как ее развернутое существование и осуществленность ее внутренних потенциальных возможностей в закономерно оформленном виде [Лосев 1968: 167].

В видении Лосева, языковые элементы, в частности фонема, «содержат в себе в свернутом виде бесконечный ряд своих творчески-жизненных воплощений, тут же возникающих в своем развернутом и оформленном виде. Опираясь на этот принцип, Лосев разрабатывает учение о бесконечной смысловой заряженности языковых элементов, по которому каждый элемент языка должен рассматриваться не изолированно, не единично, но как бы в виде заряженности разными своими возможными связями с другими языковыми элементами.

Редукция и смысловые наращения. Редукция как глобальная процедура осуществлялась Лосевым при адаптации энергично-ономатической универсальной модели, разработанной им в первый период своего творчества в рамках теoантропокосмической парадигмы на основе неоплатонической интерпретации православного мистико-аскетического учения об Имени Божиим (имяславие), к контексту антрополо-

гической парадигмы, где наблюдается сужение ракурса видения онтологической реальности.

В теoантропoкoсмической парадигме, намеченной А.Ф. Лосевым в его «Философии имени», «нормально-человеческое» слово – предмет антропологической парадигмы постижения лингвистической реальности – предстает лишь как один из видов слова (имени) – срединный – в составе иерархической ономотологической модели реальности. В антропологической же парадигме постижения лингвистической реальности предметом рассмотрения объявляется только человеческое слово.

С позиции цельного познания системный подход может быть представлен как редуцированный вариант учения о всеединстве. С позиции же имманентного состояния науки о языке производимые при этом концептуальные осмысления могут интерпретироваться как смысловые наращения. Очевидно, что при возведении системных представлений науки о языке к учению о всеединстве новый углубленный ракурс рассмотрения приобретают такие базисные понятия из области философии языка, как форма, материя, структура, функция, субстанция.

Так, оригинальную трактовку получает у Лосева понятие языковой структуры как спецификации категории всеединства в контексте антропологического видения языка. В сборнике статей под названием «Языковая структура», посвященном проблеме понимания языка как «живой осуществленности мысли в ее коммуникативной функции», «семантической структуре языка и ее выразительной оформленности», А.Ф. Лосев даст новую зарисовку структуры [Лосев 1983: 2]. В этой книге, критикуя позицию асемантического структурализма, Лосев развивает мысль о том, что «языковая структура должна быть семантической структурой, а не математической; смысловой, а не слепо-фактической; выразительной, а не просто самостоятельно-предметной» [Там же: 4].

Лосев именует такую не абстрактно-схематическую, а живую, максимально понятную и наглядно, т.е. «фигурно-образно», выраженную в коммуникативных целях структуру «эйдетически-иконической», опираясь на понятия эйдоса как наглядно мыслимой структуры вещи и эйкона (иконы) как картинного изображения и образа вещи [Там же]. Говоря о структуре, А.Ф. Лосев имеет в виду диалектическое понятие эйдоса как смыслового образа вещи – того начала в вещи, что никогда не подвергается изменениям, как бы сама вещь фактически не изменялась.

В. Смысловые модификации третьей группы. В эту группу смысловых модификаций входят личностные смыслы и «крипто-смыслы». Исследователи обращают внимание на тот момент, что философская терминология в трудах Лосева не только переосмысливается логически,

но и переживается им художественно-мифологически, что привносит новые смысловые оттенки в его философскую терминологию. Соглашаясь с такой своей характеристикой, как то, что он есть «формальный онтолог» [Лосев 1993б: 701], Лосев одновременно говорит о себе: «Я – не метафизик, но диалектик, и не идеалист, но мифолог» [Лосев 1995а: 45]. А в одном из лагерных писем к В.М. Лосевой он говорил о своей «непреодолимой потребности писать»: «... чувствую временами, – и, в общем, очень часто – наплыв каких-то густых и сочных художественных образов... Чувствую невероятную потребность писать беллетристику, причем исключительно в стиле Гофмана (Т.-А.), Эдгара По и Уэллса» [Лосев 1993в: 410].

Говоря об этой специфике лосевского философствования, В.М. Лосева-Соколова пишет: «Каждое понятие и каждый термин, употребляемые им, настолько переживаются им своеобразно и глубоко, что с обычным представлением их никак нельзя осилить. Таковы термины “эйдос”, “инобытие” “становление”, “ставшее”, “энергия”, “эманация”» [Лосева 1997: 13].

Так, замечает В.М. Лосева, когда Лосев говорит об эйдосе, «ему всегда представляется какая-то умственная фигура, белая или разноцветная, и обязательно на темном фоне; это как бы фонарики с разноцветными крашеными стеклами, висящие на фоне темного сумеречного неба» [Там же]. Инобытие для Лосева есть «всегда какое-то бесформенное тело или вязкая глина; он едва вытаскивает ноги из этой трясины, и она его ежесекундно засасывает» [Там же]. Со «“ставшим” ему ассоциируется что-то твердое и холодное и даже что-то мрачное: не свернешь, не объедешь» [Там же].

И, наконец, особое осмысление получает у Лосева центральная категория его философии – категория выражения, синтезирующая в своей наиболее «зрелой» форме логическое и алогическое. Как пишет об особенностях переживания данной категории в лосевской философии В.М. Лосева: «От неоплатоников лосевское “выражение” отличается отсутствием панлогизма и <...> каким-то акосмизмом, так что тут он ближе к современным феноменологам и языковедам. Но от них он отличается напряженной диалектикой и острейшим чувством самостоятельности всей выразительно-смысловой сферы, так что иному его выразительные “эманации” и впрямь покажутся какими-то физическими истечениями» [Там же: 14–15].

И далее, отметив, что у Лосева было «острейшее ощущение “выразительных” форм действительности», В.М. Лосева пишет: «В лосевском “выражении” всегда есть что-то активное, идущее на зрителя и слушате-

ля, что-то выходящее из глубины и почти остро сверлящее, проникающее. Он все время говорит об “энергичности” выражения... Нужно только эту “энергию” понять не грубо вещественно, а чисто смысловым образом. Тут – одна из тайн этой многосложной философии» [Там же]. В.М. Лосева усматривает в таком переживании выражения нечто психологическое и биографическое. И поясняет: «Представьте себе, что есть люди, которые <...> повелевают, поднимают и повергают ниц одним взглядом... Вот эта-то не вещественная, а смысловая сила выражения, которая и есть подлинно вещественная и жизненная сила <...> вот эта стихия смысловых энергий и есть один из самых основных предметов лосевского философствования» [Там же].

Особый случай составляют смысловые модификации, совершаемые при переводах с метаязыка одного дискурса на метаязык другого дискурса в случае глобальной смены парадигм, когда интерпретационный ключ для адекватного прочтения передаваемого содержания в новом контексте остается непроясненным. Так, в одной из максим А.Ф. Лосева, развиваемой им в этюде «И думать и делать» (1982), утверждается: «Личность – тайна одного. Что такое тайна двух? Это есть любовь... Брак – тайна двух. А коллектив как организм – тайна трех. А всеобщий коллектив как исторический организм <...> это тайна уже и не одного, и не двух, и не трех, но тайна всего человечества» [Лосев 2002: 596].

Е.А. Тахо-Годи возводит выражение «тайна трех» в «разрешенном» тексте этого этюда к православно-христианскому догмату о триединстве. Она отсылает к лосевскому тексту тридцатых годов «Дополнений к “Диалектике мифа”» [Лосев 2001: 356], где указывается на «троичность как на то, что действительно обеспечивает для Божества Его в подлинном смысле социальную жизнь» [Тахо-Годи 2003: 204]. Без указания на интерпретационный ключ к пониманию данного текста Лосева глубинный богословский смысл текста может ускользнуть (оставаться в сокровенности) и останется только прямой смысл, привносимый воспринимающим в данный дискурс с позиции официального мировоззрения этого времени.

Более открытым в приведенной максиме остается философский смысл всеединства. Здесь подсказка содержится в самом тексте этюда – в термине «организм», который в творчестве Лосева второго периода выступает в качестве спецификация категории всеединства.

В заключение отметим, что в данной работе мы рассмотрели только некоторые из метаидей, входящих в круг интересов В.З. Демьянко-

ва – полиглота, теоретика языка и эпистемолога. Круг научных интересов Валерия Закиевича поистине необъятен и постоянно расширяется. Расширяется и углубляется на тернистом и вместе с тем радостном пути к постижению истины в науке. *Per aspera ad astra!*

Литература

- Аванесов С.С. Теология как антропология // *Метапарадигма: богословие, философия, естествознание: альманах*. СПб., 2014. Вып. 02/03 2014.
- Андроник (Трубачев), игумен. «Конкретная метафизика» П.А. Флоренского // *История русской философии*. М., 2001.
- Гак В.Г. Языковые преобразования. М., 1998.
- Геронимус А., прот. Пути сердечного мышления (Машинопись). 1987.
- Геронимус А., прот. Современное знание в свете антропологии преподобного Максима Исповедника // *Богословская конференция русской православной Церкви. Учение Церкви о человеке*. 5–8 ноября 2001 г. Материалы. 2002.
- Геронимус А., прот. Богословие культуры и фундаментальная наука // *Христианство и наука*. М., 2004.
- Демьянков В.З. Доминирующие лингвистические теории в конце XX века // *Язык и наука конца 20 века: Сб. статей*. М., 1995.
- Демьянков В.З. Парадигма в лингвистике и теории языка // *Горизонты современной лингвистики: Традиции и новаторство: Сб. в честь Е.С. Кубряковой*. М., 2009.
- Демьянков В.З. Языковые техники «трансфера знаний» // *Лингвистика и семиотика культурных трансферов: методы, принципы, технологии. Коллективная монография / Отв. ред. В.В. Фещенко*. М., 2016.
- Демьянков В.З. Лингвистическая теория: теория языка и теория лингвистики // *Когнитивные исследования языка. Выпуск XXXII: В поисках смыслов языка: сб. науч. тр. в честь 90-летия Е.С. Кубряковой*. М.; Тамбов, 2018.
- Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 2. Ч. 2. Л., 1991.
- Копейкин К., прот. Что есть реальность? Размышления над произведениями Эрвина Шрёдингера. СПб., 2014.
- Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа) // *Язык и наука конца 20 века*. М., 1995.
- Кубрякова Е.С. Семантика в когнитивной лингвистике (О концепте контейнера и формах его объективации в языке) // *Известия РАН. Сер. Лит-ры и языка*. 1999. Т. 58. № 5–6.

- Кун Т. Структура научных революций. М., 1975.
- Лосев А.Ф. Введение в общую теорию языковых моделей. М., 1968.
- Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф: Труды по языкознанию. М., 1982.
- Лосев А.Ф. Языковая структура. М., 1983.
- Лосев А.Ф. В поисках построения общего языкознания как диалектической системы // Теория и методология языкознания: Методы исследования языка. М., 1989.
- Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. М., 1990.
- Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. М., 1993а.
- Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993б.
- Лосев А.Ф. Жизнь: Повести. Рассказы. Письма. СПб., 1993в.
- Лосев А.Ф. Миф – Число – Сущность. М., 1994.
- Лосев А.Ф. Форма – Стиль – Выражение. М., 1995а.
- Лосев А.Ф. Словарь античной философии. М., 1995б.
- Лосев А.Ф. Имя: Избранные работы, переводы, беседы, исследования, архивные материалы. СПб., 1997а.
- Лосев А.Ф. «Мне было 19 лет...»: Дневники, Письма. Проза. М., 1997б.
- Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. Исторический смысл эстетики Возрождения / Сост. А.А. Тахо-Годи. М., 1998.
- Лосев А.Ф. Личность и Абсолют. М., 1999.
- Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 2001.
- Лосев А.Ф. «Я сослан в XX век...»: В 2 т. Т. 2. М., 2002.
- Лосев А.Ф. Философия имени. М., 2009.
- Лосева В.М. Предисловие к кн. Лосев А.Ф. «Диалектические основы математики» // Лосев А.Ф. Хаос и структура. М., 1997.
- Нестерова О.Е. Allegoria pro tyrologia: Ориген и судьба иносказательных методов интерпретации Священного Писания в раннепатристическую эпоху. М., 2006.
- Постовалова В.И. Наука о языке в свете идеала цельного знания: В поисках интегральных парадигм. М., 2016а.
- Постовалова В.И. Пути и принципы трансферизации знания в гуманитарных науках // Лингвистика и семиотика культурных трансферов: методы, принципы, технологии. Коллективная монография / Отв. ред. В.В. Фещенко. М., 2016б.
- Постовалова В.И. Язык и миропонимание. Опыт лингвофилософской интерпретации (лингвофилософские очерки). М., 2017.
- Северюхин А., прот. Вступительное слово // Метaparадигма: богословие, философия, естествознание: альманах. СПб., 2013. Вып. 1.
- Соловьев В.С. Философские начала цельного знания // Соловьев В.С. Соч. в 2 т. Т. 2. М., 1988.

- Софроний (Сахаров), архим.* Подвиг богопознания: Письма с Афона (к Д. Бальфуру). Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь, 2001.
- Степанов Ю.С.* Изменчивый «образ языка» в науке XX в. // Язык и наука конца 20 века / Сост. и общ. ред. Ю.С. Степанова. М., 1995.
- Степанов Ю.С.* Язык и Метод: К современной философии языка. М., 1998.
- Степанов Ю.С.* Мыслящий тростник. Книга о «Воображаемой словесности». Калуга, 2010.
- Степанов Ю.С., Демьянков В.З.* Философия языка // Современная западная философия: Словарь. М., 1991.
- Тахо-Годи А.А.* Философия «высшего синтеза» // История русской философии. М., 2001.
- Тахо-Годи Е.А.* «Интеллектуальный роман» Алексея Лосева // Тахо-Годи А.А., Тахо-Годи Е.А., Троицкий В.П. А.Ф. Лосев: философ и писатель: К 110-летию со дня рождения. М., 2003.
- Феофан Затворник, свт.* Творения. Начертания христианского нравоучения. В 2 т. Т. 2. М., 1994.
- Фрумкина Р.М.* Есть ли у современной лингвистики своя эпистемология? // Язык и наука конца 20 века. М., 1995.
- Хоружий С.С.* Идея всеединства от Гераклита до Лосева // Начала: Религиозно-философский журнал. 1994. Вып. 1. № 1. Абсолютный миф Алексея Лосева.
- Хоружий С.С.* Имяславие и культура Серебряного века: феномен Московской школы христианского неоплатонизма // С.Н. Булгаков: религиозный и философский путь: Международная научная конференция, посвященная 130-летию со дня рождения. М., 2003.

Н.А. Фатеева

Филологические термины как понятия креативной поэтики

В современной лингвистике одной из главных является проблема соотношения и разграничения языка-объекта и метаязыка описания. С этой точки зрения интересно рассмотреть, как ведут себя филологические термины (лингвистические и стиховедческие) за пределами научного языка – в языке художественной литературы, прежде всего в поэзии. Данному вопросу посвящено несколько статей В.З. Демьянкова [2000; 2001; 2002; 2014], в которых он рассматривает, какое концептуальное и образное наполнение получает ключевая лексема *язык* в разных функциональных стилях языка.

Сложность исследования филологических терминов в поэтическом языке состоит в том, что они выступают в нем сразу в нескольких ипостасях. Во-первых, они тянут за собой свое терминологическое значение и терминологическое поле, во-вторых, они выступают как элементы метаязыка, описывающие свой текст и язык, на котором они написаны, в-третьих, они могут подвергаться детерминологизации и превращаться в образные средства языка. Так, если мы обратимся к строкам Ю. Фрумкина-Рыбакова *Слово – / метафора сознания, перст и веха, / грамматика пространства мирового*, то обнаружим, что лексемы *слово*, *метафора*, *грамматика* полностью не лишаются своего терминологического значения, но при этом они составляют высказывание о языке в образной форме, соотнося языковые сущности с *мировым пространством*.

В каком-то смысле поэты, вводящие в свой текст эти термины, становятся своеобразными исследователями языка, экспериментирующими с его возможностями и потому обладающими особыми знаниями о нем. В то же время их метаязыковая компетенция приобретает креативное наполнение, которое трансформирует способность претворять языковые факты в предмет речи в способность создавать новые языковые факты и расширять предметную лингвистическую область поэтической речи.

Такой креативный подход к языку отражен в стихотворении Давида Авидана «Лингво-политики», в котором автор объявляет творцами

новых смыслов в языке не только поэтов, но и всех носителей языка, оказывающих влияние на его развитие:

Мы определяем междулексические связи.

Мы – это формирующее понимание

семантики, семиотики, образа, тени, звука.

Мы определяем твое понимание данных пониманий.

Ибо мы – это лингво-политики,

*решающие первыми и последними в мире **политики языка.***

Фактически, используя названия специфических языковых явлений, а также разделов гуманитарного знания (*семантика, семиотика*), поэт порождает высказывание о тенденциях развития языка, считая, что каждый его носитель (а поэт прежде всего) становится лингво-политиком, определяющим его будущее. При этом он выходит из чисто языковой области в область философского рассуждения:

Мы определяем твое будущее понимание

состояний-давления, состояний-смягчения,

состояния-понимания, состояния-глупости

и состояния-освобождения

в сфере языка и в политике языка.

*Ибо мы – решающие первыми и последними **в сфере политики***

языка.

Подобные стихотворные размышления становятся своеобразным филологическим исследованием.

Однако большинство поэтов используют филологические термины для порождения новых смыслов в тексте, которые образуются благодаря их образному переосмыслению. При этом они вовлекают читателя в своеобразную языковую игру, создавая мерцающий эффект между прямым употреблением терминов и переносным. Так, в контексте В. Павловой *Смогу ли судьбу упростить / выправить **согласованья, склоненья, спряженья,** / хоть немного **синтаксис** упростить?* судьба наделяется системными свойствами языка с учетом того, что согласованья, склоненья, спряженья в самой языковой системе подвержены четким правилам, почти не поддающимся изменению. Подобный же смысл заложен и в строках Ю. Фрумкина-Рыбакова: *и жизнь, как сумма странствий: / **грамматики, души / склонений и спряжений,** / расставит **падежи** / и **знаки ударений...***, где уже жизнь наделяется свойствами четкой грам-

матической системы, которой подчиняются склонения, спряжения, падежи, ударения.

Такие термины могут оказываться в центре композиции всего стихотворения, определяя его текстовое развертывание, при этом часто развивается их переносное значение, как у М. Амелина, который придает речи статус «небесных глаголов», играя на многозначности слова *глагол* (глагол как слово и как часть речи): *окунуться в свинец, утопать в желтизне, / различая в небесных глаголах / наклонение, время, спряжение, вид, / не по мне, и никто б не заставил, / оттого что составился мой алфавит / из одних исключений из правил...* Композиция стихотворения может также строиться на лингвопоэтических и стиховедческих терминах (у А. Еременко: *На вершинах поэзии, словно сугроб, / намечает метафора пристальный склон. / <...> Рифмы сбились с пути или вспять потекли*) или их сочетания с лингвистическими (у М. Амелина: *Скажи, / что связывает кроме посторонних / рифм, синтаксиса вьющегося, метра / единого строф этих этажи?*).

Интересно, что в поэзии последних лет используются названия грамматических форм и категорий, присущих не только современному русскому языку, но и уже ушедших из русского языка, таких, например, как *плюсквамперфект, имперфект, аорист*. Так, С. Кекова в своем стихотворении с показательным названием «Прошедшие времена» обыгрывает грамматические значения различных форм времени. С одной стороны, она придает им свойства живых существ, с другой – наделяет их способностью выстраивать события в определенной временной последовательности, апеллируя к системе времен в мертвых языках. Однако в самом тексте Кековой *имперфект* и *аорист* оказываются «живее», чем *плюсквамперфект* (который еще существует в некоторых европейских языках), так как им сопутствуют глаголы в настоящем времени, а простое *прошедшее время* вообще приближено к настоящему (оно *спит*):

Ни о чем не спросит и, видимо, не простит...

*Имперфект скрежещет, аорист – благовестит,
а поэт из них второпях сколотил строфу,
где таится жизнь, словно детский скелет в шкафу.*

*Что же это было? Страдание? Страсть? Аффект?
Утекло, ушло, превратилось в плюсквамперфект,
в золотую пыль, в неземную – навеки – сень,
в ледяной санскрит и в литую, как сталь, латынь.*

*Замолчишь, заплачешь, откроешь на миг окно —
там уже струится влажное волокно,
а в твоей постели, презрев наготу и стыд,
не добившись цели,
прошедшее время спит.*

Заметим, что названия форм времени могут встречаться в поэзии и на латинском языке: Ср. у А. Цветкова в «Детекторе смысла»:

*всё мерещится **futurum**
где давно **plusquamperfectum***

*наше будущее было
наше прошлое ловушка*

Причем сами эти формы могут причудливо располагаться на временной оси (*будущее было*).

Как мы видим, в большинстве случаев эти термины описываются с точки зрения того, чем они являются для субъекта. Это означает, что субъектом творческого осмысления языковых фактов является «Я» поэта, который ощущает себя внутри терминологического поля. Ср., например, с этой точки зрения шуточное стихотворение В. Антонова:

*Мои **сказуемые** –
непредсказуемые,
а **подлежащие** –
ненадлежащие.
Мои **числительные**
так удивительны.
Да и **наречия**
устал калечить я.
С особым рвением
стремятся к счастью
местоимение с деепричастием.*

Поэт как бы оказывается в сетях терминологического поля, из которого он хочет вырваться, чтобы выйти в новую реальность. Ср., например, у А. Даена: *И невпопад вдруг иных вспоминаю / И путаюсь / **И в формах и во временах / Зачеркивая однобуквенного Я / На спину падающего.***

Поэтому существуют поэты, например А. Драгомощенко, которые стремятся не подчиняться устойчивой грамматической системе, а вносить в нее трансформации. Так, трансформации подвергается у поэта само грамматическое понятие «части речи», и возникает собственное понимание частеречного статуса, как, например, в «Тавтологии». А именно поэт, учитывая переходный характер отглагольных существительных, акцентирует у них именно глагольную составляющую, что позволяет выразить взаимопереходность важных для него поэтических состояний *зрения, чтения и письма*:

Зрение не существительное, оно – не исполняемая форма глагола «чтение».

*Чтение перебора условных пространств
(игра по принятым правилам в беспечном саду,
лето благоприятно и руки просты),
но чаще **чтение** очерчено путешествуем
в ландшафтах необязательных форм;
на полях выцветает стерня и замечание: «**писать...**»*

Такое осмысление отглагольных существительных у Драгомощенко, как пишет А. Скидан, «позволяет воспринимать их как маркеры, дестабилизирующие, развоплощающие существительное в его сущности» [Скидан 2011: 8].

Самым близким к отглагольным существительным поэтому оказывается у поэта инфинитив, посредством которого соотносятся сущности *чтения, письма и зрения*:

Я не знаю, что я пишу, однако при этом знаю, что возникает в твоём чтении.

<...>

Читать, т.е. писать – что-то вроде уравнения закрытых глаз,

*ретенциального зрения в складке утреннего вещества –
через какое-то время (терпение невыносимо
в длительности*

*части начнут сближение вплоть до мгновения,
когда вновь станут тем, что называлось предметом:
таково иногда преодоление множества (только дождаться).*

Приблизительно так начинается чтение / письмо.

Одновременно у Драгомощенко возникают особые отношения между глаголом и предлогом и предлог приобретает глагольную категорию переходности, которая из грамматической трансформируется в фило-софскую, смещая устоявшиеся различия между языковыми сущностями. Ср., например, такие прозаические и поэтические контексты:

(1) Вне сомнения, речь идет отнюдь не о вымышленном предложении, неделимой переходности предлога, но о простоте пропозиции, о чистейшей синтагматической оси, – намерении как таковом вне указаний.

(2) Прекрасно прямое действие, как искривленная формула времени, где в прорехах между пределами искрится тело предлога, словно категория глагольного выдоха, суженного до пресечения.

*(3) Разве изменит что-либо
прямызна предлога в обоюдоостром теле глагола,
сотканном из
двух линий лезвия, летящих в купель истончения,
то есть туда,
где снова расходятся в стороны, и в прикосновении
к которому
материя находит нужную недостаточность в миг
перехода?*

Как мы видим, в этих контекстах сами понятия глагола и предлога становятся «телесными», и в них подчеркиваются моменты переходных состояний. Недаром А. Скидан, осмысляя поэзию А. Драгомощенко, пишет: «первое, с чем сталкиваешься, открывая Аркадия Драгомощенко, – это стремительность переходов от одной модальности высказывания к другой» [Скидан 2011: 6], и далее – «Это поэзия не сущностей, но отношений, переходности, бесконечных метаморфоз...» [Там же: 8].

Такая переходность, или скорее перетекаемость, всех трех частей речи – глагола, предлога и существительного – обнаруживается в контексте, где предлог оказывается связующим и управляющим звеном:

*Понимание находит опору в падении,
как в произрастании туда, где только предлог
управляет действием – знанием существительных.*

Драгомощенко также дает новые толкования известных понятий, которые подчиняются исключительно поэтической логике. Так, раскрытая смысл заглавного термина своей книги «Тавтология», А. Драгомощенко дает такое определение этому явлению: *Тавтология не является мыслимой точкой / равновесия значений, но описанием пространства / между появлением смысла и его расширением <...> Недостаточность, стремясь к полноте, / включает субъект в предложение. / Предложение длится (бежать): продлевать след угасания – / в итоге описано сочетание «заглянуть за часть речи». / Речь расстилает пейзаж факультативности форм.* Если посчитать, то в этой поэтической дефиниции более 11 лингвистических терминов, причем каждый из них получает в контексте стихотворения «Изображение Плантации» метафорическое расширение своего значения.

Все эти преобразования принадлежат сфере метаязыковой рефлексии, которая определяется современными исследователями как «деятельность сознания (индивидуального или коллективного), направленная на осмысление фактов языка/речи и необязательно непосредственно связанная с собственной речевой деятельностью рефлектирующей личности» [Шумарина 2011: 3]. Понятно, что это очень широкое определение, включающее в себя осмысление речевой деятельности как обычным индивидом, строящим свои высказывания, ориентируясь на законы языка, так и творческой личностью, которая порождает текст, нередко нарушая эти законы и создавая новые «воображаемые» факты языка. Конечно, существует еще и метаязыковая рефлексия лингвистов, носящая профессиональный характер и относящаяся к сфере научного творчества. В соответствии с этим можно говорить о так называемой «наивной лингвистике», изучающей непрофессиональные метаязыковые представления носителей языка, и так называемой «лингвистике поэта», подразумевающей существование рефлексивной деятельности не только по оценке и интерпретации фактов языка, но и креативной составляющей этого процесса, приводящей к семантическим трансформациям исходных единиц языка и возникновение новых, вызывающих появление особой метаязыковой картины мира. При этом, поскольку многие современные поэты являются одновременно и филологами, «лингвистика поэта» во многом смыкается с лингвистической поэтикой, которой свойственен профессиональный подход к языку, а стремление поэтов дать философское понимание фактов языка смыкается ее и с философией, для которой рефлексия является основополагающим видом деятельности по осмыслению основ человеческого существования, текстов и культуры в целом.

В целом, метаязыковая рефлексия принадлежит сфере метакогнитивной деятельности. С точки зрения языкознания, пишет Е.С. Кубрякова, лингвистическое метапознание есть «область лингвистического знания, которое достигается в процессе познания самого языка» [Кубрякова 2009: 22]. Особенность метакогниции в лингвистической сфере заключается в том, что язык одновременно является и предметом, и инструментом анализа, таким образом, познавательные процессы трансформируются в метапознавательные. Поэтому Кубрякова отмечает, что металингвистическая функция языка делает его «уникальным объектом в онтологии мира» [Там же: 24] (см. также [Остапенко 2014: 20])¹.

Поскольку рефлексия фиксируется в поэтических текстах в процессе их порождения и осмысления языковых стратегий, можно предположить, что в этом случае поэтическая, метаязыковая и когнитивная функции языка вступают в тесную интеракцию. В связи с этим можно особо выделить феномен или жанр авторефлексивной поэзии. Под авторефлексивной поэзией (*self-reflexive poetry*) А. Вебер [Weber 1997: 9–24] понимает все произведения, в которых основной темой является «поэт, вовлеченный в творческий процесс, отображение самого процесса написания стихотворения или процесса порождения структуры самого стихотворения. Таким образом, все авторефлексивные стихотворения по своему доминантному объекту являются составляющими поэтики поэта (*poet's poetics*)». Такого же мнения придерживаются и российские ученые: «В процессе написания произведения автор постоянно осуществляет рефлексию над творчеством. Авторский код в наибольшей полноте содержится в метаязыке поэтического текста и выявляется в процессе анализа рефлексии, то есть самоинтерпретации, которая осуществляется поэтом на протяжении всего творчества, причем не всегда осознанно» [Штайн, Петренко 2006: 18].

В процессе такой рефлексии порождается новое, «креативное» знание, отражающее эстетический (поэтический) способ освоения действительности. «Специфика этого способа отображения проявляется в его образном характере. Если сравнивать два таких креативных способа осмысления действительности, как научный и художественный, то различие между ними проходит по линии своеобразия мышления: научные знания представляют собой “мышление в понятиях”, а художест-

¹ Одной из целостных работ метакогнитивного плана является кандидатская диссертация [Тавдгиридзе 2005]. См. также работы [Тавдгиридзе, Стернин 2006; Одинцова, Шatroва 2004].

венные знания – “мышление в образах”. Соответственно, в первом случае реализуется интеллектуально понятийная (теоретическая) сторона познавательной деятельности человека, а во втором случае – чувственно-образная» [Шарандин 2012: 22]. Однако когда речь идет о терминах, то эти две стороны познавательно-креативной деятельности смыкаются. Благодаря образному переносу термины, не теряя своего исходного значения, получают расширительное толкование и становятся понятиями креативной поэтики.

В этом смысле В.А. Маслова [2012: 143–144] предлагает выделить особую «поэтическую лингвистику» как третью реальность в терминах Ю.С. Степанова. Автор пишет, что «в поэзию проникают лингвистические знания, которые становятся основой для порождения новых поэтических текстов, новых образов. Лингвистика и поэзия, поэтический дискурс и поэтическая лингвистика все более взаимодействуют, сливаются, научные знания дополняются образно-поэтическими, происходит их интеграция; завершается, говоря словами Ю.С. Степанова, “стирание границ между наукой и искусством”» [Там же: 147].

Литература

- Демьянков В.З. Семантические роли и образы языка // Язык о языке. М., 2000.
- Демьянков В.З. Лексема язык в художественных произведениях А.С. Пушкина // А.С. Puškin und die kulturelle Identität Rußlands. Frankfurt am Main etc., 2001.
- Демьянков В.З. Соотношение обыденного языка и лингвистического метаязыка в начале XXI века // Языкознание: Взгляд в будущее. Калининград, 2002.
- Демьянков В.З. Образы языка в контрастивном освещении // Критика и семиотика. № 2, 2014.
- Кубрякова Е.С. О когнитивных процессах, происходящих в языке // Исследование познавательных процессов в языке. Серия «Когнитивные исследования языка». М.; Тамбов, Вып. 5, 2009.
- Маслова В.А. Поэтическая лингвистика как «стирание границ между наукой и искусством» (Ю.С. Степанов) // Критика и семиотика. Вып. 17, 2012.
- Одинцова М.П., Шатрова Е.В. Образы языка в научном, обыденном и художественном дискурсах // Вестник Омского университета, 2004. № 2.

- Остапенко Д.А.* Функциональная и структурная характеристика мета-текста (на материале переводческих предисловий и примечаний). Дисс.... канд. филол. наук. Воронеж, 2014.
- Скидан А.* АТД: возможность иного // Драгомощенко А. Тавтология. М., 2011.
- Тавдгиридзе Л.А.* Концепт «Русский язык» в русском языковом сознании. Дисс.... канд. филол. наук. Воронеж, 2005.
- Тавдгиридзе Л.А., Стернин И.А.* Русский язык // Антология концептов. Т. 3. Волгоград, 2006.
- Шарандин А.Л.* Когнитивная поэтика в системном описании поэтического языка // Вестник Тамбовского государственного университета. Вып. 10 (114), 2012.
- Штайн К.Э., Петренко Д.И.* Язык метапоэтики и метапоэтика языка // Метапоэтика: сборник статей научно-методического семинара «Textus». Ставрополь, Вып 1. 2008.
- Шумарина М.Р.* Метаязыковая рефлексия в фольклорном и литературном тексте. Автореферат дисс.... докт. филол. наук. М., 2011.
- Weber A.* Towards a Definition of Self-Reflexive Poetry // Poetics in the Poem: Critical Essays on American Self-Reflexive Poetry. New York, 1997.

И.В. Зыкова

К проблеме конвертируемости терминов при построении метаязыка междисциплинарной науки¹

Наблюдаемое в настоящее время усиление интеграционных процессов в мировой науке и мировом сообществе приводит к образованию наук нового поколения, отличающихся особым междисциплинарным характером, и, соответственно, к определенной перестройке общей системы научного знания. В свое время Ж. Пиаже указывал на то, что «нельзя ничего понять в классификации наук, если ее рассматривать статично, в то время как познание находится в вечном становлении или в непрерывном формировании» [Цит. по Ананьев 2001: 29]. Одним из свидетельств этого процесса является возникновение в качестве «новых» связующих звеньев целостной архитектуры научного познания на новейшем этапе его эволюции различных междисциплинарных наук² (см., например, [Fuchsman 2012; Newell 2013; Repko, Szostak 2017; Weingart 2010]). По определению, данному в [ОНИ 2010: xxx], междисциплинарное знание сегодня – это знание, которое связывает научные дисциплины (disciplines) и междисциплинарные области (interdisciplinary fields) и объединяет науку и общество в целом. А. Репко и Р. Шостак подчеркивают также, что «дисциплины, прикладные науки и междисциплины» не имеют жестких границ и не являются неизменяющимися, а, напротив, представляют собой эволюционирующие социальные и интеллектуальные конструкты [Repko, Szostak 2017: 6].

Проблема того, как новые «синтезы» знаний изменяют облик современной науки, ее внутреннее устройство, получает всестороннее освещение в значительном числе научных трудов (см., например, [Демьянков и др. 2015; Постовалова 2015; ПФНК 2009; Стёпин 2015а; 2015б;

¹ Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № 14–28-00130) в Институте языкознания РАН.

² В англоязычной литературе аналогом термину «междисциплинарная наука» является термин «interdiscipline».

Телия 2002; Vammer 2005]). В рамках данной проблемы особое положение занимает вопрос о том, как в новых цивилизационных условиях научного развития социума происходит формирование понятийно-терминологического аппарата наук и в особенности междисциплинарных наук. По мнению современных исследователей, сама междисциплинарность зиждется на терминах (или понятиях), существующих как бы «на стыках» разных научных дисциплин благодаря их циркуляции или распространению, переходу из одних областей научного знания в другие (см., например, [Bal 2002]). В связи с этим один из векторов теоретического осмысления указанного вопроса нам видится в обращении к изучению **специфики конвертируемости терминов**, под которой понимаются с учетом этимологии слова *конвертировать* (от лат. *convertere* – ‘изменять, превращать’) различные формы и степень преобразования (или изменения) терминов, обусловленного их функционированием в «новой» междисциплинарной области научного знания и необходимостью адаптации к теоретическо-методологическим задачам «новой» междисциплинарной науки. Изучение данной проблемы проводилось нами в рамках исследования процесса построения метаязыковой системы такой относительно молодой междисциплинарной науки, как лингвокультурология.

Для изучения характера конвертируемости терминов необходимо прежде всего прояснить ряд взаимосвязанных вопросов: 1) что представляет собой процесс создания метаязыка междисциплинарной науки; 2) что представляет собой междисциплинарный термин; 3) как проходит специализация терминов, «перенесенных» в конкретную междисциплинарную область знания, которая сопровождается их определенным изменением (или преобразованием). Остановимся последовательно на каждом из этих трех вопросов.

1. Как уже отмечалось в ряде наших публикаций [Зыкова 2016; 2017], специфику метаязыка современных междисциплинарных наук составляют такие способы его построения, в которых актуализируется идея ‘переноса’ или ‘перехода’, получающая вербальную репрезентацию в целой серии терминологических номинаций (например, «перевод», «трансфер», «транспонирование», «трансмиссия», «циркуляция», «транспозиция» и под.), на базе которых предпринимаются попытки осмыслить глобальные процессы и тенденции организации и эволюции научных знаний новейшего периода (см., например, [Демьянков 2016; Ирисханова, Киосе 2016; Постовалова 2015; Фещенко 2016]). Особый интерес представляет, в частности, подход В.З. Демьянкова, который различает межпоколенный трансфер знаний и междисциплинарный

трансфер знаний, подчеркивая при этом их взаимозависимость и условность проводимой между ними границы. По мнению исследователя, междисциплинарный трансфер знаний – это «перенос теоретических достижений из одной научной дисциплины в другую, когда происходит приращение объяснительности и для облагодетельствованной дисциплины, и для дисциплины-донора» [Демьянков 2016: 71]. Особое внимание В.З. Демьянков уделяет двум видам трансфера знаний, в частности, в лингвистике. Один вид, согласно автору, связан «с экспортом достижения лингвистической мысли за пределы языкознания, когда лингвистический анализ используется, например, в литературоведении или в философии»; другой вид – напротив, с импортированием в языкознание свежих идей и теоретических конструкций извне, например из математики, литературоведения и т.п. [Там же: 66]. Как указывает В.И. Постовалова, «активные процессы в культуре – построение, развертывание и проектирование новых дисциплин и направлений, а также интенсивные контакты различных областей знаний и социокультурной деятельности человека выдвигают в число актуальных проблем современного гуманитарного познания исследование процессов трансферизации, или трансфера знаний (от лат. *transferre* – ‘переносить’, ‘направлять’)» [Постовалова 2015: 49].

Обобщение проводимых в настоящее время исследований позволяет сформировать представление о новых технологиях построения понятийно-терминологического аппарата наук междисциплинарного типа, которые базируются на сопряжении или интеграции гомогенных (однородных), а также и гетерогенных (разнородных) знаний разных наук в рамках взаимодействия таких глобальных факторов, как культура, история, социум и язык, а также на учете особенностей становления и (со-)существования культурных традиций научного познания различных объектов мира, развиваемых в разных национальных обществах. Одной из таких технологий построения метаязыка междисциплинарных наук является междисциплинарный трансфер.

Предпринятое нами исследование в области лингвокультурологии позволило выработать определенное понимание междисциплинарного трансфера [Зыкова 2017]. С опорой на полученные результаты можно утверждать, что междисциплинарный трансфер является одной из ведущих технологий метаязыкового творчества; многоэтапным, достаточно сложным и протяженным во времени процессом построения метаязыка лингвокультурологии. Одним из главных принципов его действия является интегрирование знания или достижений разных наук (прежде всего наук-оснований лингвокультурологии), на базе кото-

рого вырабатываются собственно терминологические понятия лингвокультурологии, совокупно образующие иерархически организованную систему – ее метаязык. Особо подчеркнем, что междисциплинарный трансфер – это не столько перенос термина (или понятия) из одной метаязыковой системы в другую, сколько многократная конвертация вербально воплощенного знания, в ходе которой формируются термины лингвокультурологической науки, призванные служить «инструментом» познания комплексного лингвокультурологического объекта и многомерной лингвокультурологической реальности. Данный процесс непременно охватывает общеисторический культурный и научный фон и социальный контекст происходящих переносов терминов, учитывает движущие силы, причины и следствия этих переносов, а также эпистемологическое соответствие трансформируемых терминов исследовательским программам, целевым научно-исследовательским установкам и объектно-предметным ориентирам с задачей эффективной выработки нового знания в междисциплинарной реципиенте, в качестве которой выступает в данном случае лингвокультурология. Таким образом, междисциплинарный трансфер можно в целом определить не как однонаправленный процесс переноса терминологических понятий в метаязыковую систему лингвокультурологической науки, а как особый технологический процесс многократной и разновекторной конвертации вербально воплощенного знания, в результате которого формируется сложно устроенная метаязыковая система активно развивающейся междисциплинарной науки – лингвокультурологии и посредством которого в ней производится новое знание как новый значимый сегмент общенаучного фонда.

Представленное понимание междисциплинарного трансфера логично выводит на первый план вопрос о том, являются ли входящие в состав метаязыка лингвокультурологии единицы **междисциплинарными терминами**. Ответ на данный вопрос во многом зависит от того, как определяется междисциплинарный термин.

2. Для получения наиболее полной картины понимания сущности и отличительных особенностей междисциплинарных терминов представляется целесообразным совместить два ракурса их рассмотрения – общеметодологический (т.е. с позиции общей теории систем) и частнометодологический (т.е. с позиции общей теории терминологии и общего языкознания).

С позиции общей теории систем междисциплинарные термины могут быть сопоставлены с мигрирующими элементами систем. Например, как указывает Е.Г. Суздалов, существуют такие элементы, которые

могут принадлежать сразу нескольким системам, т.е. «одни и те же элементы могут мигрировать из системы в систему, участвуя в функционировании каждой из них, используя соответствующие свои свойства» [Суздалов 2010: 13]. Особенность данных элементов, по мысли исследователя, заключается в том, что «они имеют расширенный набор свойств, позволяющий в одной системе реализовать одну функцию, а в другой системе – другую». Иначе говоря, согласно автору, «систем несколько, а элемент один и тот же, но многофункциональный и подвижный. Отсюда следует, что несколько систем могут быть функционально связаны не только операциями, выполняемыми совместно их элементами, но и через элементы, принадлежащие сразу нескольким системам» [Там же: 13]. В силу своей специфики в ряде проводимых сегодня исследований междисциплинарные термины (или понятия) получают наименование «номадических» (иначе говоря, «кочевых»). Так, в работе [Darbellay 2012] отмечается, что «номадические понятия» представляют собой эффективные эвристические инструменты (*effective heuristic tools*), позволяющие возвести междисциплинарные или трансдисциплинарные «мосты» между самыми разными науками.

С точки зрения их общенаучной значимости междисциплинарные термины оцениваются как средства определенной степени эффективности в достижении научного консенсуса между представителями разных наук, в преодолении границ их (узко)специализированной научной сферы на пути к построению системы единого или целостного знания о реальности – одной из сверхглобальных задач современности. Возможно, что сам факт наличия междисциплинарных терминов есть свидетельство такого происходящего процесса, который можно было бы определить вслед за Т.В. Булыгиной, перефразируя ее выражение «языковедческая девавилонизация», как «метаязыковая девавилонизация». Показательно, что, как указывает В.И. Постовалова, «вопрос о “языковедческой девавилонизации” возникает у Т.В. Булыгиной¹ при осмыслении принципа плюрализма в лингвистическом описании, а именно осмысления существования множественности взглядов на лингвистическую реальность, следствием чего является ситуация непонимания среди ученых, работающих в разных парадигмах научного познания и пользующихся различными метаязыками» [Постовалова 2016: 92]. Согласно В.И. Постоваловой, «языковая (языковедческая) девавилонизация» в пространстве современного научного дискурса понимается как «образ преодоления непонимания и разделения, вызванного

¹ См. подробнее в [Булыгина 1964; 1977].

“концептуальным многоязычием”, – существованием множества языков, метаязыков и мировидений в символическом Универсуме человека, включая и языковое миропонимание» [Там же]. Особо примечательным представляется то, что, как пишет автор, «в масштабе гуманитарного познания в целом, согласно проекту Т.В. Булыгиной, условием для осуществления такой общелингвистической “языковедческой девавилонизации” станет становление общего словаря метатерминологии соответствующих школ в данной дисциплине или комплексе дисциплин» [Там же: 93].

При взятии такой перспективы видения исследуемой проблемы междисциплинарные термины представляются результатами (как было сказано выше) так называемой «метаязыковой девавилонизации» – цивилизационно и культурно обусловленного процесса взаимодействия и интеграции метаязыков разных (меж)дисциплинарных наук. Однако насколько междисциплинарные термины могут служить своего рода «концептуальными скрепами», «сплачивающими» различные науки, выстраивающими между ними конструктивный диалог (или, напротив, могут приводить к их «разобщению» или конфронтации) – это вопрос, который открыт сегодня для широкой научной дискуссии и требует, несомненно, дальнейшего всестороннего изучения. Поскольку последнее не входит в задачи настоящего исследования, мы перейдем к рассмотрению междисциплинарных понятий во втором отмеченном выше (т.е. частнометодологическом) ракурсе.

С позиции общей теории терминологии и общего языкознания под междисциплинарными¹ имеются в виду такие термины (или понятия), которые используются одновременно (или параллельно) в разных областях знания, каждый раз конкретизируясь в их терминосистемах. К числу таких терминов относятся, например, «информация», «класс», «технология», «моделирование» и др. [Лейчик 2007]. По мнению О.К. Ирисхановой и М.И. Киосе, статус междисциплинарных получают те из терминов, которые пересекают границы разных наук и, внедряясь в них, становятся, таким образом, неотъемлемой частью понятийно-терминологического аппарата целого ряда научных дисциплин (например, «инференция», «событие», «фигура»). Такие междисциплинарные переходы сопровождаются, как отмечают авторы, двумя важными процессами. С одной стороны, подобные термины расширяют свое значение, а, с другой

¹ Необходимо особо отметить, что междисциплинарные термины следует отличать от терминов-омонимов, или омонимичных терминов или понятий, терминов-дублетов, терминов-вариантов (см., например, [Иванов 2004; Суперанская и др. 2012]).

стороны, в контексте определенной дисциплины (или даже теории или концепции) они получают специфическую трактовку. В результате междисциплинарный термин имеет некоторое множество вариантов понимания, в рамках которого представляется возможным выделить так называемый «кросс-дисциплинарный инвариант». Кросс-дисциплинарный инвариант, согласно О.К. Ирисхановой и М.И. Киосе, «либо существует на уровне общеязыкового неспециализированного значения, либо может рассматриваться как условная совокупность специальных значений термина во всех его вариантных проявлениях в разных дисциплинах» [Ирисханова, Киосе 2016: 151]. По мысли исследователей, «именно благодаря подобной, пусть весьма абстрактной и размытой, инвариантной схеме становится возможным диалог разных научных дисциплин <...>» [Там же]. Так, при анализе междисциплинарного термина «инференция» в качестве инвариантного определения авторы используют философское определение Р. Брэндома. При этом, по замечанию исследователей, в современном когнитивном понимании данный термин вобрал в себя смыслы интерпретационной семантики, эпистемологии, модальной логики выводного знания и др.

Таким образом, рассмотрение междисциплинарных терминов неизбежно помещает в фокус внимания пути их дальнейшей частнонаучной специализации в рамках конкретных научных дисциплин. Стоит особо подчеркнуть, что значимость процесса специализации настолько велика, что ставится порой под сомнение само наличие такого рода терминов (или понятий), как междисциплинарные термины. Так, согласно существующему мнению, при вхождении в понятийно-терминологический аппарат конкретной (меж)дисциплинарной науки степень специализации термина не только может быть, но и фактически является такой, что он, наполняясь определенным индивидуальным (специализированным) содержанием, не может рассматриваться как междисциплинарный (см., например, [Суперанская и др. 2012]). Не вступая в полемику со сторонниками такого подхода, лишь наметим ряд критериев, по которым нам представляется возможным относить или не относить определенный термин к разряду междисциплинарных: значительная распространенность термина в разных научных областях, широкий диапазон функциональной значимости конкретных терминов в разных научных областях, определенная степень их частнонаучной ассимиляции (или адаптированности), которая детерминируется во многом степенью сохранения их структурно-содержательной связи с родовым (исходным) термином, а также и с другими его видовыми вариантами. Принимая во внимание данные критерии при

изучении метаязыка лингвокультурологии, мы можем говорить о том, что входящие в его состав термины, обладая своей особой лингвокультурологической спецификацией, тем не менее соответствуют статусу междисциплинарных терминов (см. подробнее [Зыкова 2017]). При этом рассмотрение того, как протекает **процесс специализации** такого рода терминов в лингвокультурологии, составляет отдельную задачу нашего исследования, решение которой позволяет прояснить вынесенную в качестве заголовка данной статьи проблему конвертируемости терминов в ходе конструирования метаязыковой системы междисциплинарной науки.

3. Специализация «перенесенного» в лингвокультурологию термина представляет собой процесс, проявляющийся в преобразовании двух **взаимообусловленных его сторон – структуры и содержания**. Кратко осветим результаты исследования специфики формирования ядра метаязыковой системы лингвокультурологической науки, которое складывается из наиболее релевантных, базисных терминологических понятий, которые мы называем **константами лингвокультурологии**. Нами были проанализированы по определенному выработанному в работе алгоритму структурные и содержательные аспекты следующих констант: «личность», «культура», «(лингво)культурный концепт», «культурная память», «культурная информация», «концептосфера культуры» и «лингвокреативность».

3.1. При построении метаязыка любой междисциплинарной науки принципиальной значимостью обладает специализация языковой формы «транспонированного» в нее термина, точнее – степень, объем и векторы этой специализации. Соответственно, в лингвокультурологии одним из первостепенных встает вопрос о выборе той языковой формы, в которой тот или иной термин становится именно лингвокультурологическим термином (константой лингвокультурологии), или другими словами, посредством которой тот или иной термин отличается от других похожих (близких, смежных и т.д.) терминов иных (меж)дисциплинарных наук, символизируя именно лингвокультурологическую специфику познания разнообразных культурных и языковых процессов как результатов деятельности человека (социума, народа).

Стоит отметить, что проблема выбора определенной языковой формы для термина, выступающего константой лингвокультурологической науки, достаточно сложна и представляет собой, по сути, важнейшую проблему, связанную с конвенционализацией определенных языковых форм метаединиц лингвокультурологической науки. При ее изучении в фокусе внимания оказывается серия аналогичных вопросов о том, какая

личность, какая культура, какого рода память, какой концепт и т.д. изучает лингвокультурология, т.е. личность вообще, или какой-то конкретный тип, или какую-то конкретную разновидность личности?; культуру вообще или культуру определенным образом понимаемую?; информацию как таковую или информацию определенного рода? и т.д.

Следует признать, что при рассмотрении данных вопросов разные исследователи-лингвокультурологи могут, возможно, при принятии определенного терминологического понятия нормативным прийти к разным решениям, зависящим от самых разных факторов (от приверженности к определенной лингвокультурологической школе до личных научных интересов, предпочтений исследователя). С нашей точки зрения, в лингвокультурологической специализации терминов необходимо учитывать следующие факторы. Такие термины, как «личность» и «культура», а также и «язык», имеют отношение к феноменам – *личности*, *культуре* и *языку*, которые в своем взаимодействующем единстве составляют комплексный объект лингвокультурологической науки. Данный факт является, по нашему мнению, одним из весомых аргументов в пользу принятия в рамках лингвокультурологии именно таких – наиболее общих по своей структуре языковых форм данных трех базисных терминов (или констант). При этом, что особенно важно подчеркнуть, их специализация не исключается. Напротив, она может (и, как кажется, должна) проходить на уровне разработки частной лингвокультурологической методологии. Очевидно, что, будучи центральными функционально значимыми единицами метаязыка лингвокультурологии, эти термины-константы получают новый вектор развития в рамках разных метадialeктов и метаидиолектов, что логично приводит к их структурному преобразованию. По сути, они реализуют себя именно как родовые термины, порождая новые видовые или аспектные мета-единицы. В частности, в проведенном нами исследовании «личность» конкретизируется до такой ее разновидности, как «культурно-языковая личность», а «культура» – как «культура как информационная система» [Зыкова 2011; 2013; 2017].

Однако иного рода ситуация характерна для остальных исследуемых нами базисных терминологических понятий лингвокультурологии. В отличие от рассмотренных выше базисных терминов, спецификация других констант необходима изначально. Более того, она является неизбежным и вместе с тем вполне естественным процессом. Попадая в лингвокультурологию, такие общие термины, как «концептосфера», «концепт», «память», «информация», «креативность» (или «творчество») призваны служить прежде всего инструментами познания ее комплекс-

ного объекта, с учетом которого они обретают «новые» языковые формы. Иначе говоря, объектом лингвокультурологии, представляющим собой триединство 'язык–культура–личность', создается или задается та система координат, в соответствии с которой и «координируются» формально и содержательно все базисные (а также и остальные) единицы ее метаязыка. В результате этого координационного процесса базисные термины лингвокультурологии (т.е. ее константы) обретают конкретный усложненный языковой облик и предстают в таких формах, как «концептосфера культуры», «(лингво)культурный концепт», «культурная память», «культурная информация», «лингвокреативность»¹.

Принятие конкретной языковой формы того или иного термина-константы лингвокультурологической науки позволяет провести ее деривационный анализ.

В настоящее время можно констатировать наличие значительного числа исследований отечественных и зарубежных авторов, посвященных проблеме терминопроизводства (см., например, [Лейчик 2007; Комарова 1996; Сложеникина 2010; Сорокина 2014; Суперанская и др. 2012; НТ 2015] и многие другие). Не ставя перед собой задачи ее детального рассмотрения, сконцентрируем внимание на наиболее важной информации общего характера, позволяющей проанализировать в этом «деривационном» ключе рассматриваемые нами константы лингвокультурологии.

В современном терминоведении с учетом способа их формирования и сложности их структуры принято выделять два основных класса терминов, служащих вербальными обозначениями определенных понятий. Первый класс включает простые термины (или терминологические понятия), среди которых различают непроеизводные (состоящие из одного терминологического элемента, представляющего собой простое слово, например «жанр», «идиома») и производные термины (состоящие из

¹ В.М. Лейчик обращает особое внимание на специфический принцип формирования терминологических понятий в комплексных или стыковых областях научного знания. Он пишет, в частности, о том, что «соединение достижений двух и более областей в одной сфере современной науки <...> приводит к формированию объединенной совокупности терминов. Причем во многих случаях термины новой области являются двучленными, органично сочетающимися термин одной области с термином другой. Поэтому данный принцип можно назвать принципом объединения» [Лейчик 2007: 133]. Другими словами, в междисциплинарных науках происходит усложнение объекта, которое обуславливает структурно-содержательное усложнение терминологических понятий, обозначающих данный объект, или его аспекты, или связанные с ним (т.е. этим объектом) явления.

нескольких терминологических элементов, вместе представляющих собой сложное слово, например «заднеязычный», «лексико-грамматический»). Как указывает В.М. Лейчик, производные термины обозначают видовые или аспектные понятия, сопоставляемые с главными (ядерными) понятиями определенной системы понятий [Лейчик 2007]. Они создаются посредством таких основных способов, как аффиксация и словосложение, а также аббревиация, усечение, сложное сокращение, телескопия и др. (см. подробнее, например, в [Лейчик 2007; Новодранова 2008; Татаринцов 2006; Трубочев 2008]). Второй класс образуют составные (или сложные, композитные) термины (или терминологические понятия), состоящие из нескольких терминологических элементов-слов и представляющие собой терминологические словосочетания или терминологические фразы, например «фразеологическая единица», «внутренняя лингвистика» (см. подробнее [Ахманова 1969; Лейчик 2007; Немченко 2008]). По определению, к примеру, В.М. Лейчика, сложные термины «обозначают сложные понятия, которые представляют собой арифметическую сумму по крайней мере двух» главных (ядерных) или производных понятий определенной системы понятий [Лейчик 2007: 127].

С учетом данной информации нами были выявлены следующие структурно-derivационные отличия анализируемых терминов-констант лингвокультурологии. Константы «личность», «культура» и «лингвокреативность» по своей языковой форме относятся к числу простых терминологических понятий, характеризующихся разными способами образования. В отличие от первых двух констант «лингвокреативность» сложнопроизводна, о чем свидетельствует наличие у нее другой (полной) языковой формы – «лингвистическая креативность», в соответствии с которой она может быть также отнесена, наряду с такими терминами, как «культурная память» и «культурная информация», к классу составных терминов (или терминов-словосочетаний). К этому же классу принадлежат и константы «концептосфера культуры» и «(лингво)культурный концепт». Однако последние термины обладают более сложными языковыми формами. Формальная структура константы «концептосфера культуры» отличается тем, что она восходит к такому терминологическому выражению, как «концептуальная сфера культуры». Формирование же языковой формы лингвокультурологического термина «(лингво)культурный концепт» может иметь ряд структурных интерпретаций. Она может рассматриваться либо как результат сращения (синтеза) двух терминологических словосочетаний – «вербальный (или лингвистический) концепт» и «культурный концепт», либо как результат редукции и композиционного преобразования такой терми-

нологической фразы, как «вербально воплощенный культурный концепт» (в таких ее вариациях, как «культурный концепт, имеющий вербальное воплощение», или «культурный концепт, объективированный языковыми знаками» и проч.).

Изучение структурных особенностей языковых форм базисных терминов лингвокультурологии позволяет выделить в них не только структурно, но и семантически опорный элемент (или точнее, терминоэлемент, представляющий собой, по сути, родовой термин¹), что позволяет перейти на другой – семантический – уровень их анализа.

3.2. В процессе миграции термина можно выделить три ключевых этапа, оказывающих решающее воздействие на развитие его семантики. Эти этапы определяются следующей последовательностью его переносов: 'общезыковой узус > основной (или первичный) научный узус > частнонаучный (или узкоспециализированный) узус'. Соответственно, получение исчерпывающей информации о содержательных преобразованиях констант лингвокультурологии, обуславливающих специфику их конвертируемости, обеспечивается посредством последовательного рассмотрения: во-первых, первичных значений слов, выступающих родовыми терминоэлементами констант; во-вторых, дефиниций родовых терминов как в науках, предпринявших первые попытки осмысления соответствующих явлений и послуживших «отправной точкой» дальнейшего распространения их терминологических обозначений (такие науки можно охарактеризовать как науки-источники, науки-доноры), так и в науках-основаниях лингвокультурологии (к такому относятся главным образом философия, культурология, лингвистика); в-третьих, подходов к определению констант в лингвокультурологических работах. Продемонстрируем данные этапы семантического анализа и получаемые результаты на примере константы «культурная информация».

В качестве главного источника сведений о первичных значениях любого термина выступают этимологические словари русского языка. Так, в результате изучения константы «культурная информация» было

¹ Примечательным в этой связи является замечание В.М. Лейчика, который подчеркивает, что «вся совокупность терминов, входящих в систему, семантически подчинена некоторым "центральным" терминам, обозначающим основные понятия одной теории. В соответствующей области знаний и (или) деятельности могут появляться новые достижения, развиваться новые направления, требующие обозначения новых понятий; но термины, обозначающие эти понятия, исходят из ранее отобранных» [Лейчик 2007: 134].

установлено, что родовой терминологический элемент «информация», согласно этимологическим лексикографическим изданиям [ЭСРЯФ; ЭСРЯ], происходит от латинского слова *informātiō*. В русский язык это слово попадает во времена Петра I через польский язык – *informacja*. Как отмечает автор словаря [ЭСРЯ], в латинском языке *informātiō* имеет значение ‘представление’. В польский язык оно заимствуется из латинского со значением ‘сведения о ком или о чем-либо’. Кроме того, с учетом двух весьма релевантных факторов – широкого культурно-языкового ареала терминологического элемента «информация» и его распространенности и значимости в разных национальных научных традициях, находящихся в тесном контакте с отечественной наукой, сведения из русскоязычных источников дополняются (или уточняются) данными, приводимыми в этимологических словарях других языков. К примеру, в англоязычном лексикографическом издании [OEtD] указывается, что “*information* – late 14 c., *informacion*, ‘act of informing, communication of news,’ from Old French *informacion*, *enformacion* ‘advice, instruction,’ from Latin *informationem* (nominative *informatio*) ‘outline, concept, idea,’ noun of action from past participle stem of *informare* ‘to train, instruct, educate; shape, give form to’ (see *inform*) <...>”. Следует отметить, что обращение к этимологическим словарям других языков становится фактически неизбежным в тех случаях, когда терминологический элемент является современным заимствованием (как, например, в случае с термином «креативность»).

Последующий анализ дефиниций «информации», разработанных в науках-источниках данного термина (или науках-донорах) и науках-основаниях лингвокультурологии, позволяет прояснить пути и особенности его специализации, приводящей к определенным преобразованиям в его семантике. Так, «информация» считается центральным термином математики, кибернетики и информатики. Одна из первых попыток его формализации была предпринята К. Шенноном, Р.А. Фишером и Н. Винером. Как указывает А.Д. Урсул, «истоки представления об информации уходят в глубь веков <...> И все же подлинная история теории информации начинается с 1948 г., когда независимо друг от друга К.Э. Шеннон, Р.А. Фишер и Н. Винер предложили статистическое определение количества информации (К.Э. Шеннон, 1963; Р.А. Фишер, 1961; Н. Винер, 1968) <...>» [Урсул 1971: 5]. Далее автор замечает, что теория информации шире наук, ее основавших, она может проникать «в любую науку, а не только в такую, которая связана с изучением процессов связи и управления» [Там же]. С точки зрения исследователя, теория информации «включена» во многие науки о природе, обществе и познании (мышлении) (или является их неотъемлемой частью). Кроме

того, понятие информации может рассматриваться как «приближающееся к философским категориям» [Там же]. Как указывается в философском словаре [ФЭС], «развитие понятия информации в современной науке привело к появлению ее различных мировоззренческих, в особенности философских, интерпретаций (трансцендентальная, т.е. сверхъестественная, природа информации в неотоцизме; информация как субъективный феномен в неопозитивизме и экзистенциализме и т.д.)». В последнее время в философских исследованиях, согласно К.К. Колину, активно развивается новое направление, которое получает название философия информации [Колин 2010]. Таким образом, начиная свой научный путь в математике и кибернетике, термин «информация» продолжает свое смысловое развитие в философии, культурологии, лингвистике – науках-основаниях лингвокультурологии, а также в психологии, социологии, когнитивистике, семиотике и некоторых других науках. Показательно с этой точки зрения сравнение определений «информации», используемых, к примеру, в математике, кибернетике и культурологии, ср.: информация – ‘математическая величина, выражающая вероятность появления определенной последовательности символов, импульсов и т.д. в отличие от альтернативных последовательностей’ [EOLD] vs. информация – ‘мера неоднородности распределения материи и энергии в пространстве и во времени, мера изменений, которыми сопровождаются все протекающие в мире процессы’ [Глушков 1986: 14] vs. информация – ‘1) любые сведения, данные, сообщения, передаваемые посредством сигналов; 2) уменьшение неопределенности в результате передачи сведений, данных, сообщений – в этом качестве информация противопоставляется энтропии’ [КХХС 1997: 156].

И, наконец, заключительный этап семантического анализа состоит в сопоставительном изучении подходов к пониманию термина «культурная информация», разрабатываемых в лингвокультурологических исследованиях. Согласно полученным данным, на характер специализации терминов в лингвокультурологии влияют по меньшей мере два фактора.

Прежде всего, значительную роль в выработке лингвокультурологического понимания терминов играют близкие или родственные им терминологические понятия, также используемые в работах лингвокультурологического цикла. Так, исследование показало, что константа «культурная информация» коррелирует в лингвокультурологических исследованиях со следующими двумя группами терминов, которые можно квалифицировать как ее видовые варианты: 1) «культурная информация» vs. «культурная коннотация», «культурные смыслы», «культурный

фон», «фоновые знания», «фоновая информация»; 2) «культурная информация» vs. «социокультурная информация», «этнокультурная информация». Сравнительное изучение дефиниций данных терминов приводит к выводу о том, что каждая константа лингвокультурологии вместе со своими видовыми вариантами представляет собой отдельную микросистему, которая отражает определенный фрагмент весьма сложной общей сетки лингвокультурологических знаний. Вдобавок сопоставление их современных интерпретаций способствует выходу на более глубокий (концептуальный) уровень анализа семантики конкретной константы, выявлению более тонких «нюансов» содержания последней, позволяющих оценить в деталях ее отличительные черты и степень ее семантического преобразования в лингвокультурологии. К примеру, как указывает Е.О. Опарина, понятие «культурный фон» является более частным понятием «культурной информации», поскольку культурная информация может быть представлена в знаках языка посредством разных способов, в частности через культурный фон. Согласно автору, культурный фон – это «характеристика лексем и фразеологизмов, обозначающих явления социальной жизни и исторические события. Этот тип культурной информации <...> локализуется в денотативном компоненте значения, однако, в отличие от него, имеет ярко выраженную идеологическую направленность» [Опарина 1999: 34–35]. Примерами, с точки зрения Е.О. Опариной, могут служить «фразеологизмы *серп и молот, британский лев* или лексема *красно-коричневые* – название, закрепившееся за сторонниками национал-патриотического движения в России 90-х годов» [Там же].

Помимо этого, определенное направление специализации константы получают под влиянием частной лингвокультурологической методологии. К примеру, в рамках созданной в нашем исследовании методологии лингвокультурологического изучения фразеологии была разработана развернутая дефиниция «культурной информации», в соответствии с которой она определяется как ‘ценностное содержание культуры определенного сообщества, которое образуется в результате познания представителями этого сообщества мира и составляет одновременно его (т.е. познания) основу, которое характеризуется определенной концептуальной оформленностью и концептуальной упорядоченностью, способствующими его сохранению (или обеспечивающими его сохранение), и имеет разнообразные (вербальные и невербальные) средства передачи (трансляции)’ [Зыкова 2015: 325].

Таким образом, выделенные этапы семантического анализа позволяют увидеть процесс специализации содержания определенного

термина (константы лингвокультурологии, в частности) в динамике. Обобщение результатов, полученных на всех этапах, раскрывает степень, характер и направление смысловых изменений исследуемых терминов-констант лингвокультурологии, вызванных их последовательными переносами в определенные области научного знания и необходимостью адаптации к новым условиям функционирования в них.

Подводя итог всему вышесказанному, мы приходим к заключению о том, что метаязык междисциплинарной науки формируется посредством многократно осуществляемого междисциплинарного трансфера терминов, в ходе которого они подвергаются разного рода и в разной мере структурным и семантическим преобразованиям. Всестороннее изучение этих преобразований на примере метаязыка лингвокультурологии позволяет говорить о разной степени их конвертируемости при формировании метаязыковой системы междисциплинарной науки. Как показал проведенный анализ, термины, «перенесенные» в лингвокультурологию из других научных областей, проходят определенный путь структурной и смысловой эволюции, позволяющей им в итоге обрести статус собственно лингвокультурологических терминов, полностью адаптированных для выполнения различных теоретических, методологических и прикладных задач данной междисциплинарной науки.

Литература

- Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. 3-е изд. СПб., 2001.
- Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. 2-е изд., стереотип. М., 1969.
- Булыгина Т.В. Пражская лингвистическая школа // Основные направления структурализма. М., 1964.
- Булыгина Т.В. Проблема теории морфологических моделей. М., 1977.
- Глушков В.М. Кибернетика. Вопросы теории и практики. М., 1986.
- Демьянков В.З. Языковые техники «трансфера знаний» // Лингвистика и семиотика культурных трансферов: Методы, принципы, технологии (коллективная монография). М., 2016.
- Демьянков В.З., Жарова Д.В., Сергеев А.И. Контрастивная лингвистическая психология и психолингвистика // Вопросы психолингвистики, № 2 (24), 2015.
- Зыкова И.В. Культура как информационная система: Духовное, ментальное, материально-знаковое. М., 2011.

- Зыкова И.В.* О Личности: Лингвокультурологические заметки // Язык, сознание, коммуникация, Вып. 46, 2013.
- Зыкова И.В.* Концептосфера культуры и фразеология: Теория и методы лингвокультурологического изучения. М., 2015.
- Зыкова И.В.* Формирование метаязыка лингвокультурологии: Принципы междисциплинарного трансфера понятийного аппарата // Лингвистика и семиотика культурных трансферов: Методы, принципы, технологии (коллективная монография). М., 2016.
- Зыкова И.В.* Метаязык лингвокультурологии: Константы и варианты. М., 2017.
- Иванов А.В.* Метаязык фонетики и метрики. Архангельск, 2004.
- Ирисханова О.К., Киосе М.И.* Технологии трансфера междисциплинарных терминов в лингвистику // Лингвистика и семиотика культурных трансферов: Методы, принципы, технологии (коллективная монография). М., 2016.
- КХХС – Культурология. XX век. Словарь. СПб., 1997.
- Колин К.К.* У истоков Российской философии информации // Урсул А.Д. Природа информации: философский очерк. 2-е изд. Челябинск, 2010.
- Комарова А.И.* Язык для специальных целей (LSP): Теория и метод. М., 1996.
- Лейчик В.М.* Терминоведение: Предмет, методы, структура. 3-е изд. М., 2007.
- Немченко В.Н.* Введение в языкознание. М., 2008.
- Новодранова В.Ф.* Именное словообразование в латинском языке и его отражение в терминологии. М., 2008.
- Опарина Е.О.* Лингвокультурология: Методологические основания и базовые понятия // Язык и культура: Сб. обзоров. М., 1999.
- Постовалова В.И.* О путях и принципах трансферизации знания в гуманитарном познании (к постановке вопроса) // Когнитивные исследования языка, Вып. 23, 2015.
- Постовалова В.И.* Проблема взаимопонимания в гуманитарном познании и общении в условиях «концептуального многоязычия» // Лингвистика и семиотика культурных трансферов: Методы, принципы, технологии (коллективная монография). М., 2016.
- ПФНК – Постнеклассика. Философия, наука, культура (коллективная монография) / Ред. Л. Киященко, В. Стёпин. СПб., 2009.
- Сложеникина Ю.В.* Терминологическая вариативность: Семантика, форма, функция. 2-е изд., испр. М., 2010.
- Сорокина Э.А.* Основы теории языка для специальных целей. М., 2014.

- Стёпин В.С. Философия и методология науки (избранные труды). М., 2015а.
- Стёпин В.С. Философская антропология и философия культуры (избранные труды). М., 2015б.
- Суздалов Е.Г. Теория систем и системный анализ (конспект лекций). СПб., 2010.
- Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая терминология: Вопросы теории. 6-е изд. М., 2012.
- Татаринов В.А. Общее терминоведение: Энциклопедический словарь / Российское терминологическое общество РоссТерм. М., 2006.
- Телия В.Н. Объект лингвокультурологии между Сциллой лингвокреативной техники языка и Харибдой культуры (к проблеме частной эпистемологии лингвокультурологии) // С любовью к языку: Сб. науч. трудов. М.; Воронеж, 2002.
- Трубачев О.Н. Труды по этимологии: Слово. История. Культура. Т. 3. М., 2008.
- Урсул А.Д. Информация: Методологические аспекты. М., 1971.
- Фещенко В.В. Концептуализация в гуманитарном знании и в искусстве: маршруты трансфера // Лингвистика и семиотика культурных трансферов: Методы, принципы, технологии (коллективная монография). М., 2016.
- ФЭС – Философский энциклопедический словарь.
URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/
- ЭСРЯ – Этимологический словарь русского языка. Русский язык от А до Я. М., 2003. URL: <http://semenov.academic.ru/>
- ЭСРЯФ – Этимологический словарь русского языка / М.Р. Фасмер. М., 1964–1973. URL: <http://dic.academic.ru/>
- Bal M. Travelling concepts in the humanities: A rough guide. Toronto, 2002.
- Bammer G. Integration and implementation sciences: Building a new specialization // Ecology and Society, 10 (2), 2005.
URL: <http://www.ecologyandsociety.org/vol10/iss2/art6/>
- Darbellay F. The circulation of knowledge as an interdisciplinary process: Travelling concepts, analogies and metaphors // Issues in Integrative Studies, № 30, 2012.
- EOLD – English Oxford Living Dictionaries.
URL: <https://en.oxforddictionaries.com/definition/information>
- Fuchsmann K. Interdisciplines and interdisciplinarity // Issues in Interdisciplinary Studies, № 30, 2012.

HT – Handbook of terminology / H.J. Kockaert, F. Steurs (ed.) Vol. 1. Amsterdam; Philadelphia, 2015.

Newell W.H. The state of the field: Interdisciplinary theory // Issues in Interdisciplinary Studies, № 31, 2013.

OEtD – The Online Etymology Dictionary. URL: www.etymonline.com

OHI – Oxford handbook of interdisciplinarity. Oxford, 2010.

Repko A., Szostak R. Interdisciplinary research: Process and theory. 3rd edition. Los Angeles, 2017.

Weingart P. A short history of knowledge formations // Oxford handbook of interdisciplinarity. Oxford, 2010.

В.В. Фещенко

Философия – эстетика – лингвистика: к истории трехсторонних трансферов¹

Вводные замечания

Среди многообразных научных интересов В.З. Демьянкова значительное место занимают философия языка и лингвистическая философия. Эти два направления исследований отчетливо заявили о себе в 1960-е гг. под флагом «лингвистического поворота» (в первую очередь в книге [The Linguistic Turn 1967]), хотя фактически лингвофилософская проблематика обозначилась еще раньше, в 1920-х, в трудах Л. Витгенштейна, Б. Рассела и некоторых других философов. Если посмотреть еще глубже в историю, выясняется, что вопросы языка волновали философов практически во все времена, начиная с Древней Греции. Однако именно в XX в. «поворот к языку» во многих областях культурной деятельности породил особую сферу лингвофилософских штудий. Как указывается в энциклопедической статье, «язык предстал неотделимым от человеческого сознания, опыта и знания, он вышел в центр философского анализа, превратился в инструмент решения многих философских проблем. Под общее имя “Ф.я.” попадает большое и часто связанное между собой лишь номинально семейство различных теорий и учений о происхождении, природе и функциях языка, которые появились в XX в.» [Демьянков, Степанов 1991: 446]. В более узком смысле используется термин «лингвистическая философия», под которой понимается «философское направление, поставившее своей основной задачей анализ естественного языка строгими методами» [Арутюнова 1990: 269]. Больше всего это направление получило развитие в англосаксонском научном ареале (Германия, Австрия, Великобритания, США), хотя в последнее время сфера лингвофилософских исследований распространяется и за пределы англосаксонского мира (см., например,

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-28-00130) в Институте языкознания РАН.

отечественные работы [Степанов 1998; Соболева 1999; Безлепкин 2001; Медведев 2012; Мечковская 2017; Юрченко 2017]).

Если «лингвистический поворот» стал явлением в истории философии, то мы можем говорить и о других «поворотах к языку» в культуре последних двух веков. «Лингвистический поворот мысли, а точнее, поворот мысли в сторону языка, означал повышенное внимание к языку, к тому, как глубины языка проявлены в дискурсе гуманитарных наук – в философии, литературе, истории, социологии» [Демьянков 2016: 76–77]. В частности, языковая проблематика выходит на один из первых планов в художественной литературе модернизма и авангарда. Одновременно с этим зарождаются и лингвистические теории художественного (поэтического) языка. Лингвистика вступает в контакты с философской эстетикой и теориями искусства. Совместными усилиями теоретиков языка и литературных практиков были заложены основания «лингвоэстетического поворота», базирующегося на главенствующей идее языка как искусства и творчества (см. подробнее в нашей работе [Фещенко 2018]).

Лингвоэстетическая проблематика формируется вокруг двух основных вопросов: какова роль эстетического в языковой деятельности? И какова роль языка в эстетической деятельности? Это направление исследования, являющееся расширительным по отношению к лингвистической поэтике, получило в языкознании название «лингвистической эстетики» (В.П. Григорьев) или «эстетики языка» (Л.А. Новиков) (ср. с термином «лингвистическая эстетика» в работах нашего юбиляра, например [Демьянков 2013], имеющим, впрочем, несколько иное значение). Для объединения двух вариантов в один мы предлагаем ввести термин «лингвоэстетика», как рядоположный схожим терминам – названиям дисциплин, как то: лингвопоэтика, лингвосемиотика, лингвопрагматика и т.п. (см. подробнее о лингвоэстетическом подходе в нашей совместной работе [Фещенко, Коваль 2014]).

Лингвоэстетика может быть рассмотрена не просто как подход, а как особая методология исследования художественного текста и языка художественной литературы. Более того, эта методология не является чем-то, что необходимо создать, она имеет довольно древние корни и значительную традицию в истории гуманитарной мысли и филологических исследований. Лингвоэстетика как подход выражается в двух основных аспектах: с одной стороны, это проблема «художественного языка», относящаяся не только к словесным произведениям, но и к прочим художественным практикам (с этой стороны лингвоэстетика оказывается близка семиотике), и, с другой стороны, это проблема эсте-

тического использования языка, здесь в поле зрения попадают не только собственно эстетические объекты – произведения искусства, но и, например, обыденная речь, в которой могут иметь место самые разнообразные случаи эстетического употребления (к примеру, окказиональное словотворчество, юмор и комизм).

Лингвоэстетика имеет под собой глубокую философскую базу, а именно в эстетической теории и философии языка. Задачей данной статьи будет экскурс в историю контактов философии и эстетики как одной из философских дисциплин с лингвистическими идеями. Речь будет идти о трехстороннем трансфере идей и концепций между философией, лингвистикой и эстетикой, с опорой на теорию культурных трансферов (см. [Эспань 2018]) применительно к междисциплинарным взаимодействиям (см. [Лингвистика и семиотика культурных трансферов 2016]). Мы отдаем себе отчет в неполноте подобного экскурса: здесь мы остановимся лишь на важнейших фигурах и концепциях из истории философии, значимых для лингвоэстетического поворота в гуманитарных науках последнего столетия. Подчеркнем, что речь в данной статье будет идти о философских учениях о языке и искусстве. Лингвистические учения, относящиеся к этой проблематике, освещаются в других наших работах.

1. Взгляды античных философов на язык и искусство

Уже в античной философии мы находим два разнонаправленных способа говорить о языке в связи с искусством. С одной стороны, более ранние концепции, основанные на принципе мимесиса, склонны уподоблять звуки речи и музыкальные звуки. У Платона в «Кратиле» встречается рассуждение о том, что в целях благозвучия поэты искажают имена, в результате чего происходит путаница с определением «истинных имен». Этого мнения придерживается в диалоге Сократ при обсуждении самого имени «искусство»:

Сократ. Такое слово, например, «искусство»: очень важно узнать, что оно значит.

Гермоген. Да, это верно.

Сократ. Не значит ли это слово «иметь ум». Если переставить и изменить некоторые буквы, то и получится «искусство».

Гермоген. Это уж очень скользко, Сократ.

Сократ. Милый мой, разве ты не знаешь, что имена, присвоенные первоначально, уже давно погребены под грудой приставленных и от-

нятых букв усилиями тех, кто, составляя из них трагедийные песнопения, всячески их изменял во имя благозвучия: тому виной требования красоты, а также течение времени. Так, в слове «зеркало» разве не кажется тебе неуместной вставка этого? Однако я думаю, это делают те, кто не помышляет об истине, но стремится лишь издавать звуки, так что, прибавляя все больше букв к первоначальным именам, они под конец добились того, что ни один человек не догадается, что же, собственно, данное имя значит. Так, например, Сфинкса вместо «Финкс» зовут «Сфинкс» и так далее.

В безусловно ироничном ключе Сократ здесь критикует языковую игру, получающуюся оттого, что в имени *techne* поэт переставляет и убирает некоторые буквы и получает в итоге имя *echonoe* («иметь ум»), чем уподобляет искусство и разум. Но в мировоззрении Платона (устами его учителя Сократа) украшательство речи пагубно для языка и для истинной философии. Идея о том, что «прекрасная речь делает вещи сами по себе прекрасными», претит философу. Соответственно, язык надо держать подальше от тех, кто делает его «прекрасным».

Аристотель рассуждает в «Поэтике» о звуках речи и звуках музыки в терминах благозвучное / неблагозвучное. Звуки в «украшенной» человеческой речи и в музыкальном искусстве повинуются, согласно этим воззрениям, одним и тем же законам ритма и гармонии. Кроме того, Аристотель впервые объединяет понятия *techne* и *logos*. Сочетание *techne tou logou* употребляется как определение риторики – «ремесла слов», однако в культуру Нового времени войдет с другим смыслом – технологии как «применения метода». С другой стороны, большинство греческих авторов не считают риторику искусством, подобным музыке или скульптуре. *Techne* понимается скорее как применение ремесла, нежели как искусство в самом себе. Искусство в самом себе описывается термином *poiesis* (что корректнее переводить на русский как «творчество»). Речь, с точки зрения греков, есть факт *techne*, а не *poiesis*.

Позднегреческие авторы, пользующиеся в своих умозаключениях принципом аналогии, оспаривают всякую связь речи и искусства, *logos* и *techne*. У Секста Эмпирика встречаем размышление о том, что речь сама по себе искусством являться не может, ибо искусство зиждется на неких началах, а обыденная речь таких начал не имеет: «Искусство, касающееся эллинской речи, становилось бы безначальным и таким образом не являлось бы вовсе и искусством» (цит. по [Античные теории 1936: 84]). Речь определяется, согласно такому взгляду, лишь обиходом, а не искусством. Заключение Секста таково: «Обиход, служа сам по себе

критерием искусства по части эллинской речи, не будет нуждаться в искусстве» [Там же: 85]. Искусством в смысле *techné* может быть лишь грамматика. И именно такой взгляд на язык породил формулу «искусство грамматики», распространившуюся в дальнейшем в римской филологической традиции.

2. Языки искусства в философии романтизма и гумбольдтианства

Идея общего «языка искусства» стала витать в философской среде Европы ближе к концу XVIII в. О «языке природы» и «языке искусства» пишет Новалис в одном из своих «фрагментов»: «Общий язык – язык природы – литературный язык, язык искусства» [Novalis 2012: 76]. Такие новые представления о «языке искусства» и «языке природы» покоились на философском постулате эпохи романтизма, сформулированном Ф. Шлегелем: «Все, посредством чего внутреннее проявляется во внешнем, можно назвать языком» (цит. по [Хомский 2005: 46]). А значит, считал романтик, искусство (поэзия, живопись) могут также именоваться особыми языками. По мнению Н. Хомского, подобное представление о языке позволяет сделать короткий шаг к установлению связи между «творческим аспектом языкового употребления и подлинным художественным творчеством» [Там же].

Из шлегелевского постулата формируется концепция главного романтика от языкознания – В. фон Гумбольдта. При этом вопросы языка искусства и языка литературы занимают у Гумбольдта немаловажное место, формируя новый терминологический комплекс, составляющими которого служат понятия языка и искусства, а также языка и творчества.

В. фон Гумбольдт впервые обращается к проблеме лингвистической природы поэзии в главке «Характер языков. Поэзия и проза» своего известного труда «*О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества*», переходя от рассмотрения частных сторон взаимодействия в языке к более общим. Он отмечает, что существуют «два проявления языка, где все эти стороны не только самым решительным образом сходятся, но и само понятие частности утрачивает смысл из-за преобладающего влияния целого. Это – поэзия и проза» [Гумбольдт 2000: 183]. Таким образом, поэзия и проза выделяются им в специфические формы существования и функционирования языка, в которых доминантным становится «преобладающее

влияние целого», т.е. их особая организованность с определенными целями. Гумбольдт называет поэзию и прозу «проявлениями языка», предопределяемыми его «исконным укладом» и постоянным воздействием на их развитие. Причем тяготение к поэзии и прозе связывается им с «незаурядностью формы конкретного языка», т.е. «одинаковому развитию той и другой в соразмерном соотношении». В духе романтического идеализма богатство и совершенство языка определяется здесь развитостью именно обеих форм бытования языка и развитостью «интеллектуальной сферы». Развитость же интеллектуальной сферы связывается им с многообразием «проявлений языка»: «Язык литературы может процветать, лишь пока его увлекает за собою духовный порыв, стремящийся расширить сферу своего действия и привести мировое целое в гармоническую связь со своим собственным существом» [Там же: 189]. Художественная литература, согласно немецкому лингвисту, является высшим и наиболее гармонично организованным проявлением языка.

В. фон Гумбольдт устанавливает далее следующее соотношение: обыденная речь – научная речь – прозаическая речь – поэтическая речь. В отличие от обыденной речи, прозаическая и поэтическая речь («возвышенная речь», которая после Гумбольдта объединятся в понятие «художественной речи») имеет «внутреннее формальное строение». С другой стороны, отмечает он, для поэзии всегда существенно необходима внешняя художественная форма. Это диалектическое единство и будет в дальнейшем положено в основу лингвистической поэтики и одновременно заложит принципы поэзии ХХ в. Однако сам немецкий философ не идет далее сопоставления поэзии с музыкой и посвящает основное свое внимание историческим истокам прозы и поэзии, а также разграничению научного, философского и поэтического стиля в формах языка. Это направление будет продолжено его русским последователем А. Веселовским в исторической поэтике и А. Потебней в поэтике теоретической, в изучении «поэтического и прозаического мышления».

В одной из своих менее известных статей «О национальном характере языков» (1822) Гумбольдт опять-таки в русле романтической парадигмы уподобляет язык искусству [Humboldt 1963]. Даже чтобы понять искусство, которое осуществляется не через язык, язык необходим, пишет он. Язык, как и искусство, создает представление о невидимом. Поэтому, считает Гумбольдт, можно говорить о «языках искусства» (*Sprachen der Kunst*). С другой стороны, формула «язык искусства» претерпевает перестановку у Гумбольдта, когда он пишет в своих «Aesthetische Versuche» о поэзии как «искусстве языка» (*die Kunst durch Sprache*) (цит.

по [Шпет 1927: 57]) (см. также об эстетической подоплеке гумбольдтовского понятия «язык как творчество» в работах [Постовалова 1982; Фещенко 2012]).

Неогумбольдтианство принимает гумбольдтовскую аналогию между языком и искусством, доводя ее до абсолюта в тезисе о том, что язык вообще является искусством и творчеством. Эта эволюция запечатлевается в формуле «язык как искусство» и «язык как творчество». В частности, трансфер этой идеи из немецкой в русскую терминокультуру замечен на примере названий трудов Г. Гербера (*Die Sprache als Kunst*, 1885), Д.Н. Овсяннико-Куликовского (*Язык и искусство*, 1895), К. Фосслера (*Sprache als Schöpfung und Entwicklung*, 1905) и потебнианца А.Л. Погодина (*Язык как творчество*, 1913) (о русско-немецких трансферах по следам гумбольдтианства см. в кн. [Espagne 2014]).

Другим вектором гумбольдтовской традиции стала тотальная эстетизация языка в немецкой школе «эстетического языкознания» (названной позднее «эстетическим идеализмом»). Помимо Гумбольдта, катализатором этой школы была также своеобразная философия языка итальянского мыслителя Б. Кроче. В сущности, это учение, изложенное в книге 1902 г. «Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика» [Кроче 1920], нельзя назвать даже философией языка, поскольку язык здесь упоминается весьма отрывочно, а заявленная в названии «общая лингвистика» не имеет ничего общего с теориями языка. Мысль Кроче сводится к тому, что язык является эстетическим феноменом, поскольку основан на выражении («экспрессии»). Согласно этому взгляду, любое словесное выражение является художественным. Соответственно, никаких дальнейших разграничений языка и искусства не проводится. А «лингвистика» просто-напросто механически отождествляется с «эстетикой». Естественно, не приводится и никаких языковых примеров, которые могли бы подтвердить подобные заявления. Пожалуй, единственная идея Кроче, которой в дальнейшем воспользовались теоретики языка (в частности, К. Фосслер и В. Волошинов), это тезис о том, что индивидуальный речевой акт – это основная единица языка (дискурса).

3. Вопросы эстетики в русской философии языка

У русского философа Г.Г. Шпета, тоже придерживающегося гумбольдтианской линии в философии языка, возникает идея о творчестве как отборе языковых средств. Для него, в отличие от других последователей немецкого ученого, творение осуществляется не вообще в языке,

а в процессе воплощения смысла посредством преобразования уже наличных языковых форм: «Смысл жаждет творческого воплощения, которое своего материального носителя находит, если не исключительно, то преимущественно и образцово в слове. Именно развитие и преобразование уже данных, находящихся в обиходе форм слова, и есть творчество, как логическое, так и поэтическое» [Шпет 1927: 45]. При этом Шпет признает за Гумбольдтом идею о давлении готового языка, традиции на творческое сознание, ср. у Гумбольдта: «Тем же самым актом, посредством которого человек из себя создает язык, он отдает себя в его власть» (цит. по [Рамишвили 2000: 15]). Следуя потебнианской линии в философии слова, русский философ утверждает необходимость особого творческого акта для конструирования смыслового содержания слова как предпосылки для сообщения и понимания. Таким образом, Г. Шпет противопоставляет творческое репродуктивному, в согласии с духом учения немецкого классика. Шпет восполняет ту логическую процедуру, которая не была доведена до завершения Гумбольдтом – применение понятия внутренней формы как носителя «энергейи» к области поэтического творчества, поэтического языка. Разграничивая логическую внутреннюю форму и поэтическую (в «художественно-поэтическом творчестве»), Шпет постулирует в последней идею о «целемерном созидании»: «Произведение есть продукт некоторого целемерного созидания, т.е. словесного творчества, руководимого не прагматической задачей, а внутренней идеей самого творчества, как *sui generis* деятельности сознания» [Шпет 1927: 142]. Идея творчества осмысляется здесь уже в тесной связи с поэтическим (художественным) творчеством, которое преобразует существующие в языке связи в результате творческого акта.

Г. Шпет посвятил «эстетике слова» свой трехчастный трактат «Эстетические фрагменты», изданный в 1922–23 гг. Возможно, именно по прочтении этой работы, в которой много места уделено эстетическим аспектам слова и языка, Л. Щерба сделал вывод о нарастании интереса к «эстетике языка». Ведь доклад Шпета, положенный в основу книги, был прочтен в 1919 г. на заседании Московского лингвистического кружка, а значит, в присутствии и при обсуждении большого числа выдающихся лингвистов того времени. Нам представляется, что именно этот доклад способствовал формулировке понятий «поэтическая речь» и «поэтический язык» русскими формалистами.

«Эстетические фрагменты» посвящены выяснению того, что такое «эстетический объект» («эстетический предмет») в его отношении к структуре слова. Шпет именует один из разделов трактата «Структура слова *in usum aestheticae*», намечая таким образом самое ядро лингво-

эстетической проблематики: использование языка с целью достижения «эстетического эффекта». Проводится попытка выделить эстетические моменты в структуре высказывания: «Слово как сущая данность не есть само по себе предмет эстетический. Нужно анализировать формы его данности, чтобы найти в его данной структуре моменты, поддающиеся эстетизации. Эти моменты составят эстетическую предметность слова» [Шпет 2007: 210]. Эти моменты, или элементы высказывания, связаны с эстетическим опытом порождения и восприятия текста. Необходимо, считает философ, разделять эстетические и внеэстетические элементы: «Отдельные моменты в структуре слова суть *in potentia* такого рода эстетические предметы. Соответственно, можно говорить об эстетическом суждении, восприятии etc. этих моментов или об их эстетичности, в положительной или отрицательной квалификации. Нужно выделить в структуре слова моменты существенно *внеэстетические*» [Там же: 254]. К примеру, «номинативная функция слова» (примечательно, что уже в 1919 г. Шпет пользуется понятием «функции») должна отделяться от «эстетических свойств слова», образующих специальную эстетическую функцию. При этом простая экспрессия в речи не приравнивается к эстетичности. Последняя, как специально подчеркивается, основывается на особом восприятии слова как художественной единицы.

Шпет предлагает отделять словесную эстетику от других разновидностей эстетики, например от музыкальной. Несмотря на то что слово может обладать «музыкальностью» (идея, характерная для поэзии романтизма и символизма), сама вербальная сущность и материальность определяет «эстетику слова». В строчке Третьяковского «Звени, звени хрустальный альт стаканов» философ видит (а точнее слышит) чисто фонетическую эстетическую ценность, свойственную законам языка. В поэзии (и шире – в художественной речи) «предмет подвергается особой эстетической модификации», производя «эстетическое действие» от автора к читателю. Любопытно, что подобный лингвоэстетический подход позволяет Шпету обосновать и оправдать бессмыслицу в поэтической речи. Словно бы отвечая на заумные опыты футуристов и супрематистов, он рассуждает:

«Но возможно ли *словоизлияние* беспредметное? Это могло бы быть прежде всего чисто звуковое явление, не имеющее и смысла, имеющее “значение” (роль, функция) только эмоционально-экспрессивное или указующее, вообще значение “знака без значения”. Эстетически его расценивали бы, например, по его музыкальности: *tra-la-la... – forte (crescendo)* или *na-na-na... – piano (diminuendo)*. Это относится к форме Σ . Затем беспредметность может указывать также на бессмыслицу,

нелепость, внутреннее противоречие. Такое словосочетание не оторвано от смысла и есть не только дейктический знак, но настоящее *слово*. Но, строго говоря, оно *имеет* смысл, этот смысл есть бессмыслица – например, абракадабра, белая ворона, круглый квадрат – и “беспредметность” есть род предмета, *sui generis* предмет. Каково бы ни было его логическое значение, “беспредметное слово” может иметь положительное эстетическое значение, поскольку в нем все же раскрываются свои внутренние поэтические формы. Последние налагают и на беспредметные слова, подчиняя их своим законам или приемам конструкции. Мы строим и бессмыслицу по тропам параллелизма, контраста и т.д., равно как и по правилам синтаксиса (“идет улица по курице”). Эстетическое значение соответствующих “поэм” относится к П. Натурально, от этих случаев следует отличать метафорическую игру, где бессмыслица – только “видимость” и чувствуется лишь при крайней остроте, новизне метафоры или при специальном к ней внимании – “тот ошаршил его псевдосферой”, “Пифагоровых штанов Павлуша уже не мог вмести́ть в свою голову”» [Там же: 279–280].

Итак, согласно шпетовскому подходу, беспредметная поэзия не просто порождает «знаки» (пусть и без «значения»), но и полноценные «слова», в которых «бессмыслица» заменяет собой «смысл» и которые имеют эстетическое значение, несмотря на непонятность внешней поэтической формы. «Внутренняя поэтическая форма» тем не менее присуща таким текстам и определяет эстетический момент любого подобного высказывания (ср. со схожим оправданием футуристического словотворчества П. Флоренским в главке «Антиномия языка» из его труда «У водоразделов мысли»).

В данном трактате Г. Шпет еще размышляет в традиционных терминах эстетической теории его времени, как то: «положительное» или «отрицательное эстетическое восприятие», «эстетическое возбуждение», «эстетическая реакция», «эстетическое переживание», «эстетическое наслаждение», «эстетическое внимание» и т.п. Природу чисто художественных внутренних форм слова он будет более отчетливо разбирать в более позднем трактате «Внутренняя форма слова». Однако важным шагом русского философа языка становится разграничение эстетического и внеэстетического в анализе повседневного («прагматического», в его терминологии) и поэтического языка. Противопоставляя логические («рассудочные») и поэтические («символические» *par excellence*) стороны слова, Шпет приходит к особому пониманию языковой деятельности в эстетической ситуации и к «эстетике слова» как учению об этом: «Учение о поэтической методологии есть логика символа, или

символика. Это не та *отвлеченная*, чисто рассудочная символика, которая встретила нам выше, как семиотика или *Ars Lulliana*, а символика поэтическая, фундамент всей эстетики слова как учения об эстетическом сознании в его целом» [Там же: 234].

В этом месте рассуждений Г. Шпета возникает новый важный термин – «автор». «Персона автора слова», утверждает он, имеет для художественной коммуникации («экспрессивности», в терминологии Шпета) перво-степенное значение. Отношение автора к слову, к знаку, творимому им, становится определяющим. В связи с этим категория «повода», «поведения автора», «отношения к сообщаемому» становится самостоятельным предметом рассмотрения: «Интерпретация слова с этой точки зрения есть истолкование поведения автора в смысле его правдивости или лживости, его доброжелательного отношения к сообщаемому, его веры в него или сомнения в нем, его благоговейного или цинического к нему отношения, его убежденности в нем, его страха перед ним, его восторга и проч., и проч.» [Там же: 284]. Согласно Шпету, знаком, выражающим отношение между творением и творцом, является «внутренняя форма».

Еще В. фон Гумбольдт инициировал внедрение понятия «внутренняя форма» в лингвистические исследования. Им был поставлен вопрос о «внутренней форме языка»; причем важно подчеркнуть, что эта идея изначально включала в себя креативно-динамическую составляющую. А. Потебня предложил вместо внутренней формы языка изучать более «осязаемую» в научном плане внутреннюю форму слова. Под последней русский филолог подразумевал «ближайшее этимологическое значение слова», или «тот способ, каким выражается содержание» [Потебня 1976: 175]. У В. фон Гумбольдта и А. Потебни внутренняя форма еще не мыслилась как порожденная индивидуальным актом творчества. Такое понимание впервые достигается в контексте художественной семиотики уже в XX в. Г. Шпетом. «Поэтика, – утверждает Шпет, – должна быть учением о чувственных и внутренних формах (поэтического) слова (языка) <...>» [Шпет 2007: 234]. Разработке этого учения он посвящает отдельное исследование «Внутренняя форма слова». В нем он следует концепции Гумбольдта, применяя ее к сфере уже индивидуально-языкового творчества.

Как указывает Г. Шпет, термин «внутренняя форма» первоначально возник у Гумбольдта в контексте эстетическом. Сопоставляя язык с искусством и определяя поэзию как «искусство языка», немецкий филолог отмечает, что она создается «для внешних и внутренних форм, для мира и человека». Однако точное определение «внутренней формы» Гумбольдт не дает, что, в свою очередь, вдохновляет Шпета более предметно описать значение внутренней формы применительно к семио-

тической проблематике. Во всяком словесном творчестве – научно-понятийном или художественно-образном, – пишет Шпет, – имеет место планомерное выполнение некоторого замысла. Здесь значимой оказывается именно внутренняя форма – как правило образования понятия (в науке) или образа (в искусстве). «Это правило есть ничто иное, как прием, метод и принцип отбора, – закон и основа словесно-логического творчества в целях выражения, сообщения, передачи смысла» [Шпет 1927: 98]. Можно говорить о внутренней форме понятия, или «внутренней логической форме», и о внутренней форме образа, или «внутренней поэтической форме». Совокупность таких «правил», законов комбинирования словесно-логических единиц (понятий, образов) Шпет называет «словесно-логическими алгоритмами». «Такого рода алгоритмы суть также формы образования понятий, и, следовательно, диалектики самого смысла, динамические законы его развития, творческие внутренние формы, руководящие понимающим усмотрением смысла в планомерном отборе элементов, но допускающие свободу в установлении той или иной планомерности <...>» [Там же: 119]. Внутренние формы как алгоритмы, т.е. «формы методологического осуществления, способны раскрыть соответствующую организацию “смысла” в его конкретном диалектическом процессе» [Там же: 141].

Как же функционируют внутренние формы в художественном процессе? Во-первых, утверждает Шпет, поэтический (художественный) язык, в отличие от языка прагматического (научного или быденного), на первый план выдвигает не прагматические цели, а «свои собственные внутренние цели саморазвития» [Там же: 143]. Во-вторых, – и это вытекает из первого тезиса – искусство не покрывается одними «логическими внутренними формами», свойственными, опять же, языку быденному, а имеет свои особые – «художественные», или «поэтические внутренние формы». Художественный язык – это всегда «планомерно конструируемый организм», отличающийся единством и цельностью. Законы такой органичности суть «правила, лежащие в самом организуемом матерьяле, его собственные формы, сочетаемые и упорядочиваемые соответственно руководящей идее творчества». Идея эта «лежит не вне данного матерьяла и его форм, а в них самих, и потому автономно осуществляется в их единстве, как в художественной форме форм» [Там же: 147]. Последняя создает уже конкретные приемы и пути образования художественных образов и смыслов. Таким образом, внутренние формы играют роль законов образования художественной речи, ее правил-алгоритмов. Внутренние формы, далее, имеют прямое отношение к субъекту творчества. Творческий субъект

осуществляет в своей языковой деятельности оригинальную идею художественности. Внутренняя форма отождествляется Шпетом с «внутренней идеей» творчества: «Произведение есть продукт некоторого целемерного созидания, т.е. словесного творчества, руководимого не прагматической задачей, а внутренней идеей самого творчества <...>» [Там же: 142].

В художественном творчестве, по Г. Шпету, языковое выражение есть, прежде всего, субъективное выражение. В языке искусства «перед нами – не автоматические “реакции”, “импульсы”, “рефлексы” и пр., а полные значения и жизни “жесты”, “мимика”, “интонация” и пр. – то, что объемлется термином “экспрессия”. Именно здесь-то и сосредотачивается искомое нами субъективное, здесь – подлинная сфера субъективности <...> Субъективность в слове, начиная с интонации данной фразы, через общую манеру излагать свои “сообщения”, вплоть до самых устойчивых форм словесного приема, школы, стиля, всегда запечатлевается в виде экспрессивности самого же слова» [Там же]. Тем самым Г. Шпет предвосхитил разработку проблемы субъективности в языке в трудах лингвистов. Философию языка Г. Шпета можно считать первыми набросками лингвоэстетической теории, основанной на серьезной проработке эстетических учений.

Еще одним философом, внесшим вклад в осмысление лингвоэстетических проблем, был С.А. Аскольдов, изложивший свои взгляды по этому вопросу в полемическом отклике на труды русских формалистов. Свою статью «Форма и содержание в искусстве слова», вышедшую в альманахе «Литературная мысль. Вып. 3» за 1925 г., Аскольдов начинает с характерной для той эпохи фразы: «Вопрос о значении формы и содержания в искусстве слова стал боевым вопросом в современной литературной критике» [Аскольдов 1925: 305]. Кроме того, вопрос о форме и содержании стал, согласно Аскольдову, «в последнее время симптоматическим для жизни вообще». Будучи квалифицированным философом, Аскольдов сразу же напоминает о философских истоках категорий формы и содержания и предпринимает их философский анализ. Понимая форму как «внутреннюю структурность», он разбивает свой разбор на различные составляющие указанной категории. Он разделяет: прагматическое содержание (т.е. сюжетную часть художественного произведения), психологическое содержание (аналог прагматического в лирике) и форму (все остальное в произведении). Под формой Аскольдов понимает все формальные элементы текста – от фонетики до ритма. Расширяя таким образом понятие формы, он пытается разобраться, в чем притязания формальной школы являются чрезмерными.

Упрек его состоит в том, что формальный подход, изолируя форму, полагает ее единственным материалом художественной значимости.

«Художественная значимость» – ключевой термин С.А. Аскольдова, который он разовьет затем в своем учении о поэтических концептах. Здесь под ним понимается единство формы и содержания как аксиологический акт: «Художественная значимость есть ценность, а не величина, и процесс ее образования имеет конститутивный, а не аддитивный характер» [Там же: 313]. Изоляция формы от содержания не позволяет, согласно философу, оценить художественную форму в составе целого текста. Каждая форма должна оцениваться по степени художественной значимости. Далее Аскольдов анализирует различные формы с разной степенью художественной значимости в прозе и поэзии. Апофеозом «бесчинства формы» называет он заумную поэзию футуристов, признавая ее лабораторное значение, но отказывая ей в художественной значимости. Таким образом, философ Аскольдов впадает в другую крайность – отрицания эстетического статуса некоторых поэтических и языковых форм. Формалисты в этом вопросе оказались прозорливее, взяв заумную поэзию за наивысший образец реализации эстетической функции языка.

Наконец, обозревая лингвоэстетические концепции русских философов 1920–30-х гг., разумеется, нельзя пройти мимо М. Бахтина и его круга. Сам Бахтин выстраивал свою концепцию «эстетики словесного творчества», критически отталкиваясь (как и другие авторы, рассмотренные выше) от формального метода. Считая, что лингвистика как таковая не достаточна для полноценного анализа поэтического произведения, он всячески подчеркивает значимость именно эстетического статуса художественного объекта. Впрочем, разводя довольно радикально лингвистическую определенность формы и эстетическую ценность содержания, Бахтин не приходит к их синтезу. Ему лишь грезится то время, когда лингвистика осознает своим объектом более крупные языковые комплексы (текст, диалог): «Только лишь когда лингвистика овладеет своим предметом вполне и со всею методологической чистотой, она сможет продуктивно работать и для эстетики словесного творчества» [Бахтин 1974: 277].

Цитируемый текст с характерным названием «К эстетике слова», по-видимому, относится к более раннему времени, чем 1974 год. Ведь к 70-м годам наука о языке уже далеко продвинулась в том направлении, о котором мечталось Бахтину в 1920–1930-е гг. Так или иначе, центральным вопросом его лингвоэстетики является специфически «эстетический характер» поэтического (и шире – литературного) языка.

«Художественная форма», согласно такому подходу, должна изучаться как со стороны «эстетического объекта» (которым Бахтин считает исключительно «содержание», по его мнению недоступное изучению методами современной ему лингвистики), так и со стороны «техники формы» (в случае словесного творчества прерогатива исключительно языкознания). Сам Бахтин уделял внимание в своих исследованиях поэтики Достоевского, Рабле и др. преимущественно первому аспекту – содержательно-архитектоническому. «Автор-творец – конститутивный момент художественной формы» [Бахтин 2003: 312]. На основе этого тезиса строятся дальнейшие принципы бахтинского анализа, в частности принцип «активности» субъекта высказывания в поэтическом акте: «Только в поэзии чувство активности порождения значащего высказывания становится формирующим центром, носителем единства формы» [Бахтин 2003: 317].

В отличие от лингвопоэтической теории, формировавшейся в сознательном дистанцировании от философской рефлексии (в работах В. Шкловского, Р. Якобсона, Е. Поливанова и др.), лингвоэстетика как подход зарождалась в основном в трудах философов (Г. Шпета, С. Аскольдова, М. Бахтина, В. Волошинова) в результате философски фундированного анализа художественных форм и текстов. Эта традиция прервалась в 1930-е гг. по известным историческим обстоятельствам.

4. Э. Кассирер и Дж. Дьюи: две концепции языка искусства

Не проходит мимо проблемы соотношения языка и искусства и такой крупный мыслитель, как Э. Кассирер, посвятивший этим вопросам цикл лекций, изданных под названием «Язык и искусство». Он рассматривает язык и искусство как две самоценные человеческие «функции» и «энергии», участвующие почти на равных в нашей перцепции, познании и интуиции. Обе обладают продуктивной и конструктивной ценностью. Если язык представляет собой «концептуальную объективизацию» (он оперирует «концептами»), то искусство – «объективизацию созерцательную» (оперирует «перцептами»). Соответственно, «поэтический язык» радикально отличается от «концептуального языка», хотя, по мнению немецкого философа, «символизм языка не является чисто семантическим, но в то же время и эстетическим. Не только в языке поэзии, но и в обыденном языке этот эстетический компонент нельзя исключать» [Cassirer 1979: 188–189]. Таким образом, Кассирер склоняется к тем позициям, согласно которым эстетическое присутствует в

языке не только художественном, но и общеразговорном. Однако, в отличие от тех, кто склонен чрезмерно эстетизировать язык, он четко различает эстетическое и внеэстетическое. Искусство помещает язык в эстетическую ситуацию: «Как только мы вступаем в эстетическую сферу, все наши слова, кажется, вдруг меняются. Они не только значимы в абстрактном смысле, а, так сказать, слиты и сплавлены со своими значениями» [Там же: 159]. С другой стороны, искусство можно рассматривать по аналогии с языком: «В каком-то смысле любое искусство можно назвать языком, но это язык в совершенно особом смысле. Это язык не вербальных символов, а символов, воспринимаемых непосредственно» [Там же: 186].

Представление о том, что искусство является языком, стало общепринятой доксой в парадигме структурализма и семиотики. Эту доксу признавали даже философы, далекие от лингвистики, как, например, Дж. Дьюи, подчеркивающий, впрочем, непереваемость языка одного искусства на язык другого:

«Поскольку предметы искусства выразительны, они являются **языком**. Точнее, многими **языками**. Ведь у каждого вида искусства свой материал, и этот материал приспособлен для какого-то одного вида коммуникации. Каждый материал говорит нам что-то, что нельзя высказать точно так же или в той же мере на другом **наречии**. Потребности повседневной жизни отдают преимущественную значимость только одному режиму коммуникации – **речи**. Это обстоятельство, к сожалению, повлекло за собой распространенное убеждение, что значения, выраженные в архитектуре, скульптуре, живописи и музыке, нельзя перевести на словесный **язык** с малыми потерями. В сущности, каждое **искусство говорит на особом языке**, передающем то, что нельзя высказать на другом **языке**, и в то же время остающемся тем же самым¹» [Dewey 1994: 211].

В английском тексте Дьюи использует сразу несколько наименований со смыслом «язык». Во-первых, здесь утверждается, что искусство

¹ В английском оригинале: “Because objects of art are expressive, they are a **language**. Rather they are many **languages**. For each art has its own medium and that medium is especially fitted for one kind of communication. Each medium says something that cannot be uttered as well or as completely in any other **tongue**. The needs of daily life have given superior practical importance to one mode of communication, that of **speech**. This fact has unfortunately given rise to a popular impression that the meanings expressed in architecture, sculpture, painting, and music can be translated into words with little loss. In fact, **each art speaks an idiom** that conveys what cannot be said in another **language** and yet remains the same”.

является “language”. К 1934 году, когда был написан этот трактат, под этим понятием однозначно понималась «система знаков». Далее «язык искусства» противопоставляется другим «наречиям» (“tongues”) – собственно, национальным вербальным языкам. В отличие от повседневной «речи» (“speech”), искусство вступает в иной режим коммуникации, что позволяет ему как «языку» быть переводимым на «язык словесный». Идея взаимного перевода искусств ставится тут на рельсы семиотической терминологии. Кроме того, подчеркивается, что каждый из видов искусства обладает собственным «особым языком» (“idiom”). Во взглядах Кассирера и Дьюи уже чувствуются первые позывные к возникновению семиотики искусства как особой дисциплины.

5. Аналитическая философия языка: от умолчаний о художественном – к аналитике «языков искусства»

Важнейшим прорывом в теории языка второй половины XX в. стал перформативный поворот в философии языка и впоследствии в лингвистике. В его основу легло понимание языкового высказывания как действия, меняющего обстоятельства мира и коммуникации. На первом плане перформативного поворота находятся «не культурные смысловые взаимосвязи и не представление о “культуре как тексте”, но практическое измерение производства культурных смыслов и опыта» [Бахманн-Медик 2017: 122]. Это отличает его от «интерпретативного поворота» (см. о его проявлении в лингвистике в [Демьянков 1985]), хотя и разделяет с ним установку на событийность языкового и вообще культурного явления. Каковы же импликации перформативного подхода в области эстетического измерения языка?

Если интерпретационизм в науке о языке во многом был инспирирован философской герменевтикой (от В. Дильтея до П. Рикера), то истоки перформативного поворота находятся полностью в сфере аналитической философии языка. Важнейшую роль в этом прорыве сыграли философские исследования Л. Витгенштейна, в особенности позднего периода. Представление о языке как «форме жизни», реализующейся в многообразных «языковых играх», перевернуло сосюрровский статический взгляд на язык как систему. Известно, что сам австрийский философ был страстным почитателем искусства вообще и классической литературы в частности. Однако, что удивительно, никаких существенных замечаний или мыслей касательно художественного языка у него мы не находим (даже в записных книжках и набросках). Скла-

дывается впечатление, что его как философа интересует лишь обыденный язык и только он. По-видимому, он сознательно сторонился приближаться к столь деликатному предмету логико-философского анализа, как язык литературы. Пожалуй, единственное замечание, сделанное им относительно поэтического языка, касалось того, что стихотворение в качестве «языковой игры» отличается от других игр тем, что, будучи написанным на «языке информации», не «дает информации». Однако этот тезис был благополучно оспорен теоретиками информации А. Модем, М. Бензе, А. Колмогоровым и другими, показавшими, как работает информация в стихе и в художественном тексте. Впрочем, лингвофилософские идеи Витгенштейна нашли применение в художественной *практике*, причем практически мгновенно после опубликования его «Философских исследований», породив целое направление в искусстве, получившее название «концептуализм».

Не встречаем мы каких-либо соображений о природе поэтического высказывания и у другого родоначальника лингвистической прагматики Дж. Остина. Вводя свою классификацию «перформативов», он специально оговаривает, что «поэтическое использование языка» не может являться иллокутивным. Более того, Остин, кажется, даже посмеивается над попытками интерпретации поэтического высказывания в терминах философии языка. Анализируя фразу “Go and catch a falling star” из стиха Джона Донна, он недоумевает, как возможно вообще осуществление подобного действия – «поймать падающую звезду». И даже уничижительно называет это «паразитическим, несерьезным и ненормальным употреблением языка», вменяя это, например, Уитмену, который «призывает парить орла свободы» [Austin 1962: 104]. На этом размышление Остина о поэзии останавливается.

Отметим отдельно две попытки применения теории речевых актов к художественным текстам. Последователь Дж. Остина американский философ языка Дж. Серль посвятил одну из своих статей логическому статусу фикционального дискурса [Searle 1975]. На самом деле, в ней идет речь отнюдь не о художественном дискурсе литературы, а о дискурсе «вымысла» (*fiction*). Серль проводит четкое различие между фикциональным (*fictional*) и литературным (*literary*) дискурсом. Отмечается, что не всякая «фикция» является литературой. И внимание здесь уделяется скорее нелитературным формам фикции. Серль не анализирует литературные речевые акты, считая анализ литературы с этой точки зрения бесперспективным. Предполагается, что статус текста как литературного определяется читателем, а не автором, а, значит, литература как таковая не содержит «речевых актов». По Серлю, нет

границы между литературностью и нелитературностью. Различая «фигуральные» (порожденные вымыслом, в том числе литературным) и «серьезные» (обыденные и научные) высказывания, философ не признает литературу «серьезным» дискурсом. Таким образом, «литературный» дискурс в действительности не интересует Серля. Отметим, что перевод данной его статьи на русский язык [Серль 1999] вводит в заблуждение. *Fictional discourse* здесь совершенно некорректно переводится как «художественный дискурс». Совсем наоборот, Серль противопоставляет «фигуральный» дискурс «притворного вымысла» художественному «дискурсу литературы». В понятие *fictional* не вкладывается ни грамма смысла «художественности». Разграничение между «художественным вымыслом и литературой» в существующем русском переводе должно быть исправлено на различие между «вымыслом» и «художественной литературой». Именно такую дистинкцию проводит американский философ, по сути не говорящий ничего о природе именно «литературного дискурса». Единственным, пожалуй, актуальным для современного состояния лингвистики положением этой статьи остается тезис об особой референциальности в «вымышленных» и в «серьезных» высказываниях. Само же разграничение «серьезности» и «несерьезности» разных видов дискурсов кажется сильно устаревшим. Таким образом, можно сказать, что если для Витгенштейна и Остина соотношение языка и искусства было фигурой умолчания, то попытка философского обоснования художественного дискурса Дж. Серлем с позиций теории речевых актов не удалась. Трансфер между философией и искусством через понятие языка был запущен в сторону художественной практики. На основе этого трансфера возникло направление в англо-американском, а позднее русском искусстве, получившее название «концептуализм» (искусство концептов, см. об этом переносе нашу статью [Фещенко 2016]).

Попыткой рассмотреть семиотику искусства в фокусе аналитической философии языка была теория американского философа Н. Гудмена. В книге «Языки искусства: подход к теории символов» [Goodman 1968] он провел различие между вербальным языком как знаковой системой и репрезентативными невербальными знаковыми системами. Хотя в названии книги используется популярная к тому моменту формула «язык искусства», в действительности автор склонен скорее развести эти понятия и саму семиотическую природу этих систем. Как отмечает Н. Смолянская в своей диссертации об этой теории, «концепция Н. Гудмена открывает возможность создания семиотики искусства, не построенной на лингвистической парадигме» [Смолянская 2005]. Те-

ория эта предполагает выделение «симптомов эстетического», характеризующих эстетический код или символическую систему. При этом искусство помещается в семиотические координаты, обозначенные Моррисом: семантику, синтактику и прагматику. Концепция Гудмена, вызвавшая немало критики, оказалась тем не менее полезной в сфере исследования вербально-визуальных взаимодействий и разграничений – того, что он сам назвал «показывания» и «сказывания», следуя известному изречению Витгенштейна «То, что может быть показано, не может быть сказано».

6. Феноменология и герменевтика поэтического языка

К другому важному направлению в изучении художественного дискурса во второй половине XX в. стоит отнести феноменологически-герменевтическое. Оно связано с именами двух выдающихся философов столетия: М. Хайдеггера и Х.-Г. Гадамера. В результате «поворота к языку», названного так самим Хайдеггером в отношении своего творчества, родилась известная философская формула «язык как дом бытия». В послевоенные годы Хайдеггер развил этот концепт применительно к языку поэзии. Остановимся на некоторых его идеях, опираясь в основном на диссертацию [Козлова 2015], в которой представлен глубокий анализ концепции поэтического языка у двух упомянутых немецких философов.

Если язык, согласно М. Хайдеггеру, есть дом бытия, то поэзия – это «слово бытия». Инструментальный подход к поэтическому языку, характерный для формальной и структурной лингвистики, уступает место «онтологической» установке. Язык поэзии рассматривается как «фундаментальный экзистенциал» человеческого бытия. В этом смысле ранимируются идеи Гумбольдта о творческой энергии языка, направленной на активное преобразование мира. Смысл поэтического слова, по Хайдеггеру, в отличие от слова бытового, состоит в *событии* стихотворения как единства сказанного и нескáзанного. Переворачивается само отношение поэзии к языку: «Поэтический язык – это фигуральный язык, причем фигуральность не следует понимать как отклонение от нормы обыденного языка, скорее, в нашей повседневной речи происходит отклонение от изначального языка» [Козлова 2015: 32]. В сочинениях немецкого философа о поэзии повторяется мысль о динамическом отношении между миром и вещами, которое в поэтическом тексте реализуется через ритм как эстетическую форму в движении.

Поэзия отличается от мышления тем, что «находится на службе у языка совершенно иным и особым образом» [Хайдеггер 1993: 123]. Поэтому философ призывает особым образом, поэтически, читать поэзию и философствовать о поэзии, чтобы не повредить сокрытую «замкнутость» стихотворения. Философский дискурс у самого Хайдеггера наделяется поэтическими свойствами, такими как, например, тавтологичность, соответствующая установке на самореференцию в поэзии. Тавтологичные утверждения, подобные “Die Sprache spricht” (в русском переводе традиционно нарушается эта тавтологичность в форме «Язык говорит»), очень частотны в поздних текстах философа. Приведем для иллюстрации следующий фрагмент:

«Сочинением поэт воображает прообразы наших представлений. В говорящей поэзии высказывается поэтическая способность воображения. Говор поэзии есть то, что выговаривается поэтом. Это выговаривание говорит выговариванием его содержания. Язык поэзии – это разнообразное выговаривание» [Хайдеггер 1991: 9].

Подобный, экзистенциальный подход к поэтическому языку перенимается у Хайдеггера его учеником Х.-Г. Гадамером, принимая форму герменевтики поэтического текста. Интересуясь, как и Хайдеггер, соотношением философского мышления и поэтического творчества, Гадамер задается вопросом о разнице «языка искусства» и «языка понятий»: «Там, где средством коммуникации служит язык, возникает вопрос об отношении философии и языковых форм искусства. Как соотносятся друг с другом обе эти предельные и вместе с тем контрарные формы употребления языка – замкнутый на себя поэтический текст и сам себя упраздняющий, выходящий за пределы всякой событийности язык понятия?» [Гадамер 1991: 119]. Понимая искусство как высказывание (ср. с концепциями В. Волошинова и Э. Бенвениста), Гадамер считает особенностью поэтического высказывания большую открытость по сравнению с обыденной речью. Эта открытость открывается в акте чтения, вслушивания в поэтический текст и его толкования (того, что называется «герменевтическим кругом понимания»): «слово, произнесенное в связи с конкретным действием, не замкнуто на себя; оно вообще “не замкнуто”, а является переходным моментом к содержанию сказанного. <...> В отличие от обыденной речи, поэтическая речь, равно как и философская, напротив, обладает способностью замыкаться на себя и, материализуясь в отвлеченном тексте», быть тем не менее высказываемым как бы автономно, «собственной властью» [Там же: 117].

Текст в трактовке Гадамера – изначально герменевтическое понятие, подразумевающее понимание и интерпретацию как две важней-

шие процедуры анализа. Поэтический текст включается в категорию «высокого текста» (*the eminent text*) – такого, «в котором ничто нельзя отделить, отбросить, так что такой текст требует от интерпретатора постоянного возвращения к себе <...> для того, чтобы дать слово самому тексту» [Козлова 2015: 66–67]. Лирическая поэзия как «высокий текст» строится на «загадочной форме неразличения между тем, что сказано, и тем, как это сказано» [Там же: 91–92]. Читатель поэтического текста воссоздает его художественную структуру, воспринимая его смысл и звучание в неразрывном единстве: «Поэтическая конструкция строится как постоянно обыгрываемое равновесие звучания и смысла» [Гадамер 1991: 120]. Единство произведения складывается из «стабилизирующих факторов» звукового и смыслового уровней. Экономно используя синтаксические средства, стихотворный текст раскрывает богатство и свободу поэтических коннотаций: «Коннотации, придающие слову полноту его содержания, а в еще большей мере семантическое притяжение, внутренне присущее каждому слову (так что его значение многое притягивает к себе, то есть может очень по-разному себя определять), получают полную свободу развертывания» [Там же].

Гадамер уделяет особое внимание герметичному стиху модернизма и современной ему поэзии, так как в нем реализуется в полной мере свойственный поэзии принцип «замкнутости». Именно герменевтический подход, утверждается здесь, призван «разомкнуть» эту «замкнутость», не нарушая ее. Слово в такой поэзии стремится вырваться из общего потока массовых сообщений: «Как иначе может оно сосредоточиться в себе, если не отстраняясь от привычного речевого ожидания? Соседство словесных блоков постепенно образует структурное целое, и при этом проступают контуры каждого из использованных блоков» [Там же: 121]. Отвечая критикам герметичной поэзии, не находящим в ней смысла, философ оправдывает «чистую поэзию» особым устройством языковой ткани в ней:

«Там, где осуществляется речь, единство смысла неупразднено. Но это единство сложным образом сгущается. Теперь как бы нет нужды действительно иметь перед глазами “вещи”, данные посредством называния, поскольку последовательность слов не преобразуется в непрерывную последовательность мыслей и не растворяется в единстве созерцания. И все же из напряженности словесного поля, из напряжения звуковой и смысловой энергии, сталкивающихся и меняющихся слов строится целое. Слова вызывают созерцания, громоздящиеся Друг на друга, перекрещивающиеся, упраздняющие одно другое, и тем не менее – созерцания. В стихотворении ни одно слово не подразумевает

того, что оно значит. Но одновременно оно как бы возвращается к самому себе, тем самым удерживаясь от соскальзывания в прозу со свойственной ей риторикой. Таково притязание и таково оправдание *poesie pure*» [Там же: 121–122].

Опять-таки, как и другие теоретики поэтического языка, Гадамер особо акцентирует направленность в нем слова на самого себя: «Чистый текст продолжает жить благодаря тому, что является самодовлеющей языковой формой» [Там же: 123]. Поэтический язык уподобляется ткани, «которая сама себя зиждет». Многозначность, свойственная и обыденному языку, обретает здесь бóльшую свободу интерпретации в силу того, что поэтический текст осуществляет «саморепрезентацию» языка. Это особенно остро проявляется в герметичной поэзии (к примеру, у современного Гадамеру П. Целана, которому он посвящает свои разборы). Но этот же принцип проецируется им и на современную философию, в которой происходят сходные языковые процессы сгущения мысли.

Одной из ключевых идей в герменевтике Гадамера является тезис о поэтическом слове как исполнении (*Vollzug*). Искусство, пишет он, состоит в исполнении. Понятие исполнения объясняется аристотелевской (но и гумбольдтовской) концепцией энергеи как движения, имеющего свою цель в самом себе. Как и для Хайдеггера, художественное произведение – это событие. Событие же проявляется в исполнении, а исполнение – в истолковании текста, каждый раз уникальном, порождающем новый смысл: «Подлежащий пониманию текст обретает конкретность и завершенность лишь в истолковании» (цит. по [Козлова 2015: 79]). Внимание к «событийности» художественного и поэтического высказывания у двух немецких философов языка, таким образом, концептуально соотносится с чисто лингвистическими исследованиями «поэтического дискурса» (у Э. Бенвениста, А. Греймаса, Т. Ван Дейка и др.), с одной стороны, и прагматикой художественного дискурса – с другой.

Заключительные замечания

Мы сосредоточились в данной статье на междисциплинарных трансферах в трехстороннем взаимодействии философского знания, эстетической теории и лингвистических идей. Такие взаимодействия впервые возникают еще в античных теориях языка; затем они активизируются в романтической парадигме философии, науки и искусства; и,

наконец, достигают апогея в XX в. на волне лингвистического поворота в философии и в целом «поворота к языку» в культуре. Нами были прослежены следующие основные траектории трансферов между философской эстетикой и учениями о языке: 1) начинающийся с В. фон Гумбольдта обостренный интерес философов к языку (в большей степени достигший расцвета в русской философии языка от А. Потебни до Г. Шпета, но также в своеобразной концепции итальянского философа Б. Кроче); 2) англосаксонская традиция размышления о языках искусства (Э. Кассирер, Дж. Дьюи, Н. Гудмен); 3) немецкая линия герменевтического интереса к языку поэзии (М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер), которая в дальнейшем отозвалась во французской философии письма Р. Барта, Ж. Деррида, Ж. Делеза, Ж. Рансьера. При этом трансфер прагматической теории в сферу художественного дискурса осуществлялся не философами, а лингвистами. Во всех представленных концепциях объединяющим знаменателем является внимание к языку искусства не просто как к способу познания, но и как к ключевому объекту мышления. В.З. Демьянков в связи со смежной проблемой очень точно заметил, что «при подходе к интерпретации не только как к инструменту, но и как к объекту филологии, у литературоведения, философии языка и лингвистики появляются общий язык, общие интересы и общий материал исследования» [Демьянков 2003: 119]. Такая общность, как мы попытались показать, присутствует и в философско-эстетически-лингвистических «поворотах мысли».

Литература

- Античные теории языка и стиля. Л., 1936.
- Арутюнова Н.Д. Лингвистическая философия // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Аскольдов С.А. Форма и содержание в искусстве слова // Литературная мысль. Альманах 3. Л., 1925.
- Бахманн-Медик Д. Культурные повороты. Новые ориентиры в науках о культуре. М., 2017.
- Бахтин М.М. К эстетике слова // Контекст. Литературно-теоретические исследования. 1973. М., 1974.
- Бахтин М.М. К вопросам методологии эстетики словесного творчества. I. Проблема формы, содержания и материала в словесном художественном творчестве // Собрание сочинений, Т.1. Философская эстетика 1920-х годов. М., 2003.

- Безлепкии Н.И. Философия языка в России. СПб., 2001.
- Гадамер Х.-Г. Актуальность прекрасного. Часть 1. М., 1991.
- Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 2000.
- Демьянков В.З. Общая теория интерпретации и ее приложение к критическому анализу метаязыка американской лингвистики 1970–1980-х гг. Дисс.... докт. филол. наук. М., 1985.
- Демьянков В.З. Интерпретация политического дискурса в СМИ // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. М., 2003.
- Демьянков В.З. Цивилизационные параметры когниции: лингвистика – эстетика – этика – психология – логика // Вопросы когнитивной лингвистики, № 1, 2013.
- Демьянков В.З. Языковые техники «трансфера знаний» // Лингвистика и семиотика культурных трансферов: Методы, принципы, технологии (коллективная монография). М., 2016.
- Демьянков В.З., Степанов Ю.С. Философия языка // Современная западная философия: Словарь. М., 1991.
- Козлова М.В. Концепции поэтического языка в эстетике XX века (Хайдеггер, Гадамер, Бадью). Дисс. ... канд. философ. наук. М., 2015.
- Кроче Б. Эстетика как наука о выражении и общая лингвистика. М., 1920.
- Лингвистика и семиотика культурных трансферов: Методы, принципы, технологии (коллективная монография). М., 2016.
- Медведев В.И. Философия языка. Очерки истории. СПб., 2012.
- Постовалова В.И. Язык как деятельность. Опыт интерпретации концепции В. Гумбольдта. М., 1982.
- Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М., 1976.
- Рашишвили Г. Вильгельм фон Гумбольдт – основоположник теоретического языкознания // Гумбольдт В. фон Избранные труды по языкознанию. М., 2000.
- Серль Дж. Логический статус художественного дискурса // Логос, № 3, 1999.
- Смолянская Н.В. Парадигма символического: Нельсон Гудмен и современная французская философия. Дисс. ... канд. философ. наук. М., 2005.
- Соболева М.Е. Очерки по истории философии языка. СПб., 1999.
- Степанов Ю.С. Язык и метод. К современной философии языка. М., 1998.
- Фещенко В.В. Язык как творчество и творчество в языке: к истории лингвистической идеи // Критика и семиотика. 2012. № 17.
- Фещенко В.В. Концептуализация в гуманитарном знании и в искусстве: маршруты трансфера // Вопросы когнитивной лингвистики, № 1, 2016.

- Фещенко В.В.* Литературный авангард на лингвистических поворотах. СПб., 2018.
- Фещенко В.В., Коваль О.В.* Сотворение знака. Очерки о лингвоэстетике и семиотике искусства. М., 2014.
- Хайдеггер М.* Язык. СПб., 1991.
- Хайдеггер М.* Что это такое – философия? // Вопросы философии, № 8, 1993.
- Хомский Н.* Картезианская лингвистика. Глава из истории рационалистической мысли. М., 2005.
- Шпет Г.Г.* Внутренняя форма слова: Этюды и вариации на темы Гумбольдта. М., 1927.
- Шпет Г.Г.* Эстетические фрагменты // Шпет Г.Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры. М., 2007.
- Эспань М.* История цивилизаций как культурный трансфер. М., 2018.
- Юрченко В.С.* Философия языка и философия языкознания. Лингвофилософские очерки. М., 2017.
- Austin J.* How to Do Things with Words. Oxford, 1962.
- Cassirer E.* Language and Art // Cassirer E. Symbol, Myth, and Culture: Essays and Lectures. New Haven, 1979.
- Dewey J.* Art as Experience // Art and its Significance. An Anthology of Aesthetic Theory. Albany, 1994.
- Espagne M.* L'ambre et le fossil. Transferts germano-russes dans les sciences humaines. XIXe – XXe siècle. Paris, 2014.
- Goodman N.* Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols. Indianapolis et al., 1968.
- Humboldt W. von.* Über den Nationalcharakter der Sprachen // Humboldt W. von. Werke in fünf Bänden, Band III. Schriften zur Sprachphilosophie. Stuttgart, 1963.
- The Linguistic Turn: Recent Essays in Philosophical Method.* Chicago, 1967.
- Novalis* Aphorismen. Paderborn, 2012.
- Searle J.R.* The Logical Status of Fictional Discourse // New Literary History, Vol. 6, No. 2 (Winter 1975).

А.К. Киклевич

Постмодернизм и современная филология

1.

Постмодернизм как явление культуры связывается с несколькими направлениями современной философии: психоанализом, феноменологией, семиотикой (см. [Можейко 2001: 601]) – и рассматривается преимущественно по отношению к современным течениям художественной литературы и искусства [Nysz 2000; Скоропанова 2002]. В то же время следует констатировать, что постмодернизм охватывает систему культуры в целом, включая средства массовой информации, политику, международные отношения, педагогику, архитектуру, религию, науку и др. Примером культивирования этой концепции в политике может быть явление, определяемое как *the postmodern Presidency* (постмодернистское президентство), – этот термин появился в 1980-е гг. в США (см. [Barrilleaux 1988: 2 и сл.; Rose 1988: 3 и сл.]).

Постмодернизм как феномен культуры описывается с учетом нескольких аспектов (см. [Jameson 1993; Hochbruck 1995; Усовская 2006; Kiklewicz 2012a и др.]). Наиболее часто в литературе упоминаются следующие характеристики постмодернизма:

1. англ. *hysterical sublime*, т.е. повышенная эмоциональность сообщений, установка на иронию и комизм;

2. англ. *declarative exhilaration*, т.е. поверхностный, схематический, дилетантский подход к постановке и решению проблем, установка на обыденное восприятие действительности и отказ от оппозиции «высокая культура – низкая культура»;

3. скептицизм и агностицизм, ср. англ. *the waning of affect* – ироническая интерпретация традиционной культуры;

4. технологический детерминизм;

5. предпочтение субъекта и его интенциональных установок, а следовательно, конструктивизм и приоритет интерпретации перед описанием; в публичной коммуникации – размывание границы между описанием фактов и вымыслом;

6. приоритет прагматического аспекта коммуникативного поведения и, напротив, маргинализация его семантического аспекта;

7. контекстоцентризм, т.е. зависимость интерпретации сообщений от окружения и особенно социальной среды; деконструкция сообщений.

Общей установкой постмодернизма является иррационализм и критическое отношение к научному знанию. Господствующим становится убеждение, что мира нельзя ни познать, ни описать, но можно интерпретировать в терминах произвольно выбранной концептуальной системы (ср. англ. *mapping* как одно из центральных понятий современной когнитологии). Вследствие этого на первый план выдвигается симуляция – культивирование субъективных образов и моделей окружающих объектов независимо от их объективной репрезентации (подробнее о теории симулякров см. [Baudrillard 1983; Galdarola 1994; Gómez 2011 и др.]). В том же духе сторонники теории конструктивизма постулируют, что ментальные образы в системе поведения выполняют программирующую функцию (см. [Fleischer 2008: 42]). С этим явлением коррелирует автосемантическая как свойство литературы абсурда [Буренина 2000: 282].

2.

Научный дискурс, в соответствии с его традиционным пониманием, имеет надличностный характер [Wojtak 1999]: отправитель намеренно дистанцируется от передаваемого сообщения, выступая от имени сообщества ученых. Истинность или ложность научных утверждений объективна в том смысле, что является следствием правильного, уместного, точного или неправильного, неуместного, неточного применения методов, выработанных и разделяемых научным сообществом (см. [Dupré 2008: 61; Goćkowski 2009: 283]). Напротив, постмодернисты считают, что научный дискурс, как и художественный, – это творение отдельных исследователей, а частные точки зрения не должны складываться в общую картину знания, обязательную для всех членов данной социальной группы. Следствием этого является отказ от общепринятых методологий, а также массовое увлечение трансгрессией, т.е. интерпретацией одной предметной области в категориях и терминах другой предметной области (что отчасти было порождено структурализмом, а именно идеей единства всех знаковых систем). В этом состоит пресловутый культурный релятивизм постмодернистского типа поведения.

Принадлежность к новой культурной формации открыто декларируют, в частности, представители современной французской философии Ж. Лакан, Ж. Бодрийяр, Ж. Делез, Ж.-Ф. Лиотар, Ф. Гваттари, Ю. Кристева, Б. Латур и другие. По словам А. Сокала и Ж. Брикмонта, ученые

этого направления употребляют псевдонаучный жаргон, демонстрируя отказ от общепринятых в науке норм аргументации, т.е. иррационализм и своего рода нигилизм [Sokal, Bricmont 1998: 27]. В литературе можно встретить резко критическую оценку этой формации как «интеллектуального мошенничества» [Субетто 2003: 485].

В языкознании, как известно, значительное место занимает эмпирический компонент, что можно объяснить доминирующей в течение столетий традицией так называемой материальной (т.е. описательной) лингвистики, а также необходимостью применения лингвистических знаний на практике: в дидактике, переводе, преподавании языка, а в последнее время – в моделировании искусственного интеллекта и автоматической (компьютерной) обработке информации. Тем не менее лингвистика также подвержена модным влияниям. Примером этого служит современная когнитивная лингвистика, теоретики которой открыто ссылаются на философию постмодернизма. Так, известная польская исследовательница Э. Табаковская пишет о постструктурализме как об «антиаристотелевской революции» [Tabakowska 2001: 26], разрушающей рациональные основы науки. Суть постмодернистской интерпретации текста заключается в том, что, как пишет Табаковская, «теряют значимость нормативные ограничения, обеспечивающие успешность социальной коммуникации. Такой радикальный методологический релятивизм допускает множественность интерпретаций одного и того же текста без учета каких-либо критериев их оценки или верификации» [Там же: 27].

По мнению Табаковской, философские и теоретические основы лингвистического когнитивизма в понимании Дж. Лакоффа или Р. Лангакера «поразительно схожи с теорией деконструкции в литературоведении» [Там же]. Сама Табаковская, будучи сторонницей постмодернизма в языкознании, пишет, что когнитивная лингвистика – это шанс для «людей с большим воображением» [Tabakowska 1995: 5], что же касается системы логической аргументации (как предпосылки утверждений), она оценивается как исчерпавшая себя и не отвечающая потребностям современного научного сообщества.

И. Бобровский, будучи сторонником «рациональной лингвистики», постмодернистский авангардизм в языкознании квалифицирует как «анархическую концепцию знания», в основе которой лежат неконвенциональные способы интерпретации действительности [Bobrowski 1998: 36]. Главный недостаток постмодернистских теорий языка Бобровский видит в том, что они не предусматривают верификации или фальсификации утверждений [Bobrowski 1995: 19].

3.

Налагаемые на ученых обязательства связаны с тем, что результаты их деятельности прямо или косвенно затрагивают других людей. В случае гуманитарных наук целью является предоставление информации, необходимой для формирования знаний и убеждений членов сообщества о социальных, психологических, антропологических, культурных, лингвистических и др. аспектах действительности. Предпосылка такого типа поведения, по-видимому, запрограммирована в повседневном общении, которое, согласно Г.П. Грайсу, базируется на принципе кооперации, в частности на постулатах категории качества: 1) «Не говори того, что ты считаешь ложным»; 2) «Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований» [Грайс 1985: 222 и сл.]. Нарушение этих правил означает либо отказ от сотрудничества с партнером, либо намек на то, что содержание, которое имеет в виду отправитель сообщения, не выражено в его форме и структуре. Ни первый, ни второй тип нарушения не характерны для научного дискурса.

Постмодернистский релятивизм означает, что отправитель сообщения, вопреки принципу кооперации, руководствуется субъективными соображениями относительно того, как должны быть сконфигурованы элементы сообщений, независимо от того, будет ли его коммуникативный партнер (получатель сообщения) иметь доступ к семантическому аспекту сообщения, а также инструменты для его контроля и верификации. Подобным же образом получатель сообщения считает, что он имеет полную свободу интерпретации смысла независимо от системы значений, которые закодированы в языке в соответствии с семантической функцией знаков.

Во-первых, появляется огромное количество аберрантных дискурсов, не поддающихся однозначной семантической интерпретации, имеющих некомпозиционный, семантически неразрешимый характер. Во-вторых, научные дискурсы приобретают все более идиосинкратический и интровертивный характер: и по типу категоризации опытных данных, и по типу их вербализации (т.е. по языковому стилю) они всё более несут в себе черты приватности, принадлежности к отдельной группе ученых, формации, школе и т.п.

Что касается аберрантных дискурсов, для них характерна диссеминация – разрушение единства содержательной структуры сообщения и, как следствие, отсутствие каких-либо норм семантической интерпретации [Нусз 2000: 60]. Постмодернизм отвергает концепцию значения, закодированного в тексте и декодируемого в акте восприятия. Напротив,

семантическая интерпретация сообщения ставится в полную зависимость от контекста, при этом отсутствуют какие-либо критерии селекции и предпочтения частных интерпретаций (см. [Abrams 2000: 219]).

Аберрантные, по своей сути эклектические дискурсы являются следствием трансгрессии: пользуясь методом проекции одной предметной области на другую предметную область, ученые злоупотребляют специфическим заумным языком – терминологией, непонятной для большинства специалистов, изучающих данную область. Такое положение дел известно в случае лженауки, которая формулирует проблемы и постулаты таким образом, чтобы их нельзя было подвергнуть критике [Dupré 2008: 156]. Как уже упоминалось в разделе 2, такой характер имеют многие тексты современных французских интеллектуалистов, особенно представителей психоаналитического и семиотического направлений. В качестве примера приведу отрывок из книги Ю. Кристевой «Черное солнце»:

«Субъект смысла уже дан, даже если субъект лингвистического значения еще не сконструирован и требует для своего возникновения депрессивной позиции. Уже присутствующий смысл (который, как можно предположить, поддерживается ранним тираническим Сверх-Я) создан из ритмов и жестуальных, слуховых, фонических диспозитивов, в которых удовольствие артикулируется сенсорными сериями, являющимися первой дифференциацией по отношению к возбуждающей и одновременно грозящей Вещи и к аутосенсуальному смешению. Так в организованном разрыве артикулируется континуум тела, готового стать “собственным телом”, осуществляющим наиболее раннее, первичное, подвижное, но могущественное господство над эrogenными зонами, смешанными с до-объектом, с материнской Вещью. То, что на психологическом уровне представляется нам всемогуществом, является силой семиотических ритмов, которые выражают интенсивное присутствие смысла у до-субъекта, пока еще не способного к означиванию» [Кристева 2010].

Смысл данного отрывка не может быть результатом конфигурации отдельных знаков, потому что они сами по себе произвольны. Что такое «субъект смысла» и чем «смысл» отличается от «лингвистического (почему не «языкового»? – А.К.) значения»? Каким образом «смысл» «поддерживается тираническим Сверх-Я»? Какое отношение к «смыслу» имеют «ритмы и жестуальные диспозитивы»? Каким образом «удовольствие артикулируется сенсорными сериями»? Какое отношение эти «серии» имеют к «аутосенсуальному смешению»? Такого рода манера речи обычно определяется как *интеллигентский треп*, а в современном интернет-жаргоне встречается более экспрессивный вариант этого определения: *интеллигентский бубнеж*.

Кроме того, текст Кристевой полностью соответствует определению абсурда, а именно таким его характеристикам, как неразборчивость, неупорядоченность, несвязность (см. [Szymanek 2008: 19]). Аберрантный текст напоминает речь дилетанта, а также клинический бред, наблюдаемый в случае шизофрении (см. [Kiklewicz 2015: 13 и сл.]). О патологическом характере постмодернизма пишет, например, И. Смирнов: по его мнению, в современной литературе доминирует шизоидная тенденция, состоящая в необоснованных обобщениях и преувеличениях [Смирнов 1990: 9]. В том же духе А. Жук пишет о «неиерархической двусмысленности» постмодернистских текстов, которая, по ее мнению, является функциональной и психологической характеристикой лиц «с повреждением теменно-затылочных областей левого полушария» [Żuk 1998: 68 и сл.].

4.

Существует также другой тип неверифицируемых текстов. Внешне это формально правильные тексты, написанные с использованием стандартного языка, однако имеющие существенный недостаток: их содержание касается идеальных, сконструированных объектов, к которым нет доступа с помощью естественных форм восприятия или известных науке инструментов. Такого рода дискурсы (которые можно квалифицировать как инсайты) имеют трансцендентный характер – в том смысле, что они исключены из сферы перцептивного опыта. В традиционном понимании аргументация основывается или на эмпирических данных, или на логических, эксплицированных предпосылках, которым в рамках определенной логической системы соответствуют следствия. Постмодернистская аргументация опирается на психологическую аутентичность субъекта, знания которого имеют нативный и одновременно имманентный характер, представляя собой комплекс внутренних рефлексов, не имеющих явной мотивации или предыстории. Человек знает (то-то и то-то) просто потому, что знает, ему как бы «знается» вне какой-либо поддающейся анализу системы детерминаций.

Примером такого рода постмодернистского текста может служить монография об убийстве Сергея Есенина польских исследователей Г. Ойцевича, Р. Влодарчик и Д. Зайделя [Ojcewicz, Włodarczyk, Zajdel 2009], а также некоторые последующие публикации (см. [Ojcewicz 2011]). Элементы постмодернизма присутствуют в исходной теоретической декларации: группа Ойцевича использует «нетрадиционные методы получения информации» (сразу вспоминаются «люди с воображением» Табаков-

ской). В статье Ойцевича мы читаем, что, хотя новые методы интерпретации не всегда имеют достаточное научное объяснение и не всегда подтверждаются материальными доказательствами, негативная реакция консерваторов не должна заслонять очевидного (с его точки зрения) факта, что неконвенциональные, в том числе и спектакулярные, подходы в науке имеют преимущество с практической точки зрения.

По утверждению Ойцевича, новизна его (филологического) подхода состоит в криминологическом моделировании, т.е. воспроизведении обстоятельств смерти Есенина. Этот метод состоит в проведении и тщательном протоколировании криминалистических экспериментов – на этом, собственно, практический компонент исследования заканчивается. В публикациях Ойцевича и его группы мы не найдем ни исследования архивных материалов, ни специальных полевых исследований (например, данных эксгумации тела Есенина, которая никогда не проводилась, или, по крайней мере, о ней ничего не известно). Действуя в соответствии с постмодернистским лозунгом «Всё дозволено», Ойцевич стремится убедить читателей в том, что Есенин был убит сотрудниками ОГПУ (повторяя версию смерти поэта, ранее высказанную писателем Виталием Безруковым). Ойцевич подробно, в деталях описывает весь календарь событий начиная с 21 декабря 1925 г., когда «некто Егоров, секретный сотрудник ОГПУ, убедил Сергея Есенина покинуть Московскую психиатрическую клинику, где тот скрывался от преследований большевиков», и заканчивая 31 декабря того же года – днем официальных похорон Есенина в Доме прессы. Хотя мы имеем дело с научным текстом, повествование изобилует фактическими деталями и больше напоминает криминальную повесть.

Квинтэссенцией конструктивизма можно считать фрагмент публикации, в котором Ойцевич представляет «гипотезу» о посмертной кастрации Есенина:

«28 декабря 1925 года, 16.00 – 29 декабря до момента вскрытия. Всю ночь с 28 по 29 декабря у тела поэта, по приказу ОГПУ, дежурит посредственный ленинградский поэт Василий Князев (1887–1937), называемый также Красным Звонарем. Его задача – не допустить никого к телу Есенина. Такое поведение Князева объясняется не только желанием скрыть отвратительное убийство, но прежде всего скрыть позорное действие, которое, возможно, через несколько минут будет совершено с телом двумя сотрудниками ОГПУ, специально присланными из Москвы по указанию Сталина. Согласно выдвинутой здесь гипотезе, они, скорее всего, осквернят труп, совершив кастрацию покойного. Половые органы Есенина будут переданы основному заказчику [т.е. Сталину].

Вполне возможно, что они стали элементом ритуала черной магии, что позволило передать силу и талант человека, которому они принадлежали, другому лицу» [Ojsewicz 2011].

«Гипотеза» о кастрации Есенина основывается, в частности, на медицинском экспертном заключении, сделанном 29 декабря 1925 г. Александром Гиляревским. «Акт анатомического открытия трупа Есенина» (известный также как «Акт Александра Гиляревского») имеет следующее содержание:

«Покойному 30 лет. Физическое развитие правильное, упитанность нормальная. Кожный покров бледный. Зрачки расширены равномерно. Отверстия носа свободные, губы сомкнутые. Кончик языка зажат между зубами. Половые органы отвечают норме, заднепроходное отверстие чистое. Нижние конечности имеют тёмно-фиолетовый цвет. На них имеются точечные кровоизлияния. В середине лба вдавленная вертикальная борозда длиной 4 см и шириной 1,2 см. Под левым глазом ссадина» [Там же].

Пользуясь специфическим, по существу деконструктивным способом рассуждения, Ойцевич утверждает, что «Акт Гиляревского» свидетельствует о том, что половые органы Есенина были удалены. В статье польского исследователя мы читаем:

«Согласно акту, все внутренние органы отвечают норме. Судебный врач, по понятным причинам, не упоминает о нанесенных умершему телесных повреждениях, а именно – о его кастрации. Его акт, однако, явно зашифрован, непонятен для тех, кто слабо разбирается в области судебной медицины, но может быть расшифрован спустя многие годы в свете поэтики противоположностей, с учетом интеллектуальных аллюзий и специальных знаний в области судебной медицины» [Там же].

Трудно понять, какие специальные знания в области судебной медицины позволяют понять предложение «Половые органы отвечают норме» как «Половые органы отсутствуют». По существу, мы имеем дело со спекуляцией, которую автор скрывает с помощью ссылки на недоступный другим способ интерпретации фактов: ключевой характер во всем приведенном выше фрагменте имеет выражение *по понятным причинам* – за ним скрывается интуиция или что-то вроде телепатии как познавательный метод и способ аргументации.

5.

В такого рода абберрантных дискурсах мы обычно имеем дело с чрезмерной экстраполяцией, а также с необоснованной аналогией, что в

психиатрии считается симптомом бредового расстройства (см. [Metzinger 2003: 376]). В теории аргументации такие формы поведения трактуются как ошибки. Например, аналогия считается ошибочной без достаточной верификации свойств, лежащих в ее основе [Szymanek 2008: 82]. Другая ошибка касается количественного параметра сопоставляемых предметных областей – она совершается в тех случаях, когда эти области не сопоставимы по своему формату.

Данные девиантные формы аргументации можно наблюдать в работах по когнитивной и антропологической лингвистике. В языкознании последних десятилетий наблюдается тенденция к избеганию языка (подробнее см. [Kiklewicz 2007a: 43]): уменьшается интерес исследователей к формальной стороне языковых единиц, и, напротив, их внимание переключается на функциональный и, прежде всего, интерактивный аспект, т.е. их взаимодействие с окружением: социальной системой, культурными нормами и стереотипами, познавательной системой и др. Категориальный аппарат лингвистики всё больше ставится в зависимость от других наук: психологии, социологии, антропологии, культурологии.

В принципе, лингвистическое описание по определению, в соответствии со спецификой языкознания как научной дисциплины, должно касаться языковых единиц: фонетических, аффиксальных, лексических, синтаксических, при том что существуют их разные аспекты изучения: формальные (субстанциальные), структурные, функциональные (семантические, прагматические) и позиционные. Однако в эпоху постмодернизма языкознание характеризуется глобализмом (или холизмом): внимание ученых направляется на языковое поведение, а прежде всего – на его социокультурную и психическую мотивацию. Именно мотивацию трактует уже упомянутая ранее Табаковская как ключевой концепт новой научной парадигмы. По ее утверждению, сегодня «язык не мыслится в категориях условной системы знаков – знаки имеют мотивацию, которая не была учтена в теории де Соссюра» [Tabakowska 2001: 30]. В России эта теоретическая установка нашла отражение в тезисе, озвученном А.Е. Кибриком: «От описания к объяснению» [Кибрик 1999].

На избегание языка указывает состояние современной антропологической лингвистики, в частности этнолингвистики. Собственно, ее предметом является антропология повседневности, особенно применительно к региональным культурам, поэтому можно задать вопрос: что здесь лингвистического? Например, мало общего с лингвистической проблематикой имеет научная публикация «Домашний скот

в поверьях и магии восточных славян» [Журавлев 1994] или публикация «Культ хлеба у восточных славян. Опыт этнолингвистического исследования» [Страхов 1991], хотя обе квалифицируются как этнолингвистические. Я далее без комментариев приведу фрагмент очередного этно-, а фактически псевдолингвистического исследования:

«У лемков Горлицкого повета Жешовского воеводства в Польше вечером в сочельник хозяин шел в хлев дать скоту хлеба и чесноку, чтобы скот был здоров, затем приносил в избу необмолоченный снопок овса и говорил: “Pomahaj bih. Na szczastia, na zdrowia, na tot nowyj rik”. Хозяйка отвечала: “Daj boże w komory i na dwory”, а потом спрашивала: “Od kalste połażnyku?” (Skąd jesteście, podłażniku?), на что хозяин: “Z weselocho, z bystroho, z dobroho, zo szczasływoho”, после этого диалога снопок ставили в углу хаты и начинали готовить стол к ужину. Хозяин расстилал на столе сено, сыпал на него овес (чтобы в доме было много денег), прикрывал его скатертью, а хозяйка клала несколько буханок хлеба, положенных одна на другую, соль на тарелке, чеснок и горшочек, в котором были все виды зерна, и в него ставила горящую свечу. В с. Кункова на столе лежал еще небольшой хлебец, так называемый *połażnyk*, который позже делился. На ужин приготавливали 12 блюд, по 3 ложки от каждого откладывали в посудину и давали потом коровам, чтобы колдунья не отобрала молоко» [Усачева 2008: 18].

А.А. Камалова и Л.А. Савелова, авторы монографии «Лингвокультурологическое описание северной русской деревни» [Камалова, Савелова 2007], несмотря на присутствие элемента *лингво-* в названии книги, уделяют мало внимания языковым свойствам архангельского диалекта – в основном они описывают материальную и духовную культуру его носителей. Много места в монографии, например, занимает описание символических значений предметов быта, ритуалов и ритуальных текстов, но следует признать, что это почти не имеет отношения к единицам языка.

Подобная ситуация наблюдается в польской этнолингвистике. Одним из результатов группы ученых из Люблинского университета, возглавляемой Е. Бартминским, является многотомный «Словарь стереотипов и народных символов» (польск. *Słownik stereotypów i symboli ludowych*) (подробнее об этом словаре см. [Кульпина, Татаринов 2012]). Например, в статье «Тень» можно прочесть о культивируемых различными народами верованиях, связанных с феноменом тени, символикой тени, частично (но лишь частично!) представленной в загадках, пословицах, обрядовых песнях, сказках и других жанрах фольклора [Bartmiński 2012: 147 и сл.]. Прежде всего, вся эта информация не пред-

ставляет какого-либо единого образа десигната, не указывает на какую-либо единую «языковую картину мира». Во-вторых, символика тени как физического явления не имеет прямого отношения к существительному *тень* (в польском языке *cień*) – ни к его лексической или грамматической семантике, ни к его синтаксическому или прагматическому употреблению, ни к его деривационным отношениям в лексической системе языка. Если «Словарь стереотипов и народных символов» и описывает семантические коннотации существительного *тень*, то большинство из них мотивировано культурными контекстами, т.е. внешними по отношению к языку и языковой деятельности факторами. Следует, кроме того, отдавать себе отчет в том, что во многих ситуациях использования языка эти коннотации не актуальны, а многим современным носителям языка они вообще неизвестны.

6.

Чрезмерная экстраполяция является также чертой современной когнитивной лингвистики. Она заключается в том, что лингвистические объекты интерпретируются в терминах когнитивной психологии без какой-либо психологической верификации, а зачастую такого рода «исследования» лишены какой-либо реальной опоры в языковом материале. Это не удивительно, потому что большинство ученых, которые относят себя к когнитивистам, не имеют компетенции в области психологии, поэтому когнитологические апелляции имеют сугубо спекулятивный и псевдонаучный характер. Современные лингвисты-когнитивисты отказались от метода эксперимента, который был главным инструментом психолингвистики, и главным образом занимаются абстрактным конструированием когнитивной системы (когниции), а именно – ее языковой составляющей. Формами представления языковых знаний являются разного рода графы, схемы, концептуальные проекции, сети и т.п. (подробный анализ методики когнитивной лингвистики (см. [Kiklewicz 2012b: 106 и сл.]). Они не только не имеют отношения к языковой системе, но также и к языковой компетенции, ее психологическому аспекту, что признает один из ведущих американских представителей когнитивизма Р. Лангакер:

«Концептуализацию можно рассматривать с двух точек зрения: феноменологической или с точки зрения когнитивных процессов (обработки информации). Мы можем пытаться описать наш ментальный опыт “как таковой” (*per se*) или с точки зрения когнитивных процессов,

лежащих в его основе. Когнитивная семантика сосредоточилась на первой перспективе, которая, конечно же, более доступна благодаря опоре на языковые данные. <...> Несмотря на быстрый прогресс в этой области [когнитологии], достоверное и подробное объяснение того, как специфические языковые структуры обрабатываются в нейрофизиологическом плане, остается долгосрочной целью» [Langacker 2008: 31].

Вышеупомянутый тезис подтверждается также фактом, что когнитивная лингвистика фокусируется только на отдельных аспектах познавательной системы: на понятийной категоризации и (в меньшей степени) на эмоциях, в то время как предметная область когнитивной психологии намного шире; например, она охватывает такие важные и мало исследуемые когнитивными лингвистами функции интеллекта, как рассуждение, логический вывод, воображение, внимание, память.

Исследовательский метод когнитивной лингвистики обнаруживает сходство с логической ошибкой *fallacia accidentis*, которая появляется в результате смешения существенного со случайным. Некоторое общее правило (в частности, сформулированное по отношению к определенной предметной области) механически экстраполируется на частные случаи, в том числе и другие предметные области, без учета тех обстоятельств, которые должны модифицировать способ интерпретации этого общего правила (подробнее см. [Szymanek 2008: 145]). Эту ошибку можно, например, наблюдать в работах, связанных с теорией концептуальных метафор. Данная теория опирается на предпосылку о том, что одним из модулей человеческой познавательной системы являются метафорические проекции (англ. *mapping*), т.е. интерпретации одной категории с точки зрения другой (на основании аналогии). Эта идея получила развитие в 1980-х гг., особенно благодаря публикациям американского когнитолога М. Минского [Minsky 1984: 183 и сл.]. На основе этого общего тезиса делается вывод (своего рода антиципация) о том, что система номинации в естественных языках по своей природе метафорична. Составляющую эту формацию лингвисты убеждены, что, исследуя лексическую сочетаемость слов (т.е. выражения типа *чувства переполняют душу*), можно воссоздать, смоделировать всю систему метафорических проекций (таких, как ЧУВСТВА – ЭТО ЖИДКОСТЬ В КОНТЕЙНЕРЕ), лежащих в основе семантики языка.

Предложенная Дж. Лакоффом и М. Джонсоном [Lakoff, Johnson 1980] теория концептуальных метафор, несмотря на то что она высоко ценится в Северной Америке и в некоторых странах Европы, должна быть признана одной из величайших научных мистификаций, поскольку ни создатели этой теории, ни их сторонники и последователи не пред-

ставили никаких доказательств того, что метафорические проекции типа ЧУВСТВА – ЭТО ЖИДКОСТЬ В КОНТЕЙНЕРЕ являются реальными фактами языковой компетенции или фактами речевой деятельности. Я посвятил этой теме серию аналитических и критических публикаций [Kiklewicz 2004; 2005; 2006; 2007b; 2012b: 194 и сл.; 2013; 2016], которые явились результатом реализации нескольких научных проектов, в том числе финансируемых немецкими научными фондами Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH) и Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), а также польским государственным фондом Komitet Badań Naukowych. В русском языкознании теория концептуальных метафор была подвергнута критике с точки зрения московской семантической школы [Апресян, Апресян 1993].

Если и искать когнитивную основу метафорических выражений и явления метафоры в целом, то следует обратиться к понятию семантического прототипа. Как известно, прототип в когнитивной семантике означает понятие о предмете (экземпляре некоторого множества), «проявляющем в наибольшей степени свойства, общие с другими единицами данной группы» [Демьянков 1996: 140]. Именные и предикативные метафоры являются областью реализации прототипической семантики. Идею интерпретации идиоматических выражений с помощью понятия прототипа, а также понятия базового уровня категоризации ранее высказывал Д.О. Добровольский [Dobrowol'skij 1995: 89 и сл.]. Рассмотрим пример из работы упомянутого исследователя. В немецком языке употребляется фразеологизм *polnische Wirtschaft*, который дословно означает 'польская экономика', но имеет и более общее значение 'хаос, беспорядок'. В данном случае реализуется прототипическое представление немцев о беспорядке (польская экономика как характерный пример отсутствия порядка и организации).

Добровольский подчеркивает, что такого рода концептуальные метафоры возникают в условиях национальной культуры, поэтому им присущи этноспецифические характеристики. Например, немецкий фразеологизм *der goldene Mittelweg* 'оптимальное решение проблемы' связан с концептом 'золото', которое в европейских культурах относится к числу наиболее ценных материалов.

И.М. Кобозева, которая пишет, что концептуальные метафоры «должны обеспечивать возможность осмысления недискретных феноменов (гор, труда, инфляции и т.п.) в терминах дискретных сущностей или вещей», в то же время указывает на существование метафор, которые не соответствуют этому принципу восхождения от конкретного к аб-

страктному. Это касается, например, зоономических метафор типа: *Собакевич был совершеннейший медведь*.

По мнению Кобозевой, «люди и звери в равной мере – дискретные сущности». Сущность приведенного выше выражения состоит не в том, что оно реализует метафорическую модель ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЖИВОТНОЕ, ведь смысл выражения заключается в другом, а именно в том, чтобы дать человеку характеристику, ссылаясь на животное как ее прототип. Другими словами, «метафора медведя» реализует прототипический эффект, который заключается в представлении признака ‘неуклюжий, неповоротливый’ с помощью конкретного понятия <медведь> [Кобозева 2012].

Сама идея «метафор, которыми мы живем» (англ. *Metaphors we live by*) является очевидной гипостазой и спекуляцией, так как многие метафорические выражения, вопреки убеждениям когнитивистов, имеют ограниченный, стилистически маркированный характер и относятся к книжному, публицистическому, риторическому, поэтическому и др. стилю. В частности, это касается метафорического выражения эмоций, ср. некоторые примеры: *страх за душу берет; у страха глаза велики; преодолеть страх; под страхом смерти; потерять страх; страх берет; охватил страх; кем-л. руководит страх; держать в страхе* и др.

Трудно также согласиться с распространенным среди когнитивистов мнением, что такого рода метафорические выражения выполняют познавательную функцию. Это было бы возможно при условии, что метафора является единственным способом номинации, но в случае, когда существуют номинаты неметафорического типа (например, глагол *бояться*), фигуративные выражения типа *испытывать страх* не вносят новой информации о десигнатах.

* * *

Статья получилась полемической, но этого трудно было избежать, учитывая тему – влияние философии постмодернизма на современную науку и, в частности, на филологию. Смена научных парадигм имеет естественный характер, но сегодняшняя ситуация особенная: авангардные направления в филологии имеют явно иррациональный характер, а классические принципы научного исследования теряют свой обязательный характер. Наблюдается стирание границ между предметными областями и спекуляция информацией трансгрессивного характера; отсутствуют критерии делимитации объектов исследования, а модели описания объектов одной предметной области некритически переносятся на объекты других областей. Дилетантизм не считается

недостатком – напротив, он трактуется как преимущество исследователей, которые отдают предпочтение воображению перед анализом. В системе научной деятельности особое значение приобрел социальный аспект – принадлежность ученых к группе. В этом контексте познавательная ценность деятельности ученого сводится к воспроизведению понятий, проблем, источников и т.д., соответствующих идеологии определенной группы. Как и в других типах социальных групп (включая первобытные формы социальной жизни), магическое «Мы» оказывается сильнее логической аргументации.

Можно, конечно, успокаивать себя, что история ошибок и неудач в науке так же продолжительна, как и история открытий и успехов. Кроме того, как пишет русский философ И.Т. Касавин, чем более совершенен ум, тем более он склонен к ошибкам [Касавин 1990: 6]. Надо, однако, помнить, что совершенный ум обладает способностью селекции информации, а прогресс науки во многом обязан тому, что на протяжении веков ученые боролись с лженаукой. Странно, что и сегодня приходится доказывать, что научное познание, хотя оно подчинено социальным требованиям, опирается на собственные номотетические принципы, поэтому не приемлема ситуация, когда усилия в этой сфере направляются только на то, чтобы удовлетворить кооперативные потребности сообщества ученых.

Литература

- Апресян В.Ю., Апресян Ю.Д. Метафора в семантическом представлении эмоций // Вопросы языкознания, № 3, 1993.
- Буренина О. ... quia absurdum // Die Welt der Slaven, 2000, XLV.
- Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Е.В. Падучева (ред.) Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16: лингвистическая прагматика. М., 1985.
- Демьянков В.З. Прототипический подход // Е.С. Кубрякова (ред.) Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996.
- Журавлев А.Ф. Домашний скот в поверьях и магии восточных славян. Этнографические и этнолингвистические очерки. М., 1994.
- Камалова А.А., Савёлова Л.А. Лингвокультурологическое описание северной русской деревни. Архангельск, 2007.
- Касавин И.Т. Постигая многообразие разума (вместо введения) // И.Т. Касавин (ред.) Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания. М., 1990.

- Кибрик А.Е.* Три ахиллесовы пяты функционализма // Е.В. Рахилина, Я.Г. Тестелец (ред.) Типология и теория языка. От описания к объяснению. М., 1999.
- Кобозева И.М.* К формальной репрезентации метафор в рамках когнитивного подхода. URL: <http://www.dialog-21.ru/materials/archive.asp?id=7339&y=2002&vol=6077> (дата обращения 18.11.2012).
- Кристева Ю.* Чёрное солнце: Депрессия и меланхолия. М., 2010. URL: <http://sv-scena.ru/Buki/CHyernoeye-solntsyey-Dyepryessiya-i-myelankholiya.29.html>.
- Кульпина В.Г., Татаринов В.А.* Библиографические издания Люблинского университета // А.К. Кіклевіч, С.А. Важнік (рэд.) Паланістыка – Полоністыка – Polonistyka 2011. Мінск, 2012.
- Можейко М.* Постмодернизм // А.А. Грицанов, М.А. Можейко (ред.) Постмодернизм. Энциклопедия. Минск, 2001.
- Скоропанова И.С.* Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык. СПб., 2002.
- Смирнов И.* Бытие и творчество. Marburg, 1990.
- Страхов А.Б.* Культ хлеба у восточных славян: опыт этнолингвистического исследования. München, 1991.
- Субетто А.И.* (ред.) Ленинская теория империализма и современная глобализация. Книга 2. СПб., 2003.
- Усачева В.В.* Магия слова и действия в народной культуре славян. М., 2008.
- Усовская Э.А.* Постмодернизм. Минск, 2006.
- Abrams M.H.* Ustalenie i dekonstruowanie // R. Nycz (red.) Dekonstrukcja w badaniach literackich. Kraków, 2000.
- Barrilleaux R.J.* The Post-Modern Presidency. NY.; Westport; London, 1988.
- Bartmiński J.* Słownik stereotypów i symboli ludowych. T. 1. Kosmos. Lublin, 2012.
- Baudrillard J.* Simulations. NY., 1983.
- Bobrowski I.* Czy kognitywizm jest naukowy? O lingwistyce kognitywnej z punktu widzenia dwudziestowiecznych koncepcji nauki // Biuletyn PTJ, 1995, LI.
- Bobrowski I.* Zaproszenie do językoznawstwa. Kraków, 1998.
- Dobrowol'skij D.* Kognitive Aspekte der Idiom-Semantik. Studien zum Thesaurus deutscher Idiome. Tübingen, 1995.
- Dupré B.* 50 teorii filozofii, które powinny być znać. Warszawa, 2008.
- Fleischer M.* Koncepty – elementy sterujące komunikacji. Wrocław, 2008.

- Galdarola V.J.* Embracing the Media Simulacrum // *Visual Anthropology Review*, 1994, 10/1.
- Goćkowski J.* Siedem powinności zawodowego uczonego // *Zagadnienia naukoznawstwa*, 2009, XLV/3-4.
- Gómez R.* Simulation/Simulacra // M. Ryan (ed.) *The Encyclopedia of Literary and Cultural Theory*. NY., 2011.
- Hochbruck W.* Amerikanische politische Rhetorik in der Postmoderne: (noch) keine neue „Word order“ // *Sprache und Literatur*, 1995, 75/76.
- Jameson F.* *Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism*. NY., 1993.
- Kiklewicz A.* Konceptualna metafora: uniwersalność lub idiosyncraticzność? // *Acta Polono-Ruthenica*, 2004, IX.
- Kiklewicz A.* Problemy semantycznego badania języka w teorii konceptualnych metafor // H. Jachnow, A. Kiklewicz, N. Mečkovskaja et al. (Hrsg.) *Kognition, Sprache und phraseologische/parömiologische Graduierung*. Wiesbaden, 2005.
- Kiklewicz A.* Kognitywna teoria metafory – zagadnienia dyskusyjne // *Przeгляд Humanistyczny*, 2006, L/2.
- Kiklewicz A.* Aspekty teorii względności lingwistycznej. Olsztyn, 2007a.
- Kiklewicz A.* Metafory pojęciowe jako baza nominacji idiomatycznej (na przykładzie polskich konstrukcji werbo-nominalnych) // *Biuletyn PTJ*, 2007b, LXIII.
- Kiklewicz A.* Czwarte królestwo. Język a kontekst w dyskursach współczesności. Warszawa, 2012a.
- Kiklewicz A.* Konceptualne metafory, leksyczne parametry i prototypiczne efekty // A. Kamałowa (red.) *Słowo jak fenomen kultury*. Olsztyn, 2013.
- Kiklewicz A.* Znaczenie w języku – znaczenie w umyśle. Krytyczna analiza współczesnych teorii semantyki lingwistycznej. Olsztyn, 2012b.
- Kiklewicz A.* Bełkot w komunikacji językowej: próba klasyfikacji zjawisk // P. Lewiński (red.) *Bełkot, czyli mowa ludzka pozbawiona sensu. Komunikacyjna funkcja wypowiedzi niejasnych*. Olsztyn, 2015.
- Kiklewicz A.* Postmodernizm jako czynnik zmian we współczesnym językoznawstwie w aspekcie epistemicznym, społecznym i etycznym (przy uwzględnieniu innych nauk humanistycznych). Cz. II // *LingVaria*, 2016, XI/2.
- Lakoff G., Johnson M.* *Metaphors We Live By*. Chicago; London, 1980.
- Langacker R.* *Cognitive Grammar. A Basic Introduction*. Oxford, 2008.
- Metzinger T.* Phenomenal transparency and cognitive self-reference // *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, № 2, 2003.

- Minsky M.* Jokes and the logic of the cognitive unconscious // L. Vaina, J. Hintikka (eds.) *Cognitive Constraints on Communication*. Dordrecht etc., 1984.
- Nycz R.* *Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze*. Kraków, 2000.
- Ojcewicz G.* Najnowsza wersja okoliczności i przyczyny śmierci Sergiusza Jesienina od zlecenia do ekshumacji. URL: http://mediacentr.info/pl/criminal/najnowsza-wersja-okolicznoeshci-i-przyczyny-eshmierci-sergiusza-jesienina-od-zlecenia-do-ekshumacji_2532011 (дата обращения 31.03.2011).
- Ojcewicz G., Włodarczyk R., Zajdel D.* *Zabójstwo Sergiusza Jesienina*. Szczyt-no. 2009.
- Rose R.* *The Postmodern President*. Chatham; NY., 1988.
- Sokal A., Bricmont J.* *Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów*. Warszawa, 1998.
- Szymanek K.* *Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny*. Warszawa, 2008.
- Tabakowska E.* *Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego*. Kraków, 1995.
- Tabakowska E.* *Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu*. Kraków, 2001.
- Wojtak M.* *Dyskurs asekuracyjny w dyskursie naukowym* // S. Gajda (red.) *Dyskurs naukowy – tradycja i zmiana*. Opole, 1999.
- Żuk A.* *Dekonstrukcja zdekonstruowana. Logiczna krytyka metody Derridy* // A. Żuk (red.) *Granice języka*. Lublin, 1998.

А.В. Вдовиченко

Порождение знака.

О коммуникативной концепции семиозиса¹

Динамическое понимание семиотической процедуры вносит больше концептуальной ясности в связанные между собой вопросы: 1) о выделении знака, а также 2) о смыслообразовании при использовании так называемого знака.

Ставшие классическими рассуждения Ч.С. Пирса, Г. Фреге, Ф. де Соссюра и Ч. Морриса [Слюсарева 1975] так или иначе основаны на спонтанной презумпции, что *знаки существуют* и, соответственно, *обладают понимаемым значением*, которое реализуется в контексте интерпретатором.

Нужно заметить, что наличие знака (с имеющимся в нем значением – а иначе это уже не знак) принимается по умолчанию, а *контекст* и *интерпретатор* в предложенной классиками концептуальной конструкции, скорее, прилагаются к постулированному знаку в дополнение, в качестве уступки и оговорки, чтобы преодолеть очевидную (или подозреваемую) неопределенность якобы существующего «знака».

Так, например, из рассуждений всех упомянутых «отцов семиотики» (в особенности Ф. де Соссюра) следует, что в реальности имеют место «знаковые системы» – стабильные упорядоченные множества элементов – и главная из «семиотических систем» – «язык». Иными словами, *знаки есть*.

Однако очень скоро становится понятным, что рассуждать о значении и смысле автономных А, которые обозначали бы какие-то В, невозможно, если в рассматриваемую семиотическую процедуру не введены *параметры производимого ассоциирования* А с В: ассоциирование производится кем-то в мыслимых условиях, и вне него связь А и В следует считать вполне произвольным допущением. Именно поэтому не-

¹ Статья подготовлена при поддержке РФФ, грант № 17-18-01642 «Разработка коммуникативной модели вербального процесса в условиях кризиса языковой модели», в Институте языкознания РАН.

возможно указать определенное «значение» или «смысл» независимых «знаков» таких, как, скажем, изображение креста, красный свет, указательный жест, слова [модель], [Пушкин], [я], [следует], графем [СКС], [Сомн] и пр. Иными словами, *автономных знаков нет*.

Чтобы убедиться, что вторая позиция («знаков нет») имеет неоспоримое преимущество и гораздо более адекватно отражает реальность, можно сослаться на стандартную процедуру доказывания существования знака (к чему прибегают отцы классической семиотики, хотя и не дают полностью высказаться дотошному оппоненту, как это позволено в рамках данной статьи).

Сторонник классического семиозиса (далее СКС) выдвигает тезис: Знак существует. Культура состоит из знаков, язык состоит из знаков, музыкальное произведение состоит из знаков, дорожные правила состоят из знаков, и пр.

Сомневающийся (далее *Сомн*): Знак существует, если у него есть значение, – то, с чем ассоциируется «тело знака», ведь так?

СКС: Так.

Сомн: А если «тело» не ассоциировано со значением (ничего не вызывает, ни на что не указывает), то это уже не знак, так?

СКС: Так.

Сомн: Тогда давай конкретно... Скажем, у культурного «знака» «подмигивание» какое конкретное значение? Или у языкового «знака» [модель] какое конкретное значение? Или у музыкального «знака» [ре] третьей октавы какое конкретное значение – веселое или грустное? Или у дорожного «знака» «Дорожные работы», который висит на дороге, когда дорожных работ на ней нет, какое конкретное значение? Или буква [Р] какое имеет конкретное значение?

СКС: Само собой, знак имеет значение только в контексте и только в зависимости от интерпретатора.

Сомн: Но согласишься, что это разные вещи: «знак имеет значение» и «знак имеет значение только в контексте, в зависимости от интерпретатора»?

СКС: Пожалуй, разные. Но знаки всегда в контекстах и всегда в зависимости от интерпретаторов.

Сомн: Так, значит, знаки не существуют, а существуют комплексы «тело-интерпретатор-контекст»?

СКС: Они и есть знаки.

Сомн: Тогда, значит, «просто подмигивание» без контекста – не знак?

СКС: Знак. Но его значение нам неизвестно без контекста и процедуры интерпретации.

Сомн: А слово [модель] – знак или нет?

СКС: Знак. Но его значение нам неизвестно без контекста и процедуры интерпретации. Все остальное, о чем мы говорили, – тоже знаки, но значения их нам неизвестны без контекста и процедуры интерпретации.

Сомн: Понятно. А такие знаки (которые сами по себе ничего не означают) нам вообще нужны?

СКС: Нужны, потому что их можно поставить в контекст и придать интерпретацию.

Сомн: Значит, пока контекста и интерпретатора нет, у знака нет значения. Получается, такой знак нельзя считать знаком?

СКС: Можно, потому что значение можно потом найти.

Сомн: Тогда все можно считать знаками?

СКС: Можно и так. Всё суть знаки, но их значения пока неясны.

Сомн: Мне все-таки кажется, что, пока контекста и интерпретатора нет, такие «знаки» не существуют как знаки, ведь знак – это «тело» плюс «значение», «А плюс ассоциированное с ним В», «означающее» плюс «означаемое».

СКС: А мне кажется, что существуют.

Сомн: Тогда скажи, что значит без контекста подмигивание, [модель] и прочее? Где здесь конкретное «означаемое»?

СКС: Не знаю, но в контексте обязательно смогу дать интерпретацию. И т.д.

Заметим, что логическую и риторическую беспомощность, которую демонстрирует при отстаивании «знака» сторонник классического семиозиса (СКС), можно усугубить, сделать еще более рельефной, если поразмышлять о том, как проявляет себя контекст и как «работает» интерпретатор.

Первый, по-видимому, состоит из таких же «знаков», каждый из которых, как и рассматриваемый «знак», не имеет определенного значения и сам нуждается в контексте. Вместе эти семантические переменные (или «ноли определенности») не могут создавать никакую определенную отличную от ноля сумму. Для каждого неизвестного «икс» (которое интерпретатор старается вычислить по контексту) нет окружающей его «известности», на фоне которой у неизвестного «икса» обозначились бы четкие контуры. Сумма семантических неизвестных дает неизвестное, сумма семантических нолей дает ноль. Это относится как к словесным, так и несловесным контекстам, если считать контексты составленными из таких же «тел знаков» («означаемые» которых нужно определять по контексту). Вопреки ожиданиям и традиционным формулировкам, кон-

текст, составленный из «требующих контекста знаков», не может быть источником определенного значения для отдельного «тела знака».

Интерпретатор (включая самого автора знаковой деятельности) в таких условиях не смог бы найти нигде твердой почвы для уверенной интерпретации. Если его сознание работало бы с такими «знаками» и каждый из них требовал бы подгонки под знаковый контекст, интерпретатор перебирал бы бесчисленные сочетания возможных значений, дававших, в свою очередь, различные суммы значений, но уверенности не было бы нигде.

Похоже, классическая доктрина семиозиса зиждется на взаимоисключающих положениях:

Знаки автономны – Знаки зависимы,

Знаки существуют – Знаки не существуют,

Знак имеет определенное значение – Знак не имеет определенно-го значения,

Всё представляет собой знаки – Не всё является знаками,

Знаки и системы знаков существуют автономно (например, вербальный «язык») – Знаки (а, значит, и знаковые системы) не существуют вне интерпретатора и контекста.

«Означаемое» знака формируется контекстом и интерпретатором – Деятельность интерпретатора и контекст определяются знаками. И пр.

Степень неопределенности классической теории семиозиса от заложенных в ее основание противоречий только возрастает. Стабильным и определенным в ней можно считать только внешнюю форму знака, которая, впрочем, не гарантирует никакого «означаемого», но зато соблазняет и провоцирует исследователя на то, чтобы говорить о каком-то «теле знака» как о самом «знаке» (см. выше Диалог СКС и Сомн). Так, несмотря на возникающие неясности и даже подозрения, что в автономном знаке (см. приведенные примеры) сам знаковый процесс просто отсутствует, рассуждения о таких «знаках» (как о «единстве некоего тела и значения», как о некоем «А и ассоциированном с ним В») остаются вполне легитимными в рамках классической теории семиозиса.

Кроме того, следует признать, что, как следствие излишней предметности («телесности») понимания «знака» в классической теории семиозиса имеет место избыточная увлеченность соответствием «тело знака – объект» («некоторое А, обозначающее некоторый факт или объект В» у Пирса [Пирс 2000; Нёт 2001], «предмет и имя» у Фреге [Фреге 2000], «понятие и акустический образ» у Соссюра [Соссюр 2004], «законоси-

тель (sign vehicle) и десигнат (designatum)» у Морриса [Моррис]). В результате семиотический процесс фактически редуцируется до простого обозначения объектов (последние выступают и как образы в сознании, и как предметы/явления внешнего мира и часто путаются, замещая друг друга, хотя уже стоикам было предельно ясно радикальное различие между ними). Семиозис в классическом понимании предстает бессмысленной игрой «построй соответствие А и В» (Пирс), «назови именем предмет» (Фреге), «подбери акустический образ к понятию» (Соссюр), «сочетай знаковое средство с десигнатом» (Моррис).

Нужно признать, что играть в эту бесконечную и бесцельную игру не может позволить себе ограниченный временем и пространством homo sapiens sapiens. В семиотической процедуре он преследует совершенно другие цели и исполняет совершенно другие задачи (а «называть» любые предметы/явления можно и посредством единого указательного жеста или слов [он], [это], [тот]). Бессмысленность простого указывания на объекты (хотя именно этим исчерпывается смысл создания классической формулы «означающее-означаемое») не может оставаться незамеченной и не провоцировать новых попыток объяснения естественного знакового процесса.

Коммуникативная (динамическая) концепция знака предлагает иное, вероятно, менее зыбкое основание естественных семиотических процедур. Существование знака и смыслообразование в коммуникации оказываются тесно связанными и взаимоопределяющими.

Основание принципиально иного подхода к понятию знака возникает вследствие изменения воззрений на семиотический процесс (в том числе такой, который реализуется с использованием вербального компонента). После многочисленных дискуссий и разнонаправленных мнений о природе вербального факта (В. фон Гумбольдт, Л. Витгенштейн, Дж. Остин, Дж. Серль, М.М. Бахтин, В.Н. Волошинов, Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев и др.) уже невозможно отрицать, что любой акт с участием знаков нужен коммуниканту только для воздействия, то есть для изменения когнитивного состояния мыслимого адресата [Вдовиченко 2008]. При этом различие между вербальным и невербальным семиотическим действием не имеет принципиального различия ввиду институциональной общности всех видов знаковой деятельности: целевой причиной их осуществления является опосредованное достижение изменений в сознании мыслимого адресата.

На этом фоне семиозис (знаковая деятельность с целью смыслообразования) неизбежно оказывается не механистическим «обменом

мыслями», а процедурой воздействия, смысл которой, как и в любом деле, состоит в достижении планируемых коммуникантом изменений. Эти изменения, с точки зрения коммуниканта, могут наступить в представимом (внешнем) сознании, которое подвергается попытке целенаправленного воздействия. Смыслообразование в сказанном (показанном, воспроизведенном, написанном, сыгранном и пр.) оказывается всецело коммуникативным («воздействительным» и «интерактивным») феноменом, а игра «подбери название для предмета» теряет свой прежний теоретический потенциал и становится лишь частью другой, более важной и серьезной, «игры». Фокус интерпретации знака перемещается с отношения «тело знака-десигнат» на отношение «действие-мыслимый результат», в котором прежний знак играет гораздо более условную и зависимую роль.

Значение знака

Элементы (тела знаков), вовлеченные в семиотический процесс и выделяемые в нем, не могут быть «какими-то», если данный комплекс выступает автономно, не будучи «подключенным» к «работающему» (реализующему коммуникативные процедуры) источнику смыслообразования – индивидуальному сознанию [Вдовиченко 2018].

Так, нарисованная на листе бумаги стрелка с надписью «Registration» не может порождать смысл, если этот лист лежит распростертым на полу, пережив неконтролируемое падение с того места на стене, где прежде он был укреплен заботливой рукой организатора начинавшейся конференции. В данном «знаке» в нынешнем его положении не просматривается целенаправленное осознанное коммуникативное действие, которое можно понимать. «Регистрацию» не следует искать там, куда в настоящий момент указывает упавший на пол «знак». Тем более, что конференция давно уже завершилась. Поэтому и «знаком» его вряд ли можно признать: в данной стрелке, снабженной надписью, уже нет означаемого (некоего контента, или планируемого эффекта, помысленного автором семиотического поступка), несмотря на относительную стабильность внешней формы: организатор конференции некогда указывал посредством данной стрелки иное, нежели сейчас, направление, имея в виду иную диспозицию адресата по отношению к стрелке, иной период актуальности данного знака, иной момент взаимодействия с адресатом и пр.

Снова представить «стрелку с надписью» «знаком» можно только путем воссоздания лично осознанной коммуникативной процедуры,

но никак не путем изучения самого тела «автономного знака». Вне мыслимых параметров коммуникативного действия (если эти параметры личного поступка не воссоздать) знак «стрелка с надписью» оказывается пустым и даже, похоже, вовсе несуществующим: он никому ни о чем не говорит, ни на что не указывает, не дает никаких рекомендаций. Иными словами, в нем не просматривается *действие источника коммуникативной интенции*, не идентифицируется поступок возможной сознающей свое воздействие личности. От самой стрелки с надписью невозможно добиться автономного означивания, следовательно, и знаковости в «стрелке вообще» нет.

Подобным образом ведет себя любой «знак», рассматриваемый отдельно от личного осмысленного коммуникативного поступка (в том числе слово, предложение и текст): ожидаемое в нем отношение А и В лишается организующего принципа, такой знак исчезает, не существует как таковой. По-видимому, условием существования «значения» знака (или того, что пока условно можно посчитать знаком, скажем, как в интерпретации Пирса или Соссюра) оказывается не стабильная предметная форма вкупе с непонятно откуда взявшимся постулированным означаемым, а возможность видеть *личный конкретный коммуникативный процесс* (семиотический поступок) за какими-то «телами знаков» (совокупностью намеков на семиотический поступок).

Создание знака

Порождение (конструирование) «знака» происходит как в сфере означаемого, так и в сфере означающего.

Означаемое. Необходимость коммуникации (реализации коммуникативного воздействия или последовательности коммуникативных воздействий в виде вербального текста, видеоряда, кинофильма, музыкального произведения и пр.) возникает до и вне каких-либо знаковых форм. Так, в желании указать место, где производится регистрация участников конференции, нет ничего словесного, жестового, музыкального и пр. Такую интенцию может иметь представитель любого коммуникативного сообщества, независимо от «родных» для него вербальных клише, культурных традиций, привычек и пр. Дознаковое «означаемое», таким образом, опережает «означающее», как замысел действия опережает само действие. Именно это лишенное знаковой формы личное состояние сознания (замысел) становится причиной последующей организации семиотического поступка, в том числе вы-

бора его форм, способных возводить к замыслу. К исходному незнакомому статусу поступка («означаемому») возвращается интерпретатор в процедуре интерпретации, отвечая на вопрос, что мыслил и почему так пытался воздействовать на него автор коммуникативного поступка.

Видимые формы, которые могут претендовать на роль носителей значения (стрелки, слова, лист бумаги, цветное пятно, рисунок, место в пространстве для позиционирования «знака»), не могут заранее содержать то «значение», которое возникает в сознании коммуниканта здесь и сейчас, но ради именно этого значения коммуникант производит свое коммуникативное действие. «Значение» принадлежит не «пустым телам» стрелок, слов, изображений и пр., а тому, кто сознает необходимость воздействовать на постороннее когнитивное состояние. «Значение» возникает как замысел воздействия: в нашем случае «значение» состоит в намерении в данных условиях дать понять некоему адресату-участнику конференции (который с большой вероятностью окажется в данном месте), куда нужно идти, чтобы зарегистрироваться.

Заметим, что у автора коммуникативного поступка нет желания «подобрать имя» для места регистрации, «поименовать» стрелкой направление движения, обозначить место вывешивания знака и пр. Вместо «называния объектов» его интересует влияние на мыслимого адресата. Последнее возможно при использовании семиотических средств, которые способны производить изменения только в когнитивной сфере адресата, в отличие от физических воздействий, эффект которых не опосредован когнитивными способностями адресата.

Изменение когнитивного состояния посредством семиотического воздействия осуществляется как узнавание состояния того, кто совершает воздействие. Объекты, модальности, отношения, желания, ценности и пр., явленные в коммуникативном поступке, не могут рассматриваться независимо от сознания автора действия, поскольку в пределах данного коммуникативного акта их источником является только сознание автора поступка: он фокусирует и создает объекты внимания адресата, выстраивает отношения между ними, свидетельствует о своих предпочтениях, сомнениях, уверенности, желаниях и пр. Поэтому адресат способен понимать что-то как знак только тогда, когда видит за «телом знака» чью-то семиотическую активность и восстанавливает когнитивное состояние того, кто совершает семиотический поступок. Так, установить объект (который, скажем, скрывается за словом [модель], [Пушкин], [он], [это], графемами [СКС] и [Сомн]) можно только, если обратиться к автору семиотического поступка и понять, что он

имел в виду, когда использовал эти «знаки». Из самого «тела знака» объект установить невозможно, поскольку в слове отсутствует источник мысли, а значит, и основание для ассоциирования А и В.

Иными словами, поскольку «означаемое» (помысленное семиотическое действие) является феноменом сознания, путь к означаемому ведет в индивидуальную когнитивную сферу автора (насколько ее может представить себе интерпретатор), где создается замысел коммуникативного поступка («означаемое»).

Добавим, что в случае «означивания» *несемиотических* процессов («хмурое небо – к дождю» и пр.) конструирование «знака» еще более очевидно, чем при семиотических действиях: имеет место интенция обладателя сознания, его когнитивная активность, выделение (создание) им объекта, приписывание ему актуальных признаков и пр. Однако если это соединение «означающего и означаемого» не вынесено в коммуникативное пространство, его нельзя считать знаком, поскольку нет двух разных сознаний (между которыми устанавливалась бы опосредованная связь). Конструирование такого «знака» вне коммуникации есть, по сути, сам когнитивный процесс, производимый обладателем сознания, или совершаемое им умозаключение.

Означающее. Несмотря на стабильность тела знака («означающего»), принимаемую сторонниками классического семиозиса по умолчанию, процедура обособления некоей предметной сущности, которую можно предъявить в качестве означающего, вызывает сомнения у любого внимательного наблюдателя. Иными словами, вопрос, переведенный в конкретную плоскость, состоит в том, сколько знаков следует видеть, скажем, в слове [нужно]. Возможность признать, что в данном слове пять, четыре, три или два знака (пять фонем, пять или четыре звука, пять или четыре буквы, три морфемы, два слога), а также что все оно представляет собой один неделимый знак (слово), свидетельствует об *утилитарности назначения* «знаков»: наблюдатель исчисляет их в зависимости от им же самим введенного критерия.

Прибавим к этому только запутывающий картину факт, что знак невозможно понимать «вне контекста». Иными словами, любое «тело знака» (вернее, носитель того, что часто считается знаком) представляет собой своего рода пустой резервуар, скорлупу, фантик, имеющий самостоятельное значение лишь в ограниченном числе случаев, где актуализуется материальная обесмысленная составляющая «знака» (например, в поэтическом метре, орфографии, полиграфии, где, скажем, замена [нужно] на [следует] может быть неравноценной). В обычном

смыслопорождающем («рабочем») режиме вербальных клише говорящий/пишущий и адресат (в т.ч. косвенный) не выделяют «единицы естественного говорения» ни на уровне звуков-морфем-слогов, ни на уровне слов, если искомое коммуникативное действие производится и интерпретируется беспрепятственно, беспроблемно. Говорящие на родном «языке» не завидуют единицы в качестве отдельных объектов, если общее коммуникативное действие восстанавливается по совокупности вербальных и невербальных данных. (Заметим, что в предыдущем предложении вполне обычная «единица» [завидуют] выделена адресатом (на ней фокусируется его внимание) и рассмотрена отдельно только потому, что она не встраивается в понятное адресату коммуникативное действие. В сознании адресата в этот момент возникает вопрос, *что* сделал сознательно поступавший автор, притом что в самой неожиданно выделенной, в отличие от других, «единице» – в данном случае в слове [завидуют] – ничего необычного нет, это вполне «обычное слово русского языка»).

Иными словами, «знаки» возникают при попытках разделить на части видимую, телесную составляющую коммуникативного действия, притом что само действие имеет несловесный, целостный и комплексный смысл, а дискретные «тела знаков» (слов, изображений и пр.) создают ложное ощущение суммирования «знаков» для получения этого смысла. Так, при переводе на другой «язык» то же самое будет изложено иными словами («иными единицами») – при соблюдении тождества коммуникативного смысла. Различие между исходной и полученной «структурами» в словах, их количестве, морфемном составе, порядке, длине и пр. будет свидетельствовать о независимости смысла от конкретных «знаков», о существовании коммуникативного смысла за пределами вербальной формы (вспомним к тому же, что коммуникативное действие можно зачастую произвести и вне вербальной формы – жестом, показом, взглядом, рисунком, схемой и пр.; коммуникативное действие может быть понятным до того, как все входящие в него слова будут сказаны; коммуникативное действие существует в виде замысла до произнесения слов; слова не складываются, а интегрируются в коммуникативном действии). В то же время делить на знаки – если такая задача поставлена – придется именно телесную (несмыслосодержащую) часть коммуникативного действия, то, что всего лишь призвано намекать и отсылать к личному поступку, а не иметь собственного значения.

Так, в приведенном примере со стрелкой и надписью делить на части в поисках «знаков» придется саму стрелку и надпись, хотя конкретное

смыслопорождение реализуется далеко за пределами этих телесных (могущих быть разделенными и предъявленными) объектов – в сознании автора поступка, где учитывалось гораздо больше параметров коммуникативной процедуры, чем те, что могут быть установлены по знакам. Это «означаемое» становится доступным в процедуре интерпретации, интегрирующей все релевантные признаки когнитивного состояния автора – стрелки, надписи, картинки, выражения лица, модуляции голоса, мыслимые им условия действия, мыслимую им пространственную диспозицию адресата и «тела знака» и пр. Понятно поэтому, что любой «знак» (например, стрелка и слово Registration), добытый из предметного перечня возможных «носителей значения», будет чем-то недостаточным, не передающим суть (механизм) многомерной коммуникативной динамики происходящего.

Таким образом, констатируя, что порождаться и пониматься могут только личные коммуникативные действия [Вдовиченко 2016], коммуникативная (динамическая) модель тем самым расписывается в невозможности предъявить «знак» с той же определенностью, с какой это делала статическая (прежде всего языковая) модель.

Согласно коммуникативной модели, «знак» назначается условно (в языковой модели он констатируется безусловно и определенно), не существует как объект, или тело (в языковой модели – он существует как диада «тело знака–значение»), намекает и отсылает к состоянию сознания автора смыслопорождающего коммуникативного действия и проходит процедуру интерпретации (в языковой модели – он имеет прямое единообразное значение, хотя ни один из знаков, тем более совокупность всех знаков, не может быть чем-то тождественно мыслимым сразу всеми участниками произвольно выделенного коммуникативного коллектива).

Если в языковой модели знак можно сравнить с кубиком определенного цвета (форма–значение), то в коммуникативной модели «знак» – это утилитарно назначаемая и утилитарно выделенная интерпретатором форма, способная отсылать (прояснить, намекать, возводить и пр.) к конкретному значению – мыслимому автором семиотического поступка («то, что автор имел в виду»). Поскольку никакой «язык» не способен производить смыслообразование (ввиду отсутствия источника смыслообразования – активного личного сознания) и поскольку в естественном коммуникативном процессе порождаются и понимаются семиотические действия коммуникантов (а не самозначные «знаки» какого-либо «языка»), твердую почву для смыслообразования можно

найти только в сознании автора коммуникативного действия, – если, конечно, эту почву вообще пытаться обнаружить.

Литература

- Вдовиченко А.В.* О несамотождественности языкового знака. Причины и следствия «лингвистического имяславия» // Вопросы философии, 2016. №6.
- Вдовиченко А.В.* Расставание с «языком». Критическая ретроспектива лингвистического знания. М., 2008.
- Вдовиченко А.В.* С возвращением, автор, но где же твой текст и язык? О вербальных данных в статике и динамике // Вопросы философии, 2018. № 6, № 7.
- Моррис Ч.У.* Основания теории знаков. URL: <https://docplayer.ru/26653848-Charlz-uilyam-morris-osnovaniya-teorii-znakov.html>
- Нёт В.* Чарльз Сандерс Пирс // Критика и семиотика. Вып. 3/4, 2001.
- Пирс Ч.С.* Логические основания теории знаков. СПб., 2000.
- Слюсарева Н.А.* Теория Ф. де Соссюра в свете современной лингвистики. М., 1975.
- Соссюр Ф. де.* Курс общей лингвистики. М., 2004.
- Фреге Г.* О смысле и значении // Фреге Г. Логика и логическая семантика. М., 2000.

раздел II **Дискурсы и события**

С.Т. Золян

О языке в политической функции¹

1. Введение

Многообразие исследовательских интересов В.З. Демьянкова в сочетании с его тонкой интуицией, обширной эрудицией и постоянным желанием исследовать новое предопределили то уникальное положение, которое он заслуженно упрочил в современной лингвистике. Практически для всех ныне интенсивно развивающихся ее областей и дисциплин можно в качестве одного из первых обращений упомянуть статьи В.З. Демьянкова. Это справедливо и относительно политической лингвистики и, шире, политической филологии, основная проблематика которой была очерчена еще в [Демьянков 2002]. Цель нашей заметки – не только напомнить о не потерявших актуальности и сейчас ее основных положениях, но и попытаться развить и уточнить их. Основная проблема, на которой мы хотим сосредоточиться – это лингвистические характеристики того, что можно назвать языком в политической функции. Представляется несколько парадоксальным, что эта проблема, которая, казалось бы, должна стать обоснованием выделения политической лингвистики и ее методологической основой, все еще остается в тени. Ведь только наличие подобной функции делает оправданным существование соответствующей дисциплины, в противном случае вся ее проблематика сведется к изучению функционально-стилистических характеристик текстов, по тем или иным причинам признаваемых политическими. Примерно так в свое время В.З. Демьянковым был определен основной вектор исследований для этой новой тогда дисциплины:

¹ Исследование выполнено за счет гранта РФФИ (№ 18–18–00442) «Механизмы смыслообразования и текстуализации в социальных нарративных и перформативных дискурсах и практиках» в Балтийском федеральном университете им. Им. Канта.

Одна из этих дисциплин – политологическая филология – исследует, например, соотношение свойств дискурса с такими концептами, как «власть», «воздействие» и «авторитет». В отличие от «чистых» политологов, филологи рассматривают эти факторы только в связи с языковыми особенностями поведения говорящих и интерпретации их речи [Демьянков 2002: 34].

Время, прошедшее после опубликования статьи, позволяет несколько расширить предложенное В.З. Демьянковым понимание: уже сами выделенные факторы («власть», «воздействие» и «авторитет»), хоть и не сводимы к лингвистическим элементам и механизмам, но не-представимы и даже не-осуществимы без них¹. Поэтому позволим переформулировать эту задачу, заменив ограничительное «только» на расширяющее «а также»: «...политологическая филология – исследует, например, соотношение свойств дискурса с такими концептами и факторами, как “власть”, “воздействие” и “авторитет”, а также в связи с языковыми особенностями поведения говорящих и интерпретации их речи». Исходя из такого расширительного понимания, предложим одну из возможных версий того, каким образом указанное соотношение между политическими (политологическими) и языковыми (лингвистическими) концептами и механизмами может быть системно представлено в понятии «язык в политической функции».

2. К определению «политической функции языка»:

Г. Лассвелл

Разграничение между языком политики, политическим языком, с одной стороны, и языком в политической функции – с другой, позволит отделить, соответственно, функционально-стилистические характеристики политического дискурса от функционально-системных. Во втором случае речь пойдет не о выделении и таксономии используемых в политических текстах языковых единиц, а об их системном преобразовании (подробнее [Золян (в печати)]). Данное разграничение

¹ В первую очередь, следует сослаться на исследование Сёрля [Searle 1995], показавшего конвенциональную природу политических концептов и языка политических институтов. Значимость лингвистических характеристик применительно к политологии и к ее методологическому аппарату рассмотрена нами в [Zolyan 2015; Золян 2016; Золян (в печати)]. Здесь же мы попытаемся найти обратное – политический функционал в языковых механизмах.

аналогично намеченному русскими формалистами и приобретенному завершённую форму у Романа Jakobsona разграничению между языком поэзии и поэтическим языком, или языком в поэтической (эстетической) функции. Нетрудно заметить, что, говоря о политическом языке, обычно имеют в виду скорее не какой-то отличающийся по словарю и грамматике язык (возможные отличия вполне укладываются в рамки рутинного стилистического варьирования), а именно язык в политической функции. Однако здесь возникает вопрос – можно ли определить место этой функции в ряду имеющихся шести основных языковых функций, если основываться на общеизвестной схеме Романа Jakobsona? Имеющиеся определения подобной функции, на первый взгляд, никак не связаны с указанными внутрисистемными функциями и ориентированы на экстралингвистические характеристики – это прагматические отношения между текстом, адресантом и адресатом. Именно такая задача была поставлена классиком политологии Г. Лассвеллом:

«Когда мы рассматриваем функции языка, мы исследуем бинарные отношения между функцией и языком. Наши главные вопросы при этом: каково влияние функции на язык и наоборот, языка на функцию. <...> Существуют различные функции языка, в зависимости от намерения говорящего и достигаемого эффекта. Когда речь идет об оказании какого-либо воздействия на сферу власти, можно говорить о политической функции языка» [Лассвелл 2006: 269].

Как видим, для Г. Лассвелла определяющим является не содержание и не стилистика текста, а – в этом он явно опередил авторов теории речевых актов – *намерения говорящего и достигаемый эффект*, или, в ставших принятыми терминах, это иллокутивная и перлокутивная сила высказывания. Воздействие на сферу власти (попытаемся конкретизировать: ее усиление, модификация, ослабление, репрезентация, институционализация, легитимизация или делегитимизация и т.п.) придает высказыванию статус политического, отсутствие такого воздействия лишает его этой силы. Сфера политики в данном случае ограничивается сферой властных отношений, сам язык выступает как *инструмент власти* (так озаглавлена заключительная глава статьи «Язык власти» [Лассвелл 2006: 278–279])¹. Но, очевидно, требуются особые условия, при

¹ Ср.: «Слова и власть тесно связаны между собой, поскольку показатели власти во многом носят вербальный характер (приказание – выполнение приказа, предложение – одобрение, и т.п.) <...> Изучение процессов ограничения и распространения требует обращения к общей теории языка и к языку как фактору, определяющему состояние власти и фиксирующему различные см. на следующей странице

которых это воздействие становится возможным. Подобная логика приводит Г. Лассвелла к необходимости ответа на следующий вопрос:

«Следовательно, нашу проблему можно сформулировать следующим образом: при каком условии слова оказывают влияние на действия власти? Если предположить, что “действия власти”, в которых мы заинтересованы, соотносятся с буквой R, задача состоит в том, чтобы понять, какие слова из окружения тех, кто находится у власти, будут оказывать большее влияние на R, настраивая аудиторию определенным образом (при условии постоянства всех прочих факторов). От чего зависит тот факт, что революционный призыв может быть отвергнут или подхвачен массами? Что определяет реакцию на предложение о необходимости реформ, на побуждение к решительным или умеренным действиям?» [Там же].

Поставив это интригующий вопрос, Г. Лассвелл дает ответ, который вряд ли можно считать обладающим объяснительной силой:

«Основной закон власти можно сформулировать достаточно просто: когда люди хотят достичь власти, они действуют в соответствии со своими представлениями о том, как добиться наибольшей власти» [Там же].

В самом деле, подобный ответ по сути лишь иными словами пересказывает поставленный вопрос, он лишь переносит его из вербальной сферы в область практических действий: а от чего зависит тот факт, что, *действуя в соответствии со своими представлениями о том, как добиться наибольшей власти*, они в некоторых случаях ее достигают, а в некоторых – нет. Безусловно, что при такой постановке вопроса он теряет какой-либо лингвистический смысл.

Между тем, при всех вполне понятных оговорках и необходимых уточнениях, идея Г. Лассвелла носит основополагающий характер. В вышеупомянутой статье В.З. Демьянкова (см. также [Демьянков 1984]) можно увидеть конкретизацию именно этого подхода, основанного на комбинации двух параметров: «намерение говорящего» – «ожидаемое воздействие на слушающего» или же трех: «убеждение – побуждение» => действие»:

«Общественное предназначение политического дискурса состоит в том, чтобы внушить адресатам – гражданам сообщества – необходи-

см. на предыдущей странице политические тенденции. Определенная часть реформ, осуществляемых властью, вызвана языковыми причинами, в связи с этим, одной из наших задач является установление соотношения между специальной теорией языка, политикой и общей теорией власти» [Лассвелл 2006: 278].

мость “политически правильных” действий и/или оценок. Иначе говоря, цель политического дискурса – не описать (то есть, не референция), а убедить, пробудив в адресате намерения, дать почву для убеждения и побудить к действию. Поэтому эффективность политического дискурса можно определить относительно этой цели» [Демьянков 2002: 38].

«Речь политика оперирует символами, а ее успех предопределяется тем, насколько эти символы созвучны массовому сознанию: политик должен уметь затронуть нужную струну в этом сознании; высказывания политика должны укладываться во “вселенную” мнений и оценок (то есть, во все множество внутренних миров) его адресатов, “потребителей” политического дискурса» [Там же].

Как видим, и при подобной конкретизации на первый план выйдут внесистемные признаки языка, тогда как внутрисистемные характеристики оказываются незатронутыми. Для этого следует обратиться уже к иной концепции языковых функций, учитывающей процесс коммуникации. Заметим, что Г. Лассвеллом была разработана хорошо известная схема массовой коммуникации, получившая название «5W»: «Кто – Что говорит – Кому – Посредством чего – С каким эффектом» (Who – Says What – In Which Channel – To Whom – With what effect?) [Lasswell 1948]. Однако каких-либо попыток объединить ее с политической функцией им сделано не было. Не менее примечательно, что ее обошел вниманием и Р. Якобсон, когда в 1961 г. он предложил весьма близкую модель языковых функций, основанную на теории коммуникации (см. ниже)¹. Между тем, синтез этих подходов позволяет восполнить лакуны, присущие каждому из них по отдельности.

3. Политика как инструментальная функция языка

Как видим, политическая функция может быть определена применительно к некоторому контексту. Язык в политической функции может обладать различными лингвистическими и семиотическими характеристиками, но прежде всего это некоторое прагматическое отношение между текстом и властью. Любой текст может быть исполь-

¹ Обратим внимание, что одним из соавторов и соредактором Лассвелла [Langage 1949] был крупный советолог и славист Сергиус Осипович Якобсон (1901–1979), которому принадлежит в том числе и ряд статей о символической системе советской пропаганды. Отношения между братьями прервались в 1956 г. – причиной послужила поездка Романа Якобсона в СССР. См. [Левинтон 2008].

зован в политической функции, если оказывается так или иначе соотношенным с властью (шире – с политическими процессами)¹, и перестает ее выполнять, потеряв подобную связь (например, речи Цицрона стали образцами художественной прозы). Однако это не значит, что нет возможности выделить лингвистические и лингво-семиотические параметры, которыми может быть охарактеризована манифестация языка в политической функции.

Но для этого необходимо перевернуть ракурс рассмотрения: от политологического взгляда на язык как инструмент политики нужно перейти к лингво-семиотическому рассмотрению политики как манифестации одной из инструментальных функций языка. Вновь уместно привести в пример поэзию. С точки зрения литературоведения и лингвистической поэтики язык выступает как средство выражения (инструмент) поэтического творчества. Но с точки зрения лингвистики и лингвистической поэтики поэзия – одна из манифестаций языка, это язык, выступающий в поэтической (эстетической) функции.

Аналогичный подход справедливо применить к тому, как рассматривать – повторим классика – «бинарное отношение между функцией и языком» [Лассвелл 2006: 269]. Можно рассматривать политику как деятельность, которая для своего осуществления нуждается в языке, но можно политику рассматривать и как специфическую форму языковой деятельности, или, в более общей перспективе, как определенный модус коммуникации, или как особую языковую игру. Если предположить, что политика – это некоторая целенаправленная деятельность по изменению мира в соответствии с некоторым текстом («программой») или недопущение подобного изменения опять-таки в соответствии с некоторым текстом («каноном»)², то тогда сама политика

¹ Примечательны в этом отношении постановления ЦК КПСС, согласно которым статус политического текста получили не только стихи Анны Ахматовой и Зощенко, но и музыкальные произведения Дмитрия Шостаковича, Арама Хачатуряна и Вано Мурадели.

² Ср.: «Политический процесс в одном из своих фактуальных измерений может быть увиден (в том числе увиден буквально, даже, если угодно, пощупан) как производство документов – хоть в нерелексивном, обыденном значении этого слова, хоть в официальном, недалеко, впрочем, ушедшем от обыденного (как гласил до недавнего времени Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78ФЗ “О библиотечном деле”: “Документ – материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественно-го использования”). Разумеется, это только один из возможных см. на следующей странице

оказывается реализацией одной из инструментальных функций языка: *это производимое посредством институционализированных речевых актов приспособление мира к словам*¹. Традиционно лингвистика основывалась на том, что описывала приспособление слов к миру (ср. хрестоматийное: «язык – отражение действительности»). Однако после работ Витгенштейна, Остина и Сёрля столь же весомо и обратное утверждение: язык – средство создания или преобразования действительности.

4. Язык в политической функции: расширение модели Романа Якобсона

При таком подходе меняется и то, что следует понимать под функцией. В этом случае определяющими окажутся не намерения говорящего и произведенный эффект, а те коммуникативные и инструментальные характеристики языка, которые он приобретает, для того чтобы выступать в подобной функции. Вышеуказанные прагмасемантические характеристики (локутивная и перлокутивная сила высказывания) не элиминируются, но перестают быть определяющими, а дополняют коммуникативные и инструментальные. Так, вполне возможно представить ситуацию, когда некоторый текст функционирует как политический, несмотря на отсутствие подобного намерения у адресанта или наличия воздействия на адресата. С другой стороны, наличие намерения и воздействия может не иметь каких-либо последствий. Именно характер коммуникации будет определяющим для того, чтобы иллокутивная и перлокутивная силы привели (или не привели) к изменению мира, приспособив его к пропозициональному содержанию высказывания. Говоря о языковых функциях, естественно обратиться к тому, что, при наличии определенных разночтений, считается общепринятым – это модель

см. на предыдущей странице ракурсов – в других измерениях политика предстает как разговоры между людьми (и tête-à-tête, и с применением всякого рода звукоусиливающих и ретранслирующих устройств), как лабиринт финансовых транзакций, как разного рода и разной степени легитимности насильственные действия, как бесконечное разыгрывание перетекающих друг в друга «сценариев власти» [Каспе 2010: 9–10].

¹ «Некоторые иллокуции в качестве части своей иллокутивной цели имеют стремление сделать так, чтобы слова (а точнее – пропозициональное содержание речи) соответствовали миру; другие иллокуции связаны с целью сделать так, чтобы мир соответствовал словам. Утверждения попадают в первую категорию, обещания и просьбы – во вторую» [Серль 1986: 172].

Романа Якобсона [Якобсон 1975]. Однако она жестко привязана к соответствующей модели коммуникации Шеннона-Уивера: шесть компонентов передачи сообщения в которой (адресат, адресант, сообщение, код, канал и контакт) соответствуют шести функциям языка. Поэтому, казалось бы, для новой, политической функции в ней нет места. Было бы большой натяжкой недифференцированное ее рассмотрение как разновидности конативной функции, направленной на адресата и выражаемой с помощью императивов. Безусловно, наличие императивного компонента в политических высказываниях сомнений не вызывает, но характер его проявлений отличается куда более сложным и многофакторным характером: она не может быть растворена в императивах подобно тому, как политика не может быть сведена к отдаче приказов.

Тем не менее модель Якобсона дает возможность найти место и для политической функции. Якобсон никак не упоминает о Шенноне и Уивере, а в качестве источника своей модели ссылается на известную триаду Карла Бюлера, которую он расширяет до шести функций¹. При этом Якобсон предусматривает возможность выведения новых функций путем совмещения и спецификации имеющихся:

«В традиционной модели языка, особенно четко описанной К. Бюлером, различались только эти три функции – эмотивная, конативная и референтивная². Соответственно в модели выделялись три “вершины”: первое лицо – говорящий, второе лицо – слушающий и “третье лицо” – собственно некто или нечто, о чем идет речь. Из этой триады функций можно легко вывести некоторые добавочные функции. Так, магическая, заклинательная функция – это, по сути дела, как бы превращение отсутствующего или неодушевленного “третьего лица” в адресата конативного сообщения <...> “Стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою! И остановилось солнце, и луна стояла...”» («Книга Иисуса Навина», 10.12 – 13) [Якобсон 1975: 200–201].

Ранее нами было предложено рассмотреть возможность обращения магической функции в политическую как расширение этой модели. Развивая логику Якобсона, можно ввести совмещенную функцию «пре-

¹ «Мы, однако, выделяем в акте речевой коммуникации еще три конститутивных элемента и различаем еще три соответствующие функции языка» [Якобсон 1975: 200].

² Заметим, что К. Бюлер использует иную терминологию, выделяя следующие функции: 1) репрезентативную, 2) экспрессивную и 3) апеллятивную [Бюлер: 36–39]. Впрочем, сам Якобсон непоследователен в терминологии – в той же статье, приводя перечень функций, он называет ее *апеллятивной* [Якобсон 1975: 203].

вращение отсутствующего или неодушевленного третьего лица» не только в адресата, но также и в адресанта, отправителя сообщения [Золян 1999]. Так выражают себя власть и ее институты: «Мы, народ», «Мы, Объединенные Нации». В подобных выражениях установкой является именно деперсонификация реальных адресантов, лиц – носителей власти, власть стремится выразить себя в квазиодушевленном субъекте. В определенных случаях на эту функцию может настраиваться функция уже третьего порядка – узурпирующая, когда одушевленный адресант говорит от лица неодушевленного Левиафана (народа, государства): «Наш народ не потерпит», значит, «Я, имярек, не потерплю». Взаимозаменяемость местоимений «я» на «мы», а также на имя неодушевленного субъекта-института – характерный признак того, что язык в данном случае выступает в политической функции.

Трансформация адресата и адресанта в неодушевленный субъект, пожалуй, наиболее очевидный случай проявления языка в его политической функции с соответствующим семантическим преобразованием текста в целом. Языковые категории готовы путем некоторой трансформации подстроиться под требования этой функции. Так, благодаря олицетворению, из неодушевленных возникают семи- и квазиодушевленные субъекты, такие как государство, правительство, парламент, город, село, завод, партия, народ и т.п., а также их метонимические конкретизации, имена собственные: Москва, Вашингтон, «Единая Россия», МГУ, «Вышка», «Серп и Молот» и т.п. Во всех этих случаях возникает нейтрализация (или контаминация) категорий единственности и множественности, что выражается в совмещении (блендинге) категориальных значений собирательности с такими, как одушевленное/неодушевленное, лицо/не-лицо, человеческое/нечеловеческое. Проверочным тестом может послужить их сочетаемость с глаголами. Так, все эти существительные, будучи неодушевленными, тем не менее без каких-либо процессов метафоризации или иной трансформации значения сочетаются с глаголами говорения, интеллектуальной деятельности, целеполагания и т.п.: *Государство думает о народе, Народ требует, Правительство заявляет, Москва жестко ответила Вашингтону, Кремль озабочен, «Единая Россия» осуждает, МГУ заботится о выпускниках и отвечает на их письма, Крестьянство возмущено, Суд оправдал.* Безусловно, все эти случаи значительно отличаются друг от друга и каждый из них требует особого комментария, но тем не менее их можно рассмотреть именно как различные ступени институционализации: от безличного и неопределенного *Народ требует* до предельно формализованного *Суд осуждает*.

В свете сказанного должно быть уточнено и понятие магической функции в той трактовке, в которой она была предложена Якобсоном: речь идет не только о «превращении отсутствующего или неодушевленного “третьего лица” в адресата конативного сообщения» [Якобсон 1975: 200], но и о предоставляемой языком посредством вербальных операций возможности воздействия на *адресата*. Схема Шеннона–Уивера была создана как модель технической, причем односторонней коммуникации, когда сообщение от передатчика посылается в приемник. Разумеется, такие характеристики, как цель и эффект в ней никак не могут быть учтены. Коммуникация предстает как самодостаточное посылание сигналов – неслучайно, что наиболее удачно схема Якобсона оказалась применима к поэзии, искусству «самовитого слова». При таком подходе теряется крайне важная характеристика политического (равно как и магического) процесса: это изменение мира посредством институализированных речевых актов (говоря словами Серля, это – приспособление мира к словам). Процесс говорения – не самоцель (как он предстает в модели Якобсона), он определяется тем, что в теории перформативов было названо «удачными условиями». Поэтому имеет смысл дополнить модель Якобсона в целом – внося в нее подобные характеристики, совместив ее с достаточно близкой, но приспособленной именно к «человеческой» коммуникации модели Лассвелла, и в первую очередь, к модели, которая без труда прочитывается в «Риторике» Аристотеля.

5. От Аристотеля к Серлю: политическая функция и перформативные речевые акты

Вводя понятие языковых функций, Якобсон упоминает только о Бюлере и Малиновском, вероятно считая, что обращение к другим источникам достаточно тривиально. Между тем, сам Бюлер, обосновывая свою трехчленную модель, отсылает к платоновскому пониманию языка как органа – орудия и инструмента¹, служащего для передачи некоторых сведений от адресанта к адресату. Эта же трехчленная схема, но в ее суженном и специфицированном виде, лежит в основе «Риторики» Аристотеля:

¹ Ср.: «Высказанная Платоном в диалоге “Кратил” мысль о том, что язык есть *organum*, служащий для того, чтобы один человек мог сообщить другому нечто о вещи (*Ding*), удачно схватывает суть дела» [Бюлер 1993: 30].

«Речь слагается из трех элементов: из самого оратора, из предмета, о котором он говорит, и из лица, к которому он обращается; оно-то и есть конечная цель всего (я разумею слушателя)» [Аристотель 2017: 16].

Поскольку цель риторики – воздействие на слушателя, то типология слушателей становится основанием для типологии высказываний («речей») и риторических (дискурсивных) стратегий:

«Есть три вида риторики, потому что есть столько же родов слушателей... Слушатель бывает или простым зрителем, или судьей, и при том судьей или того, что уже совершилось, или же того, что должно совершиться. Примером человека, рассуждающего о том, что должно быть, может служить член народного собрания, а рассуждающего о том, что уже было, – член судилища; человек, обращающий внимание только на дарование оратора, есть простой зритель. Таким образом, естественными являются три рода риторических речей: совещательные, судебные и эпидиктические» [Там же].

Как видим, слушатель-«простой зритель» не имеет каких-либо полномочий, в отличие от судьи или члена народного собрания, наделенных правом непосредственного воздействия. Что касается институционализированных слушателей, то они обладают возможностью воздействовать на мир: создавая репрезентации («рассуждая») «или того, что уже совершилось, или же того, что должно совершиться» [Там же]. Простому зрителю дано только право оценить «дарование оратора», для него речь оратора имеет лишь эстетический эффект и оказывается аналогом поэтической речи. Поэтому целью говорящего оказывается такое воздействие на слушателя, которое приведет к осуществлению требуемого действия по изменению мира:

«У каждого из этих родов речей различная цель, и так как есть три рода речей, то существуют и три различные цели: у человека, дающего совет, цель – польза и вред: один дает совет, побуждая к лучшему, другой отговаривает, отклоняя от худшего; остальные соображения, как-то: справедливое и несправедливое, прекрасное и постыдное, – здесь на втором плане.

Для тяжущихся целью служит справедливое и несправедливое, но и они присоединяют к этому другие соображения.

Для людей, произносящих хвалу или хулу, целью служит прекрасное и постыдное; но сюда также привносятся прочие соображения» [Там же: 17].

Однако, что в приведенной цитате остается недосказанным, полагаясь как бы само собой разумеющимся исходя из предыдущего контекста, – это причина, почему говорящий пытается убедить слушаю-

щего. Она в том, что слушающий обладает статусом и полномочиями, которыми не обладает говорящий. Тем самым возникает возможность связать аристотелевскую «Риторику» с теорией речевых актов и теорией перформативов, в которой этот аспект хорошо описан. Статус коммуникантов является одним из важнейших факторов, относясь к «удачным условиям» осуществления перформативов. В схеме Аристотеля, помимо ничего не решающего «простого зрителя», фигурирует институциональный слушающий, то есть наделенный определенным статусом, полномочиями или авторитетом, благодаря которым он в состоянии *приспособить мир к словам*. Возможны два способа такого приспособления. Во-первых, это непосредственное воздействие на мир – путем декларации, в результате которой мир изменяет свое состояние (государство оказывается в состоянии войны, парламент распущен, подсудимый признается виновным и осуждается на тюремное заключение и т.п.). Это явление описано Дж. Сёрлем и охарактеризовано им как социальная магия – посредством речевых актов изменять мир и создавать новые состояния дел:

«Одна из самых замечательных особенностей институциональных фактов – это то, что очень многие, хотя и далеко не все из них, могут быть созданы путем эксплицитных перформативных высказываний. Перформативные члены класса речевых актов я называю “декларациями”. В декларациях положение дел, представляемое пропозициональным содержанием речевого акта, влечет за собой успешное выполнение этого самого речевого акта. Институциональные факты могут быть созданы перформативным высказыванием таких предложений, как “Встреча отложена”, “Я завещаю все мое состояние моему племяннику”, “Я назначаю Вас председателем”, “Настоящим объявляется война” и т.д. Эти высказывания создают то самое положение дел, которое они представляют; и в каждом случае положение дел является институциональным фактом»¹ [Searle 1995: 34].

Для производства подобных речевых актов и создания соответствующих состояний дел (институциональных фактов) необходимо, чтобы говорящий обладал определенными полномочиями. Тем самым речь идет не только об институциональных фактах, но и об институционализированном говорящем – или о говорящем как институте. Однако в теории перформативов не говорится о возможной институционализации слушающего – и здесь уместно вспомнить, что говорящий в аристотелевской «Риторике» обращается именно к судье или члену народного со-

¹ Здесь и далее перевод мой – С.З.

брания. Это именно те адресаты, которые по отдельности или в совокупности наделены полномочиями производить декларации и создавать соответствующие состояния дел.

При функционировании языка в политической функции говорящий посредством совершения определенных речевых актов стремится изменить мир – приспособить его к содержанию высказываемого. Он обладает возможностью воздействовать на мир либо путем непосредственного действия, либо путем каузации того, что слушающий воздействует на мир путем определенной декларации – как то имеет место в первом случае¹. Риторика – это та фаза политической речи, когда говорящий не вправе производить декларации, непосредственно воздействующие на мир. Поэтому вместо производства декларации он вынужден оказывать воздействие на такого слушающего, который обладает возможностью воздействовать на мир либо путем непосредственного действия, либо путем каузации того, что слушающий воздействует на мир путем определенной декларации (как то имеет место в вышеописанном случае). Так, прокурор не имеет право осудить подсудимого, но он воздействует на судью с тем, чтобы тот произвел соответствующий речевой акт, оппонент ходатайствует перед диссертационным советом, чтобы тот, в свою очередь, ходатайствовал перед ВАК о присвоении степени доктора наук, партия требует отставки правительства, то есть чтобы это правительство объявило себя лишенным полномочий, революционный вождь обращается к нации с призывом начать акции протеста – во всех этих случаях один институциональный субъект (адресант) нуждается во втором (адресанте) для создания нового состояния дел. Действует триада (*убеждение => воздействие*) => *действие*, которая вычленяется из предложенного В.З. Демьянковым определения политической функции.

При таких дополнениях выводимая из схемы языковых функций Р. Якобсона политическая функция гармонично дополняется перформативной составляющей в соответствии с предложенной Дж. Сёрлем

¹ Можно освободить понятия перформатива от сугубо лингвистических ограничений (выраженности содержания сентенциональной формой) и распространить его также и на символические действия («Взятие Бастилии», «Бостонское чаепитие» и т.п.), как то предлагает Михаил Ильин, поскольку «в политической и, шире, жизненной, практике, перформативы, как правило, разворачиваются как в разных фактурах, или модальностях речи (звуковой, визуальной, тактильной и т.п.), так и во времени». В этом случае есть возможность отразить целостные политические процессы, представив их как цепь: *перформативное высказывание – перформативный акт – перформативное событие* [Ильин 2016: 267–268].

схемой сотворения институциональных фактов. Модель Якобсона не предусматривает собственно коммуникации, целеполагания («эффекта») и «удачных условий». В то же время оба говорят о «магии» языка: Якобсон – о ритуальной, Сёрль – о социальной. Сочетание обеих теорий позволяет объяснить также и амбивалентный характер взаимоотношений между говорящим и слушающим. Так, Якобсон, приводя примеры реализации магической функции, не упоминает о таких случаях, когда возможно обращение не только к неодушевленному объекту (солнцу, луне или камню), но и к одушевленному (божеству). Более того, в ряде ритуалов это разграничение принципиально не осуществимо (например, как установить, обращается ли говорящий к дереву или к духу дерева). Сам характер апелляции предполагает, что адресат обладает такими способностями, как понимать человеческую речь и адекватно на нее реагировать. Таким образом, следует уточнить, что даже неодушевленный адресат и адресант наделяются в этом амбивалентном комплексе одушевленностью, а одушевленный – неодушевленностью. В обоих случаях следует говорить об определенной институциональности. Возможно, в дальнейшем окажется полезным постараться совместить политологическое понимание авторитета как формы власти с его «филологическим» пониманием в соответствии со степенью достоверности источника информации. Как видим, во всех этих определениях доминантой оказывается воздействие на слушающего, поэтому политическая функция языка есть разновидность фатической функции. Но при этом следует учесть, что институциональный объект также имеет возможность совершать речевые акты (что не учел Якобсон при определении магической функции – неодушевленные адресаты, магические объекты и существа могут не только понимать обращенные к ним императивы, но и отвечать). А эффективность речевого акта следует оценивать по его перлокутивной силе – коммуникация не ограничивается доведением информации до адресата, но и подразумевает определенные действия с его стороны, в том числе и речевые акты. При этом, если предполагаемое действие адресата будет направлено на отправителя исходного сообщения, то однонаправленная схема коммуникации легко может быть преобразована в двустороннюю, диалогическую.

Таким образом, обращение к схемам Лассвелла и Аристотеля позволяют увидеть три компонента, которые могут содержательно дополнить схему Якобсона: 1) интенция, 2) эффект и 3) институциональный статус говорящего и слушающего, право на перформативность, которая в определенных случаях может быть подразделена на право

говорящего произвести текст как речевой акт и на право адресата осуществить действие.

Как видим, адекватное описание коммуникации, когда язык выступает в политической функции, предполагает учет институциональных статусов коммуникантов, а те, в свою очередь, определяются социальными конвенциями. В этой связи естественно обратиться к теории Дж. Сёрля, описывающей механизмы, благодаря которым коллективная (социальная) интенциональность выступает как магическая сила, позволяющая менять мир посредством слов (речевых актов). Предложенное Дж. Сёрлем понятие статусных функций позволяет объяснить и несколько мистическое сочетание одушевленности и неодушевленности адресата и адресанта.

В целом статусные функции, по Сёрлю, это преобразование некоторого физического объекта X при определенных условиях Z и в определенном контексте C в институциональный объект Y. Например, определенным образом оформленная бумажка есть средство платежа. При этом отношение «физический объект – социальный факт» не может быть сведено к отношению «означаемое – означающее». Так, советский рубль не перестает быть знаком, хотя он уже перестал быть средством платежа. Нарисованный доллар также есть знак и также не может быть средством платежа, почему и не является социальным фактом. Но таковым он может стать уже в иной ипостаси – если суд признает эту бумажку уликой и приобщит ее к делу фальшивомонетчиков. На конвенциональное отношение знаковости наслаиваются многочисленные другие конвенции (в большинстве своем – институциональные и перформативные по способу образования), определяющие, при каких условиях и при каком описании данный физический объект становится социальным фактом. Так на основе физической реальности формируется социальная.

Но статусные функции могут быть применимы не только к вещам, но и к одушевленному физическому объекту – человеку. Например, «Этот человек – судья», как объясняет Дж. Сёрль.

«Статусные функции могут быть наложены не только на грубую физическую реальность в ее первоначальном, необработанном состоянии, но и на ту физическую реальность, какой она была сформирована вследствие предыдущих наложений статусных функций: человек может считаться гражданином, гражданин может считать судьей, судья может считаться судьей Верховного суда и т.д. При этом на каждом этапе приобретаются новые статусные функции и подразумеваются те, которые были раньше. Но наложение функций не дает нам ничего (физически) нового: Билл Клинтон по-прежнему является Биллом Клинтоном, даже

когда он считается президентом; он все еще является частью физической реальности, хотя с новыми и особыми полномочиями (powers)» (Приводим по пересказу, данному в [Smith 2003: 22]).

Применительно к речевым актам, при которых язык выступает в политической функции, статусные функции позволяют соединить необходимость одновременной одушевленности и институциональности адресата и адресанта, наделяя их двойственной природой «человека и института». При этом за человеком закреплена способность говорить и отвечать, а за институтом – быть правомочным осуществлять определенные действия в соответствии с принятыми социальными конвенциями. При этом адресат и адресант сохраняют черты одушевленности (в качестве физических объектов) и неодушевленности (в качестве институциональных объектов).

Заключение

Рассмотрение того, что можно понимать под языком в политической функции, приводит нас к рассмотрению политики как особой инструментальной функции языка, посредством которой осуществляется «приспособление мира к словам». Язык в политической функции выступает в форме «речь-как-действие», коммуникативные и нарративные характеристики которой обязательно должны быть сопряжены с перформативными. Теряя связь с перформативностью, текст перестает выполнять политическую функцию и становится памятником языка или истории. Рассматривая различные определения политической функций языка (как классические – Аристотеля, Бюлера и Якобсона, так и современные – В.З. Демьянкова, М.В. Ильина, Дж. Сёрля), мы предлагаем определить ее как такое преобразование направленной на адресата апеллятивной (по Бюлеру) или конативной (по Якобсону) функций, при котором место одушевленного адресата и/или адресанта занимает институциональный объект, не переставая быть «физическим» говорящими, он одновременно выступает в роли и социального института. При этом, выполняя роль социального института, адресат и/или адресант наделяются соответствующими полномочиями: изменять мир в соответствии с данными им социумом полномочиями монарха, президента, судьи, взводного и т.п. – причем, как правило, первичным актом для подобного действия становится перформатив. Слово, поддержанное институциональной силой, становится воплощенным в некоторое состояние мира делом. Сходство и различие между магической

и политической функциями языка проявляется и в этом: в обоих случаях речевой акт приводит к изменению мира, участники этого акта наделяются соответствующей силой, но в одном случае источник этой силы – мифология, а в другом – социальная структура общества. В целом процесс может быть описан как многократное вхождение и наложение в различных последовательностях триады «(убеждение => воздействие) => действие».

Литература

- Аристотель*. Риторика. М., 2017.
- Бюлер К.* Теория языка. Репрезентативная функция языка. М., 1993.
- Демьянков В.З.* Коммуникативное воздействие на структуру сознания // Роль языка в структурировании сознания. М., 1984. Ч.1.
- Демьянков В.З.* Политический дискурс как предмет политологической филологии // Политическая наука. 2002. № 3.
- Золян С.Т.* Языковые функции: возможные расширения модели Р. Якобсона. // Роман Якобсон. Тексты, документы, исследования. М., 1999. (перепечатано в: Роман Осипович Якобсон. М., 2017).
- Золян С.Т.* Семиотика и прагматика политического дискурса // Политическая наука. 2016. №3.
- Золян С.Т.* «Язык политики» или «язык в политической функции»? // Полития (в печати).
- Ильин М.В.* Что может дать анализ перформативов? // Политическая наука. 2016. № 4.
- Каспе С.И.* «Отразить суть»: к онтологии политического документа // Полития. 2010. №3–4.
- Лассвелл Г.* Язык власти // Политическая лингвистика. Екатеринбург, 2006. Вып. 20.
- Левинтон Г.А.* И мои архивные фрагменты. Из архива Р.О. Якобсона (Jakobsonianana 4). Четыре письма к брату, Сергею Осиповичу Якобсону. Габриэлиада. К 65-летию Г.Г. Суперфина. 2008. URL: <http://www.ruthenia.ru/document/545663.html#3>. (дата обращения 30.06.2018).
- Серль Дж.Р.* Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1986. Вып. XVII: Теория речевых актов.
- Якобсон Р.* Лингвистика и поэтика // Структурализм «за» и «против». М., 1975.
- Searle. J.* The construction of social reality. N.Y., 1995.

Smith B. John Searle: From speech acts to social reality // John Searle. Cambridge, 2003.

Language of politics; studies in quantitative semantics, by Harold D. Lasswell, Nathan Leites and associates. N.Y., 1949.

Lasswell H.D. The structure and function of communication in society // The Communication of Ideas. N.Y., 1948.

Zolyan S. Language and political reality: George Orwell reconsidered // Sign System Studies. Tartu, 2015. Vol. 43, No 1.

И.В. Силантьев

Дискурсный статус высказывания¹

С опорой на бахтинскую концепцию речевых жанров [Бахтин 1979] мы можем определить высказывание как целостную единицу общения, характеризующуюся базовыми свойствами информационной, интенциональной и композиционной завершенности.

Универсальное качество информации адекватно гуманитарной парадигме определяет В.И. Тюпа: «Информация есть явление локального изоморфизма взаимодействующих систем» [Тюпа 1996: 12]. Информативно не только соположение в дискурсе отдельных высказываний, но и соположение частей внутри целого высказывания. Это значит, что высказывание внутренне диалогично уже в силу своей информативности: в нем сочетаются и взаимодействуют два плана – как представители «взаимодействующих систем» – план темы и план ремы (ср. наблюдения М.М. Бахтина о внутренней диалогичности словосочетания «все высокое и прекрасное» [Бахтин 1979: 286]).

Другой вектор завершенности высказывания определяется его интенциональностью. Интенциональная структура высказывания может рассматриваться в рамках многоуровневой модели, как, в частности, у П.Ф. Стросона [Стросон 1986]. Не углубляясь в общую теорию интенциональности ([Слово в действии 2000: 28–39; Макаров 2003: 35–38]), обозначим это понятие в его существенности для наших рассуждений: интенция – это коммуникативное намерение, которым сопровождается высказывание в общении [Арутюнов, Чеботарев 1993].

Интенций у высказывания может быть несколько и много, они могут быть разнохарактерные и разноуровневые по отношению друг к другу. Вне интенционального поля высказывание невозможно, оно тем самым теряет свой актуальный коммуникативный статус и превращается в абстрактное предложение (ср. букварное «Мама мыла раму»). Другое дело, что важно правильно определить собственные границы высказывания, которые, естественно, далеко не всегда совпадают с границами

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14–28–00130) в Институте языкознания РАН.

лингвистического предложения: то же самое «Мама мыла раму», будучи одним из составных моментов буквы как сложного обучающего высказывания-учебника, попадает в общее интенциональное поле буквы и наделяется в нем подчиненной интенцией учебного примера.

Оба вектора коммуникативной завершенности высказывания – информативный и интенциональный – в совокупности образуют его актуальный смысл, равно – но по-разному – обращенный к адресанту и адресату высказывания.

Существенным для понимания дискурсного статуса высказывания является его отношение к тексту.

Как мы отмечали выше, неотъемлемым свойством высказывания как единицы общения является его коммуникативная актуальность, его локализация в зоне актуальности коммуникативной ситуации. При этом сама зона актуальности может быть предельно различной – от моментального «здесь и сейчас» в повседневном дискурсе до монументального «всегда и везде» дискурсов, встроенных в высшие этажи духовной культуры общества.

Текст – это высказывание, зафиксированное при помощи определенной системы обозначений на определенном материальном носителе и спроецированное в рамки отложенной, отстоящей во времени или пространстве коммуникации. Текст – это высказывание, в котором его коммуникативная актуальность носит не столько наличный, сколько потенциальный характер. Таким образом, в тексте актуальность высказывания уходит в план его интенциональной структуры.

Высказывание и текст суть две стороны одного целого [Бахтин 1979: 282], но это две различно акцентированные стороны: высказывание коммуникативно актуально, текст – коммуникативно потенциален. В то же время высказывание неотделимо от своего текста в силу самого принципа своего осуществления. Наиболее отчетливо это видно в пластическом искусстве: что в скульптуре высказывание и что ее текст?

Другое дело, что высказывание, взятое в аспекте своей текстуальности, т.е. в своей обращенности к отложенной коммуникативной ситуации, может не вписаться в нее, не воплотить свой потенциал в смысл, свою интенцию в актуальность. И тогда высказывание умрет, раз или навсегда, и текст станет его могилой и его памятником (это словечко, кстати, весьма характерно для традиции изучения древних культур и литератур – но именно потому, что в этих традициях ученые имеют дело с умершими высказываниями и произведениями).

Моментом высказывания опосредовано и отношение текста к дискурсу. Дискурс как таковой состоит из высказываний (это два первич-

ных в своей природе коммуникативных феномена) и, вслед за высказыванием, продолжает себя и возобновляет себя в текстах, всякий раз обновляясь при этом: «воспроизведение текста субъектом <...> есть новое, неповторимое событие в жизни текста, новое звено в исторической цепи речевого общения» [Там же: 284]. Следует только учитывать качественную меру этой закономерности: понятно, что дискурсы устной сферы общения опираются непосредственно на высказывания, которые не нуждаются в текстах. Понятно и обратное: дискурсы письменной культуры неосуществимы вне текстуального начала, поскольку сами высказывания, образующие «тела» таких дискурсов, изначально рождаются в текстах.

Не менее важно для определения дискурсного статуса высказывания его отношение к категории жанра. По существу, жанр есть тип высказывания в рамках определенного дискурса. Если это так, то по каким параметрам высказывания группируются в жанры? Каковы, другими словами, их характерные жанровые признаки?

Выделим две группы таких признаков: коммуникативные и текстуальные.

Коммуникативные признаки жанра охватывают интенциональное разно- и единообразие высказываний дискурса. Именно по параметру коммуникативных интенций М.М. Бахтин выделял речевые жанры – первичные по отношению к другим в той мере, в какой повседневный дискурс первичен по отношению к дискурсам профессии и культуры.

Вслед за П.Ф. Стросоном [Стросон 1986], в коммуникативном аспекте жанра можно различать собственно интенциональную и конвенциональную составляющую. Например, лекция как жанр университетского образовательного дискурса интенциональна постольку, поскольку направлена на передачу фиксированного в определенных дисциплинарных рамках знания лицам, обучающимся в учебном заведении. При этом данный жанр конвенционален постольку, поскольку в рамках описанной выше интенции предполагает от участников дискурса определенное коммуникативное поведение: преподаватель должен излагать некое новое знание, а студенты должны внимать преподавателю, при этом студенты могут задавать вопросы по теме лекции, на которые преподаватель обязан давать достаточно определенные ответы в рамках данной темы и учебного предмета в целом. Конвенциональная сторона жанров в рамках дискурса тесно связана с феноменом дискурсных ролей, о которых будет сказано ниже.

Текстуальные признаки жанра характеризуют высказывание в плане структурности/композиционности его текста. Данные признаки мало-

существенны для элементарных речевых жанров – их текстуальная структурность во многом сводится к лингвистической структурности (преимущественно синтаксической, но не только). Гораздо большее, если не определяющее, значение структура текста имеет для жанров, соотношенных с дискурсами высшего порядка. Это положение достаточно очевидно – как очевидны структурные различия в текстах, положим, коммерческого договора и делового письма.

Интенциональная структура сложных жанров также несравнимо сложнее и иерархичнее коммуникативных интенций первичных жанров. К примеру, каковы интенции романа как жанра в рамках литературно-художественного дискурса? Каков, прежде всего, общий коммуникативный статус романских интенций? Очевидно, что интенциональность романа в целом расположена в поле эстетических коммуникативных стратегий и собственные, присущие жанру интенции романа отвечают общим и частным целям (стратегиям) эстетического дискурса.

Дискурс как таковой идентифицируется в общем коммуникативном поле культуры и социальной деятельности постольку, поскольку реализует свойственную ему коммуникативную стратегию как некую общую и в то же время специализированную коммуникативную цель [Тюпа 2004]. Так, применительно к повседневному дискурсу можно говорить о коммуникативной стратегии обыденного единения людей посредством разнообразных форм прямого обмена текущей информацией, фатических коммуникативных актов и др. Применительно к образовательному дискурсу можно говорить о специфической коммуникативной стратегии обучения и обмена опытом и знаниями, что реализуется в различных дискурсных формах лекции, семинара, зачета, экзамена и др. (в варианте университетского дискурса).

До сих пор в характеристиках высказывания в его отношении к жанру и дискурсу мы не касались проблемы субъектности. Этот вопрос сложный и неоднозначный: кто собственно и в рамках какой инстанции высказывается и в целом участвует в дискурсе. Вместе с тем достаточно однозначно можно выделить спектр дискурсных ролей, которые говорящий (пишущий) с одной стороны и слушающий (читающий) с другой стороны принимают в пространстве дискурса и в формате определенного жанра.

Близкое к дискурсной роли понятие формулирует М.Л. Макаров, говоря о коммуникативных ролях как «более или менее стереотипных способах поведения и взаимодействия в рекуррентных ситуациях общения» [Макаров: 217], однако это понятие задается исследователем не через начало собственно дискурса, а через антропоцентрическое

начало «языковой личности» [Там же]. В принципе, связь определенного репертуара дискурсных ролей и языковой личности коммуниканта действительно становится значимой в публичных по своему характеру дискурсах и жанрах.

В.И. Карасик также говорит о «статусно-ролевых и ситуационно-коммуникативных амплуа» дискурса [Карасик 2000: 11]. Однако исследователь усматривает наличие таких «амплуа» только в институциональных дискурсах, мы же – и в «персональных», если пользоваться его терминологией, т.е. дискурсах межличностного общения.

Дискурсные роли достаточно очевидно соотносимы с жанровой системой дискурса, во всяком случае, реализуются в рамках того или иного жанра и испытывают тяготение к интенциональной стороне этого жанра.

Возвращаясь к проблеме субъектности дискурса, заметим, что в общем виде дискурсные роли имеют прямое отношение к категории «субъекта высказывания» по М. Фуко: «один и тот же индивидуум всякий раз может занимать в ряду высказываний различные положения и играть роль различных субъектов» [Фуко: 94].

Дискурсные роли также соотносимы с явлением, описанным Л. Витгенштейном и названным им «языковыми играми». Языковые игры Л. Витгенштейна сближают с речевыми жанрами М.М. Бахтина [Руднев 2000: 16]. Однако если судить по некоторым примерам, которые приводит Л. Витгенштейн в «Философских исследованиях», языковые игры оказываются существенно шире явления речевых жанров и жанров вообще, понимаемых как типы высказываний в рамках определенного дискурса. В самом деле, что такое с точки зрения жанра «размышлять о событии», или «острить, рассказывать забавные истории», или «переводить с одного языка на другой» [Витгенштейн 1994: 23]? Предложим иную трактовку отношения языковой игры и собственно жанра – через понятие дискурсной роли. Языковая игра – это устойчивая связь жанровых практик и дискурсных ролей как двух взаимодействующих, но и достаточно независимых начал дискурса, или точнее: это проникающая сквозь жанровые практики траектория субъекта, облеченного в определенную дискурсную роль.

Литература

Арутюнов А.Р., Чеботарев П.Г. Справочник «Интенции диалогического общения и их стандартные реализации» (Проект «Банки мето-

- дических данных»: каталог коммуникативных единиц, интенции) // Русский язык за рубежом. 1993. № 5–6.
- Бахтин М.М.* Эстетика словесного творчества. М., 1979.
- Витгенштейн Л.* Философские исследования // Философские работы. В 2-х ч. М., 1994. Ч. 1.
- Карасик В.И.* О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс. Волгоград, 2000.
- Макаров М.Л.* Основы теории дискурса. М., 2003.
- Руднев В.* Винни Пух и философия обыденного языка. М., 2000.
- Слово в действии: Интент-анализ политического дискурса / Под ред. Т.Н. Ушаковой, Н.Д. Павловой. СПб., 2000.
- Стросон П.Ф.* Намерение и конвенция в речевых актах // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1986. Вып. 17. Теория речевых актов.
- Тюпа В.И.* Прологомены к теории эстетического дискурса // Дискурс. 1996. № 2.
- Тюпа В.И.* Основания сравнительной риторики // Критика и семиотика. Вып. 7, 2004.
- Фуко М.* Археология знания. Киев, 1996.

А.А. Кибрик, О.В. Федорова

О структуре мультиканального дискурса¹

1. Введение

Лингвистический анализ дискурса, являясь частью более широкой междисциплинарной научной дисциплины, сложившейся в 1970-х гг. (см., однако, [Якубинский 1923]), изучает как процесс языковой коммуникации, так и тексты-дискурсы, образующиеся в его результате. В последние десятилетия использование термина «дискурс» в обоих значениях – и как процесса, и как объекта, то есть текста, – уже закрепилось в научном обиходе. Как показывает анализ в [Демьянков 2005], история употребления слов *текст* и *дискурс* в обыденном и научном русском языке восходит к XVIII в. и оказывается весьма причудливой. Слово *текст* начинает употребляться в русском языке со времен Ломоносова, слово *дискурс* – несколько позже, на границе XVIII и XIX вв., при этом в те времена *текст* употреблялся в контексте издательского дела, а *дискурс* – в качестве синонима устного монолога: *Слушай же мой дискурс* (И.И. Лажечников. Последний Новик, цит. по [Там же: 43]). В XIX в. *текст* начинает превалировать в художественной литературе, *дискурс* в этот период активно встречается только у Н.С. Лескова: *Начались уже дискурсы в дамском вкусе* (Н.С. Лесков. Заячий ремиз, [Там же: 44]); прилагательное же *дискурсивный* встречается в это время только в научных текстах в значении ‘рассудочный’. Наконец, в начале XX в. *дискурс* полностью исчезает из языка художественной литературы, его заменяют *речь, слова, разговор*, и, пройдя период некоторого забвения, к концу XX в. *дискурс* постепенно приобретает исключительно терминологическое употребление [Там же: 50]. В настоящей работе будет описана одна из разновидностей дискурса, привлекавшая внимание исследователей в самые последние годы – мультиканальный дискурс.

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №14–18-03819 «Язык как он есть: русский мультимодальный дискурс».

2. Постановка проблемы

Данное исследование выполнено в рамках мультимодальной (мультимодальной, бимодальной)¹ лингвистики – молодого и одновременно одного из старейших направлений исследований языка в широком смысле слова. Мультимодальная лингвистика изучает все реальное многообразие «живой» коммуникации между людьми: слова, интонацию, жестикуляцию, направление взгляда, мимику, см. рис. 1. Интерес к изучению мультимодальности возник еще в древности, однако современная лингвистика, берущая начало в XX в., пошла другим путем и исследовала исключительно письменные тексты и выражения, то есть вербальный канал [Linell 1982]. В конце XX в. ситуация начала меняться в сторону изучения устных дискурсов, то есть к вербальному каналу прибавился просодический, см., в частности, коллективную монографию под редакцией Уоллеса Чейфа «Рассказы о грушах» [Chafe ed. 1980]. Наконец, в XXI в. на наших глазах формируется новый мультимодальный подход, принимающий во внимание все каналы общения между людьми (см. в том числе [Крейдлин 2002; Бутовская 2004; Кибрик 2010; Kress 2010; Knight 2011; Adolphs, Carter 2013; Müller et al. eds. 2013; Гришина 2017; Кибрик 2018a]).

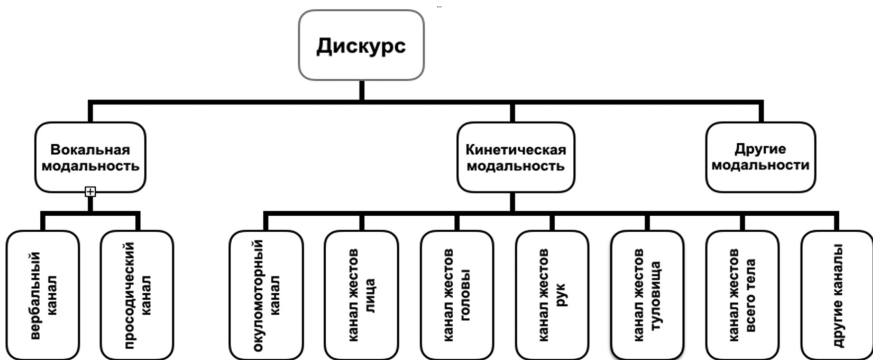


Рисунок 1. Модель мультимодального дискурса

¹ В настоящее время более распространен термин «мультимодальный», однако корректнее говорить именно о «мультимодальном» или «бимодальном» дискурсе, так как пока в основном изучаются только две модальности – вокальная (слуховая) и кинетическая (зрительная), а остальные модальности, например обоняние или осязание, остаются за пределами рассмотрения. См., однако, недавнюю работу [Mondada 2016], в которой наравне с этими двумя модальностями изучается также и осязание.

Одним из ключевых вопросов в области мультиканальных исследований является вопрос о выделении для каждого канала базовых единиц, при помощи которых происходит сегментация информации. Базовая единица вербального канала – *клауза* (предикация), которая описывает единичное событие или состояние. Базовая единица просодического канала – *элементарная дискурсивная единица* (ЭДЕ)¹, которая выделяется на основании преимущественно просодических критериев и прототипически соответствует одной клаузе [Кибрик, Подлесская ред. 2009; Кибрик 2015]. В частности, ЭДЕ имеет единый контур частоты основного тона; основной акцентный центр, обычно расположенный на реме; характерный громкостный паттерн – затихание к концу; характерный темповый паттерн – ускорение в начале, замедление к концу; характерный паттерн паузации – пауза сопровождает планирование ЭДЕ и отсутствует внутри ЭДЕ. Базовая единица канала жестов рук (мануальных жестов) – *мануальный жест* (gesture; подробнее см. [Литвиненко и др. 2017]; в работах Адама Кендона и его последователей принят термин «gesture phrase» или «G-phrase» [Kendon 1980; 2004]). Жесты, с одной стороны, делятся на фазы («gesture phase», «G-phase» по [Kendon 1980]), с другой – объединяются в жестовые цепочки («gesture chains»; «gesture units» и «G-units» по [Kendon 1980]). Базовой единицей канала жестов головы (цефалических жестов) является *цефалический жест*, цефалические жесты объединяются в жестовые цепочки [Сухова 2017]. Наконец, базовая единица окуломоторного канала (канала движений глаз) – *взгляд* (gaze); взгляды делятся на «фиксацию», «саккады» и другие более мелкие движения глаз [Федорова 2018].

Таким образом, изучая каналы коммуникации по отдельности, мы опираемся на соответствующие базовые единицы. Но как устроена структура мультиканального дискурса в целом, когда мы рассматриваем взаимодействие каналов? В этом вопросе возможно, по крайней мере, два принципиально разных подхода. С одной стороны, это вокальноцентрический подход, при котором мы считаем вокальную модальность приоритетной, а базовой единицей всего мультиканально-

¹ Понятие ЭДЕ было введено в работах, описывающих вокальный компонент коммуникации (в частности, см. [Кибрик, Подлесская ред. 2009]). Описывая мультиканальный дискурс, корректнее было бы говорить об элементарных вокальных или просодических (если их выделение основывается на чисто просодических критериях) единицах. Однако термин ЭДЕ уже успел закрепиться в современной литературе, поэтому мы продолжим его использование с данной оговоркой.

го дискурса признаем ЭДЕ; другой вариант – мы исходим из равноправия всех каналов, каждый из которых «имеет право» называться базовой мультимедийной единицей, и описываем структуру мультимедийного дискурса как соположение базовых единиц всех каналов.

Этот вопрос также пришел к нам из глубокой древности. Так, Марк Фабий Квинтилиан, римский ритор I в. н.э., автор самого первого полного учебника ораторского искусства, считал вокальную модальность приоритетнее кинетической: «А поелику Действие (лат. *actio*, прим. авторов), как я сказал, разделяется на две части, на голос (лат. *vox*) и телодвижение (лат. *motum*, позднее *gestus*), из которых первый действует на слух, а другое на зрение, чрез которые два чувства все страсти проникают в душу: то прежде будем говорить о голосе, к коему приспособляется и телодвижение» [Квинтилиан 1834: XI]. В дальнейшем изложении мы проанализируем взаимодействие вокальной модальности с тремя основными не-вокальными, кинетическими каналами – мануальным, цефалическим и окуломоторным – и предложим свой взгляд на данную проблему. Но сначала кратко опишем материал настоящего исследования.

3. Ресурс «Рассказы и разговоры о грушах»

Ресурс «Рассказы и разговоры о грушах» создается в ходе реализации проекта «Язык как он есть: русский мультимодальный дискурс», который осуществляется с 2014 г. в Институте языкознания РАН (веб-сайт проекта: multidiscourse.ru, более подробное описание см. в [Кибрик 2018б]). Ресурс включает 40 записей суммарной длительностью около 15 часов; в записях приняли участие 160 человек в возрасте от 18 до 36 лет, включая 110 женщин и 50 мужчин.

Для проведения исследования была разработана новая оригинальная методика. В каждой записи принимали участие четыре человека с заранее распределенными ролями. Три участника – Рассказчик, Комментатор и Пересказчик – участвовали в основной части записи, последний – Слушатель – присоединялся в конце. Сначала Рассказчик и Комментатор смотрели «Фильм о грушах» У. Чейфа [Chafe ed. 1980] и старались его запомнить. Затем к ним присоединялся Пересказчик. Задача Рассказчика состояла в том, чтобы рассказать сюжет фильма Пересказчику; это был этап *рассказа* в режиме монолога. На следующем, интерактивном этапе *разговора* Комментатор дополнял рассказ Рассказчика, а Пересказчик уточнял детали. Наконец, на этапе *пере-*

сказа Пересказчик в режиме монолога пересказывал сюжет фильма Слушателю. После этого Слушатель записывал услышанный пересказ. Таким образом, задача каждого участника состояла в том, чтобы максимально понятно донести до других полученную информацию, минимизировав эффект «испорченного телефона».

При сборе материала было использовано современное высокоточное оборудование. Три промышленные видеокамеры JAI с частотой 100 к/с записывали с фронтальной позиции каждого из трех основных участников; кроме того, камера GoPro фиксировала общий план. Для регистрации движений глаз были использованы две пары очков-айтрекеров Tobii Glasses с частотой 50 Hz; один из двух айтрекеров был надет на Рассказчика, второй – на Пересказчика.

Аннотирование ресурса осуществляется по всем основным каналам, независимо друг от друга. В частности, вокальная аннотация в программе PRAAT (fon.hum.uva.nl/praat) состоит в членении речевого потока на значимые фрагменты (ЭДЕ, слова, (не)заполненные паузы), а также в приписывании определенных свойств ЭДЕ отдельным их частям. Для аннотации мануальных движений в программе ELAN (tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan) была разработана новая методика [Литвиненко и др. 2017], включающая деление жестового потока на периоды неподвижности, в том числе позы и движения, среди которых выделяются жесты, смены поз и адапторы – физиологически мотивированные движения (adaptors [Ekman, Friesen 1969]). Аннотация движений головы также включает деление на жесты, смены поз и адапторы, которые противопоставлены периодам покоя [Сухова 2017]. В ходе окуломоторного аннотирования был произведен экспорт данных на видеосцену и с помощью программы Tobii Analyzer извлечены данные о временной развертке фиксации длительностью выше 100 мс, на которые потом в ручном режиме была наложена аннотационная схема [Федорова 2017].

4. Координация вокальной модальности с мануальным, цефалическим и окуломоторным каналами

Рассмотрим попарное взаимодействие вокальной модальности с мануальным, цефалическим и окуломоторным каналами. Нас будет интересовать вопрос, являются ли они взаимонезависимыми или между ними существует определенная координация.

Несмотря на то что в реальной коммуникации важны все каналы, большинство современных мультиканальных исследований до сих пор

посвящены **мануальной** жестикеляции в ее взаимодействии с вокальным компонентом [Kendon 2004; McNeill 2005]. Важный теоретический вопрос в этой области – насколько жесты и речь связаны между собой в когнитивной системе человека. Автор наиболее влиятельной гипотезы Дэвид Макнилл утверждает, что жесты и речь одновременно активируются в одном общем источнике и, следовательно, должны быть синхронизированы [McNeill 1992]. Макнилл предположил, что обычно время начала жеста опережает время начала речи [Там же], что было затем подтверждено в корпусных исследованиях на материале английского [Loehr 2012], французского [Ferré 2010] и польского [Karpiński et al. 2009] языков. Одно из возможных объяснений этого феномена состоит в том, что общий когнитивный источник, находящийся на досемантическом уровне, одновременно запускает активацию как абстрактных семантических репрезентаций, так и более конкретных моторных. Однако время, которое тратится на поиск моторных репрезентаций, обычно оказывается меньше, чем время, необходимое для поиска семантических репрезентаций. Отметим, что исследование, проведенное на материале нашего корпуса, не подтвердило упомянутую закономерность [Федорова и др. 2016].

Тем не менее, если мы принимаем гипотезу Макнилла в целом, а также полагаем, что речь является обязательной составляющей коммуникации, то это означает, что мануальные жесты обычно используются только **говорящим**¹ собеседником. Данные нашего корпуса подтверждают это предположение – мануальная жестикеляция без вокальной поддержки встречается крайне редко и только в том случае, когда коммуникант, которому на данном этапе запрещено говорить, использует пантомиму.

Иначе обстоит дело с мануальными адапторами и сменами поз – небазовыми элементами мануального канала. По данным нашего корпуса, мануальные адапторы и смены поз могут сопровождать как речь говорящего собеседника, так и речь слушающего, причем в самых разных пропорциях – от почти полного отсутствия (2% от общей длительности) до почти постоянного присутствия (98%).

Цефалический канал в целом в настоящее время изучен значительно хуже мануального, однако вопрос о взаимодействии движений головы с речью исследуется уже около полувека, причем работы 1960–

¹ Здесь и далее мы будем использовать термины «говорящий» и «слушающий» в узком смысле: не как передающий / принимающий информацию, а буквально – как относящийся к вокальной модальности.

1970-х гг. до сих пор остаются актуальными и высокоцитируемыми. В статье [Dittmann, Llewellyn 1968] авторы проанализировали цефалическое поведение *слушающего* собеседника. Они пришли к выводу, что слушающий начинает кивать и говорить не в любой случайный момент, а на границах интонационных единиц в речи говорящего; авторы выделили два паттерна такого поведения – (1) перед тем как задать вопрос или что-то прокомментировать и (2) в ответ на прямой вопрос говорящего; на долю двух этих паттернов приходится около 70% всего цефалического поведения слушающего; остальные 30% представляют собой маркеры обратной связи, как они были названы чуть позднее Виктором Ингве (“backchannels” [Yngve 1970]). В работе [Dittmann, Llewellyn 1968] было также установлено, что задержка между кивком и началом вербализации составляет около 175 мс. Авторы предположили, что таким образом слушающий посылает говорящему сигнал о начале своего высказывания, не желая перебивать собеседника.

В 1972 г. Адам Кендон исследовал цефалическое поведение *говорящего* собеседника [Kendon 1972]. Проведя независимую сегментацию вокального и цефалического компонентов, он пришел к выводу, что выделенные единицы имеют тенденцию к синхронизации. Кендон показал, в частности, что к концу очередной просодической единицы голова говорящего собеседника часто возвращается в то место, в котором она была в начале предыдущей просодической единицы, тем самым обеспечивая кинетическую связность дискурса.

Данные нашего корпуса подтверждают выявленные закономерности; в частности, говорящий часто «передает ход» собеседнику поворотом головы, а слушающий кивает в ответ на слова собеседника и/или перед началом своего высказывания.

Наконец, ключевая работа в области *окуломоторного* канала коммуникации также была написана около полувека назад. Проанализировав пятиминутное общение семи пар испытуемых, Кендон [Kendon 1967] выявил следующие закономерности: (1) испытуемый чаще смотрит на собеседника, когда слушает его, чем когда сам говорит; (2) взгляды на собеседнике длиннее, когда испытуемый молчит, чем когда говорит; (3) когда испытуемый молчит, его взгляды на собеседнике длиннее, чем взгляды на окружение; (4) когда испытуемый говорит, его взгляды на собеседнике короче, чем взгляды на окружение; (5) наблюдаются сильные индивидуальные различия. Так, испытуемые-слушатели фиксировали взгляд на собеседнике от 32% до 81% всего времени, а испытуемые-говорящие смотрели на собеседника от 20% до 68% всего времени [Там же].

Проанализировав данные нашего корпуса, мы выявили аналогичные закономерности: (1) **говорящий** собеседник смотрит на адресата своего сообщения от 21% до 72% всего времени; остальное время он смотрит на окружение; (2) **слушающий** собеседник смотрит на говорящего 80%–90% всего времени, причем на этапе *рассказа* Пересказчик смотрит на говорящего Рассказчика 95%–100%, а на этапе *пересказа* Рассказчик смотрит на говорящего Пересказчика чуть реже, 81%–99%; (3) на этапе *разговора* оба **слушающих** собеседника в 95% случаев смотрят на говорящего собеседника (подробнее см. [Федорова, в печати]).

Таким образом, мы показали, что для каждого из трех основных не-вокальных каналов существует координация с вокальным компонентом¹. Прототипический **говорящий** собеседник, время от времени смотря на слушающего, обычно жестикулирует при помощи рук, а при помощи жестов головы структурирует собственную речь и регулирует процесс смены реплик. Прототипический **слушающий** собеседник почти постоянно смотрит на говорящего, не жестикулирует при помощи рук, а при помощи жестов головы обеспечивает обратную связь и анализирует говорящему о начале собственной речи.

5. Заключение. Стержневая роль вокальной модальности

Как уже было отмечено выше, традиционная лингвистика XX в. придавала исключительное значение вербальному каналу, а все остальные компоненты в лучшем случае обозначались несколько уничижительным термином «паралингвистика». В практической психологии была представлена другая крайность – часто цитировались цифры из работы [Mehrabian 1971], согласно которой язык тела (=кинетическая модальность) передает 55% информации, просодия – 38%, а вербальный канал – лишь 7%. Эти цифры, однако, были получены в очень специфическом исследовании – при анализе вклада каналов в формирование установки слушающего по отношению к эмоциональным сообщениям.

¹ Необходимо отметить, однако, что, если мы рассмотрим взаимодействие не вокального, а, например, мануального компонента с окулоторным, мы также получим определенную координацию: когда человек жестикулирует при помощи рук, он смотрит на собеседника только время от времени, а когда не жестикулирует – то почти постоянно. Однако очевидно, что эта координация опосредована вокальной модальностью и связана с процессом порождения / понимания звучащей речи.

Около 10 лет назад один из авторов этой статьи разработал экспериментальный подход, позволяющий количественно оценить вклад каждого из трех коммуникативных компонентов – вербального, просодического и кинетического – в общий процесс понимания дискурса. В ходе эксперимента испытуемый получал задание просмотреть / прослушать запись коммуникации и затем ответить на вопросы к содержанию этой записи. Всего в эксперименте было восемь экспериментальных условий: изолированный вербальный компонент (каждое слово было произнесено отдельно, а затем они были склеены в нужном порядке), изолированный просодический компонент (на исходный звук был наложен фильтр, создающий эффект «разговора за стеной»), изолированный кинетический компонент (только видеоряд), пары компонентов в трех возможных комбинациях, все три компонента и контрольная группа для проверки случайного угадывания правильных ответов. В результате оказалось, что относительный вклад вербального, просодического и кинетического компонентов составил 39%, 27% и 35%, соответственно. Таким образом, все три компонента играют существенную роль в понимании естественного дискурса. Оказалось, однако, что в условиях «кинетический плюс просодический» наблюдается заметный провал, то есть испытуемые испытывали трудности с интеграцией информации из кинетического и просодического компонентов в отсутствие вербального подкрепления. Это говорит о том, что вербальный компонент играет роль якоря, к которому прикрепляется информация, поступающая по другим каналам [Kibrik, Molchanova 2013].

Исследование, описанное в [Там же], было выполнено при помощи **экспериментальной** методологии при изучении **понимания** дискурса. Тем не менее полученные выводы о необходимости учета всех коммуникативных каналов и связующей, опорной, стержневой роли вербального компонента перекликаются с выводами настоящей работы, проведенной на материале анализа **порождения** и **понимания** речи в **естественной** коммуникации. Отметим, однако, что в естественной коммуникации «лицом к лицу» вербальный и просодический каналы образуют неразрывное целое – слова и просодия не существуют друг без друга, так что мы можем разделить их только в результате непростых экспериментальных манипуляций. Поэтому, обобщая результаты обоих исследований, мы говорим о связующей роли вокальной модальности в целом. Нельзя безоговорочно утверждать, что вокальная модальность всегда является ведущей в процессе передачи информации между коммуникантами. В отдельные моменты коммуникации самым важным может оказаться отдельный мануальный жест говорящего со-

беседника¹, или его взгляд, или отрицательное покачивание головой слушающего собеседника. Однако в целом именно вокальный компонент является стержневым. Этот вывод хорошо согласуется с тем, что в обычной бытовой коммуникации кинетические каналы являются факультативными – например, мы без труда понимаем сообщение собеседника, переданное по телефону, хотя отсутствие кинетического компонента и делает его беднее.

Таким образом, коммуникацию следует признать в целом **вокально-центрическим** явлением. Вокальная модальность является приоритетной, а наиболее базовой единицей мультимедийной коммуникации является элементарная дискурсивная единица, относящаяся к вокальному компоненту.

Литература

- Бутовская М.Л. Язык тела: природа и культура (эволюционные и кросс-культурные основы невербальной коммуникации человека). М., 2004.
- Гришина Е.А. Русская жестикация с лингвистической точки зрения. Корпусные исследования. М., 2017.
- Демьянков В.З. Текст и дискурс как термины и как слова обыденного языка // В.Н. Топоров (ред.) Язык. Личность. Текст: Сборник к 70-летию Т.М. Николаевой. М., 2005.
- Квинтилиан М.Ф. Двенадцать книг риторических наставлений. 1834. Ч. 2.
- Кибрик А.А. Мультимодальная лингвистика // Ю.И. Александров, В.Д. Соловьев (ред.) Когнитивные исследования. Вып. IV. М., 2010.
- Кибрик А.А. Когнитивный анализ дискурса: локальная структура // А.А. Кибрик, А.Д. Кошелев, А.В. Кравченко, Ю.В. Мазурова, О.В. Федорова (ред.) Язык и мысль: современная когнитивная лингвистика. М., 2015.
- Кибрик А.А. Русский мультимедийный дискурс. Часть I. Постановка проблемы // Психологический журнал, 2018а. Т. 39(1).

¹ Ср. цитату из [Коротаяева 2015]: «В фольклоре ведущая роль отводится не смысловому значению слова, а рукодвижению. Слова могут иметь неопределенное значение, быть заумными, но жесты, сопровождающие их, имеют конкретное назначение, производятся с определенной целью. Не важно, какие слова человек говорит, а важен сам жест как способ воздействия».

- Кибрик А.А.* Русский мультимедийный дискурс. Часть II. Разработка корпуса и направления исследований // Психологический журнал, 2018б. Т. 39(2).
- Кибрик А.А., Подлесская В.И. (ред.)* Рассказы о сновидениях: корпусное исследование устного русского дискурса. М., 2009.
- Коротаева Е.В.* Рукодвижения в фольклоре и авангарде // В.В. Фещенко (ред.) Живое слово: логос – голос – движение – жест: Сборник статей и материалов. М., 2015.
- Крейдлин Г.Е.* Невербальная семиотика. М., 2002.
- Литвиненко А.О., Николаева Ю.В., Кибрик А.А.* Аннотирование русских мануальных жестов: теоретические и практические вопросы // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной Международной конференции «Диалог 2017», М., 2017.
- Сухова Н.В.* Значения жестовых единиц: к вопросу об аннотировании жестов головы // А.Д. Кривоносов (ред.) Российская психология-4: тренды и драйверы. Сборник трудов в честь профессора Л.В. Минаевой. СПб., 2017.
- Федорова О.В., Кибрик А.А., Коротаев Н.А., Литвиненко А.О., Николаева Ю.В.* Временная координация между жестовыми и речевыми единицами в мультимодальной коммуникации // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной Международной конференции «Диалог» (Москва, 1–4 июня 2016 г.). Вып. 15 (22). М., 2016.
- Федорова О.В.* Распределение зрительного внимания собеседников в естественной коммуникации: 50 лет спустя // Е.В. Печенкова, М.В. Фаликман (ред.) Когнитивная наука в Москве: новые исследования. Материалы конференции 15 июня 2017 г. М., 2017.
- Федорова О.В.* О коммуникативной функции взгляда // Труды Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, в печати.
- Якубинский Л.П.* О диалогической речи // Русская речь, №1, 1923.
- Adolphs S., Carter R.* Spoken corpus linguistics: From monomodal to multimodal. N.-Y.: Routledge, 2013.
- Chafe W. (ed.)*. The pear stories: Cognitive, cultural, and linguistic aspects of narrative production. Norwood, 1980.
- Dittmann A., Llewellyn L.* Relationship between vocalizations and head nods as listener responses // Journal of Personality and Social Psychology, 1968. Vol. 9.

- Ekman F., Friesen W.V.* The Repertoire of Nonverbal Behavior: Categories, Origins, Usage, and Coding // *Semiotica*, 1969. Vol. 1(1).
- Ferré G.* Timing Relationships between Speech and Co-Verbal Gestures in Spontaneous French // *Language Resources and Evaluation, Workshop on Multimodal Corpora*, May 2010, Malta.
- Karpiński M., Jarmołowicz-Nowikow E., Malisz Z.* Aspects of gestural and prosodic structure of multimodal utterances in Polish task-oriented dialogues // *Speech and Language Technology*, 2009. Vol. 11.
- Kendon A.* Some functions of gaze direction in social interaction // *Acta Psychologica*, 1967. Vol. 26.
- Kendon A.* Some relationships between body motion and speech // A.W. Siegman, B. Pope (eds.) *Studies in dyadic communication*. Elmsford, 1972.
- Kendon A.* Gesticulation and speech: Two aspects of the process of utterance // M.R. Key (ed.) *The relationship of verbal and nonverbal communication*, 1980.
- Kendon A.* *Gesture. Visible action as utterance*. Cambridge, 2004.
- Kibrik A.A., Molchanova N.B.* Channels of multimodal communication: Relative contributions to discourse understanding // M. Knauff, M. Pauen, N. Sebanz, I. Wachsmuth (eds.) *Proceedings of the 35th Annual Conference of the Cognitive Science Society*. Austin, TX, 2013.
- Night D.* *Multimodality and active listenership: A corpus approach*. London: Bloomsbury, 2011.
- Kress G.* *Multimodality: A social semiotic approach to communication*, London, 2010.
- Linell P.* *The written language bias in linguistics*. Linköping, 1982.
- Loehr D.* Temporal, structural, and pragmatic synchrony between intonation and gesture // *Laboratory Phonology*, 2012. Vol. 3(1).
- McNeill D.* *Hand and mind: What gestures reveal about thought*. Chicago, 1992.
- McNeill D.* *Gesture and thought*. Chicago, 2005.
- Mehrabian A.* *Silent messages*. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1971.
- Mondada L.* Challenges of multimodality: Language and the body in social interaction // *Journal of sociolinguistics*, 2016. Vol. 20.
- Müller C., Fricke E., Cienki A., McNeill D. (eds.)*. *Body – Language – Communication*, Mouton de Gruyter, Berlin, 2013.
- Yngve V.* On getting a word in edgewise // *Chicago Linguistic Society*, 1970.

О.К. Ирисханова

К вопросу об измерении динамики нарратива¹

1. Исследовательский вопрос как фактор трансфера научных знаний: постановка проблемы

К лингвистическим технологиям трансфера научных знаний нередко относят разные способы заимствования терминов и адаптации стоящих за ними понятий к новым контекстам. Ранее среди таких технологий мы выделили *технологии кластеризации терминов* – моно-, полицентрическую и смешанную [Ирисханова, Киосе 2016].

Заметим, что кластеризация специальных лексем соотносится главным образом с самим актом трансфера знания, с его проводником (языковой формой), а также с его результатом, закрепленным в новом фрагменте терминологической системы. В то же время для *запуска* акта трансфера и перехода тех или иных терминов из одних дисциплин в другие важным оказывается *«сквозной» исследовательский вопрос*, способный модифицироваться в виде частных вопросов в разных парадигмах. Представляется, что *«экспорт» исследовательского вопроса* о природе и закономерностях явления, выделяемого в разных гуманитарных, в том числе в лингвистических, парадигмах, оказывается важным фактором трансляции научных знаний, определяющим общее направление и методы анализа соответствующего феномена в каждой конкретной области исследования.

Мы полагаем, что постановка общего исследовательского вопроса, согласуемого с конкретными возможностями определенного направления или исследования, может не только обеспечивать преемственность терминологического аппарата разных парадигм, но и служить катализатором «круговорота методологий» между лингвистическими и смежными с лингвистикой дисциплинами, способствуя кумулятив-

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-28-00130) в Институте языкознания РАН, МГЛУ.

ному эффекту и в конечном итоге внутри- и междисциплинарной интеграции на качественно ином уровне.

В настоящей работе мы, обращаясь к одному из важнейших кросс-дисциплинарных понятий – к понятию нарратива, покажем, что в основе выстраиваемого в разных лингвистических дисциплинах и направлениях полицентрического терминологического кластера *нарратив – событие* лежит сквозной исследовательский вопрос о том, как «измеряется» динамика нарративного дискурса. Подчеркнем, что здесь под «измерением» мы имеем в виду не столько количественные процедуры анализа динамики производства повествований (как, например, в случае с изучением просодических компонентов звучащей речи), сколько основные акценты (фактически, «измерения») в качественном анализе тех явлений – экстралингвистических и лингвистических, которые обеспечивают продвижение нарратива и которые, среди прочего, способствуют увеличению или уменьшению динамики повествования.

Модификации этого вопроса (например, в зависимости от того, что понимается под динамикой и какая разновидность дискурса изучается) обуславливают вектор трансфера знаний, а значит – и характер используемых терминов и техник анализа в каждом конкретном исследовании. Мы попытаемся кратко рассмотреть, как данный вопрос трансформируется в современных когнитивных лингвистических работах и какие следствия это имеет в плане теоретических установок, терминологического аппарата и процедур анализа.

В свете последних когнитивных тенденций особое внимание мы уделим полимодальным исследованиям повествования в когнитивной нарратологии и продемонстрируем, как постановка исследовательского вопроса о динамике нарратива применительно к устной форме нарратива и с учетом жестовой составляющей обеспечивает преимущество лингвистических парадигм и школ, с одной стороны, и открывает перед исследователем новые возможности анализа, с другой стороны.

В работе будет представлен полимодальный анализ единиц (вербальных и невербальных), способствующих возрастанию динамики устного нарратива. Таким образом, настоящее исследование является продолжением идей Валерия Закиевича Демьянкова о наличии в повествованиях «динамизаторов» – единиц, способствующих «приращению динамики» текста [Демьянков 2006: 118]. Мы покажем, что в устном нарративе такими динамизаторами могут стать жесты в совокупности с языковыми выражениями, с которыми они синхронизируются в речи.

2. Вопрос о природе динамики художественного нарратива: нарратив – событие – нарратор – перспектива

Общепринятое понимание природы нарратива как текста событийного обуславливает тот факт, что событие как онтологическое и эпистемологическое явление рассматривается во многих дисциплинах в качестве основы динамики повествовательного текста – в первую очередь литературного¹. Эта традиция имеет философские истоки: так, Аристотель в «Поэтике» пишет о том, что целостность сюжета (*holos*) формируется через отбор и последовательное выстраивание событий (*mythos*) [Аристотель 2000].

Начиная с античных времен установка на **событийность** становится ведущей для всех направлений художественной нарратологии, а **событие** – неотъемлемым компонентом описания литературного текста. В частности, в трудах русских формалистов и французских семиологов, в особенности В. Проппа и А.-Ж. Греймаса, глубинный анализ продвижения нарратива опирается на универсальный набор инвариантных событий или фабульных ходов (функций): отлучки, запрета, вредительства, победы и пр. В работах постструктуралистов, следующих идеям постмодернизма, событие предстает не как «внешняя», объективная сущность, а как сущность, подвергающаяся бесконечной интерпретации, сужению и расширению, замедлению и ускорению (Р. Барт, Ж. Лакан, Ж. Деррида, Ж. Делез, Ж.-Ф. Лиотар и др.). Зависимость события от субъективной трактовки подчеркивается и в трудах представителей Московско-Тартуской семиотической школы. Например, Ю.М. Лотман отмечает, что событие – это «значимое уклонение от нормы», которое «зависит от понятия нормы» [Лотман 1998: 19], а норма, в свою очередь, устанавливается относительно системы координат субъекта – этнокультурной, социальной, личностной.

Таким образом, динамика повествования в нарратологии XX в. связывается с динамикой события как минимум двояко:

– через «объективное» событие (цепочку событий), трактуемое как любое изменение, переход из одного состояния в другое (ср. с понятием event I в [Prince 1987]);

– через «субъективное» событие, которое (а) оценивается индивидом или обществом как значимое [Арутюнова 1988]; (б) существуя в субъективном пространстве художественного произведения, включа-

¹ См. известную цитату Б.В. Томашевского о событии-мотиве как «мельчайшей повествовательной единице» [Томашевский 1996: 181].

ет, наряду с топосом и семантической границей, подвижного персонажа, который стремится эту границу нарушить [Лотман 1998] (ср. с понятием event II в [Prince 1987]).

Если первая, объективистская, трактовка динамики события свойственна в большей степени логико-философскому направлению в лингвистике, то вторая, субъективистская, – семиологии культуры и, позднее, когнитивной лингвистике.

В целом разграничение двух типов события (по Дж. Принсу) применительно к динамике художественного текста позволило, во-первых, анализировать событие в контексте когнитивной проблемы интерпретации и выделить такие его взаимосвязанные разновидности, как событие-идея, референтное событие и текстовое событие [Демьянков 1983].

Во-вторых, субъективистская постановка вопроса о событийной динамике повествования способствовала уточнению специфических свойств нарративного события. Так, В. Шмид, представитель Гамбургской школы нарратологии, отнес к этим свойствам релевантность, непредсказуемость, консеквентивность (наличие следствия), необратимость и неповторяемость [Шмид 2003].

В-третьих, вопрос о динамике художественного повествования с субъективистских позиций также выдвинул на первый план проблему **повествователя** как одной из важнейших координат дискурса и представленных в нем событий (ср. с координатами событий в [Демьянков 1983]). При этом *нарратор* как термин начинает образовывать полицентрический кластер с терминами *полифония* и *перспектива (точка зрения)*. Идеи М.М. Бахтина о полифонии как динамическом множестве звучащих в художественном произведении голосов, заимствованные французскими семиологами Р. Бартом, Ю. Кристевой и др., получили дальнейшее продолжение в нарративной теории перспективы Г. Джеймса, П. Лаббока, Ж. Женетта, М. Бал и др. Динамика повествования анализируется как последовательная «фокализация» событий с точки зрения нарратора [Женетт 1998], как смена внутренней и внешней перспективы [Bal 1985; Успенский 2000], как наложение перспектив разных участников нарратива – рассказчика, персонажа, автора [Меу 1999; Шмид 2003].

Теория перспективы на современном этапе применяется также в когнитивной нарратологии, которая опирается на когнитивную грамматику Р. Лэнекера и на когнитивную теорию перспективизации Р. Лэнекера и Л. Тэлми. Перспектива (Viewpoint) трактуется как один из механизмов конструирования мира в дискурсе и основывается на мето-

дологической когнитивной установке о взаимосвязи зрительной перцепции и концептуализации мира (см. [Ирисханова 2014]). Динамика нарратива рассматривается через изменения в позиционировании (*viewing arrangement*) нарратора (концептуализатора) по отношению к конструируемому объекту. Анализ прозаических и поэтических текстов проводится с применением такого терминологического инструментария, как *точка обзора*, *концептуализатор*, *наведение фокуса внимания*, *субъективизация* и *объективизация* и др.¹

В целом постановка вопроса о динамической природе нарратива с разной степенью эксплицитности характерна для всех парадигм, в рамках которых изучался и продолжает изучаться нарративный дискурс. В структуралистских исследованиях данный вопрос трансформируется в проблему выявления архетипических конфигураций событийных ходов; в постструктуралистских концепциях – в вопрос о субъективности интерпретаций событий и о многоголосии их текстового представления; в неофункциональной (когнитивной) парадигме, сохраняющей событийный и субъективистский уклон предыдущих этапов нарратологии, на первый план выступает динамика ментального конструирования событий, которая часто анализируется в терминах перспективизации. Здесь способом «измерения» динамики становятся не столько сюжетные ходы и фокализация сменяющих друг друга событий, сколько когнитивные механизмы построения перспективы и языковые средства их реализации (см. подробный обзор этих механизмов в [Петрова 2017]).

Заметим, что в вопросе об измерении (и измерениях) динамики художественного повествования заложена как последовательность референтных событий в сюжете, представленная с позиции нарратора, так и развитие самого повествования о событии, т.е. основные этапы продвижения нарративного дискурса.

3. Вопрос о динамике продвижения повествования: моделирование этапов производства художественного и повседневного нарратива

Со времен Аристотеля, поделившего трагедию на такие части, как перелом (*peripeteia*), узнавание (*anagnorisis*) и претерпевание или страдания (*pathos*), каноническая модель развития сюжета выстраивается

¹ См., в частности, в [Harrison, Nuttel, Stockwell, Yuan 2014].

вокруг трех «точек» – *завязки, кульминации и развязки*, дополненных экспозицией (прологом), развитием действия и эпилогом. Данная модель служит своего рода связующим звеном между нарративной динамикой как последовательностью референтных событий и динамикой повествования как сменяемостью *механизмов отбора и представления* объектов и событий при производстве нарратива.

В последнем случае показательны модели дискурсивной динамики художественных нарративов, предложенные Ю.М. Лотманом и В. Шмидом. Так, Ю.М. Лотман рассматривает повествование как чередование механизмов автоматизации и деавтоматизации, под которым понимает привнесение нового взгляда на событие (по аналогии с понятием «остранение» у В.Б. Шкловского и Ю.Н. Тынянова): «[В] структуре художественного текста одновременно работают два противоположных механизма: один стремится все элементы текста подчинить системе, превратить их в автоматизированную грамматику, без которой невозможен акт коммуникации, а другой – разрушить эту автоматизацию и сделать самое структуру носителем информации» [Лотман 1998: 78].

Модель В. Шмида призвана показать, каким образом из аморфной массы ситуаций, персонажей и их действий рождается нарративный текст как художественное произведение. В. Шмид, дополняя двух- и трехуровневые схемы Б. Томашевского, Ц. Тодорова, Ж. Женетта, М. Бал и др., выделяет четыре уровня порождающей модели, в которой кристаллизация текста проходит путь от *события* («фикционального материала, служащего для нарративной обработки» [Шмид 2003: 158]) к *истории* («отбору ситуаций: лиц, действий и их свойств» [Ibid.], *наррации* (композиции элементов событий) и *презентации наррации*, т.е. доступному эмпирическому наблюдению тексту [Ibid.: 158–159]. Таким образом, модель В. Шмида охватывает не только поверхностную канву текста, но и ненаблюдаемые подготовительные этапы его производства.

Большинство предложенных моделей продвижения нарратива оказались в первую очередь письменных художественных повествований. С 60–70 гг. XX в. интерес нарратологов смещается в сторону устных обыденных нарративов, что приводит к дальнейшей модификации вопроса об измерении динамики данного типа дискурса.

По мере перемещения устного дискурса от периферии к центру нарратологических исследований¹ все большее распространение получает

¹ См. [Гаспаров 1978; Chafe 1980; Fludernik 1996; Quasthoff 1997; Herman 1999; Emmott 1999; Янко 2008; Лаптева 2008; Langlotz 2015].

модель повседневных устных нарративов У. Лабова и Дж. Валетски, в которых повествуется о личном опыте говорящих [Labov, Valetzky 1967].

В предложенной исследователями модели повествование включает следующие этапы: *резюме* (ввод темы), *ориентацию* (экспозицию как общую информацию об участниках и обстоятельствах события), *осложнение* (неожиданный поворот, ядро повествования, кульминацию события), *оценку* (указание на то, почему событие рассказано), *развязку* (итог конфликта), *коду* (возврат к реальному времени беседы, дистанцирование от события). Впоследствии данная схема неоднократно дорабатывалась как самим У. Лабовым [Labov 1972; 2001], так и другими нарратологами, которые подчеркивали, что развертывание повествования в реальной речи может отклоняться от предложенной американскими учеными модели [Quasthoff 1997; Борисова 2005].

В подтверждение вариативности продвижения устного повествования приведем небольшой рассказ из корпуса видеозаписей нарративов на русском языке, полученных в результате эмпирического исследования в Центре социокогнитивных исследований дискурса в МГЛУ (36 испытуемых; объем видеокорпуса – около 230 минут). Для иллюстрации нарратива вслед за [Du Bois et al. 1993; Кибрик, Подлесская 2003] мы используем формат минимальной дискурсивной транскрипции с некоторыми модификациями.

В таблице указаны: нарративные этапы по модели Лабова-Валетски; ЭДЕ (элементарные дискурсивные единицы), выделенные по семантико-синтаксическому принципу и совпадающие с клаузами или их частями (в случае с обособленными междометиями, полноударными *вот*, уточняющими обособленными конструкциями и др.); тайм-код для этапов нарратива. Для обозначения неясных фрагментов использовались угловые скобки, для удлинённых звуков – удвоение буквы, для прямой речи – кавычки (таблица 1).

Таблица 1. Сессия 1. Рассказ о приятном сюрпризе

Этапы продвижения нарратива	Тайм-код	ЭДЕ
Резюме	2:48– 2:55	1) <i>О!</i> 2) <i>Давай я расскажу тебе,</i> 3) <i>как я устроила сюрприз для близкого мне человека.</i>
Оценка	2:55– 2:57	4) <i>< Да,> это была классная история.</i>

Ориентация	2:58–	5) <i>Этот сюрприз я сделала для своей подруги Олечки.</i>
	3:25	6) <i>Ну ты знаешь,</i>
		7) <i>которая вот сейчас < здесь>.</i>
		8) <i>И-и, э-э, ей тогда исполнялось девятнадцать лет,</i>
		9) <i>по-моему.</i>
		10) <i>Да,</i>
		11) <i>девятнадцать.</i>
		12) <i>И-и, в общем, сюрприз состоял вот в чем.</i>
		13) <i>Наша еще общая подруга Шура,</i>
		14) <i>которая живет в Финляндии,</i>
		15) <i>она не приезжала в Москву уже год,</i>
		16) <i>и мы ее год вот реально не видели.</i>
		17) <i>Вот.</i>
Осложнение	3:26–	18) <i>Но специально на Олин день рождения она втайне</i>
(с кульмина-	4:24	19) <i>от нее купила билеты в Москву, на поезде, вот.</i>
цией)		20) <i>Она приехала, позвонила мне.</i>
		21) <i>Не Оле сначала, мне.</i>
		22) <i>Говорит:</i>
		23) <i>«Настя, < Настя>, все, я приехала.</i>
		24) <i>В-общем, давай Оле сюрприз устроим.</i>
		25) <i>Ты ни в коем случае не говори,</i>
		26) <i>что я приехала».</i>
		27) <i>А я должна была прийти к Оле чуть пораньше,</i>
		28) <i>типа там сделать макияж, платье, прическу,</i>
		29) <i>чтобы < выглядеть> хорошо, красиво.</i>
		30) <i>Вот.</i>
		31) <i>И я говорю:</i>
		32) <i>«Шура, мы все равно с Олей раньше встречаемся</i>
		33) <i>и поедem на ее день рождения вместе.</i>
		34) <i>Давай ты со мной придешь,</i>
		35) <i>и она просто от радости, там, не будет знать куда</i>
		36) <i>себя деть».</i>
		37) <i>В общем, да, в итоге мы поднялись в подъезде, на</i>
		38) <i>третий этаж к Оле.</i>
		39) <i>Я звоню в дверь.</i>
		40) <i>Сначала вроде выхожу из дверей лифта одна.</i>
		41) <i>Ну Оля посмотрела в глазок,</i>
		42) <i>меня как бы впустила.</i>
		43) <i>Ну я говорю:</i>
		44) <i>«Все, Олечка,</i>
		45) <i>с днем рождения»,</i>
		46) <i>и так я отхожу в сторону,</i>
		47) <i>чтобы она, ну, видела лестничную площадку и лифт.</i>
		48) <i>Ну и оттуда выходит Шура с букетом цветов.</i>

Развязка	4:24–	46) <i>И Оля:</i>
	4:32	47) «Ааа».
		48) <i>Она плакать стала реально вот от радости.</i>
		49) <i>Вот прямо слезы появились.</i>

Как показано в таблице 1, развертывание данного устного неформального нарратива следует в основном по модели Лабова-Валетски, однако оценка предваряет ориентацию, становясь, по сути, частью резюме и создавая эффект предвосхищения (ЭДЕ 4). Самыми сложными этапами с точки зрения количества ЭДЕ и протяженности во времени (см. тайм-код) в данном нарративе являются ориентация и осложнение, что согласуется с указанной моделью.

Однако для лингвистического анализа не менее важным оказывается вопрос о качественных характеристиках языковых единиц, продвигающих повествование и, соответственно, обеспечивающих динамику перехода от события к событию, от этапа к этапу.

4. Вопрос о роли языковых средств в продвижении нарратива. Понятие динамизаторов

Этот вопрос, в том или ином виде присутствующий в нарратологии в целом, получил свою наиболее последовательную реализацию в рамках лингвистики нарратива, которая в отечественной науке о языке связана с именем Е.В. Падучевой. Для данного направления изучение особенностей «употребления и интерпретации языковых элементов в нарративе» становится главной задачей [Падучева 1996: 198]. Особое внимание в связи с этим уделяется таким особенностям повествования, как динамические глаголы и глаголы, указывающие на психологические и внешние события, аспектуальные и темпоральные глагольные формы и их смена, лексемы, обозначающие активных участников событий, порядок слов, союзы, дискурсивное членение, дискурсивные маркеры, некоторые фонетические особенности речи и пр. (см., например, в [Labov 1972; Fludernik 1996; Schiffrin 1996; Rozwadowska 1997; Herman 1999; Земская 2004; Attardo 2006; Кибрик, Подлеская 2009]).

В когнитивной лингвистике важными оказываются дейктические средства, которые рассматриваются на фоне механизмов перспективизации, языковые средства выдвигания и задвигания (*foregrounding and backgrounding*) и запуска ментальных пространств (*mental space*)

triggers) [Chafe 1980; Duchan et al. 1995; Graumann, Kallmeyer 2002; Wårvik 2004; Fauconnier, Turner 2002].

В целом как показывает обзор современной литературы, языковая и дискурсивная специфика повседневных нарративов исследуется в меньшей степени, по сравнению с художественными нарративами, однако и здесь внимание уделяется разнообразным языковым явлениям – от фонетических и лексико-грамматических до дискурсивных.

В контексте вопроса о роли языковых средств в обеспечении динамики нарратива представляется важным рассмотреть еще одно явление, отмеченное В.З. Демьянковым в статье «Можно ли измерить динамику нарратива?». Размышляя о таком явлении, как динамика или «приращение скорости» повествования, он указывает на двойное понимание: либо как «скорости речевого потока (в реальном времени)», либо как «количества сообщаемого относительно текстовой массы» [Демьянков 2006: 118]. Языковые единицы и выражения, которые способствуют приращению динамики текста, В.З. Демьянков называет *динамизаторами*.

К динамизаторам исследователь относит диалогические частицы *да* и *нет*, которые в контексте монологического повествования становятся ускорителями наррации: например, <...> *и вы думаете, что он страстно ее любит?.. О, нет!* (М.Н. Загоскин. Искуситель); *Все, что вы мне говорили на лодке, правда, может быть, и я это знаю... Ах, да, нет! Разве не ужасно это из-за спора, из-за этой бестактности, которая меня губит...потерять такое место...* (К.Н. Леонтьев. В своем краю) [Демьянков 2006: 118]. Эти динамизаторы создают эффект полярности, заочного спора с предполагаемым собеседником, а значит – повышают драматичность повествования, т.е. придают большую коммуникативную напряженность описываемому событию.

Представляется, что динамизаторы можно рассматривать, принимая во внимание разные аспекты усиления динамики нарратива. Заметим, что в данном исследовании мы оставляем за кадром такое важнейшее физически наблюдаемое средство ускорения нарратива, как ритмико-интонационную организацию повествования (см. работы Т.Е. Янко и В.И. Подлесской).

Итак, если мы аккумулируем те вопросы о динамике, на которые мы указывали выше, то такое «ускорение» может усматриваться в нескольких измерениях:

1. в наращивании динамики референтного события (событий):

(а) некая статичная ситуация в нарративе может получить переосмысление как динамически разворачивающееся событие – через средства

фиктивного движения или фиктивного изменения (е.g. *дорога петляла, экзамен приближается*);

(б) событие, сначала рассматриваемое как некая целостная и относительно стабильная сущность, начинает конструироваться как цепочка динамических событий (например, сначала макро-событие реифицируется с помощью существительного *победа*, а затем детализируется как последовательность микро-событий с помощью глаголов активного действия (*разбить, разгромить, подавить* и пр.);

(в) событие, представленное нарратором с внешней точки зрения, начинает описываться с внутренней перспективы. Последнее явление хорошо известно в связи с аспектуальностью, а также в связи с переключением времен (например, сменой прошедшего времени на историческое настоящее время); другой пример – цитирование участника события, воссоздание его внутренней речи;

2. в придании большего «драматизма», эмоционального накала событию через ввод оценочной лексики, риторических вопросов, междометий, метафорических выражений, иронии, гиперболы и пр.;

3. в компрессии фрагмента дискурса (текста) для обобщения и/или перехода к следующему этапу повествования: например, эллипсис, обобщающие фразы (*Вот так, вот*), упрощение синтаксиса и др.

Таким образом, к динамизаторам могут быть отнесены разнообразные явления, причем функция интенсификатора нарратива не обязательно является их ингерентным свойством, а проявляется только в определенном контексте.

Вернемся к таблице 1 и выделим те единицы, которые играют роль динамизаторов в приведенном фрагменте. В резюме и оценке используются событийные имена существительные *сюрприз* и *история*, реифицирующие (т.е. фиксирующее как стабильное) некое макро-событие, которое далее (в осложнении) начинает разворачиваться в последовательность микро-событий, выраженных глаголами активного действия (*приехала, купила, позвонила, впустила, сделать, посмотрела* и др.). Кроме того, в осложнении мы наблюдаем смену перспективы – с внешней (нарратора) на внутреннюю (участника, находящегося «внутри» события). Такая смена осуществляется многократно и реализуется глагольными формами *звоню, говорю, отхожу* и пр. в историческом настоящем времени (ЭДЕ № 21, 30, 36, 37, 40, 43, 45) с включениями прямой речи (ЭДЕ № 22–25, 31–34, 41, 42, 47).

В резюме, оценке и развязке также обнаруживаются отдельные случаи употребления междометий (*О! А-а-а!* – ЭДЕ № 1 и 47), оценочной лексики (*классный* – ЭДЕ № 4), усилительных частиц и наречий (*да, да-*

вай, пусть, реально, специально, вот прямо – ЭДЕ № 2, 4, 16, 18, 23, 24, 33, 48, 49), усилительных модальных выражений со значением запрета (ни в коем случае не говори – ЭДЕ № 24). Заметим, что лексемы *реально* и *вот прямо* не только выполняют функцию усилительных частиц, но и имеют эвиденциальное значение прямого свидетельства, что вносит дополнительный вклад в представление развития событий «изнутри». Относительно компрессии фрагментов дискурса, способствующей ускорению динамики самого повествования, мы выделили обобщающие выражения *в общем, в итоге* и *вот* (ЭДЕ № 12, 17, 18, 23, 29, 35). *В общем* и *вот*, с одной стороны, могут суммировать сказанное (ЭДЕ 12, 17), с другой стороны, они могут в компрессированном виде предварять последующий фрагмент, обеспечивая заполнение пауз и, соответственно, более плавный переход от события к событию и от фрагмента к фрагменту (ЭДЕ №17 и 29).

Итак, на примере повседневного устного нарратива мы выявили ряд динамизаторов (глаголы активного действия, определенные видо-временные формы глаголов, оценочную лексику, междометия, усилительные частицы и наречия, модальные выражения, дискурсивные выражения со значением обобщения и прямого свидетельства), которые служат приращению динамики нарратива в перечисленных выше аспектах.

Следующий вопрос о динамике нарратива можно сформулировать следующим образом: учитывая полимодальный характер устного нарратива, в котором вербальные средства согласуются с невербальными, можем ли мы утверждать, что роль динамизаторов повествования играют также жесты? Далее попытаемся ответить на этот вопрос.

5. Вопрос о динамике устного нарратива как полимодального дискурса.

Жесты-динамизаторы

Вопрос о вкладе жестов в динамику нарратива связан с современной тенденцией, выражающейся в смене акцента с изучения языковых средств на анализ неязыковых коммуникативных ресурсов. В настоящее время эта тенденция особенно заметна в когнитивной лингвистике.

Как следствие, параллельно с вербоцентрическим изучением художественных нарративов с позиций когнитивной грамматики в версии Р. Лэнекера активно развивается анализ повествования с позиций их полимодальности (мультимодальности), т.е. совместного вклада разных модальностей и семиотических систем в динамику нарративного

дискурса. Письменные нарративы исследуются главным образом в контексте механизмов перспективизации с учетом графического компонента (например, [Forceville 2013]), в то время как устные повествования изучаются с точки зрения того, как конструируются объекты и события в дискурсе с изображением или видеорядом (например, в фильмах) или в дискурсе с речевыми жестами. В последнем случае ставится вопрос о том, какие когнитивные структуры и механизмы (образ-схемы, метафоризация, метонимизация) управляют совместной встречаемостью слов и жестов¹.

Если в случае с письменными полимодальными нарративами анализ ведется главным образом с привлечением описательных дискурсивных процедур традиционной нарратологии и лингвопрагматики, то в случае с жестовыми исследованиями все чаще привлекаются технологии и методы из смежных лингвистических и нелингвистических дисциплин (ELAN, айтрекинг, MoCap и др.).

В настоящей работе при анализе жестовых характеристик нарратива мы опираемся на данные, полученные в экспериментальных условиях и обработанные с помощью программы ELAN. Анализировались в основном мануальные жесты, хотя в отдельных случаях мы обращали внимание на движения корпуса тела. Испытуемые (студенты МГЛУ, хорошо знающие друг друга) получали стимулы с предложением рассказать о длительном или неожиданном событии из их личного опыта. Повествования велись в парах; таким образом мы получили законченные фрагменты нарративного монологического дискурса, обращенного к собеседнику и включающего в себя элементы диалога.

В целом анализ показывает, что, во-первых, несмотря на лабораторные условия, испытуемые производили нарративы, которые по своим показателям были максимально приближены к естественным повествованиям. Данные факт важен для анализа жестов. Во-вторых, жесты оказались не менее чувствительными к таким параметрам повествовательного дискурса, как этап развертывания нарратива; свойства референтных событий и способы их представления языковыми средствами (действия vs. состояния, моментальность vs. длительность, повторяемость и др.); интерсубъективность говорящего (то есть насколько говорящий «монологичен» или его нарратив ориентирован в большей степени на собеседника); роль собеседника (пассивный слушатель или активный интерактант).

¹ В качестве примера исследования устных нарративов с жестами можно привести [Cienki, Iriskhanova 2018; Федорова, Кибрик 2018].

Для определения роли жестов как динамизаторов мы обратились к тем нарративам, в которых описывались неожиданные события, то есть к тем рассказам, в которых в вербальном компоненте динамика повествования была представлена наиболее очевидно (см. нарратив в таблице 1).

Предварительно заметим, что жестовая модальность в нарративе в целом может рассматриваться как измерение динамики повествования уже потому, что жесты являются коммуникативно релевантными **движениями**, воплощающими интенции автора (ср. с когнитивным термином *embody/embodiment* – буквально «во плоти»). Кроме того, как известно, жесты помогают ритмически организовывать речь и компенсировать пробелы, не просто заполняя паузы, но и помогая говорящему «вытолкнуть» из памяти нужное выражение.

В настоящей работе мы анализируем вклад жестов в динамику нарратива в двух аспектах: по отношению к языковым единицам, с которыми жест синхронизируется (при этом языковое выражение не обязательно будет динамизатором); по отношению к этапам продвижения нарратива.

Мы предположили, что вклад, который каждый жест вносит в динамику нарратива (как и способность быть динамизатором), неодинаков и зависит прежде всего от типа жеста.

Мы опирались на классификации жестов, предложенные А. Ченки [Cienki 2013] и К. Мюллер [Müller 1998].

А. Ченки выделяет следующие функциональные типы жестов:

– *референтные жесты* (*репрезентирующие жесты*, иконически изображающие объект, и *указательные жесты*, которые показывают на референт, о котором идет речь);

– *прагматические жесты* (выполняют функцию персонального действия по отношению к участникам коммуникации; выражают чувства, эмоции и отношение говорящего к референту);

– *жесты, структурирующие дискурс* (противопоставляют части дискурса, служат средством перечисления аргументов и пр.) [Cienki 2013].

К. Мюллер уточняет понятие *репрезентирующих жестов*, разграничивая четыре способа репрезентации:

– *прорисовывание* (жест «рисует» контуры объекта);

– *лепка* (например, произнося *мяч*, говорящий обеими руками как бы охватывает или «лепит» округлый объект в воздухе);

– *разыгрывание сцены* (жестом изображается действие: например, *пищу* сопровождается движением пишущей руки);

– *собственно репрезентация* (говорящий телом или рукой изображает объект, о котором идет речь: например, *машина повернула влево*

синхронизируется с поворотом корпуса тела или ладони в соответствующую сторону) [Müller 1998].

Анализ устных нарративов показал, что для наращивания динамики референтных событий и объектов служат репрезентирующие жесты, особенно в тех ситуациях, когда они сопровождают вербальные динамизаторы – глаголы действия, называющие последовательность микрособытий. Так, ЭДЕ *она листает [книжку], пальцем водит* сопровождаются жестами перелистывания и движением пальца по воображаемой странице (способ репрезентации – разыгрывание сцены). Подобные жесты иконически усиливают динамику глаголов действия. В более редких случаях жесты, изображающие движение, могут сопровождать имена существительные с предметным значением, профилируя таким образом «динамическое» свойство статичного объекта (ср. с фиктивным движением у Л. Тэлми). Например, участница эксперимента производит жест, репрезентирующий скольжение ступни по поверхности, с существительным *мост*, указывая таким образом на его характеристику «легко поскользнуться».

Динамика референтного события усиливается также с помощью жестов разыгрывания и собственно репрезентирующих жестов, которые применяются говорящими для создания эффекта «погружения в событие», т.е. для смены внешней перспективы на внутреннюю. В нашем видеокорпусе эти жесты нередко сопровождают такие вербальные динамизаторы, как глаголы в историческом прошедшем времени или прямую речь.

Приведем в качестве иллюстрации фрагмент нарратива, соответствующий ЭДЕ № 41 – 43 в таблице 1: *Ну я говорю: «Все, Олечка, с днем рождения», и отхожу в сторону. ЭДЕ и отхожу в сторону синхронизируется с движением согнутых рук вверх при одновременном развороте корпуса тела влево, что имитирует «отход в сторону» (способ репрезентации – разыгрывание сцены) (рис.1).*

В отличие от репрезентирующих жестов, прагматические жесты в роли динамизаторов встречались в нашем корпусе довольно редко, что, по-видимому, связано со статусом нарратора: в событиях, о которых шла речь, говорящие выступали чаще всего в роли стороннего наблюдателя, и жесты главным образом передавали эмоции и чувства не самого рассказчика, а персонажа его истории. Приведем один из многочисленных примеров прагматического жеста-динамизатора в эпизоде, в котором участница эксперимента произносит: *и потом уже мне было совершенно наплевать*, сопровождая данную ЭДЕ широким резким движением правой руки справа налево к центру. Данный жест

сбрасывания, удаления, сметания метафорически усиливает отношение говорящего к описываемому событию. Обратим также внимание на усилительные частицу и наречие *уже* и *совершенно* и экспрессивный глагол *наплевать*, относящийся к неформально-разговорной речи.



Рис. 1 ...и так я отхожу в сторону

В ходе исследования нас также интересовал вопрос о том, меняется ли вклад жестов в динамику продвижения нарратива в зависимости от этапа повествования (по Лабову и Валетски). Мы предположили, что жесты-динамизаторы (особенно жесты, репрезентирующие глаголы) будут чаще употребляться на этапах осложнения и кульминации.

Данное предположение подтвердилось частично. В нашем видеокорпусе мы обнаружили две базовые модели жестового нарративного поведения. Первая модель, в соответствии с нашими ожиданиями, характеризуется ростом употребления репрезентирующих жестов на этапе осложнения и кульминации при последующем их спаде.

Приведем небольшой фрагмент из рассказа о добром поступке, свидетелем которому стала одна из участниц эксперимента (таблица 2):

Таблица 2. Сессия 7. Рассказ о добром поступке

Этапы продвижения нарратива Тайм-код	ЭДЕ	Функциональные типы жестов
Осложнение (с кульминацией)	1) Она <u>закрыла книжку</u> ,	разыгрывание сцены (закрывает)
	2) <u>убрала ее в рюкзак</u> .	разыгрывание сцены (убирает)
	3) <u>Сидит-сидит</u> ,	–
	4) <u>а через проход сидела семья: мама, папа и крохотный ребенок</u> ,	рисование прохода двумя ладонями
	5) <u>то есть ну где-то полтора годика, два</u> ,	–
	6) <u>маленький мальчик сидел</u> .	–
	7) <u>И мы подъехали к станции</u> ,	прагматический жест (ладонь к собеседнику)
	8) <u>не помню какой</u> .	–
	9) <u>Девочка эта встает напротив меня</u> ,	разыгрывание сцены (корпус тела прямо)
	10) <u>протягивает шарик вот этому маленькому ребенку</u> .	разыгрывание сцены (протягивает)
	11) <u>семья которого вошла две станции назад</u> ,	референтный указательный жест
	12) <u>дает ему шарик и уходит</u> .	разыгрывание сцены (дает)

Оценка	6:53 – 7:00	13) <i>И мне так хорошо сразу стало,</i> 14) <i>не знаю.</i> 15) <i>Спокойно ушла, без всего,</i> 16) <i>просто <u>встала</u>, отдала.</i>	- <i>прагматический жест</i> <i>(пожимает плечами)</i> - <i>прагматический жест</i> <i>(отводит руку в сторону)</i>
Кода	7:00 – 7:01	17) <i><Вот так></i>	-

Как показано в таблице 2, все ключевые события на этапе осложнения и кульминации (*закрывает книгу, встала, встает, протягивает, дает*) сопровождаются репрезентирующими жестами (разыгрывание сцены), которые усиливают динамику происходящего и выстраивают события с внутренней точки зрения (см. также глаголы в историческом настоящем времени).

Вторая модель, выявленная нами, не согласуется с нашей гипотезой, так как репрезентирующие жесты-динамизаторы преобладают на этапе ориентации, но не в осложнении и кульминации (таблица 3).

Таблица 3. Сессия 9. Рассказ о дорожном происшествии

Этапы продвижения нарратива	ЭДЕ	Функциональные типы жестов
Ориентация	8:54 – 9:07	
	1) <i>Там идет</i>	-
	2) <i><u>прямо ты можешь ехать,</u></i>	<i>референтный указательный жест с элементами репрезентации (рука движется по направлению движения машины)</i>
	3) <i><вот></i>	-
	4) <i>или <u>заворачивать налево.</u></i>	<i>собственно репрезентирующий жест (рука движется налево)</i>
	5) <i>Чтобы <u>завернуть налево,</u></i>	<i>собственно репрезентирующий жест (рука движется налево)</i>
	6) <i>там еще такой <u>круг стоит с часами,</u></i>	<i>прорисовывание круга пальцами</i>
	7) <i><u>мешает</u> немного обзору.</i>	<i>лепка ладонями препятствия</i>

Осложнение (с кульминацией и развязкой)	9:08 – 9:54	8) <i>И получилось так,</i>	<i>референтный жест (ладонь фиксирует направление линии)</i>
		9) <i>что девушка, которая ехала по главной линии,</i>	–
		10) <i>она, там скорость у нее точно была больше шестидесяти,</i>	–
		11) <i>то есть превышала требования ограничения скорости.</i>	–
		12) <i>Вот.</i>	–
		13) <i>И потом из-за поворота,</i>	собственно репрезентарующий жест (ладонь делает поворот)
		14) <i>получилось так,</i>	–
Кульминация	9:55 – 10:19	15) <i>где вот мы с Мажором были,</i>	<i>прагматический жест (указание на себя)</i>
		16) <i>по этой же дороге ехала машина</i>	<i>референтный жест (указание направления)</i>
		17) <i>обе были на большой скорости</i>	<i>прагматический жест (повторное разделение обеих ладоней – модальность неуверенности)</i>
		18) <i>То есть они столкнулись очень сильно</i>	–
Развязка	9:55 – 10:19	19) <i>Машина девушки, которая ехала < на/по > главной дороге</i>	<i>референтный жест (указание направления)</i>
		20) <i>она аж отлетела до ресторанного дворика</i>	прорисовывание пальцем траектории полета
		21) <i>Представляешь?</i>	–
Ориентация	9:55 – 10:19	22) <i>Там около дороги стоит ресторан, да</i>	лепка (двумя руками «обхватывает»)
		23) <i>Но, слава богу, я поняла,</i>	–
Оценка	9:55 – 10:19	24) <i>что жертв нету.</i>	–
		25) <i>Единственное, машина задымилась</i>	–
		26) <i>То есть очень сильно пршелся удар, да</i>	–
		27) <i>Считай там просто сзади бампер просто, просто в салон, в салон впечатался</i>	прорисовывание бампера лепка (рука «впечатывается в салон»)
		28) <i>Слава богу, все остались живы</i>	–
		29) <i>Но, конечно, не знаю</i>	–
		30) <i>Я не знаю,</i>	–
		31) <i>Как бы я переживала такой шок</i>	–

Анализ данного фрагмента показывает, что на этапе ориентации (длительность 13 секунд) говорящий употребляет репрезентирующие жесты почти с каждой ЭДЕ; на этапе осложнения (длительность 46 секунд) репрезентирующие жесты используются 3 раза (ЭДЕ № 13, 20, 22), при этом один из случаев относится к ориентации, встроенной в осложнение (ЭДЕ № 22).

По-видимому, различия в распределении репрезентирующих жестов-динамизаторов по разным этапам продвижения нарратива связаны с индивидуальными особенностями говорящих, а также с темой рассказа: в случае с аварией говорящему было важно детально представить обстановку, в которой произошло столкновение машин, профилируя направление движения транспорта с помощью жестов, репрезентирующих это движение. Однако для уточнения количества и характера моделей распределения жестов-динамизаторов в нарративах требуются дальнейшие исследования.

В целом анализ видеокорпуса устных нарративов показал, что жесты могут выполнять функцию интенсификации динамики нарратива, иконически усиливая динамический компонент семантики глаголов и существительных, вербализующих действия и предметы. Иными словами, жесты могут выполнять роль динамизаторов.

Кроме того, жесты могут вносить вклад в динамику повествования на разных его этапах: на этапе осложнения (с кульминацией и развязкой) они усиливают драматизм повествования, разыгрывая или прорисовывая действия участников, выраженные глаголом-динамизатором. При этом перспектива наблюдателя нередко меняется на внутреннюю перспективу участника события.

На этапе ориентации жесты-динамизаторы (референтные указательные и собственно репрезентирующие жесты, а также жесты лепки) служат для более детального описания пространственно-временных координат события, внося элементы динамики в статичные объекты (как в случае указания на дорогу через жесты движущегося по ней транспорта).

6. Выводы

В настоящем исследовании мы показали, что одним из важнейших факторов трансфера специальных знаний между смежными гуманитарными дисциплинами является постановка **«сквозного» исследовательского вопроса**, который, обладая относительно высоким уровнем обобщенности, применим к разным исследовательским контекстам и

способен обеспечивать преемственность научных интересов. Подобный вопрос, переходя из одних дисциплин (направлений) в другие, начинает трансформироваться. Данные трансформации обуславливают применение терминологического аппарата (в том числе заимствования терминов), методов и процедур анализа в каждом конкретном исследовании.

В качестве такого исследовательского вопроса мы рассмотрели **вопрос об измерении** (измерениях) **динамики нарратива**, который с определенными модификациями транслируется из традиционной семиотической нарратологии художественного текста первой половины XX в. в лингвистику нарратива последней четверти XX в. и в когнитивную нарратологию конца XX – начала XXI вв. Мы показали, что сквозной исследовательский вопрос о динамике нарратива видоизменялся, причем каждая последующая трансформация не отменяла предыдущую, способствуя не только трансляции, но и аккумуляции знаний (теоретических установок, терминов, методов) в области изучения нарратива. Так, для нарратологии художественного текста был важен вопрос о природе динамики нарратива, рассматриваемый сквозь призму событийности, типов нарратора, полифонии и перспективы. Не менее значимым оказался вопрос о динамике продвижения нарративного текста, о смене его этапов, что выразилось, среди прочего, в разграничении понятий фабулы и сюжета. В конце 60-х гг. вопрос о наличии общей модели продвижения повествования нашел применение в теории **устных** повседневных нарративов.

С появлением лингвистики нарратива акцент смещается на языковые средства, обеспечивающие динамику повествования (художественного и повседневного, устного и письменного). В частности, ставится вопрос о том, какие языковые средства могут служить «динамизаторами» в данном типе дискурса [Демьянков 2006].

Современная когнитивная нарратология также решает вопрос о природе динамики нарратива – на сей раз в контексте таких когнитивных процессов, как конструирование мира и перспективизация, распределения фокуса внимания (выдвижения и задвижения, фокусирования и дефокусирования) и языковых средств их реализации.

В последние годы вопрос о динамике нарратива приобрел в когнитивной лингвистике еще одно измерение – полимодальное, в том числе жестовое. В соответствии с этой тенденцией, в настоящем исследовании показано, что жесты, наряду с языковыми выражениями, могут стать важнейшим средством усиления нарративного напряжения. На материале видеозаписей повседневных нарративов, полученных в экспериментальных условиях, мы продемонстрировали, что вклад

жестов в «ускорение» динамики повествования обуславливается типом жеста (наиболее типичные динамизаторы – жесты, репрезентирующие динамику глаголов) и этапом развертывания нарратива: в частности, в анализируемом видеокорпусе «всплеск» в употреблении таких жестов наблюдался или в осложнении и кульминации, или в ориентации.

Таким образом, мы показали, что привнесение жестового измерения в вопрос о динамике нарратива позволяет обогатить нарратологический анализ и проследить за тем, какой вклад вносит совместное употребление единиц, относящихся к разным семиотическим модальностям, в акты естественной коммуникации.

Литература

- Аристотель*. Поэтика. Риторика. М., 2000.
- Арутюнова Н.Д.* Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. М., 1988.
- Борисова И.Н.* Русский разговорный диалог: структура и динамика. М., 2005.
- Гаспаров Б.М.* Устная речь как семиотический объект // Семантика номинаций и семиотика устной речи. Тарту, 1978.
- Демьянков В.З.* «Событие» в семантике, прагматике и в координатах интерпретации текста // Изв. АН СССР. Серия литературы и языка. 1983. Т. 42. № 4.
- Демьянков В.З.* Можно ли измерить динамику нарратива? // Художественный текст как динамическая система: Материалы международной научной конференции, посвященной 80-летию В.П. Григорьева / Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН. Москва, 19–22 мая 2006 г. /Ред. Ю.С. Степанов, Н.А. Фатеева (отв. ред.), Н.А. Николина. М., 2006.
- Женетт Ж.* Повествовательный дискурс // Женетт Ж. Фигуры. Т. 2. М., 1998.
- Земская Е.А.* Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения. М., 2004.
- Ирисханова О.К.* Игры фокуса в языке. Семантика, синтаксис и прагматика дефокусирования. М., 2014.
- Ирисханова О.К., Киосе М.И.* Технологии трансфера междисциплинарных терминов в лингвистику // Лингвистика и семиотика культурных трансферов: методы, принципы, технологии / В.В. Фещенко (отв. ред.). М., 2016.

- Кибрик А.А., Подлесская В.И.* К созданию корпусов устной русской речи: принципы транскрибирования // Научно-техническая информация. Серия 2, № 6, 2003.
- Кибрик А.А., Подлесская В.И.* Рассказы о сновидениях: корпусное исследование устного русского дискурса. М., 2009.
- Лантева О.А.* Русский разговорный синтаксис. М., 2008.
- Лотман Ю.М.* Структура художественного текста СПб., 1998.
- Падучева Е.В.* Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.
- Петрова Н.Ю.* Принципы и стратегии перспективизации в драматическом тексте. Дисс... докт. филол. наук. М., 2017.
- Томашевский Б.В.* Теория литературы. Поэтика. М., 1996.
- Успенский Б.А.* Поэтика композиции. СПб., 2000.
- Федорова О.В., Кибрик А.А.* Общее, индивидуальное и контекст в мультимедийной коммуникации // Когнитивные исследования языка. Т. 33. М., 2018.
- Шмид В.* Нарратология. М., 2003.
- Янко Т. Е.* Интонационные стратегии русской речи в сопоставительном аспекте. М., 2008.
- Attardo S.* Cognitive linguistics and humor // *Humor – International Journal of Humor Research*. 19(3). 2006.
- Bal M.* *Narratology: Introduction to the Theory of Narrative*. Toronto, 1985.
- Chafe W.L.* *The Pear stories: cognitive, cultural, and linguistic aspects of narrative production*. Norwood, NJ., 1980.
- Cienki A.* Cognitive Linguistics: Spoken language and gesture as expressions of conceptualization // C. Müller, A. Cienki, S. Ladewig, D. McNeill, S. Teßendorf (eds.). *Body – language – communication: An international handbook on multimodality in human interaction*. Vol. 1 (182–201). Berlin. 2013.
- Cienki A., Iriskhanova O.* Aspectuality across Languages: Event construal in speech and gesture. Amsterdam, 2018. (in press).
- Du Bois J.W., Schuetze-Coburn S., Cumming S., Paolino D.* Outline of discourse transcription // J.A. Edwards, M.D. Lampert (eds.) *Talking data: Transcription and coding in discourse research*. Hillsdale, NJ., 1993.
- Duchan J.F., Bruder A.G., Hewitt L.E.* *Deixis in Narrative: A Cognitive Science Perspective*. Hillsdale, NJ., 1995.
- Emmott C.* Embodied in a constructed world: narrative processing, knowledge representation and indirect anaphora // K. Van Hoek, L. Noordman, A.A. Kibrik (eds.). *Discourse Studies in Cognitive Linguistics: Selected*

- Papers from the Fifth International Cognitive Linguistics Conference, Amsterdam 1997. Amsterdam, 1999.
- Fauconnier G., Turner M.* The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities. NY., 2002.
- Fludernik M.* Towards a natural narratology. London; NY., 1996.
- Forceville Ch.* Creative visual variation in comics balloons // T. Veale, K. Fey-aerts, Ch. Forceville (eds.). Creativity and the Agile Mind. Berlin, 2013.
- Graumann C.F., Kallmeyer W.* Perspective and Perspectivation in Discourse (Human Cognitive Processing) / C.F. Graumann, W. Kallmeyer (eds.). Amsterdam, 2002.
- Harrison Ch., Nuttel L., Stockwell P., Yuan W.* (eds.) Cognitive Grammar in Literature. Amsterdam, 2014.
- Herman D.* Introduction // Narratologies: New Perspectives on Narrative Analysis. Columbus, 1999.
- Labov W.* Language in the Inner City: Studies in the Black English vernacular. Philadelphia, Pennsylvania, 1972.
- Labov W.* Uncovering the event structure of narrative // Georgetown University Round Table. Georgetown: GUP, 2001.
- Labov W., Waletzky J.* Narrative Analysis // J. Helm (ed.) Essays on the Verbal and Visual Arts. Seattle, 1967.
- Langlotz A.* Creating social orientation through language: A socio-cognitive theory of situated social meaning. Amsterdam, 2015.
- Mey J.L.* When voices clash: A study in literary pragmatics. Berlin; NY., 1999.
- Müller C.* Redebegleitende Gesten. Kulturgeschichte – Theorie – Sprachvergleich. Berlin, 1998.
- Prince G.* Narratology. The Form and Functioning of Narrative. Berlin, 1987.
- Quasthoff U.M.* An Interactive Approach to Narrative Development // M. Bamberg (ed.). Narrative Development: Six Approaches. NJ., 1997.
- Rozwadowska B.* Towards a Unified Theory of Nominalizations: External and Internal Eventualities. Wrocław, 1997.
- Schiffrin D.* Narrative as self-portrait: The sociolinguistic construction of identity // Language in Society. 25 (2). 1996.
- Wärvik B.* What is foregrounded in narratives? Hypotheses for the cognitive basis of foregrounding // T. Virtanen (ed.). Approaches to Cognition through Text and Discourse. Berlin, 2004.

Т.Б. Радбиль

Коммуникативно-прагматические рефлексии культурной апроприации заимствований в дискурсе Рунета¹

Предлагаемый в данной работе научный этюд вполне отвечает многогранному творческому наследию В.З. Демьянкова, исследовательские интересы которого воистину всеобъемлющи и вбирают в себя целый спектр магистральных для сегодняшней гуманитаристики направлений – от философии языка, семиотики и дискурс-анализа [Демьянков 2005; 2010] до лингвокогнитивных исследований и концептуального анализа [Демьянков 2011; 2013].

Вектор наших исследований, вслед за маэстро, также устремлен в область интердисциплинарных пересечений, простираясь в переходной зоне между когнитивно-дискурсивным подходом и «лингвистикой креатива», логическим анализом языка и лингвокультурологией. Наши последние работы посвящены проблеме комплексного изучения механизмов когнитивного освоения знаков чужой культуры в современных дискурсивных практиках этноса [Новые тенденции 2014; Радбиль 2017; Радбиль, Рацибурская 2017]. Материалом для исследования закономерно выступает такая динамичная, диагностически релевантная и репрезентативная среда всевозможных инновационных явлений, как дискурс русскоязычного Интернета.

Исходным пунктом наших рассуждений являются идеи лингвокультурологической интерпретации активных процессов в современном русском языке через призму их соответствия или несоответствия исконно русским моделям языковой концептуализации мира. Мы продолжаем развивать положение о том, что, в плане именно способов языковой концептуализации мира, инновационные явления в русском

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 18-012-00195 А. The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-012-00195 А.

языке последних лет отражают доминирование типично русского способа смотреть на вещи, потому что сами исходные принципы, по которым происходит своеобразная аккультурация чужих корней, в русском языке остаются исконными, неизменными вот уже столетиями.

Любой язык во все времена был, есть и будет зоной напряженного культурного взаимодействия «своего» и «чужого», что вообще представляется универсальной инвариантной культурной доминантой цивилизации, значимой не только для жизни языка. В плане же современных инновационных тенденций в лексике и грамматике русского языка, как он представлен в коммуникативной среде Интернет, мы имеем дело с так называемой **«культурной апроприацией заимствований»**. Суть этого процесса, имеющего комплексную (когнитивную, семиотическую, культурную, коммуникативно-прагматическую, регулятивно-ценностную, речеповеденческую и пр.) природу, заключается в том, что иноязычные по происхождению элементы разных уровней языка в дискурсивных практиках носителей русского языка подлежат обязательному приобщению к исконно русским моделям языковой концептуализации мира, ценностным приоритетам и коммуникативно-прагматическим установкам, т.е. того, что несколько нетерминологично можно именовать «русский взгляд на вещи». Иными словами, заимствованные элементы, изначально являясь знаками чужой культуры и даже на формальном уровне сохраняя внешние маркеры «чужести», становятся, по сути, принадлежностью «русского мира».

При этом культурная апроприация иноязычных элементов имеет вполне отчетливые фонетические и орфоэпические, семантические, лексические, словообразовательные, грамматические, функционально-стилистические признаки, по которым можно диагностировать степень культурной апроприации того или иного инновационного образования с иноязычными строевыми элементами. В наших работах эти признаки именуются параметрами, которые выделяются на разных уровнях системы языка и в разных сферах ее функционирования. Так, например, на **уровне лексико-семантическом** в число этих параметров входит «идиоматичность» как наличие смысловых и эмоционально-оценочных приращений, в сравнении с языком-источником; «скрытая предикторность» модусно-диктумного характера (смысловая двуплановость, совмещающая обозначение предмета и точки зрения на него). На **уровне словообразовательном** характерным параметром культурной апроприации является вовлеченность в типично русские модели словообразования, в том числе экспрессивного. На **уровне грамматическом** в качестве параметра рассматривается грамматическая

оформленность по законам русской морфологии (утрата несклоняемости, категоризация по роду, пассивизация, безличность и пр.).

В настоящей работе нас интересуют параметры **на уровне коммуникативно-дискурсивном**, которые находят свое выражение в актуализации какой-либо национально-культурной установки говорящих (эмпатия, чрезмерная гиперболизация, гипертрофия оценочности, ориентация на духовный идеал, ироническое «остранение» карнавального типа и пр. – подробнее об этих установках см., например, [Вежбицкая 1996; Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005]) в различных речевых ситуациях. В качестве рефлексов культурной апроприации заимствований на уровне коммуникативно-дискурсивном выступают механизмы расширения изначально специализированной сферы их употребления и переноса моделей их дискурсивной реализации в другие, уже неспециализированные сферы.

Согласно нашей концепции, именно изменения коммуникативных условий функционирования новообразований на базе иноязычных элементов являются существенным диагностическим признаком их аккумуляции, инкорпорации в «русский мир». Речь идет о том, что, изначально возникнув в роли единицы, заполняющей определенную концептуальную или культурную лакуну, лексема с заимствованным элементом употреблялась, соответственно, лишь в одной специализированной сфере: *глумур* – в сфере модных тусовок и глянцевого журнального, *экслюзив* – в сфере бизнеса, маркетинга и рекламы, *троллить* и *забанивать* – в сфере интерактивной неформальной Интернет-коммуникации в социальных сетях. На стадии концептуального освоения по моделям и принципам русских способов смотреть на вещи иноязычное по происхождению явление приобретает смысловую двуплановость и идиоматичность и, благодаря этому, получает возможность перейти на высшую, мотивационно-прагматическую и коммуникативно-дискурсивную стадию – оно используется уже в других сферах коммуникации, изначально уже никак не связанных с ее стандартным значением и типами употребления в языке-источнике.

Например, неолексемы *пиарить*, *пиарщик*, *пиарный* и под., сферой употребления которых изначально была коммуникативная среда политехнологий, маркетинговых коммуникаций и массмедиа, сегодня значительно расширяет область применимости:

*Как **распиарить** сарай на TripAdvisor?¹;*

¹ Здесь и далее приведены примеры из Интернета. Орфография и пунктуация сохранена.

Пиарные объявления в стихах и прозе! Стишки о собачках и кошках! Бесплатно, естественно!!

Аналогичным образом существенно расширяют изначально узкие области своей применимости неолексемы словообразовательного гнезда *гламурный, эксклюзивный* и под. – об этом подробнее см. в работах [Кронгауз 2008; Северская 2011].

Наиболее показательны в этом плане инновации, которые изначально обозначают явления, ситуации или действия, возможные только в сфере компьютерных технологий или в среде Интернета. По моделям концептуальной метафоризации в духе Дж. Лакоффа и М. Джонсона [Лакофф, Джонсон 2004] данные лексемы получают возможность номинировать явления, ситуации или действия в сферах, не связанных с компьютером или Интернетом, т.е. виртуальная реальность приходит в реальность актуальную.

Несколько ранее указанные процессы коммуникативно-дискурсивного освоения начались для компьютерных жаргонизмов, первоначально обозначавших особенности работы или неисправности в функционировании устройства или программного обеспечения.

Это прежде всего глагольное гнездо на базе *висеть (виснуть, зависнуть, подвиснуть* и под.) с семантикой ‘прекратить работу, переставать реагировать на внешние раздражители, попадать в неотвечающее состояние (для компьютерного устройства, мобильного телефона и под.)’. Уже более двадцати лет назад эти слова стали расширять свою сферу применения посредством метафорического эмоционально-экспрессивного обозначения разнообразных состояний человека:

Иногда человек «зависает». Ну знаете, как у компьютера бывает – пауза на несколько секунд, и ни на что не реагирует? вот так же.

Здесь слово обозначает состояние человека, от неожиданности, усталости, болезни или иных причин переставшего реагировать на внешние раздражители.

Аналогично ведет себя компьютерный жаргонизм *глючить*, первоначально означавший ‘работать со сбоями, сбоить (для компьютера, мобильного телефона или программы)’. Однако, как и *висеть*, слово расширило круг ситуаций, в которых стало возможно его употребление, применительно к оценке состояния человека или иного живого существа, как правило, негативной:

Другой мальчик, сам побывавший в той самой больнице, долго колебаясь, все же решил рассказать о том, как лечат неудобных детей: «Пятеро детей из нашего детдома там уже побывали. С каким диагнозом мы туда попадаем, я не знаю, но лечат нас всех одинаково: три раза в

*день – аминазин плюс еще по две-три таблетки. Они отключают мозг, ты ничего после них не хочешь – ни есть, ни гулять, ни играть, только спать. Но спать можно только ночью или в тихий час. Там тупеешь. Мне повезло, я там пробыл всего четыре месяца, а есть, кто по полгода живет там и больше. Чем больше там находишься, тем больше ты потом **глючишь**, когда вернешься. <...>»¹.*

Здесь слово употреблено для описания состояния, при котором некорректно, неадекватно работают основные механизмы сознания человека – в результате приема лекарств и иных методов лечения психических заболеваний.

*«Жара приходит и уходит, а вот мозг и способность думать должна быть всегда. Но иногда соображалку начинает жестоко **глючить** с неприятными последствиями. Один из самых последних примеров: внезапно случившийся дефицит гречки. Ничем логически не обоснованный масовый психоз», – размышляет ta-ulibka².*

Здесь слово употреблено для эмоционально-экспрессивного описания состояния временного помутнения сознания человека – отупения, потери памяти, ориентации и пр.

*«Цобакен сломался. Отключили лифт, а пес забыл, как пользоваться лестницей, в итоге совсем **заглючил**» и застрял, пока не был развернут на 180», – признался владелец питомца. Об этом сообщает Рамблер³.*

Здесь это слово применено для описания состояния пса, который перестал соображать в неожиданной для него ситуации.

В наши дни указанные процессы коммуникативно-прагматической аккультурации активны для другого кластера инновационных явлений на базе иноязычных компонентов – для специализированной лексики, обозначающей разные аспекты неформального Интернет-общения.

Покажем это на примере глагола **заспамить**, который в жаргоне пользователей сети первоначально имел довольно узкое, специализированное значение: 'направить в чей-либо адрес большие объёмы мусорной электронной почты (спама) не с целью собственно рассылки этой почты, а с целью создания неудобств данному адресату'.

Однако в языке Интернета находим примеры семантического расширения этого значения и переноса его в среду реальных взаимодей-

¹ Директор детдома в Софьино упекает неугодных детей в психбольницу // Росбалт: Новостной портал.

² Есть ли жизнь без гречки // РИА Новости: Информационный портал.

³ Вызывайте экзорциста: забавные реакции питомцев в Instagram // Рамблер.ру: Информационно-поисковый ресурс.

ствий людей. Так, в примере из текста сообщения на Официальном портале Верховной Рады Украины читаем: «**Заспамить** Верховную Раду Украины не позволю никому, каковы бы ни были его политические цели», – *Председатель Верховной Рады Андрей Парубий*.

Дальнейший контекст свидетельствует, что данное словоупотребление имеет более широкое значение, номинирующее область документооборота проектов законов и законодательных актов: *Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета в понедельник заявил, что одним из ключевых предостережений Миссии Кокса по реформированию работы Верховной Рады является то, что в парламенте есть «законодательный спам» – то есть тысячи законопроектов регистрируются, но большинство из них не попадает на рассмотрение из-за их непрофессиональной подготовки, а иногда и откровенный популизм*¹.

Нетрудно видеть, что здесь словоупотребление **заспамить** обозначает что-то вроде ‘направить в парламент на рассмотрение чрезмерно большое количество ненужных, неподготовленных и непрофессиональных законопроектов, тем самым отвлекая сотрудников от решения реальных проблем и мешая нормальной работе’. Уже само наличие такого объемного перифрастического толкования этого словоупотребления как раз свидетельствует о том, что использование одной емкой и оценочно-экспрессивной номинативной единицы, чтобы выразить требуемый развернутый комплекс смыслов, в данном контексте вполне уместно и оправдано с коммуникативно-прагматической точки зрения.

О том, что существует именно модель метафорического переноса данного словообозначения из сферы Интернет-коммуникаций в сферу реальной жизни, свидетельствуют и другие примеры:

[Заголовок] *Московское метро хочет «заспамить» пассажиров рекламой*. [Текст] *Руководство столичной подземки намерено использовать проезды в качестве рекламных носителей*².

Здесь **заспамить** метафорически означает ‘каузировать размещение и дальнейшее распространение ненужной информации на не приспособленных для этого носителях’, в нашем случае – размещение рекламной информации на билетах для проезда в метро, которое оценивается как дорогое, малоэффективное и раздражающее потенциальных потребителей (покупателей билетов).

¹ Верховная рада Украины: Официальный веб-портал.

² СЕГМЕНТ: Отраслевой ресурс индустрии сувениров и подарков.

Аналогично – *игнорить*, *флудить*, *банить* и *троллить*, например, теперь тоже можно встретить не только в Интернет-пространстве.

Игнорить: ‘намеренно, автоматически, с помощью программных средств (специальной ссылки) исключать нежелательного собеседника (в программах онлайн-общения, форумах, чатах)’:

«Нафтогаз» жалуется, что «Газпром» «игнорит» исполнение решения Стокгольма¹.

Здесь слово используется в расширительном значении ‘намеренно не замечает, игнорирует’ в целях усиления экспрессии и подстройки под специфику аудитории Интернета.

Флудить (от искаженного произношения английского *flood* – звучит как [fl^d] ‘поток, наводнение’): ‘размещать большое количество ненужной информации в процессе общения в сети, информации, как правило, бессмысленной и не соответствующей теме’:

Оказалось, баблo туда влупили, центр попытались передать в область, на балансе он не стоит... Изначально там то ли воровская схема, то ли некомпетентность... Я с таким бардаком, если честно, первый раз встречаюсь. Как так: влупить деньги в основные фонды и не поставить их на баланс? И бегают там всякие жарковы, чего-то флудят: я был в Париже, я был в Лондоне... Слышь, ты хотя бы как в Москве сделай!².

Сын Джона Стоктона Майкл в прошлом году сыграл в Летней Лиге НБА в Орландо. Сыграл, естественно, в форме «Юты Джаз» на позиции разыгрывающего с единичкой и двойкой на спине. В эксклюзивном интервью блогу «ДК и АС флудят про «Джаз» Стоктон-младший рассказал о главном – баскетболе, «Юте» и семье³.

В данных примерах значение слова **флудить** метафорически расширяется до предельно обобщенного ‘нести ерунду, говорить не по делу, бессмысленные вещи и под.’

Забанить: ‘заблокировать, установить в софте форума, блога или т.п. запрет на сообщения определенного участника’:

[Заголовок] *На Украине Льва Толстого «забанили» за «агрессорску мову».* [Подзаголовок] *В Хмельницком запретили постановку «Анны Карениной» театра-студии из Киева⁴.*

¹ «Нафтогаз» жалуется, что «Газпром» «игнорит» исполнение решения Стокгольма // Деро.ua: новостной портал.

² Новосибирск в пробках. «Мэрия, где АСУДД? Где 200 миллионов?» // Сибкрай. ru: Новостной портал.

³ Майкл Стоктон: «После поражения от “Чикаго” в финале НБА отец долго меня успокаивал» // Sports.ru: Информационный портал.

⁴ КП-Нижний Новгород online.

Здесь также имеется модель метафорического переноса, расширяющего сферу применимости глагола **забанить**, в результате чего он приобретает эмоционально окрашенное значение 'не разрешить, запретить'.

Троллить: 'размещать в Интернете (на форумах, в дискуссионных группах, в вики-проектах, ЖЖ и др.) провокационные сообщения с целью вызвать конфликты между субъектами, взаимные оскорбления и т.п.'¹:

[Тема на форуме] Как **троллить** жену / девушку?

Телеканал RT стал **троллить** США из-за статуса иноагента¹;

*«Когда у оппозиции не хватает голосов заблокировать прохождение закона, она начинает затягивать его принятие. То есть **троллить**», – объяснил парламентарий, подразумевая, что «Единая Россия» может принять законопроект без учета мнения оппозиции, поскольку имеет большинство мест в Госдуме²;*

*Forbes: русским надо прекратить **троллить** США;*

У русских всегда была одна слабость: они любят позлить Соединенные Штаты. В основном они делают это тогда, когда разговор заходит о двойных стандартах и о предполагаемом лицемерии. В таких ситуациях они просто не могут смолчать, хотя конечный результат обычно оказывается катастрофическим, ставя всех в неловкое положение. Джулиан Ассанж, Эдвард Сноуден: нет такого объявленного в розыск Америки человека, которого русские не поддержали бы словесно либо материально³;

*Фанаты «ПСЖ» **затроллили** Жерара Пике, придя на матч в майках с надписью «Остается»⁴.*

Модель метафорического расширения значения глагола **троллить** приводит к возможности использовать его в самых разнообразных жизненных (как официальных, так и бытовых) ситуациях с общим оценочно-экспрессивным значением 'задевать, выводить из себя, оскорблять'.

Концептуальное освоение данного иноязычного слова еще раз подтверждается возможностью использовать его экспрессивный потенциал для смены знака оценочности, т.е. в позитивно-оценочном регистре:

*Удивлять, по-хорошему **троллить**, нести позитив, быть источником не проблем, а решений. Во фронт-офисе B2B-конторы не сидят с уны-*

¹ Известия: Информационный портал.

² Справоросы устроят в Госдуме итальянскую забастовку // LENTA.RU: Информационный портал.

³ Эквадору понадобится несколько месяцев на принятие решения по Сноудену // РИА Новости: Информационный портал.

⁴ Телеканал ЕВРОСПОРТ: Официальный сайт.

лым и скучным лицом, даже если речь идет об уникальнейшей, не имеющей аналогов услуге. Те, кто думает, что B2B – это скучно – покидают пляж¹.

Здесь лексема *троллить* использована в значении ‘постоянно проявлять активность и инициативность в работе с людьми’.

Подводя некоторые итоги, отметим, что все указанные примеры демонстрируют коммуникативно-прагматические рефлексы культурной апроприации заимствований, которые заключаются в ослаблении специализированного номинативного значения, которое посредством модели семантического расширения приобретает предельно общий экспрессивно-оценочный смысл непредметного характера, позволяющий употреблять данные глаголы в самых разнообразных коммуникативных условиях, в качестве оценочной реакции на самые разнообразные ситуации. Приобщение новообразований с иноязычным компонентом к фонду оценочной лексики общего характера способствует расширению экспрессивных возможностей русского языка, т.е. в конечном итоге служит его обогащению и развитию.

Заметим также, что эти и многие другие подобные неолексемы не только изменили условия коммуникации, расширив сферу своего употребления за пределы Интернет-коммуникации, они еще и вписались в типично русские модели языковой концептуализации мира. Еще в работах А. Вежбицкой отмечалось, что яркой чертой русской грамматики является экспансия пассивно-возвратных и безличных конструкций, которые выражают так называемой «феноменологический» взгляд на мир, когда событие, состояние, действия происходят с субъектом *как бы само собой* – или по крайней мере «не потому, что он этого хотел», пользуясь выражением А. Вежбицкой [Вежбицкая 1996]. Культурная апроприация иноязычных корней в русской грамматике как раз и проявляется активным вовлечением их в разнообразные синтаксические модели пассивизации и имперсонализации. Прежде всего это касается распространенности безличных форм глагола:

Заключило сигнализацию, *орет под домом*, *машина не заводится*, *с брелка снять не могу*, *батарейки поменяла*. *Вопрос: что это может быть? Помогите*²;

*И так когда я захожу в игру вылезает реклама самого чита, там автор и т.к, я боюсь что зайду в самп и меня забанят в начале запуска сампа. Помогите мне мне нужно что либо чат зафлудило чем, или убрать рекламу*³;

¹ Удивлять, по-хорошему троллить, нести позитив: как выжить на рынке B2B // RUSBASE: Официальный сайт.

² Auto-Rostov.ru: Форум Ростова-на-Дону.

³ BLASTHACK.NET: Форум игроков компьютерной игры.

Подскажите, ...можно ли ее подключить к домашнему вай-фаю так, чтоб нигде ничего не забанилось, не заблокировалось...¹;

Забанил в одном месте – забанилось везде²;

Да просто снова затроллилось и не живет спокойно!³.

Проанализированный материал еще раз продемонстрировал определенную свободу в обращении с заимствованным материалом, которая присуща отечественным дискурсивным практикам. Это свидетельствует, с одной стороны, о существенном креативном потенциале русского языка, а с другой стороны, о надежности барьеров, поставленных русской грамматикой и прагматикой на пути проникновения иноязычных и инокультурных моделей в «русский мир». В освоении заимствований русский язык ведет себя как рачительный хозяин: берет из чужого то, что ему нужно, и делает это своим. Проще говоря, вместе с иноязычным компонентом усваивается некий общий денотативный или сигнификативный слой, необходимый для заполнения имеющейся лакуны в когнитивной базе этноса или для обозначения появившейся в нашей жизни реалии: затем он подлежит обязательному концептуальному переосмыслению и эмоционально-оценочной трансформации уже в соответствии с исконно русскими моделями языкового освоения действительности, видения мира и отношения к миру. Иноязычные по происхождению элементы осваиваются и даже присваиваются современными носителями русского языка как часть их собственной, национально-специфичной естественной речевой практики.

Литература

- Вежбицкая А.* Язык. Культура. Познание / Пер. с англ.; отв. ред. и сост. М.А. Кронгауз; авт. вступ. ст. Е.В. Падучева. М., 1996.
- Демьянков В.З.* Текст и дискурс как термины и как слова обыденного языка // Язык. Личность. Текст. Сб. ст. к 70-летию Т.М. Николаевой / Ин-т славяноведения РАН; Отв. ред. В.Н. Топоров. М., 2005.
- Демьянков В.З.* Новаторство лингвистической теории и креативность речи // В пространстве языка и культуры: Звук, знак, смысл: Сб. статей в честь 70-летия В.А. Виноградова / Отв. ред. В.З. Демьянков, В.Я. Порхомовский. М., 2010.

¹ Форум игроков.

² Forum.sape.ru.

³ Форумы Germany.ru.

- Демьянков В.З.* Термин «концепт» как элемент терминологической культуры // Концепты культуры и концептосфера культурологии: Коллективная монография / Под ред. Л.В. Никифоровой и А.В. Коневой. СПб., 2011.
- Демьянков В.З.* Цивилизационные параметры когниции: лингвистика – эстетика – этика – психология – логика // Вопросы когнитивной лингвистики, № 1, 2013.
- Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д.* Ключевые идеи русской языковой картины мира: Сб. ст. М., 2005.
- Кронгауз М.А.* Русский язык на грани нервного срыва. М., 2008.
- Лакофф Дж., Джонсон М.* Метафоры, которыми мы живем: Пер. с англ. М., 2004.
- Новые тенденции в русском языке начала XXI века: Коллективная монография / Т.Б. Радбиль, Е.В. Маринова, Л.В. Рацибурская, Н.А. Самыличева, А.В. Шумилова, Е.В. Щеникова, С.Н. Виноградов / Под ред. Л.В. Рацибурской. М., 2014.
- Радбиль Т.Б.* Язык и мир: парадоксы взаимоотражения. М., 2017.
- Радбиль Т.Б., Рацибурская Л.В.* Словообразовательные инновации на базе заимствованных элементов в современном русском языке: лингвокультурологический аспект // Мир русского слова, № 2, 2017.
- Северская О.И.* Гламур, гламурь, гламурё и прочее (об истории одного из заимствований последних лет) // Вопросы культуры речи / Отв. ред. А.Д. Шмелев. М., 2011. Вып. 10.

О.В. Соколова

Особенности референции в авангардном художественном дискурсе (итальянский, русский и американский авангард)¹

Выявление специфики референции в авангардном художественном дискурсе обусловлено повышенным интересом современной лингвистики к проблеме референции в разных типах дискурса [Clark, Marshall 1981; Bower, Cirilo 1985; Демьянков 1996; Dijk van 1997; 2006; Кибрик 2003; Kibrik 2011 и др.]. Если исследования референции в аспекте дискурс-анализа преимущественно проводились на материале быденного языка, то в настоящей статье мы предлагаем использовать когнитивно-дискурсивный подход для выявления особенностей художественного дискурса, к которому относится, в частности, авангардный художественный дискурс. Такой подход позволяет выявить как языковые и дискурсивные особенности формирования референциальных связей в авангарде, так и лежащие в их основании когнитивные механизмы и процессы.

Под авангардным художественным дискурсом мы понимаем дискурс, направленный на формирование нового художественного языка посредством нарушения устойчивых конвенциональных языковых связей². В область авангардного художественного дискурса включаются произведения не только раннего авангарда, но и тексты, относящиеся к неклассической культурной парадигме, в которых в той или иной

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14–28-00130) в Институте языкознания РАН.

² Поликодовая природа авангардного дискурса, ориентированного на деиерархизацию и преодоление границ между текстом и реальностью, отдельными семиотическими кодами и литературными жанрами (подробнее см. [Poggioli 1968; Бюргер 2014]), определяет возможность включения в корпус текстов авангардного дискурса как вербальных, так и невербальных, и поликодовых текстов. При анализе текстов авангардного дискурса мы обращаемся к анализу художественных текстов и текстов, содержащих вербальный компонент, хотя ряд выявляемых особенностей характерен для авангардного дискурса в целом.

степени могут проявляться авангардные дискурсивные особенности. Базовым когнитивным механизмом авангардного художественного дискурса является перефокусирование, которое заключается в расхождении между вербализуемым и ожидаемым фокусом и в выдвигании в фокус неконвенциональных языковых элементов, когда перераспределение внимания связано с нарушением формально-смысловой связности между элементами и с необходимостью самостоятельного достраивания образа объекта. Такой процесс конструирования объекта, предполагающий наличие многочисленных вариантов значений, позволяет говорить об эвристичности и лингвокреативных основаниях авангардного художественного дискурса.

Анализ механизмов творческого наименования, противопоставленного рутинному употреблению языковых единиц, представлен в работах В.З. Демьянкова [Демьянков 2008; 2010]. «Языковая креативность» связывается В.З. Демьянковым как с раскрытием потенциальности языка, когда «рождаются новые, до тех пор не используемые резервы языковой системы» [Демьянков 2008: 220–221], так и с базовыми языковыми процессами: «В творчестве есть не только отец-“творец” – тот, кто получает лавры за творение и кому приписывается “подача”, “авторство” некоторого новшества, – но и “биологическая мать” этого новшества (в нашем случае – языковые тенденции, проявленные в нормах и правилах употребления единиц языка), а также вдохновитель (биологический отец, в нашем случае – представления о метафорическом пленении и околдовывании как причинах привлекательности). Потому-то новизна и творчество соотнесены между собой не прямо, а опосредованно» [Там же: 235].

Отмеченные условия конструирования объекта, обусловленные эвристическими принципами построения новых значений в авангардном художественном дискурсе, определяют необходимость обращения к анализу смысловых изменений и распределения внимания в языке с учетом прагматических факторов в аспекте когнитивно-дискурсивного, или когнитивно-прагматического подхода, разработанного в исследованиях Е.С. Кубряковой, Ю.С. Степанова, В.З. Демьянкова, О.К. Ирисхановой и др. Как отмечает Е.С. Кубрякова, «согласно теоретическим представлениям в этой новой парадигме, по сути своей парадигме функциональной, при описании каждого языкового явления равно учитываются те две функции, которые они неизбежно выполняют: когнитивная (по их участию в процессах познания) и коммуникативная (по их участию в актах речевого общения). Соответственно, каждое языковое явление может считаться адекватно описанным и разъясненным только

в тех случаях, если оно рассмотрено на перекрестке когниции и коммуникации» [Кубрякова 2012: 33].

Среди когнитивных операций, включающих различные формы взаимоотношения между языком и действительностью и участвующих в конструировании объекта, организации коммуникативного процесса и дискурса, наряду с дейксисом и анафорой, участвует референция. В современной теории референции, основанной на логической семантике Г. Фреге и теории дескрипций Б. Рассела, с опорой на базовые положения теории речевых актов¹ формируется понимание референции как «отнесенности актуализированных (включенных в речь) имен, именных выражений (именных групп) или их эквивалентов к объектам действительности (референтам, денотатам)» [Арутюнова 1990: 411]. При этом важно подчеркнуть дискурсивный характер анализа референции на современном этапе, когда теория референции понимается как теория употребления языка, которая «связана с целевыми установками – и в употреблении конкретных имен, и в смысле всего дискурса» [Демьянков 1996: 165]. Представление о референции не как об одностороннем действии говорящего, но как о совместном действии, являющемся аспектом выражения коммуникативного сотрудничества [Clark, Marshall 1981], оказалось значимым для лингво-прагматического подхода и дискурс-анализа. Исследование референции контекстуально обусловлено и связано с достижением коммуникативных целей, когда ее эффективность «должна главным образом повлиять на изменение модели мира слушающего, которая включает также репрезентацию модели мира говорящего» [Kronfeld 1990: 9]. Таким образом, модель референции, по А. Кронфелду, «должна описывать, как после успешной референции меняется представление говорящего о ментальной модели слушающего и представление слушающего о ментальной модели говорящего» [Там же]. Исследуя особенности референции в дискурсивном аспекте, А.А. Кибрик отмечает, что реализация референциального выбора зависит от множества факторов, включающих мотивированный выбор референциального средства, который не может быть понят в рамках внутритекстового подхода и «предопределяется когнитивным состоянием говорящего в данный момент» [Кибрик 2003: 48]. По его же замечанию из другой работы, «осуществляя референциальный выбор, говорящий может в разной степени оказать влияние на сознание адресата. Эта степень может быть описана в зависимости от выбранной

¹ Подробное изложение истории становления и развития теории референции см. [Демьянков 1996].

референциальной стратегии: эгоцентрической, оптимальной или гиперопекающей» [Kibrik 2011: 69].

Понимание референции не как однонаправленного действия отправителя сообщения, а как действия, активизирующего роли всех участников коммуникации, является значимым для исследования особенностей референции в авангардном художественном дискурсе.

Специфика поэтической референции неоднократно становилась предметом лингвистических исследований. Первым к анализу языка художественного текста, к проблеме поэтической и референциальной функций поэтического текста обратился Р. Якобсон. По мнению исследователя, специфика поэтического текста связана с тем, что «главенствование поэтической функции над референтивной не уничтожает саму референцию, но делает ее неоднозначной. Двойному смыслу сообщения соответствует расщепленность адресанта и адресата и, кроме того, расщепленность референции» [Якобсон 1975: 221]. При этом под неоднозначностью Р. Якобсон понимает свойство любого автокоммуникативного, «направленного на самого себя сообщения», что позволяет ему определить неоднозначность (*ambiguity*) как «естественную и существенную особенность поэзии» [Там же]. Анализируя особенности организации поэтического текста, Р. Якобсон также говорит о характерной для такого типа текстов тенденции к приравниванию компонентов: «Сходство, наложенное на смежность, придает поэзии ее насквозь символический характер, ее многообразие, ее полисемантическую» [Там же: 220]. Такие свойства поэтического текста обуславливают особенность его референции, которая выражается через связь звуковой формы слова и окружающего контекста. Референция здесь понимается как набор связей на уровне внутренней синтагматики текста, но не включает отношения с объектами реальности или коммуникативные аспекты.

Работы Р. Якобсона в области анализа поэтического языка и текста повлияли на интерес к поэтическому дискурсу и поэтической референции у Э. Бенвениста. В архивных заметках ученого, которые были опубликованы недавно [Benveniste 2011], отдельное внимание уделяется выработке методологии анализа дискурсивных, референциальных и семиотических особенностей поэзии. Согласно Э. Бенвенисту, поэтическая референция представляет собой, с одной стороны, контекстуальные связи между знаками поэтического текста, формируясь «внутри плана выражения»: «Поэт *строит* свой язык и свои высказывания, даже когда он пользуется элементами обыденного языка. Ведь когда он складывает слова в стихотворение, он *одновременно создает и референцию*, к которой отсылают его выражения. В поэзии референция ра-

ботает *внутри* плана выражения, тогда как *в прозе* она находится *вне* плана выражения, будучи реальностью (внешней или ноэтической) общей для всех нас» (цит. по [Фещенко 2018]). С другой стороны, в отличие от обычной референции, отсылающей к общеизвестным объектам экстралингвистической действительности, «референт в поэзии располагается не во внешнем мире вещей, а во внутреннем мире поэта, или, скажем иначе, в мире вещей, отраженном сознанием поэта, т.е. его опытом» [Там же], что позволяет говорить о его автореферентности: «Дискурс обыденного языка *находит свой смысл вне самого себя*, так как устанавливает соотношение между двумя участниками коммуникации и отсылает к “внешнему миру”. Дискурс поэтический *обнаруживает смысл в самом себе*, так как “смысл” отсылает к поэтической форме» [Там же].

Вслед за Р. Якобсоном такое понимание референции поэтического текста разрабатывается М. Риффатером, который отмечает, что поэтическая референция – «это не отсылка от менее известной реальности к более понятной, но от одного странно звучащего слова к другому» [Riffaterre 1983: 22]. Используя различные аналитические приемы (такие, как замена реальных названий деревень именами из телефонной книги в тексте Золя или выявление референциальных связей между номинациями в стихах Бодлера и литературными клише готических новелл), М. Риффатер показывает, что в случае с Золя такая модификация референции по отношению к реальности никак не повлияла на миметические связи между текстом и реальностью, а на примере Бодлера делает вывод о том, что здесь мы имеем дело с изменением референциальной функции, которая является не причиной поэтического значения, но его результатом [Там же: 30]. Семантика поэтического текста «*по оси означивания представляет собой горизонталь*», а референциальная функция осуществляется от одного знака к другому: «референция заключается в восприятии читателем определенных знаков как вариантов единой структуры» [Там же: 36]. Развивая отмеченный выше тезис Р. Якобсона о том, что «примат поэтической функции над референциальной не уничтожает референцию, но делает ее неоднозначной», и объясняя веденное им понятие «расщепленной референции» [Якобсон 1975], П. Рикёр отмечает, что отказ от «обыденной» референции в поэзии становится основанием для формирования метафорического смысла, но этот отказ включает негативные коннотации: «Отмена референции, присущей обыденному языку, есть отрицательное условие возникновения более радикального способа смотреть на вещи, независимо от того, родственна ли она выявлению того пласта реальности, который феноменология называет предобъектным и ко-

торый, по Хайдеггеру, образует общее основание всех способов нашего существования в мире» [Рикёр 1990: 427]. Феномен коммуникативной и референциальной неопределенности, лежащий в основе художественного текста, влияет как на восприятие адресата, так и на структуру художественного дискурса.

Если в работах Р. Якобсона и М. Риффатера формируется понимание поэтической референции как внутритекстовой связи между синтагматическими элементами и выявляются особые формы взаимодействия поэтической и референциальной функций, то другая точка зрения формулируется в статье Дж. Сёрля, где художественный дискурс и художественная референция получают определение «вымышленных» (*fictional*) и оцениваются автором как отклонение от «серьезного» (*serious*) дискурса и референции [Searle 1975].

Альтернативная по отношению к рассмотренным выше точка зрения выражается в статье Н.И. Балашова: выстраивая две схемы, на которых представлено противопоставление обычной референциальной связи и референциальной связи в поэзии, он утверждает, что помимо горизонтальных связей между знаками, выделенных Риффатером, нельзя отрицать и вертикальную референциальную связь с действительностью [Балашов 1984: 162]. Он расширяет область объектов, к которым может быть осуществлена поэтическая референция, утверждая, что, поскольку в референте «диалектически соединены бытие и формы его понятийного, художественного, мифологического освоения», «референтом речевого и поэтического знака могут выступать не только предметы, их классы или содержательные понятия о них, но и абстракции – такие, как “белизна”, “отношение”», персонажи литературных произведений, мифологические герои и т.п.; референтами поэтических знаков и систем могут также выступать философские, идеологические и религиозные системы [Там же: 165–166]. Таким образом, расширение области референтов, не сводимых к конкретным объектам, позволяет автору сделать вывод об особом статусе поэтической и художественной референции и расширить представление о связях поэтического текста и действительности.

В современной отечественной лингвистике проблема поэтической референции обретает все большую актуальность. О.Г. Ревзина вводит термин «вторичная множественная референциальная соотнесенность», основанный на понимании особой реализации референциальной ситуации в поэтическом тексте, которая происходит в сфере собственно языкового существования, когда языковая форма оказывается первичной формой материального воплощения референции. Таким образом,

«не будучи исходно связанной ни с одним фрагментом неязыковой действительности, стихотворение приобретает способность соединяться с множеством таких фрагментов, если в них представлено то же “положение дел”» [Ревзина 1990: 31]. Развивая концепции П. Рикёра и ряда других исследователей художественной референции, Н.А. Фатеева называет «интимной» поэтическую номинацию и сам процесс поэтической референции [Фатеева 2010: 33]. Специфика референции, производящейся в ходе художественной коммуникации и относящейся к художественной реальности, которая порождается самим художественным текстом и существует только в ходе этой коммуникации, анализируется А.Д. Шмелевым [Шмелев 2002: 241–242]. Подробное исследование особенностей поэтической автореференции осуществляет О.И. Северская, классифицируя следующие приемы, формирующие восприятие поэтической ситуации как «непосредственно наблюдаемой», которые включают «непосредственное введение в ситуацию <...> с помощью “указующего звука”»; «введение в текст непосредственной отсылки к референту»; «прямое ее <коммуникативной ситуации – О.С.> именование, вводящее в пресуппозицию поэтического высказывания фрейм его интерпретации» и «непосредственное введение читателя в коммуникативный контекст высказывания» [Северская 2010].

Референция в авангардном художественном дискурсе имеет некоторые отличия от поэтической и художественной референции вообще, что связано с отмеченными выше особенностями этого типа художественного дискурса. В авангарде референция к действительности позволяет актуализировать связь художественного текста с реальностью, отражая общую интенцию на преодоление границ между текстом и реальностью, взаимодействие разных дискурсов, поликодовость и полижанровость. Среди особенностей авангардной референции можно выделить такие, как *преодоление референциального разрыва и референциальный сдвиг*.

Преодоление референциального разрыва связано с тенденцией авангарда к максимальной объективации знака и установке на слияние слова (знака) и объекта в реальной действительности. Такое преодоление разрыва между словом и реальностью, к которому стремятся авангардисты, связано с тем, что нормативное употребление слова привело к утрате всякой связи с реальностью в силу «захватанности» и «стертости» слов. Примерами таких текстов-объектов с преодолением референциального разрыва являются: «Книга на болтах “Футурист Деперо”» (*Libro imbullonato*) Ф. Деперо и Ф. Адзари, представляющая собой альбом работ Деперо, скрепленных огромными металлическими болтами; «ready-

mades» М. Дюшана, в которых обыденный предмет наделяется эстетической функцией; поэзия объективистов с их концепцией «объективации» (*objectification*) и т.д. В этом плане известное высказывание Крученых: «Мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного <...> Лилия прекрасна, но безобразно слово лилия захватанное и “изнасилованное”. Поэтому я называю лилию *еуы* – первоначальная чистота восстановлена» [Крученых 2001: 17], может быть понято как направленность на максимальную объективацию и материализацию знака с целью реанимации искусственной, «безжизненной» и созданию новой, «чистой» реальности, что достигалось в авангарде посредством языкового эксперимента со словом и «расширением» словаря.

Ярким примером объективации знака и преодоления референциального разрыва является творчество итальянского поэта Г. Д'Аннунцио, соединившего в формате собственной жизни типы разных ролевых субъектов (поэт, драматург, летчик, революционер, политик и т.д.), преодолевшего границу между художественной и эмпирической реальностью, реализовавшего в своих политических проектах сюжетные линии собственных более ранних драм и поэм. Среди примеров слияния слова и объекта в его творчестве можно назвать совершенную в 1918 г. аэро-поэтическую операцию «Полет над Веной», когда Д'Аннунцио, возглавив эскадрилью итальянских ВВС, отправился из Венеции в Вену с целью разбрасывания над столицей Австро-Венгрии пропагандистских листовок-манифестов, представляющих поэтический призыв к австриякам прекратить войну: «На ветре победы, которая взлетает из рек свободы, мы не несем ничего, кроме радостной смелости, мы не несем ничего, кроме доказательства того, что мы могли бы осмелиться и сделать, когда захотим, и в тот час, который мы выберем» (цит. по [D'Annunzio e Trieste 2003]). Другим примером организации референциальных связей, направленных на преодоление границ между текстом и реальностью, является такое уникальное «тотальное произведение искусства» (*Gesamtkunstwerk*) как республика Фьюме, получившая обозначения «Города Жизни», «Порта Любви» и «Республики Красоты», которая впервые в истории была возглавлена и управлялась поэтом¹.

¹ Предысторией республики Фьюме стало недовольство итальянцев мирным договором, подписанным после Первой мировой войны и возможность потери г. Фьюме, статус которого оказался спорным, поскольку на него претендовало также Королевство сербов, хорватов и словенцев. Не согласный с возможностью такого решения и одержимый гарибальдийскими идеями итальянского Рисорджименто, с целью возрождения национального и территориального см. на следующей странице

Объявленная Д'Аннунцио республика Фьюме может быть интерпретирована как поликодовый текст, построенный по модели «тотального произведения искусства», в структуре которого, с одной стороны, реализуются принципы преодоления эстетических барьеров, проявляющиеся через синтез искусств, что связано с вектором развития романтической традиции в начале XX в.; с другой стороны, проект Фьюме маркирует преодоление романтической-символистской традиции, поскольку основной прагматико-эстетической интенцией Д'Аннунцио является создание нового языка и нового государства, т.е. кардинальное обновление категорий текста и реальности как таковых. В структуре республики-текста реализуется установка на преодоление границ между художественной и эмпирической реальностью и на междискурсивное взаимодействие (художественный и политический дискурсы), что выражается через разработку комплекса таких текстов-объектов как Конституция и манифесты, написанные в поэтической форме, ритуальные практики (ежедневные театрализованные выступления с балкона перед народом) и политические жесты (римский салют).

Другой особенностью авангардной референции является *референциальный сдвиг*, т.е. формирование двойных связей именной группы с объектами эмпирической и художественной реальности и «сдвиг» от одного референта к другому, позволяющий нарушить стандартную форму презентации и интерпретации сообщения.

Для понимания специфики *референциального сдвига* необходимо обратиться к термину «двойная референция», введенному в работах Е.С. Кубряковой для описания свойства производных слов: это «референция к миру действительности, типичная для класса слов вообще, и референция к миру слов, типичная для вторичных единиц номинации» [Кубрякова 1981: 10]). Например, область референции названия *черника*, помимо того, что речь идет о ягоде, может быть определена отсылкой к слову *черная* [Там же: 9].

В случае *референциального сдвига* значение языковых единиц, отсылающих к объекту в реальной действительности, который относится, например, к рекламному дискурсу, подвергается «остранению», одно-

см. на предыдущей странице единства итальянской нации 12 сентября 1919 г. Д'Аннунцио вместе с 2500 солдатами въехал в Фьюме на красном «Фиате», приветствуемый овациями местного населения. Это триумфальное мирное «взятие» города получило название «Святой Везд». Д'Аннунцио объявил Фьюме независимой республикой, «освобожденной» от власти итальянского государства и от иностранной интервенции. Республика просуществовала с 12 сентября 1919 г. до конца декабря 1920 г.

временно обозначая объекты в реальной действительности (вывески, названия фирм) и в художественной реальности (элементы лирического сюжета), что создает эффект наложения разных реальностей и «сдвига» отдельных их элементов:

Мама.

Если станет жалко мне

вазы вашей муки,

сбитой каблуками облачного танца, –

*кто же изласкает **золотые руки,***

***вывеской заломленные у витрин Аванцо?** [Маяковский 1955: 47].*

Причастная конструкция *золотые руки, вывеской заломленные у витрин Аванцо* позволяет акцентировать пластичность объекта, замершего в статике, останавливая линейное развитие времени. Двойная референциальная соотношенность формируется за счет одновременной отсылки к объекту в эмпирической реальности (фигура на вывеске магазина художественных изделий «Avanzo Daziago») и в поэтическом тексте, объект которой выражен в сакральном образе Матери, воплощающем страдание и всепрощение. Образ заломленных рук и мотив мучения позволяет говорить об аллюзии, отсылающей к христианским иконографическим сюжетам Оплакивания Христа и Пьеты.

Важно подчеркнуть, что в отличие от референции к объектам реальной действительности, характерной для не-авангардных текстов (например, Медный всадник или замок Иф), в авангарде в основе референции лежит отмеченный выше когнитивный механизм перефокусирования, который реализуется через расхождение между вербализуемым и ожидаемым фокусом и выдвигание в фокус неконвенциональных языковых элементов, что приводит к необходимости самостоятельного достраивания образа объекта (в отличие от классического текста, когда прямая или непрякая номинация объекта не связана с прагматической ориентацией на затруднение восприятия).

Контрастное столкновение рекламного и иконографического кодов усиливает трагизм, выражая мессианское мироощущение лирического субъекта и оказывая активное воздействие на адресата:

Я, чувствуя платья зовущие лапы,

в глаза им улыбку протиснул; пугая

*ударами в жезь, хохотали **арapy,***

***над лбом расцветивши крыло попугая** [Маяковский 1955: 33].*

Непрямая номинация вывески над магазином чая и кофе формирует референциальный сдвиг – от соотнесенности с рекламным объектом (вывеска с изображением арапа с попугаем) к связи с художественным объектом, отсылающим к актуальному для искусства Серебряного века африканскому тексту (*огни обручали браслетами ноги, платья зовущие лапы*).

Можно проследить сходство референции в текстах Маяковского и Ф. О’Хары, что связано с влиянием художественного языка русского футуриста на формирование урбанистической поэтики американского поэта. В названии текста «Второе авеню. Памяти Владимира Маяковского» (“Second Avenue. In memory of Vladimir Mayakovsky”) О’Хары артикулируется установка на интертекстуальный диалог с Маяковским, связь с поэтикой которого прослеживается также на референциальном уровне:

*I must bitterly reassure the resurgence of your complaints
for you, like all heretics, penetrate **my glacial immodesty**,
and I am a nun trembling before the microphone
at a movie premiere while a tidal wave has seized the theatre
and borne it to Siam, decorated it and wrecked its projector.
To what leaf of fertility and double-facedness owe I
my persistent adoration of your islands, oh shadowed flesh
of my smiling? I scintillate like a **glass of ice**
and it is all for you and the boa constrictors who entertain
your doubts with a scarf dance called “**Bronx Tambourine**”*

[O’Hara 1995: 140].

Название “Bronx Tambourine” как отсылает к реальному танцу с шарфом под звуки тамбурина, возникшему в Бронксе, что позволяет ввести в текст дополнительный пластический код, так и маркирует введение еще одного кода – кинематографического. Как известно, О’Хара принимал активное участие в создании фильмов битников (т.н. “Beat cinema”). Например, известно о его участии в создании фильма “The Guns of the Trees” (реж. Й. Мекас, 1961), где в третьей части сценария О’Хара обращается к А. Гинзбергу посредством субтитров с пожеланием: «Аллен, хотел бы я оказаться с тобой на окраине, исполняя “Тамбурин Бронкса”» [Hampson, Montgomery 2010: 177]. Включение кинематографического кода прослеживается и ранее в тексте: *I am a nun trembling before the microphone / at a movie premiere*, маркируя значимость постоянных сдвигов для поэтики О’Хары с помощью включения разных кодов и переходов между эмпирической и художественной реальностью.

Здесь же возникает отсылка к объекту в художественной реальности: *I scintillate like a glass of ice*, упомянутому выше в тексте: *my glacial immodesty*. Лед и стекло в поэзии О'Хары маркируют прозрачную, обнаженную телесность самого субъекта или описываемого объекта (ср. *My love is coming in a glass / the blood of the Bourbons* [О'Нара 1995: 212]). Проницаемость льда и стекла позволяет поэту преодолеть границу между субъектом и адресатом, я и ты, создавая сдвиг между первым и вторым лицом: *I scintillate like a glass of ice / and it is all for you*. Такая неоднозначность, выражающаяся посредством референциального, семиотического и дейктического сдвига, определяет поэтику О'Хары.

Таким образом, исследование особенностей референции в авангардном художественном дискурсе позволяет выявить языковые и дискурсивные особенности авангарда, включающие как черты, характерные для художественного дискурса в целом (автореференциальность, связанная с особой формой референции в поэтическом тексте, которая происходит в сфере самой системы языка и ограничивается набором связей на уровне внутренней синтагматики текста, не всегда включая отношения с объектами реальности или коммуникативные аспекты), так и обусловленные особой прагматикой авангарда специфические особенности. Среди особенностей авангардной референции выделяются преодоление *референциального разрыва* (например, в «Книге на болтах “Футурист Деперо”» Ф. Деперо и Ф. Адзари, в аэро-поэтической операции «Полет над Веной» и в республике Фьюме как «тотальном произведении искусства» Д'Аннунцио) и преодоление *референциального сдвига* (например, в текстах В. Маяковского и Ф. О'Хары).

Литература

- Арутюнова Н.Д. Референция // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Балашов Н.И. Проблема референтности в семиотике поэзии // Контекст. 1983. Литературно-теоретические исследования. М., 1984.
- Бюргер П. Теория авангарда. М., 2014.
- Демьянков В.З. Референция // Краткий словарь когнитивных терминов / Под общей ред. Е.С. Кубряковой. М., 1996.
- Демьянков В.З. Творческое и рутинное употребление эпитетов красоты: Аттрактивы // Творчество вне традиционных классификаций гуманитарных наук. М.; Калуга, 2008.

- Демьянков В.З. Новаторство лингвистической теории и креативность речи // В пространстве языка и культуры: Звук, знак, смысл: сб. ст. в честь 70-летия В.А. Виноградова. М., 2010.
- Кибрик А.А. Анализ дискурса в когнитивной перспективе: Дисс. ... докт. филол. наук. М., 2003.
- Крученых А. Стихотворения, поэмы, романы, опера. СПб., 2001.
- Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. Семантика производного слова. М., 1981.
- Кубрякова Е.С. Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когнитивной лингвистики // Кубрякова Е.С. В поисках сущности языка: когнитивные исследования. М., 2012.
- Маяковский В.В. Полное собрание сочинений в 13 т. Т. 1. М., 1955.
- Резина О.Г. От стихотворной речи к поэтическому идиолекту // Очерки истории языка русской поэзии XX в. Поэтический язык и идиостиль. М., 1990.
- Рикёр П. Метафорический процесс как познание, воображение и ощущение // Н.Д. Арутюнова, М.А. Журинская (ред.) Теория метафоры. М., 1990.
- Северская О.И. Актуализация поэтического высказывания // Мир лингвистики и коммуникации. Тверь, 2010. № 4 (21).
URL: http://tverlingua.ru/archive/21/content_21.htm
- Фатеева Н.А. Синтез целого. На пути к новой поэтике. М., 2010.
- Фещенко В.В. Эмиль Бенвенист – теоретик поэтического дискурса // Критика и семиотика, № 2, 2018 (в печати).
- Шмелев А.Д. Русский язык и внеязыковая действительность. М., 2002.
- Якобсон Р.О. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «За» и «Против». М., 1975.
- Benveniste E. Baudelaire. Paris, 2011.*
- Bower G.H., Cirilo R.K. Cognitive Psychology and Text Processing // Handbook of Discourse Analysis. Vol. 1. London; NY., 1985.*
- Clark H.H., Marshall C.R. Definite reference and mutual knowledge // Elements of discourse understanding. Cambridge, 1981.*
- D'Annunzio e Trieste: nel centenario del primo volo aereo. A cura di A. Andreoli. Roma, 2003.*
- Dijk T. van What is political discourse analysis? // Belgian Journal of Linguistics. 1997. Vol. 11. Issue 1.*
- Dijk T. van Ideology and discourse analysis // Journal of Political Ideologies. 2006. Vol. 11. Issue 2.*

- Hampson R., Montgomery W.* Frank O'Hara Now: New Essays on the New York Poet. Liverpool, 2010.
- Kibrik A.A.* Reference in discourse. Oxford, 2011.
- Kronfeld A.* Reference and computation: an essay in applied philosophy of language. Cambridge; NY., 1990.
- O'Hara F.* The Collected Poems of Frank O'Hara. Oakland, California, 1995.
- Poggioli R.* The Theory of the Avant-garde. Cambridge, 1968.
- Riffaterre M.* Text production. NY., 1983.
- Searle J.R.* The Logical Status of Fictional Discourse // New Literary History. 1975. 6 (2).

раздел III Когниция
и интерпретация текста

О.Г. Ревзина

Системная поэтика vs. когнитивная поэтика

Предварительные замечания

Системным целесообразно назвать такой подход, при котором текст рассматривается как автономный объект, не включающий в себя автора и читателя и порождающий мир, отличный от внешнего мира – мир текста (художественный универсум). В этом смысле лингвистическая поэтика, структурно-семиотическое литературоведение (термин Ю.М. Лотмана) и даже интертекстуальный анализ (например, в варианте Р. Барта) являются разновидностями системного подхода. Традиционное литературоведение объединяется с системным подходом в представлении о художественном тексте как об эстетически значимом объекте. Лингвистическая поэтика оперирует понятием эстетической (поэтической) функции, которую Р. Якобсон определил как «направленность (*Einstellung*) на сообщение как таковое, сосредоточение внимания на сообщении» [Якобсон 1975: 202]. Когнитивный подход противостоит системному по определению своего объекта и по использованию понятий когнитивной науки. “The object of investigation of this science is not the literary text alone, or the reader alone, but the more natural process of reading when one is engaged with other” («Объектом исследования этой науки является не литературный текст сам по себе и не читатель сам по себе, а более естественный процесс чтения, в котором первый связан со вторым» – здесь и далее перевод мой – О.Р.) [Stockwell 2007: 2]. Это принципиальная позиция П. Стоквелла: “Cognitive poetics must keep sight of the reader and the reading if it is to remain cognitive poetics. If we focus on the text as object, we are doing linguistics. If we focus on the reader alone, we are doing psychology” («Когнитивная поэтика должна заниматься читателем и процессом чтения, чтобы оставаться когнитивной поэтикой. Если мы фокусируемся на тексте как на объекте, мы превращаем поэтику в лингвистику. Если мы фокусируемся на читателе – в психологию») [Там же: 168]. Активные приверженцы когнитивной поэтики полагают, что строгий лингвистический анализ литературных текстов не имеет перспективы. Ю.М. Лотман писал: «Стихотворение – сложно построенный смысл. Все элементы суть смысловые,

являются обозначением определенного содержания» [Лотман 1972: 38]. Совершенно иную точку зрения выдвигает П. Стоквелл: “The so-called “meaning” of a literary work can be found in the minds of readers. This meaning is constructed by readerly process and individual experience on the one hand, and only partly by the elements of the text object” («Так называемое “значение” литературного произведения существует в сознании читателя. Это значение создается самим процессом чтения и индивидуальным опытом и лишь частично – элементами текста как объекта») [Stockwell 2007: 93]. Как всякое новое направление, когнитивная поэтика характеризуется амбициями, радужными перспективами и научной полемикой между её адептами (об этом см. [Ахапкин 2012; Freeman 2007]). Не касаясь здесь вопросов теории, мы хотим показать некоторые возможности системного и когнитивного подходов на примере широко известного рассказа Э. Хэмингуэя “A Very Short Story” (1925) Текст рассказа по-разному необходим как для когнитивного, так и для системного анализа, поэтому приводим полностью этот текст, состоящий из 453 слов.

Ernest Hemingway. A Very Short Story

One hot evening in Padua they carried him up onto the roof and he could look out over the top of the town. There were chimney swifts in the sky. After a while it got dark and the searchlights came out. The others went down and took the bottles with them. He and Luz could hear them below on the balcony. Luz sat on the bed. She was cool and fresh in the hot night.

Luz stayed on night duty for three months. They were glad to let her. When they operated on him she prepared him for the operating table; and they had a joke about friend or enema. He went under the anaesthetic holding tight on to himself so he would not blab about anything during the silly, talky time. After he got on crutches he used to take the temperatures so Luz would not have to get up from the bed. There were only a few patients, and they all knew about it. They all liked Luz. As he walked back along the halls he thought of Luz in his bed.

Before he went back to the front they went into the Duomo and prayed. It was dim and quiet, and there were other people praying. They wanted to get married, but there was not enough time for the banns, and neither of them had birth certificates. They felt as though they were married, but they wanted everyone to know about it, and to make it so they could not lose it.

Luz wrote him many letters that he never got until after the armistice. Fifteen came in a bunch to the front and he sorted them by the dates and read them all straight through. They were all about the hospital, and how much she loved him and how it was impossible to get along without him and how terrible it was missing him at night.

After the armistice they agreed he should go home to get a job so they might be married. Luz would not come home until he had a good job and could come to New York to meet her. It was understood he would not drink, and he did not want to see his friends or anyone in the States. Only to get a job and be married. On the train from Padua to Milan they quarreled about her not being willing to come home at once. When they had to say good-bye, in the station at Milan, they kissed good-bye, but were not finished with the quarrel. He felt sick about saying good-bye like that.

He went to America on a boat from Genoa. Luz went back to Pordonone to open a hospital. It was lonely and rainy there, and there was a battalion of arditi quartered in the town. Living in the muddy, rainy town in the winter, the major of the battalion made love to Luz, and she had never known Italians before, and finally wrote to the States that theirs had only been a boy and girl affair. She was sorry, and she knew he would probably not be able to understand, but might some day forgive her, and be grateful to her, and she expected, absolutely unexpectedly, to be married in the spring. She loved him as always, but she realized now it was only a boy and girl love. She hoped he would have a great career, and believed in him absolutely. She knew it was for the best.

The major did not marry her in the spring, or any other time. Luz never got an answer to the letter to Chicago about it. A short time after he contracted gonorrhoea from a sales girl in a loop department store while riding in a taxicab through Lincoln Park.

Ментальные пространства в рассказе Э. Хэмингуэя

«Ментальное пространство, – пишет Дж. Лакофф, – является способом концептуализации и мышления» [Лакофф 2004: 366]. Ментальным пространствам приписывается чисто когнитивный статус: они «не имеют какого-либо онтологического статуса вне ума человека» [Там же]. Иначе говоря, ментальные пространства входят в понятийный аппарат когнитивной лингвистики. Интересный анализ ментальных пространств в рассказе Э. Хэмингуэя содержится в статье Е. Семино [Semino 2003]. Следует сразу же сказать, что ментальные пространства – это главная, но не единственная тема, которой посвящена статья. Е. Семино останавливается на любовной истории Хэмингуэя, случившейся в Италии на исходе Первой мировой войны и легшей в основу рассказа. Она пишет о классических темах Хэмингуэя (любовь, война, утрата), о характерном для Хэмингуэя противопоставлении мужчины и женщины (женщина обычно предстает «в неблагоприятном свете», именно

она ответственна за неудавшийся «военно-полевой роман», в то время как мужчина выглядит искренним и преданным. Е. Семино упоминает о знаменитом «минималистском стиле» Хэмингуэя, проявившемся и в обсуждаемом рассказе. Рассказ анализируется достаточно подробно, исходя из когнитивной теории возможных миров. Собственно, именно лакуны в таком анализе и побудили Е. Семино обратиться к теории ментальных пространств: “...there is no systematic consideration of how worlds theory are constructed in the interaction between the reader’s mind and linguistic stimuli, and no attention for the role of linguistic choices and patterns in texts” («...не существует систематического представления о том, как теории пространств реализуются во взаимодействии между сознанием читателя и лингвистическим стимулом, и не уделяется внимания роли лингвистического выбора и паттерна в тексте») [Semino 2003: 89]. Выявление ментальных пространств в рассказе Э. Хэмингуэя позволяет, как показывает Е. Семино, сконцентрироваться именно на процессе интеракции. Ментальные пространства понимаются ею как «когнитивная репрезентация положений дел, конструируемых на основе текстовой информации и общего фонда знаний» [Там же]. Обработка текста (text processing) предполагает учет многообразных связей между ментальными пространствами. Е. Семино показывает, как ментальные пространства соотносятся с конструированием «реальности» в рассказе Э. Хэмингуэя, с «романтической мечтой» персонажей и с «разгадкой отношений между персонажами». Полностью воспроизвести ход анализа, проведенный Е. Семино, здесь, конечно, невозможно, и мы сосредоточимся на тех аспектах, в которых эффективность обращения к теории ментальных пространств проявляется особенно выпукло. Е. Семино рассматривает девять ментальных пространств, используя такие параметры, как временное соотношение, последовательность введения в текст, точка зрения и фокализация. По ходу анализа Е. Семино выстраивает диаграммы, наглядно представляющие связи между ментальными пространствами. Таких пространств девять. Исходным является базовое пространство наррации (Narrative Base space). По отношению к базовому пространству события и положения дел в рассказе Хэмингуэя помещаются во время, предшествующее времени рассказывания. Эти положения дел выстраиваются в последовательность, соответствующую хронологии сюжета (*One very hot evening in Padua* в начале первого абзаца, *After the armistice* в начале пятого абзаца, *in the station at Milan* в предпоследнем предложении того же абзаца), и создают пространство «реальности» (“Reality” space) внутри вымышленного мира текста. В пространстве «реальности» находятся неженатые глав-

ный герой и *Luz* (Люз). После выздоровления герой отправляется на фронт. Перед отправкой на фронт влюбленные посещают *Duomo* (Собор), они хотят пожениться: *They wanted to get married, but there was not enough time for the banns, and neither of them had birth certificates* (начало пятого абзаца). Глагол *to want* в первом из двух предложений, соединенных сочинительной связью, выступает как создатель (*space-builder*) пространства «желаний» (“*Want*” *space*), эпистемически отстоящего от пространства «реальности». В пространстве «желаний» Люз и её партнер женаты. Итак, на данном этапе анализа речь идет о трех пространствах. Три пространства: пространство наррации (“*Narrative Base*” *space*), где есть единственная «сущность» – нарратор, пространство реальности (“*Reality*” *space*) и пространство желаний, или намерений (“*Want*” *space*), в которых «сущности» одинаковы, а состояния противоположны («не женаты» – «женаты»). В фокусе находится пространство «желаний», однако во втором предложении происходит смещение фокуса в пространство «реальности»: в самом деле, именно «в реальности» у персонажей не оказывается свидетельств о рождении и им не хватает времени для того, чтобы объявить о предстоящем бракосочетании. Противительный союз *but* фиксирует несовместимость двух пространств. В пространстве «реальности» бракосочетание не состоялось из-за бюрократических проволочек. Однако герои могли бы пожениться сразу после перемирия. Фактически происходит иначе: *After the armistice they agreed he should go home to get a job so they might be married* (начало пятого абзаца). Вместо того чтобы жениться, персонажи договариваются о том, что главный герой возвратится в Америку (*he should go home*). Само соглашение входит в пространство «реальности», причем само это пространство становится иным: если в первом случае «положение дел» состоит в том, что влюбленные не женаты, то в новом “*Reality*” *space* положение дел – это договоренность между ними, относящаяся ко времени после перемирия. Глагол *to agree* («согласиться, договориться») не только называет результат речевого действия в пространстве «реальности», но и переводит часть авторского повествования в несобственно-прямую речь. Этот глагол формирует два “*Agreement*” *spaces* (пространства договоренностей). В первом из них герой вернется домой в Америку, во втором – найдет там работу (*to get a job*). Речь идет, таким образом, о будущем по отношению к новому пространству «реальности», в котором персонажи достигли соглашения о том, что произойдет после перемирия. Самое интересное здесь – это выбор модального глагола *should* (*he should go home*) при том что здесь в равной степени могло бы быть и нейтральное *would* (*he would go home*). Е. Семино

пишет о том, что этот выбор неслучаен: “The choice of the modal “should” <...> suggests obligation or compulsion rather than willingness” («Выбор этого глагола указывает на то, что речь идет скорее об обязательстве или принуждении, чем о доброй воле»). Принуждение исходит от женщины, и то, что представлено как договоренность, на самом деле есть желание женщины, навязывающей мужчине свою волю. Возвращение в Америку сопровождается двумя условиями: *Luz would not come home until he had a good job and could come to New York to meet her*. Здесь два “Conditions” spaces (пространства условий): герой должен найти хорошую работу, и он должен встретить Люз в Нью-Йорке. В этом же предложении непосредственно за двумя пространствами «условия» следует еще одно ментальное пространство – “Instrumental” Goal space («инструментальное» пространство цели (*to meet her*)). Его название получает объяснение по отношению к пространству “End Goal” space (пространству конечной цели), в котором Люз и главный герой становятся мужем и женой. Е. Семино проводит тонкий анализ двух употреблений глагола *to come* в приведенной фразе. *To come* – это дейктический глагол, “which indicates towards the point that functions as deictic center” (который указывает на объект, выступающий как дейктический центр) [Там же: 96]. Что касается Люз, то она как субъект движения должна была бы отправляться из Италии в Америку домой («к дейктическому центру») к своему возлюбленному. Второе употребление глагола *to come* указывает на противоположное направление: это, оказывается, герой должен отправиться в Нью-Йорк («дейктический центр»). Мало того: вместо *Luz would not come home* вполне могло бы быть *Luz could not come home*, и не менее важна отрицательная конструкция. Е. Семино дает убедительную интерпретацию названным чисто языковым признакам. Во-первых, можно говорить о различии характеров мужского и женского персонажей, о том, что у них разные представления об их общем будущем. Легко видеть, что Люз навязывает свои условия возвращения в Америку. Это объясняет, по мысли Е. Семино, дальнейшую ссору влюбленных в поезде из Падуи в Милан, холодное прощание на вокзале и, наконец, новый роман Люз с итальянским майором в Порденоне.

Анализ, проведенный Е. Семино, касается, собственно говоря, только трех фраз из рассказа Э. Хэмингуэя. Этого оказалось достаточным, чтобы продемонстрировать эффективность применения теории ментальных пространств в когнитивной поэтике. В самом деле, ментальные пространства – это не схемы, взятые извне, они создаются в сознании читателя в процессе его общения с текстом, формируются на основании фоновых знаний читателя, его чутком восприятии языко-

вых нюансов и способности делать выводы. Полученные результаты анализа нетривиальны. Например, показывается, как все более увеличивается расстояние между пространством «реальности» и пространством «желаний» по мере появления новых ментальных пространств. Первоначально доступ к пространству «желаний» открывается прямо из базового пространства наррации, но дальше пространство «желаний» и пространство «реальности» все более расходятся, возникают все новые препятствия – объективные (отсутствие свидетельств о рождении и времени для оглашения бракосочетания), а затем и субъективные (условия, выдвигаемые Люз). Здесь можно говорить о воплощенном в сюжете приеме ретардации, когда «отложенное» решение никак не может осуществиться, «романтическая мечта персонажей» обращается в дым, а сам рассказ отступает от жанрового канона, предполагающего happy end. Столь же значим и показ различий мужского и женского персонажей – ведь в самом тексте об их характерах не говорится ни слова! Переходя теперь к системному анализу рассказа Э. Хэмингуэя, мы хотим сделать упреждающее замечание: одни результаты двух подходов частично пересекаются и тем самым подтверждают друг друга, другие же, на наш взгляд, имеют самостоятельную ценность. Новым направлениям в науке вообще свойственно отрицать предшествующую научную парадигму и её достижения, как, собственно, это и делает П. Стоквелл. К счастью, по выражению Ю.М. Лотмана, теории уходят, выполнив свои задачи, а художественные тексты остаются.

Референциальные и реляционные связи в тексте рассказа Э. Хэмингуэя

Системный анализ предполагает последовательное рассмотрение текста от предложения к предложению. Основными свойствами текста являются «связность, цельность и завершенность» [Николаева 1990: 506]. Текст как целое состоит из частей, которые называются единицами текста. Их выделяют по-разному: абзац, сложное синтаксическое целое, сверхфразовое единство. Текст рассказа Хэмингуэя разделен на 7 неравновеликих абзацев – семь единиц текста. Столько же их представлено и в приводимом ниже русском переводе «Очень короткого рассказа» Н. Георгиевской:

Эрнест Хемингуэй. Очень короткий рассказ

Душным вечером в Падуе его вынесли на крышу, откуда он мог смотреть вдаль, поверх городских домов. В небе летали стрижи. Скоро стем-

нело, и зажглись прожекторы. Все остальные пошли вниз и взяли с собой бутылки. Он и Люз слышали их голоса внизу, на балконе. Люз присела на край кровати. Она была свежая и прохладная в духоте ночи.

Люз уже три месяца несла ночное дежурство. Ей охотно позволяли это. Она сама готовила его к операции; и они придумали забавную шутку насчет подружки и кружки. Когда ему давали наркоз, он старался не потерять власти над собой, чтобы не сказать чего-нибудь лишнего в приступе нелепой болтливости. Как только ему разрешили передвигаться на костылях, он стал сам разносить термометры раненым, чтобы Люз не нужно было вставать с постели. Раненых было мало, и они знали обо всем. Они все любили Люз. На обратном пути, проходя по коридору, он думал о том, что Люз лежит в его постели.

Когда пришло время возвращаться на фронт, они пошли в Диото¹ помолиться. Там было тихо и полутемно, и, кроме них, были еще молящиеся. Они хотели пожениться, но времени для оглашения оставалось слишком мало, и потом, у них не было метрических свидетельств. Они чувствовали себя мужем и женой, но им хотелось, чтобы все знали об этом и чтобы это было прочно.

Люз писала ему много писем, которые дошли только после перемирия. Он их получил на фронте, пятнадцать сразу, подобрал их по числам и прочел все подряд. В них говорилось о госпитальных новостях и о том, как сильно она его любит, и как она жить без него не может, и как ей не хватает его по ночам.

После перемирия они решили, что он поедет на родину и будет искать работу, чтобы они могли пожениться. Люз вернется только тогда, когда он получит хорошую работу и сможет встретить ее в Нью-Йорке. Он не должен пить, и он не будет встречаться ни с кем из своих друзей и вообще ни с кем в Штатах. Прежде всего – достать работу и пожениться. По дороге из Падуи в Милан они поссорились из-за того, что она не хотела сразу же ехать домой. На миланском вокзале, когда пришло время прощаться, они поцеловались, но ссора еще не была забыта. Ему было досадно, что они так нехорошо простились.

В Генуе он сел на пароход, отходивший в Америку. Люз поехала в Порденоне, где открывался новый госпиталь. Там было сыро и дождливо, и в городе стоял батальон Ардитти. Коротая зиму в этом грязном, дождливом городишке, майор батальона стал ухаживать за Люз, а у нее раньше не было знакомых итальянцев, и в конце концов она написала в Штаты, что их любовь была только детским увлечением. Ей очень грустно,

¹ Собор (ит.)

и она знает, что, вероятно, он не поймет ее, но, быть может, когда-нибудь он простит и будет ей благодарен, а теперь она совершенно неожиданно для себя собирается весной выйти замуж. Она по-прежнему любит его, но ей теперь ясно, что это только детская любовь. Она не сомневается, что перед ним большое будущее, и твердо верит в него. Она знает, что все это к лучшему.

Майор не женился на ней ни весной, ни позже. Люз так и не получила из Чикаго ответа на свое письмо. А он вскоре после того заразился гонореей от продавщицы универсального магазина, с которой катался в такси по Линкольн-парку.

Мы не будем касаться адекватности перевода в целом, отметив только, что как раз те смыслы, которые Е. Семино выделяет в английском тексте в связи с модальными глаголами и употреблением отрицательной конструкции, в русском тексте фактически не передаются. Таково начало пятого абзаца: *After the armistice they agreed he should go home to get a job so they might be married. Luz would not come home until he had a good job and could come to New York to meet her.* – После перемирия они решили, что он поедет на родину и будет искать работу, чтобы они могли пожениться. Люз вернется только тогда, когда он получит хорошую работу и сможет встретить ее в Нью-Йорке. Легко видеть, что в русском тексте речь идет об общем решении мужского и женского персонажей, в то время как Е. Семино при анализе именно этого фрагмента выявляет глубокие различия между ними. Впрочем, это вовсе не означает, что данные смыслы вообще ускользают от читателя русского текста. Противопоставление мужчина – женщина проходит через весь текст, и это относится как к подлиннику, так и к переводу. Чтобы показать это, надо обратиться к тексту в его целостности.

Системный анализ начинается с заглавия. Принято считать, что название и текст соотносятся как тема и рема. К названию возвращаются после прочтения текста и по-новому переосмысливают его. В английское название входит слово *story*, отсылающее одновременно и к жанру этого произведения, и к содержащейся в нем любовной истории. Этого нет в русском названии: *рассказ* – это только название литературного жанра (ср. *love story* – *любовный рассказ), так что читатель русского перевода делает заключение о краткости описанного в нем любовного романа лишь после чтения рассказа. И в системном, и в когнитивном анализе большое место занимает рассмотрение типологии отправителей и получателей художественного текста [Stockwell 2007; Ревзина 2014]. Ограничимся здесь замечанием о том, что нарратор (по-

вествователю) представлен в рассказе Э. Хэмингуэя в третьеличной форме и для него характерно полное отсутствие каких-либо форм эксплицитного выражения равно как эпистемической и оценочной позиций. Главный вопрос, который дальше будет рассматриваться, до известной степени сопоставим с тем, что называют ментальными процессами, сопровождающими чтение текста («от предложения к предложению», от одного абзаца к другому) и обработку представленной в нем информации. Общение человека с текстом происходит при активнейшем участии когнитивной способности памяти. Оперативная (кратковременная) память действует на протяжении каждого из абзацев, после чего эта информация «свертывается» и поступает в долговременную память, становящуюся в конечном счете вместилищем накопленной текстовой семантики. Р. Барт предложил процедуру текстового анализа «предложение за предложением» («шаг за шагом») на примере повести Оноре де Бальзака «Сарразин» [Барт 1994]. Эта процедура как раз и является попыткой ответить на вопрос, как человек понимает текст и как он его усваивает. По-другому можно сказать так: как получается, что человек, прочитав прозаический текст, способен пересказать его, т.е. построить другой текст. Напомню, что прозаический текст, в отличие от поэтического, не запоминается целиком от предложения к предложению. Р. Барт предположил, что в процессе чтения в языковом сознании происходит активная мыслительная работа, которую он назвал «новой структуризацией текста», или вторичным семиозисом. Суть в том, что, прочитав одно или несколько предложений или даже целый фрагмент текста, читатель производит переработку полученной информации, осуществляет ее семантическую свертку и дает этой информации новое имя. В этом виде информация сохраняется в долговременной языковой памяти. Например, в художественном тексте на нескольких страницах может быть рассказано о том, как герой встречает героиню, они идут по набережной, заходят в кино, потом в кафе, герой провожает героиню до дома и возвращается к себе домой. По ходу чтения текста (читатель) «свертывает» эту информацию до одного означающего – «свидание». При этом само слово «свидание» в тексте отсутствует, так что здесь действительно имеет место вторичный семиозис, т.е. вторичное означивание. Такую свертку в рассказе Э. Хэмингуэя можно провести внутри каждого абзаца и затем дать этим единицам текста название. В предварительном порядке выстраивается следующая цепочка «имен вторичного означивания»: *One hot evening in Padua* («Жаркий вечер в Падуе»), *Love* («Любовь»), *Praying* («Молитва»), *Letters* («Письма»), *Parting* («Расставание»), *Luz* («Люз») и *Final* («Развязка»). По-

сколько связность является главной характеристикой текста, мы проследим теперь связность внутри абзацев и между ними, отмечая в отношении каждого абзаца ту информацию, которую считаем возможным отнести к долговременной памяти текста. Основные положения лингвистики текста в отношении категории связности можно представить следующим образом: а) текст связан, если можно представить его когерентную репрезентацию, б) кореферентность устанавливается двумя путями, и, соответственно, можно говорить о двух типах связности: повтор референции (референциальная связность) и установление реляционных отношений (реляционная связность), в) референциальная связность имеет функцию идентификации; не все референты в тексте равноценны; в тексте могут встречаться несколько типов референтов: сквозные (непрерывные), новые, исчезающие и всплывающие вновь; г) реляционная связность – это связность между предложениями и частями сложного предложения, между единицами текста и его более крупными фрагментами. Содержательные значения реляционной связности – причина, условие, цель, уступка, время, контраст и целый ряд других. Реляционная связность может быть выражена эксплицитно (при помощи союзов, частиц и других языковых средств) и имплицитно [Dirven, Verspoor 1998].

Рассмотрим референциальную и реляционную связность в рассказе Э. Хэмингуэя, обратившись к первым двум абзацам.

Первый абзац.

One hot evening in Padua. *Жаркий вечер в Падуе*

One hot evening in Padua they carried him up onto the roof and he could look out over the top of the town. There were chimney swifts in the sky. After a while it got dark and the searchlights came out. The others went down and took the bottles with them. He and Luz could hear them below on the balcony. Luz sat on the bed. She was cool and fresh in the hot night.

Референциальные цепочки внутри абзаца относятся к мужскому и женскому персонажам (*him, he, He and Luz, Luz, she – ego, он, Он и Люз, Люз, она*), ко всем остальным (*they, others, with them*) и к городу (*Padua – the top of the town*). Интересно соположение *Luz sat on the bed. She was cool and fresh in the hot night* и соответствующих русских фраз: *Люз прилегла на край кровати. Она была свежая и прохладная в духоте ночи*. В английском тексте анафора однозначна (*Luz – She*), в русском языке категория грамматического рода диктует двойное решение и двойное прочтение: *свежей и прохладной* могла быть как *Люз*, так и *кровать*.

Реляционная связность проявляется двояко. Эксплицитная связь маркируется союзом *and*: *One hot evening in Padua they carried him up onto the roof and he could look out over the top of the town*. Содержательно здесь представлено отношение «действие – его следствие», то есть это отношение подчинения, однако сочинительный союз представляет это отношение как простую последовательность действий. Такая техника характерна для данного рассказа. Имплицитная связность не предполагает формальных показателей – читатель опознает эту связность, опираясь на имеющийся у него опыт и фонд знаний. Имплицитная связность представлена многократно, и она распространяется как на соседящие, так и на дистантно расположенные высказывания. Так соединяются в сознании читателя *One hot evening* и *After a while it got dark*, *The others went down* и *He and Luz could hear them below on the balcony*. Если пользоваться терминами Р. Барта, можно сказать, что в абзаце представлен по преимуществу акциональный код, то есть код действий. Однако «закольцовывает» этот фрагмент лексический повтор: *One hot evening – in the hot night*, в котором, помимо стилистического приема, можно видеть и проявление символического кода (ср. *hot love – горячая любовь*).

Не так просто предложить формальную процедуру, которая позволила бы определить, какая информация остается в сознании читателя после прочтения первого абзаца (то, что было названо долговременной памятью текста). «Семантическая свертка» в данном случае состоит в редукации последовательности предложений до одного высказывания, вербализующего схему события. “A conceptual schema of an event, i.e. an event schema, combines a type of action or state with its most salient participant, which may have different “roles” in the action or state” («Концептуальная схема события, т.е. событийная схема, включает в себя тип действия или состояния и его главных участников, которые могут играть “различные” роли в действии или состоянии») [Dirven, Verspoor 1998: 78]. В первом абзаце событием является конкретная, локализованная во времени (*One hot evening*) и пространстве (*in Padua*) ситуация, соответствующая схеме «быть» (Being schema). Участниками события являются «непрерывные» референты *he* и *Luz*. Здесь берет начало оппозиция мужчина – женщина, собственно и составляющая «внутренний сюжет» рассказа. Мужчина, в отличие от *Luz*, обезличен – его идентификация производится с помощью личного местоимения, и на протяжении всего текста он так и не обретает собственного имени. Мужчина наделен временной физической немощью, он пациент и patient (*they carried him up onto the roof*), то есть зависим.

Второй абзац.

Love. Любовь.

Luz stayed on night duty for three months. They were glad to let her. When they operated on him she prepared him for the operating table; and they had a joke about friend or enema. He went under the anaesthetic holding tight on to himself so he would not blab about anything during the silly, talky time. After he got on crutches he used to take the temperatures so Luz would not have to get up from the bed. There were only a few patients, and they all knew about it. They all liked Luz. As he walked back along the halls he thought of Luz in his bed.

Референциальные цепочки в этом абзаце идентифицируют референтов, уже введенных в первом абзаце. Это, во-первых, главные персонажи: *Luz – she – her – Luz – Luz – Luz – on him – him – He – himself – he – he – he*. Во-вторых, это *They*, соотнесенное то с врачами, то с пациентами, то с теми и с другими вместе. И, наконец, это *the bed: on the bed – from the bed – in his bed*. Итак, можно подтвердить статус мужского и женского персонажей как сквозных (непрерывных) и главных по отношению к *the others (все остальные)*, составляющим некую переменную группу. Здесь приходит на ум распространяющееся на весь текст используемое в когнитивистике соотношение фигуры и фона. Прежде чем перейти к дальнейшей интерпретации референциальных цепочек, необходимо сделать одно замечание. Системный подход рассматривает художественный текст как «эстетически ценный объект» и, как уже было сказано, приписывает языку эстетическую функцию. Между тем связность является характеристикой всякого текста, это его своего рода техническая характеристика. Параллельно обращаем внимание на определение стиля Э. Хэмингуэя как минималистского в аспекте языка. Язык Э. Хэмингуэя в анализируемом рассказе лишен каких-либо тропов, фигур речи и вообще каких-либо отступлений от нормы. Он находится, так сказать, вне системы выразительных средств. В этих условиях оправданно предположить – и на это есть доказательства – что сама «конституция» текста, категория связности, обретает значение выразительности. Референциальные цепочки становятся «говорящими», и все в них обретает смысл. Референциальная цепочка, относящаяся к персонажам, делится пополам: сначала это *Luz*, а потом *he*, то есть *he* занимает позицию субъекта или агенса, наделенного энергией для действия. Партнер Люз старается не потерять контроля над собой, когда ему дают наркоз, и он обретает возможность передвигаться, получив костыли. В то же время в предложениях, относящихся к Люз, представлена концептуальная схема «чувствовать, испытывать»

(experience-scheme), в которой Luz занимает позицию пациента (*They were glad to let her. They all liked Luz. They all liked Luz*). Таким образом, мужской персонаж уже не является зависимым, партнеры равны друг другу, в оппозиции мужчина–женщина оба члена становятся равноправными. Не менее «говорящим» является тройное упоминание *the bed*. Постель выступает как метонимическое обозначение любви, причем любви физической. В остальной части текста *the bed* не присутствует, то есть относится к исчезающим референтам (очевидно, и с временно связавшим любовников чувством).

Реляционные связи во втором абзаце выражены эксплицитно. Основным является временное соотношение конкретных действий, отсюда – сложноподчиненные предложения с временными союзами (*when, after, as*). Второй абзац добавляет в память текста следующие смыслы: *операция, выздоровление, любовь*.

Двигаясь от абзаца к абзацу, мы получаем карту референциальной и релятивной связности текста, на основании которой можно сделать следующие обобщения.

1. В тексте представлены разные виды референтов: а) сквозные (непрерывные), таковы *he* и *Luz*; б) всплывающие вновь, такова *the bed*, сквозная для первых двух абзацев и в этом смысле всплывающая вновь, а в последующих абзацах исчезающая; в) исчезающие, к ним относятся *they (other people)*, представленные в первом и втором абзацах; г) новые. Новых референтов, естественно, немало. Выделим те, что появляются одноразово и при этом формируют микротему абзаца, метонимически открывая доступ к ситуации в целом. В третьем абзаце это *Duomo*, в четвертом – *Letters*. Другая группа – это новые референты, появляющиеся в шестом и седьмом абзацах: *the major of battalion, a sales girl*. Две названные группы объединяются по своему участию в развитии сюжета и при этом они зеркально противоположны: *Duomo* и *Letters* появляются в первой части рассказа и в начале love story, новые партнеры влюбленных – в конце рассказа и в конце love story. Большую группу новых референтов составляют города: *Padua, New York, Milan, Genoa, Pordenone, Chicago*. Все они связаны с главными героями и их передвижениями (концептуальная moving-scheme). Сам по себе факт как будто незначительный, хотя и обращающий на себя внимание, однако он имеет отношение к важнейшей для данного рассказа и намеренно отодвинутой в фон событий теме войны.

2. Референциальные цепочки, относящиеся к главным персонажам, позволяют детально проследить представление в тексте оппозиции мужчина–женщина, относящейся, по Барту, к символическому, или ген-

дерному коду. В первом абзаце мужчина зависим от женщины, во втором абзаце гендерное равновесие восстанавливается. Последующие референциальные цепочки строятся следующим образом. а) Третий абзац. *Praying*. «Молитва». Референциальная цепочка такова: *he, they, they, neither of them*. Местоимения соотносятся с мужским и женским персонажем не по отдельности, а вместе, то есть они равны и едины и в пространстве «Желаний» (“Want” space), и в пространстве «реальности». Пик сближения позиций персонажей получает формальное воплощение в употреблении формы множественного числа *they*. б) Четвертый абзац. *Letters*. «Письма». Референциальная цепочка: *Luz, him, he, he, she, him, him*. Строго говоря, “speech domain”, о которой пишет Е. Семино, появляется уже в четвертом абзаце, когда Люз рассказывает о своих переживаниях. Ритм этой референциальной цепочки достаточно четкий: инициатором контакта с помощью писем выступает Люз, дальше следует ответная реакция мужского персонажа (используется *doing-schema*). Переживания Люз передаются через *experience-schema*, которая в тексте используется только в отношении женского персонажа. Добавим также, что в этом абзаце впервые появляется слово *the hospital*, которое становится «правильным» вторичным наименованием первого абзаца. в) Пятый абзац. *Parting*. «Расставание». Референциальная цепочка: *they, he, they, Luz, he, her, her not being willing, he, his friends, they, they, He*. Референциальные связи имеют форму «референциального метания». Представлены три группы высказываний: с *they* (*agreed, quarreled, had to say good-bye, kissed good-bye, were not finished with the quarrel*), с *Luz* (*would not come home, to meet her, her not being willing to come home at once*) и с *he* (*had a good job and could come to New York to meet her, would not drink, and he did not want to see his friends or anyone in the States, Only to get a job and be married, He felt sick about saying good-bye like that*). Е. Семино дает превосходный анализ фраз из этого абзаца, исходя из значения английских модальных глаголов. В русском тексте решающим является перевод в несобственно-прямую речь, в которой формальным субъектом является третьеличный повествователь (нарратор), а глубинным – *Luz*. Таким образом, не остается сомнения в том, кто является инициатором «плана» действий. Содержание «плана» подтверждает это. С точки зрения общего фонда знаний и опыта странно было бы ожидать от военного, чтобы он, вернувшись домой, отказался от встреч с друзьями, от выпивки и был лишь одержим работой и будущей женитьбой. В завершающем абзаце высказывании *He felt sick about saying good-buy like that* передаются переживания мужского персонажа, а внутренняя форма (*to feel sick* – «чувствовать себя больным»)

указывает на физическое недомогание. Мужской персонаж снова становится «пациентом» и зависимым от чужой воли. Гендерное равновесие нарушается. г) В шестом абзаце Luz («Люз») представлена следующая референциальная цепочка: *He, Luz, Luz, she, theirs, she, she, he, her, she, she, he, in him, she*. Легко видеть, что в этой цепочке главной является фигура *Luz*. Подобного абзаца, полностью сконцентрированного вокруг мужского персонажа, нет в тексте рассказа (равно как с ним не связана несобственно-прямая речь). Получается, что сами референциальные цепочки становятся коннотаторами оппозиции мужчина – женщина и эволюции этой оппозиции. Отметим, что прежний тип отношений, связывающих мужского и женского персонажей, переводится со стороны Люз в план прошлого, им придается статус временного возрастного увлечения (*theirs had only been a boy and girl affair*). д) В последнем, седьмом абзаце Outcome «Развязка» референциальные цепочки отсутствуют. В трех предложениях представлены три разных субъекта действия: *the major, Luz, he*. Два главных персонажа существуют теперь отдельно друг от друга, и в этом смысле их гендерное равновесие восстановлено. Мужской и женский персонажи равноценны и в другом отношении: оба они терпят поражение. Люз удаляется от “Want” спрае дальше, чем прежде, мужчина унижительным образом снова превращается в пациента.

3. Менее показательны реляционные связи. Даже высказанные с большой осторожностью, интерпретации остаются произвольными. О значении союза *but* в третьем абзаце для анализа ментальных пространств пишет Е. Семино. Сверх того, стоит задуматься о соотношении простых и сложных предложений. Легко видеть, что в тексте велика роль простых предложений с одной пропозицией, распространенных и нераспространенных. Если предположить, что именно такова преференция создателя текста, возникает вопрос о сложноподчиненных предложениях с эксплицитным выражением реляционной связности. Часть из них допускает преобразование в простое предложение за счет использования герундия или предложной именной группы (ср. *When they operated on him – During the operation, After he got on crutches – After having got on crutches*). Иначе говоря, наблюдается относительное избегание осложненного простого предложения, включающего одну пропозицию. Тогда проступает принцип: одно предложение – одна пропозиция (автономное простое предложение, главное и придаточное). Уместно вспомнить, что в такой равномасштабности видят одно из проявлений пушкинской простоты. И бросается в глаза сочинительный союз *and*: он маркирует простую последовательность действий, но также

имеются случаи, когда *and* связывает предложения таким образом, что по форме это паратакис, а по содержанию – гипотакис: ср. *There were only a few patients, and they all knew about it* (отношение причина–следствие). Логические отношения тем самым предстают как отнесенные к сознанию, но не к миру. Добавим, что «в мире» отсутствует и оценка, и оценочные высказывания не входят в состав текстовой ткани рассказа.

4. Текст строится в основном на акциональном (*doing-schema*) коде действий и поступков. *Experience-schema* относится только к Люз. Можно полагать, что здесь реализуется художественный принцип: нет свойств и качеств вне их реализаций. В этой связи следует отдельно сказать о теме войны, затронутой выше в связи с названиями городов. Война могла бы быть представлена в акциональном коде, однако такое представление в рассказе Э. Хэмингуэя отсутствует так же, как нет ни одного абзаца, которому можно было бы придать обобщающее название «Война». И тем не менее война в рассказе не только присутствует, но в конечном счете определяет судьбы героев и волю женщины подчинить себе мужчину. Об этом свидетельствует словарь войны, рассеянный по всему тексту. Сюда включаются: маркировка времени (*Before he went back to front, After the armistice*), места (*the hospital*), людей (*the major of the battalion*, ср. *раненые* в русском тексте). Передвижения персонажей (*moving-schema*) и даже их «решения» также определяются ходом военных событий. К этому добавляется «подтекст» – тот фонд знаний, без которого значение отдельных высказываний не может быть понято. Таковы усилия главного персонажа, направленные на то, чтобы «не проболтаться» во время наркоза (*so he would not blab about anything*), или отсутствие времени для получения свидетельств о рождении и оглашения бракосочетания.

5. Название художественного текста, как было сказано, прочитывается дважды: до и после прочтения. Что же нового появляется в осмыслении рассказа после его прочтения? *Short* – параметрическое прилагательное и в применении к длине текста вполне оправдывает свое значение: по отношению к неписанному жанровому канону «рассказ» действительно демонстрирует сдвиг и отступление от нормы, являющееся основанием выразительности. Что же касается «*love story*», её протяженность во времени вроде бы не нормируется. Любовная история в рассказе Э. Хэмингуэя на самом деле длится довольно долго. Ц. Тодоров в свое время включил в число миропорождающих категорий художественного текста категорию времени и дал ей следующее определение: «Категория *времени* связана с соотношением между двумя временными осями: осью самого текста литературного произведения

(которая для нас проявляется в линейной последовательности букв на странице и страниц в книге) и гораздо более сложно организованной осью времени в мире вымышленных событий и персонажей» [Тодоров 1975: 63–64]. Среди значений текстовой категории времени для рассказа Э. Хэмингуэя важны пауза и эллипсис. Пауза имеет место, когда пересказывается содержание писем Люз (четвертый абзац) и когда в третьеличное повествование в пятом и шестом абзацах вклинивается несобственно-прямая речь. Эллипсис относится к пространству «реальности»: неизвестно в точности, сколько времени ушло на выздоровление главного героя, через какой промежуток времени после выздоровления он отправился на фронт и как долго он находился там до перемирия. Время рассказывания в пространстве «наррации» равняется здесь нулю, в то время как в пространстве «реальности» оно движется, и вместе с ним движется Love story. Несомненно, таким образом, что, даже с учетом пауз, время рассказывания у Хэмингуэя «короче» изображаемого времени [Там же: 67] и роман мужского и женского персонажей вполне «тянет» на романное время. И все же, как представляется, отразившаяся в названии компрессия любовной истории находит, на наш взгляд, объяснение в последнем письме Люз (шестой абзац): *it was only a boy and girl love*.

Итоги

Представленные разборы демонстрируют возможности системной и лингвистической поэтики в весьма ограниченном объеме. Сопоставляя системный и когнитивный подходы, можно заметить, что результаты анализа рассказа Э. Хэмингуэя частично совпадают между собой, но сами эти подходы восходят к разным научным парадигмам. Классическое определение научной парадигмы, выдвинутое в свое время Т. Куном, гласит, что научная парадигма характеризуется совокупностью научных взглядов, принятых большей частью научного сообщества, выдвижением научных задач и эффективных методов для решения именно этих задач [Кун 1977]. Структурная парадигма достигла выдающихся результатов в лингвистике и в литературоведении. Трудно сказать, в какой степени она исчерпала себя, но в одном отношении она, безусловно, проигрывает когнитивной парадигме. Имеется в виду определенная предсказуемость хода мышления и конечной цели. В основе когнитивной поэтики лежит когнитивистика, исходные постулаты которой весьма далеки от структурной (структуралистской) и семиоти-

ческой парадигм. Самое интересное в когнитивной поэтике – это как раз новый взгляд и открывающаяся перспектива увидеть и объяснить что-то новое. Целеполагание и круг собственных задач когнитивной поэтики становятся более выпуклыми по мере появления новых исследований.

Литература

- Ахапкин Д.Н.* Когнитивный подход в современных исследованиях художественных текстов // Новое литературное обозрение. 2012. № 114.
- Барт Р. S/Z.* М., 1994.
- Кун Т.С.* Структура научных революций. М., 1977.
- Лакофф Дж.* Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о мышлении. М., 2004.
- Лотман Ю.М.* Анализ поэтического текста. Структура стиха. Л., 1972.
- Николаева Т.М.* Текст // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Резвина О.Г.* Виноградовские ключи к анализу художественного текста // Structures & functions: Studies in Russian Linguistics. Структуры и функции: исследования по русистике. Таллин, 2014, Т. I, Вып. 2.
- Тодоров Ц.* Поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975.
- Якобсон Р.О.* Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975.
- Dirven R., Verspoor M.* (eds.) Cognitive Explorations of Language and Linguistics. Amsterdam; Philadelphia, 1998.
- Freeman M.H.* Cognitive Linguistic Approaches To Literary Studies: State Of The Art In Cognitive Poetics / Ed. by D. Geeraerts, H. Cuycens // The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics, 1175–1202. Oxford; NY., 2007.
- Semino E.* Possible worlds and mental spaces in Hemingway's 'A very short story' // Cognitive Poetics in Practice / Ed. by J. Gavins, G. Steen. London; NY., 2003.
- Stockwell P.* Cognitive poetics: An Introduction. London; NY., 2007.

Н.Н. Болдырев, С.Г. Виноградова

Когнитивно-доминантный принцип формирования смысла сложного предложения¹

Проблема формирования смысла языковых единиц остается ключевой для современной лингвистики и особенно для новых научных направлений, изучающих взаимодействие языковых форм и репрезентируемых ими структур знания в контексте антропоцентрического подхода. Наиболее актуальным в этом плане представляется исследование характера формирования смысла сложного предложения, поскольку ранее оно чаще всего рассматривалось через призму простого предложения, что полностью не раскрывало его специфику. И сложное, и простое предложения предназначены для передачи разных событий как фрагментов окружающего мира и в силу этого характеризуются предикативностью и пропозициональной структурой, отражающей видение человеком того или иного положения дел. Специфика сложного предложения, однако, заключается в передаче конкретных концептуальных связей между отдельными событиями, которые устанавливает говорящий, объединяя их таким образом в некое гиперсобытие с одновременной возможностью выдвижения одного из них на передний план в качестве основного. При этом данное гиперсобытие становится достаточным контекстом для формирования смысла, предоставляя необходимую фоновую информацию за счет дополнительной характеристики каждого из объединяемых событий, а также их участников и связей с другими событиями.

Наиболее полно раскрыть сущность сложного предложения и возможности формирования его смысла с учетом вышеназванных факторов позволяют теоретические установки и методологические принципы теории интерпретации (см. подробнее: [Болдырев 2011; 2017]),

¹ Публикация выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 18-18-00267 в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина.

учитывающей роль говорящего и его личностных доминант в организации высказывания. Следует заметить, что до недавнего времени в лингвистике интерпретация больше рассматривалась в ряду таких процессов, как восприятие и понимание речи. Между тем, как подчеркивает У. Чейф, «когда люди говорят, они постоянно выбирают наилучшие способы выражения того, о чем они думают. Отсюда следует, что ко всему содержащемуся в памяти применимы <...> процессы интерпретации. Интерпретация происходит не только во время восприятия; она имеет место также в то время, когда мы говорим» [Чейф 1983: 36, 40]. Аналогичную мысль высказывает и В.З. Демьянков, отмечая, что интерпретация охватывает фактически все действия над языком, когда для этих действий появляется повод – речь. Если речь нужно продуцировать, внутренний мир интерпретируется в виде речи. Когда же речь задана как объект восприятия – интерпретируется она [Демьянков 1994а: 30]. Эти аспекты интерпретации получили подробное освещение и в других работах В.З. Демьянкова, посвященных проблемам взаимодействия языковых и когнитивных структур [Демьянков 1985; 1988; 1989; 1994; 2001; 2015; 2018].

Интерпретация как проблема именно построения языкового выражения затрагивалась в рамках классических теорий вторичной номинации и вторичных значений, а также в теории оценки. Так, вторичная номинация понималась как «использование уже имеющихся в языке номинативных средств в новой для них функции наречения» [Телия 1977: 129]. Языковые наименования в своей вторичной функции не только отражают знание человека о мире, но формируют разные типы отношений субъекта к фрагментам этого мира, что составляет содержательный потенциал интерпретации. При этом человек опирается на свою концептуальную картину мира, концептуальную систему носителя языка – систему мнений и знаний человека о мире, отражающих его познавательный опыт на доязыковом и языковом этапах и уровнях [Павиленис 1983: 12].

Когда говорящий намерен сообщить о положении дел в мире, он «использует или создаёт языковые средства, способные передать сведения скорее о ценности действительного, а не о его сущности, перемещая в центр внимания своё отношение к миру» [Телия 1977: 183]. По образному выражению Н.Д. Арутюновой, дать миру «адекватную номинацию, “окрестить” его надлежащим образом – значит выявить нечто для него характерное» [Арутюнова 1977: 334]. По сути, формирование и прямых, и вторичных значений и оценок является результатом интерпретирующей роли человека в процессах освоения мира

и языка, что является актуальным и в отношении исследования сложного предложения и его смысла.

В рамках когнитивного подхода, с позиций которого интерпретация рассматривается в предлагаемой работе (см. также [Болдырев 2014; 2015]), подобная роль человека объясняется интерпретирующим характером языкового сознания, что требует учета знаний языковых единиц, категорий, синтаксических конструкций, их значений и функциональной специфики. Согласно данной теории, любая языковая деятельность человека связана с интерпретацией, а языковая интерпретация предстает как вид познавательной активности, процесс и результаты понимания и объяснения человеком мира и себя в этом мире. Это процесс и результат репрезентации мира, которые основаны, с одной стороны, на коллективных представлениях о мире и, с другой стороны, на опыте взаимодействия с этим миром конкретного человека. Образно говоря, языковая интерпретация представляет собой языковую проекцию мира, или знание о мире, «погруженное» в коллективно-языковое или индивидуально-языковое сознание индивида. Она обеспечивает тем, что говорящий, выступая в качестве точки отсчета для формирования мысли, способен манипулировать концептами как блоками знания, одновременно обращенными и к онтологии мира, и к онтологии языка, и создавать на этой основе новые знания и смыслы.

Сложное предложение, в отличие от простого, всегда является вторичной интерпретацией событий, поскольку лежащее в его основе гиперсобытие есть продукт сознания, не имеющий однозначного референта в окружающем мире. Мысль о зафиксированном вниманием фрагменте действительности, включающем, по меньшей мере, два взаимосвязанных события (гиперсобытие), в сознании человека отображается не как пропозиция, а как пропозициональный комплекс, который а) состоит из двух или более пропозиций, объединенных пропозициональной связкой – концептом сочинения или подчинения (которые могут быть выражены имплицитно), и б) соотносится с когнитивной моделью не отдельного события, а гиперсобытия, т.е. включает не один, а два и более базовых предиката и их аргументы.

Подобная схема осмысления нескольких событий формируется у говорящего при активации механизма концептуальной интеграции [Fauconnier, Turner 2006]. Фокусирование внимания сразу на двух или нескольких событиях как едином, интегрированном фрагменте действительности предполагает их одновременное осмысление, которое также сопровождается реализацией механизма профилирования. Профилирование, метафорически соотносимое с фигуро-фоновым члене-

нием в ходе зрительного восприятия действительности, используется говорящим для оценки привлеченного внимания положения дел [Langacker 2000: 203–245; Langacker 2008: 406–419]. Положение дел, при котором ни одно из событий в полной мере не обладает статусом профилирующего, передает сложносочиненное предложение, предполагающее многофокусный характер распределения внимания интерпретатора. При этом положение дел, которое указывает на большую выделенность одного события в контексте гиперсобытия, объективируется сложно-подчиненным предложением.

Одновременная концептуализация нескольких событий как гипер-события посредством их интеграции и профилирования раскрывает не только характер объединяемых событий, но и мотивацию их объединения на основе той или иной связи между ними. Подобные процессы направлены на установление целостного смысла сложного предложения за счет интеграции всех отдельных концептуальных составляющих, репрезентируемых данной семантико-синтаксической единицей как неким пропозициональным комплексом, объединяющим концептуальные сущности разного уровня.

В целом, создавая сложное предложение как единицу речи, говорящий использует не только знания в виде пропозиционального комплекса, но и сведения о категориях языковых средств, принципах и механизмах передачи информации об упомянутом фрагменте. Это позволяет говорить о том, что в ходе интерпретации говорящий задействует определенную совокупность неязыковых и языковых знаний, которые в результате индивидуального осмысления в целях коммуникации конфигурируются в ту или иную языковую конструкцию в качестве нового формата знания – сложного предложения.

Как следствие объединения концептов и пропозиций в сложные концептуальные структуры интегративного типа, смысл сложного предложения представляет собой результат вторичной концептуализации знаний о мире, т.е. манипулирования концептами-пропозициями объединяемых событий. Разнородность процессов вторичной концептуализации определяет множественность способов деривации новых смыслов (концептуальной деривации) как проявлений языковой интерпретации. Под концептуальной деривацией при этом понимается формирование нового, производного знания на базе существующего или известного [Болдырев 2018]. Моделирование процессов концептуальной деривации, в свою очередь, дает возможность выделить те когнитивные доминанты, которые и обуславливают конкретное осмысление связи между событиями в сложном предложении.

Когнитивные доминанты представляют собой личностные конструкции (термин Дж. Келли [Келли 2000]), определенные схемы, или шаблоны, которые формируются в индивидуальном сознании человека и определяют его восприятие мира, его интерпретацию и поведение, выбор предмета мысли и средств его языковой репрезентации. При этом следует оговориться, что мы оставляем в стороне вопросы нейрофизиологической специфики сознания, связанной с его описанием в терминах структур и процессов в мозге человека с позиций таламических ядер, взаимодействия передних и задних областей коры головного мозга и т.п. (см. [Анохин: URL]), поскольку анализ химических и физических аспектов работы мозга находится за пределами компетенции лингвиста и вряд ли может служить основой для изучения роли языка в познавательных процессах. В качестве такой основы, очевидно, больше подходят философские и психологические концепции сознания, поскольку они затрагивают вопросы соотношения сознания и физической реальности (философия) и изучения сознания как психической жизни человека (психология), что имеет непосредственное отношение к познанию, частью которого является интерпретация.

Используя модель сознания Д. Чалмерса [Чалмерс 2013], можно говорить о том, что сознание представляет собой ментальное состояние (состояние разума) и переживание этого состояния как итог опытного взаимодействия с окружающей действительностью и познанием себя как ее части. Философы и психологи выделяют такие свойства человеческого сознания, как интенциональность (Э. Гуссерль, Ф. Brentano, М. Мерло-Понти), функциональность (Д. Льюис, Х. Патнэм, А.Н. Леонтьев), ее деятельностный или поведенческий аспект (Л. Витгенштейн, К.Г. Гемпель, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). Интенциональность, функциональность и поведенческий аспект входят в представление о языковой активности человека и самом языке, выступающем в качестве детерминирующего фактора развития сознания – способности мыслить, разумности, творчества, рефлексии. Представление о сознании как совокупности образов, которые в том числе формируются и объективируются с помощью языковых средств [Тарасов 2000], дает также основание разграничивать сознание и языковое сознание.

Взаимодействуя с внешним миром, человек воспринимает его объекты как потенциальное средство достижения цели и в связи с возникшей потребностью или концентрацией внутренних ощущений акцентирует свое внимание на чем-то одном, наиболее актуальном в данный момент. Осмысление этого опыта «запрограммировано» совокупностью предшествующих физиологических процессов и привычных реакций,

которые формируют доминанты (когнитивные доминанты), т.е. определенный угол зрения на происходящее, и моделируют поведение человека, а также поиск и многократное подтверждение сложившихся доминант (см. [Ухтомский 2002]).

Согласно одной из психологических теорий – теории гештальтов (М. Вертгеймер, Э. Рубин, В. Келер, К. Коффка и др.) – понятие доминанты объясняет процесс возникновения целостного образа из составляющих его частей. Так, восприятие, в частности визуализация, имеет целостный, а не дробный характер и включает две части – фигуру и фон. Фигура всегда узнаваема, так или иначе воспринимаема в зависимости от фона, а отношения между фигурой и фоном находятся в прямой связи со стимулом и функцией восприятия, стимул предполагает варьирование восприятия фигуры на фоне, отсюда – потенциальная возможность перехода фигуры в фон и наоборот. Применение теории гештальтов для объяснения того, как работает другой канал восприятия – язык / речь, показало, что смысл языковых выражений (предложений и текстов) также складывается в результате членения на фигуру и фон (заметный или релевантный и данный или менее информативный материал соответственно) [Wallace 1982; Reinhart 1984; Wårvik 2004 и др.]. Использование языка для осмысления своего опыта и передачи полученной информации позволяет индивиду трансформировать, преобразовать и «удваивать» реальность [Лурия 1998], формировать новые доминанты в его сознании.

Философы и психологи также подчеркивают, что сознание выступает в качестве рефлексии мира и самого себя; способа создания субъективного образа объекта; формирования личностных смыслов в целях отображения некоторого объекта и самого себя; деятельности, связанной с интерпретацией информации. Каждому человеку присуща своя манера созерцать и обдумывать течение событий на основе личностных конструктов как некоторых трафаретов, помогающих интерпретировать истинное положение вещей для выстраивания линии своего поведения [Келли 2000].

Основываясь на данных философии и психологии, многие ученые высказывают справедливую мысль о том, что языковые выражения приобретают конкретное значение и смысл только в рамках определенной концептуальной системы (Ч. Пирс, Н. Хомский, У.Л. Чейф, Ч. Филмор, Р. Павиленис, Р. Джэкендофф), т.е. являются результатом вторичной интерпретации известного или коллективных знаний. Связь языковых значений и смыслов с концептуальной системой конкретного человека, автора языкового выражения, имеет причинный характер и

определяет их содержание, поскольку языковое сознание не является отдельным, независимым модулем. Оно интегрировано в когнитивную систему человека и сопровождает разные виды его взаимодействия с миром, разные виды его деятельности.

Перечисленные моменты позволяют говорить о доминантном принципе организации языкового сознания человека, согласно которому выбор тех или иных языковых средств обусловлен реализацией различных когнитивных моделей, схем и механизмов как определенных доминант структурирования опыта, разных способов форматирования концептуального содержания в языке. Подобные доминанты, как представляется, характерны как для системы логических операций, так и для системы оценки эмоционального значения и глубинного смысла, которые предлагал различать А. Лурия [Лурия 1998: 258].

Когнитивно-доминантный принцип организации сознания и формирования смысла высказывания раскрывает антропоцентрическую природу процессов познания и языка, а выявление когнитивных доминант в концептуальной и языковой картине мира позволяет дать системное объяснение соотношению когнитивных и языковых структур в том числе в процессах формирования смысла языковых выражений в целом и сложного предложения в частности. Частично данное утверждение подтвердили результаты исследования синтаксических средств репрезентации знаний в английском языке на примере простого предложения с использованием приема анализа когнитивной доминанты, выполненного Л.А. Фурс [Фурс 2004].

Данное исследование показало, что осмысление события в простом предложении следует принципу когнитивной доминанты, который заключается в том, что говорящий, ориентируясь на задачи коммуникации, определяет наиболее значимую на данный момент информацию и передает ее наиболее оптимальными средствами. Таким образом, при конструировании события намеренно акцентируются различные его аспекты (акциональность, процессуальность, статальность и т.д.) и тем самым активируются определенные структуры знания, что находит отражение в выборе соответствующих синтаксических средств: (а) *She washed the cloth with a new soap*; (б) *The cloth was washed easily*; (в) *The soap washed it easily*; (г) *The cloth washes easily* [Фурс 2007: 82].

При осмыслении нескольких событий как единого гиперсобытия в формате сложного предложения наиболее значимая информация как результат концептуальной интеграции и профилирования связана не столько с участниками событий и их отношениями, сколько с самими событиями и связями между ними. Они и предопределяют выбор со-

ответствующих синтаксических средств – сложных предложений с сочинением или подчинением его частей на основе определенных когнитивных схем или моделей. Это, в первую очередь, отображаемые в них логические связи между двумя или несколькими событиями, по крайней мере, одно из которых выступает в качестве точки отсчета для интерпретации этих связей. Выделение конкретного типа связи продиктовано способностью человека интерпретировать знания о мире, подключая механизм профилирования в соответствии или в нарушение, прежде всего, таких принципов, как апперцепция (А.А. Потебня, Дж. Миллер), иконичность (Р. Якобсон, Т. Гивон, Дж. Хайман) и концептуальная иерархизация смыслов (см. [Виноградова 2015]).

Апперцептивный принцип усвоения знаний предполагает, что человек всегда осмысливает поступающую, новую, информацию в рамках уже имеющейся у него, ранее сформированной концептуальной системы. Принцип иконичности указывает на соответствие линейного порядка следования элементов сложного предложения реальному положению дел во времени. Концептуальная иерархизация смыслов означает, что в момент речи в сознании говорящего ментальные репрезентации референтов событий выстраиваются согласно состоянию их активации и формируют межконцептуальные связи, на базе которых конструируется смысл сложного предложения, новое знание.

Так, анализ двухсобытийных сложных предложений современного английского языка с точки зрения доминантной интерпретации гиперсобытий показал, что рациональный аспект доминантного формирования смысла сложного предложения обусловлен ориентированностью говорящего на следующую концептуализацию событий в их взаимосвязи.

1. Активация в сознании говорящего представления о гиперсобытии, при котором одно событие выступает в качестве введения профилируемого положения дел, а другое является его спецификацией, предполагает выделение говорящим в качестве когнитивной доминанты целого ряда характеристик. Эти характеристики передают порядок 1) следования событий, 2) совместимости объектов / событий, 3) выбора альтернативного события, 4) сопоставления объектов / событий, 5) противопоставления объектов / событий, 6) причинно-следственный порядок событий, а также порядок 7) компенсации объекта / события, 8) описания объектов / событий, 9) отражения результативности событий.

Преимущественно вышеназванные характеристики объективируются сложносочиненными предложениями с союзами и союзными на-

речиями, передающими соединительные отношения, а также с вводными словами и наречиями, указывающими на очередность событий (1): *Her lower lip pushed out and then she started to cry* (YD); с союзными наречиями, союзами и наречиями, частицами и союзами, передающими соединительные отношения и указывающими на дополнение одного события другим (2): *For Simondon, however, transduction is a logic in and of itself; moreover, it is an onto-logic* (COCA); с союзами *either... or, or, whether... or*, передающими разделительные отношения (3): *You can record it as a no-charge, or you can give them a discount and pocket the difference* (COCA); с соединительными союзами или без них и конструкциями типа *so is he*, а также противительными союзами или без них и конструкциями типа *neither is he* (4): *You aren't strong enough yet; neither is your dragon* (COCA); с союзами или союзными наречиями, передающими противительные отношения, либо предложениями со структурным параллелизмом частей с союзом *and* и лексикой, передающей несоответствие объектов / событий (5): *I want to cry, and I cannot* (BNC); с союзами и союзными наречиями, передающими следственные отношения (6): *You are seeking for truth in order to follow its laws in your life, therefore you seek wisdom and virtue* (YD).

В объективации указанных характеристик участвуют и сложноподчиненные предложения: с фиксированной позицией придаточной части – придаточного-подлежащего, дополнительного, предикативного и обстоятельственного придаточных (7): *Richard laid an armful of books on the table and strolled over to where Frank was sorting through a shelf* (BNC); с определительными придаточными (8): *The mother sat down in the shade of a tree and began to read a new book which she had bought the day before* (YD); с обстоятельственным придаточным условного типа в конструкции *If... then* (9): *If no one else is willing, then I'll do the job myself* (MD).

2. Если в сознании говорящего активизируется представление о гиперсобытии, при котором одно событие используется для привлечения внимания слушающего к новому знанию, а другое – для того чтобы показать, какие знания служат смысловым обоснованием профилируемого положения дел, то доминирующим для говорящего является соотношение событий. Это может быть соотношение события и его 1) источника, 2) условия, 3) корректировки, 4) указания на сравнение с его объектом / всем событием, 5) модального контекста, 6) указания на его транслятора, 7) ситуационного контекста, 8) подтверждения / опровержения.

Такие характеристики соответственно передают сложносочиненные предложения, выражающие причинные отношения с бессоюзием или союзами *or / for* в середине предложения (1): *It is love – hopeless love,*

for she does not care for him (COCA); сложносочиненные предложения с союзом *once* в значении условия (2): *I'll forward my number, once I purchase a mobile phone in the big smoke* (COCA); с соединительными союзами и союзными наречиями с завершающей частью, маркированной модальностью (3): *Tell them to send me to hospital; anyway I shan't be able to keep up* (YD); а также сложноподчиненные предложения с придаточным сравнительным (4): *Perhaps I am tougher than I sometimes appear* (BNC); с придаточным условия в правой позиции, условный статус которого утрачен в пользу вводной структуры (5): *Come here to see me, if you will* (BNC); предложения с паратактической структурой, завершающая часть которых содержит глаголы говорения (6): *No one was offered retraining, they said* (COCA); сложноподчиненные предложения с придаточными в правой позиции в функции *afterthought* (7): *...every situation is different, after you are isolated* (COCA); сложные предложения с завершающей частью в функции вынесения определения (8): *Such an attack could escalate into a widespread conflict, although I doubt it* (YD).

3. Актуализация представления о гиперсобытии, при котором наличие или отсутствие концептуальных связей между событиями устанавливается исходя из знаний о положении дел и оценки знаний собеседника, обеспечивается со стороны говорящего акцентированием или дефокусированием в качестве когнитивной доминанты характеристик элемента, связующего эти события.

В качестве когнитивной доминанты говорящий может выбирать такие характеристики элемента, связующего эти события, как 1) время, 2) место, 3) условие, 4) причина, 5) уступка, 6) образ действия. Этот выбор вербализуют сложноподчиненные предложения с доступным характером референтов разных синтаксических конструкций, на стыке представленные союзами и союзными наречиями следующих групп: *when, before, after, since, while, as, as soon as, by the time, until* (1): *He will not return before we get back* (YD); *where, wherever* (2): *God knows where she'd been last night* (BNC); *if, in case* (3): *I should go in case I'm seen* (BNC); *because, since, as, why* (4): *I ran because I was afraid* (WH); *although, though, even though* (5): *I'll be there, although I may be late* (WH); *as, as if, how, in what way* (6): *I know how that ends* (COCA). Данные предложения передают ранее известные, но прежде не связанные знания о событиях. Установление собственно связи между известными, с точки зрения говорящего, вещами или событиями оказывается возможным исходя из знаний о положении дел, разделяемых со слушающим.

При использовании говорящим сложных предложений с низким или недоступным характером отображаемых референтов названные

выше характеристики элемента, связующего события, дефокусируются говорящим. Говорящий конструирует сложные предложения с так называемой смысловой равновесностью в качестве когнитивной доминанты. В частности, бессоюзные сложносочиненные предложения и сложносочиненные предложения, в которых коннекторы *for, and, nor, but, or, yet, so*, обычно размещенные в середине предложения, не несут ингерентную смысловую нагрузку, а используются в целях оформления речи для упоминания очередного, не восстановимого из памяти слушателя факта нового знания. Например: *Perhaps the proof of the pudding can be seen in public attitudes, for no such projects can come to fruition without substantial support from the public* (BNC); *It does not cover all possible uses, actions, precautions, side effects, or interactions of the medicines mentioned, nor is the information intended as medical advice for individual problems or for making an evaluation as to the risks and benefits of taking a particular drug* (COCA); *Some of the suggested activities can involve the entire class, but some may require help in small groups or one-on-one instruction* (COCA).

4. Когда в сознании говорящего представление о гиперсобытии складывается в связи с нарушением привычного порядка представления положения дел из-за утраты или опосредованности иерархической связи с другим событием, в качестве когнитивной доминанты выступает достраивание этого события и восстановление положения дел.

В этих целях говорящий прибегает к использованию эллиптических сложноподчиненных предложений, так называемых абсолютных независимых придаточных, а также частей сложносочиненных предложений с функцией завершения мысли, которые начинаются с союзов и союзных наречий. В данном случае в организации смысла предложений важную роль играет контекст: *My skin prickled at the chill in the room. I placed the jug on the floor next to the long stone bathing bench in the center of the room and flexed my relieved fingers. Shira added a few drops of rose oil from an alabaster bottle to the water as I uncovered the drain that emptied into the gardens. A little blue-headed agama lizard startled me when I moved the stone, and then scurried back out to the safety of the courtyard. **If only I could follow*** (COCA); *Er you're going to be busy tomorrow because it's the first day of the conference isn't it. Yes. I'm going to be busy tomorrow. Erm how about I... And Thursday probably. How about I contact you tomorrow evening? Okay. **After you get back from work.** You get back from work about tenish?* (BNC); *He paints stripes. He started screwing around with sticks and stones. He threw his collages into the water. He threw his paintings, his colors, his brushes, into the water. That stopped him; that was an option that was not open to him. The river flooded. **And his identity was sub-merged in the rising tide*** (BNC).

Эмоциональный аспект доминантного формирования смысла сложного предложения обусловлен тем, что говорящий способен концептуализировать гиперсобытие как проекцию своей личности, т.е. на основе субъективных образов и переживаний. В этом плане доминантный принцип организации языкового сознания проявляется в преимущественном позиционировании одних областей знания по сравнению с другими и ориентации на определенную шкалу мнений, стереотипов и ассоциаций. Рассмотрим когнитивные доминанты формирования смысла сложного предложения в эмоциональном аспекте на материале современного русского языка.

В словаре И.А. Баевой [Баева 1996] зафиксированы сложные предложения как иллюстрации переживаний личностей в связи с осмыслением некоторых психологических терминов. В целом словарь выстроен таким образом, что каждому термину дается развернутое и краткое определения, принятые социумом как отражение научного знания, которые обращены к абстрактно-логическому мышлению человека и выдержаны в академическом научном стиле. Далее с учетом практики реального общения автор предлагает образы и переживания, связанные с данным термином и относящиеся к личному обыденному опыту отдельных субъектов.

Интересно, что в своем большинстве эмоциональные переживания передаются сложносочиненными предложениями, которые отражают рациональный доминантный аспект и передают гиперсобытия, в которых одно событие выступает в качестве введения профилируемого положения дел, а другое является его спецификацией. При этом в качестве когнитивной доминанты говорящим используются такие характеристики, как:

А. Порядок противопоставления объектов / событий

Термин «Автоматизм». Переживание: «Дело мое здесь, а я могу быть в другом месте».

Термин «Взаимоотношения межличностные». Переживание: «Людей вокруг много, а поговорить не с кем».

Б. Порядок сопоставления объектов / событий

Термин «Агрессия». Переживание: «Мне плохо, и вам должно быть тоже плохо».

В. Порядок совместимости объектов / событий

Термин «Аффект». Переживание: «Это было не со мной, это был не я».

Термин «Регрессия поведения». Переживание: «Я – маленький, мне так хорошо».

Термин «Боль». Переживание: «Со мной что-то происходит, мне не “по себе”».

Г. Причинно-следственный порядок событий

Термин «Вытеснение». Переживание: «Я же тут вроде был, это не мое».

Термин «Лидер». Переживание: «Я самый главный, я – власть».

Термин «Мышление». Переживание: «Я мыслю, следовательно, я существую».

Одновременно дополнительное объяснение терминов через образы свидетельствует об использовании говорящим в качестве косвенных когнитивных доминант новых характеристик, связанных с проявлением иконичности, основанной на материальном подобии содержания и формы сложного предложения (Дж. Лайонз).

А. Изобразительное подобие

Термин «Автоматизм». Образ: Робот. Переживание: «Дело мое здесь, а я могу быть в другом месте».

Термин «Взаимоотношения межличностные». Образ: Птицы, плавающие в озере. Переживание: «Людей вокруг много, а поговорить не с кем».

Термин «Агрессия». Образ: Ураган. Переживание: «Мне плохо, и вам должно быть тоже плохо».

Термин «Мышление». Образ: Похоже на компьютер. Переживание: «Я мыслю, следовательно, я существую».

Термин «Лидер». Образ: Указательный палец, поднятый вверх. Переживание: «Я самый главный, я – власть».

Б. Звуковое подобие

Термин «Аффект». Образ: Взрыв баллона с газом. Переживание: «Это было не со мной, это был не я».

Термин «Боль». Образ: Любой сигнал тревоги. Переживание: «Со мной что-то происходит, мне не «по себе»».

В. Изобразительно-звуковое подобие

Термин «Регрессия поведения». Образ: Шарик, из которого выходит воздух. Переживание: «Я – маленький, мне так хорошо».

Термин «Вытеснение». Образ: Движение спиной по лавочке и последующее падение с нее. Переживание: «Я же тут вроде был, это не мое».

Не опосредованное, а прямое использование в качестве когнитивных доминант вышеуказанных характеристик могут иллюстрировать краткие стихотворные произведения, в которых лирический герой, представляя свои переживания, ассоциирует их с теми или иными образами. Разные виды подобия сложного предложения и некоторых образов при

этом могут быть однофокусными или многофокусными. Так, в стихотворении Г. Аполлинера «Медуза» в качестве когнитивной доминанты используется однофокусное изобразительное подобие, а в стихотворении П. Пикассо «14 декабря 1935 года [II]» это подобие многофокусное:

Медуза

О бедные медузы, с бурой
 Растрепанною шевелюрой,
 Вы ждете не дождетесь бури –
 А это и в моей натуре! (Г. Аполлинер)

14 декабря 1935 года [II]

на спине гигантского куска
 огненной дыни
 дерево обрывок реки
 гомерический стол
 под угрозой крыла которое спешит сложиться
 ради удовольствия видеть
 как у него на зубах умирает
 рассеивая его скуку
 травинка
 два крошечных бутона терна
 склонившиеся к самой земле
 целуются вот уже два или три дня
 раздраженные плачем
 маленькой девочки (П. Пикассо)

Подводя общий итог, следует еще раз подчеркнуть, что формирование смысла сложного предложения обусловлено когнитивно-доминантным принципом организации концептуальной и языковой картин мира и построения высказывания, что непосредственно связано с антропоцентрической природой языка. На уровне сложного предложения данный принцип может проявляться в рациональном и эмоциональном аспектах, что находит свое отражение в выборе конкретных когнитивных доминант при установлении тех или иных логических связей между передаваемыми событиями окружающего мира и при индивидуальной оценке переживаний и образов соответственно. Специфика сложного предложения заключается, в частности, в передаче конкретных концептуальных связей между отдельными событиями, которые устанавливает говорящий, объединяя их таким образом в некое гиперсобытие с

одновременной возможностью выдвижения одного из них на передний план в качестве основного. Эта специфика обусловлена творческим началом в языковом представлении и интерпретации взаимосвязанных событий, выборе конкретных языковых средств формирования и передачи смысла в ходе коммуникации. Когнитивные доминанты как схемы языковой интерпретации событий объясняют особенности концептуального варьирования речемыслительных процессов, что является важным для изучения концептуального пространства синтаксиса сложного предложения, выявления типологии его конструкций и расширения представлений о сложном предложении как формате знания.

Литература

- Анохин К.В. Фундаментальная научная теория сознания. URL: <https://psychosearch.ru/teoriya/psikhika/200-fundamentalnaya-nauchnaya-teoriyu-soznaniya-u-zhivotnykh-i-cheloveka>
- Аполлинер Г. Бестиарий, или кортеж Орфея с примечаниями Гийома Аполлинера (1911).
URL: http://www.lib.ru/POEZIQ/APOLLINER/apolliner1_2.txt
- Арутюнова Н.Д. Номинация и текст // Серебренников Б.А. Языковая номинация. Виды наименований. М., 1977.
- Баева И.А. Психология в понятиях, образах, переживаниях (возможности психологического словаря). М, 1996.
- Болдырев Н.Н. Интерпретирующая функция языка // Вестник Челябинского государственного университета. 2011, № 33 (248). Филология. Искусствоведение. Вып. 60.
- Болдырев Н.Н. Концептуально-тематические области языковой картины мира и их интерпретирующая функция // Когнитивные исследования языка. 2014. Вып. XVII.
- Болдырев Н.Н. Антропоцентрическая сущность языка в его функциях, единицах и категориях // Вопросы когнитивной лингвистики. 2015, № 1.
- Болдырев Н.Н. Язык как интерпретирующий фактор познания // Интерпретация мира в языке: коллективная монография. Тамбов, 2017.
- Болдырев Н.Н. Концептуальная деривация как основа вторичной языковой интерпретации // Когнитивные исследования языка. 2018. Вып. XXXIII.
- Виноградова С.Г. Коммуникативное членение сложного предложения: когнитивные основы: монография. Тамбов, 2015.

- Демьянков В.З.* Основы теории интерпретации и ее приложения в вычислительной лингвистике. М., 1985.
- Демьянков В.З.* Специальные теории интерпретации в вычислительной лингвистике. М., 1988.
- Демьянков В.З.* Интерпретация, понимание и лингвистические аспекты их моделирования на ЭВМ. М., 1989.
- Демьянков В.З.* Морфологическая интерпретация текста и ее моделирование. М., 1994.
- Демьянков В.З.* Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // Вопросы языкознания. 1994а, № 4.
- Демьянков В.З.* Лингвистическая интерпретация текста: Универсальные и национальные (идиоэтнические) стратегии // Язык и культура: Факты и ценности. М., 2001.
- Демьянков В.З.* О языковых техниках «трансфера знаний» в гуманитарных науках // Вопросы когнитивной лингвистики. 2015, № 4.
- Демьянков В.З.* Языковые средства когнитивной манипуляции в гуманитарных науках // Когнитивные исследования языка. 2018. Вып. XXXIII.
- Лурия А.* Язык и сознание. М., 1998.
- Келли Дж.* Теория личности. Психология личных конструктов. СПб., 2000.
- Павиленис Р.И.* Проблема смысла. Современный логико-философский анализ языка. М., 1983.
- Пикассо П.* Стихотворения. URL: <http://www.picasso-pablo.ru/poems/index.html>
- Тарасов Е.Ф.* Язык как средство трансляции культуры. М., 2000.
- Телия В.Н.* Вторичная номинация и ее виды // Серебренников Б.А. Языковая номинация. Виды наименований. М., 1977.
- Ухтомский А.А.* Доминанта. СПб., 2002.
- Фурс Л.А.* Синтаксически репрезентируемые концепты: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Тамбов, 2004.
- Фурс Л.А.* Когнитивное моделирование синтаксиса // Вопросы когнитивной лингвистики. 2007, № 4.
- Чалмерс Д.* Сознательный ум. В поисках фундаментальной теории сознания. М., 2013.
- Чейф У.Л.* Память и вербализация прошлого опыта // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XII. Прикладная лингвистика. М., 1983.

BNC – British National Corpus. URL: <http://www.natcorp.ox.ac.uk>

COCA – Corpus of Contemporary American English. URL: [http:// corpus.buy.edu/coca/](http://corpus.buy.edu/coca/)

Fauconnier G., Turner M. Mental Spaces: Conceptual Integration Networks // Cognitive Linguistics: Basic Readings / Ed. by D. Geeraerts. Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2006.

Langacker R.W. Grammar and Conceptualization. Berlin; N.Y., 2000.

Langacker R.W. Cognitive Grammar: A Basic Introduction. N.Y., 2008.

MD – Macmillan Dictionary. URL: <http://www.macmillandictionary.com/>

Reinhart T. Principles of Gestalt Perception in the Temporal Organization of Narrative Texts // Linguistics. 1984. Vol. 22 (6).

Wallace S. Figure and Ground: The Interrelationships of Linguistic Categories // Tense-Aspect: Between Semantics and Pragmatics. Amsterdam; Philadelphia, 1982.

Wårvik B. What is Foregrounded in Narratives? Hypotheses for Cognitive Basis of Foregrounding // Approaches to Cognition through Text and Discourse / Ed. by T. Virtanen. Berlin; N.Y., 2004.

WH – WoordHunt. URL: <http://woordhunt.ru>

YD – Your Dictionary. URL: <http://www.yourdictionary.com/>

Н.В. Уфимцева, О.В. Балясникова

Стратегии оперирования знаниями в условиях ассоциативного эксперимента

Выявление динамики человеческого знания, репрезентированного в языке различными способами, является актуальной проблемой, решаемой усилиями интегративных наук [Демьянков 2016; Демьянков и др. 2015]. Исследования, проводимые в течение ряда лет в отечественной психолингвистике, привели к формированию представлений о межкультурной онтологии анализа национальных (этнических) сознаний, в соответствии с которым образы сознаний одной национальной культуры анализируются в процессе контрастивного сопоставления с образами сознания другой культуры. Таким образом, исследование образов языкового сознания целесообразно проводить с участием большого числа информантов – носителей национальных языков.

Исследуемые образы как значимый компонент образа мира современных народов, населяющих Россию, связаны с практической картиной мира [Демьянков 1996] и в ситуациях межкультурных контактов проявляют себя как на осознанном, так и на неосознаваемом уровне. Полученные результаты могут рассматриваться в сопоставительном аспекте с привлечением данных рефлексии экспертного сознания (психолингвистов, лингвистов, социолингвистов) и социологических опросов, отражающих наивное метасознание носителей языка.

По мнению А.А. Леонтьева, человек «стоит перед лицом не отдельного предмета, а предметного мира как целого; он оперирует не отдельным значением, а системой значений» [Леонтьев 1993: 19]. Следовательно, языковое сознание – это и есть система предметных значений, которые могут быть представлены, в числе других форм, и в вербальной форме. В свою очередь, образ мира – это «отображение в психике человека предметного мира, опосредованное предметными значениями и соответствующими когнитивными схемами и поддающееся сознательной рефлексии» [Там же: 18]. А.А. Леонтьев пишет об инвариантном образе мира, соотнесенном с особенностями национальной культуры и национальной психологии, откуда следует, что «сознание человека всегда этнически обусловлено <...>; видение мира од-

ним народом невозможно перевести на язык культуры другого народа простым “перекодированием”» [Там же: 20].

Возможность вербализации содержания образов языкового сознания дает массовый свободный ассоциативный эксперимент. Ассоциативно вербальная сеть, построенная по материалам ассоциативного словаря [Караулов и др. 2002], позволила впервые создать реальную модель обыденного языкового сознания носителя языка, отвечающую системно-целостному принципу.

Каждый элемент ассоциативно-вербальной сети имеет и значение, и значимость/ценность одновременно (см. подробнее [Уфимцева 2013]). По мнению Ф. де Соссюра, «для установления значимостей необходим коллектив; существование их оправдывает только обычай и общее согласие; отдельный человек сам по себе не способен создать вообще ни одной значимости. Определенное таким образом понятие языковой значимости показывает нам, кроме того, что взгляд на член языковой системы как на простое соединение некоего звучания с неким понятием является серьезным заблуждением. Определять подобным образом член системы – значит изолировать его от системы, в состав которой он входит; это ведет к ложной мысли, будто возможно начинать с членов системы и, складывая их, строить систему, тогда как на самом деле надо, отправляясь от совокупного целого, путем анализа доходить до составляющих его элементов» [Соссюр 1977: 148]. За пределами языка значимость Соссюр именуется ценностью. Как показывают наши многочисленные эксперименты, фактор культуры является важным для поведения испытуемых в ассоциативном эксперименте, и без его учета получить достоверные экспериментальные данные не представляется возможным.

Объектом нашего внимания в настоящей статье являются когнитивные стратегии, которые используют испытуемые в ассоциативном эксперименте, реагируя на предъявленные слова-стимулы. Список стимулов был составлен с учетом двух основных принципов. Прежде всего, в него вошли лексические единицы, репрезентирующие наиболее значимые (применительно к задачам нашего исследования) образы языкового сознания носителей национальных языков. Другой принцип составления списка предусматривал учет семантических и морфологосинтаксических особенностей слов-стимулов, что позволяло бы не только описать значение отдельного стимульного слова, но и выявить компоненты его смысла, реализуемые в рамках типовой синтаксической модели, где интересующая нас лексема (или ее синонимы) могла быть как стимулом, так и реакцией. В результате предполагалось получить общий набор сходных семантических признаков для построения семан-

тического гештальта – модели репрезентации ассоциативного значения. Исходный список стимулов был апробирован в ходе экспериментов, проведенных в 2015–2016 гг. в Республиках Коми и Татарстан, цель которых заключалась в выявлении особенностей регионального языкового сознания в зависимости от факторов билингвальности и региона проживания информантов. В частности, сопоставлялось содержание ассоциативных полей лексем, соотносимых с социально значимыми сферами жизнедеятельности, и определялась зависимость указанного содержания от языка, на котором проводился эксперимент. Полученные данные далее сравнивались с целью выявления общего и специфического в содержании образов языкового сознания для каждой выборки.

Список содержал следующие стимульные слова:

1) номинации человека (людей) по признаку наличия родственных связей (отец, мать, бабушка, дедушка, брат, сестра и др.), по признаку пола (мужчина, женщина), по отношению к категории «свои/чужие» (враг, гость, друг, иностранец и др.), по критерию общности (личность, народ, общество), а также само слово человек – наиболее общая номинация, центр ядра русского языкового сознания; 2) местоимения 1, 2 и 3 лица (я, мы, ты, он, они); 3) абстрактную лексику, обозначающую ценности и антиценности (жизнь, любовь, вера, добро, зло и т.д.); 4) лексику, обозначающую социально значимые понятия (власть, выбор, закон и др.); 5) лексику, обозначающую территориально ограниченные объекты (дом, Россия, родина, земля); 6) оценочные существительные, прилагательные, наречия (грязь, ненавидеть, плохо), в том числе пары слов с оппозитивными компонентами значения (хороший – плохой, светлый – темный, добрый – злой, можно – нельзя и др.); 7) лексику обыденной сферы (еда, работа); 8) частотную глагольную лексику, называющую основные действия (говорить, думать, жить, любить); 9) этнонимы (коми, русские, татары) (подробно см. [Региональное языковое сознание 2017]).

Результаты эксперимента были далее систематизированы и представлены в виде семантического гештальта (по Ю.Н. Караулову) в его модифицированном варианте, с обозначением семантических зон и субзон. Последние не были сконструированы заранее, а определялись характером полученных данных: **Субъект** – в зону включались обобщенные номинации (люди, человек), номинации по социальным, половым, возрастным, оценочным характеристикам (учитель, женщина, ребенок, враг), названия общностей (коллектив, семья). В отдельных случаях в зону включались названия животных и мифологических существ. **Объект** – зону составили названия неодушевленных объектов, конкретных и абстрактных; отдельно указывались названия ценностей. Содержание зоны определяется особенностями семантики сти-

мального слова и поэтому, при статистической значимости, отличается неоднородностью. **Характеристика** – в данной зоне выделяются в целом три стандартные субзоны, содержание которых связано с положительной, отрицательной или нейтральной характеристикой объекта, обозначенного стимульным словом. **Действие, состояния** – в зоне представлены названия действий или состояний объекта, обозначенного стимульным словом, или действий по отношению к объекту и связанных с ним состояний. **Локус** – зона содержит названия территориальных объектов с актуализацией местонахождения или границы. **Эго** – зона включает местоимения и другие дейктические слова. **Устойчивые словосочетания** составили отдельную зону – это поговорки, фразеологизмы и клише. **Прочие** слова, представляющие собой, как правило, случаи реагирования не на содержание, а на форму стимула, составили отдельную зону. Каждая зона ассоциативного гештальта подразделялась на субзоны, например, выделялись субзоны **конкретных и абстрактных Объектов, положительных и отрицательных Характеристик** и т.д. Отнесение конкретного ассоциата в ту или иную субзону, а также количество субзон и их обозначение определялось для каждого стимула в зависимости от его значения и характера ассоциативной связи со словом-реакцией.

В таблицах и тексте описаний приняты следующие условные обозначения групп респондентов: РКрус – респонденты-русские, участвовавшие в эксперименте в Республике Коми на русском языке; ККрус – респонденты-коми, участвовавшие в эксперименте в Республике Коми на русском языке; РТрус – респонденты-русские, участвовавшие в эксперименте в Республике Татарстан на русском языке; ТТрус – респонденты-татары, участвовавшие в эксперименте в Республике Татарстан на русском языке; ТТтат – респонденты-татары, участвовавшие в эксперименте в Республике Татарстан на татарском языке. Слова-стимулы и анкета в последнем случае предъявлялись также на татарском языке.

Ниже мы рассмотрим стратегии ассоциирования, выявленные при реагировании испытуемыми на стимулы – номинации ценностей, прилагательные, местоимения и глаголы. В качестве иллюстрации приведем таблицы, содержащие результаты по каждой зоне и субзоне семантического гештальта на каждое слово группы по всем пяти выборкам. Выделение семантических зон в связи со словом-стимулом и ранжирование содержащихся в них реакций по частотности позволяет выявить типичные стратегии испытуемых, зависящие в одних случаях от семантических и формально-грамматических характеристик стимула, а в других – от очевидного влияния целостности, которая определяет значимость обозначенного соответствующим словом объекта.

На слово-стимул **добро**, являющееся наименованием ценности (группа **Ценности**) и абстрактным понятием, зафиксированы ассоциаты, распределенные далее по семантическим зонам следующим образом (Таблица 1).

Таблица 1. Распределение ассоциатов на слово-стимул **добро** по семантическим зонам и субзонам (данные в %)

Зона/Регион	РКрус	ККрус	РТрус	ТТрус	ТТтат
Субъект	2,6	2,7	1,3	2,8	5,5
Объект	62,7	57,1	59,2	50,7	36,4
<i>Предметы и реалии</i>	10,6	12,2	9,9	9	6,7
<i>Ценности, эмоции</i>	44,7	42,1	44,6	37,7	19,8
<i>Синонимы</i>	7,4	2,7	4,7	4	–
<i>Антонимы</i>	–	–	–	–	9,9
Характеристика	2,1	4,8	5,7	4	13
<i>Положительная</i>	1,5	3,4	4,5	4	4,7
<i>Нейтральная</i>	0,6	–	0,6	–	–
<i>Отрицательная</i>	–	1,4	0,6	–	8,3
Действие, состояние	20,7	21,7	22,9	24,9	39,1
	3,8	3,4	3,5	4,6	3,5
Локус	1,8	4,1	1,2	2,9	–
Эго	1,7	–	–	1,1	–
Время	0,6	–	0,6	–	–
Устойчивые словосочетания	5,6	6,1	6	7,8	2,4
Прочие	–	–	–	0,9	–

Анализ структуры ассоциативного значения слова-стимула показывает, что у всех пяти групп испытуемых она в общем совпадает, сходство наблюдается и в иерархии зон. Первое место по числу ассоциаций занимает зона **Объект**, в которой большее количество ассоциаций дают РКрус (62,7%), а меньшее – у ТТтат (36,4%). На втором месте зона **Действие, состояние** с наибольшим числом реакций у ТТтат (39,1%), а с наименьшим – у РКрус (20,7%). На третьем месте зона **Устойчивые словосочетания** с наибольшим числом реакций у ТТрус (7,8%). Зона **Субъект** занимает пятое место с небольшим процентом ассоциаций у всех групп испытуемых. Зона **Локус** представлена неравномерно: она более выражена у ККрус, а у ТТтат не выражена совсем.

Содержание зон семантического гештальта демонстрирует, что в зоне **Субъект** у испытуемых-татар как на русском, так и на татарском язы-

ке добро ассоциируется с мамой, очевидным источником добра, и с адресатом имплицитного действия «делать добро» – *окружающим*. РТрус источником добра считают *волонтера*, а в Республике Коми – *мату и волонтера*. Зона **Объект** в качестве самой частотной содержит антонимическую реакцию *зло*. У всех групп испытуемых **добро** конкретизируется как *помощь, поступок*, а у испытуемых-татар – *высшая цель*.

Зона **Действие, состояние** содержит в качестве частотной фразеологически связанную со стимульным словом реакцию *побеждает зло*, а также *творить, делать*, где **добро** выступает в качестве объекта. Зона **Характеристика** содержит общую для всех испытуемых предикацию *хорошо*. Все группы испытуемых используют один и тот же прецедентный текст – *Добро пожаловать*.

Таким образом, **добро**, с одной стороны, как наименование ценности провоцирует реакцию-антиценность *зло*, а с другой – как абстрактное существительное – конкретизируется: хотя часто конкретизация представляет собой те же абстракции, но другого порядка. Последняя стратегия очень типична: если стимул обозначает абстрактную сущность, наблюдается стратегия конкретизации в сторону обозначения окружающих человека объектов (реакции *помощь, поступок*), см., например, реакции на слово-стимул **вещь**, конкретизируемое как предмет одежды. Другой типичной стратегией реагирования на стимул является достраивание до целого – воспроизведение второго компонента ФЕ, которая оказывается достаточно устойчивой в сознании испытуемых; частотность воспроизведения ФЕ возрастает при совпадении порядка следования стимула в ассоциативном эксперименте и первого компонента канонической ФЕ.

Ниже представлен гештальт слова **добрый** – слова, семантически сходного с предыдущим рассмотренным нами стимулом, но имеющие формальные отличия от первого (Таблица 2).

Таблица 2. Распределение ассоциатов на слово-стимул **добрый** по семантическим зонам и субзонам (данные в %)

Зона/Регион	РКрус	ККрус	РТрус	ТТрус	ТТгат
Субъект	50,9	51,3	45,3	49,6	33,5
<i>Нейтральный</i>	28,6	23	28,2	25,4	24,9
<i>Родственники</i>	13,9	21	10,4	17,9	5,7
<i>Род деятельности</i>	3,8	2,6	1,3	2,4	2,2
<i>Животное</i>	4,6	3,2	4,7	2,4	0,7
	–	1,5	0,7	1,5	–

Объект	17,2	16,6	21,3	18,9	37,3
<i>Абстрактный</i>	6,8	8	10,8	9,5	20,5
<i>Конкретный</i>	10,4	7,5	10,5	9,4	2,5
<i>Ценности</i>	–	1,1	–	–	14,3
Характеристика	22,6	27,8	24,1	21,9	25,7
<i>Положительная</i>	9,8	16	14	11,4	11,4
<i>Нейтральная</i>	–	2,1	0,7	1	0,7
<i>Отрицательная</i>	12,8	9,7	9,4	19,5	13,6
Действие,	–	–	–	1	2,1
состояние	–	–	0,7	–	1,4
Локус	–	–	–	–	–
Эго	–	1,1	2,9	2,2	–
Время	–	–	–	–	–
Устойчивые словосочетания	9,3	3,2	7,5	6,4	–
Прочие	–	–	–	–	–

Ассоциативный гештальт данного рассматриваемого стимула представлен у всех пяти групп зонами **Субъект**, **Объект** и **Характеристика**. Первая зона содержит наименьшее, а вторая – наибольшее по сравнению с другими выборками количество реакций у ТТат. Зона **Характеристика** выражена во всех выборках.

При ответе на русском языке реализуется типичная стратегия приписывания признака субъекту (*человек*) или объекту (*поступок*). Другая стратегия – противопоставление понятия (*злой*). Отличия ТТат от всех других испытуемых определяются фактором языка, однако экспликация фразеологически связанного со стимулом компонента является универсальной стратегией (*көн* ‘день’), вторая по частотности реакция содержательно совпадает с другими выборками *гамал* ‘поступки, деятельность’ (3,2%). Существенной особенностью в данной выборке является наименование объектов ценностной системы: *эш* ‘работа, занятие, труд’ (11,1%); *яхшылык* ‘добро’ (1,8%); *тормыш* ‘жизнь’ (1,4%), концептуально связанные со стимулом.

Оценочное противопоставление и воспроизведение фразеологически связанного со стимулом ассоциата, очевидно, являются универсальной стратегией испытуемых. Для стимулов-прилагательных важной оказывается их форма именно в русском языке – и порождение атрибутивной связи как одной из наиболее типичных.

В эксперименте были также задействованы компоненты местоименной системы. Ниже представлен семантический гештальт, построенный на основе данных реакций на стимул **я** (Таблица 3).

Таблица 3. Распределение ассоциатов на слово-стимул **я** по семантическим зонам и субзонам (данные в %)

Зона/Регион	РКрус	ККрус	РТрус	ТТрус	ТТгат
Субъект	32,7	70,9	52,8	61,8	43,8
<i>Человек</i>	10,8	52,0	35,2	42,1	23,4
<i>Родственник</i>	–	–	–	0,6	–
<i>Пол/возраст/имя</i>	6,0	9,1	5,7	4,7	4,9
<i>Деятельность</i>	9,6	7,4	4,6	5,3	11,3
<i>Национальность</i>	1,5	1,4	0,8	1,2	4,2
<i>Положительный</i>	3,6	2,0	6,5	6,4	–
<i>Отрицательный</i>	0,6	–	–	1,5	–
<i>Другой</i>	0,6	–	–	–	–
Объект	1,8	1,4	4,6	5,8	1,1
<i>Абстрактный</i>	–	–	0,8	1,7	–
<i>Конкретный</i>	1,8	1,4	3,8	4,1	1,1
Характеристика	10,8	8,8	14,2	10,9	12,1
<i>Положительная</i>	8,7	8,8	13,4	9,1	9,8
<i>Нейтральная</i>	2,1	–	0,8	1,8	2,3
<i>Отрицательная</i>	–	–	–	–	–
Действие, состояние	10,5	5,4	15,3	10,5	7,2
Локус	–	–	0,8	0,6	0,8-
Эго	9,6	10,8	10,7	6,4	27,9
Время	–	–	–	–	–
Устойчивые словосочетания	1,5	–	0,8	0,6	–
Прочие	3,0	2,7	2,7	3,5	7,2

Зона **Субъект**, наиболее значимая во всех выборках, указывает на важную роль стратегии идентификации; указанная зона наиболее дифференцирована у всех информантов, и основное число ассоциатов приходится на субзону **Человек** – во всех выборках наиболее частотными являются ассоциаты *человек* и *личность*. На втором месте по частотности оказываются различные номинации в разных выборках: у РКрус и ТТгат дается много наименований лиц по *деятельности* (чаще всего *студент*). У ККрус на втором месте по частотности оказываются слова, обозначающие человека по его *полу* и *возрасту*: *девушка*, *ребенок*, *мужчина* (9,1%), а у РТрус и ТТрус – положительно-оценочные слова: *молodeц*, *красавчик* и т.д. (6,4%). Во всех выборках, особенно у ТТгат, встречаются слова, обозначающие *национальность*. Таким образом, идентификация происходит сначала через соотнесение **я** с родовым понятием, затем – по социальной роли, полу и возрасту. При этом очевидно, что **я** для испытуемых – актуализированный, как в естественных условиях

коммуникации, эгоцентр: в ассоциациях зоны **Субъект** отсутствуют слова, заведомо не способные характеризовать участников эксперимента ни по возрасту, ни по роду занятий.

Положительно маркированная лексика встречается как в зоне **Субъект**, так и в зоне **Характеристика**, таким образом стратегии идентификации и характеристики могут пересекаться. **Положительная Характеристика** преобладает во всех выборках, а у ККрус отрицательная отсутствует. Зону **Действие, состояние** заполняют глаголы, обычно настоящего времени: *люблю* (РТрус, РКрус), *яратам 'люблю'* (ТТгат), *смогу/все смогу* (ТТрус). Ассоциации, входящие в зону **Объект**, более выражены у РТрус и ТТрус, в то время как у ТТгат число таких ассоциаций минимально, что определяется, очевидно, особенностями языка. В этой зоне почти не встречается наименований конкретных объектов, за исключением их небольшого количества у РТрус – *дом* (0,8%) и *звезда, легенда, солнце* у ТТрус (1,7%), которые можно считать и характеристиками; такое же значение имеет, по-видимому, и единственный компонент зоны **Объект** у ТТгат: *алтын* (золото). Интересно, что у испытуемых в Татарстане упоминаются сначала местоимения 2 и 3 лица, а у испытуемых в Коми – 2 и 1 лица мн. числа. Стимул **я** (как и другие стимулы-местоимения) ожидаемо вызывает, с одной стороны, множество прономинальных реакций-коррелятов, а с другой – конкретизирующих ассоциаций, компенсирующих обобщенность семантики стимула. В первом случае, очевидно, играет свою роль референциальная неопределенность слова-стимула вне контекста (речь может идти и о формальной стратегии реагирования), во втором – восприятие испытуемыми его значения (значимости) в широком – социокультурном – контексте. Во втором случае отмеченная стратегия идентификации реализуется посредством синтаксических ФЕ.

Ниже представлен ассоциативный гештальт стимула **любить**, входящего в число группы стимулов – частотных глаголов (Таблица 4).

Таблица 4. Распределение ассоциатов на слово-стимул **любить** по семантическим зонам и субзонам (данные в %)

Зона/Регион	РКрус	ККрус	РТрус	ТТрус	ТТгат
Субъект	30,2	30,2	37,2	38,2	28,4
<i>Человек</i>	7,1	11,4	10,1	8,9	1,3
<i>Родственник</i>	18,8	18,8	15,8	22,4	17,3
<i>Пол</i>	4,3	–	1,3	4,9	8,9
<i>Другой</i>	–	–	–	2,0	0,9

Объект	17,9	12,8	14,1	16,6	14,7
Характеристика	8,2	8,1	6,4	4,6	0,9
<i>Положительная</i>	–	–	–	–	–
<i>Нейтральная</i>	–	–	–	–	–
<i>Отрицательная</i>	–	–	–	–	–
Действие, состояние	25,9	30,9	32,9	24,9	46,7
Локус	–	–	–	–	–
Эго	8,8	10,1	13,4	8,3	–
Время	6,3	6,0	2,0	3,2	–
Устойчивые словосочетания	2,6	2,0	3,4	–	1,8
Прочие	–	–	0,7	–	9,2

Ассоциативный гештальт демонстрирует особую выраженность двух зон – **Субъект** и **Действие, состояние**. Наполнение первой относительно равномерно во всех группах, но несколько более выражено у ТТрус (38,2%), а менее – у РТрус и РКрус (30,2%). Зона **Действие, состояние** количественно так же насыщена, с преобладанием ассоциатов в выборке ТТат (46,7%). Зона **Эго** включает больше всего реакций в группе РТрус (13,4%), а у ТТат не представлена совсем.

Все испытуемые, кроме ККрус, в качестве **Объекта** любви называют человека какого-либо пола: у РТрус и ТТат это лицо женского пола, у ТТрус – и мужского, и женского. Вместе с тем зона **Характеристика** у информантов-татар самая малочисленная; наиболее частотной у всех испытуемых является реакция *сильно*, а указание на постоянство **любви** (зона **Время**) чаще встречается у жителей Коми и совсем не представлена среди ответов ТТат. *Родина* как **Объект** встречается у всех испытуемых, кроме ТТрус. Слова-абстракции (и одновременно – названия ценностей), вызываемые словом-стимулом, обозначаются как *жизнь, счастье и мир*.

Глаголы, активизируя объектную и деятельностную семантические зоны, часто вызывают реакции, обусловленные грамматическими и семантическими особенностями стимулов (ранее мы отмечали, что формальная связанность компонентов ассоциативной пары оказывается особенно важной, если стимулами выступают глаголы и предикативные наречия) [Региональное языковое сознание 2017]. Семантическое разнообразие глагольных ассоциаций определяется, с одной стороны, устойчивой взаимосвязью в языковом сознании представлений о типичных человеческих действиях, которые реализуются в обычной жизнедеятельности (ср. *говорить* и *думать, думать* и *делать*), а с другой – частотностью синтагматических связей этих слов в речи. Отме-

тим, что действие и состояние, судя по содержанию ассоциативных реакций, также подвергаются конкретизации.

Подводя итог этим наблюдениям, отметим, что в большинстве случаев наиболее «семантически нагруженными» независимо от характера стимула оказываются зоны **Субъект**, **Объект** и **Характеристика**. Дифференцированность этих зон (количество и названия субзон) апеллирует к частным стратегиям ассоциирования, зависящим от семантических и грамматических свойств конкретного стимула, определяющего его сочетаемость со словом-реакцией, от выборки испытуемых (шире – от особенностей национальной культуры, см., например, [Региональное языковое сознание 2017]) и от структуры языка (так, интересны различные стратегии испытуемых-билингвов при ответе на русском и родном языке, которые в данной статье не рассматриваются). Все три зоны оказываются значимыми почти во всех ассоциативных гештальтах. Мы полагаем, что этот факт связан с наиболее общими когнитивными стратегиями испытуемых, реализуемыми в условиях ассоциативного эксперимента. Первая – персонализация – обусловлена социальной сущностью самого оценивающего субъекта и включенностью окружающих его реалий в социальные отношения; вторая – соположение, которая определяется естественной способностью человеческого сознания сопоставлять и сравнивать реалии окружающего мира, третья – характеристика, которая связана опять же с человеческой способностью определять и оценивать окружающие реалии.

Среди частных, но типичных стратегий наших испытуемых могут быть названы отмеченные нами ранее два типа *конкретизации*: первый тип реализуется через гипонимизацию, подбор синонимов, перифраз; второй тип – через концептуальное сближение со сферой жизнедеятельности человека, когда реакции, тем не менее, остаются абстрактными по значению словами. Еще одна частотная стратегия – *противопоставление*, установление оппозитивной связи – также типична в условиях ассоциативного эксперимента. Она реализуется особенно явно в случае оценочности стимула, закрепленной в языке, например в виде словарных стилистических помет. Наконец, для испытуемых типична стратегия *дополнения* – воспроизведение фразеологически связанных со стимулом компонентов – как лексически, так и синтаксически.

Литература

Демьянков В.З. О когниции, культуре и цивилизации в трансфере знаний // Вопросы когнитивной лингвистики, № 4, 2016.

- Демьянков В.З. Психолингвистика // Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина / Под общей редакцией Е.С. Кубряковой. М., 1996.
- Демьянков В.З., Жарова Д.В., Сергеев А.И. Контрастивная лингвистическая психология и психолингвистика // Вопросы психолингвистики, № 2 (24), 2015.
- Караулов Ю.Н., Черкасова Г.А., Уфимцева Н.В., Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф. Русский ассоциативный словарь. Т.1, 2. М., 2002.
- Леонтьев А.А. Языковое сознание и образ мира // Язык и сознание: парадоксальная рациональность. М., 1993.
- Региональное языковое сознание коми, русских, татар: проблемы взаимодействия: Коллективная монография. / Под редакцией Н.В. Уфимцевой. М.-Ярославль, 2017.
- Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977.
- Уфимцева Н.В. Идеи Ф. де Соссюра в психолингвистическом прочтении // Вопросы психолингвистики, № 1 (17), 2013.

М.И. Киосе

**«Удачная интерпретация»
текстовой образности
в современных когнитивных концепциях¹**

**Идеи «удачной интерпретации»
в современной когнитивной лингвистике**

Вопросы исследования интерпретации получили новое звучание в современной лингвистике благодаря интеграции положений различных наук и разработке собственного лингвокогнитивного метода анализа интерпретации.

Идея интерпретации, проникшая в языкознание в 60-е гг. XX в. (см. обзор в [Демьянков 1979]), в настоящее время проявляет себя в двух направлениях: либо «внутренний мир интерпретируется в виде речи», либо «когда же речь задана как объект восприятия – интерпретируется она [речь]» [Демьянков 1994: 30].

Первый подход активно развивается в современной науке: в лингво-семиотике это, прежде всего, трансформации теории диалогической интерпретации М.М. Бахтина в концепциях «ответного понимания» (*responsive understanding*) или «интерпретирующего другого» (*interpretive otherness*) (см., например, [Petrilli, Ponzio 2003; Petrilli 2016]); в философской семиотике – например, концепции о лабиринтах «семиотических форм» [Кассирер 1998]; в феноменологии – теории о реакциях организма (например, [Maturana, Varela 1980]); в интерпретационной семантике – теории ограничений, например, в «семантике отказов» (*default semantics*) [Jaszczolt 2005]; в логической семантике – параметрические и непараметрические теории интерпретации (см., например, [Korpperman 1972; Hodges 2008]); в логической прагматике – теории пресуппозиций и логических инференций (см. современное видение проблемы в [Karttunen 2016]); в психологии и нейрофизиоло-

¹ Публикация выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 14-28-00130) в Институте языкознания РАН.

гии – концепции перцептивной салиентности и измерения поведенческих манифестаций (см. обзор в [Andrews-Hanna et al. 2018]); в переводоведении – концепции переводческой эквивалентности В.Н. Комиссарова, Ю. Найды и др.

Существует и подход, при котором интерпретация рассматривается с позиции интерпретатора-ученого. В основе данного подхода лежат положения о «мета-статистике», «мета-методах» [Huber 1997] и теории анализа данных [Viertl 2002], в которых анализируются пути принятия решения интерпретатора-исследователя (см., например, обзор в [Grolmund, Wickham 2014]).

Получили развитие и интегративные концепции интерпретации, сосредоточившиеся на интерпретации мира через язык (см., например, [Болдырев 2011; Интерпретация мира в языке 2017]), где позиции адресата и исследователя не разграничиваются, а предметом исследования становится деятельность интерпретатора в целом, ее отдельные этапы и когнитивные механизмы. В качестве примера зарубежных когнитивных работ, где также нивелированы различия между интерпретатором-читателем и исследователем, назовем работы Дж. Лакоффа и Р. Нуэза, в которых сочетаются идеи об интерпретации метафор и об исчислении успешности их интерпретации [Lakoff, Núñez 1997; 2000]. Появление интегративных концепций интерпретации, как мы полагаем, связано с поиском лингвокогнитивной методологии анализа данного процесса, возможностью «измерения» показателей интерпретации через анализ текста, который может проводиться только интерпретатором-исследователем.

В работах В.З. Демьянкова, посвященных теории лингвокогнитивной и прагматической интерпретации, закладываются основы ее параметризации и схематизации, что позволяет лингвисту разработать собственный инструментарий для оценки интерпретации, не ограничиваясь исключительно философскими и семиотическими методами. Интерпретация понимается исследователем как процесс «постепенного расширения или сужения текущего набора гипотез интерпретатора относительно скрытой структуры (т.е. результирующей интерпретации) интерпретируемого объекта (например, всего высказывания), <который состоит из> единичных промежуточных “гипотетических интерпретаций”» [Демьянков 1981: 369]. Интерпретация во многих подходах и парадигмах соотносится с пониманием. Так, в религиозной картине мира понимание приравнивается к интерпретации, будучи принципиально многовариантным, связанным с субъективностью [Лосев 1997; Постовалова 2016]; в философии языка понимание противопоставлено

объяснению и может быть связано, например, с «конфликтом интерпретаций» [Рикер 2002]. Разграничив понимание как «одновременно и интерпретативную деятельность (в этом можно видеть культурную обусловленность), и идеал, к которому мы стремимся (в этом цивилизационная составляющая понимания)», и интерпретацию как «решение задачи, связанной с распознаванием значения» [Демьянков 2016: 64], В.З. Демьянков отводит пониманию (связанному с оценочностью, цивилизационностью, различными путями трансфера знаний) более значимое место в лингвистической философии, оставляя интерпретации место более скромное, но при этом более обозримую для лингвистического анализа роль – подвергаться измерению. Так, исследователь признает возможность интерпретации с опорой на некоторые переменные, или параметры, при этом решение вопроса о комплексной интерпретации принимается по итогам решений промежуточных интерпретаций как набора гипотез [Демьянков 1981: 369]. В то же время с позиций деятельностного подхода интерпретация шире, чем понимание, ввиду нейтральности интерпретирования и оценочности понимания [Демьянков 1983: 66]. Состав анализируемых В.З. Демьянковым «модулей понимания» в то же время включает в себя и «построение и верификацию гипотетических интерпретаций», где интерпретации рассматриваются как некоторые гипотезы, или ожидания, а понимание включает в себя «интерпретирование как прохождение лабиринта (разветвления в лабиринте – это альтернативные возможности интерпретации)» с «постепенным привыканием к специфике лабиринта, к степени его запутанности и т.п.» [Там же: 59]. Таким образом, интерпретация как «мысленная реорганизация хода событий, задаваемых в речи» [Демьянков 1989: 52], может быть представлена как решение адресатом вопросов о значении некоторых параметров интерпретируемого текста. При этом существование различных принципов интерпретации (например, принципов гипотетической интерпретации, композиционности, множественности видов, иерархичности, минимальности ограничений и др., подробнее см. [Демьянков 1981]) объясняет ее вариативность, которая не была предусмотрена логическими теориями интерпретации (кроме, пожалуй, теории абдукции Пирса). В этом проявляется эвристичность интерпретации. При интерпретации текста, однако, некоторые операции будут более или менее результативными, где результативность связана с распознаванием авторского намерения (например, референции образных единиц). Такая результативность уже граничит с пониманием как «внутренне реализованной “удачной интерпретацией”, не обязательно проявленной внешне, для других лю-

дей» [Демьянков 2001: 311]. «Удачная интерпретация» образности, недосказанности, избыточности и других проявлений текстовой импликации сопряжена с решением конкретной проблемы, например распознавания референции или установления авторских интенций. Будучи более ограниченной и локальной проблемой, не связанной с интерпретацией всего текста в целом, она поэтому может быть решена с помощью параметрического метода оценки интерпретации читателя.

«Удачная интерпретация» текстовой образности

В современной когнитологии разрабатывается особый подход к параметрической интерпретации. Хотя ключевой методикой, применяемой в подобных исследованиях, является установление показателей некоторых параметров, данная методика имеет мало (или почти ничего) общего с методиками параметрического анализа, используемыми в логической (в том числе композиционной семантике), где показатели рассматриваются в рамках теорий множеств. Дело в том, что статистический анализ не является основным (единственным) методом, используемым при изучении особенностей интерпретации. При составлении списков параметров и их возможных показателей когнитологи руководствуются не столько формальными языковыми категориями, такими как грамматическое время, переходность глагола, число и лицо, сколько возможностями реализации функционально-семантических категорий, например категорий темпоральности, атрибутивности, таксиса и др. Данные категории рассматриваются как не имеющие жестко связанных с ними языковых маркеров (показателей параметров); последние находятся в отношениях инвариантности и континуальности. В действительности такие отношения категорий и их показателей получают описание и в логической семантике. Например, в работе 1968 г. Н.Д. Арутюнова, развивая идеи С.О. Карцевского, отмечает, что «употребление форм постоянно выходит за пределы одной функции» [Арутюнова 1968: 91], и далее рассматривает пять видов отношений между означаемым и означающим, в том числе смешанные и комбинированные отношения. В когнитивных теориях перекатегоризации как «переосмысления слова в результате его соотнесения с другой категорией за счет реализации признаков другой категории, или другого концепта, например, не действия, а процесса: *Indian summer came and went*» [Болдырев 2004 (2016): 45] также развиваются идеи о вариативности этих отношений. Так, при рассмотрении категориального континуума,

представленного единицами лексического уровня, Г. Радден и Р. Дирвен демонстрируют переходы от объектности (лексема *car*) к субстанциональности (лексема *water*) через группу смешанных категорий (*blend-ed categories*), таких как «субстанция как объект» (*substance as object*) в *a beer* как *portion* и *two wines* как *variety* и «объект как субстанция» (*object as substance*) в *a lot of car* как *domain* и *furniture* как *superordinate* [Radden, Dirven 2007: 74].

Среди категорий, с большим трудом поддающихся параметризации, оказывается и категория референции / референциальности. Категория референции как концептуальная категория, или как «категория функционально-семантическая» (см. работы школы А.В. Бондарко, например [Бондарко 2011]), может проявлять себя в отношении типов референтов и в отношении отнесения к референту в целом. В первом случае речь идет о типе (характере) той области знания, которая означает языковой единицей. В этом отношении показательны работы Ю.С. Степанова, Л. Талми, К. Синхи, Е.В. Рахилиной, О.К. Ирисхановой, в которых постулируется возможность изучения референциальной отнесенности через знаки языка. Так, К. Синха указывает, что «первая проекция связывает знаки языка ментальных репрезентаций (*mentalese*, *Language of thought*, *LoT*) и окружающий внешний мир; вторая же связывает ментальные репрезентации и выражения естественного человеческого языка» [Sinha 1999: 239]. Как отмечает О.К. Ирисханова, «концептуализация референтной сущности может в целом охватывать несколько признаков, которые опираются как на онтологические свойства референта, так и на особенности его восприятия человеком» [Ирисханова 2004: 187]. Во втором случае речь идет о возможности наименования (в широком значении) референта через его идентификацию или же соотнесение с некоторой его характеристикой или свойством, что в действительности сближается со сравнением двух референтов. Второй подход получил развитие в теориях лексической, синтаксической и текстовой семантики, отечественной (см., например, [Падучева 1980; Крылов 1984]) и зарубежной (например, [Thrane 1980; Givón 1995; Van Hock 1997]), в описании проявлений референтности и нереперентности, определяющихся относительно семантико-синтаксического положения языковой единицы. В когнитивной семантике нереперентные и референтные употребления языковых единиц, как, например, в *Вася лгун* и *Этому лгуну верить нельзя*, часто не разграничиваются при анализе референции. Например, в работах Дж. Стинга (интересно отметить, что Дж. Стинг «пришел» в лингвистику из семиотики) и школы интерпретации метафоры (*Metaphor Identification Procedure*, *MIP*) даже сравни-

тельные конструкции рассматриваются как метафорические [Steen et al. 2010]. Ни в коем случае не оспаривая эти положения, мы все-таки хотели бы подчеркнуть, что пренебрежение семантикой языковых категорий при анализе функционально-семантических категорий приводит к тому, что исследователи сталкиваются с проблемой невозможности толкования неоднозначных результатов экспериментальных исследований по установлению референции. Так, в статье [Coulson, van Petten 2002] исследуются особенности ранжирования когнитивных усилий при восприятии не прямых (сугубо метафорических) и прямых наименований в предложениях, построенных по синтаксической модели [Subj – Pred], где метафорическая номинация определяется в позиции предиката, при этом вариативность структур как субъекта, так и предиката не предполагается. В ходе эксперимента авторы фиксируют отсутствие значимых расхождений в фиксации когнитивных усилий на восприятие и распознавание двух типов наименований. В то же время в [Balota et al. 1985; Анисимов и др. 2014] показано, что восприятие семантически и синтаксически неоднозначных слов требует разных когнитивных усилий.

Мы полагаем, что при анализе интерпретации референциальности необходимо учитывать не только референцию, но и референтность. Интерпретация референтных и нереферентных единиц требует разных когнитивных усилий и управляется разными параметрами. Особенно сложно решаются вопросы референциальности языковых единиц, означающих такие типы знания, которые характеризуются подвижностью внутренней структуры, нестабильностью языковой реализации, модусной принадлежностью. К их числу принадлежат и окказиональные не прямые номинации в тексте.

Гипотезу об интерпретационной вариативности референтных и нереферентных единиц мы будем проверять на материале не прямых окказиональных номинаций, то есть таких, референция которых не устанавливается с опорой на словарные дефиниции или результаты корпусного анализа. Например, в *Это, знаете ли, просто смешно! **Ком** венчал собой две последние выморочные недели: развод, Хыкина истерика в ЗАГСе и Викина сломанная лодыжка, из-за которой ехать на турбазу Ольге пришлось в одиночестве. **Лохматая черная вишенка на ядовитом ведьмином торте с поганочными цукатами*** (НКРЯ) словарная семантика номинации *вишенка* не включает даже с пометой «переносное значение» значение, связанное с референциальной областью знаний ЖИВОТНОЕ или КОТ. Корпусный анализ также не дает подобных результатов. В поле исследования попадут только не прямые окказиональные номинации с определенным референциальным статусом, то

есть с прямой номинацией в препозиции, как, например, в *Е. С. – многообещающие инициалы. Для учительницы самый лучший вариант, конечно, Елена Сергеевна. Настольная книга драматурга и педагога, недорогая к тому же* (НКРЯ), где непрямым номинативной группе предшествует прямая номинация *Елена Сергеевна*.

Для анализа и верификации результатов мы будем использовать метод параметрической интерпретации, учитывая показатели частотности проявлений параметров в тексте и проверяя их значимость в ходе окулографического эксперимента.

Методика оценки «удачной интерпретации» референции не прямых окказиональных номинаций в тексте

Проблема интерпретации образов референтов непрямого наименования уже получила некоторые способы решения: через определение корпусной частотности и характер лексем ближайшего окружения, через данные нейропрагматики, через кинестезические и окулографические показатели. Анализ данных работ показывает, что, помимо нивелирования сложной структуры категории референциальности (что становится, на наш взгляд, основной причиной противоречивых результатов), исследователи руководствуются данными только одной информационной системы (корпусной, магнитно-резонансной, окулографической) для оценки интерпретации рассматриваемых структур знаний. Таким образом, верификацию полученные результаты не получают. Однако концептуальная структура референта непрямого наименования обладает подвижным характером из-за активности процессов фокусирования и дефокусирования; поэтому данные, полученные на одном фрагменте исследуемого материала, могут отличаться при смене материала (например, при смене характера референта, степени салиентности анализируемых единиц в тексте, модуса телесной концептуализации, типа текстовой роли, типа самого языка и т.д.). Это значит, что экстраполяция данных на другие не прямые номинации затруднена, что снижает ценность таких результатов. Одним из путей решения проблемы видится соотнесение показателей оформления таких номинаций в тексте с экспериментальными данными их интерпретации. Такой метод анализа дает возможность предварительно наметить тестируемые параметры и показатели, определить их частотность и корреляции в техниках наименования референта, а затем верифицировать экспериментальным путем.

Данный метод анализа триангуляционный и применяется в настоящем исследовании для выявления факторов интерпретации письменных русскоязычных текстов, определяющих успешность распознавания референта не прямой номинации в нереферентной и референтной позиции, как в *Сама ты **непроизвольная мимика**, – говорила она* (НКРЯ) и *Одно стёклышко было залеплено пластырем, и оттого прабабушка напоминала портреты великого полководца Кутузова. В доме её так все и звали. «Тише, **Кутузов** идёт!»* – говорила тётя Лёля, когда в коридоре раздавался стук костыля (НКРЯ). Мы предполагаем, что при интерпретации нереферентных и референтных проявлений не прямых номинаций читатель будет руководствоваться разными параметрами, хотя тип референта может при этом не различаться. Особенно интересны ситуации смешанного характера, которые нельзя однозначно отнести к референтным или нереферентным, это обнаруженные проявления не прямых номинаций в зависимых членах, а также в однокомпонентных предложениях и в приложениях. Например, в *Встретились на оглушительном сорокалетию у художника Никодима, **мохнатого обезьяна*** не прямая номинативная группа *мохнатого обезьяна* занимает такое промежуточное референтно-нереферентное положение, находясь в позиции приложения. В – *Как тебя зовут? – спросила женщина. – Ты кто? – Азат, – ответил мужчина. – Никто. – Водку пьешь, **Никто?*** – Она налила в пластиковые стаканчики водку (НКРЯ) не прямая номинация *Никто* определяется в позиции обращения; отметим, что не прямая окказиональная номинация в позиции обращения – достаточно редкое явление, в большей степени такие номинации являются конвенциональными.

Вопрос об интерпретации референциальности в данных смешанных, или промежуточных проявлениях занимает важную часть проведенного исследования, так как, помимо установления показателей частотности и успешной интерпретации референтных и нереферентных групп, его решение дает возможность определить и категориальную принадлежность промежуточных проявлений референтности и нереферентности. Так, если показания параметров будут приближаться к показаниям, которые демонстрировались в ядре референтной позиции номинации (в ядре подлежащего), значит, по данному параметру смешанная референтно-нереферентная номинация скорее функционирует как референтная. Привлечение большого массива примеров на различные проявления номинаций позволяет сделать статистические выводы по разным параметрам не прямых окказиональных номинаций.

Для анализа использован Национальный корпус русского языка, выборка проводилась на материале прозаических текстов, изданных после

1950 г. В данном подкорпусе были заданы следующие параметры поиска: грамматическая форма существительное, прилагательное, местоимение, предикатив, местоимение + существительное, местоимение + прилагательное, местоимение + предикатив. Из 845 документов и 589 859 вхождений обработано 219 документов (более 120 тысяч предложений, из которых детальному анализу подверглось более 25 тысяч). Из них путем обращения к тексту одного автора только единожды на странице, выборке только одного примера со страницы было отобрано сто примеров для последующего анализа частотности языковых средств и их корреляций.

При отборе потенциальных параметров мы, прежде всего, руководствовались тем, что непрямая номинация всегда должна быть салиентной, выделенной, иначе ее референциальный статус просто не будет распознан. Поэтому при составлении списка параметров мы опирались на параметры (показатели) салиентности, определенные для языковых средств разных уровней. Так, к лингвистическим показателям салиентности О.К. Ирисханова относит лексико-грамматические средства, такие как использование имен собственных, неопределенного артикля, именительного падежа; синтаксические, такие как начало и конец предложения, инверсию, использование в односоставном предложении и др., нарративные (текстовые) – продвижение сюжета, непредсказуемость фрагмента, средства выделенности отдельных компонентов события [Ирисханова 2014]. Однако показатели салиентности для не прямых окказиональных номинаций в тексте будут особыми, что связано с характером конструируемого образа референта, а именно с возможностью проявления различных видов фокусных элементов, классифицирующего и характеризующего при дефокусировании идентифицирующих элементов; с проявлением согласования и рассогласования (внутреннего и внешнего); с изменением характера фокусных элементов при интеграции образов референта.

Помимо оценки показаний параметров салиентности необходимо принять во внимание особые параметры, связанные с существованием референтной, или кореферентной позиции и нереферентной, или координативной позиции. В работах (см., например, [Падучева 1974; 1980; Арутюнова 1976 (2005); Ковтунова 1979; Доннеллан 1982; Шмелев 1983; Крылов 1984; Шатуновский 1996; Kibrik 1999]) рассматриваются параметры (показатели) референтности и нереферентности в русском языке, связанные с синтаксическим положением номинации в предложении, ее положением в начале и конце предложения, наличием атрибутов в препозиции, наличием дейктических местоимений в препозиции, расстоянием между прямой и не прямой номинациями, препози-

ции и постпозиции предиката, типом предиката, типом предложения, типом модальности предложения, типом ремы, типом связки и другими проявлениями.

Сразу отметим, что при предварительном анализе было обнаружено, что не все параметры оказываются значимыми для разграничения проявлений референтной и нереферентной позиции непрямо́й окказиональной номинации. Например, параметры «тип связки» или «тип модальности предложения» [Шатуновский 1996] не продемонстрировали определенных зависимостей (корреляций) в плане разграничения разных референциальных типов номинаций и в плане разграничения прямых и не прямых номинаций в целом. Возможно, это связано с не очень обширным материалом исследования, но, как мы полагаем, эти проявления нерелевантны для разграничения тождества и характеристики, а, скорее, значимы для разграничения разных видов тождеств или разных видов характеристики.

Однако при анализе проявлений многих параметров и установлении частотности их показателей многие корреляции оказались значимыми, ведь референтное и нереферентное употребление номинаций накладывает определенные требования на интерпретатора. Координативность (нереферентность) связана с однозначным установлением референции, так как невмешательство других референтов становится явным из структуры самого предложения. Иная ситуация с кореферентным положением непрямо́й номинации, где на распознавание влияет присутствие других референтов или, по меньшей мере, связь антецедента (прямой номинации в препозиции) и анафоры (непрямо́й номинации) не так очевидна.

Статистический анализ и анализ корреляций показателей параметров референтных и нереферентных непрямо́х окказиональных номинаций

Анализу подвергалось 100 русскоязычных примеров, которые на первом этапе были исследованы на предмет демонстрации тех или иных параметров. Данную выборку мы будем называть безусловной, все примеры рассматриваются вне разграничения референтных и нереферентных проявлений. По итогам предварительного анализа отобраны для статистической обработки некоторые когнитивные, лексические, синтаксические, текстовые параметры, демонстрирующие вариативность своих показаний. К когнитивным параметрам мы отнесли наличие вну-

тренного и внешнего рассогласования, наличие экстероцепции в препозиции или в самой номинативной группе, тип модуса экстероцепции (визуальный, моторно-двигательный, слуховой и др.), тип референции (неконкретная / конкретная референция, единичная / собирательная референция и др.), тип фокуса, наличие распределенного фокуса. К лексическим – повторное использование номинации, наличие атрибута в препозиции, наличие качественного, притяжательного, относительного атрибута, наличие отглагольного атрибута в препозиции, наличие морфологической мотивированности, использование в составе фразеологической группы, использование в составе номинативной группы, положение в ядре номинативной группы. К синтаксическим – наличие противопоставления, положение в главном / зависимом предложении, расстояние между прямой и непрямой номинацией в словах и пропозициях, первая / последняя группа предложения / главного / неглавного предложения, положение перед причастным / деепричастным / пояснительным оборотом, вопросительное / отрицательное предложение, наличие инверсии, наличие предиката в препозиции, наличие агентивного предиката. К текстовым – графическое / фонетическое / орфографическое маркирование, наличие чужой речи, текстовая роль, наличие нового микрособытия (по наличию предикативности). Далее по всей выборке были определены показатели частотности и индексы корреляции всех показаний параметров с проявлениями референтного и нереферентного статуса непрямого окказионального номинации. Как мы упоминали выше, в качестве ядра референтной позиции мы рассматривали положение номинации в ядре субъекта, а нереферентной – в ядре предиката. То есть относительно каждого параметра корреляция определялась дважды.

Индексы корреляции были рассчитаны с опорой на коэффициент корреляции Пирсона (k_p), вычисляемый по формуле:

$$k_p = \frac{\sum_{i=1}^{100}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{100}(x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^{100}(y_i - \bar{y})^2}}$$

где \bar{x} и \bar{y} – выборочные средние двух выборок 1а) «употребления не прямых номинаций в полюсе координации» и 2а) выборок по каждому из параметров (по ста примерам) и 1б) «употребления не прямых номинаций в полюсе кореференции» и 2б) выборок по каждому из параметров. Проведенный анализ показал, что жесткие корреляции

показателей данных параметров и полюсов координации и кореференции номинации не обнаруживаются. При значимом показателе корреляций коэффициента Пирсона около 0.7 большее количество индексов корреляций не превышало 0.1, что свидетельствует об отсутствии не только жесткой корреляции, но корреляции в целом. Лишь несколько параметров продемонстрировали слабую корреляцию с референтной и нереферентной позицией номинации. Для ядра субъекта (референтная позиция) это повторное использование номинации (0.23), положение в последнем слове предложения (0.21), наличие инверсии (0.43), текстовая роль агенса (0.39), введение нового микрособытия (0.44). Для ядра предиката (нереферентная позиция) корреляции были обнаружены в отношении наличия внутреннего рассогласования (0.22), положения в составе фразеологической группы (0.19), положения в начале предложения, перед субъектом (0.36), наличия чужой речи (0.19), наличия инверсии (0.27), наличия графического маркирования (0.22), наличия орфографического маркирования (0.21), введения нового микрособытия (0.25). Таким образом, редкие максимальные значения корреляций в нашем случае достигали более 0.2. Это неожиданное наблюдение мы объяснили наличием других факторов, определяющих оформление номинации в тексте, а именно факторов синхронизации и резонанса разных параметров, при реализации которых происходит совместная актуализация разных параметров или действие одного показателя стимулируется другими; поэтому однозначные зависимости по одному фактору установить практически невозможно.

При последующем анализе вероятностных проявлений данных параметров уже в рамках условных выборок «положение номинации в ядре предиката» и «положение номинации в ядре субъекта» были определены коэффициенты условной вероятности и относительной условной вероятности параметров. Расчет относительной условной вероятности показателей параметров ($P(A)$) в двух выборках – в ядре субъекта и ядре предиката проводился по формуле:

$$P(A) = \frac{\frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}}{\frac{\sum_{i=1}^M y_i}{M}},$$

где N и M – размеры условной и безусловной выборок, т.е. выборок случаев непрямой номинации в ядре предиката или ядре субъекта (условные выборки) и всей выборки (безусловная выборка).

Выявленные значения оказались показательными по многим параметрам. Так, для положения номинации в ядре предиката (двадцать пять примеров из ста) определяется высокий индекс вероятности показателей наличия внешнего рассогласования (2.0), неконкретной референции (1.56), наличие характеризующего атрибута в препозиции (1.18), использование в составе фразеологического выражения (1.88), положение в ядре номинативной группы (1.24), положение в последнем слове / группе главного предложения (1.56), положение в последнем слове / группе придаточного предложения (1.56), положение перед деепричастием и другими оборотами (1.43), наличие чужой речи (1.24).

Для положения номинации в ядре субъекта (двенадцать примеров из ста) высокий индекс вероятности был определен относительно следующих параметров: повторное использование номинации (2.78), наличие отглагольного атрибута в препозиции (1.19), увеличенное расстояние в словах (1.73) и в пропозициях (1.84), положение перед предикатом (1.33), положение в первом слове главного предложения (2.78), положение в первом слове придаточного предложения (4.17), положение перед оборотом (1.19), наличие инверсии (3.12), графическое маркирование (1.5), фонетическое маркирование (1.28), текстовая роль агенса (2.53), введение нового микрособытия (3.51).

Полученные данные показывают, что есть достаточно жесткие параметры, которые помогают оформлять референтные и нереферентные непрямые окказиональные номинации. Это когнитивные параметры, например характер рассогласования или тип референции; лексические параметры, например повторное использование номинации или тип атрибуции в препозиции; синтаксические, такие как положение в предложении и количество разделяющих прямую и непрямую номинации слов и пропозиций; текстовые, например тип маркирования и текстовая роль.

Помимо ядерных кореферентных и координативных употреблений не прямой номинации было обнаружено значительное количество периферийных употреблений, однозначно отнести которые к координативным или кореферентным не представляется возможным. Из 100 проанализированных употреблений 63 примера не являются жестко кореферентными или координативными, то есть не демонстрируют синтаксически выраженной номинативности или предикативности. Это примеры однокомпонентных предложений, предложений с непрямыми номинациями в приложении к субъекту и предикату предложения, непрямыми номинациями в обращениях (их было всего четыре, поэтому данными примерами мы далее пренебрегаем), а также пред-

ложения с непрямыми номинациями – зависимыми членами группы предиката¹. Мы предполагали (ориентируясь на данные, полученные в ходе подобного анализа англоязычного материала), что во всех случаях смешанных употреблений непрямого номинации по своим показателям она будет стремиться к предикативности, именно эту гипотезу мы будем проверять в ходе анализа.

Для решения вопроса о степени выраженности номинативности и предикативности был проведен анализ частотности по тем же самым параметрам, которые были определены в качестве значимых при анализе условной вероятности и относительной условной вероятности в двух выборках, «положение номинации в ядре предиката» и «положение номинации в ядре субъекта». Обнаруженное количество примеров в выборках «положение номинации в однокомпонентном номинативном предложении», «положение номинации в приложении», «положение номинации в зависимых членах предиката» в исходной выборке из 100 примеров было различным (28; 12; 33). Для достижения большей объективности показателей параметров трех групп была проведена дополнительная выборка, в результате которой количество примеров в каждой группе было увеличено до 30, а в третьей группе было уменьшено до 30; далее был проведен анализ частотности показателей параметров.

Конечно, некоторые показатели частотности разных параметров ожидаемо различаются очень сильно, как в случае, например, с расстоянием в словах и пропозициях, единичности референта. Иногда показатели оказывались очень низкими из-за малого количества проявлений, поэтому их данные мы не принимали во внимание. В некоторых случаях неожиданно проявлял себя некоторый показатель, не отмеченный как значимый при анализе относительной условной вероятности в рамках выборок «положение номинации в ядре предиката» и «положение номинации в ядре субъекта», например наличие переходного глагола для зависимых номинаций группы предиката. Такие показатели мы считали особыми, характерными для усиления данной позиции. Далее были вычислены значения относительной условной вероятности данных параметров, которые приведены ниже в таблице 1.

¹ Из рассматриваемых 100 примеров не было ни одного, где непрямого номинация употреблялась бы в зависимом члене группы субъекта. Очевидно, зависимая позиция в группе субъекта – достаточно слабая идентифицирующая позиция. Это не значит, что таких примеров не существует, но они будут явно в меньшинстве при анализе более масштабных выборок.

Таблица 1. Показатели относительной условной вероятности при нахождении окказиональной не прямой номинации в односоставном номинативном предложении (ОНП), приложении (П), зависимых членах предиката (ЗЧП)

Параметры	ОНП	П	ЗЧП
Внутреннее рассогласование	0.91	1.82	1.82
Внешнее рассогласование	1.67	3.33	0.56
Экстероцепция в препозиции /номинации	0.92	0.97	1.26
Визуальный модус	1.02	0.93	1.11
Моторно-двигательный модус	0.83	1.0	1.5
Слуховой модус	0.77	0.26	1.54
Неконкретный референт	0.56	0.93	1.3
Единичный референт	0.95	0.95	0.89
Референт-человек	1.21	1.03	0.63
Характеризующий тип фокуса	1.03	1.03	0.99
Повторное использование номинации	0.83	0.56	1.11
Атрибут в препозиции	0.91	0.81	1.01
Отсубстантивный атрибут в препозиции	0.93	0.8	1.33
Притяжательный атрибут в препозиции	0	1.52	1.52
Отглагольный атрибут в препозиции	1.0	1.0	1.9
Характеризующий атрибут в препозиции	0.98	0.69	0.78
Морфологическая мотивировка	0.94	0.73	1.15
В составе фразеологической группы	1.0	0.59	0.39
В составе номинативной группы	0.84	0.89	0.98
Противопоставление	1.67	0	0
Распределенный фокус	1.19	1.55	0.83
Главное предложение	1.11	0.77	0.87
Ядро номинативной группы	0.69	0.8	0.98
Расстояние (слов)	0.54	0.07	1.85
Расстояние (пропозиций)	0.75	0.06	1.67
Первая номинативная группа предложения	2.67	0.13	0.4
Последняя номинативная группа предложения	1.67	0.8	0.8
Первая номинативная группа главного предложения	1.0	0	1.0
Последняя номинативная группа главного предложения	0.56	0.37	0.93
Первая номинативная группа придаточного предложения	0	0	1.67

Последняя номинативная группа придаточного предложения	0.74	1.11	1.48
Чужая речь	1.27	0.63	0.56
Вопросительное предложение	1.0	1.0	0.48
Отрицательное предложение	0.61	1.21	1.52
Инверсия	0.62	2.5	1.25
Переходный глагол в препозиции	0.83	1.67	2.5
Предикат в препозиции	0.52	1.21	1.44
Агентивный предикат	0.72	1.53	1.8
Графическое маркирование	1.88	0.43	0.6
Орфографическое маркирование в препозиции	1.64	0.51	0.44
Фонетическое маркирование	0.25	1.89	1.28
Текстовая роль агенса	1.31	0.81	0.3
Новое микрособытие	0.7	1.23	1.23

В каждой выборке были установлены возможности ранжирования показателей параметров от референтных «номинативных» до нереферентных «предикативных» (определяемых относительно показателей ядерных номинативных и предикативных значений). При ранжировании мы руководствовались эмпирически полученной возможностью показателя определяться в одинаковых по численным диапазонам рангах «номинативный», «нейтральный», «предикативный», а также «превышенный номинативный», «превышенный предикативный». Для определения степени выражения номинативности и предикативности показаний параметров использовался принцип ранжирования значений по пяти «коридорам» с одинаковым диапазоном значений: диапазонам предикативности P_r и номинативности Nom , нейтральных значений N и диапазонам особых (выпадающих) значений как в сторону предикативности $Sp\ pr$, так и номинативности $Sp\ nom$ (см. Рис. 1).

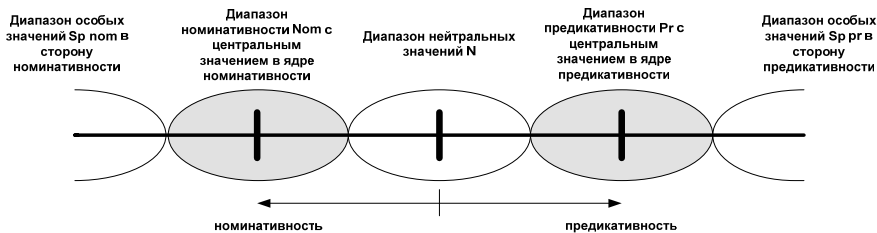


Рис. 1. Диапазоны значений показателей по шкале номинативности – предикативности

Дальнейшие вычисления степени номинативности и предикативности значений параметров проводились в следующем порядке: 1) вычисление δ , которая равна половине «ширины» каждого коридора, центры которого представлены двумя значениями, предикативности и номинативности; 2) определение положения a значения анализируемого параметра на шкале:

$$\delta = \frac{|x_2 - x_1|}{4}$$

$$a \in \left\{ \begin{array}{l} Pr\ x \in [x_1 - \delta, x_1 + \delta] \\ Nom\ x \in [x_2 - \delta, x_2 + \delta] \\ N\ x \in (x_1 + \delta, x_2 - \delta) \\ Sp\ pr\ x < x_1 - \delta \\ Sp\ nom\ x > x_2 + \delta \end{array} \right.$$

где значения x_1 и x_2 – это, соответственно, значения показателей предикативности и номинативности ядерных позиций предиката и субъекта предложения. После проведения всех расчетов были подведены итоги распределения значений всех показателей в соотношении предикативных и номинативных проявлений.

Так, для однокомпонентного предложения¹ с включенной непрямой номинацией обнаружены тринадцать «номинативных» параметров (внутреннее рассогласование, референт-человек, отглагольный атрибут в препозиции, последняя группа главного предложения, последняя группа придаточного предложения, др.) и двенадцать «предикативных» параметров (внешнее рассогласование, моторно-двигательный модус, повторное использование номинации, относительный атрибут в препозиции и др.). Среди оставшихся параметров семь демонстрируют нейтральные показатели (срединные между номинативными и предикативными), показатели шести параметров являются

¹ Под однокомпонентными предложениями понимаются номинативные односоставные предложения с отсутствующим глагольным членом. Мы учитывали, что однокомпонентное предложение может по своим синтаксическим функциям повторно именовать субъект одного из предшествующих высказываний или его предикат, в том числе зависимые члены предиката. В составе выборки однокомпонентных предложений количество субъектных и предикатных позиций номинации уравновешено.

«превышенными номинативными» (ядро номинативной группы, первая группа в предложении, орфографическое маркирование в препозиции и др.), показатели девяти параметров оказались «превышенными предикативными» (вопросительное предложение, отрицательное предложение, распределенный фокус и др.).

В отношении других смешанных употреблений наблюдалась схожая ситуация: не было однозначного увеличения показаний предикативности. Только для позиции приложения характерно усиление предикативных показателей параметров (восемь номинативных и четырнадцать предикативных), при этом обнаруживается примерно одинаковое количество «превышенных» показателей параметров как в сторону номинативности, так и предикативности (десять и восемь, соответственно). Во всех проявлениях обнаружилось много показаний, выходящих за пределы шкалы номинативности – предикативности. В целом, количество «превышающих» показаний параметров приближается к количеству «номинативных» и «предикативных». Это может свидетельствовать о том, что категория референтности в русском языке является достаточно размытой, ее границы определяются слабо, а, значит, показатели параметров референтности и нереферентности не могут служить однозначными маркерами распознаваемости референции.

Однако некоторые показатели демонстрировали достаточно высокие значения, это представляется очень важным в связи с распознаванием не прямой номинации в референтных позициях. Далее в ходе экспериментального анализа мы проверим, как сказывается на распознавании референции отсутствие таких показателей.

Окулографическая верификация значимости показаний параметров референтных не прямых окказиональных номинаций

С помощью окулографического анализа (анализа зрительных фиксаций) мы планируем обнаружить корреляции в проявлении указанных лингвистических параметров (точнее, при их отсутствии) и когнитивно-психологических окулографических показателей, таких как продолжительность и количество фиксаций и саккад, продолжительность первой фиксации на «критическом» участке (с включенной не прямой номинацией), а также показателя распознаваемости референции по итогам прочтения текстового фрагмента с включенными номинациями.

В качестве материала исследования используется оригинальный текст рассказа В. Быкова «Камень», который был несколько трансформирован путем введения дополнительных референтных непрямым номинативных групп, но при их оформлении были исключены препозитивные идентификаторы (типа *этот, свой*), не использовался инверсивный порядок слов и исключалось использование переходного глагола в препозиции. Эти показатели оказались специфическими для референтных позиций номинации.

Для эксперимента использовалось окулографическое оборудование SMI Sensomotoric Instruments, при анализе измерялись показатели количества и продолжительности фиксаций в целом по тексту и на «критических» участках, продолжительность и характер саккад (в том числе возвратных и ранних), а также проверялся индекс распознаваемости референции номинативных групп. Всего в текст было введено семь непрямым номинативных групп в следующих позициях: 1) субъект предложения, первое слово предложения, кореферентное расстояние в одну пропозицию, отсутствие идентификации в препозиции; 2) субъект предложения, первое слово предложения, кореферентное расстояние в ноль пропозиций, отсутствие идентификации в препозиции; 3) субъект предложения, первое слово предложения, кореферентное расстояние в три пропозиции, отсутствие идентификации в препозиции, смена основного «участника» события; 4) второй актанта предложения, положение в препозиции к предикату, положение в реме второго уровня, наличие атрибута в препозиции, смена основного «участника» события; 5) субъект предложения, первое слово предложения, нулевое кореферентное расстояние, наличие характеризующего атрибута в препозиции; 6) кореферентная непрямая номинация в группе предиката, в препозиции к управляющему глаголу, наличие идентифицирующего атрибута в препозиции, кореферентное расстояние более семи пропозиций; 7) координативная непрямая номинация в предикате, нулевое расстояние, но повторное использование лексемы для другого референта. Таким образом, мы предусмотрели возможности как кореферентного, так и координативного использования номинаций, как наличие, так и отсутствие атрибутов и т.д. с тем, чтобы проверить значимость гипотетических корреляций, а также для того, чтобы обнаружить влияние других возможных факторов на процесс распознавания.

Всего в эксперименте приняли участие 13 испытуемых, принадлежащих к одной возрастной и социальной группе (студенты, средний возраст 21 год). Сам представленный испытуемым текст дан на рис. 2 (номинативные группы в тексте для испытуемых выделены не были).

КАМЕНЬ НА СВОЕМ КАТАСТРОФИЧЕСКОМ ПУТИ В ГОРЫ ЗАДЕРЖАЛСЯ В НАЧАЛЕ ПОСЕЛИЩА – КАТИТЬСЯ ИЛИ ПОДОЖДАТЬ? УБИЙЦА РЕШАЛ ПРОБЛЕМУ, А ЛЮДИ В ЖИЛИЩАХ НЕ МОГЛИ СПАТЬ, ОЗАБОЧЕННЫЕ ВОПРОСОМ: ЛЕЖИТ КАМЕНЬ ИЛИ КАТИТСЯ? БОГАТЫРЬ ДУМАЛ, МОЖЕТ, СОТНИ ЛЕТ, ЗАТЯВ МОЛЧАНИЕ. ПРИГОВОРЕННЫЕ – КАЖДЫЙ В ОТДЕЛЬНОСТИ – НЕ ЗНАЛИ, КАК ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ НАПАДЕНИЕ ОСТАНОВИТЬ. И ТАК БЫЛО ДО ВРЕМЕНИ, ПОКА ИМИ НЕ ОВЛАДЕЛА КОЛЛЕКТИВИСТСКАЯ ИДЕЯ. «НЕУЖЕЛИ МЫ НЕ МУЖЧИНЫ?» – РЕШИТЕЛЬНО СПРАШИВАЛ ОБЩЕСТВО ХОЗЯИН-ТРАКТИРЩИК. ТАЛАНТЛИВЫЙ ПОЛКОВОДЕЦ ВОЗВЫШАЛСЯ ВО ВЕСЬ СВОЙ НЕМАЛЫЙ РОСТ НАД ДУБОВЫМ СТОЛОМ. «СКОЛЬКО МЫ БУДЕМ ЭТОГО БУГАЯ ЗДЕСЬ ТЕРПЕТЬ? МЫ БОГАТЫРИ, ДОПИВАЮЩИЕ ВТОРУЮ БОЧКУ ВИНА?»

Рис. 2. Стимульный текст с включенными непрямыми номинативными группами

При разработке стимульного текста были учтены особенности визуального восприятия текста, содержащего единицы с семантикой неоднозначности [Inhoff et al. 1989; Gautier et al. 2000; Kliegl 2006; Rayner et al. 2010; Staub 2015; The Handbook of attention 2015; Фаликман 2015; Киосе 2017], в том числе влияние шрифта и капитализации (текст выдержан в одном шрифте и формате), положение лексем на строке (сама непрякая лексема нигде не занимает первое место в строке), количество знаков (нигде количество знаков для «окна внимания» не превышает значимых 20–22), наличие знаков пунктуации (пробелы установлены как неразрывные, при попарном соотношении лексем со сближаемыми показателями наличие тире и запятой учитывается), др., которые могли увеличить продолжительность фиксации.

Анализ полученных данных указал на существование достаточно жесткой корреляции между когнитивно-психологическими показателями (в частности, индексом распознавания и продолжительностью фиксации) и лингвистическими показателями (точнее, их отсутствием). Так, исключение гипотетически резонансных показателей привело к тому, что 1) индекс распознавания референции очень низкий, среднее значение 0.35 (в наших предыдущих экспериментах это значение в среднем равнялось 0.6); 2) при сохранении «нормальной» продолжительности фиксации в 150–200 мс продолжительность саккад значительно возросла (зафиксировано много саккад по 150–220 мс, отдельные до 400–500 мс, переходы со строки на строку до 1000 мс, что от-

мечается только у «ментально дезориентированных» испытуемых [Becker 1989: 54]); 3) появилось большое количество мелких саккад (19 мс), указывающих на «эффект ожидания» [Yang, McConkie 2001: 3582]; 4) отсутствуют закономерности в появлении «первой продолжительной фиксации на “критическом” слове» [Rayner, Pollatsek 1989: 58]; 5) возросло общее количество возвратных саккад до 25–30% (по отношению к средней величине в 10–15% [Weger, Inhoff 2006]); 6) появилось чтение «между строк», повторное (возвратное, справа налево) чтение при переходах на следующую строку.

Продемонстрируем некоторые фрагменты траектории чтения: наличие большого количества реверсивных саккад (рис. 3) и появление возвратного чтения (рис. 4).

КАМЕНЬ НА СВОЕМ КАТАСТРОФИЧЕСКОМ ПУТИ В ГОРЫ ЗАДЕРЖАЛСЯ В НАЧАЛЕ ПОСЕЛИЩА – КАТИТЬСЯ ИЛИ ПОДОЖДАТЬ? УБИЙЦА РЕШАЛ ПРОБЛЕМУ, А ЛЮДИ В ЖИЛИЩАХ НЕ МОГЛИ СПАТЬ, ОЗАБОЧЕННЫЕ ВОПРОСОМ: ЛЕЖИТ КАМЕНЬ ИЛИ КАТИТСЯ? БОГАТЫРЬ ДУМАЛ, МОЖЕТ, СОТНИ ЛЕТ, ЗАТЯВ МОЛЧАНИЕ. ПРИГОВОРЕННЫЕ – КАЖДЫЙ В ОТДЕЛЬНОСТИ – НЕ ЗНАЛИ, КАК ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ НАПАДЕНИЕ

Рис. 3. Фрагмент траектории чтения с большим количеством реверсивных саккад

КАМЕНЬ НА СВОЕМ КАТАСТРОФИЧЕСКОМ ПУТИ В ГОРЫ ЗАДЕРЖАЛСЯ В НАЧАЛЕ ПОСЕЛИЩА – КАТИТЬСЯ ИЛИ ПОДОЖДАТЬ? УБИЙЦА РЕШАЛ ПРОБЛЕМУ, А ЛЮДИ В ЖИЛИЩАХ НЕ МОГЛИ СПАТЬ, ОЗАБОЧЕННЫЕ

Рис. 4. Фрагмент траектории чтения с возвратным чтением (справа налево) при переходе на следующую строку

При этом коэффициенты корреляции продолжительности фиксаций и индекса распознавания также свидетельствуют в пользу того, что появление идентификатора в препозиции (номинация *этого бугая*) и координативной номинации (*богатыри*) снижает когнитивные усилия читателя. Приведем показатели корреляции Пирсона в отношении продолжительности фиксаций и индекса распознаваемости референции номинаций: *убийца* – 0.3598667; *богатырь* – 0 (ни одного распознавания); *приговоренные* – 0.1433116; *потенциальное нападение* – 0.2674327; *талантливый полководец* – 0.6417209; *этого бугая* – 0.8021847; *богатыри* – 0.5492499.

В ходе анализа были отмечены и другие корреляции параметров, но в данной работе описание ограничено только рамками поставленной задачи.

Таким образом, установлены определенные показатели корреляции в отношении распознавания кореферентных непрямых окказиональных номинаций с участием двух групп параметров: лингвистических (наличие идентифицирующего атрибута в препозиции, инверсии и переходного глагола в препозиции) и когнитивно-психологических (продолжительность саккад, индекс распознавания, режим чтения).

Выводы и перспективы исследования «удачной интерпретации» текстовой образности

Проведенное исследование показало, что интерпретация референтных и нереферентных непрямых окказиональных номинаций действительно управляется группой параметров, показания которых более или менее устойчиво коррелируют с типом номинации. Использованный метод параметрической интерпретации позволил определить значимые для интерпретации параметры распознавания референции, установить значения их показателей по итогам статистического анализа и анализа корреляций и верифицировать значимость их показателей в процессе окулографического эксперимента. В ходе исследования были получены показатели по значимым параметрам для ядерных референтных и нереферентных позиций номинаций, а именно для позиций номинации в ядре субъекта и ядре предиката предложения. Эти показатели были ранжированы с учетом размера условной и безусловной выборок. В отношении смешанных (промежуточных) проявлений в русском языке наблюдается особая ситуация превышения показателей как в сторону номинативности (референтности), так и предикативности (нереферентности), что может свидетельствовать о том, что в русском языке языковая категория номинативность vs. предикативность является достаточно размытой, она образуется не оппозицией показателей параметров номинативности и предикативности, а их шкалами. Кратко отметим, что по итогам ранее проведенного анализа частотности и анализа корреляций на материале английского языка мы выявили иную ситуацию: показания смешанных проявлений референтности / нереферентности «укладывались» в диапазоны номинативности – предикативности, что свидетельствовало о меньшей структурной вариативности данной категории в английском языке.

Последующий окулографический анализ успешности распознавания референции в референтных и нереферентных проявлениях не прямой окказиональной номинации (выполненный на материале русского язы-

ка и с участием носителей русского языка) показал, что успешность распознавания коррелирует с показателями частотности таких проявлений. Устранение показателей референтности и нереферентности при сохранении позиции номинации в тексте неизменно влечет за собой снижение индекса распознавания, увеличение количества возвратных саккад, появление поисковых режимов чтения.

Таким образом, с помощью разработки методики, связывающей концептуальные категории, языковые категории, параметры и их показания мы можем приблизиться к тому, чтобы делать попытки измерить интерпретацию как более и менее удачную.

Литература

- Анисимов В.А., Федорова О.В., Латанов А.В.* Параметры движений глаз при чтении предложений с синтаксической неоднозначностью в русском языке // Физиология человека, Т. 40 (5), 2014.
- Арутюнова Н.Д.* О значимых единицах языка // Исследования по общей теории грамматики. М., 1968.
- Арутюнова Н.Д.* Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы. М., 2005 (1976).
- Болдырев Н.Н.* Концептуальное пространство когнитивной лингвистики // Вопросы когнитивной лингвистики, № 1, 2004 (см. в Когнитивная лингвистика. Москва-Берлин, 2016).
- Болдырев Н.Н.* Интерпретирующая функция языка // Вестник Челябинского государственного университета, № 31, 2011. Филология. Искусствоведение.
- Бондарко А.В.* Категоризация в системе грамматики. М., 2011.
- Демьянков В.З.* Формализация и интерпретация в семантике и синтаксисе: (По материалам американской и английской лингвистики) // ИАНСЛЯ, Т. 38, № 3, 1979.
- Демьянков В.З.* Прагматические основы интерпретации высказывания // Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка, Т. 40, № 4, 1981.
- Демьянков В.З.* Понимание как интерпретирующая деятельность // Вопросы языкознания, № 6, 1983.
- Демьянков В.З.* Интерпретация, понимание и лингвистические аспекты их моделирования на ЭВМ. М., 1989.
- Демьянков В.З.* Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // Вопросы языкознания, № 4, 1994.

- Демьянков В.З. Лингвистическая интерпретация текста: Универсальные и национальные (идиоэтнические) стратегии // Язык и культура: Факты и ценности: к 70-летию Юрия Сергеевича Степанова / Отв. редакторы: Е.С. Кубрякова, Т.Е. Янко. М., 2001.
- Демьянков В.З. Языковые техники «трансфера знаний» // Лингвистика и семиотика культурных трансферов: методы, принципы, технологии. М., 2016.
- Доннеллан К.С. Референция и определенные дескрипции // Новое в западной лингвистике, Вып. 13, 1982.
- Ирисханова О.К. О лингвокреативной деятельности человека: Отглагольные имена. М., 2004.
- Ирисханова О.К. Игры фокуса в языке. Семантика, синтаксис и прагматика дефокусирования. М., 2014.
- Интерпретация мира в языке: коллективная монография / под ред. Н.Н. Болдырева. Тамбов, 2017.
- Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998.
- Куосе М.И. Салиентность как когнитивный фактор успешной интерпретации не прямых выражений в тексте // Когнитивные исследования языка. Вып. XXIX. Когниция и коммуникация в лингвистических исследованиях: сборник научных трудов. М.; Тамбов, 2017.
- Ковтунова И.И. Структура художественного текста и новая информация // Синтаксис текста. М., 1979.
- Крылов С.А. Детерминация имени в русском языке: теоретические проблемы // Семиотика и информатика. Вып. 23, 1984.
- Лосев А.Ф. Хаос и структура. М., 1997.
- НКРЯ – Национальный корпус русского языка. Режим доступа: <http://ruscorpora.ru>. (Дата обращения: 20.04.2018).
- Падучева Е.В. О семантике синтаксиса. М., 1974.
- Падучева Е.В. О денотативном статусе именных групп в предложении // Ученые записки Тартусского университета, Вып. 519, 1980.
- Постовалова В.И. Наука о языке в свете идеала цельного знания: в поисках интегральных парадигм. М., 2016.
- Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 2002.
- Фаликман М.В. Структура и динамика зрительного внимания при решении перцептивных задач: конструктивно-деятельностный подход: дисс... доктора псих. наук. М., 2015.
- Шатуновский И.Б. Семантика предложения и нереферентные слова (Значение. Коммуникативная перспектива. Прагматика). М., 1996.
- Шмелев А.Д. О референции агентивных существительных // Филологические науки, Вып. 4, 1983.

- Andrews-Hanna J.R., Irving Z.C., Fox K.C.R., Spreng R.N., Christoff K.* The Neuroscience of Spontaneous Thought: An Evolving, Interdisciplinary Field // *The Oxford Handbook of Spontaneous Thought: mind-wandering, creativity, and dreaming.* Oxford, 2018.
- Balota D.A., Pollatsek A., Rayner K.* The interaction of contextual constraints and parafoveal visual information in reading // *Cognitive Psychology*, Vol. 17, 1985.
- Becker W.* Metrics // *The neurobiology of saccade eye movements* / Eds. R.H. Wurtz, M.E. Goldberg. Amsterdam, 1989.
- Coulson S., Van Petten C.* Conceptual integration and metaphor: an event-related potential study // *Memory and cognition*, Vol. 30 (6), 2002.
- Gautier V., O'Regan J.K., LaGargasson J.F.* "The skipping" revisited in French: programming saccades to skip the article "les." // *Vision Research*, 40, 2000.
- Givón T.* Coherence in text vs. coherence in mind // *Coherence in spontaneous text* / Eds. M.A. Gernsbacher, T. Givon. Amsterdam; Philadelphia, 1995.
- Grolemund G., Wickham H.* A Cognitive Interpretation of Data Analysis // *International Journal of Statistics*, Vol. 82, issue 2, 2014.
- Hodges W.* Model theory. Cambridge, 2008.
- Huber P.* Speculations on the Path of Statistics // *The Practice of Data Analysis: Essays in Honor of John W. Tukey* / Eds. D.R. Brillinger, L.T. Fernholz, S. Morgenthaler. Princeton, 1997.
- Inhoff A.W., Pollatsek A., Posner M.I., Rayner K.* Covert attention and eye movements during reading // *Quarterly journal of experimental psychology*, 41, 1989.
- Jaszczolt K.M.* Default semantics. Oxford, 2005.
- Kartunnen L.* Presupposition: what went wrong? // *Proceedings of SALT 26.* Texas, 2016.
- Kibrik A.A.* Cognitive inferences from discourse observations: reference and working memory // *Discourse studies in cognitive linguistics. Proceedings of the 5th International cognitive linguistics conference* / Eds. K. van Hoek, A.A. Kibrik, London, 1999.
- Kliegl R., Nuthmann A., Engbert R.* Tracking the mind during reading. The influence of past, present, and future words on fixation duration // *Journal of experimental psychology*, Vol. 135, 2006.
- Kopperman R.* Model theory and its applications. Boston, 1972.
- Lakoff G., Núñez R.* The metaphorical structure of mathematics: Sketching out cognitive foundations for a mind-based mathematics // *Mathematical reasoning: Analogies, metaphors, and images.* New York, 1997.

- Lakoff G., Núñez R. Where mathematics comes from: How the embodied mind brings mathematics into being. New York, 2000.
- Maturana H.R., Varela F.J. Autopoiesis and cognition. The realization of the living. Dordrecht: Reidel Publishing Company, 1980.
- Petrilli S., Ponzio A. Semioetica. Rome, 2003.
- Petrilli S. The global world and its manifold faces. Otherness as the basis of communication. Bern, 2016.
- Radden G., Dirven R. Cognitive English grammar. Amsterdam, 2007.
- Rayner K., Pollatsek A. The psychology of reading. New York, 1989.
- Rayner K, Slattery T.J., Bélanger N.N. Eye movements, the perceptual span, and reading speed // Psychonomic Bulletin and Review, Vol. 17 (6), 2010.
- Sinha Ch. Grounding, mapping and acts of meaning // Cognitive linguistics: foundations, scope and methodology / Eds. Th. Janssen, G. Redeker. Berlin; New York, 1999.
- Staub A. Reading sentences: Syntactic parsing and semantic interpretation // The Oxford Handbook of Reading / Eds. A. Pollatsek, R. Treiman. Oxford, 2015.
- Steen J., Dorst A.G., Herrmann J.B., Kaal A., Krennmayr T., Pasma T. A method for linguistic metaphor identification: from MIP to MIPVU. Amsterdam, 2010.
- The Handbook of attention / Eds. J.M. Faucett, E.F. Risco, A. Kingstone. Cambridge, 2015.
- Thrane T. Referential-semantic analysis. Aspects of a theory of linguistic reference. Cambridge, 1980.
- Van Hoek K. Anaphora and conceptual structure. Chicago, 1997.
- Viertl R. On the future of data analysis // Austrian Journal of Statistics, Issue 31, 2002.
- Weger U.W., Inhoff A.W. Attention and eye movements in reading: inhibition of return predicts the size of regressive saccades // Psychological sciences, 17 (3), 2006.
- Yang S.N., McConcie G.W. Eye movements during reading: a theory of saccade initiation times // Vision research, 41, Issues 25–26, 2001.

М.Л. Ковшова

Эвфемизмы в пьесах А.Н. Островского и А.П. Чехова¹

В своей статье я попыталась соединить кодовые для Валерия Закиевича Демьянкова слова – *Чехов, вежливость, мягкость, шутливость* – и от души поздравить его с юбилейным днем рождения и пожелать счастья и радости.

Известно, что эвфемизмы (от греч. *eu* ‘хорошо’, *phemi* ‘говорю’; *euphēteō* ‘благоречие’) – слова и выражения, использующиеся для смягчения речи. Эвфемизмы – важная языковая опора в поведении человека, который желает соблюдать речевой этикет, придерживается этических норм, учитывает эстетические предпочтения собеседника. Теоретические основы изучения эвфемии заложены в работах [Булаховский 1953; Ларин 1961; Реформатский 1967]; классификация русских эвфемизмов и способы их образования освещены в монографиях и словарях [Кацев 1988; Крысин 1996; 2004; Мокиенко, Никитина 2004; Москвин 2007; Сеничкина 2008; Шейгал 1997 и др.]. Тема эвфемизации русской речи активно развивается в рамках коммуникативно-функционального подхода [Ковшова 2007; Осадчий 2012; Дегтярёва, Осадчий 2012 и др.]. Уменьшение (снятие) негативности денотата, отчуждение негативного смысла от конкретного денотата, перевод описания негативного характера денотата из одной области оценок в другую – основные стратегии, которыми руководствуется тот, кто старается смягчать речь, умерять неприятное словами и выражениями. Эвфемизм можно считать речевым актом [Ковшова 2007], иллокутивная составляющая которого заключается в сознательном создании смягчающей замены тем словам или выражениям, которые, по мнению говорящего, являются неприятными, грубыми, нежелательными для адресата (и других участников коммуникации). Перлокутивная составляющая заключается в благоприятном воздействии смягченной речи на собеседника, в эффекте эмоционального

¹ Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № 14–28-00130 «Лингвистические технологии во взаимодействии гуманитарных наук») в Институте языкознания РАН

сближения собеседников и успешной коммуникации в целом. Основными признаками состоявшейся эвфемизации являются: в плане содержания – семантическая неопределенность при обозначении «негативного» денотата или тех культурно маркированных тем, которые по традиции подлежат корректированию; в плане выражения – формальное, достигнутое известными способами улучшение денотата, не вводящее собеседников в заблуждение. Эвфемизмы бывают общезыковые, речевые и окказиональные. Общезыковые эвфемизмы – это устойчивые, воспроизводимые в речи общеизвестные выражения, которые не создаются всякий раз заново, а хранятся в памяти в виде готовой к употреблению единицы. Речевые эвфемизмы возникают и воспроизводятся в том или ином дискурсе или в той или иной субкультуре и зачастую переходят в разряд общезыковых; окказиональные создаются на случай в ходе контекстно-речевой импровизации; отдельное место занимают индивидуально-авторские эвфемизмы, возникающие в литературно-художественном и публицистическом дискурсах. Эвфемизации подлежат разные сферы – от бытовой до социально-политической и дипломатической. Все известные в русской лингвокультуре способы эвфемизации ведут к семантической редукции, т.е. сокращению доли информации в языковой единице [Сеничкина 2012]. К способам образования эвфемизмов относятся: подмена значения; сужение значения (которое создается с помощью усечения исходного выражения до слова с общей, неопределенной семантикой, тавтологических оборотов); расширение значения (которое создается с помощью гиперонимов, слов с расширенной семантикой, путем прономинации); создание значения неполноты признака или действия (с помощью отрицания, грамматических клише с отрицанием, с помощью аффиксов со значением неполноты признака или действия, с помощью сложения с корнями, в которых содержится семантика уменьшения); использование заимствованной лексики; использование аббревиатуры; онимизация; употребление фразеологизмов, а также пословиц, крылатых выражений и афоризмов; частичная замена или сокращение грубых компонентов (синкопа, или опущение середины слова, замена ее в письменной речи многоточием; апокопа, или усечение слова, опущение конца слова) и т.п. Сигналами, указывающими на процесс смягчения, являются следующие обороты, включаемые в речь: *мягко говоря, мягко выражаясь, как бы это выразиться, по более осторожному выражению, как бы сказать, фигурально выражаясь, в некотором смысле, деликатный вопрос* и т.п. В письменной речи эвфемизация маркируется взятием смягчающего слова в кавычки, выделением курсивом, нарушением графического облика слова (путем

создания бленда из кириллицы и латиницы, использования символов – звездочек, смайликов и т.п. вместо слова или его отдельных частей), опущением слова, заменой его многоточием. Смягчению служат и такие невербальные средства, как многозначительная интонация; пауза, свидетельствующая о подтексте; жестикаляция и мимика, сопровождающие (или заменяющие собой) произнесение смягчающих слов и выражений и т.п. С эвфемизацией речи тесно связана категория вежливости, сопряжены явления комического; эвфемизации противопоставлено огрубение речи, или дисфемизация; общезыковые эвфемизмы со временем утрачивают свою мелиоративную способность, начинают не затушевывать, а выделять негативный объект обсуждения и потому могут обратиться в дисфемизмы; кроме того, одно и то же слово или выражение в глазах разных носителей языка и культуры может трактоваться и как эвфемизм, и как его противоположность: у каждого представителя языка и культуры своя мера мягкости и грубости на шкале эвфемизации. Выбор и употребление эвфемизмов в речи могут быть рассмотрены также в аспекте варьирования (по В.З. Демьянкову). Имеется в виду: «– формальное варьирование, связанное с выбором знака из нескольких возможных в конкретной ситуации; – концептуальное варьирование, связанное с выбором содержания речи <...>; – социальное варьирование, связанное с тем, кто, кому, в каких обстоятельствах, зачем и т.п. нечто говорит <...>» [Демьянков 2014: 30].

В данной статье делается попытка на материале пьес очень русских писателей – А.Н. Островского и А.П. Чехова – описать смягчение речи в русской коммуникации, тесное в ней переплетение этикетной, этической и эстетической сторон; уловить идею эвфемизации как значимого компонента русской речевой культуры; увидеть сквозь различные культурно-исторические и социальные напластования способы эвфемизации, присущие русской речи. Интересно также в плане смягчения речи обнаружить сходство и различие у авторов, творчество которых принадлежит разным временам и литературным эпохам и миры которых уникальны и неповторимы. Социально-типические персонажи и их существенные черты в пьесах А.Н. Островского предельно вырисованы, «крупный комизм» и «сильный драматизм» (как обозначал сам драматург особенности своего творчества) проявляются в выразительном обнажении конфликта, в открытом выражении мыслей и чувств на языке, понятном зрителю. В пьесах А.П. Чехова персонажи больше погружены в свои глубокие психологические переживания, чем устремлены во внешний мир; может показаться, что в диалогах больше пауз, чем слов. Частые у Чехова ремарка *пауза* и многоточие указы-

вают на коммуникативную и смысловую дистанцированность диалогов. Ближние связи между репликами персонажей ослаблены; кажется, что никто из действующих лиц особенно не думает о своем собеседнике, невнимателен к нему и потому вряд ли станет смягчать свою речь, проявлять вежливость и деликатность [Ковшова 2012]. Однако и в пьесах А.Н. Островского, и в пьесах А.П. Чехова действующие лица постоянно говорят о том, в каких словах допустимо или должно выражать свои мысли и чувства; темы вежливости, грубости, искренности, изящности речи ведут сюжет и создают действие в пьесах. Из чего же складывается картина эвфемизации в драматургическом языке Островского и Чехова? Проанализированный материал дает возможность выделить пять составляющих такой картины.

1. Соблюдение речевого этикета

В пьесах А.Н. Островского формальная сторона речевого этикета волнует отрицательных высокопоставленных персонажей, которые требуют от собеседника внешнего соблюдения приличий и должного поведения согласно его социальной роли. Так, в пьесе «Доходное место» сановник Вышневский выговаривает своему племяннику и антагонисту Жадову: «Да вот еще, мой милый! Скажу тебе один раз навсегда: мне твой разговор не нравится, **выраженья твои резки и непочтительны** <...>» [Островский 1978: 100]. Вышневский внимателен к выражениям, он говорит своей супруге, что только «бедные люди позволяют своим женам ругаться. Это у них можно. <...> В низшем кругу мужья бранятся со своими женами и иногда дерутся – и это не делает никакого скандала» [Там же: 151]. В «Лесе» помещица Гурмыжская просит пылкого юнца Буланова соблюдать внешние приличия: «**На всё есть форма** <...>» [Там же: 355] и в ответ на слова Аксюши: «Вы знатная барыня, а я девочка с улицы, и вы ко мне ревнуете своего любовника» Гурмыжская не оскорбляется, поскольку реагирует не на смысл, а на форму его выражения, что и считает нужным отметить: «**Что за слова ты говоришь!** <...> Душа моя, я тоже женщина», а Аксюша отвечает: «Ну да, я всегда говорю правду» [Там же: 358]. В пьесе «Гроза» Дикой, грубый и невежественный, видит непочтительность в цитируемых Кулигиным стихах, подозревает грубость в слове «рубище»; ср.: «И в рубище почтенна добродетель» и кричит ему: «Ты у меня **грубить** не смей!» [Там же: 198]. В пьесе «Волки и овцы» плута и мошенника Чугунова сердят некультурные выражения в его адрес другого мошенника, Горец-

кого: «Горецкий. <...> У барыни именем управляете... вот усадьба-то какая! Да что не грабить!» – «Чугунов. “Грабить, грабить”! **Невежа! Чурбан необразованный** <...>» [Там же: 418].

В пьесах А.П. Чехова внимание к этикетной стороне вежливой речи пародируется – о формальном соблюдении приличий заботятся комические персонажи, вульгарные и грубые натуры. В «Свадьбе» акушерка Змеюкина спрашивает телеграфиста Ятя: «<...> отчего мне так душно?», и Ять отвечает простодушно (смягчая простое слово добавлением к нему т.н. «словоерса»): «Это оттого, что вы **вспотели-с...**» – «Змеюкина. Фуй, как вы **вульгарны!** Не смейте **так выражаться!**» [Чехов 1978, XII: 111]. В пьесе «Медведь» вежливость речи Смирнова носит формальный характер. Смирнов вначале корит себя, что «весь в пыли, сапоги грязные, не умыт, не чесан», но и успокаивает словами: «**немножко невежливо** являться в гостиную в таком виде». Смирнов смягчает негативную оценку собственных качеств (используется создание неполноты признака с помощью наречия с семантикой уменьшения: *немножко невежливо*) и продолжает утешать себя, оправдывая свой вид казенной ролью: «ну да ничего... я тут не гость, а кредитор, для кредиторов же костюм не писан» [Там же, XI: 301–302]. По словам слуги Поповой, Луки, помещик Смирнов «ругается и прямо в комнаты прёт» [Там же, XI: 298]. Однако свой разговор с Поповой он начинает вежливо: «(С достоинством) Сударыня, честь имею представиться <...> Вынужден беспокоить вас по весьма важному делу» [Там же] и даже потом, когда злится, вежливо требует от Поповой вежливости же: «Не угодно ли вам быть **повежливее?**» [Там же, XI: 306]. Он умеет извиняться, в том числе за свои грубые выражения, но это извинение поверхностное, формальное; ср.: «На кой леший, **извините за выражение**, сдался мне ваш приказчик!» [Там же, XI: 300]. Внешняя вежливость Смирнова сразу исчезает, как только Попова отказывается возвращать долг умершего мужа; наружу выходит присущая ему грубая и некультурная речь. Ср.: «болван», «осёл», «до зарезу», «как собака», «трахнуть башкой о стену», «буду торчать здесь», «ни одна каналья не платит», «а заглянешь в душу – обыкновеннейший крокодил» и др. Требование вернуть долг интерпретируется Поповой как нарушение приличий; она выговаривает Смирнову за невежливость и грубость манер по отношению к вдове: «Простите, милостивый государь, я не привыкла к **этим странным выражениям, к такому тону**» [Там же]. Однако Попова может и не смягчать свою речь; она прямо говорит Смирнову, что тот «невежа» [Там же, XI: 298], «невоспитанный, грубый человек», «мужик», «грубый медведь», «бурбон», «монстр» [Там же, XI: 306].

Разговор о том, какие кто выбирает выражения, кто грубиян и кто кого оскорбляет, ведется на протяжении всей пьесы. Ср.: «Попова. <...> **Порядочные** люди **не говорят так** с женщинами. <...> Не умно и **грубо**» [Там же, XI: 303]. Смирнову знакомо любезное обхождение с дамами, в котором он не видит нужды в данном случае; ср.: «Смирнов. Как же прикажете говорить с вами? По-французски, что ли? Мадам, же ву при... Как я счастлив, что вы не платите мне денег... Ах, пардон, что обеспокоил вас» [Там же, XI: 305]. Любезность не свойственна Смирнову, но ему присуща прямота – до невежливости, грубости; даже свои нежные чувства он описывает в грубых образах простонародного языка; ср.: «распускать нюни», «рассиропился», «втюрился, как оглобля в чужой кузов»; а его объяснение в любви Поповой сопровождается характерной ремаркой: «**(Грубо)** Я люблю вас!» [Там же, XI: 311].

В пьесе «Вишневый сад» Варя не выбирает выражений, указывая Епиходову: «Убирайся же вон отсюда! Сию минуту!», на что Епиходов (струсив) отвечает, пытаясь умерить словами ее горячность: «Прошу вас **выражаться деликатным способом**» [Там же, XIII: 238]. Лопахин, став помещиком, также учит соблюдению формальных «рамочек»: «Всякому безобразию есть **свои приличия!**» [Там же, XIII: 226].

В пьесе «Три сестры» супруга Андрея, Наташа, после того как оскорбила, унизила старую няню, находит смягчающие слова для своих действий (устойчивый оборот с неопределенной, обобщенной семантикой). Ср.: «Наташа. Я часто **говорю лишнее**, это правда <...>» [Там же, XIII: 159]. Будучи грубой и подлой, Наташа старательно соблюдает внешние признаки вежливой речи: использует смягчающие выражения с неопределенной семантикой и этикетную формулу извинения, переходит на французский язык, чтобы в подчеркнуто деликатной манере сделать нарекание своей золовке Маше, указать на несоблюдение приличий. Ср.: «Наташа. Милая Маша, к чему **употреблять в разговоре такие выражения?** При твоей прекрасной наружности в приличном светском обществе ты, я тебе скажу, была бы просто очаровательна, **если бы не эти твои слова**. [говорит по-французски] **Прошу извинить** меня, Мари, но у вас **несколько грубые манеры**» [Там же, XIII: 150]¹.

¹ В данной статье не рассматриваются ранние версии (например, «ялтинская» и «московско-нищкая» редакции пьесы «Три сестры») и не отмечается, что некоторые из примеров являются поздними вставками; так, наставительное поучение Наташи или слова Солёного («Цып-цып-цып...») были добавлены Чеховым позднее и вписаны по его просьбе в текст пьесы уже Немировичем-Данченко [Чехов 1978, XIII: 431].

2. Грубые слова и выражения, дисфемизация речи

В пьесах А.Н. Островского грубые слова и выражения присущи не только отрицательным, но и самым разным его персонажам, мужчинам и женщинам, и не потому только, что они говорят в своем быту на языке городского просторечия. Грубая и бранная лексика составляет лексическую основу таких речевых жанров, как оскорбление, насмешка, унижение, угроза, – частых в диалогах Островского. Отрицательные персонажи сознательно огрубляют речь в диалоге с адресатом, который ниже по социальному статусу или находится в зависимом положении, – грубость начинается с самого обращения к такому адресату. Известный «ругатель» Дикой говорит «(обращаясь к народу): <...> Да вы, **проклятые**, хоть кого в грех введете. <...> Перестал, что ль, дождик-то?». Ему отвечают: «– Кажется, перестал». «Дикой. – Кажется! А ты, **дурак**, сходи да посмотри» [Островский 1978: 199]. В нравоучительной драматургии Островского персонажи предельно откровенно выказывают себя, поскольку «идеалы должны быть определенны и ясны, чтобы в зрителях не оставалось сомнения, куда им обратить свои симпатии и антипатии» [Островский 1952: 255]. Грубостью и оскорблениями полны речи Кабановой; ср.: «Что ты **нюни**-то **распустил?** <...> **Дурак!** Что с **дураком** и говорить...» [Островский 1978: 166–167]. «Благородная дама» Мурзавецкая говорит бывшему члену уездного суда Чугунову: «**Полно хныкать**-то! <...> Говори, **крыса**, что мне с ними делать-то! <...> Да как ты посмел **рот**-то **разинуть!**.. <...> Благородной даме ты такие подлости предлагаешь!.. Так бы вот тебя по **лысине**-то и **огрела**» [Там же: 451–452]. В пьесе «Свои люди – сочтемся!» Липочка говорит приказчику Подхалюзину (которого папенька, купец Большов, назначил ей в женихи, тогда как она мечтает выйти замуж за военного): «Вы **дурак, необразованный!**» [Там же: 66]. Подхалюзин говорит свахе, которая ждет обещанного им собольего салопа: «Еще **рылом не вышли**-с в собольих-то салопах ходить! <...> гром-то гремит не из тучи, а из **навозной кучи**» [Там же: 76]. Подхалюзин, обобрав будущего свекра, откровенно хамит стряпчему Рисположенскому, который хочет получить от него проценты по сделке: «То-то вы **ни уха, ни рыла не смыслите**, а еще **хапанцы берете**» [Там же: 83]. В редких случаях, но грубость проявляется и в речи положительных героев, когда они говорят наедине с собой и могут не выбирать выражений. Так, про своего дядю говорит Жадов: «(один). Что этот **старый хрыч** разворчался!» [Там же: 93]. Жадов не терпит в отношении себя насмешек и вполне способен пренебречь правилами хорошего тона, о чем, правда, прямо предупреждает

старого чиновника Юсова: «С вами лучше не говорить, Аким Акимыч; вы всегда на **грубость напрашиваетесь**» [Там же: 92].

В пьесах Чехова грубые и оскорбительные слова совсем не так часто встречаются, как у Островского, но и здесь они составляют основу оскорбления, унижения и насмешки, утверждают превосходство грубой невежливой силы над слабостью, уступчивостью, деликатностью. Груб в речах и поступках Смирнов, груба Наташа; присутствие в доме старой няни ее раздражает и доводит до бешенства: «<...> И чтобы завтра же не было здесь этой старой **воровки**, старой **хрычовки**... этой **ведьмы!**...» [Чехов 1978, XIII: 160]. В речах персонажей Чехова встречается грубый армейский юмор и пошлость. Так, Солёный невежливо поддразнивает Тузенбаха и насмехается над ним: «**Цып, цып, цып...** Барона **кашей не корми**, а только дай ему пофилософствовать» [Там же, XIII: 150]. Войницкий в романтическом настроении беседует с циником Астровым и получает в ответ пошлость; ср.: «Войницкий. Она мой друг. Астров. **Уже?** Войницкий. Что значит это «уже»? Астров. Женщина может быть другом мужчины лишь в такой последовательности: сначала приятель, потом любовница, а затем уже друг. Войницкий. Пошляческая философия» [Там же, XIII: 81].

Искренние и пылкие персонажи Чехова глубоко переживают чужую грубую речь, видя в ней не столько нарушение речевого этикета, сколько проявление «внутренней» речи, натуры человека, его злобы, зависти, недоброжелательства. В «Трех сестрах» Ольга говорит, обращаясь к Наташе: «<...> Ты сейчас так **грубо** обошлась с няней... Прости, я не в состоянии переносить... даже в глазах потемнело... <...> Пойми, милая... мы воспитаны, быть может, странно, но я не переношу этого. <...> Всякая, даже малейшая **грубость, неделикатно сказанное слово** волнует меня...» [Там же, XIII: 159]. Ольга пытается свое возмущение умерять словами, на это указывает, например, то, что слово «грубо» можно заменить путем подстановки в контексте на более точные слова: «зло», «жестоко». Используется уменьшение негативности признака («неделикатно сказанное слово», «даже малейшая грубость»), доброжелательное обращение («милая»), доверительный императив, приглашающий к согласию («пойми»), этикетное «прости», паузы, смягчающие потрясение, произведенное словами Наташи («даже в глазах потемнело»).

О грубости персонажи рассуждают порой не в стилистическом, а стилевом смысле. Грубость внешнего мира, в котором вынуждены существовать герои Чехова, противопоставляется их мечтам, воспоминаниям, их утонченному внутреннему миру, любезности, исходящей

из любви, нежности. Ср.: «Маша. <...> между штатскими вообще так много людей **грубых, не любезных, не воспитанных**. Меня волнует, оскорбляет **грубость**, я страдаю, когда вижу, что человек **недостаточно тонок, недостаточно мягок, любезен**. Когда мне случается быть среди учителей, товарищей мужа, то я просто страдаю» [Там же, XIII: 142]. Рассуждения Маши и слова Ольги перекликаются со словами Нины За-речной в «Чайке», когда та мечтательно и с грустью говорит про навсегда ушедшую «ясную, теплую, радостную, чистую жизнь», про «чувства, похожие на нежные, изящные цветы» [Там же, XIII: 59].

3. Грубая прямолинейность

Грубость бывает сродни прямолинейности, и пренебрежение правилами речевого этикета может служить показателем искренности речи. Несущей конструкцией любого языка является культура и её институты: мораль, этика, система общественных отношений. В русской культуре существует приоритет этики над этикетом и эстетикой, ценность прямого, грубого, но правдивого слова.

Грубая прямолинейность свойственна отрицательным персонажам А.Н. Островского; она проявляется в обличительных или назидательных речах тех, кто и сам не является образцом порядочности или стал обвинителем поневоле – пытаюсь обмануть, сам был обманут еще более ловким мошенником. Тем не менее грубость такого обличителя воспринимается как проявление честности, как правдивое слово, как открытое заявление негативного отношения к происходящему, к дурным качествам собеседника, его поступкам и т.п. Так, купец Большов заявляет стряпчему Рисположенскому, обличая его, а заодно порицая и себя: «<...> наш брат купец, **дурак**, ничего он не понимает, а таким **пиявкам**, как ты, это и на руку. <...> На словах-то вы прытки, а там и пошел **блудить**» [Островский 1978: 34–35]. Обличая Подхалюзина в бессовестном обмане, Большов справедливо говорит ему и дочери Липчке: «<...> **Подлец** ты бесчувственный! <...> **Змеи вы подколодные**» [Там же: 81]. В свою очередь, и мошенник Подхалюзин может прямо сказать стряпчему Рисположенскому, что руки у него трясутся «оттого, что **больно народ грабите**. За неправду бог наказывает» [Там же: 44]. Жадов горячо обличает взятки, подлость, «фанфаронство» общества, в котором он с молодой женою влачит нищенское существование; гневно упрекает свою тещу, Кукушкину, за то, что та вносит разлад в их семью, и доходит в своих обличениях до грубости: «Да, такого **глубокого раз-**

врата, как в вашем семействе, я не видывал. <...> Вы **дурная мать!** <...> Как я буду молчать, когда на каждом шагу вижу **мерзости?** <...> Полноте **вздор болтать!** <...> У **вас, на старости лет, всё вздор в голове**» [Там же: 136]. Учтивый сановник Вышневикий, считая поведение супруги неблагодарным, срывается на грубость: «**Змея! Змея!**» [Там же: 88]. Несчастливцев обличает купца Восьмибратова в обмане, желая защитить свою тетку Гурмыжскую: «Как же ты обманул честную женщину!» и доходит в своих пламенных монологах до оскорблений: «Мне угодно сказать тебе, что ты **мошенник**. <...> Одна **рожа-то** твоя, **богопротивная**, чего стоит!» [Там же: 332]. Пожилая помещица Гурмыжская с грубой откровенностью признается юному Буланову в любви: «Тебя, **дурак!** тебя!» [Там же: 352]. Ключница Фоминишна заказывает женихов свахе и прямо, а потому грубовато указывает на то, что требуется: «<...> чтобы были люди свежие, **не плешивые, чтобы не пахло ничем** <...>» [Там же: 47].

Прямолинейная речь со всей своей определенностью есть и в пьесах А.П. Чехова, но она по-разному звучит от разных персонажей и по-разному воспринимается. Подчеркнуто воспитанные персонажи предупреждают, что вынуждены говорить прямо. Эти предупреждения свидетельствуют о понимании того, что человек нарушает приличия. Однако Чехов противопоставляет прямолинейности одних – вежливость, корректность, речевой самоконтроль других. Так, в роли обличителя в пьесе «Иванов» выступает доктор Львов, которому свойственны и вежливость, и любезность, но который горячо принимает к сердцу страдания Анны Петровны и судит строгим судом ее мужа, Иванова. Ср.: «Львов. <...> **Простите**, я взволнован и буду **говорить прямо**. Ваше поведение убивает ее» [Чехов 1978, XII: 13]. В начале действия доктор Львов не только извиняется за прямоту речи – он прибегает к общеизвестному эвфемизму: «Николай Алексеевич, **позвольте мне думать о вас лучше!**..» [Там же]. За эвфемизмом легко угадать более определенное оценочное суждение: «Я о вас весьма дурного мнения!» В дальнейшем по ходу пьесы доктор Львов отказывается от роли увещателя и становится предельно резок, переходит к оскорблениям. Ср.: «Львов. <...> Николай Алексеевич Иванов, объявляю во всеуслышание, что вы **подлец!**» – «Иванов (холодно). **Покорнейше благодарю**. <...>» [Там же, XII: 75]. Воспитанность Иванова, его сдержанность, стремление вести себя достойно противопоставлены топорной прямолинейности «честного человека» Львова. Об этом с иронией, а затем с негодованием говорит и Шабельский: «**Хороша искренность!** Подходит ко мне вечером и ни с того ни с сего: “Вы, граф, мне глубоко несимпа-

тичны!» <...> Черт бы побрал эту **деревянную искренность!** <...> **Бездарная, безжалостная честность!** <...> я был молод и глуп, в свое время разыгрывал Чацкого, обличал мерзавцев и мошенников, но никогда в жизни я воров не называл в лицо ворами и в доме повешенного не говорил о веревке. Я был **воспитан**» [Там же, XII: 33]. Заметим, что Львова зовут Евгений Константинович (так однажды обращается к нему Анна Петровна), что означает «благородный» и «постоянный», и, действительно, то, что «доктор выходит великим человеком», иронически отмечает сам Чехов в письме Суворину от 30 декабря 1888 г., но далее указывает: «Это тип честного, прямого, горячего, но узкого и прямолинейного человека. <...> Это олицетворенный шаблон, ходячая тенденция». Ту же мысль автор не раз высказывает словами персонажей пьесы; ср.: «Ходячая честность» (Саша); «Орет на каждом шагу, как попугай, и думает, что в самом деле второй Добролюбов» (Шабельский); «господин честный человек!» (Анна Петровна). Его антиподу, Иванову, свойственны нежелание осуждать другого, стремление обращать осуждение на самого себя. Об этом говорит доктору Львову сама Анна Петровна: «Он никогда **не выражался так** <...> Зверинец [намек на выражения доктора: «Коршуны!», «Совиное гнездо!», «Крокодилы!» – М.К.] он всегда оставлял в покое, а когда, бывало, возмущался, то я от него только и слышала: “Ах, как я был несправедлив сегодня!” или: “Анюта, мне жаль этого человека!” Вот как, а вы...» [Там же, XII: 40].

Пародию на прямоту, карикатуру на грубую откровенность Чехов создает в лице Боркина, авантюриста и пошляка, который предлагает говорить «**прямо, по-коммерчески** <...> **без subtilностей**» [Там же, XII: 41]. Говорить прямо, а значит, по его представлению, грубо предпочитает и Смирнов, герой пьесы «Медведь»; ср.: «<...> Позвольте мне **называть вещи настоящими их именами**. Я не женщина и привык **высказывать свое мнение прямо!**...» [Там же, XI: 305].

Искренние персонажи Чехова, будучи умны, да и добры, пытаются смягчить сказанное – хотя бы слезами. Так, Маша в «Трех сестрах» говорит Вершинину: «О, как вы постарели! (**Сквозь слезы.**) Как вы постарели!» [Там же, XIII: 127]. Искренна и прямолинейна в своих речах Варя в «Вишневом саде» и, если расположена к адресату, смягчает сказанное тоном и слезами, проявляет сочувствие; ср.: «Варя. Студенту надо быть умнее! (**Мягким тоном, со слезами.**) Какой вы стали некрасивый, Петя, как постарели!» [Там же, XIII: 232]. Искренность с трудом ладит с корректностью, и Маша в «Трех сестрах» резко выговаривает Чебутыкину: «Вам шестьдесят лет, а вы, как мальчишка, городите черт знает что» [Там же, XIII: 150]. С мужем Маша тоже говорит довольно резко, смяг-

чая свою резкость этикетным словом; ср.: «Хорошо, я пойду, только отстань, пожалуйста [Там же, XIII: 133].

4. Сферы эвфемизации

Эвфемизация в пьесах А.Н. Островского охватывает социально-правовую сферу и редко касается личной и бытовой сфер.

В социально-правовой сфере русской лингвокультуры эвфемизмы зачастую служат лжи и обману; персонажи Островского преступают закон, прикрываясь словами и речевым этикетом. С помощью общеизвестных или окказиональных эвфемизмов, причудливых по своей выдумке, персонажи Островского маскируют такое понятие, как взятка (слово *взятка* также было в свое время эвфемизмом; см. [Ковшова 2007]). Без контекста трудно догадаться, что в речи стряпчего Рисположенского («Свои люди – сочтемся!») говорится о взятках, а также других неблагоприятных поступках; ср.: «**Делишки** наши **маленькие**. Мы, как птицы небесные, **по зернышку клюем**» [Островский 1978: 44]. Сентенция, «состряпанная» Рисположенским из речевого клише, цитаты из Библии и поговорки, камуфлирует преступные действия, которые еще и умаляются с помощью аффиксации («делишки») и семантики прилагательного («маленькие»). Этот эвфемизм используется не раз в пьесах А.Н. Островского в речи самих взяточников и разного рода мошенников о себе; так, например, в «Волках и овцах» говорит Чугунов: «Какие мы с вами волки? Мы куры, голуби... **по зернышку клюем, да никогда сыты не бываем**» [Там же: 466]. В пьесе «Доходное место» в речах Юсова, Белогубова и 1-го чиновника для маскирования слова «взятка» используются подмена значения и расширение значения. Ср.: «Юсов. <...> Должно быть, ловко **хватил**? Белогубов (указывая на карман). **Попало-таки!** <...> Юсов. **Зацепил**, должно быть?» [Там же: 121]. По каким признакам мы догадываемся, что речь идет о взятке? Во-первых, есть стойкое стереотипное представление о том, что в русской лингвокультуре является основным предметом обсуждения среди чиновников, когда они в кругу своих. Во-вторых, предикаты *хватил* и *зацепил* обозначают целенаправленность активного действия рук, а предикаты *хватил*, *зацепил*, *попало-таки* содержат в своем значении сему 'обретение искомого объекта' (ср. поговорку *руки загребущие*, идиомы *к рукам прилипло*, *нагреть руки* и т.п.). Все, что так или иначе связано с правонарушениями – приписками, шантажом, присвоением казенных денег и т.п., в речи персонажей Островского со вкусом эвфемизируется, это

делает образы жизненными и узнаваемыми. 1-й чиновник говорит о шантаже, используя общеязыковой эвфемизм с расширенной семантикой; ср.: «Ну и **деньги взял большие**» [Там же: 122]. В пьесе «Волки и овцы» на вопрос Мурзавецкой: «Где он деньги берет?» про источник обогащения одного персонажа Павлин, намекая на взятки, отвечает с помощью подмены значения, добавляя, кроме того, смягчающее «-с»: «**Заимствуются-с**» [Там же: 387]. Мурзавецкая также любит образные выражения, которые в той или иной мере смягчают речь; ср.: «Будет с тебя, **нагрел руки-то**» [Там же: 390]. (Если заменить идиому путем подстановки на более точное выражение, то получится оскорбление; ср.: «Будет с тебя, ты уже много накрал на своем месте».) Положительный персонаж Жадов, решив все же искать у дядюшки доходного места, разительно меняет свою до того (грубо-)прямолинейную речь: он начинает недоговаривать, делает паузы, снижает тон и прибегает к словам с подменой значения. Ср.: «Жадов. <...> Дайте мне место, где бы я... мог... **(тихо) приобрести что-нибудь**» [Там же: 152]. Вышневецкая эвфемизирует негативный предмет обсуждения с мужем – его должностные преступления – путем создания неполноты признака («не совсем»): «Ради бога, не делайте меня участницей ваших поступков, если они **не совсем честны** <...>» [Там же: 88]. Юсов, предупреждая Вышневецкую о начавшейся проверке преступлений ее супруга, предпочитает недоговаривать или использует всевозможные цитаты, речевые клише с расширенной семантикой, частицу *якобы* с семантикой сомнения, неточности, а также бесстрастные канцелярские обороты: «Человек все равно... корабль по морю... <...> Я **насчет брэнности** <...> поворот в жизни <...> **опала на нас-с** <...> Открылись **якобы упущения**, недочеты сумм и разные злоупотребления. <...> **Ответствовать** всем своим имуществом и подвергнуться суду за незаконные **якобы** поступки» [Там же: 147]. Далее он говорит, что такое «попущение» Вышневецкому вышло «за гордость», но Вышневецкая разоблачает эвфемизм: «Полноте, какая тут гордость! Просто за **взятки**» [Там же]. Юсов отвечает мягко – он смягчает сказанное Вышневецкой, используя «трансфер» обличительного восклицания в форму риторического вопроса, слова с семантикой уменьшения признака, аллюзию к представлениям о слабостях человеческой природы, сентенции про судьбу. Ср.: «Взятки? **Взятки что-с, маловажная вещь... многие подвержены**. Смирения нет, вот главное... Судьба всё равно что фортуна <...>» [Там же].

К эвфемизмам прибегают для маскирования, их использование в речи носит, главным образом, этикетный, формальный и порой эстетический характер и не вводит никого в заблуждение относительно смысла

сказанного. В откровенной беседе – без эвфемизмов – между персонажами А.Н. Островского декларируется своеобразный кодекс «чести», ценностей и жизненных правил, которым руководствуются взяточники и мошенники. Ср.: «Кукушкина. <...> Взятки! Что за слово взятки? Сами ж его выдумали, чтобы обижать хороших людей. Не взятки, а **благодарность!**» [Там же: 133]; «Чугунов. Ну что за подлог? **Умное дело** – вот как это называется» [Там же: 392]; «Юсов: «Не марай чиновников. Ты **возьми**, но за дело, а не за мошенничество <...>» [Там же: 122]; «Чугунов. <...> А то плут! Ну, **плут, а ведь тоже чувство**. (Ударяет себя в грудь.) <...> Ну как я теперь против вас какую-нибудь такую... большую подлость сделаю! Это мне будет очень трудно и очень даже совестно» [Там же: 402]; «Вышневицкий. <...> Вот тебе общественное мнение: **не пойман – не вор**. <...> весь город уважал первейшего взяточника за то, что он жил открыто и у него по два раза в неделю бывали вечера» [Там же: 99].

Реже у Островского эвфемизация происходит в личной и бытовой сфере, когда смягчаются при обсуждении те или иные качества человека, свойства его характера, поступки и действия. Некоторые смягчают речь, говоря о себе. Так, Глумов в пьесе «На каждого мудреца довольно простоты» обращается к неопределенным местоимениям и речевым клише с расширенной семантикой, говоря о своих проделках и рисуя себя удалым человеком: «Покучивал, ваше превосходительство; случались **кой-какие истории не в указные часы**» [Там же: 261]. В «Лесе» актер Счастливец использует для смягчения варваризмы; ср.: «<...> А ещё лучше, кабы эти деньги... **Ампошэ** [от франц. *empocher* – ‘положить в карман’ – М.К.]», и ему отвечает на это Несчастливцев: «Я тебе такое ампошэ задам!» [Там же: 337]. Несчастливцев испытывает превеличенный трепет к своей тетке Гурмыжской и потому смягчает обсуждение не достойных ее личности тем. Предупреждая Счастливецца о невозможности неблагоприятных действий (на которые тот способен), Несчастливцев опускает часть высказывания и говорит «насчет чужого» вместо «насчет того, чтобы брать, красть чужое»; заменяет императивы («не ссорься ни с кем, не дерись, не бери чужое имущество, не кради») их косвенным описанием. Ср.: «Только ты насчет ссоры или драки, ну, и **насчет чужого** поостерегись, Аркаша!» [Там же: 321]. Счастливец, в свою очередь, прибегает для смягчения к паузам и подмене значения, а также к замене слов, сходных по семе ‘наивное неведение’ («простак» вместо «дурак»). Счастливец не рискует прямо сказать Несчастливцеву о роли Буланова в ситуации с теткой и о смешной роли самого Несчастливцеца. Ср.: «<...> он здесь получше вашего **роль-то играет** <...> Он-то любовника играет, а вы-то... **простака**» [Там же: 337]. Эти-

кетное извинение и порицание в смягченной форме – высказанное в виде вопроса с расширенной семантикой – встречаем в речи «ожиревшего» (по характеристике действующих лиц) барина Лыняева, который спрашивает у Горецкого, всегда готового «сделать подлость за деньги»: **«Извините за нескромный вопрос. Вы знали когда-нибудь разницу между хорошим делом и дурным?»** [Там же: 428]. Смягчает, корректирует за Дикого его грубые выражения Кулигин. Ср.: «Дикой. Да что ты ко мне лезешь со всяким вздором! <...> Так прямо с рылом-то и лезет разговаривать». – «Кулигин. Кабы я **со своим делом лез**, ну, тогда был бы я виноват <...>» [Там же: 197]. Карп использует неопределенные наречия или предпочитает умолчание, щадя невинность Аксюши: «<...> всё же лучше, пусть [деньги] в приданое пойдут, чем **туда же, куда и прочие**. Аксюша. Куда прочие... а куда же прочие? Карп. Ну, это вам, барышня, и **понимать-то невозможно, да и язык-то не поворотится сказать вам**» [Там же: 288].

В пьесах А.П. Чехова эвфемизация происходит в личной и в бытовой сферах. Нуждаются в смягчении темы некрасивой внешности, неприятных черт характера, любые оплошности, тема пьянства, тема смерти. Персонажи Чехова предпочитают недоговаривать или переводят все неприятное в шутку. Один пример разоблачения эвфемизма находим в «Дяде Ване». Ср.: «Соня. Я некрасива. Елена Андреевна. У тебя прекрасные волосы. Соня. Нет! Нет! **Когда женщина некрасива, то ей говорят: “у вас прекрасные глаза, у вас прекрасные волосы”...**» [Чехов 1978, XIII: 92]. Отметим, что данное выражение может не быть эвфемизмом и выражать положительную эстетическую оценку. Ср.: Тузенбах – Ирине: «<...> и ты кажешься мне все прекраснее. Какие прелестные, чудные волосы! Какие глаза!» [Там же, XIII: 180]. Впрочем, оценка деталей внешности («волосы», «глаза») в последнем примере следует за общей эстетической оценкой внешности, представленной в позитивной динамике («ты кажешься мне все прекраснее»), потому такое внимание к деталям не может быть заподозрено в эвфемизации.

Эвфемизмы, сопряженные с проявлением вежливости, воспитанности, характерны для персонажей, которые делают попытку умерить свое возмущение словами собеседника. Вместо таких оценочных слов, как «неприятно», «обидно», «дурной характер», используются слова с подменной значения, с размытой, неопределенной семантикой; возражение принимает вид просьбы. Ср. в пьесе «Три сестры» Тузенбах говорит Соленому в ответ на его грубые насмешки: «Василий Васильич, прошу оставить меня в покое... **Это скучно, наконец**» [Там же, XIII: 129]; «У вас **характер странный**, надо сознаться» [Там же, XIII: 150]. На эвфе-

мизацию также указывают нисходящая градация, синтаксическая и просодическая экспликация (многоточие, паузы), общеизвестность данных выражений в функции смягчения в стереотипных ситуациях.

В пьесе «Иванов» в речах Лебедева встречаем шуточные выражения, смягчающие тему болезни и смерти. Ср.: «Какое уж тут доброе здоровье!.. **Околеванца** нет, и на том спасибо» [Там же, XII: 25]; «Наше, брат, дело с тобою об **околеванце** думать» [Там же, XII: 48]; «Какое мое мировоззрение? Сижу и каждую минуту **околеванца** жду. Вот мое мировоззрение» [Там же, XII: 32–33]. В словаре А.П. Евгеньевой *околеть* является грубо-просторечным синонимом для нейтрального глагола *умереть* [Евгеньева 1975: 604], однако выражение *ждать околеванца* (ср. *ждать смерти*) является шуточным эвфемизмом в речи Лебедева. Это отвечает принятой традиции в русской культуре окрашивать тему смерти грубоватым юмором; ср. идиомы *кондрашка хватил*, *дать дуба*, *сыграть в ящик*, *склеить ласты*, *откинуть коньки/копыта*, *зажать глаза*, *лечь под деревянное одеяльце*, *надеть деревянный тулуп* и мн. др. [Ковшова 2007]. Добавим, что индивидуально-авторский эвфемизм Чехова понравился Чуковскому, он его употреблял и в бытовом, и в профессиональном смысле. Ср. [НКРЯ]: Но совещание министров положило прекратить наш журнал – и с тех пор живешь из кулька в рогожку, **околеванца ждешь**... [К.И. Чуковский. Памяти Евгения Соловьева (1905) // «Речь», 1907]; Если у Чехова, например, один персонаж говорит: «Сижу и каждую минуту околеванца жду!» – у переводчицы этот человек канителит [К.И. Чуковский. Высокое искусство (1968)].

Шутливость Лебедева распространяется на разные вещи, которые ему не нравятся; это стилевая черта Лебедева. Ср.: «Ступайте, **зулусы** <...> Проходи, **пещерный человек**» [Чехов 1978, XII: 65]. Понимание того, что это не оскорбление, а шутка, исходит из общего видения характера Лебедева, его доброты, неспособности обидеть. Все это находит свое выражение в мягкой манере Лебедева упрекать, не соглашаться; требования у Лебедева обычно превращаются в просьбы, нарекания – в оправдание виноватого перед ним человека. Ср.: «<...> **Не знаю, как начать**, чтобы это вышло не так бессовестно... Николаша, **совестно** мне, краснею, язык заплетается <...> **Извини** ты меня...» [Там же, XII: 49]. Шуткой Лебедев смягчает упрек. «Лебедев. <...> Нынешняя молодежь, **не в обиду будь сказано**, какая-то, **господь с нею, кислая, переваренная**... <...> В наше время <...> и пляшешь, и барышень забавляешь, и эта штука. (**Щелкает себя по шее.**)» [Там же, XII: 27]. Жестовый эвфемизм в речевом поведении Лебедева затушевывает негативный смысл (пьянство) и придает шутливости сказанному.

Грубовато-шутливо звучат в пьесе «Три сестры» слова Чебутыкина, обращенные к Кулыгину, после того как тот сбрил усы: «Я **бы** сказал, **на что теперь походит ваша физиономия, да не могу**» [Там же, XIII: 174]. Подчеркнутый отказ называть вещи прямо имеет более полное выражение в известной формуле: «Сказал бы, да не хочу обижать». Отказываться от того, чтобы обозначать негативное, свойственно философии Чебутыкина, который видит все происходящее через призму «рениксы». Ср.: «Что произошло? **Ничего. Пустяки. Чепуха все** (про ссору Соленого с Тузенбахом)» [Там же]. Мягко, как учитель ученика, журит Чебутыкина и Кулыгин. Чебутыкин роняет и разбивает вдребезги часы. Пауза. «Кулыгин. Разбить такую дорогую вещь – ах, Иван Романыч, Иван Романыч! **Ноль с минусом вам за поведение!**» [Там же]. Кулыгин использует преобразованный им шутливый «педагогический» фразеологизм *ноль с минусом за поведение* (ср. *двойка за поведение*, а также современные шутливые выражения: *два балла, два с минусом*, которые также могут использоваться для смягчения речи при подобных ситуациях).

Известное речевое клише *не к лицу* в качестве эвфемизма, с целью мягкого упрека используется в словах Анны Петровны в «Безотцовщине» и в словах Сони в «Дяде Ване». Ср.: «Анна Петровна (Трилецкому). <...> Не острите, дорогой мой! И надоело, и **не к лицу** вам» [Там же, XI: 9]. «Соня. А ты, дядя Ваня, опять напился с доктором. Подружились, ясные соколы. <...> В твои годы это совсем **не к лицу**» [Там же, XIII: 82]. Узуальные смягчающие выражения встречаем и в мягких жалобах и просьбах Сорина в пьесе «Чайка», обращенных к Аркадиной, а затем к Треплеву. Ср.: «Сорин. Мне кажется, было бы самое лучшее, если бы ты... дала ему **немного** денег <...>» [Там же, XIII: 36]. «Сорин. Мне, брат, в деревне **как-то не того** <...>» [Там же, XIII: 6]. В первом случае используется сочетание с квантором, в котором содержится семантика уменьшения: *немного денег*. То, что герой старается смягчить свою просьбу, косвенно поддерживается паузой в рематической части высказывания, выраженной многоточием и указывающей на подтекст. Во втором употребляется узуальный эвфемизм, построенный на прономинании, обещающей расширение значения (*того*), употреблена частица с неопределенной семантикой как-то в соединении с отрицательной частицей *не*: *как-то не того*. Ср. широкое использование выражения *как-то не того* в качестве эвфемизма – для смягчения более определенного выражения неуверенности, антипатии, несогласия, негативной оценки в [НКРЯ]: Нет, мне эти сублильные *как-то не того*... не знаю... [Н.В. Гоголь. Женитьба (1833–1842)]; Да так, *как-то не того*: и нос длинный, и

по-французски не знает. [Н.В. Гоголь. Женитьба (1833–1842)]; – В собрание-то, братец, ехать *как-то не того...* не привык я! [А.Ф. Писемский. Взбаламученное море (1863)]; <...> тишина эта сельская ему *как-то... не того*, не очень, – по ушам бьёт, он привык к шуму и к высоте. [Василий Шукшин. Вечно недовольный Яковлев (1974)]; – Вы знаете, – сказал я. – Это *как-то не того*. Я в общем-то доносить не умею. [Владимир Войнович. Москва 2042 (1986)].

5. Манерность речи и «лакейский» диалект

Действующие лица в пьесах А.Н. Островского нередко желают придать своей персоне внушительности, а своей речи – высоту слога, сообразно их представлению о книжной, литературной речи и благородных манерах. Особенно это характерно для социально зависимых по роли персонажей. Свойственная им просторечная, грубо-просторечная и разговорная лексика зачастую соседствует с литературными оборотами, различными цитатами из Священного писания, казенными словами и канцелярскими клише, придающими, по их мнению, книжность и складность речи. Так, например, Карп, лакей Гурмыжской, говорит купцу Восьмибратову: «Дождитесь своего **термину**, когда вас позовут» [Островский 1978: 323]. Для «лакейского» диалекта (по удачному выражению в [Эткинд 1998: 259]) характерны варваризмы; ср., например, диалог в пьесе «Бесприданница» Робинзона с Паратовым: «Робинзон. <...> С тобой, **ля Серж**, куда хочешь, а уж с купцом я не поеду». – «Паратов. Что так?» – «Робинзон. Невежи!» [Островский 1974: 727].

Витиеватостью и приторностью выражений господ, благородных помещиков в пьесах Островского лишь подчеркивается неполноценность их культуры, фальшь «внешней» речи, за которой стоит пустота их внутреннего мира. Ср.: «Милонов. <...> **все прекрасное и все высокое заставляет молчать уста мои** и вызывает обильные слезы на мои ресницы» [Там же: 367]. Речь богатого помещика лишена смысла, ее функция состоит в том, чтобы прикрыть отсутствие чувств, затушевать полное безразличие. Ср.: «Милонов. Раиса Павловна, поверьте мне, **все высокое и все прекрасное...**» – «Гурмыжская. Верю, охотно верю <...>» [Там же: 291]; «Милонов. Поверьте, **все высокое и все прекрасное** найдет себе оценку, Раиса Павловна. <...>» [Там же: 293]; «Милонов. Поверьте, **все высокое и все прекрасное...**» [Там же: 297]; «Милонов. **Все высокое и все прекрасное** основано на разнообразии, на контрастах. <...>» [Там же: 366]. Однообразие используемых оборотов обнару-

живает безъязыкость, неумение выразить свои мысли, а скорее – полное отсутствие мыслей и чувств, достойных неоднообразного выражения.

Формальную вежливую сторону речи зачастую обеспечивает присоединяемый к словам «словоерс», используемый для выражения почтения к собеседнику высшего социального ранга. Ср.: «Карп. Пожалуйте, сударыня, чай кушать, самовар **готов-с**»; «Карп. **Слушаю-с**» [Там же: 319]; «Счастливец. **Куда-с?**» [Там же: 315]. В речи же «благородных персонажей» А.Н. Островского «-с» используется согласно представлению неумных, пустых людей о деликатности, изяществе, а также для изображения чувствительности или, в нужный момент, для выказывания покорности и самоуничужения. Ср.: «Буланов. На все, что прикажут; вот еще именем управлять, **мужиками-с**» [Там же: 318]; «Буланов. **Ох-с!**» [Там же: 319]; «Белогубов. <...> Другой бы того и в десять лет не узнал, всех **тонкостей и оборотов** <...> Что бы я был? **Дурак-с!** А теперь член общества, все уважают <...>» [Там же: 121].

Важно знать непростые, «умные» и лучше иностранные слова, чтобы казаться образованным и благородным человеком. Так наивно рассуждает Бальзамина, персонаж трилогии, в первой части которой («Свои собаки грызутся, чужая не приставай!») она учит сына, что «есть такие французские слова, очень похожие на русские <...> Ты все говоришь: “Я гулять пойду!” Это, Миша, нехорошо. Лучше скажи: “Я хочу **проминаж** сделать!”». – «Бальзаминов. Да-с, маменька, это лучше. Это вы правду говорите! **Проминаж** лучше». – «Бальзамина. Коль человек или вещь какая-нибудь не стоит внимания, ничтожная какая-нибудь, – как про нее сказать? Дрянь? Это как-то неловко. Лучше сказать по-французски: “**Гольтепа!**”» – «Бальзаминов. **Гольтепа**. Да, это хорошо» [Островский (б)]. В другой части трилогии («Праздничный сон – до обеда») Бальзамина развивает эту тему: «<...> а мой-то умных слов совсем не знает. <...> Знай-ка он **умные-то слова**, по нашей бы стороне много мог выиграть: сторона глухая, народ темный. А то слов-то умных не знает. Да и набраться-то негде. Уж хоть бы из стихов, что ли, выписывал». Бальзаминов их все же выписывает, поскольку высоким слогом отвечает свахе: «Нет, нет, пускай сберут все розы и лилеи и насыплют на гроб мой» [Островский (а)]. В третьей части трилогии («Куда пойдешь – то и найдешь») Миша Бальзаминов жалуется матери: «<...> Какое необразование свирепствует в нашей стороне, страсть! Обращения не понимают, человечества нет никакого! <...>» [Островский (в)].

У А.П. Чехова «преувеличенная» вежливость, фальшивая книжность, приторная жеманность в речах персонажей целенаправленно доводятся до пародии, карикатуры на внешнее благородство при внутрен-

нем убожестве. Языку людей из высшего общества, по стереотипному представлению об этом языке и этом обществе, пытаются подражать простые, грубые, невежественные или ничтожные натуры. Подчеркивая свою образованность (которую «они хотят показать»), персонажи Чехова пересыпают речь этикетными вводно-модальными оборотами, которые служат общеизвестными маркерами смягчения: *извините за выражение, в некотором смысле, позвольте выразиться* и т.п. Так, телеграфист Ять в «Свадьбе» с помощью подобных этикетных вставок изображает благородного, образованного человека. Ср.: «У такого жестокого создания, **позвольте вам выразиться**, и такой чудный, чудный голос! С таким голосом, **извините за выражение**, не акушерством заниматься, а концерты петь в публичных собраниях» [Чехов 1978, XII: 111]. Комический эффект вызывают извинения за то, что не нуждается в извинениях; ср., например: «Ять. <...> Только знаете, чего не хватает для полного торжества? Электрического освещения, **извините за выражение!** <...>» [Там же, XII: 113]; «Виноват! Конечно, вы привыкли, **извините за выражение**, к аристократическому обществу» [Там же, XII: 111]. Кажется самому себе изящным в непросто построенной фразе Апломбов, который обращается к Ятю со словами: «**Позвольте вам выйти вон!**», на что Ять отвечает в своем стиле: «<...> Только вы отдайте сначала пять рублей, что вы брали у меня в прошлом году на жилетку пике, **извините за выражение**» [Там же, XII: 114].

Так же, как и Ять, печется о вежливости выражений герой пьески «О вреде табака» Нюхин, прибегая к метатекстовым заставкам и избыточным речевым оборотам и словам с неопределенной семантикой. Ср.: «Нюхин. <...> И даже пишу иногда, можете себе представить, ученые статьи, то есть не то чтобы ученые, а так, **извините за выражение, вроде как бы** ученые» [Там же, XIII: 191]; «<...> Я очень нервный человек, **вообще говоря**, а глазом начал подмигивать в 1889 году 13-го сентября, в тот самый день, когда у моей жены родилась, **некоторым образом**, четвертая дочь Варвара» [Там же, XIII: 192]. В речах Нюхина также используется особое понижение тона, к которому прибегают из чувства страха или из деликатности; понижение тона передается ремарками (*понижив голос, кашлянул* и т.п.). Условным знаком эвфемистической ситуации являются также паузация и жесты; ср.: «<...> А когда там не бывает моей жены, то можно и это... (**Щелкает себя по шее.**)» [Там же, XIII: 194].

Так же, как Ять и Нюхин, печется о своих выражениях Епиходов в пьесе «Вишневый сад». Он использует в речи не только этикетные извинения, но и многословие, отвечающее его представлениям о благо-

родных манерах. Ср.: «Епиходов. <...> **Не могу одобрить** нашего климата. <...> **позвольте вам присовокупить**, купил я себе третьего дня сапоги, а они, **смею вас уверить**, скрипят так, что **нет никакой возможности**» [Там же, XIII: 198]; «Епиходов [после того, как натывается на стул, который падает – М.К.] Вот видите, **извините за выражение**, какое обстоятельство, **между прочим...**» [Там же]. В контексте всех «тридцати трех несчастий» нескладная речь Епиходова выглядит попыткой смягчить предмет обсуждения, смягчить прежде всего для самого себя, поэтому к многословию добавляется недоговаривание («привели меня в состояние духа»). Ср.: «**Несомненно, может**, вы и правы. Но, **конечно, если взглянуть с точки зрения**, то вы, **позволю себе так выразиться, извините за откровенность**, совершенно привели меня в состояние духа» [Там же, XIII: 237]; «<...> У меня несчастье каждый день. И я, **позволю себе так выразиться**, только улыбаюсь, даже смеюсь» [Там же, XIII: 238].

Образцом «лакейского» диалекта является равнодушно-напыщенная речь Яши, молодого лакея Раневской. При этом он немногословен, постоянно или зевает, или говорит, как это указано в ремарках, «с усмешкой» [Там же, XIII: 211], «(смеется)»; (едва удерживается от смеха)» [Там же, XIII: 218], говорит «(едва удерживаясь от смеха)» [Там же, XIII: 233], «(смеется) От удовольствия» [Там же, XIII: 243]. Яша использует казенные клише «лакейского» диалекта, добавляет в речь междометия, имитирующие раздумье («гм...»), прибавляет «-с»: «Тут можно **пройти-с?**» [Там же, XIII: 202], «**Да-с...**» [Там же, XIII: 217]. И Любовь Андреевна, и Варя говорят общечеловеческим языком о стареньком Фирсе, который что-то бормочет: «Любовь Андреевна. О чем это он?» – «Варя. Уже три года так бормочет. Мы привыкли». Яша, присутствующий при разговоре, скрепляет сказанное книжным оборотом: «**Преклонный возраст**» [Там же, XIII: 208]. Яша ощущает себя образованным человеком и важно выносит обо всем лаконичные однозначные суждения: «Само собой» [Там же, XIII: 216], «Невежество» [Там же, XIII: 237], сообщает Лопухину: «Я такого мнения, Ермолай Алексеич, народ добрый, но мало понимает» [Там же, XIII: 242]. На прощание бросает Епиходову: «(с презрением) Невежество...» [Там же, XIII: 252]. При этом Фирсу, не маскируя за ненадобностью перед ним свою грубость и жестокость, говорит своей «внутренней» речью, из глубины души: «Надоел ты, дед. (Зевает.) Хоть бы ты поскорее подох» [Там же, XIII: 236]. Его напускная образованность выражается в составляющих его «внешнюю», искусственную, лаконичную речь казенных оборотах и речевых клише: «Не могу с вами не согласиться» [Там же, XIII: 216], «Приятно выкурить сигару на чистом

воздухе» [Там же, XIII: 217]. Он напевает строчку из романса: «Поймешь ли ты души моей волненье...» [Там же, XIII: 237], но это не от чувствительности натуры, а от волнения по поводу предстоящего отъезда в Париж. Единственный монолог в десять строк он произносит, прося Раневскую взять его с собой. Он подчеркнута вежлив и настойчив в своих казенных оборотах, уверен в выносимых им вердиктах; ср.: «Позвольте обратиться к вам с просьбой, будьте так добры <...> сделайте милость. Здесь мне оставаться положительно невозможно <...> страна необразованная, народ безнравственный <...> кормят безобразно <...>» [Там же, XIII: 236–237]. В разговоре с Дуняшей Яша уже воодушевлен отъездом и сквозь «лакейский» диалект прорывается его подлинная, «внутренняя» речь, то, что он думает, а думает он простыми словами: «<...> Здесь не по мне, не могу жить... <...> Насмотрелся на невежество – будет с меня...» [Там же, XIII: 247]. Яше по душе иностранное: «<...> Вив ла Франс!..» [Там же]. «Лакейский» диалект Яши производит впечатление лишь на наивные и невежественные натуры. Лакейской деликатностью наполнены «чувствительные» речи Дуняши. Ср.: «Дуняша. <...> а только иной раз как начнет говорить, ничего не поймешь. И **хорошо**, и **чувствительно**, только непонятно» [Там же, XIII: 199]; «Дуняша. <...> Я такая **деликатная** девушка, ужасно люблю **нежные слова**» [Там же, XIII: 237]. Старый Фирс воспринимает происходящее поверх слов, он смотрит в душу и не смотрит на «внешнюю» речь; Фирс говорит Яше: «Эх ты... недотепа!» [Там же, XIII: 236] и Дуняше: «Закрутишься ты» [Там же, XIII: 237].

Формальное варьирование, если применить идею В.З. Демьянкова [Демьянков 2014] к описанию эвфемизмов, связанное с выбором знака из нескольких возможных в конкретной ситуации, проиллюстрируем примерами из монолога Вышневецкого. Ср.: «Знаете ли, что деньги, на которые я ее [дачу] купил... **как бы это вам сказать?**.. ну, одним словом, я **рискнул более, нежели позволяло благоразумие**. Я могу **подлежать ответственности**» [Островский 1978: 88]. Концептуальное варьирование, связанное с выбором содержания эвфемизма, представлено, например, в высказывании Сони: «Когда женщина некрасива, то ей говорят: **“у вас прекрасные глаза, у вас прекрасные волосы”**...» [Чехов 1978, XIII: 92]. Социальное варьирование проявляется в создании Шабельским окказионального эвфемизма «**нагаврился**» («напился, стал пьяным») в адрес Лебедева. Шабельскому свойствен, скорее, сарказм; он целыми днями «грызёт» Анну Петровну своими колкостями; преувеличенно любезен, а затем и груб с Бабакиной; груб с доктором Львовым. В разговоре же с Лебедевым Шабельский создает шутливый эвфемизм. Ср.: «Лебедев [зовет слугу, чтобы принес вина.

– М.К.]. <...> Гаврила! – Шабельский. Ты уж и так **нагаврился**...<...>» [Там же, XII: 32–33]. Такой принцип описания применим и к другим эвфемизмам и подтверждает культурную обусловленность их выбора и употребления в речи.

Итак, в пьесах А.Н. Островского и в пьесах А.П. Чехова постоянно ведутся разговоры на тему вежливости, грубости, искренности, изящности. О том, как, какими словами должно выражать порядочному образованному человеку мысли и чувства, говорят самые разные персонажи. Формального соблюдения приличий требуют отрицательные персонажи в пьесах Островского; у Чехова внимание к этикетной стороне вежливой речи пародируется и о внешнем соблюдении приличий и благородных манерах заботятся вульгарные, грубые и подлые натуры. Эвфемизация всеми известными в русском языке способами в пьесах Островского и Чехова осуществляется в сферах – социально-правовой (в большей мере у Островского) и личной, бытовой (у Чехова). Дисфемизмы характерны для языка отрицательных персонажей Островского, но грубость речи свойственна и другим его разным персонажам – купцам, мещанам, их женам и дочерям, крестьянам, лакеям. Грубая прямолинейность в обличительных речах персонажей Островского призвана преодолевать фальшивое соблюдение приличий и разоблачать неправду. В пьесах Чехова излишняя прямолинейность становится предметом шутки, пародируется; прямолинейности противопоставляется сдержанность, деликатность, сочувствие. У Чехова смягчение речи в большей мере сопряжено с шутливостью. Многие персонажи в пьесах Островского и Чехова наивны и юмористически невежественны; они подражают благородным манерам и книжной речи, и увлечение эвфемизмами лишь подчеркивает их языковую беспомощность, обнаруживает культурную дистанцию между разными социальными слоями, которую преодолеть с помощью одних только «изячных» слов и книжных оборотов не удастся. О соблюдении речевого этикета и в современном обществе говорят так же постоянно, как в пьесах А.Н. Островского или в пьесах А.П. Чехова; к вежливой литературной речи апеллируют, ею овладевают, ей подражают или, напротив, ее правила нарушают, меняют каноны, низводят культуру к площадной грубости. Внимание к «лингвистической» теме у Островского и Чехова неслучайно: она проявляет важные на все времена противоречия между внутренним миром человека и возможностью словесного его выражения, между речевыми образцами, которые складываются в обществе, и их вырождением в пустые формы; обнаруживает значимые для русской речевой коммуникации разногласия между этикетом, эстетикой и этикой.

Литература

- Булаховский Л.А. Табу и эвфемизмы // Булаховский Л.А. Введение в языкознание. М., 1953.
- Дегтярева А.Р., Осадчий М.А. К вопросу о функциональной классификации эвфемизмов русского языка // Вестник Кемеровского государственного университета, № 2 (50), 2012.
- Демьянков В.З. Культурные и цивилизационные параметры варьирования языков с когнитивной точки зрения // Когнитивные исследования языка, Вып. XIX, 2014.
- Евгеньева А.П. (отв. ред.) Словарь синонимов. Л., 1975.
- Кацев А.М. Языковое табу и эвфемия. Учебное пособие к спецкурсу. Л., 1988.
- Ковшова М.Л. Семантика и прагматика эвфемизмов. Краткий тематический словарь эвфемизмов. М., 2007.
- Ковшова М.Л. Не совсем слова в драматическом тексте Чехова // Критика и семиотика, Вып. 17, 2012.
- Крысин Л.П. Эвфемизмы в современной русской речи // Русский язык конца XX столетия (1985–1995). М., 1996.
- Крысин Л.П. Эвфемизмы в современной русской речи // Крысин Л.П. Русское слово, свое и чужое. М., 2004.
- Ларин Б.А. Об эвфемизмах // Ученые записки ЛГУ. Сер. филологических наук, т. 60, № 301, 1961.
- Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Словарь русской брани (матизмы, обсценизмы, эвфемизмы). М., 2004.
- Москвин В.П. Эвфемизмы в лексической системе современного русского языка. М., 2007.
- Осадчий М.А. Русский язык на грани права: Функционирование современного русского языка в условиях правовой регламентации речи. М., 2012.
- Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 1967.
- Сеничкина Е.П. Словарь эвфемизмов русского языка. М., 2008.
- Сеничкина Е.П. Эвфемизмы русского языка: Спецкурс / Учебное пособие. М., 2012.
- Шейгал Е.И. Эвфемизм и ирония в политическом тексте // Филология – Philologica, № 11, 1997.
- Эткинд Е.Г. «Внутренний человек» и внешняя речь. Очерки психоэтики русской литературы XVIII–XIX вв. М., 1998.

Источники

НКРЯ: Национальный корпус русского языка. [Электронный ресурс].

URL: <http://www.ruscorpora.ru>

Островский А.Н. Полн. собр. соч., т. XII. М., 1952.

Островский А. Пьесы // А. Грибоедов. Горе от ума. А. Сухово-Кобылин.

Пьесы. А. Островский. Пьесы. Библиотека всемирной литературы. М., 1974.

Островский А.Н. Пьесы. М., 1978.

Островский А.Н. Праздничный сон – до обеда. URL: http://az.lib.ru/o/ostrowskij_a_n/text_0052.shtml (а).

Островский А.Н. Свои собаки грызутся, чужая не приставай. URL: http://az.lib.ru/o/ostrowskij_a_n/text_0063.shtml (б).

Островский А.Н. Женидьба Бальзаминаова (За чем пойдешь, то и найдешь). URL: <http://poesias.ru/proza/ostrowskij-aleksandr/ostrowskiy1005.shtml> (в).

Чехов А.П. Полное собрание сочинений в 18 тт. Тт. XI, XII, XIII. М., 1978.

К.Я. Сигал

Сочинительная связь и повтор в речевом взаимодействии (на материале словоформ)

Синтаксические исследования механизмов речепостроения позволяют утверждать, что построение текстов – цельных и связных (в норме) речевых произведений – имплицитно подразумевает действие коммуникативно-структурного принципа повторяемости, проявляющегося как на семантическом, так и на сегментном уровне (см. довольно обстоятельный обзор специальной литературы в [Габ 1992]).

В психолингвистическом плане так называемый сегментный повтор весьма существен: в составе предложения-высказывания его появление обусловлено менее жесткой программой грамматического структурирования, в собственно текстовых единицах – тем, что «программа высказывания не “снимается” сразу, а продолжает еще какое-то время – скажем, до окончания порождения следующего высказывания – оставаться фиксированной» [Леонтьев 1969: 190].

Если же учесть то обстоятельство, что повтор, как правило, не бывает единственным маркером того или иного значения (естественно, кроме случаев грамматикализации повтора, наблюдаемых, например, в некоторых языках Азии и Африки), то можно полагать, что психологически за фактом сегментного повтора может стоять как осознанный выбор, так и спонтанная, автоматизированная, едва ли осознаваемая пишущим (и тем более говорящим) форма реализации смысловых «квантов» порождаемого текста.

В психолингвистике было выяснено, что повтор по преимуществу и к о н и ч е н [Lindström 1999], т.е. в его означающем так или иначе отображается ментальная «картинка» означаемого, и это как будто бы облегчает процесс оперирования данным языковым средством.

Нельзя не заметить, однако, что повтор вряд ли закрепился бы в системе языка, если бы его семантика исключительно и всецело определялась структурой его означающего. Ср. в связи с этим такое устойчивое квазисочинительное сочетание, как *так и так*, где повтор указатель-

ных местоименных наречий с союзом *и* выявляет сокращение чужой речи и вместе с тем маркирует переход к изложению сути чужой речи в пересказе и где, таким образом, не учитывается иконический потенциал повтора: – *И ваш ассистент честно показывает – так-то и так, напали, сбили с ног того вон товарища* (В. Тендряков). Соотнося этот факт с семиологической типологией Ч.С. Пирса, считаем целесообразным трактовать подобное устойчивое квазисочинительное местоименное сочетание как индексальный символ.

Тем не менее иконическая репрезентация, действительно, находит в большинстве разновидностей повтора одну из базовых моделей своего проявления в языке. Повтор специализируется на выражении интенсификации, континуальности, множественности и других значений, основанных на иконическом осмыслении итерации тождественных материально-языковых элементов (в частности, слов и словоформ). Например: ... *в будущем меня ожидают очень и очень серьезные служебные перспективы* (М. Салтыков-Щедрин); *А телефон все звонил и звонил, пока кто-то не накрыл его ковриком* (Ю. Алешковский); *Итак – станции, станции, станции. Станции, каменными мотыльками пролетающие в хвост поезда* (Б. Пастернак).

Отмеченные особенности повтора, очевидно, свидетельствуют о том, что в общем случае сегментный повтор не противоречит сформулированному Е.Д. Поливановым «принципу лени», объясняющему действие механизма функционально достаточного «ассигнования» элементов материально-языковой формы для означивания элементов мысли [Поливанов 1931: 43 и сл.] (ср. более известную версию термина понятия «принцип лени» – «принцип экономии»). Наиболее показательно это тогда, когда повтор предотвращает омонимический кризис в поверхностном синтаксисе предложения-высказывания или же деграмматикализацию последнего.

Ср.: англ. *Every Friday five crates of oranges and five crates of lemons arrived from a fruiterer in New York* (трансформ) ‘Каждую пятницу пять корзин апельсинов и пять корзин лимонов прибывали от поставщика фруктов из Нью-Йорка’ и *Every Friday five crates of oranges and lemons arrived from a fruiterer in New York* (F.S. Fitzgerald) ‘Каждую пятницу всего пять корзин апельсинов и лимонов / по пять корзин апельсинов и лимонов соответственно прибывали от поставщика фруктов из Нью-Йорка’. Омонимический кризис в предложении-высказывании из Скотта Фицджеральда вызван семантической диффузностью выделенного сложного словосочетания, в котором, согласно концепции Н. Хомского [Chomsky 1969], сокращен повторяющийся элемент при сочинении («*five crates of*»).

В немецком предложении-высказывании *Jeder Bauer und jedes Kind in Ströbeck lernt Schach spielen* (P. Weiss) 'Каждый крестьянин и каждый ребенок в Штребеке учится играть в шахматы' повтор разных родовых форм определительного местоимения контекстно обязателен, так как сочиненные субстантивы, находящиеся в синтаксической позиции подлежащего, имеют разные родовые характеристики и вследствие этого не способны вступать в согласование с общим местоименным определением. Повтор общего распространителя в разных родовых формах предотвращает в данном случае деграмматикализацию предложения-высказывания: **Jeder Bauer und Kind in Ströbeck lernt Schach spielen* (трансформ).

Совершенно очевидно, что повтор, являясь оперативным средством речевой компетенции говорящего (пишущего), способствует оптимизации коммуникативного акта. «Принцип лени» Е.Д. Поливанова, заключающийся не только в стремлении автора речи к сокращению элементов материально-языковой формы, но и, безусловно, в предупреждении переспросов или просьб об уточнении смысла сообщаемого со стороны адресата речи, не позволяет трактовать сегментный повтор как неэкономное средство. Однако все сказанное здесь относится не к любому повтору вообще, а только и исключительно к повтору интенциональному.

Впервые проблема интенционального / неинтенционального повтора была поставлена в [Aitchison 1994]. Отмечая, что многие психолингвисты различают, во-первых, автоматизированные и контролируемые процессы, а во-вторых, процессы, контролируемые сознательно и бессознательно (*veiled controlled*), Дж. Эйтчисон подчеркивает, что повтор является интенциональным, использованным намеренно, лишь в письменной речи, порождение которой происходит, главным образом, при сознательном контроле со стороны ее автора [Aitchison 1994: 22].

Неинтенциональный повтор, так называемая персеверация, проявляется, например, в оговорках: англ. *chew chew tablets* 'жевать жевать таблетки' вместо *chew two tablets* 'жевать две таблетки'. Если в нормальной речи персеверация, т.е. неинтенциональный повтор, не находит широкого распространения, то при афатических расстройствах повтор, напротив, чаще всего неинтенционален [Там же: 22–23].

Из этих замечаний не ясно, однако, то, в чем же заключается сущность интенциональности повтора.

Как известно, повтор может отразить в речевом произведении многое: и грамматическое значение, и стилистическую доминанту, и ком-

муникативную установку (в частности, согласие в диалоге), и тенденцию к тавтологическому выражению семантических линий изотопии в речепостроении, и, наконец, неуверенную или эмоционально напряженную речь, плохое знание языка, речевые и коммуникативные нарушения и т.д. и т.п. При этом рискуем утверждать, что любой тип повтора в определенных коммуникативно-эстетических условиях может оказаться интенциональным: ведь та же самая персеверация, помещенная художником слова в контекст чужой речи или стилизованная с целью создания эффекта помех в речевом канале при *Ich-Erzählung*, становится намеренной!

Поэтому интенциональность / неинтенциональность повтора должна определяться не столько посредством привлечения отдельных иллюстративных примеров и их смысловой интерпретации (хотя именно это сделано, например, в [Aitchison 1994], и ценность подобных наблюдений неоспорима), сколько путем выработки научной дефиниции.

В общем плане проблема интенциональности грамматических форм была поставлена в трудах А.В. Бондарко. По мнению ученого, если функциональные потенции той или иной языковой формы обладают «связью с намерениями говорящего, с коммуникативными целями речемыслительной деятельности, способностью содержания, выражаемого данной формой (во взаимодействии с ее окружением, т.е. средой), быть одним из актуальных элементов речевого смысла», то данная форма характеризуется интенциональной функцией [Бондарко 1996: 59–60 и сл.].

Неинтенциональное использование языковых форм связано с их облигаторностью для выражения того или иного значения и тем самым ненагруженностью актуальным для говорящего смыслом [Там же: 73–74].

Исходя из этого, можно полагать, что интенциональным является такой повтор, который, отражая коммуникативное намерение автора речи и реализуя актуальные для автора речи элементы смысла, маркирует доминантность данных смысловых элементов в общей смысловой структуре речи и, в частности, выявляет речеактовую семантику предложения-высказывания.

Подобная дефиниция *ad hoc* не дает, кстати сказать, оснований для ограничения сферы проявления интенциональности повтора только письменной речью. Ср.: – *Ну что ты, дочка? Ну не плачь! Двойка и двойка, бог с ней!* (Из разговорной речи). В данном случае повтор слова, обозначающего причину эмоционального состояния адресата реплики, в конструкции с союзной частицей (квазипредикатом) и выявляет актуальный для автора реплики смысловой элемент ‘принятие, допущение’, т.е. употреблен интенционально.

Проявляется интенциональность повтора и в репликах художественных диалогов, отображающих закономерности коммуникативно-структурной организации устно-разговорной речи. Ср.: – *Ни в чем не виновата, – быстро заговорила она* (Маслова. – К.С.), – *как сначала говорила, так и теперь говорю: не брала, не брала и не брала, ничего я не брала, а перстень он мне сам дал...* (Л. Толстой).

Многочленный повтор с бессоюзно-союзной связью «обнажает» здесь смысловой оттенок категорического, так называемого отрицательного утверждения, представляющий основную интенцию героини, несправедливо обвиняемой в преступлении.

Названный смысловой оттенок усиливается за счет «выдвижения» многочленного бессоюзно-союзного повтора глагольных словоформ (сказуемых) с негацией в препозицию по отношению к двусоставному предложению с той же самой глагольной словоформой (сказуемым), маркированной отрицательной частицей и распространенной прямо-объектным отрицательным местоимением, а также, безусловно, за счет неоднократного эллипсиса подлежащего, обозначающего субъект речи (я).

Неинтенциональными являются прежде всего грамматикализированные повторы, образующие формы слов, повторы, возникающие в результате оговорок в эмоционально напряженной речи, многие повторы в детской речи и в слабоструктурированной речи на неродном языке, а также повторы при динамической афазии и других формах патологии речи, когда страдает автоматизированность речевого программирования.

Будучи характерной и неотъемлемой принадлежностью речевой компетенции и речевой деятельности говорящего (пишущего), повтор является объектом разных научных дисциплин, занимающихся изучением речи (в том числе, например, психоанализа). Интересно заметить, что в таких «стабильных» разделах науки о языке, как синтаксис, стилистика и лингвистика текста, внимание специалистов направлено преимущественно на изучение интенциональных повторов, хотя потребности в эксплицировании самого понятия «интенциональный повтор» как будто бы здесь не возникает.

Так, в синтаксисе устанавливается место повторов в системе традиционно выделяемых синтаксических связей, определяются их конструктивные и семантические свойства, делаются попытки соотнести модели повторов с речеактовой семантикой высказываний, обнаруживается роль повтора как маркера связи в сложных синтаксических конструкциях (в том числе сверхфразовых).

В стилистике дается фигуративная интерпретация повторов (при этом весьма показательно то, что, хотя существует целая «семья» ре-

чевых фигур, основанных на повторе, их непротиворечивая систематизация, в том числе металингвистическая, пока не осуществлена), а также выясняются коммуникативно-речевые условия употребления построений с повтором.

В лингвистике текста повтор рассматривается как одно из важнейших средств текстовой когезии, а также анализируется в аспекте репрезентации актуализованного в тексте концепта и учета интересов адресата при дублировании далеко отстоящих компонентов, определяющих синтаксическое движение текста. Именно в лингвистике текста был открыт уровень семантической повторности (изотопии), во многом обуславливающий категориальность текста (т.е. его цельность и связность), формирующий текстовость (ср. термин-понятие *Textualität* в немецкоязычной лингвистике) создаваемых речевых произведений.

Между тем до сих пор не создана общая теория повтора, не рассмотрены психологические, психолингвистические, когнитивно-коммуникативные, типологические основания его интенциональности / неинтенциональности, а главное, не разработана такая классификация повторов, в которой были бы учтены все признаки, релевантные для их параметризации. Более того, многоаспектность и нескоординированность изучения повторов привела к тому, что один и тот же тип повтора может получать разные терминологические номинации в тезаурусе лингвистики.

Так, например, обратный повтор сочинительной конструкции в метаязыке стилистики (и риторики) получает обозначение «простой хиазм» [Хазагеров, Ширина 1999: 164], однако под эту терминологическую номинацию фактически подводится более широкий пласт синтаксических построений с повтором (в том числе никак не связанных с сочинительными конструкциями), и, наоборот, далеко не всякий обратный повтор сочинительной конструкции выполняет функции, свойственные простому хиазму (например, при дистантном расположении тождественных сочинительных конструкций с разным порядком компонентов).

Путем наблюдений над тем, как используется обратный повтор сочинительной конструкции в русской художественной и газетно-публицистической речи, мы хотели бы, с одной стороны, обосновать целостность этой разновидности сегментного, а точнее – конструкционного, повтора и обнаружить ее конститутивные признаки, а с другой стороны, выявить интенциональный характер обратного повтора сочинительной конструкции.

Термин «обратный повтор сочинительной конструкции» впервые был предложен в нашей одноименной лекции по спецкурсу, изданной

шестнадцать лет назад. Необходимо отметить, что этот термин прижился в синтаксической литературе, причем его используют при описании сочинительной связи не только в русском языке, но и в других языках, например в татарском (см., в частности, [Галлямов 2006: 151; Санников 2008: 369–370]).

Обратный повтор сочинительной конструкции – такое стилистико-синтаксическое построение, которое распространено почти исключительно в книжно-письменной речи, относится к сфере изобразительного синтаксиса и является довольно раритетным. Например: *Боже мой, какое духовное убожество! **Карты и сабля, сабля и карты...*** (М. Шолохов); *Ничего вокруг. Ничего. Только високосная метель в сердце: **скользит и липнет, липнет и скользит...*** (Т. Толстая); *Вокруг меня было **темно и тихо, тихо и темно*** (В. Войнович).

Выделенные конструкции обладают следующими формальными особенностями:

- бинарной структурой, каждая часть которой – двухкомпонентная сочинительная конструкция с тождественным лексическим составом;
- контактным расположением сочинительных конструкций;
- различным порядком компонентов сочинительных конструкций (отсюда – эффект «обратности» повтора);
- бессоюзной связью частей, каждая из которых в свою очередь структурирована одиночным соединительным союзом (чаще всего – *и*);
- сочиненные компоненты выражаются знаменательными частями речи (как правило, именами существительными, глаголами, словами категории состояния, наречиями).

Данные речевые структуры отражают на синтаксическом уровне репрезентации взаимодействие сочинительной связи словоформ и повтора, закрепившееся в форме особой конструкции, которая, по сути дела, не выходит за пределы синтаксического механизма сочинения.

Подобно любой сочинительной конструкции словоформ, данные синтаксические построения занимают одну и ту же синтаксическую позицию в структуре предложения-высказывания и имеют общие («внешние») подчинительные и / или предикативно-согласовательные связи.

Однако для выявления таких ингерентных свойств сочинительных конструкций повторяемые и одновременно инвертируемые бинарные сочинительные группы должны обладать признаком синтагматической контактности. В противном случае обратный повтор сочинительной конструкции в целом ничего общего не может иметь с сочинением и относится к типизированным явлениям лексико-грамматической

организации текста, базирующимся на действии структурного принципа повторяемости в текстообразовании.

Действительно, формально-конструктивная целостность обратного повтора сочинительной конструкции разрушается при дистантном расположении двух тождественных по составу, но различающихся порядком компонентов сочинительных конструкций, удаленных друг от друга в синтагматическом пространстве сложной синтаксической конструкции и не связанных между собою синтаксически.

Например: Он (Захар. – К.С.) *обращался **фамильярно и грубо** с Обломовым, точно так же, как шаман **грубо и фамильярно** обходится с своим идолом...* (И. Гончаров). Ср., однако: *Слуга обращался со своим баринном **фамильярно и грубо, грубо и фамильярно***, где воссозданы синтактико-синтагматические условия формально-конструктивной целостности обратного повтора сочинительной конструкции.

Следует заметить, что подобный случай дистантного повтора – важный прием «техники» текстообразования, не обладающий, однако, конструктивной природой, поскольку формальный принцип и формальная семантика конструкции должны определяться вне условий ее функционирования в составе предложения-высказывания и текста и, в конечном счете, в отвлечении от ее лексического наполнения [Прияткина 1983: 16]. На этом основании дистантный обратный повтор сочинительной конструкции кардинально отличается от собственно обратного повтора сочинительной конструкции как целостного синтаксического построения, соответствующего обязательным признакам конструктивности, в частности обладающего особой формальной семантикой.

Семантика обратного повтора сочинительной конструкции весьма специфична, так как она не соотносится со значениями, обычно передаваемыми построениями с сегментным (в частности, с конструкционным) повтором. Вслед за Е.Ф. Троицким будем считать, что семантикой рассматриваемых конструкций является 'исчерпанность перечисления' [Троицкий 1977: 106].

Семантика обратного повтора сочинительной конструкции носит формальный характер, она определяется формальными особенностями данной синтаксической конструкции, и поэтому ее можно выявить, изменяя формальную структуру последней.

Так, в предложении-высказывании *Две пародии на человечество в продолжение нескольких десятков лет **пьют и едят, едят и пьют*** (В. Белинский) Т.Г. Хазагеров и Л.С. Ширина находят изображение монотонности [Хазагеров, Ширина 1999: 164], связанное с семантикой непрерывности. Между тем такому употреблению не препятствует и прямой

повтор сочинительной конструкции: *Две пародии на человечество в продолжение нескольких десятков лет пьют и едят, пьют и едят* (трансформ), тогда как семантика 'исчерпанности перечисления' в этом случае нейтрализуется.

В предложении-высказывании из В. Белинского подчеркивается не только и не столько длительность и непрерывность действий, названных в нем, сколько их исчерпанность, автору важно подчеркнуть, что ничто другое не занимало двух людей и что их потребности ограничены питьем и едой (обратный повтор сочинительной конструкции, несомненно, включен здесь в стилистико-речевой механизм мейозиса).

Этот семантический оттенок не устраняется, если в функции средства выражения сочинительных отношений в таких повторяющихся частях выступает соединительный союз *да*, имеющий значение 'перечисление полностью исчерпано и не может быть продолжено' [Морковкин 1997: 89]. Ср.: *И добро бы худо ему (Степану. – К.С.) было, есть-пить бы не давали, работой бы изнуряли – а то слонялся целый день взад и вперед по комнате, как оглашенный, ел да пил, ел да пил* (М. Салтыков-Щедрин).

Отсюда следует, что семантику 'исчерпанности перечисления' вызывает именно обратный повтор сочинительной конструкции и, наоборот, что данное стилистико-синтаксическое построение вносит в создаваемое предложение-высказывание семантику 'исчерпанности перечисления'.

Именно эту семантику обратного повтора сочинительной конструкции актуализируют в речи частицы (*только, лишь* и др.) и местоименные сочетания (*ничто иное* и др.), подчеркивающие либо оценку количества перечисленных компонентов как незначительного, либо невозможность продолжить перечисление. Ср.: *Если мы сумели Иисуса Христа вложить в машину, то в принципе ничто не мешало то же самое совершить со многими историческими личностями, нужны для этого **лишь труд и время, время и труд*** (В. Тендряков); *Женщина входит не только в память – она входит в тело, в обреченное, усталое... солдатское тело, живущее **воспоминаниями и страхом, страхом и воспоминаниями и ничем иным*** (Б. Васильев).

Согласно «Общей риторике» Т.Г. Хазагерова и Л.С. Шириной, обратный повтор сочинительной конструкции (в их терминологии, «простой хиазм») изображает чаще всего монотонность или бессмысленность описываемых событий [Хазагеров, Ширина 1999: 279], попавших в фокус аксиологической интенции автора речи.

Представляется, что каждый из отмеченных образительных эффектов обусловлен не только и даже не столько обратным повтором

сочинительной конструкции, сколько лексической семантикой повторяемых в условиях инверсии сочиненных компонентов (словоформ) и общим смыслом контекста. По-видимому, сам по себе обратный повтор сочинительной конструкции прежде всего синтаксически обеспечивает риторическое выделение двух тавтологических номинаций, которыми, с точки зрения автора речи, ограничивается то или иное множество предметов или признаков.

Подобный эффект обусловлен зеркально симметричным построением обратного повтора сочинительной конструкции и его формальной (конструктивной) семантикой. Ср.: *...спросите у всякой замужней женщины. Вот хоть у Catherine... – Ах, нет, кузина, только не у Catherine: наряды и выезды, выезды и наряды...* (И. Гончаров); *Пущай это для многих по началу стыдно и смешно, смешно и стыдно – ничего!* (Ю. Алешковский); *Господи, даруй нам эту добродетель – молчать и молиться, молиться и молчать* (Русский дом, № 7, 2002).

Очевидно, что в книжно-письменной речи обратный повтор сочинительной конструкции используется интенционально, он всегда выявляет актуальное для автора речи смысловое содержание, порожденное его (автора речи) коммуникативным намерением, и делает это смысловое содержание доминантным для понимания речевого высказывания.

При этом возникает вопрос: почему такой тип повтора, который, согласно приведенной выше дефиниции *ad hoc*, является интенциональным, оказывается раритетным, функционально ограниченным сферой книжно-письменной речи, да и то в отдельных ее стилевых разновидностях? Для ответа на этот вопрос следует коснуться как положения обратного повтора сочинительной конструкции в функциональной парадигматике языка, так и его метаязыковой оценки в узусе.

Наблюдения показывают, что для выражения семантики 'исчерпанности перечисления' наряду с обратным повтором сочинительной конструкции используются конструкции с текстовыми маркерами исчерпанности перечисления типа *и только*, которые свободно присоединяются к сочинительной конструкции или к отдельной словоформе, подчеркивая в последнем случае исчерпанность множества одним элементом.

Относительная новизна таких синтаксических построений отражается в неустойчивости пунктуационного оформления присоединяемого сегмента в письменной речи: перед *и только* ставится запятая или тире, а иногда знак препинания вообще отсутствует. Между тем в устно-разговорной речи перед *и только* обычна смысловая пауза, превышающая длительность паузы, наблюдаемой при структурировании сочинительных отношений (т.е. так называемой «сочинительной паузы»).

Ср.: – ...*На ней* (на телеге. – К.С.) *теперь лежит мой узелок; он не велик: несколько любимых книг, две перемены белья – и только* (Ф. Достоевский); *И тут нельзя не восхититься способностью Явлинского из сложной, трудной, даже кровавой жизненной ситуации конструировать чистую, как слеза, абстракцию: перед ним граждане, субъекты права, и только* (Завтра, № 8, 2000); *Медицинские лаборатории в армии занимались противоэпидемическими мероприятиями и только* (Дуэль, № 8, 2000).

В отличие от обратного повтора сочинительной конструкции т а к и е построения :

– не несут дополнительной изобразительно-смысловой нагрузки, определяемой повторяемостью конструкции в условиях инверсии ее компонентов;

– выражают семантику ‘исчерпанности перечисления’ более четко (за счет паузации и текстового маркера);

– позволяют обозначить исчерпанность множества одним элементом, а также тремя и более элементами;

– находят широкое распространение не только в языке художественной литературы и в публицистике, но и в устно-разговорной речи.

Все это обуславливает распределение маркированности в функциональной парадигматике языка, где обратный повтор сочинительной конструкции становится более маркированной структурой, используемой в основном как средство синтаксической изобразительности.

Такая характеристика опирается и на метаязыковую оценку обратного повтора сочинительной конструкции в узусе: говорящие (и, главное, пишущие) стремятся не употреблять данную конструкцию вне реализации особых эстетических интенций, поскольку, во-первых, она осознается ими как речевое украшение, а во-вторых, при обучении родному языку у них формируется сильная метаязыковая установка на дозированное использование в письменной речи повторов разных типов (в частности, начиная с дошкольного возраста идет борьба с так называемым «синтаксическим монотонном», во многом, безусловно, оправданная и необходимая).

Вместе с тем метаязыковая оценка говорящими того или иного языкового средства не является в полной мере достаточным условием для мотивировки языкового состава их индивидуальных стилей речи, так как «для стиля вообще определяющее значение имеет не языковое средство, а факт его выбора» [Мецлер 1990: 30].

Важно понимать, что, включаясь в функционально-парадигматические связи, различные синтаксические построения формируют осо-

бые стилистико-синтаксические ряды, системность которых складывается в процессе перманентного коммуникативно осознанного отбора их членов для нужд текстообразования (ведь автоматизм и, соответственно, неосознаваемый характер грамматического структурирования хотя бы частично «снимается» благодаря превербальному опосредованию прагматических установок индивидуального стиля в «мысленном черновике» (термин и понятие Л.С. Выготского) письменной речи и / или благодаря вербальному их опосредованию в процессе редактирования уже созданного текста).

При этом синтаксическая структура каждого из них «наращивает» стереотипию соответствия определенным коммуникативно-речевым контекстам, обуславливающим выбор автором текста конкретного синтаксического средства с его формальной семантикой, конструктивными возможностями, прагматическими и метаязыковыми коннотациями, изобразительным потенциалом.

Обратный повтор сочинительной конструкции является результатом такого взаимодействия сочинительной связи словоформ и повтора, при котором повтор в своей инверсивной разновидности охватывает сочинительную конструкцию в целом, приводя, по сути дела, к осуществлению двух актов сочинительной связи одних и тех же словоформ, обусловленных синтаксическим «форматом» обратного повтора сочинительной конструкции как автономной синтаксической модели изобразительного характера. Однако это взаимодействие может происходить и в процессе осуществления одного и того же акта сочинительной связи словоформ, причем как внутри единой синтаксической позиции, так и за счет реализации валентностного потенциала одной или нескольких словоформ, формирующих сочинительную конструкцию (т.е. за счет реализации синтаксических форм словосочетаний, охватывающих как минимум две синтаксические позиции).

Очевидно, что подобное взаимодействие сочинительной связи словоформ и повтора – процесс неоднородный по своей «технике».

В отличие от «чистого» повтора, состоящего в однопозиционной итерации слова в одной и той же грамматической форме и не имеющего семантических оснований для отнесения к сочинительной связи (ведь в сочинительные отношения вступают обычно либо разные по семантике словоформы, либо инонаименования одного и того же референта, ср.: *хозяин и гость* (например, в пересказе эпизода посещения помещика Манилова Чичиковым из гоголевских «Мертвых душ») или *жена и подруга* как ироническое обозначение чьей-нибудь спутницы жизни), однопозиционный повтор слова в разных его грамматических формах

позволяет рассматривать такую синтаксическую консолидацию как сочинительную конструкцию: ведь в подобных построениях «речь идет о нескольких действиях, предметах, признаках, хотя и одинаковых, но в то же время и чем-то различающихся между собой» [Чеснокова 1980: 98].

Сочинительные конструкции такого типа включают в свой состав одно и то же слово в двух или (реже!) в трех разных его формах:

– времени: *Иногда мне снилось, что я умер, умираю, умру...* (Г. Газданов); *Смущали меня в числе прочих и следующие обстоятельства: ...резкие его (Пастернака. – К.С.) суждения о многих здравствовавших тогда и ныне здравствующих близких* (З. Масленникова);

– вида: *Теперь работаю над популярной брошюрой для народа, в которой показываю, как последний Романов разрушал и разрушил самодержавного идола (выражения другие)* (В. Короленко);

– вида и времени: **Выводится и, кажется, вывелась** теперь эта любопытная порода людей на белом свете (И. Гончаров);

– залогов: *Лениво махнул он (Обломов. – К.С.) рукой на все юношеские обманувшие его или обманутые им надежды...* (И. Гончаров); *А где его (душевное равновесие. – К.С.) обрести? Только возле человека – любимого и любящего* (В. Токарева);

– утверждения / отрицания: *Впечатление такое, что критик видит и не видит произведение, верно ухватывает взглядом отдельные его стороны, но понять его в целом не в силах* (А. Кондратович); *До меня доходили слухи, что (Света. – К.С.) участвовала в облавах на каких-то бородатых художников, была однажды, а возможно, и не однажды, при обыске, писала статейки в областную молодежную газетенку...* (Ю. Алешковский);

– числа: *Пушкин со школьной скамьи следил за необычайным движением народа и народов* (Н. Огарев); *Сегодня много лгут о том, что не стало идеала и идеалов* (Независимая газета, 30.11.1995);

– падежа / предлога + падежа: – *Вот, она (жена. – К.С.) мне этой своей рисовой кашей жутья не дает, – заметил Леонтий, – уверяет, что я незаметно съел три тарелки и что за кашей и за кашу влюбился в нее* (И. Гончаров); *Замерло все в кабаке и около кабака* (Д. Мамин-Сибиряк).

При антонимических отношениях предлогов допускается эллипсис отличающегося по форме падежа второго сочиненного компонента: *Сегодня в ателье шли сплошняком старушки – с мужьями и без* (В. Токарева).

Л.Д. Чеснокова пишет также о повторяющихся в одной и той же синтаксической позиции словоформах, различающихся формами наклоения, хотя примеров подобных синтаксических построений не приводит. Обнаружить подобные сочинительные формации не удалось и нам.

Полагаем, однако, что различие в формах наклонений, напрямую связанное с различием в выражении объективной модальности, вряд ли позволяет трактовать интегрирующие их союзные соединения именно как сочинительную связь словоформ. Очевидно, что, например, в предложениях-высказываниях типа *Купил бы хорошего хлебушка, да купил опять не то!* (Из разговорной речи) представлено не что иное, как реализация сложносочиненной конструкции. Иными словами, сочинительная связь повторяющихся глагольных словоформ, дифференцированных по форме наклонения, присуща исключительно сфере полипредикативности.

Приведенные в качестве иллюстративных примеров сочинительные конструкции свидетельствуют о том, что сочиненные компоненты должны быть парадигматически соотносительными в морфологическом или в морфолого-синтаксическом плане, так как в грамматической парадигматике обеспечивается системно значимое различие между повторяющимися словами, являющееся кардинальным условием для их именно сочинительного объединения.

Однако для семантики сочинительной конструкции в целом может оказаться существенным не только грамматическое различие повторяющихся слов-компонентов, но и их общность (сходство) как представителей одной и той же части речи.

Так, например, исследуя выражение темпоральных отношений в сочинительных рядах, Н.Н. Белоконева указывает, что эти отношения могут быть выражены временными формами одного глагола (*Он помогал и помогает людям*) и предложно-падежными формами имен существительных с темпоральной семантикой (*Василий промышляет белку... до Нового года и после Нового года*). По мнению Н.Н. Белоконевой, обладая внешним сходством в выражении временных планов, глагольные конструкции кардинально отличаются от темпоральных предложно-падежных форм имен существительных в функционально-семантическом отношении.

Для глагольных рядов инвариантным значением является семантика стабильности называемого явления, устойчивости его во времени. Для рядов с предложно-падежными формами имен существительных характерно обозначение более конкретной длительности, причем степень конкретности зависит от лексического значения слова, выступающего в качестве временного ориентира [Белоконева 1982: 16–18].

Повтор одного и того же слова в разных его грамматических формах, связанных союзной или бессоюзной связью, – это синтаксическое

построение, отражающее «зарождение» сочинительных отношений в сфере однопозиционной лексической итерации.

Однопозиционный лексический повтор с распространением одного из компонентов формирует в тексте бинарные сочинительные структуры, предназначенные для выражения пояснительной конкретизации (при распространении второго компонента): *Я люблю **тепло, человеческое тепло*** (И. Эренбург); *Но наутро она (Люверс. – К.С.) стала задавать вопросы о том, что такое Мотовилиха и что там делали ночью, и узнала, что Мотовилиха – **завод, казенный завод*** (Б. Пастернак), а также – подтверждения и повторной актуализации предикативного признака (при распространении первого компонента): *Митроху тычками угнала с берега жена, увещевая: «**Свернут башку-то, свернут, ногу последнюю отломают, и правильно сделают...**»* (В. Астафьев); – *Где подписать? – Да вы уже **сознались в преступлении, сознались, потом подпишите*** (Б. Васильев).

В сочинительных структурах первой разновидности распространенный повтор (словосочетание) может присоединяться как на основе бессоюзной связи, как в примерах из И. Эренбурга и Б. Пастернака, так и посредством сочинительных союзов (чаще всего *и* и *но*). Ср.: – *Прежде чем целоваться, нам нужно **поговорить, и поговорить серьезно...*** (А. Чехов); *Конечно, тут есть немножко **пристрастия*** («Уж сколько раз твердили миру» и т.д.), ***но пристрастия совершенно естественного*** (М. Салтыков-Щедрин).

При союзной связи между поясняемым (нераспространенным) и поясняющим (распространенным) компонентами сочинительного построения устанавливаются не просто отношения более общего и более конкретного обозначения референта, а особый тип выделительного или противительного присоединения конкретизирующей развернутой номинации.

Подчеркивание пояснительных отношений в бессоюзных объединениях нередко обеспечивается за счет дистантности повторов, каждый из которых имеет свой собственный распространитель. Ср., например: – *...Я, может быть, и **художник в душе, искренний художник...*** (И. Гончаров), где семантика распространителей создает качественно-оценочный фон, определяющий семантическую однородность, коррелятивность и синонимичность составных компонентов (разноструктурных атрибутивных словосочетаний), т.е. те условия, которые позволяют репрезентировать пояснительные отношения в сочинительных конструкциях (см. в связи с этим [Пономаренко 1999: 109–113], где описан семантический механизм возникновения пояснительных отношений между однородными членами предложения).

В сочинительных структурах в т о р о й разновидности используется только бессоюзная связь компонентов: собственно просодический маркер оказывается здесь оптимальным для выражения вторичной актуализации предикативного признака при присоединении нераспространенного компонента (словоформы) к распространенному (словосочетанию).

Весьма существенным представляется то, что однопозиционный лексический повтор с распространением одного из компонентов чаще всего локализуется в синтаксической зоне предиката и по-особому организует предложение-высказывание в коммуникативном плане. Подобные сочинительные построения включены в одну рему, которая членится на две подремы, соотносенные с каждым из сочиненных компонентов. Ср. в примере из Б. Пастернака: *Мотовилиха* (тема) – **завод, казенный завод** (рема) – *Мотовилиха* (тема) – **завод** (подрема₁), <и *при том*> **казенный** (подрема₂).

По мнению Г.Н. Акимовой, «лексический повтор с синтаксическим распространением» «не укладывается в известные схемы синтаксических связей» [Акимова 1990: 127], т.е. не относится ни к сочинению, ни к подчинению. И действительно, к подчинительной связи отнести его нельзя, так как при этом упускается из виду синтаксическая специализация повтора – его однопозиционный характер (и, безусловно, не только это!). Но в рассматриваемых синтаксических построениях дается повторное сообщение об одном и том же референте, обеспеченное введением в текст дополнительной информации, и тем самым выраженные в предложении-высказывании два сообщения каким-то «квантом» смысловой информации отличаются друг от друга и образуют характерное для сочинительных объединений коммуникативно достаточное соотношение сходств и различий.

Отличаясь от «чистого» повтора словоформ в одной и той же синтаксической позиции как по структуре, так и по семантике, однопозиционный лексический повтор с распространением одного из компонентов не может быть не чем иным, как сочинительной конструкцией переходного типа, отражающей стабильную тенденцию к устранению неинформативных повторов в одной синтаксической позиции предложения-высказывания.

Всецело к сфере сочинения относятся синтаксические построения, основанные на распространении связанных сочинительным союзом повторяющихся словоформ разными словоформами (или целыми словосочетаниями) либо присловными придаточными предложениями, т.е. такие синтаксические построения, в которых различие на фоне сход-

ства получает эксплицитное (лексическое или лексико-синтаксическое) выражение.

Например: *Если мы вникнем, почему, при всем желании, стремлении к истине, многим наука не дается, то увидим, что существенная, главная, всеобщая причина одна: все они **не понимают науки и не понимают, чего хотят от нее** (А. Герцен); Он (Вадик. – К.С.) **был монтажником газовых магистралей и был на подозрении у местных чекистов**, потому что единственный в городе выписывал американский космический журнал (Комсомольская правда, 7.12.2000).*

Характерной особенностью выделенных сочинительных конструкций является то, что при «снятии» повтора непосредственная союзная связь распространителей чаще всего оказывается нежелательной или вовсе невозможной. Ср. трансформы: ?...не понимают науки и... чего хотят от нее; *...был монтажником газовых магистралей и... на подозрении у местных чекистов. Отсюда следует, что однопозиционный лексический повтор является конструктивной основой подобных сочинительных объединений, так как он обеспечивает сочинительную интеграцию семантически неоднородных компонентов.

Сочинительные конструкции с распространением (в том числе за счет обособленных второстепенных членов предложения, синтаксическая специфика которых состоит в предикативном «сдвиге» зависимых компонентов словосочетаний) каждого из повторяющихся компонентов используются в тексте, как правило, для создания единства «связанных» впечатлений и оценок говорящего (или повествователя) либо для подчеркивания динамики и разнокачественности явления в хронологической последовательности.

Например: *В дверях стояла горничная, дожидавшаяся пропустить доктора, и потому в передней, где находилась Женя, дольше, чем полагалось, стоял **гул шагов и гул отдающего камня** (Б. Пастернак); Да, особенно среди новейших поколений, устои добродетели пошатнулись, люди теряют ощущение **поступка нравственного и поступка красивого** (А. Солженицын); – Мы вообще весь двадцатый век прожили за счет природной ренты. **Сначала это была рента, получаемая за счет нещадной, вплоть до уничтожения, эксплуатации сельского населения** (за счет этой эксплуатации была проведена сталинская индустриализация), **потом – рента, связанная с бесплатным трудом заключенных, и, наконец, со второй половины 60-х годов еще и энергетическая рента** (Литературная газета, № 26, 2001).*

Следует отметить, что синтаксический характер таких построений, рассматриваемых нами как сочинительные, обуславливается в первую

очередь распространителями повторяющихся компонентов, без которых «зарождение» сочинительной связи в ситуации однопозиционного лексического повтора становится невозможным. Но важно и другое. Связанные сочинительным союзом (чаще всего *и*) словосочетания (и шире – словесные конструкции) с повторяющимися детерминирующими компонентами в условиях конкретного предложения-высказывания образуют номинативные единства, в референтном плане обладающие как сходствами, так и различиями, т.е. семантически достаточными признаками для возникновения сочинительных отношений между ними.

Взаимодействие сочинительной связи и повтора словоформ охватывает не только ситуации «зарождения» сочинительной связи в сфере однопозиционного лексического повтора, но и ситуации повторения общих распространителей при каждом компоненте сочинительной конструкции.

Сопоставляя два предложения-высказывания: *Они жили в этой квартире давно и дружно – у них был **общий хлеб, общая заварка к чаю и общий сахар*** (В. Маканин) и *...у них был **общий хлеб, заварка к чаю и сахар*** (трансформ), – нельзя не заметить, что в трансформе не вполне ясно выражено, распространяется ли признак *общий* на все сочиненные компоненты или относится только к первому сочиненному компоненту. Повтор атрибутивного определения при каждом сочиненном субстантивном компоненте, в принципе являющийся избыточным, предотвращает омонимический кризис в поверхностно-синтаксической организации данного предложения-высказывания (ср. также приведенный выше анализ английского примера из Скотта Фицджеральда).

Повтор общего распространителя при каждом компоненте сочинительной конструкции, как правило, действует, во-первых, с целью создания семантического основания для сочинительного объединения семантически неоднородных и, главное, не соотносительных в аспекте лексико-семантической парадигматики компонентов: *А люди нового века, с их **куцыми мыслями, куцыми фраками**, не нравились бабушке* (Д. Мережковский); *Засидевшимся в комнатах, им (арестантам. – К.С.) были даже приятны эти резкие порывы сырого ветра – они выдували из человека **зстойный воздух и зстойные мысли*** (А. Солженицын).

В конкретном же тексте (особенно художественном) повтор разных распространителей при лексически тождественных компонентах разных сочинительных рядов может участвовать в выражении сопоставительных отношений и в этом случае практически не поддается элиминированию. Ср.: *Параллельно большому миру, в котором живут **большие***

люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами (И. Ильф, Е. Петров) – ^{??}Параллельно большому миру, в котором живут люди и вещи, существует маленький мир с людьми и вещами (трансформ), хотя здесь и остаются антонимичные по отношению друг к другу тавтологические аллюзии опущенных повторяющихся атрибутивных распространителей (ср.: **большому миру** – **маленький мир**).

Во-вторых, повтор общего распространителя при сочиненных компонентах обуславливается их грамматическим различием, не позволяющим им иметь единый распространяющий член, а именно:

– по категории рода: *Главное то, что я вполне убежден теперь, что умозрением и философией жить нельзя, а надо жить положительно, то есть быть практическим человеком. Это **большой шаг и большая перемена**, еще этого со мной ни разу не было...* (Л. Толстой);

– по категории числа: *По их (официантов. – К.С.) услужливым движениям было видно, что они ожидают **хорошего заказа и хороших чаевых*** (П. Романов);

– по категории одушевленности / неодушевленности: *Софья увидела **белые стены, белых женщин в кроватях*** (Е. Замятин);

– по падежной форме объектного распространителя: *...в разбитые окна высунулись головы, растрепанные, разрезанные стеклом, пьяные, заплаканные, хриплыми голосами **кричавшие что-то, вопившие о чем-то*** (Г. Успенский).

Все рассмотренные сочинительные конструкции отображают специфику синтаксического структурирования внутри одной и той же синтаксической позиции, где сходства и различия наполняющих ее компонентов (словоформ) взаимоуравновешиваются и взаимокомпенсируются при порождении речевого высказывания: как внутри «чистого» повтора (абсолютного сходства) может наблюдаться сочинительный «сдвиг» (появление семантических различий), так и при недостатке элементов сходства сочинительные структуры усложняются повторяющимися компонентами.

Психолингвистическое («глубинное») единство повтора и сочинительной связи словоформ как потенциальных заместителей одной и той же синтаксической позиции особенно наглядно проявляется в построениях с лексико-синтаксическим «перехватом» типа *Что может сравниться по силе воздействия с **мужским молчанием и молчаливым взглядом?*** (Русский дом, № 7, 2002), где первый сочиненный компонент (субстантивный) и адъективный распространитель второго сочиненного компонента (субстантивного) являются однокоренными

словами и как бы «провоцируют» создание тематически целостного сочинительного блока. Межпозиционная тавтология выполняет в приведенном предложении-высказывании конструктивно-семантическую функцию.

Весьма целесообразны дальнейшие наблюдения над тем, как происходит «зарождение» сочинительных отношений в рамках повтора словоформ в одной и той же синтаксической позиции, поскольку в этой динамической трансформации – прежде всего смысловой, а потом уже и синтаксической – становится наиболее наглядной именно синтаксическая специфика сочинительной связи словоформ: минимально достаточные условия сочинительной связи словоформ и ее собственно синтаксический механизм.

Что касается такой изобразительной синтаксической формы, как обратный повтор сочинительной конструкции, то она демонстрирует, если так можно выразиться, конструкциогенный потенциал взаимодействия сочинительной связи словоформ и их инверсивного повтора. Генезис подобной конструкции изобразительного синтаксиса имеет риторические корни, он обусловлен процессом дифференциации и усложнения синтаксиса в целях достижения такого стилистического идеала, как синтаксическое «многоцветье» и синтаксическое «живописание» убеждающей речи.

Нет никакого сомнения в том, что разнообразные речевые построения, возникающие при взаимодействии сочинительной связи и повтора словоформ, могут потребовать (и, действительно, требуют) особых процедур интерпретации, в исследовании которых приоритет принадлежит нашему замечательному юбиляру – Валерию Закиевичу Демьянкову [Демьянков 1989].

Литература

- Акимова Г.Н.* Новое в синтаксисе современного русского языка. М., 1990.
- Белоконева Н.Н.* Ряды однородных членов предложения с парадигматически соотносительными компонентами. Автореферат дисс. ... канд. филол. наук. Воронеж, 1982.
- Бондарко А.В.* Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии. СПб., 1996.
- Габ М.А.* Проблемы анализа семантической структуры текста. М., 1992.
- Галлямов Ф.Г.* Синтаксис простого осложненного предложения в татарском языке. Казань, 2006.

Демьянков В.З. Интерпретация, понимание и лингвистические аспекты их моделирования на ЭВМ. М., 1989.

Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М., 1969.

Мецлер А.А. Прагматика коммуникативных единиц. Кишинев, 1990.

Морковкин В.В. (ред.) Словарь структурных слов русского языка. М., 1997.

Поливанов Е.Д. За марксистское языкознание. М., 1931.

Пономаренко Е.В. Пояснение как языковая единица (к вопросу о функциональных связях дискурса). М., 1999.

Прияткина А.Ф. Осложненное простое предложение. Владивосток, 1983.

Санников В.З. Русский синтаксис в семантико-прагматическом пространстве. М., 2008.

Троицкий Е.Ф. Сочинение тождественных членов // Русский язык в школе, № 6, 1977.

Хаззагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика. Ростов-на-Дону, 1999.

Чеснокова Л.Д. Связи слов в современном русском языке. М., 1980.

Aitchison J. "Say, say it again Sam": The treatment of repetition in linguistics // Repetition. Tübingen, 1994.

Chomsky N. Conjunction // Modern studies in English. Readings in transformational grammar. Englewood Cliffs, New Jersey, 1969.

Lindström J. Vackert, vackert!: Syntaktisk reduplikation i svenskan. Helsingfors, 1999.

О.С. Орлова

Тема рождения в русских народных загадках¹

В традиционной культуре рождение ребёнка окружено различными суевериями и сопровождается многочисленными обрядами и ритуалами. Так, например, у древних славян во время родов повитуха, чтобы облегчить процесс, могла заставить будущую мать «пролезать через забор, переступить через 1, 3 или 9 порогов, трижды переходить через улицу, перекрёсток, межу, посыпать порог солью, перешагивать через лежащий на полу или на земле символически значимый предмет, как то: хлебную лопату, верёвку, ниты, мужнюю одежду, пояс, которым перевязывали дежу в Чистый четверг, и т.п.» [Кабакова 2009: 451], а «по окончании родов повитуха произносит заговор, чтобы вернуть тело матери в исходное состояние, а также защитить её и младенца от болезней» [Там же: 452]. Беременность и прохождение родов старались скрыть от посторонних людей, так как считалось, что «женщина будет мучиться столько часов или у неё будет столько схваток, сколько человек знает про это событие» [Там же: 450]. Народные суеверия находят отражение и в языке. На уровне языка затрагивание темы рождения порождает различные иносказания, изначально появившиеся на почве мифологических верований. Одним их примеров таких иносказаний в традиционной культуре служат загадки. В древние времена сакральные знания о мире передавались из поколения в поколение в определённых словесных формулах. Загадка представляет собой «иносказательное изображение в короткой формуле предмета или явления, которые нужно угадать; выражение, требующее разгадки» [Ушаков 2014: 147]. В загадках отражается картина мира народа, который их создаёт; загадки являются «одновременно и продуктом, и инструментом языковой категоризации и концептуализации мира, идентификации, сравнения и систематизации его элементов» [Седакова, Толстая 1999: 234].

¹ Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № 14–28–00130 «Лингвистические технологии во взаимодействии гуманитарных наук») в Институте языкознания РАН.

В древние времена передача «загадочного» знания из поколения в поколение представляла собой особую систему трансфера знаний.

Цель данной статьи – показать, как тема рождения осознаётся в русской традиционной культуре и как это осознание отражается в образной семантике загадок. Материалом исследования служат связанные с темой рождения загадки, представленные в сборниках: «Загадки русского народа. Сборник загадок, вопросов, притч и задач» Д.Н. Садовникова (1876 г.) и «Загадки» М.А. Рыбниковой (1932 г.).

Согласно В.З. Демьянкову, «предметно исследовать язык и его употребление можно только в рамках конкретных культур» [Демьянков 2013: 32]. Загадка существует в культуре, и, по В.Н. Топорову, рассматривать загадку следует как явление культурно-языковое, принимая во внимание, что её исходный локус представляет собой некий текст, понимаемый как целое, а «отдельная загадка не более чем отпавший от сакрального целого тела его профанизированный член» [Топоров 2004: 472]. «Загадочный» текст, который, как правило, строится на метафоре, отражает образы, характеризующие то, как видят представители данной культуры загаданный объект. Образы, использующиеся для представления загаданного денотата, отражают особенности культуры и быта народа, который придумал эти загадки, являются носителями культурной информации и разгадываются в пространстве этой информации, которой владеют представители данной культуры. Показать, как представлена тема рождения в русской народной культуре, позволит обращение к образам рождения в традиционных загадках.

В русских народных загадках, связанных с темой рождения, загадывается восемь денотатов: беременная женщина, младенец в брюхе / в утробе матери, рождение, младенец, младенец у груди, грудь матери, грудное молоко и младенец в зыбке (в колыбели).

Современному человеку, не владеющему традиционным знанием, народные загадки могут показаться сложными для разгадывания. Однако, если отгадчик знает, какое значение в древности имели те или иные образы, какое место в традиционной культуре занимали предметы и явления, которым уподобляется загаданный денотат, то загадка разрешается просто. Так, например, беременная женщина в загадках русского народа уподобляется хлебу, внутри которого находится живое существо («Хлеб на углу избы лежит, а в хлебе крыса сидит (беременная женщина)» [Садовников 1876 № 1703]), и бане с высоким порогом («В бане порог выше каменницы (беременная женщина)» [Там же № 1704]). Для разгадывания данных загадок отгадчику необходимы знания о том, что хлеб в традиционной славянской культуре, как и жен-

щина, считается символом плодородия, а выпекание хлеба – сугубо женское дело [Толстая 2012: 412–413], у древних славян также существовал обряд протаскивания через хлеб с отверстием ребёнка или наделения такого хлеба на ребёнка [Там же: 416]; баня на Русском Севере служила местом изоляции роженицы на время родов и в послеродовой период [Будовская, Морозов 1995: 139], в народе также говорили: «*Когда б не баня, все б мы пропали. Баня – мать вторая*» [Даль 2000: 273]; печь издавна символизировала рождающее женское лоно (каменница – банная печь), о печи говорили: «*Печь нам мать родная. На печи все красное лето*» [Там же: 277]; порог у древних славян воспринимался как граница дома, а в родинной обрядности символизировал преграду для младенца при рождении [Плотникова 2009: 175], поэтому повитуха просила роженицу переступить через порог для облегчения родов. Тем самым приведённые выше загадки о беременной женщине «прочитываются» в пищевом и архитектурно-домообустроительном кодах культуры, знаки которого умеет «считывать» отгадчик.

В загадке «*Без рук, без ног на гору ползёт*» (беременная женщина)» [Садовников 1876 № 1705] обыгрывается образ ребёнка, находящегося в животе матери; по сути, в загадке говорится о животе беременной женщины, который растёт, увеличивается с ростом плода. Данная загадка «прочитывается» в соматическом и природном кодах культуры: живот, в котором растёт ребёнок, уподобляется горе; описание внешнего движения вводит в заблуждение отгадчика: более точным было бы описание движения ребёнка внутри горы, т.е. живота. Как в данной загадке, так и в русских пословицах ребёнок описывается с помощью соматизмов «*без ног*», «*без рук*». Так, в пословицах говорится о тягостях жизни крестьянской семьи: «*Без ног на печи*» (малолетние дети, у которых нет обуви, и они не могут зимой выходить на улицу), «*без рук в зыбке*» (ребёнок), «*да третий покойник*» (старик, старуха) – *тягло* (т.е. то, что в тягость)» [Даль 2000: 356]; «*Старый да малый: рук нетути, а роток есть*» [Там же]. В загадке и в пословицах сходные образы получают различное их восприятие, обусловленное функциями, различающимися у загадки и пословицы. В загадке отражено представление о росте плода внутри утробы на основе образа не сформированного тела ребёнка (или живота, который растёт сам по себе, становясь горой); в пословицах выражается оценочное отношение, и образ рук переосмысливается в трудовом аспекте, а образ ног – в социально-имущественном аспекте. Ср.: ребёнок в загадке «*Без рук, без ног на гору ползёт*» – предположительно, находясь в утробе матери, может перемещаться в пространстве без помощи рук и ног; в пословице «*без рук*», потому что ещё не может помо-

гать семье, а сам нуждается в помощи; «без ног» – потому что не в чем ходить; «рук нетути, а роток есть» – не может ничего делать руками, не способен ещё помогать, работать, а есть просит (о ребёнке и старике).

Загадка «*Без рук, без ног на гору ползёт*» [Садовников 1876 № 1705] также разрешается в русской традиционной культуре как «тесто» [Рыбникова 1932: 138], «вода» [Там же: 128], «огонь» [Садовников 1876 №188] и «ветер» [Рыбникова 1932: 239] и служит примером свойственной загадке денотативной поливалентности.

Рождение, по народным представлениям, связано с противоположной темой – смерти; в загадках образы рождения и смерти соединяются в одном контексте и интерпретируются в духовно-религиозном коде культуры: «*Когда душа выходит, а тело не умирает?* (когда рождается человек)» [Там же: 412]. Данная загадка о рождении построена на противопоставлении – душа тело покидает (об умирающем говорят: «*душа отлетает*», «*душа с телом растаётся*», «*душа вон*»), а смерть не наступает. Согласно религиозным представлениям, такая ситуация возможна, только когда внутри человека две души – как в случае с матерью, вынашивающей ребёнка.

Младенец может загадываться с помощью образов зверя или зверька («*Какой зверь из двери выходит, а в дверь не входит?* (младенец)» [Садовников 1876 № 1707]; «*Маленький зверёк, никто его не уймёт: ни царь, ни царица, ни красная девица* (младенец)» [Там же № 1712]. В загадке «*Какой зверь из двери выходит, а в дверь не входит?* (младенец)» [Там же № 1707] описан процесс рождения: выход живого существа из пространства, в которое невозможно вернуться. Дверь в традиционной культуре, как и дом в целом, получила метафорическое осмысление в соматическом коде, будучи уподоблена рту или женскому детородному органу [Виноградова, Толстая 1995: 25].

Младенец в утробе матери в русской народной загадке отождествляется с караваем за стенами печи («*За стеной-стеной каравашек косяной* (младенец в брюхе)» [Садовников 1876 № 1706]) или колобком / колобашкой. Сравним приведённые загадки с пословицей русского народа о детях одной матери: «*И из одной печи, да не одни калачи*» [Даль 2000: 441]. В русской традиционной культуре печь осмысливается как живое существо и соотносится с человеческим телом; в древних свадебном и родильном обрядах печь символизировала рождающее женское лоно [Топорков 2009: 42]. У приведённых выше загадках о ребёнке внутри матери также существуют варианты, в текстах которых «каравашек» или «колобок/колобашка» заменён на «барашка», «тараканчика», «барабанчика» / «барабанщика» [Садовников 1876 № 1706 а]. Тем самым

в данных загадках основным кодом для создания образа выступает пространственный код культуры, который сочетается с разными кодами – пищевым, природным, артефактивным, зооморфным и т.п. Главным в загадке о младенце в утробе матери является образ места, в котором находится плод, который уподобляется тем или иным сущностям, и это уподобление разгадывается с опорой на культурные знания.

Так, в русских традиционных загадках младенец в животе матери уподоблен огурчику («*За мясной стеной лежит огурчик костяной* (младенец в брюхе)» [Там же № 1706 в]). Отметим, что бахчевые культуры (огурцы, тыква, кабачки, дыня) у древних славян входили в обряды, связанные с благотворным влиянием на продолжение рода, а на уровне языка для обозначения беременности нередко используется растительный код (рус. завязаться – о зачатии ребёнка, плестись – о рождающихся один за другим и т.п.) [Усачева 2004: 499]; девушку, не способную зачать, называют «пустоцветом».

В загадках «*За мясной стеной лежит огурчик костяной* (младенец в брюхе)» [Садовников 1876 № 1706 в] и «*За каменной за стеной лежит бубен костяной* (младенец в брюхе)» [Там же № 1706 б] стена символизирует преграду. Слово «стена» в русской речи употребляется в контекстах: защита от вреда или внешнего врага («*как за каменной стеной*», «*и стены в доме помогают*»), защита от внутреннего врага / плохого самочувствия («*идти по стеночке*») и стена – «оболочка жилища» (современное «*в квартире голые стены*») [Демьянков 2015: 22]. В сибирских говорах бытует выражение «*стенная девушка*» в значении «*плотная, здоровая женщина*» [Там же]. В приведённых загадках «*каменная стена*» и «*мясная стена*» – живот матери – оболочка временного «жилища» ребёнка.

Помимо этого, в русской традиционной культуре ребёнок, находящийся внутри матери, уподобляется человеку, заключённому в тюрьме: «*Кто сидит сорок недель в тюрьме, оттуль навеки выпустят?* (младенец)» [Садовников 1876 № 1707], а ребёнок, которого кормит мать, – висельнику: «*Сорок недель в тюрьме сидел, да год со днём (два года) на виселице висел?* (младенец)» [Там же № 1709 а]. В загадках русского народа описываются некоторые важные этапы в развитии ребёнка: «*Сорок недель сидел я в темнице, шесть недель – в больнице, двадцать недель меня вязали, да год на виселице держали* (младенец)» [Там же № 1709]. Указанные загадки «прочитываются» в числовом коде: беременность в среднем длится сорок недель; первые шесть недель младенца «доделывали» в соответствии с традиционными представлениями – выправляли нос, уши, губы, шею, тёрли глаза, растирали лоб, чтобы не был

слишком выпуклым и т.п. [Кабакова, Седакова 2004: 259]; пеленать ребёнка могли до полугода, а кормление ребёнка грудью обычно продолжается от года до трёх.

Младенец у груди в русских загадках называется *живуленькой*: «*Сидит живуленька на живом мосту, грызет живое мясо* (младенец у груди)» [Садовников 1876 № 1713] или *живулечкой*: «*Сидит живая живулечка на живом стульчике, теревит живое мясо* (младенец у груди)» [Там же № 1713 а]. Заметим, что «живуля» или «живулька» в первом значении – плотоядное насекомое (блоха, вошь и т.п.), а во втором – всё живое, но не разумное (например, младенец) [Даль 1863 Т1: 481].

Ребёнок у материнской груди в русской народной загадке описывается как *маленький, курбатенький*; ср. *курбатый* – малорослый, коротыш, карапузик, толстячок [Там же Т2: 825]. В загадке характеризующие загаданный денотат признаки занимают позицию субъекта действия, выполняя функцию номинации и являясь, по сути, прямым указанием на качества загаданного денотата; ср.: «*Маленький, курбатенький под кучкой лежит* (младенец у груди)» [Садовников 1876 № 1716]. Пищевая метафора, сообразно онтологии вскармливания младенца грудным молоком, лежит в основе загадки: «*Два комка, третья лакомка* (младенец у груди)» [Там же № 1717]. Младенец загадывается с помощью образа просителя, которого кормят из жалости к его беспомощности; ср.: «*Жалок, жалок ты, дружок! На те сахарку кусок* (младенец у груди)» [Там же № 1718]. Мифологический образ *Кащея* лежит в основе мотивирования внутренней формы загадки: «*Пришел Кащей без вестей, ел мясо без кости; Кащей сыт и баран цел* (младенец у груди)» [Там же № 1715]. Младенец уподоблен Кащею, возможно, из древнего суеверного желания защитить новорожденного от воздействия «злых сил». Главной подсказкой в данной загадке являются пищевые образы, которые интерпретируются в пищевом коде культуры (см. о млекопитании как символическом действии в [Ковшова 2012, 2013, 2016]). Также и сам младенец в колыбели по «упакованности» содержимого в необходимую оболочку может быть уподоблен пирожку с начинкой («*Липова загибка, мясной пирожок* (младенец в зыбке)» [Садовников 1876 № 1719]). В дополнение к пищевому коду подключается зооморфный код; так, для описания младенца часто используется образ кота, котёнка; ср.: «*Пришёл кот без вестей, ел он мясо без костей* (младенец у груди)» [Там же № 1715 в] (ср.: «*Не умела родить ребенка, корми серого котёнка*» [Даль 2000: 186]; «*Ласкай и кота, коли не родила дитя*» [Там же]; «*У кошки котя – тоже дитя*» [Там же: 187]). Образы кота, кошки – самые частые в потешках, колыбельных, считалках, детских сказках о животных; кошка

является одним из первых объектов в познании ребёнком окружающего мира; кошка пребывает в доме с младенцем, служит его играм и развлечениям; по народному представлению, мурлыканье кошки успокаивает младенца, убаюкивает его.

Младенец в загадках, на основании его онтологических свойств, именуется немым воеводой («*Стоит град, не на воде, не на земле; в том граде – воевода нем* (младенец в зыбке)» [Садовников 1876 № 1720 а]), а колыбель кодируется с помощью образа города (града) или деревянной (липовой) загибки («*Липова загибка, мясной пирожок* (младенец в зыбке)» [Там же № 1719]).

Возрастная характеристика человека в русской народной загадке может даваться с помощью зооморфных образов. Символом первого этапа в развитии многих живых существ является яйцо; эталоном силы и мощи в русской традиции является медведь; эталоном глупости, несообразительности во многих текстах народной культуры считается курица (ср.: *куриные мозги, как кур во щи попасть* и т.п.). Эти представления ложатся в основу образной семантики загадки: «*Три года – яйцо; тридцать лет – медведь; шестьдесят лет – курица* (младенец, середовой, старик)» [Там же № 1721].

Загадки о младенце отражают также проникнутый религиозностью взгляд русского народа на мир и могут «прочитываться» в духовно-религиозном коде: «*Он Бога не знает, а Бог его любит* (младенец)» [Там же № 1710]. Ср. также пословицы, многие из которых построены на цитатах из Священного Писания, вошедших в разговорный народный обиход; ср.: «*Дети – благодать божья*» [Даль 2000: 186], «*У кого детей много, тот не забыт от Бога*» [Там же]. Ср.: «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном» [Матф. 18:1–4].

Изображая в загадках мать, кормящую младенца, русский народ для именованя груди использует отвечающие онтологическим характеристикам объекта выражения: «живое место» («*Жива я живулька, наживай коготки, живо место теребить* (грудь матери)» [Рыбникова 1932: 112]), «живое мясо» («*Взять бы, достать бы белого пивца из живого мяца* (грудное молоко)» [Садовников 1876 № 1788]), «сыро мясо» («*Сердце – к сердцу, живот – к животу, руки под ж...., сыро мясо во рту* (младенец у груди)» [Там же № 1714]), «мясо без костей» («*Пришёл кот без вестей, ел он мясо без костей* (младенец у груди)» [Там же № 1715

в]; «Пришел Кащей без вести, ел мясо без кости; Кащей сыт и баран цел (младенец у груди)» [Там же № 1715]; «кучка» («Маленький, курбатенький под кучкой лежит (младенец у груди)» [Там же № 1716]) и «два комка» («Два комка, третья лакомка (младенец у груди)» [Там же № 1717]).

Кроме того, на основании сходства по цвету молоко матери уподобляется лебедю и снегу: «Лебедь ты мой белый! На блюде ты не был, ножом не рушен, всяк тебя кушал (грудное молоко)» [Там же № 1787 н]; «Беленький снежок набит, как в мешок, на столе не становятся, ножом не рушат, а всяк его кушает (грудное молоко)» [Там же № 1787 о].

Грудное молоко в русской народной культуре часто представлено в образах вкусной еды, сладости и напитков. Так, грудное молоко нередко уподобляется сахару: «Сахарный кусочек на блюде лежал, всяк его едал (грудное молоко)» [Там же № 1787 в]; патоке и мёду: «Патока-медок всему миру ходок, только на стол не ходок (грудное молоко)» [Там же № 1787 ж]; хлебу («Крупичатый калач на столе не бывал, а всяк его едал (грудное молоко)» [Там же № 1787 з]; пиву: «Взять бы, достать бы белого пивца из живого мясца (грудное молоко)» [Там же № 1788]; называется кушаньем: «Что за кушанье, что всякий от него питаётся, но на столе оно не подаётся? (грудное молоко)» [Там же № 1787 п]. Посредством сравнения-отрицания материнское молоко сравнивается с быком и бараном: «Не бык, не баран на блюде не лежал, а всяк его кушал, и царь не миновал (грудное молоко)» [Там же № 1787 и]; гусем и уткой: «Не гусь, не утка, на столе не бывает, а всякий едал (грудное молоко)» [Там же № 1787 л]; рыбой: «Не рыба, не баран, сахар не бывал, на блюде не лежал, всяк меня едал (грудное молоко)» [Там же № 1787 i]. Подчёркивая важную роль материнского молока в жизни человека, русский народ в загадках называет его самым сладким: «Что всего слаще? (грудное молоко)» [Там же № 1789]. Отметим также, что пищевые образы воспринимаются на фоне духовно-религиозных представлений о значимости грудного вскармливания как создания основы духовного развития человека, обретения знаний, передаваемых «с молоком матери».

Выводы

Загадка является текстом культуры. В загадке отражается картина мира создавшего её народа, в ней фиксируются знания о мире, которые загадка выражает в особых словесных формулах, – будучи иносказанием, закодированным описанием того или иного денотата, загадка облакает эти знания в образы, полные значимости в данной культуре. Обра-

зы, которые лежат в основе русских народных загадок на тему рождения, отражают воззрения русского народа на мир и могут быть распознаны, «прочитаны» с большей легкостью с опорой на традиционные знания. Тема рождения представлена загадками о беременной женщине, рождении, ребёнке в утробе матери, о младенце, младенце у груди и в колыбели, о молоке матери и материнской груди. Беременная женщина в русской культуре загадывается с помощью образов хлеба, бани и существа «без рук, без ног»; рождение – с помощью отрицания идеи смерти; младенец – с помощью образов животного и растительного мира, различных артефактов, прежде всего связанных с пищей, например выпекающегося в печи или уже готового пирожка/каравая и т.п. Младенец в утробе матери уподобляется заключённому в тюрьме; предстаёт в загадках маленьким беспомощным существом; молоко матери в «загадочном» тексте уподобляется вкусной еде и напиткам, сладостям, белому лебедю и снегу; различные образные переименования в загадке даются при описании кормящей матери. В загадках, связанных с темой рождения, отражаются как народные суеверия, так и религиозное христианское мировоззрение. Для загадки характерно установление далёких связей между загаданным объектом и тем, как он представлен в «загадочном» тексте. Загадка в традиционной культуре, с одной стороны, «уводит» отгадчика от правильного ответа, уподобляя живое неживому, человека – зверю и т.п. С другой стороны, образы, насыщенные культурной коннотацией, всегда содержат подсказку, «культурные ключи» для разгадывания. Понимание загадок зависит не только от сообразительности отгадчика, но и от его культурно-языковой компетенции.

Литература

Библия православная: Российское Библейское Общество, 2006.

Будовская Е.Э., Морозов И.А. Баня // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. В 5 т. Т. 1: А – Г. М., 1995.

Виноградова Л.И., Толстая С.М. Дверь // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. В 5 т. Т. 1: А – Г. М., 1995.

Даль В.И. Пословицы и поговорки русского народа. М., 2000.

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М., 1863.

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. М., 1863.

Демьянков В.З. Цивилизационные параметры когнитии: лингвистика – эстетика – этика – психология – логика // Вопросы когнитивной лингвистики, № 1 (034), 2013.

- Демьянков В.З.* Языковые следы трансфера знаний // Когнитивные исследования языка. Вып. XXIII, 2015.
- Кабакова Г.И.* Роды // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. В 5 т. Т. 4. М., 2009.
- Кабакова Г.И., Седакова И.А.* Младенец // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. В 5 т. Т. 4. М., 2004.
- Ковшова М.Л.* Лингвокультурологический метод во фразеологии. Коды культуры. М., 2012; 2-е изд. – 2013; 3-е изд. – 2016.
- Плотникова А.А.* Порог // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. В 5 т. Т. 4. М., 2009.
- Рыбникова М.А.* Загадки. М.; Л., 1932.
- Садовников Д.Н.* Загадки русского народа. Сборник загадок, вопросов, притч и задач. СПб., 1876.
- Седакова И.А., Толстая С.М.* Загадки // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. В 5 т. Т. 2. М., 1999.
- Толстая С.М.* Хлеб // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. В 5 т. Т. 5. М., 2012.
- Топоров В.Н.* К реконструкции «загадочного» прототекста (о языке загадки) // Топоров В.Н. Исследования по этимологии и семантике. Т. 2: Индоевропейские языки и индоевропеистика. М., 2004.
- Топорков А.Л.* Печь // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. В 5 т. Т. 4. М., 2009.
- Усачева В.В.* Овощи // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. В 5 т. Т. 3. М., 2004.
- Ушаков Д. Н.* Толковый словарь современного русского языка. М., 2014.

раздел IV Культурный трансфер
в разных языках

Т.Е. Янко

Просодия: языковые контрасты и языковые контакты¹

Цель работы – проанализировать и сопоставить просодические единицы нескольких языков. За точку отсчета принимается русский язык. Просодические единицы русского языка сопоставляются с единицами западных языков: английского, немецкого, голландского, польского и испанского. Кроме того, в качестве просодии, которая имеет общие функции и поверхностные параметры одновременно и с русским, и с западными языками, анализируется просодия регионального варианта русского языка, на котором говорят в Одессе. Предположительно, региональный вариант Одессы испытал германоязычное влияние, и, соответственно, ниже демонстрируются черты общности одесской просодии с немецкой. Отбор языков для контрастивного анализа обусловлен доступностью соответствующего материала для автора.

Сопоставление проводится по линии анализа нетривиальных совпадений и различий, которые наблюдаются в сравниваемых языках как в плане выражения, так и в плане содержания просодии. Таким образом, сопоставляются просодические единицы языков, совпадающие по форме, но не по функции, и единицы, совпадающие по функции, но не по форме. Единиц, которые не имеют в языках ни функциональных, ни формальных совпадений, обнаружено не было: просодии рассматриваемых языков различны, но сопоставимы. Они имеют либо поверхностно просодические, либо функциональные совпадения. В рассмотренных языках также имеются единицы, совпадающие и по форме, и по функции, но как тривиальные такие единицы здесь не рассматриваются.

Материалом для анализа служит рабочий массив аудиозаписей, специально разработанный автором для данного исследования. Массив включает записи разговорных теле- и радиопередач, интервью, учеб-

¹ Исследование выполнено в ФГБУН Институт языкознания РАН при поддержке Российского научного фонда (РНФ), проект № 14–28-00130.

ных аудиокурсов, фильмов и дружеских бесед. Для анализа звучащих текстов используется слуховой анализ с последующей верификацией слухового восприятия с помощью компьютерной программы анализа устной речи Praat [Boersma, Weenink 2018].

За основную единицу просодии принимается акцент, который понимается как двусторонняя единица, имеющая определенные 1) тонально-темпоральные характеристики, 2) модели распределения подъемов и падений частоты тона по ударным и безударным слогам слова-акцентоносителя и 3) определенный набор значений. Наше понимание акцента близко к понятию интонационной конструкции (ИК), по Е.А. Брызгуновой [Брызгунова 1982: 107].

Начнем с анализа акцента типа ИК-4, по Е.А. Брызгуновой ([Брызгунова 1982: 114–115]), как имеющего в русском языке наиболее богатый набор значений. С точки зрения плана выражения ИК-4 характеризуется падением или низким ровным тоном на ударном слоге словоформы-акцентоносителя и подъемом частоты на заударных, если они есть. Если заударных нет, единое нисходяще-восходящее движение тона фиксируется на последнем или единственном слоге акцентоносителя. В примере (1) представлен вопрос с А. Маркирование вопроса с А – одна из функций ИК-4 в русском языке:

(1) *А Вася?*

На Рис. 1 (и на других графиках ниже) ось абсцисс соответствует показаниям времени, прошедшего с начала записи в секундах, ось ординат – частоте основного тона человеческого голоса в герцах. На графике наблюдается нисходяще-восходящее движение тона на словоформе *Вася*: падение частоты на ударном слоге *Ва-* и подъем на ударном слоге *-ся*.

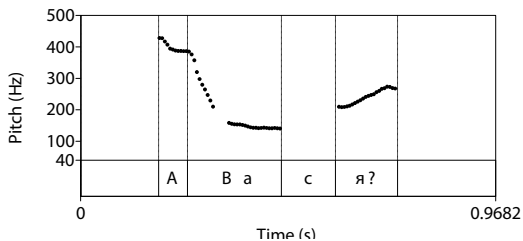


Рис. 1. Тоннограмма примера (1).

Акцент типа ИК-4 также характерен и для т.н. «ответа с вызовом»: (2) – *Что для вас праздник? – Премьера!*

Актриса, отвечающая на вопросы телеведущей, слегка рисуется: реплика произносится в предположении, когда в ответ на вопрос о празднике слушающий ожидает разговора не о работе актера, а об отдыхе и веселье.

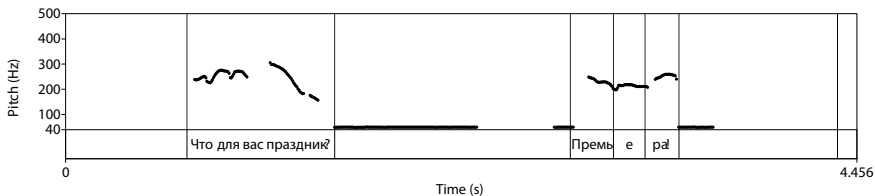


Рис. 2. Тonoграмма примера (2).

На Рис. 2 мы наблюдаем ровный и относительно низкий тон на ударном слоге словоформы *преьера*, за которым следует подъем на заударном слоге. Для данного акцента существенно, что частота заударного слога оказывается выше ударного.

Кроме того, в русском языке ИК-4 маркирует т.н. «рассказ по порядку». Рассказ по порядку отличается от простого указания на незавершенность повествования тем, что в рассказе по порядку не только каждый текущий шаг повествования понимается как неконечный, но и как то, что шаг, следующий за текущим, тоже представлен как неконечный. Все шаги заранее выстроены говорящим в цепочку в соответствии с их внутренней логикой, временем наступления событий или расположением описываемых объектов в пространстве. В примере (3) отражен рассказ директора института переливания крови о том, как подействовала на больного процедура переливания крови. Полу жирным шрифтом выделены словоформы – носители акцентов.

(3) *Больной, который был постельный, он не улыбался, а после того, как он закончил **процедуру**, он вернулся в **палату**, сбросил решительным жестом тапочки со своих ног, и босиком на полу отбил чечетку.*

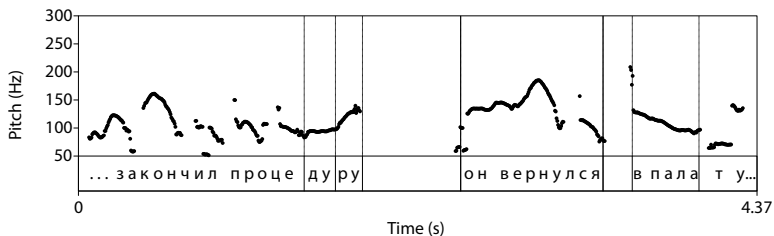


Рис. 3. Тonoграмма фрагмента из примера (3).

На рисунке 3 представлен фрагмент примера (3), построенный по модели рассказа по порядку. ИК–4 наблюдается на словоформах *процедуру* и *палату*.

Говорящий очень последовательно следует избранной стратегии: на первых двух шагах повествования *он закончил процедуру* и *он вернулся в палату* используется акцент типа ИК–4, реализующий модель рассказа по порядку. Затем на предпоследнем шаге повествования *сбросил решительным жестом тапочки со своих ног* (акцентоноситель – словоформа *ног*) используется дефолтная модель незавершенности с реализацией акцента ИК–3: рассказ подходит к концу. Наконец, на конечном шаге повествования реализуется модель завершения: нисходящий акцент типа ИК–1, который фиксируется на словоформе *чететку*.

В результате, опустив некоторые детали, можно заключить, что ИК–4 в русском языке выражает различные типы сопоставления: один шаг повествования на фоне последовательности других; вопрос с *A*, подразумевающий, что то, о чем задается вопрос, рассматривается не само по себе, а на фоне других элементов некоторого релевантного множества; а также при сопоставлении мнения говорящего с позицией слушающего, быть может, гипотетической.

Что касается немецкого, английского и польского языков, то в этих языках нисходяще-восходящее движение тона также представлено весьма широко, но имеет другой набор функций. В английском и в немецком языках нисходяще-восходящее движение тона маркирует «простую» (неупорядоченную) незавершенность, а в польском языке нисходяще-восходящая модель типа акцента ИК–4 может обозначать также и тему предложения. Поясним, что в русском языке ИК–4 для маркирования темы не используется. Единственный русский контекст, в котором тема может быть маркирована нисходяще-восходящим движением тона, возникает только в том случае, когда тема встраивается в ряд упорядоченных шагов повествования, т.е. служит элементом рассказа по порядку.

Пример (4) взят из рассказа американца, оказавшегося на работе в Москве, о том, как он адаптируется к новым условиям жизни. Перед нами нисходяще-восходящий акцент типа русского акцента ИК–4 в американском варианте английского языка. Контекста рассказа о развитии событий, которые могли бы быть упорядочены во времени или в пространстве, здесь не просматривается: перед нами простое повествование о жизни иностранца, оказавшегося в России.

(4) *I've been studying Russian now for six months, it's not easy to learn, it's turning to make more sense to me...*



Рис. 4. Тонограмма фрагмента из примера (4).

Мы наблюдаем нисходяще-восходящее движение тона на акцентоносителях незавершенности – словоформах *months* и *learn*. Этот пример и другие многочисленные примеры из речи британцев и американцев говорят о том, что нисходяще-восходящий акцент в английском языке служит дефолтным показателем немаркированной незавершенности.

Обратимся к польскому примеру с нисходяще-восходящим показателем дискурсивной незавершенности. Контекста рассказа по порядку здесь нет.

(5) *Jedna córka kończy studia, a druga ma sześć lat*
 ‘Одна дочь кончает институт, а другой шесть лет’.

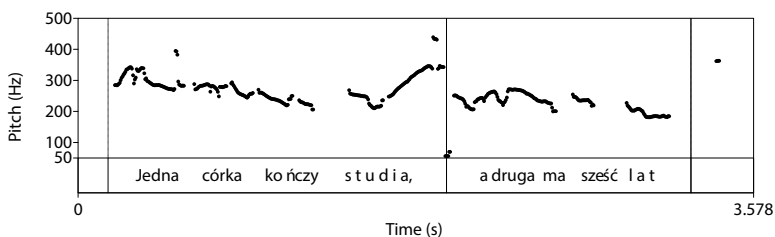


Рис. 5. Тонограмма примера (5).

Рисунок 5 демонстрирует падение на ударном слоге словоформы *studia* и подъем на заударных слогах.

В польском примере (6) можно наблюдать два очень рельефных, т.е. совершающихся в больших диапазонах частот, нисходяще-восходящих акцента, которые фиксируются на теме *historia* ‘история’ и акцентоносителя второй темы в словоформе *malowidła* ‘картины’:

Если вернуться к рассказу по порядку, о котором говорилось в связи с функциями ИК-4 в русском языке, то оказывается, что в английском эта функция вообще не имеет никаких специальных просодических маркеров. Соответственно, значение рассказа по порядку в английском

языке, как можно было бы ожидать в сопоставлении с русским языком, вообще не выражается, во всяком случае – просодически.

(6) *Historia przedstawia nam malowidła z bardzo dawnych czasów.*
 ‘История представляет нам картины с очень древних времен’

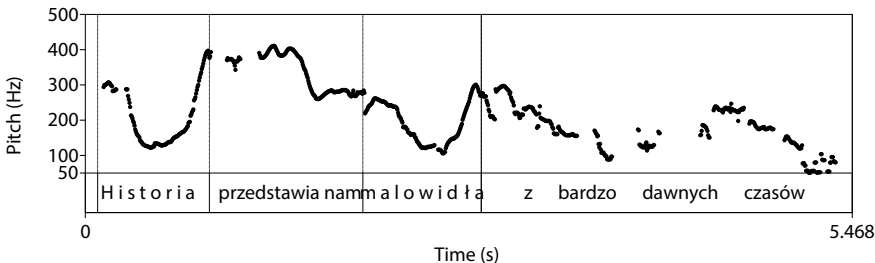


Рис. 6. Тоннограмма примера (6).

Между тем в немецком языке дискурсивная упорядоченность выражается специальным акцентом, который мы предлагаем называть *градуальным подъемом*. Это восходящий тон на ударном слоге, за которым подъем продолжается на заударных слогах, если они есть. Причем подъем на заударных начинается от того уровня, который был достигнут в результате подъема на ударном слоге, ср. движение тона на словоформах *Frankreich, China, Freundin, Eltern* и второй встречаемости словоформы *China* в примере (7). Пример представляет собой рассказ студентки о ее поездках во время летних каникул. Перед нами типичный рассказ по порядку. Поездки следовали одна за другой, рассказчица говорит о своих разъездах и дает соответствующие комментарии:

(7) *Ich war in **Frankreich**. Dann war ich einen Monat in **China**, mit einer **Freundin**. Und dort haben wir ihre **Eltern** besucht, also, sie ist direkt aus **China**. <Und waren obendrein noch in Peking und Schanghai. >*

‘Я была во Франции. Потом я была один месяц в Китае, с одной подругой. А там мы посетили ее родителей, ведь она из Китая. <И были, кроме того, в Пекине и Шанхае.>’

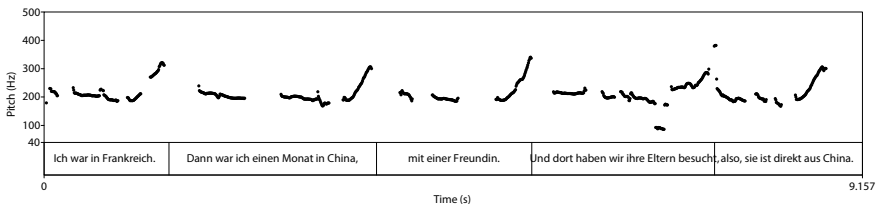


Рис. 7. Тоннограмма примера (7). Пример заимствован из работы [Палько 2008].

Таким образом, параллельный анализ просодической формы и дискурсивной функции в направлении от формы к функции и от функции к форме позволяет заключить, что одни и те же функции в разных языках могут выражаться по-разному и даже вообще не выражаться. И, наоборот, одна и та же просодическая форма в различных языках может иметь различные функции. Наша гипотеза состоит в том, что совпадение формы – но не функции – в различных языках может служить свидетельством того, в каком направлении происходит языковая просодическая интерференция. Так, наши наблюдения говорят о том, что русскоязычные говорящие, переселившись в Германию и овладев немецким языком, начинают говорить по-русски так, как если бы они придавали своей речи педантичный стиль рассказа по порядку. Этот феномен мы объясняем тем, что в немецком языке нисходяще-восходящее движение тона типа ИК-4 выражает немаркированную дискурсивную незавершенность. Это влияет на носителей русского языка, которые начинают «злоупотреблять» нисходяще-восходящим движением тона, что на русском сегментном материале уподобляет любой связный дискурс рассказу по порядку. Это своего рода заимствование функции основано, на наш взгляд, на том, что в русском языке нисходяще-восходящий тон имеется. Для заимствования же плана выражения необходимы особые условия, о которых речь ниже.

Если вернуться к рассказу по порядку в немецком языке, где рассказ по порядку выражается, как мы уже заметили, градуальным подъемом, то окажется, что градуальный подъем, русскому языку вообще говоря не свойственный и отсутствующий в списке интонационных конструкций по Е.А. Брызгуновой, встречается в фонологическом статусе как двусторонняя единица не только в немецком, но и в других языках. Между тем функции у градуального подъема по сравнению с немецким языком будут уже другие.

В примере (8) градуальный подъем использован для выражения *да-нет*-вопроса в новозеландском диалекте английского языка:

(8) *You remembered the lilies?*

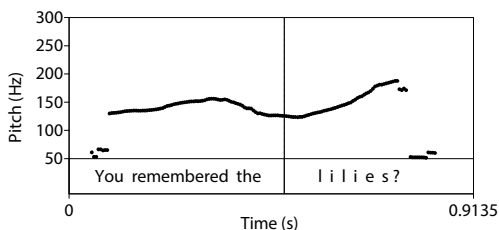


Рис. 8. Тоннограмма примера (8).

График демонстрирует подъем на ударном слоге словоформы *lilies* с последующим подъемом на конечном заударном слоге. В данном случае восходящая просодическая конструкция маркирует вопрос. Пример заимствован из работы [Fletcher, Grabe, Warren 2005].

В голландском языке, по данным К. Гуссенховена, градуальный подъем так же, как и в новозеландском английском, маркирует вопрос; пример (9) заимствован из работы [Gussenhoven 2005: 132]:

(9) *Zou ze werkelijk zo gek zijn om daarop in te gaan?*
 would she REALLY so crazy to there-up IN to go?
 'Будет она действительно так глупа чтобы туда пойти?'

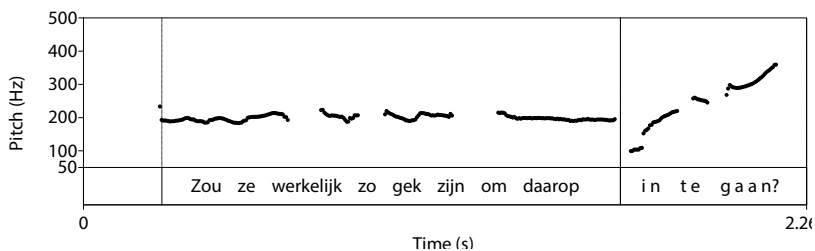


Рис. 9. Тонограмма примера (9).

Далее. Обратимся к региональному варианту русского языка, на котором говорят в Одессе. Градуальный подъем широко представлен здесь в различных функциях. В примере (10) градуальный подъем фиксируется на словоформе *Украину*, где он служит средством выражения незавершенного повествования:

(10) ... убивает Украину, вот фотографии...

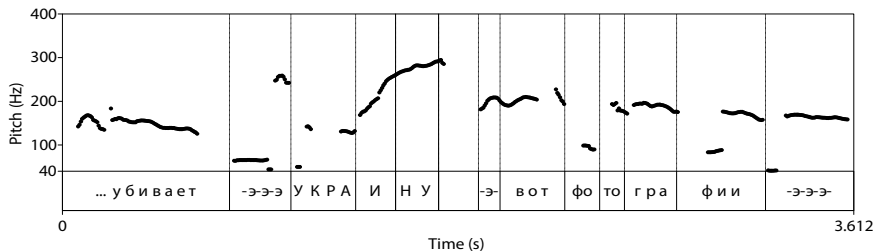


Рис. 10. Тонограмма примера (10).

В примере (11) градуальный подъем фиксируется на словоформе *продукция*. Также служит маркером незавершенного повествования:

(11) *Естественно, не всегда распространялась полностью продукция...*

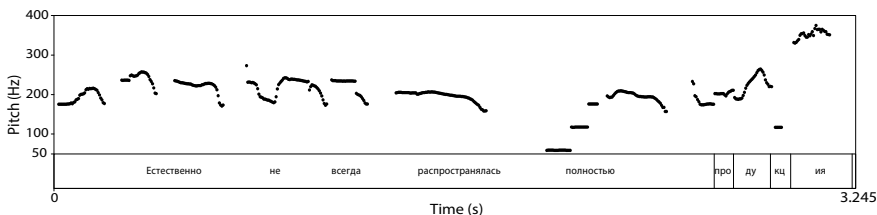


Рис. 11. Тонаграмма примера (11).

В примере (11) мы наблюдаем подъем на ударном слоге словоформы *продукция*, за которым следует продолжающийся подъем на заударных слогах *-ция*.

Градуальный подъем в речи одесситов мы – предположительно – рассматриваем как результат германоязычного влияния, а именно – идиша.

Проникновение просодии родного языка в речь на втором языке на примере градуального подъема можно проиллюстрировать интересным фрагментом из речи испанца, говорящего по-русски. Пример (12) взят из московской новостной радиопрограммы. В программе выступил испанский посол в России, причем его переводчик, для которого родным был не русский, а испанский язык, продемонстрировал прекрасные образцы градуального подъема в своей речи, звучавшей по-русски. Из речи испанца, говорившего по-русски, слушателю, не знакомому с испанской просодией, становится очевидным, что в родном языке говорящего градуальный подъем есть.

(12) *Мы очень довольны тем, что в этом году, в семнадцатом году, увеличился поток российских туристов в **Испанию**...*

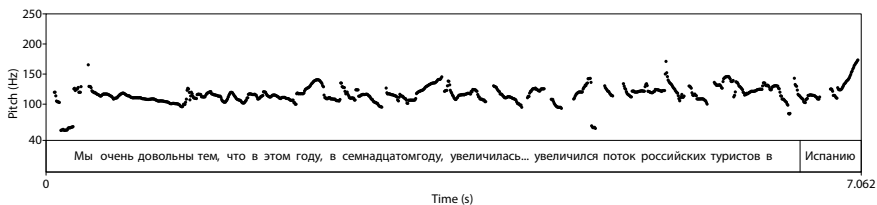


Рис. 12. Тонаграмма примера (12).

Словоформа *Испанию* имеет подъем на ударном слоге, затем частота продолжает градуально повышаться на двух заударных слогах.

Ср. испанский пример (13), демонстрирующий использование градуального подъема для маркирования незавершенности:

(13) *Fresnedo se vistió su americana, se cubrió con un sombrero, y tomando de la mano a su niño, bajó al jardín y de allí se trasladaron al establo.*

‘Фреснедо надел пиджак, надел шляпу, и, держа за руку сына, отправился в сад, а оттуда переместился в хлев’.

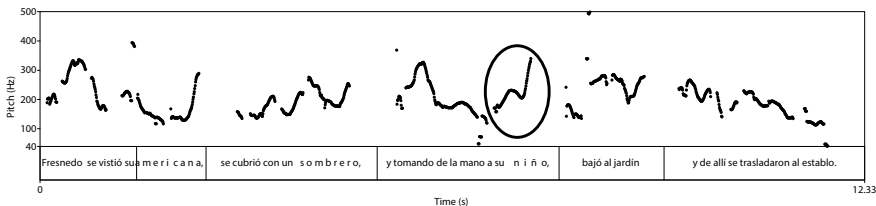


Рис. 13. Тоннограмма примера (13).

Здесь наблюдается три градуальных подъема на словоформах *americana* ‘пиджак’, *sombrero* ‘шляпа’ и *niño* ‘сын, ребенок’. Наиболее выразительный градуальный подъем фиксируется на словоформе *niño*. На рисунке он выделен овалом.

Перейдем к акценту английского языка, присущему обоим основным английским диалектам и не зафиксированному ни в одном из других рассмотренных здесь языков. Эта интонационная конфигурация с относительно недавних пор обсуждается в англоязычной литературе с точки зрения значения, которое она выражает [Pierrehumbert, Hirschberg 1990: 297; Steedman 2000: 665; Hedberg 2002; Gundel, Fretheim 2004]. Между тем в классические и учебные списки английских акцентов эта конструкция пока все-таки не входит. Этот акцент имеет не один, как ИК-4, а два перепада частоты. Акцент реализуется с подъемом на ударном слоге; затем на первом заударном, если он имеется, реализуется падение, на втором заударном – подъем. Если второго заударного нет, нисходяще-восходящее движение тона фиксируется на единственном заударном слоге. Если заударных слогов нет вообще, интегральное восходяще-нисходяще-восходящее движение тона фиксируется на последнем или единственном слоге акцентоносителя, как в примере (14).

Акцент характерен для диалогических реплик: приветствия, прощанья, «ответа с вызовом». Используется в обоих диалектах английского. Функциональным аналогом этого акцента в русском языке служит ИК-4, а физического аналога в известных нам языковых системах мы не знаем. Иностранцы, говорящие по-английски, этим акцентом, как пра-

вило, не владеют. Автору, принимавшему участие в обсуждении функций акцента [Янко 2008: 240–248], пришлось специально учиться произнесению соответствующих реплик, однако в активную фазу, позволяющую в общении с англоязычными говорящими непринужденно восклицать *Why?!* и *Extraordinary!*, полученные навыки так и не перешли.

(14) *Good!* ‘Хорошо!’

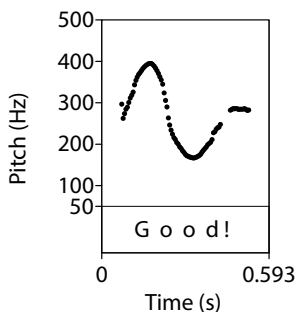


Рис. 14. Тonoграмма примера (14).

Ср. также пример (15):

(15) *Of course!*

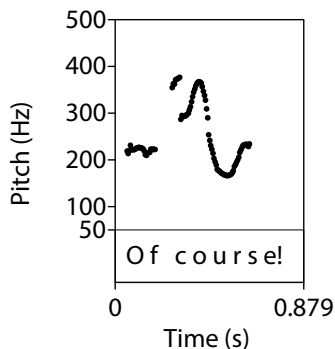


Рис. 15. Тonoграмма примера (15).

Итак, в связи с возможной интерференцией просодии наша гипотеза состоит в том, что переноса просодических единиц из одного языка в другой при условии, что поверхностная единица в этом, другом, языке отсутствует, следует ожидать только в направлении «из родного

языка во второй язык», а также в ситуации билингвизма. Заимствование единиц в противоположном направлении, т.е. из «нового» языка в родной, происходит существенно свободнее, когда процесс заимствования касается лексических единиц. Такого рода заимствования при активных языковых и культурных контактах происходят буквально «на наших глазах». Синтаксические заимствования также возможны, но происходят гораздо менее активно. Между тем просодический уровень оказывается наиболее устойчивым к своего рода влиянию извне.

В статье был рассмотрен ряд соответствий коммуникативных функций и их просодических средств выражения в русском, польском, английском, немецком, голландском и испанском языках, а также в некоторых региональных вариантах русского и английского. Проанализированы совпадения просодических конструкций при несовпадении функций и совпадение функций при несовпадении просодических средств выражения в различных языках. Была предложена гипотеза о направлении заимствования просодических конструкций при языковых контактах. Мы предполагаем, что просодическая интерференция может происходить в направлении «из родного языка в неродной», а также из одного языка в другой при билингвизме. Заимствование в противоположном направлении, т.е. из языка влияния в родной, как это бывает в случае лексических заимствований, активизирующихся при мощном культурном воздействии, маловероятно.

Результаты анализа могут иметь не только научное, но и дидактическое значение, а также использоваться при устном переводе и других видах межкультурного взаимодействия.

Литература

Брызгунова Е.А. Интонация // Русская грамматика. Т. 1. М., 1982.

Палько М.Л. Интонация незавершенности текста в немецком языке в сопоставлении с русским // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: Труды международной конференции «Диалог-2008». 2008. Вып. 7 (14).

Янко Т.Е. Интонационные стратегии русской речи в сопоставительном аспекте. М., 2008.

- Boersma P., Weenink D.* Praat: Doing phonetics by computer. Version 5.3.04. URL: <http://www.praat.org/>. 2012.
- Fletcher J., Grabe E., Paul Warren P.* Intonational variation in four dialects of English: the high rising tune // *Prosodic Typology: The Phonology of Intonation and Phrasing*. Oxford, 2005.
- Gundel J., Fretheim T.* Topic and Focus // *The Handbook of Pragmatic Theory*. 2004.
- Gussenhoven C.* Transcription of Dutch Intonation // *Prosodic Typology: The Phonology of Intonation and Phrasing*. Oxford, 2005.
- Hedberg N.* The Prosody of Contrastive Topic and Focus in Spoken English // *Workshop on Information Structure in Context*. 2002.
- Pierrehumbert J., Hirschberg J.* The meaning of Intonational Contours in the Interpretation of Discourse // *Intentions in Communication*. Cambridge, 1990.
- Steedman M.* Information Structure and the Syntax-Phonology Interface // *Linguistic Inquiry*, 31 (4). 2000.

С.Г. Проскурин, А.В. Проскурина

Лингвосемиотические типы концептуализаций в языке и культуре¹

Семиотика как наука, разрабатывающая вопросы функционирования знаковых систем, исследует основную функцию знаковых систем – способы передачи и хранения негенетической информации в языке и культуре. Таким образом, вопросы, связанные с идентификацией концептуальных моделей индоевропейского языка и культуры, относятся к проблематике новой прикладной дисциплины – семиотики индоевропейской культуры. Принципиальным отличием новой дисциплины от традиционных исследований в рамках общей семиотики культуры (см. [Степанов 1971]) является ее ориентация на концептуальные системы индоевропейского языка и культуры, а именно на исследовательские системы, изучающие взаимодействие языка и культуры на материале дописьменных и письменных традиций индоевропейского ареала, а также концептуальные структуры (концепты, мифологические архетипы и т.д.), которые имеют как гипотетическое, так и историческое прочтение. Под «лингвосемиотическими типами» в данной работе понимаются такие концептуальные системы, которые включают в себя всю синхронную область смыслов, в том числе и их предысторию (т.е. их эволюцию).

Эволюция смыслов непосредственно связана с культурным трансфером, т.е. переносом информации во времени и пространстве. Так, (лингво)культурный трансфер представляется нами как перенос информации во времени, который рассматривается двояко: сиюминутный перенос информации является коммуникацией, тогда как перенос информации в условиях разных поколений представляет собой передачу. «Коммуникация» и «передача» изучаются в рамках медиологии, научной дисциплины, предложенной Режи Дебре (см. [Дебре 2010]) и рассматривающей средства, которые позволяют переносить информацию

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-28-00130) в Институте языкознания РАН.

во времени и пространстве. Любой язык – средство коммуникации, дающее возможность собеседникам прийти к взаимопониманию, вдобавок он наделен функцией передачи информации в поколениях. Функция передачи, будучи функцией языка и когнитивной системы, увековечивает «некую базовую идентичность», общую для всех тех людей, кто использует родной язык, и позволяет потомкам почувствовать принадлежность к предкам, накапливая при этом коллективную память той или иной исторической группы. К понятию «коммуникация» относится перенос информации в пространстве в пределах одной и той же пространственно-временной сферы, а к термину «передача» – все, что имеет отношение к динамике коллективной памяти.

Согласно В.З. Демьянкову, трансфер знаний – это «перенос мнений или теоретических достижений (иногда и предрассудков) из одной сферы жизни человека в другую» [Демьянков 2016: 61]. «С помощью этого понятия описываются прямые и обходные маневры при переводе “трудных” выражений с одного языка на другой» [Там же].

Коммуникация, по Р. Дебре, представляет собой трансляцию сообщений в некий заданный момент настоящего времени. Если описывать коммуникацию с точки зрения масштаба времени, то она представляет собой синхронию (одновременность «вопроса» и «ответа»), актуальность (адресант, обращающийся к адресату, строит свое сообщение на основе актуальных событий) и скорость (определяемая тем, что адресант и адресат находятся в одной и той же пространственно-временной сфере, в современной эпохе). Передача же является переносом информации между различными пространственно-временными сферами. Передача представляет собой диахронию, отпечаток (с помощью материального носителя осуществляется связь между адресантом и адресатом) и вечность (благодаря связям через поколение возможен исторический горизонт передачи, направленный на инвариант накопления, на все эпохи). Поскольку без материализации нет увековечения, то для целей передачи лучше всего подходит не языковое сопровождение, а когнитивный сценарий, опирающийся на кумулятивную функцию. Под понятием «передача» подразумевается перенос информации из поколения в поколение, и, пока реализуется цикличность передачи, живут наши ценности и наша культура. Люди, как отмечает Р. Дебре, намеренно передают и увековечивают как раз «наиболее ценное для них», при этом проецируя себя в общее будущее [Дебре 2010: 15, 29, 50].

Ключевой культурный концепт и его роль в реконструкции индоевропейской культуры

«Изначальность идеологии рода, характерная для славян, смотрится в индоевропейской ретроспективе как архаизм, весьма продуктивный в культурном и познавательном плане (проблема этимологического тождества и.-е. *gno₋₁ “рождать, быть рожденным”, – *gno₋₂ “знать человека”») [Трубачев 1987: 60–61]. Изначальность идеологии рода у славян ярко отражается в упомянутом ключевом слове славянской культуры *svoĭь и в характерном для последнего архаическом соответствии коллективного индивидуальному.

«Дальнейшее изучение гнезда *svoĭь (и.-е. – *su) плодотворно возможностью исследования древней идеологии изнутри: слав. *sъ-мытъ “смерть” собственно “своя благовидная смерть” как индоевропейский архаизм» [Там же]. Так, известно, что формант *su и морфема *r взаимодействуют в тематике родства: др.-англ. sweor, sweger, рус. *свекор, свекровь* [др.-инд. svadhina «свобода», рус. *свобода*]. Ключевое слово индоевропейской культуры *sъе «свой» формирует пласт лексем, подчиняющихся строгой иерархии: имена родства (*-r), перечисляемые выше без скобок, называют у индоевропейцев людей, членов социума, приближенных к роду, считающихся своими и имеющих право на свободу, т.е. право на проживание на территории социума [Polomé 1982]. Как полагает большинство индоевропейцев, слово *sъе входит в схему реконструкции «антропоцентрической» модели мира, рассматриваемой в горизонтальной проекции и соответствующей, по их мнению, концепции изначальноности рода и родовой идеологии [Trier 1942; Абаев 1970; Polomé 1982; 1985; 1989; Колесов 1986; Трубачев 1987]. Ключевым аспектом «антропоцентрической» модели является акцент «на контрасте “внутреннее-внешнее”, который преобладает на каждом уровне социальной структуры и человеческих отношений», – пишет Э. Поломэ. «Внутри своей семьи, клана, племени индоевропеец в безопасности, когда снаружи поджидает опасность. Внутри своей семьи, клана, племени он располагает всеми необходимыми правами и привилегиями, которые полагаются свободным членам общества, о чем свидетельствует первый элемент славянского “свобода” и др.-инд. svadhina – “свободный”»¹ [Polomé 1982: 156] (ср. также др.-герм. *frija – *frijond – «свободный», «друг», хет. arā: arawa – «тоже» [Puhvel 1984: 116–121]. В англосаксонской традиции идея разделенности своего внутреннего и

¹ Здесь и далее перевод наш – С.Л., А.П.

враждебного внешнего запечатлена в мотивировке типологически сходного имени *frithgeard*, служившего для обозначения «места, где утверждается спокойствие и мир». Все пространство предстает условно поделенным на две сферы, причем внутренняя – *frith* – «мирн» (от др.-англ. *freo* – «свободный»; др.-инд. *priya* – «любимый», ст.-слав. приятель, др.-инд. *priyate* – «любит», и.-е. **pri* «любить») [Holthausen 1974] – противопоставит внешней, враждебной. Таким образом, тип отношений «свой» в ограде – «чужой» вне ее является основой реконструкции в горизонтальном срезе, а ассоциация пространства внутри ограды с территорией родового свободного пространства, противопоставленного внешнему враждебному, относится к сердцевине индоевропейских представлений, нашедшей отражение в большинстве исторических традиций.

Благодаря изучению гнезда **svoǵ* (инд.-евр. – **su*) стали возможны исследования древней идеологии слова «смерть» изнутри: «Слав. **сь*-*mьrtь* смерть собственно своя благовидная смерть как индоевропейский архаизм» [Трубачев 1987: 60–61]. Своя смерть – естественная смерть. Ведутся споры среди этимологов по поводу префикса **su* в данном слове. Остается спорным: «Означает ли префикс **su*- в этом слове “свое” или “хорошее”, т.е. “своя смерть” это и “хорошая смерть”? В любом случае инвариантом выражений остается “естественная”, “природная” смерть. Прямое обозначение “природная” в сущности совпадает с эвфемистическими “своя”, “хорошая» [Степанов 2003: 9].

Греческий термин «эвфемизм» имеет два противоположных значения: 1) «произносить слова, несущие доброе предзнаменование»; 2) «избегать слов, сулящих недоброе», откуда и «хранить молчание» [Бенвенист 2002]. «Термин “эвфемизм” происходит от греческого слова *euphemismos* (*eu* – “хорошо” и *phemi* – “говорю”) – “говорю вежливо» [Арапова 1990: 590]. Эвфемизм представляет собой замену нежелательного выражения и / или слова нейтральным или же положительно коннотированным обозначением для того, чтобы предотвратить конфликт в общении и / или избежать неприятные явления действительности [Баскова 2009: 16]. Согласно Ю.С. Басковой, изначально этнографы занимались изучением эвфемизмов (они исследовали значение табуированных слов в первобытных сообществах (Д.К. Зеленин, А. Мейе)), поскольку в лингвистическом плане эвфемизмы тесно связаны с явлением табу. «Эвфемия невозможна без табу, хотя табу может быть без эвфемии» [Кацев 1989: 16]. «Эвфемизмы – это замененные, разрешенные слова, которые употребляются вместо запрещенных (табуированных)» [Реформатский 1996: 105]. М.М. Маковский описывает табу как разрыв социальной ткани, как антиметафору [Маковский 2008: 9].

Слово «forðferde» представляет собой эвфемизм; одна из возможных его семантем «идти вперед». В свою очередь, *перед* ассоциируется с местом восхода солнца, востоком. Так, отмечается, что «существует этимологическая и далее типологическая связь между *за-падъ* и *за-дъ*, *сѣверъ* и *шюи*, *вѣс-токъ* и *пере-дъ* (ср. те же семантические близкие корни, усиливающие друг друга, в одном слове: *выс-пръ*, *пре-выс-ить*, *вос-пре-пятствовать*, *пре-взо-йти*)» [Проскурин 2005: 95].

Примечательно, что древнеанглийское слово «east» (восток, с востока) трактуется двояко: 1) восходящее солнце, озаряющее все окружающее, «свет с востока»; 2) *lêoht ēastan* – «свет с востока» – Божья помощь. Вторая трактовка данного слова, естественно, связана с христианским представлением о востоке: он в данном случае выступает сакральной частью света («христианские храмы и погребения ориентированы на восток») (см. [Карпова 2002]). «Местонахождением злого, мрачного и враждебного людям бывает в эддических мифах либо восточная, либо северная окраина» [Стеблин-Каменский 1978: 40].

Обратимся к этимологическому словарю древнеанглийского языка и рассмотрим внутреннюю форму слова «forðferan» («умирать») / «forðferde» («умер»), «forðferednes» («смерть»): 1. «Faran» – сильный глагол: «ехать», «двигаться», «идти», «уезжать», «действовать», «терпеть», «претерпевать»; «gefaran» – «умирать», «наступать», «брать верх», «ловить», «сохранить»; новоангл. «fare»; древнефриз., древнеисл. «fara»; древнесакс., древневерхненем., готский «faran»; греческий «περάω», «πείρω», «πόρο-ς»; древнеслав. «pera», «na-perja»; 2. «For» – предлог: «перед», «на стороне», «вместо», «вследствие», «несмотря на»; наречие «fer»: новоангл. «for», древнефриз. «for-», «ur-», «far-», «fir-», древнеисл. «for-», гот. «faúg», лат. «pro-», греч. «πάρ(α)»; 3. «Ford» – наречие: «дальше», «вперед», «отсюда», «оттуда», «постоянно», «все еще», «одновременно»; предлог: «во время», новоангл. «forth», древнефриз., древнесакс. «cort» [Holthausen 1974: 98, 112].

Интересно, что в «Англосаксонских хрониках» [The Anglo-Saxon Chronicle] ранние записи о смерти связаны с эвфемизацией концепта «смерть», в то время как более поздние демонстрируют прямую номинацию. К концу «Англосаксонских хроник» в записях после 1137 г. («Рукопись E») лексема «forðferde» («умер») перестает встречаться. На смену ей приходят лексемы: 1137 г. – «steorfan» («умирать», «умирать от голода / холода»), 1154 г. – «dēadian» («умирать»). Однако в текст записи от 1140 г. вплетена новая лексема «dēadian» («умирать») наравне с предшествующей – «forðferde» («умер»). Приведем контексты, повествующие о Гражданской войне в Англии (1135–1154 гг.): 1137 г. “Dis

gære <...> Ða was corn dære. 7 flec 7 cæse 7 butere. for nan ne wæs o þe land. Wrecemen sturuen of hungæ r <...>» («В этот год <...> тогда хлеб был заветным, и мясо, и сыр, и масло, поскольку этого не было в стране. Несчастные люди умирали от голода <...>»); 1140 г. “On þis gær <...> Perefeter fordfeorde Willelm ærcebiscop of Cantwarberi. 7 te king madeþe Teodbald ærcebiscop þe was abbot in the Bec <...> 7 wærd ded 7 his moder beien. 7 te eorl of Angæu wærd ded. 7 his sune Henri toc to þe rice” («В тот год <...> после этого *Виллиам, архиепископ кентерберийский умер, и король сделал Теобальда архиепископом, кто был до этого аббатом <...> он и его мать оба умерли. И умер граф Анжуйский, и его сын Генри наследовал королевство»); 1154 г. “On þis gær wærd þe king Stephne ded 7 bebyried þer. his wif 7 his sune wæron bebyried æt Fauresfeld <...> abbot of Burch <...> þa sæclede he 7 ward ded iiii Nonæ Ianuarii <...>” («В этом году умер король Стефан, и он был похоронен там, где похоронены его сын и жена, в аббатстве Фейвешем. Он создал это аббатство <...> аббат Питерборо <...> заболел и умер на 4-е ноны января <...>»).*

Заметим, что эвфемизмы сами по себе вторичны, однако иногда они служат базой для словообразования, как в морфеме *su (су-мерть), являющейся частью русского слова «смерть», т.е. своя хорошая смерть. Парадоксально, что эвфемизм может стать основой номинации нейтрального термина. Об этом свидетельствует история «Англосаксонских хроник». Более поздние лексемы «steorfan» («умирать, умирать от голода / холода») и «dēadian» («умирать») приходят на смену эвфемизму «fordferan» («умирать»). Примечательно, что затем скандинавское заимствованное слово «deuja» («умирать»), современная лексема «to die», прочно войдет в словарный состав английского языка, вытеснив древнеанглийские слова.

Концептуальные культурные фреймы

Считается, что в разных представлениях родственных традиций речь идет об одних и тех же денотатах (как бы «вещах»), которые соотносятся с одними и теми же концептами или развивают один и тот же архетип.

Наиболее распространенный в настоящее время подход в реконструкции культурных феноменов на лингвистической основе (индоевропейских языков), например мифов, основывается на концепции «моногогенезиса: мифологический материал разных социумов прослеживается вглубь к общему исходному состоянию, сопологающему на

разных основаниях язык, общество и культуру. Такая индуктивная историческая и доисторическая реконструкция прототипов (или архетипов) всегда несет в себе дополнительные выгоды, поскольку самостоятельные элементы из разных языков и культур обретают индивидуальную значимость, после того как уже доказана индуктивная гипотеза. Такой подход, чтобы быть плодотворным, нуждается в широком и глубоком охвате материала в нескольких измерениях и достаточном подобии и различии, позволяющем делать как позитивные заключения, так и осуществлять контроль над отсеиваемым материалом. Благодаря такому подходу и в этой области легко устанавливаются названия предметов материальной культуры, флоры и фауны, металлов и т.д. Сравнение формально соответствующих друг другу слов исторических индоевропейских языков позволяет реконструировать распределяемые по диалектам исходные лексические архетипы с определенной денотативной («вещной») семантикой, которые устанавливаются по конкретным значениям исторически засвидетельствованных форм слов в разных языках.

Попытка определить концептуализированные области в языке зависит от определения интегральных и дифференциальных признаков слова, а также от выбранной исследователем точки зрения. Иногда исследователь выбирает в виде концептуальной системы перечень слов, носителей общих значений, а в более общем лингвокультурном смысле, обладающих общими концептуальными культурными фреймами. Фреймы не являются произвольно выделяемыми «кусками» языкового знания. Во-первых, они организуются «вокруг» некоторого концепта. «Но и в противоположность простому набору ассоциаций эти единицы содержат основную, типическую и потенциально возможную информацию, которая ассоциирована с тем или иным концептом» [Ван-Дейк 1989: 16].

Например, «глагол английского языка *to say*, описанный в диффузной системе определений, выглядит как совокупность некоторого количества отдельных, не связанных между собой значений, внутренне объединенных несколькими общими для них признаками. Признаки, присущие только этому глаголу (как общие для всех его значений, так и присутствующие лишь в некоторых из них), являются интегральными (см. описание в любом толковом словаре английского языка) и выглядят как фрагмент некоторой системы из четырех единиц. Используя знаки 1 для наличия признака и 0 для его отсутствия, Ю.К. Лекомцев кодирует фрагмент следующим образом: первый знак (1 или 0) относится к употреблению глагола при прямой речи, второй знак – при косвенной речи, третий знак – при наличии объекта определенного

семантического характера, четвертый знак – при наличии адресата речи» (цит. по [Степанов 1977: 301]) (см. табл.1).

Таблица 1. Глагол английского языка *to say*

Пункт №	Глагол	VIII век	XIII–XIV век	XVII–XX век
1	Сказать 1001	maþelian	guethen	to say
2	Говорить 0100	cweþan	seyen	to tell
3	Рассказывать 0110	secgan	tellen	–
4	Говорить (процесс речи) 0000	sprecan	speken	to speak

Приведенный пример показывает, что дифференциальные признаки не обязательно должны быть чисто семантическими, но могут быть, как в данном случае, синтаксическими и семантико-синтаксическими. В развитых системах, в отличие от данного примера, описание ведется обычно по двум независимым линиям – по линии семантических признаков, образующих лексическое значение, и по линии сочетаемости слов, образующих дистрибуцию [Там же]. Экспозиция фрейма глаголов говорения в английском языке представлена в виде некоторой элементарной модели, сопалагающей в единое целое факты истории языка с лингвистическими и культурными процессами. Слова объединяются в группу на основании семантического признака, по которому глаголы говорения классифицируются. Так, глагол *sprecan* имеет особый признак «говорение на этнически определенном языке» и т.д.

Итак, исследование взаимосвязи культурных тем и языка предполагает обращение к определенным группам слов, удерживаемых на протяжении столетий вместе с тем, что они мотивируются, определяются и взаимно структурируются особой конструкцией знания, стоящей за данной областью словаря. В этом смысле можно постулировать наличие в словарном составе неких аналогов понятия «фрейм» когнитивной лингвистики, имеющих под собой общие основания образов. Однако явление, которое мы постулируем, отличается от собственно фрейма диахронической многослойностью, вытекающей из смены культурных представлений.

Культурный фрейм может получить воплощение в лексической сетке концепта. Так, древнеанглийская лексема *synn* «грех», согласно этимологическому словарю [Holthausen 1974: 340], трактуется следующим образом: *synn* – грех, вина; преступление, несправедливость; оскорбление, вражда, новоанглийский *sin*, древнефризский *sende*, древнесаксонский *sundae*, древневерхненемецкий *suntea*, древнеисландский

synd, относится к древнесаксонскому и древневерхненемецкому *sunnea* «помеха, нужда», древнеисландский *syn* «отрицание», латинский *sons* «виновный».

Концепт ГРЕХ в англосаксонской картине мира с принятием христианства напрямую находит отражение в лексемах языка. Опираясь на словари [A Concise Anglo-Saxon Dictionary], [An Anglo-Saxon dictionary, based on the manuscript collections of the late Joseph Bosworth], [Baker 2007], приведем основные тридцать пять существительных, обозначающих концепт ГРЕХ (см. табл. 2).

Таблица 2. Концепт ГРЕХ в англосаксонской картине мира

ægylt	грех, нарушение, проступок
bealudæd	злодеяние, грех
culpa	проступок, грех
déaþfiren	смертный грех
déaþscyld	преступление, караемое смертной казнью; смертный грех
eftforgiefnes	отпущение грехов
eofot	преступление, грех
fácen - (facnes/-)	лживость, обман
fácendæd	преступление, грех
firen	проступок, грех, преступление
firenleahter	великий грех
firensynn	великий грех
firenweorc	злодеяние, грех
frumscyld	смертный грех
godscyld	грех, неверие в Бога
gyltig	грех
heáfodleahter	смертный грех
heáhsynn	смертный грех, преступление, злой поступок
heáfodgylt	преступление, караемое смертной казнью; смертный грех
niðsynn	тяжкий грех
morðor	грех убийства
morþdæd	грех убийства, смертный грех
synbend	узы греха
synbót	наказание за грех, кара
synbryne	греховная страсть
synbyrðen	тяжесть греха
syndæd	греховное дело, грех
synleahter	греховный поступок

synléaw	оскорбление грехом, (душевная) рана, нанесенная грехом
synn	грех
synnlust	желание грешить
synrúst	обрастание грехом, язва греха
synwraacu	наказание за грех, кара
synwund	(душевная) рана, нанесенная грехом
wróht	злословие, грех, преступление, проступок, несправедливый поступок, раздор

Итак, с принятием западного христианства в языке англосаксов можно найти, по меньшей мере, 35 существительных, отражающих концепт ГРЕХ. Приведем в качестве иллюстративного примера лексику *morþdæd* «грех убийства, смертный грех» (древнеанглийские контексты представлены по [An Anglo-Saxon dictionary, based on the manuscript collections of the late Joseph Bosworth]).

“Hé gewenede swá hine sylfne tó heora synlicum þeáwum and tó márum *morþdædum* mid ðam mánfullum flocce <...> Swá férde se cniht on his fra-ceþum dáedum and on *morþdædum* micclum gestrangod on orwénnyse his ágenre hále” [Ælfc. T. Grn. 17.:18–24] («Он смирился с ними, с грешными, с их смертными грехами и с тем злым обществом. Затем погрузился этот юноша в свои злодеяния и в смертный грех, но одержал победу над безысходностью и своим состоянием»).

“Wearþ ðes þeódscepe swýðe forsyngod <...> þurh *morþdæda* and þurh mándáda, Wulfst. 163, 21” («Ценность этой епитимьи в том, что грешник <...> с ее помощью очищается и от смертного греха, и от преступления»).

Следовательно, множественная языковая репрезентация концепта ГРЕХ напрямую варьируется от глубины религиозного познания, от принятия Евангельской мудрости вне зависимости от социального статуса грешника.

Слои и пласты в грамматике.

Грамматические концепты в языке и культуре

Иногда для верификации культурного содержания в текстах требуется более детальное исследование слоев в грамматике. Для описания каждого слоя грамматики необходимы такие средства и понятия, которые могут быть вовсе не нужны для другого слоя.

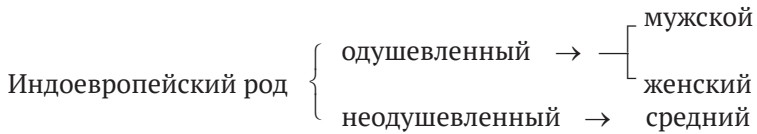
Зачастую это различие категоризации, проводимое исследователем, вполне определенно подкрепляется наличием в самом слое каких-либо

формальных средств, отсутствующих в другом слое. Так, архаический пласт английского языка широко использует морфему *-(e)n* как в имени, так и в глаголе. Причем особенно важно, что это формальное средство как раз не принадлежит только морфологии имени или только морфологии глагола, а именно объединяет их в один слой грамматики, противопоставляя другим слоям. Таких примеров достаточно много. Так, Ф.Ф. Фортунатов показал, что в старославянском языке флексия 1 лица единственного числа в ее архаической форме в глаголе *въдъ* «я узнал» является «обломком» парадигмы индоевропейского перфекта, т.е. *въдъ* происходит из *въden*, и что глагольная морфема **-en* материально здесь та же самая, что в имени типа *съма*, *има* (сходство с английской морфемой *-en* здесь, конечно, несущественно) [Степанов 1981: 334].

Еще как одну из разновидностей концептуализации в тексте можно представить материал древнегерманских языков, в частности, готского, где категория одушевленности/неодушевленности, свойственная праиндоевропейскому, все еще сохраняется как реликтовое явление в парадигме склонения готских существительных [Осипова 1980]. В этом случае взаимосвязь языка и культуры оказывается решающей для поиска концептуальных воплощений исчезнувших парадигм. Компактный материал готского языка позволяет реконструировать грамматические отношения, которые были типичными для праиндоевропейской грамматики. В древнейшем индоевропейском (общеевропейском) языке прослеживаются две родовые системы: 1) различие «одушевленного-неодушевленного» рода и 2) различие «мужского-женского-среднего» рода. Эти системы не лежат в одном плане и принадлежат по происхождению разным историческим эпохам. Древнейшей из них является система «одушевленный-неодушевленный» род, за которой при глубокой исторической реконструкции вырисовывается еще более древнее противопоставление «активного» и «неактивного» начал.

Например, слова с основой **ped-* означают «нога» и принадлежат к активному классу, слова с основой **pedo-* «след ноги» принадлежат к неактивному классу. На существование этой многосоставной системы указывают различные факты исторически засвидетельствованных индоевропейских языков. Так, в латыни *pater-mater* «отец»-«мать» или *lupus-fagus* «волк»-«буковое дерево» не содержат никаких показателей родовых различий «мужского» и «женского» в строении своих словоформ, потому что до этого все они принадлежали к одному и тому же «одушевленному» роду. В латыни они различаются только посредством согласования с ними прилагательных: со словами *pater*, *lupus* согласуются прилагательные мужского рода, а со словами *mater*, *fagus* – прила-

гательные женского рода, т.е. формальное различие достигается явно позднейшими средствами. Среди слов, принадлежащих старому пласту «одушевленных», нет и таких смысловых различий, которые соответствовали бы позднему разделению на «мужской род» и «женский род», кроме тех в общей сложности немногочисленных случаев, когда эти слова обозначают самку или самца. Так, форма слов *lupus* и *fagus* и их значение – для незнающих всей латинской системы – не позволяет заключить, какое из них будет словом мужского, а какое – словом женского рода. Это может быть резюмировано следующей схемой:



Иными словами, в то время как одушевленный род преобразовывался в позднейшей системе в двучленный мужской и женский род, старый неодушевленный род получил новое значение (относительно двух других – мужского и женского родов) – значение среднего рода. Зная общую организацию категории рода в индоевропейском, можно объяснить многие явления в древних индоевропейских языках – старославянском, древнегреческом, латыни и новых языках, например в русском. Так, названия мелких животных, половые различия которых несущественны в хозяйской жизни человека, принадлежат в основном к женскому роду – в силу общей тенденции женского рода обозначать не общее, а разновидность общего. Названия небесных светил, огня, дня и ночи – пережитки старого одушевленного рода, поэтому в исторических древних индоевропейских языках они всегда либо мужского, либо женского рода. Вариации мужского и женского родов в этих случаях оказываются уже вторичными частностями, обусловленными конкретной системой или даже тем или иным фрагментом каждого отдельного языка. Так, в латыни слово *dies* «день» было первоначально словом мужского рода, но затем перешло в женский род под влиянием других слов на *-ies*, а также под влиянием семантики соотносительного слова *nox* «ночь» жен.р. Очевидно, что с точки зрения унаследованной именной классификации это уже частность, решающее же значение имеет принадлежность этого слова к «несреднему» роду. Имена действия (и это проходит весьма последовательно), например, в древнегреческом языке всегда мужского или женского рода, в то время как имена результатов действия всегда среднего рода; ср. греч. *πλήρωσις*;

жен.р. «наполнение, заполнение» и средн.р. πλήρωμα «наполнение, полнота», и средство разного грамматического оформления их названий не было абсолютным началом категории одушевленности, а продолжало глубокие традиции индоевропейского мышления [Степанов 1975: 128].

Категория одушевленности и ее преломление в парадигме склонения древнегерманских существительных заинтересовала нас в силу того, что в системе древнегерманского склонения наблюдаются реликтовые явления, свидетельствующие о более древней, четко выраженной в языке оппозиции одушевленный (активный) – неодушевленный (инактивный), предшествующей системе склонения по мужскому, женскому и среднему родам. Так, этот процесс можно видеть в склонении существительных мужского рода с основой на -an: «Модель существительных с суффиксом -an отражала индоевропейскую модель *nomina agentis*, но именно в германских языках она получила широкое распространение. Основное содержание модели существительных с основообразующим суффиксом -op- составляют одушевленные существительные женского рода. Модели существительных с суффиксом -jan- были представлены во всех германских языках очень широко. Это были модели действующего лица мужского рода. Часть существительных женского рода -jon-основ также была представлена мутированными одушевленными существительными женского рода. Что касается склонения существительных основ на -i- и -u-, то известно, что в протоиндоевропейском (или раннеиндоевропейском) возможна была оппозиция i-основ среднего рода и i-основ одушевленного рода; то же самое и для i-основ, что частично сохранились и в древнегерманских языках. И наконец, всеми признается, что к группе существительных r-основ (и.-е. суффиксы -r-, -er-, -ter-/ -tor-) <...> в и.-е. языках относились имена родства и имена действующего лица. В германском к r-основам относятся лишь имена родства мужского и женского рода, имевшие в раннегерманском единую парадигму» [Осипова 1980: 5–6]. Резюмируем наблюдение О.А. Осиповой для прагерманского в виде следующей гипотетической реконструкции: слова с основами на согласный принадлежали в прошлом преимущественно к одушевленному роду или активу, слова с основами на гласный встраиваются в более раннюю систему склонения неодушевленного рода или пассива.

Подведем итог. Лингвосемиотические типы представляют собой исследовательские программы, которые имеют историко-генетическую интерпретацию. С другой стороны, лингвосемиотические типы являются концептуальными системами и предстают в рамках историко-культурных концептуализаций. Какие же причины обусловили такое разнообразие формальных средств выражения понятийно-куль-

турных систем индоевропейских языков и культур? Весьма вероятно, что ответом на этот вопрос могут стать предметные области в семиотике культуры, в частности, языковые коды индоевропейской культуры, которые мы будем наблюдать в пространстве алфавитов и текстов. В семиотическом плане такой тип информации предстает как некое более общее знание языка и культуры, как знание семиотики культуры (несмотря на используемый исследовательский аппарат понятий лингвистики, филологии, логики). Вместе с тем нельзя не заметить, что исследование проводится с позиции семиотики культуры, вводятся новые термины, функционирующие уже в русле семиотической доктрины: минонимизация, концептуальный фрейм, семиологический центр и т.д. Таким образом, это общее знание просеивается через сито семиотической традиции, оно не является аморфным, т.к. само по себе организовано в рассмотренные выше концептуальные системы, репрезентирующие узловые моменты связи языка и культуры. В соответствии с этим взглядом каждый этнический язык есть, прежде всего, член языковой семьи, связанный регулярными историческими соотношениями звуков (и минимальных значимых элементов), этим задается одновременно извне и изнутри его системность.

Это положение системности было чревато всеми основными положениями структурализма. В самом деле, что такое, согласно пониманию, регулярные звуковые соответствия. Уже в 1925 г. (год создания обобщающей работы А. Мейе «Сравнительный метод в историческом языкознании») они понимаются как алгебраическое выражение условных (но регулярных) формул-соответствий. «Язык – это система, где все держится одно за другое (*La langue est un systeme ou tout se tient*)» [Степанов 1995: 12]. Смещение акцента на поиск этнического воплощения языковых реконструкций ставит перед исследователем задачу поиска приемлемых форм обобщения как языкового, так и реконструируемого содержания. В настоящее время системность реконструкции в структурном плане утрачивает ведущее значение в реконструкции индоевропейских языка и культуры, ее место занимает системность доминирующих содержательных интерпретаций.

Литература

Абаев В.И. Отражение работы сознания в лексико-семантической системе языка // Ленинизм и теоретические проблемы языкознания. М., 1970.

- Арапова Н.С.* Эвфемизм // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Баскова Ю.С.* Манипуляция в языке СМИ: эвфемизмы как «слова-прикрытия». Краснодар, 2009.
- Бенвенист Э.* Общая лингвистика [пер. с фр. / общ. ред., вступ. ст. и коммент. Ю.С. Степанова]. 2-е изд., стереотип. М., 2002.
- Ван-Дейк Т.А.* Язык. Познание. Коммуникация [пер. с англ. / сост. В.В. Петров]. М., 1989.
- Дебре Р.* Введение в медиологию [пер. с фр. Б.М. Скуратова]. М., 2010.
- Демьянков В.З.* Языковые техники «трансфера знаний» // Лингвистика и семиотика культурных трансферов. Коллективная монография / Отв. ред. В.В. Фещенко. М., 2016.
- Карпова Е.А.* Интерпретация древнеанглийского поэтического текста: опыт лингвокультурологического анализа наименований стран света в поэме «Беовульф» // Раннесредневековый текст: проблемы интерпретации / Отв. ред. Н.Ю. Гвоздецкая и И.В. Кривушин. Иваново, 2002.
- Кацев А.М.* Языковое табу и эвфемия: учеб. пособие. Л., 1989.
- Калесов В.В.* Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986.
- Маковский М.М.* Феномен табу в традициях и в языке индоевропейцев: сущность, формы, развитие. М., 2008.
- Осипова О.А.* Отражение категории одушевленности/неодушевленности в парадигме склонения в древнегерманских языках. Томск, 1980.
- Проскурин С.Г.* Семиотика индоевропейской культуры. Новосибирск, 2005.
- Реформатский А.А.* Введение в языкознание. М., 1996.
- Стеблин-Каменский М.И.* Миф. Л., 1978.
- Степанов Ю.С.* Семиотика. М., 1971.
- Степанов Ю.С.* Основы общего языкознания. М., 1975.
- Степанов Ю.С.* Номинация, семантика, семиология (Виды семантических определений в современной лексикологии) // Языковая номинация. Общие вопросы. М., 1977.
- Степанов Ю.С.* Имена, предикаты, предложения. М., 1981.
- Степанов Ю.С.* «Слова», «понятия», «вещи». К новому синтезу в науке о культуре // Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1995.
- Степанов Ю.С.* Смысл, абсурд и эвфемизмы // Вестник НГУ. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. Новосибирск, 2003. Т. 1. Вып. 1.
- Трубачев О.Н.* Славистический комментарий к реконструкции индоевропейской и культурной древности // Материалы Всесоюзной конференции «Теория лингвистической реконструкции» АН СССР. М., 1987.

The Anglo-Saxon Chronicle: An Electronic Edition (Vol. 5) literary edition.
URL: <http://pasc.jebbo.co.uk/bb-L.html> (Accessed: 4.01.2018).

An Anglo-Saxon dictionary, based on the manuscript collections of the late Joseph Bosworth. URL : http://lexicon.ff.cuni.cz/texts/oe_bosworthtoller.html (Accessed: 4.01.2018).

A Concise Anglo-Saxon Dictionary / John R. Clark Hall. 1916. URL: http://www.ling.upenn.edu/~kurisuto/germanic/oe_clarkhall_about.html (Accessed: 4.01.2018).

Baker P.S. Introduction to Old English. Malden, MA: Blackwell Pub., 2007.

Holthausen F. Altenglisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1974.

Polomé E.C. Indo-European culture with special attention to religion // Indo-Europeans in the fourth and third millennia. Austin, 1982.

Polomé E.C. Der indogermanischen Wortschatz auf dem Gebiete der Religion // Indogermanische Gesellschaft. Symposium, Innsbruck, 1985.

Polomé E.C. Preparing an etymological dictionary of Proto-Germanic: methodological problems // Material of the conference "Paradigmatic and syntagmatic investigations in Germanic languages". Vilnius, May 11–13, 1989.

Puhvel J. Hittite etymological dictionary. Berlin; New-York; Amsterdam, 1984. Vol. 1.

Trier J. Zaun und Mannring // Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. 1942.

В.Я. Порхомовский, И.С. Рябова

Антропоморфизмы в версиях Ветхого Завета на языке суахили: стратегии перевода¹

Настоящая статья является продолжением серии работ о стратегиях перевода Ветхого Завета на разные языки, см. [Кассюто, Порхомовский 2008; 2010; 2013б; Порхомовский 2012; Порхомовский, Урб 2015; Cassuto, Porkhomovsky 2009; 2014]. В этих работах рассматривались проблемы перевода на разные языки таких пассажей и лексем в тексте *Biblia Hebraica*, которые отражают некоторые архаические религиозные представления и тем самым противоречат более поздним монотеистическим принципам иудаизма и христианства. В рамках этих исследований были выделены два типа стратегий перевода. Одна стратегия предусматривает максимально точный перевод канонического древнееврейского текста, вторая – редактирование этого текста для того, чтобы избежать противоречий с монотеистическими принципами. Первую стратегию авторы назвали *филологической*, а вторую *идеологической*. В цикле этих работ авторы рассматривают версии переводов *Biblia Hebraica* на разные языки и разные версии перевода на один и тот же язык в соответствии с предложенной типологией стратегий перевода.

В данной статье к типологическому анализу привлечены три различные версии переводов Библии на язык суахили. Анализ строится на лексическом материале антропоморфизмов. Эта лексическая группа является одной из наиболее показательных для типологического анализа, поскольку антропоморфизмы оказываются несовместимыми с понятием Единого Бога в более поздних монотеистических религиях. В качестве дополнительного иллюстративного материала авторы настоящей статьи привлекли сопоставительный материал из трех специально выбранных английских версий перевода Библии как наиболее релевантных для целей нашего исследования; анализ стратегий перевода этих английских версий Ветхого Завета и подборку соответствующих лексических материалов см. [Кассюто, Порхомовский 2013а].

¹ Работа подготовлена при поддержке РФФИ, грант №16-04-00373 “Контакты и заимствования в становлении языковых и литературных традиций” 2016-2018.

Источники:

Масоретский текст Ветхого Завета – Biblia Hebraica Stuttgartensia

Переводы на английский язык:

KJB – King James Bible. Online authorized version 1611.

REB – THE REVISED ENGLISH BIBLE with the APOCRYPHA. Oxford University Press. 1997. (First published 1989).

NIV – THE HOLY BIBLE. New International Version. Zondervan Bible Publishers. Grand Rapids (Mich.). 1989. (First published 1973).

Переводы на язык суахили:

Swahili 1 (SRB) – BIBLIA Swahili Roehl Bible. BIBLIA ndio Maandiko Matakafu yote ya Agano la kale nayo ya Agano Jipya katika msemu wa Kiswahili Dodoma. Chama cha Biblia Tanzania. The Bible Society of Tanzania. 2004. (first published 1995).

Swahili 2 (BHN) – Biblia. Habari njema kwa watu wote. Dodoma. Chama cha Biblia cha Tanzania Nairobi. The Bible society of Kenya. 2001. (first published 1995).

Swahili 3 (BUV) – Maandiko Matakafu ya Mungu Yaitwayo Biblia yaani Agano la kale na Agano Jipya. Dodoma. Chama cha Biblia cha Tanzania Nairobi. The Bible society of Kenya. 2012. (first published 1997).

(Во всех случаях воспроизводится орфография источников, в том числе орфография Версии короля Иакова.)

Ниже приводится подборка антропоморфизмов: сначала дается соответствующий пассаж из оригинального масоретского текста Biblia Hebraica с указанием источника в тексте Ветхого Завета (используются принятые английские сокращенные названия), сопровождаемый нашим переводом на русский язык, затем следуют три привлеченные английские версии Ветхого Завета и три имеющиеся в нашем распоряжении версии на языке суахили. Для каждой версии на языке суахили дается наш максимально возможный буквальный перевод на русский язык.

rege 'elohenu

[1 Chr. 28:2, 'ноги нашего Бога']

KJB the footstool of our God

REB footstool for our God

NIV footstool for our God

SRB Mungu wetu awekee miguu yake

Бог наш он-поставил-бы ноги свои

BHN kiti cha kuwekea miguu yake Mungu wetu
подставка, чтобы поместить ноги его Бога нашего
BUV kiti cha kuwekea miguu yake cha Mungu wetu
Подставка (стул), чтобы ставить ноги его Бога нашего

yad YHWH

[Isa. 41:20, 'рука Яхве']
KJB the hand of the Lord (hath done this)
REB the LORD himself (has done this)
NIV the hand of the LORD (has done this)

SRB mkono wa BWANA (umeyafanya hayo)
рука Господа (сделала это)
BHN mimi Mwenyezi-Mungu nimetenda hayo
Я, Всемогущий Бог, совершил это
BUV mkono wa BWANA ndio uliofanya jambo hilo
рука Бога именно она сделала это

we-yad YHWH hayta 'el 'eliah

[1 Kgs. 18:46, 'и рука Яхве была на Илии']
KJB And the hand of the Lord was on Eliiah
REB the power of the LORD was on Elijah
NIV the power of the LORD came upon Elijah

SRB Lakini mkono wa Bwana ukamjia Elia
Но рука Господа опустилась на Илию
BHN nguvu ya Mwenyezi-Mungu ikamjia Elia
Сила Всемогущего Бога снизошла на Илию
BUV Mkonu wa BWANA ulikuwa juu ya Eliya
Рука Господа была на Илии

u-be-'ozne 'elohenu

[1 Chr. 28:8, 'в уши нашего Бога']
KJB and in the audience of our God
REB, NIV in the hearing of our God

SRB masikioni pake Mungu wetu
в-уши его Бога нашего
BHN mbele ya Mungu wetu
перед Богом нашим

BUV masikioni pa Mungu wetu
в-уши Бога нашего

ki pi YHWH diber

[Isa. 1:20, 'ибо рот Яхве сказал']

KJB the mouth of the Lord hath spoken it

REB the LORD himself has spoken

NIV the mouth of the LORD has spoken

SRB kinywa chake Bwana kimesema
Рот его Господа сказал

BHN Mimi, Mwenyezi-Mungu, nimesema
Я, Всемогущий Бог, сказал

BUV kinywa cha BWANA kimenena haya
Рот Господа сказал это

'eyn YHWH

[Ps. 33:18, 'глаз Яхве'] (единичное употребление в единственном числе, во всех остальных случаях используется двойственное число)

KJB the eye of the Lord (is vpon them that feare him)

REB the LORD's eyes (are turned towards those who fear him)

NIV the eyes of the LORD (are on those who fear him)

SRB jicho la Bwana (likiwatazama wamwogopaо)
глаз Господа (смотрящий на боящихся его)

BHN Mwenyezi-Mungu huwaangalia wale wamchao
Всемогущий Бог наблюдал тех, кто боится его

BUV jicho la BWANA li kwao wamchao
Глаз Господа он на боящихся его

shiva' 'eleh 'eyne YHWH

[Zech. 4:10, 'эти семь глаз Яхве']

KJB those seven: they are the eyes of the Lord (which run to and fro through the whole earth)

REB These seven are the eyes of the LORD (which range over the whole earth)

NIV these seven are the eyes of the LORD (which range throughout the earth)

- SRB hizi taa saba ndio macho ya Bwana, (ndiyo yanayotembea katika nchi hii nzima)
эти семь светильников есть глаза Бога (которые странствуют по всей этой земле)
- BHN Hizo taa saba ni macho saba ya Mwenyezi-Mungu (yaonayo kila mahali duniani)
Эти семь светильников есть семь глаз Всемогущего Бога (видящих любое место на земле)
- BUV hizo saba ndizo macho ya BWANA; (yapiga mbio huko na huko duniani kote)
Эти семь есть глаза Господа (они бегают повсюду на земле)

'arze 'el

[Ps. 80:10, 'кедры Бога']

KJB the goodly cedars

REB mighty cedars

NIV the mighty cedars

- SRB ukaupanulia (mzabibu), uweze kutia mizizi yake,
ты расширил (виноград) с тем, чтобы он мог пустить корни свои
- BHN (mzabibu) uliifunika milima kwa kivuli chake na matawi yake yaka-wa kama mierezi mikubwa
(виноград) он укрыл горы тенью своей и ветви его уподобились кедром большому
- BUV milima ilifunika kwa uvuli wake (mzabibu), nao ukatia mizizi sana ukaijaza nchi
горы укрылись его (винограда) тенью, и он пустил корни и заполнил землю

Комментарий к антропоморфизмам

В приведенных выше данных из версий Ветхого Завета на языке суахили представлены обе стратегии перевода, как филологическая, так и идеологическая. Причем в версиях суахили 1 [SRB] и суахили 3 [BUV] представлена филологическая стратегия, а в версии суахили 2 [BHN] – идеологическая стратегия. Имеются два исключения. Первое относится к выражению **regle 'elohenu** [1 Chr. 28:2, 'ноги нашего Бога']. Здесь во всех трех версиях представлена филологическая стратегия (как и в английских версиях). Второе исключение отмечено в случае

shiva' 'eleh 'eyne YHWH [Zech. 4:10, 'эти семь глаз Яхве'], где также представлена филологическая стратегия во всех версиях как на суахили, так и на английском. Этот случай выпадает из общего контекста антропоморфизмов и поэтому является исключением, поскольку здесь подразумеваются семь звезд *Большой Медведицы*, так что мы имеем дело с метафорой, а не непосредственно с антропоморфизмом, следовательно, идеологическая стратегия оказывается излишней. Это подтверждается другим случаем употребления той же лексемы в безусловном качестве антропоморфизма – **'eyn YHWH** [Ps. 33:18, 'глаз Яхве']. Здесь, как и в остальных ситуациях употребления антропоморфизмов, в версиях суахили 1 [SRB] и суахили 3 [BUV] представлена филологическая стратегия, а в версии суахили 2 [BHN] – идеологическая.

Формально аналогичная ситуация отмечается в выражении **'arze 'el** [Ps. 80:10, 'кедры Бога'], где имеется в виду величие этих кедров. Этот случай можно отнести к антропоморфизмам с некоторой степенью условности, но подобная метафора не была воспроизведена ни в одной из представленных версий как на суахили, так и на английском, так что везде отмечается идеологическая стратегия. Заметим также, что в версиях на суахили кедров были переведены как виноград, что представляет очевидный интерес в плане антропологической лингвистики.

Yarekh 'бедро'

«Бедро» – это эвфемизм для обозначения половых органов, так же как и выражение «вышедшие из бедра», использованное в тексте еврейской Библии [Gen. 46:26; Exod. 1:5]. Жест клятвы – «положить руку под бедро» – призывает в свидетели непосредственные источники жизни, как в [Gen. 47:29]. Этот эвфемизм можно сопоставить с известными греческими мифологемами о чудесных рождениях из бедра Зевса.

Эта лексема в рассматриваемых ниже случаях не является антропоморфизмом, но представляет несомненный интерес для анализа стратегии перевода.

sim na' yadkha tahat yerekhi

[Gen. 24:2, 'положи, пожалуйста, руку под мое бедро']

KJB Put, I pray thee, thy hand vnder my thigh

REB Give me your solemn oath

NIV Put your hand under my thigh

SRB Uweke mkono wako chini ya kiuno changi

Положи руку свою под крестец мой
BHN weka mkonono wako marajani mwangu
положи руку твою в бедра мои
BUV uutie mkonono wako chini ya raja langu-
вложи руку свою под бедро мое

**kol ha-nefesh ha-ba'a le-ya'aqov mitsrayma yots'e yerekho mi-le-
vad neshe vene ya'aqov kol nefesh shishim wa-shesh**

[Gen. 46:26, 'всех душ, которые пришли с Иаковым в Египет, вышедшие из его бедра, не считая жен сыновей Иакова, всех душ – 66']

KJB All the soules that came with Iacob into Egypt, which came out of his loines, besides Iacobs sonnes wiues, all the soules were threescore and sixe.

REB All the persons who came to Egypt with Jacob, his direct descendants

NIV All those who went to Egypt with Jacob – those who were his direct descendants

SRB Watu wote waliokwenda Misri na Yakobo ni 66; ndio waliotoka kiunoni mwake, tena wake zao wana wa Yakobo

Всех людей, которые пошли в Египет с Иаковом было 66; это те, кто вышел из крестца его, а еще жены сыновей Иакова

BHN Jumla ya wazawa wa Yakobo aliokwenda nao Misri, bila kuwahe-sabu wakez a wanawe, ilikuwa watu sitini na sita

Всего потомков Иакова, с которыми тот шел в Египет, не считая жен сыновей его, было 66 человек

BUV Nafsi zote waliokuja ramoja na Yakobo mпрака Misri waliotoka viononi mwake, bila wake za wanawe Yakobo walikuwa watu 66

Душ всех, дошедших вместе с Иаковом до Египта, тех, что вышли из бедер его, без жен сыновей Иакова, было 66 человек

wa-yehi kol nefesh yots'e yerekh ya'aqov shiv'im nefesh

[Exod. 1:5, 'всех душ, вышедших из бедра Иакова, семьдесят душ']

KJB And all the soules that came out of the loynes of Iacob, were seuentie soules

REB there were seventy direct descendants of Jacob

NIV the descendants of Jacob numbered seventy in all

SRB Wao wote waliotoka viunoni mwa Yakobo walikuwa watu 70

Всех вышедших из бедер Иакова было 70 человек

BHN Wazawa wote wa Yakobo walikuwa watu Sabini

Всех потомков Иакова было 70 человек

BUV Na nafsi zile zote zilizotoka viunoni mwa Yakobo zilikuwa ni nafsi sabini

И душ всех, вышедших из бедер Якова, было 70

В приведенных выше пассажах ситуация является иной по сравнению с рассмотренными ранее антропоморфизмами. Здесь филологическая стратегия означает сохранение лексемы оригинального текста, выступающей в функции эвфемизма, или ее метонимическую замену, более близкую к глубинной семантике. Идеологическая стратегия предполагает восстановление исходной семантики, которое часто осуществляется с помощью отказа от использования названий частей тела путем обозначения непосредственно соответствующих действующих лиц. Отметим, что этот последний способ представлен именно во второй версии перевода на язык суахили – [BHN], для которой в целом характерным является предпочтение идеологической стратегии.

Литература

- Касьюто Ф., Порхомовский В.Я.* Библейские истории Иосифа и Моисея и их переводы на язык хауса // Африканский сборник 2007. СПб., 2008.
- Касьюто Ф., Порхомовский В.Я.* Имена Бога в Ветхом Завете и проблема их перевода // В пространстве языка и культуры: звук, знак, смысл. М., 2010.
- Касьюто Ф., Порхомовский В.Я.* Библия короля Иакова: о стратегии перевода в диахронической перспективе // Библия короля Иакова: 1611–2011. Культурное и языковое наследие. М., 2013а.
- Касьюто Ф., Порхомовский В.Я.* Версии Ветхого Завета на языке хауса в типологическом освещении // Африканский сборник 2013. СПб., 2013б.
- Порхомовский В.Я.* Формирование канонического текста в младописьменном языке // Ломоносовские чтения. Востоковедение. Тезисы докладов научной конференции (Москва, 16 апреля 2012 г.). М., 2012.
- Порхомовский В.Я., Урб М.Р.* Стратегии перевода канонических текстов в типологической перспективе: версии Ветхого Завета на нидерландском языке и языке африкаанс // Профили языка: социолингвистика, национальное варьирование, переводоведение, контрастная лингвистика. М., 2015.

Cassuto Ph., Porkhomovsky V. Les dieux, le dieu et Dieu dans les versions massorétique et haoussa de la Bible // *Studi Magrebini, Nuova Serie*, vol. VII, Napoli 2009. VIII Afro-Asiatic Congress.

Cassuto Ph., Porkhomovsky V. Les noms des parties du corps dans les versions haoussa de la Bible // *Hausa and Chadic studies*. I Will. Warsaw, 2014.

И.И. Чельшева

О России и русских в истории итальянского языка

Ономастическая лексика, соотносящаяся с определенной страной, народом, языком, при восприятии ее в иноязычной сообществе, в ином культурном пространстве, в другой конфессиональной среде определенным образом представляет страну-источник, переживая трансформации в форме и сдвиги в значении. Наша статья посвящена истории функционирования в итальянском языке и в диалектах Италии топонима *Russia* 'Россия' и этнонима *russo* 'русский'.

Объектом исследования выступают именно лексические единицы и их значения в прошлом и в настоящем. Отметим сразу, что речь не идет об исследовании представлений о России на уровне реалий, географических познаний, сведений о культуре и истории. Западноевропейскими источниками, рассказывающими о России, много и плодотворно занимались историки, этнологи, культурологи. Лишь в самом общем виде мы затронем проблемы соотношения топонима и этнонима с конкретными географическими, этническими и лингвистическими реалиями определенной эпохи; нередко сам анализ этого соотношения оказывается дискуссионным и искусственно идеологизированным. Отправной точкой для исследования являются соответствующие лексемы, особое внимание при этом уделяется изменениям в форме и к возникновению новых смыслов и значений, объяснение которых может находиться в рамках когнитивной лингвистики.

Материалом для статьи послужили тексты разных эпох, словари, базы данных. Особо отметим фундаментальный словарь Вольфганга Швейкарда "Deonomasticon Italicum", куда вошли этнонимы, топонимы и их производные, зафиксированные в итальянских текстах, начиная с древнейших [DI]. "Deonomasticon Italicum" стал источником для исследований, посвященных отражению в итальянском языке ономастической лексики, связанной с определенной страной; например, известный хорватский романист Жарко Мульячич в своей статье проанализировал все, что в словаре Швейкарда соотносится с хорватами, хорватским языком и реалиями Хорватии, объединив этот материал под общим

названием “Croatica” [Muljačić 2003–2004]. В нашей статье мы попытаемся показать, как функционировали в итальянском языке этнонимы и топонимы, связанные с Россией, а также некоторые производные от них, не предполагая дать исчерпывающую картину, а, скорее, выделив, пусть и фрагментарно, интересные разноплановые моменты.

Мы ограничимся только источниками на итальянском языке, не затрагивая латинские тексты даже для тех эпох, когда латынь была основным языком передачи письменной информации. Такой выбор объясняется тем, что наибольший интерес представляет функционирование слова в живом языке (даже с учетом того, что итальянские тексты нередко имели латинские источники).

Наибольший интерес представляют языковые свидетельства XIII–XV вв., которые достаточно немногочисленны. С XVI в. ситуация стала меняться и сведения о России, а вместе с тем и отражающие эту информацию тексты, стали множиться. Отметим, однако, что итальянцы (имея в виду уроженцев Апеннинского полуострова в целом) со славянским населением контактировали больше, чем другие народы западноевропейского мира. Непосредственно с носителями славянских языков соприкасалась северо-восточная Италия. Могущественная морская республика Венеция распространила свое влияние на всю Адриатику; таким образом «под крылом серебряного льва святого Марка» оказалась часть заселенных южными славянами земель. История слов, обозначающих славян и восходящих к позднелатинскому *slavus*, *sclavus* ‘славянин’, ‘раб’ (итал. *slavo*, *schivo*, *schivone*, *slavone*, *ciao* и др.) на Апеннинском полуострове, заслуживает отдельного рассмотрения, и мы ее здесь анализировать не будем. Итальянцы и, прежде всего, венецианцы были одними из наиболее известных путешественников, отправлявшихся на восток и сообщавших Европе сведения о России (Марко Поло, Амброджио Контарини, Джосафат Барбаро и другие).

Топоним «Россия» зафиксирован в латинских текстах, созданных на территории Италии с X в. (960 г., *Ruscia*) [DI]. Самое раннее упоминание о России в тексте, написанном в Италии на народном языке, видимо, встречается в книге Марко Поло “*Le Divisament dou monde*” ‘Описание мира’, где в одной из версий глава носит название “*Ci devise de la grant province de Rosie et de les jenz*” ‘Здесь рассказывается о большой провинции Россия и о людях’ [Benedetto 2016:130]. Книга Марко Поло имеет очень сложную и запутанную текстологическую историю. Считается, что ее исходный вариант был написан на старофранцузском в последней четверти XIII в. совместными усилиями пизанца Рустикелло и самого Марко Поло. Но уже к началу XIV в. появились версии на диа-

лектах Италии, где также фигурирует Россия (*Rossia, Rosia*). Несмотря на то что мы не ставили своей целью в этой статье проанализировать те познания о России, которыми обладал венецианец конца XIII в., приведем часть информации из повествования Марко Поло в раннем тосканском переводе: “*Rossia è una grandissima provincia verso tramontana. E sono cristiani e tengono maniera di greci... La gente si è molto bella, i maschi, e le femmine, e sono bianchi e biondi...*” [MP:182] ‘Россия – огромная страна в северной стороне. И они христиане на греческий манер... Народ очень красивый, и мужчины, и женщины’. За описанием России у Марко Поло следует рассказ о «провинции Лак» (*Lac, Lacca*), однако путешественник вспоминает, что забыл сказать нечто важное о России: “*In quella provincia si a grandissimo freddo, ch’a pena si può iscampare, e dura infino al mare Oziano*” ‘В этой стране ужасный холод, так что едва можно выжить, а тянется она до моря Океана’ [MP: 183]. Эти фрагменты прекрасно иллюстрируют те ассоциации, которые топоним Россия в течение последующих веков вызывал в памяти не только итальянцев, но и западноевропейцев в целом: огромные просторы, отличие в религии, красота жителей и, конечно, невыносимый холод. Как мы увидим дальше, эти представления нашли отражение в итальянском языке.

Обратим внимание на то, что как граничащая с Россией описана страна Лак, т.е. Валахия – территория между Дунаем и Карпатами, приблизительно соответствующая современной Румынии. Именно такое, связанное, сочетание топонимов и этнонимов, почерпнутое из средневековых латинских источников, характерно для текстов XIV–XVI вв.

Еще одно раннее упоминание о России (1333 г.) обнаруживается в одном из первых комментариев к «Божественной Комедии» Данте, именуемом *Ottimo commento*. В восьмой песне «Рая» (*Paradiso* 8, 64–66) Данте вложил в уста Карла Мартелла Анжуйского (1271–1295), претендовавшего на венгерский престол, слова о короне Венгрии:

*Fulgeami già in fronte la corona
di quella terra che 'l Danubio riga
poi che le ripe tedesche abbandona.*

‘И на челе моем уже блестел
Венец земли, где льется ток Дуная,
Когда в немецких долах отшумел...’ (перевод М.Л. Лозинского).

В комментариях к этим строфам вместо Венгрии появилось упоминание о короне Англии: “*Qui dice, che già gli risplendea in capo, cioè era*

coronato del reame d'Inghilterra, i cui confini verso terra tedesca pone il fiume del Danubio, e da mezzodie è il mare Adriano, e da levante sono genti barbare: Cumini, Rossia, e Bracchia, e loro mistura” ‘Здесь он говорит, что у него уже сияла на челе корона, т.е. он был коронован королевством Англии, границу которого в сторону немецкой земли отмечает река Дунай, с юга находится Адриатическое море, а с востока варварские народы: куманы, Россия и Валахия и всякие им подобные’ [ОС].

Россия, как видим, снова соседствует с Валахией, и к ним добавлены турки-куманы, упоминание о которых было бы оправдано, если бы в рукописи, в соответствии с исторической правдой, фигурировала корона Венгрии, а не появилась ошибочно Англия. Так или иначе, для описания далеких границ на востоке такие характеристики, как удаленность России, ее соотнесенность с варварским миром, расположение «на краю света», очень подходили.

До XVI в. включительно написание топонима по-итальянски варьировалось: *Russia, Rossia, Rosia, Rusia, Ruscia, Rucia, Rhossia*. Разнообразие форм отчасти объясняется графической традицией, восходящей к средневековой латыни, отчасти его можно связать с диалектным многообразием текстов. Не исключено, что на форму *Ruscia* для топонима Россия в старых текстах мог повлиять другой, довольно хорошо известный итальянцам топоним *Rascia*, Рашка – государство на территории современной Сербии. Мы не будем утверждать, что две столь разные страны путали, но определенная фонетическая аттракция вполне могла быть. У известного флорентийского хрониста Джованни Виллани в рассказе о событиях 1322 г. на Балканском полуострове фигурирует “*re di Rassia in Ischiavonia*” ‘король Рашки в Славонии’ [VC], где балканское королевство представлено в форме, очень напоминающей Россию.

Нам кажется, что некоторое российское «эхо» можно услышать и еще в одном упоминании сербской Рашки. В одном из древнейших стихотворных текстов с территории Италии – анонимном сочинении “*Proverbia quae dicuntur super naturam feminarum*” ‘Присловья о природе женщин’ (конец XII в.) – есть упоминание о стране *Rassa*. “*Proverbia*” – это морально-дидактическое сочинение, написанное на одном из северных диалектов (диалектологи колеблются между Ломбардией и Венето) на тему порочности и греховности женского пола. По мнению комментаторов, сочинитель вдохновлялся французской поэмой “*Chastiemusart*”, также посвященной грехам женщин. Вот эти строки: “*No se po trovar tonsego qe morti susitase, / [Ne] flor de tal fata qe leprosy mondase, / Mai cui trovar poesele, d’auo varia tal massa / Maior de le montagne de la terra de Rassa*” [PD: 174] ‘Невозможно найти лекарство, которое оживило бы

мертвых, ни цветов, что исцелил бы прокаженных, а если бы кто и нашел, это стоило бы такого количества золота, больше, чем в горах земли Раса'. Комментаторы указывают, что речь идет о уже упомянутой сербской Рашке, с чем можно согласиться, учитывая, что именно такая форма для названия этой страны неоднократно употреблялась в XIV–XV вв. в итальянских текстах [DI]. Однако, как нам представляется, в этом описании есть определенное отражение и представлений о России. Мы недаром обратили внимание на французский источник “*Proverbia*”. Во французской средневековой литературе (особенно в эпической поэзии) нередки упоминания о России как о стране несметных богатств, а о русских – как о грозных воителях-язычниках. В стихотворном повествовании о Третьем Крестовом походе “*Histoire de la Guerre Sainte*”, написанном на французском в конце XII в., обилие золота представлено именно как характеристика России: “*Car tot le or qui est en Rossie / Nel garantist s’il le seüst*” (цит. по [Lozinskij 1929: 71]) ‘Ибо все золото, что есть в России, не защитило бы его, если бы он это знал’. Сходство названий двух стран и возможное знание автором старофранцузских источников способствовало появлению в описании сербской Рашки тех характеристик, которые приписывались России.

Этноним *russo* ‘русский’ появляется в итальянских текстах сначала в форме *rosso*. Эта форма четко соотносилась с преобладающим латинским названием страны *Rossia*. Но в таком виде этноним оказывался омонимом итальянского прилагательного *rosso* ‘красный’, восходящего к латинскому *russus*. Эта омонимия усугублялась тем, что цветообозначение также могло иметь форму *russo*. Например, нередкая в Италии фамилия *Lorusso, Russo*, совпадая по звучанию с этническим наименованием русских, не имеет к этнониму никакого отношения. Это южный вариант самой распространенной в Италии фамилии *Rossi*, от *rosso* ‘красный, рыжий’. В диалектах Юга в результате метафонии гласный закрылся в [u], отчего форма совпала с *russo* ‘русский’. Этот же компонент присутствует в итальянских топонимах, например, *Russi* – город в провинции Равенна. Автор этих строк столкнулся с тем, что пожилая, не очень образованная итальянка, поинтересовавшись происхождением автора, заявила, что она в этих местах бывала и неоднократно. Поскольку было сложно предположить, что крестьянка из Пьемонта постоянно ездила в Россию, пришлось разбираться, и выяснилось, что она перепутала *Russia* ‘Россия’ с каким-то городком с близким по звучанию названием.

Наиболее ранним итальянским свидетельством о русских считается упоминание народа в религиозном стихотворном сочинении, принад-

лежащем перу северянина, кременца Уггучоне да Лоди (начало XIII в.). Он пишет, что в день Страшного Суда к ответу будут призваны все народы: “*De tute parte le çente ge serà, / Ongari e Bolgari, Rossi, Blachi e Cuman, / Turchi et Armin, sarrasin e pagan*” [TLIO] ‘Там будут люди из всех стран, венгры и болгары, русские, влахи и куманы, турки и армяне, мусульмане и язычники’. Русские в данном случае не столько соотносятся с народом, населяющим Россию, сколько упомянуты для создания идеи всеобщности, всеохватности Страшного Суда. Как и в случае с топонимом *Rossia*, рядом с русскими упоминаются влахи и куманы, привычное для этой эпохи сочетание. Кроме того, русские попали в круг народов, которые или считались не-христианами, или же (если пишущий обладал определенными познаниями) воспринимались как неправильные христиане.

Именно в таком окружении и в таком же порядке упомянуты русские в более поздней (середина XIV в.) поэме пизанца Фацио дельи Уберти “*Il Dittamondo*” ‘Описание мира’. Этот труд, вдохновленный «Божественной Комедией» Данте, описывает воображаемое путешествие по миру автора, ведомого сначала Птолемеем, а затем позднеантичным историком Солином. Переходя к описанию Центральной и Восточной Европы, Фацио дельи Уберти пишет: “*perché non rimanga passo ignudo / in queste parti, che sia da notare, / Burgari, Rossi e Bracchi*” [FU] ‘дабы не оставалось пустого пространства в этих местах, стоит отметить болгар, русских и влахов...’.

Перечисление этих народов: ‘болгары, русские и влахи’ – в одной из рукописей Фацио дельи Уберти превращается в “*Burgari, rossi e bianchi* ‘болгары, красные и белые’, где *Bracchi* ‘влахи’ стали *bianchi* ‘белые’ [Schweickard 2006, 84], т.е. омонимия обозначения *Rossi* ‘русские’ и ‘красные’ «притянула» еще одно цветообозначение, создав несуществующее разделение болгар.

Разумеется, в рассказах о путешествиях, которые были совершены самими писавшими, такими как Амброджо Контарини или Джосафат Барбаро (его пребывание в России ставится под сомнение), топонимы, и этнонимы, с Россией связанные, соотносятся с вполне конкретными и узнаваемыми реалиями, см. исторические сведения в [Кудрявцев¹ 2014] и [Кудрявцев² 2014].

Но Россия и русские были известны не только путешественникам. Одно из ранних свидетельств обнаруживается в тексте, далеком от литературных изысков, в письмах флорентийки Алессандры Мачинги Строцци. Принадлежавшая к кругу зажиточного купечества, Алессандра осталась во Флоренции с дочерьми и с несовершеннолетними детьми,

когда взрослые мужчины ее семьи были изгнаны из города. Ее письма, адресованные сыновьям в Неаполь, являются интереснейшим источником как по истории итальянского языка, так и по истории быта и культуры Флоренции XV в. Сообщая о необходимости взять служанку, она пишет: “*qualche tartera di nazione, che sono per durare fatica vantaggiate e rustiche. Le rosse, cioè quelle di Rossia, sono più gentili di compressione e più belle; ma, a mio parere, sarebbono meglio tartere*” [MS] ‘Какую-нибудь татарку по национальности, которые отличаются выносливостью и привыкли к простой работе. Русские, то есть те, кто из России, телосложением привлекательней и более красивы, но, на мой взгляд, татарки лучше’.

Здесь, видимо, речь идет о тех служанках, которые именовались *serva domestica* ‘домашняя прислуга’ и чье положение было близко к положению рабов. Обращает внимание то, что Алессандра сдублировала этноним *le rosse* указанием на то, что это те, кто из России, дабы избежать омонимии с *rosso* ‘красный’.

С XVI в. появляется форма *russo*, а к XVIII в. *rosso* для обозначения русских исчезает.

С лингвистической точки зрения интересно посмотреть, как итальянский язык осваивал русские ономастические единицы. Отметим значительную свободу в создании производных, которая опиралась на очень богатый словообразовательный инвентарь итальянского языка, особенно в области суффиксов. В сочетании с определенной тенденцией, которую мы уже отметили для XIII–XVI вв., связанной со стремлением приблизить форму незнакомого иностранного слова к известному итальянскому, эта свобода в создании производных продуцирует разнообразные варианты. В XV–XVIII вв., наряду с *russo*, встречаются формы *russiano*, *rossiano*, *russiotto*, *russico*. Для характеристики типично русского характера и поведения уже в XX в. используются существительные *russitudine*, *russità*, *russismo* [DI]. Причем толкование последнего существительного выявляет еще одну сторону известности России в Италии: “*il modo di essere dello spirito russo, in quanto espresso dalla letteratura russa dell'Ottocento*” ‘способ жить с русским духом, как он выражен в русской литературе XIX в.’

Тема освоения русской ономастики, разумеется, не ограничивается только описанными лексемами. В известной объемной компиляции XVI в., составленной Джованни Баттиста Рамузио “*Navigazioni e viaggi*” ‘Мореплавание и путешествия’, где собраны в итальянских переводах основные для этой эпохи источники по описанию мира, можно найти много интересного, например, русскому имени-отчеству Иван Василье-

вич в итальянских текстах XV–XVI вв. соответствует *Giovanni di Basilio*, *Giovanni Basiliade* и даже “*Giovanni Vascelluich, imperatore della Rossia e granduca di Moscovia*” ‘Джованни Васкеллуич, император России и великий князь Московии’ [RNV], а Джосафат Барбаро перевел топоним Новгород как “*nove castelli*” ‘девять замков’ из-за сходства с итальянским числительным *nove* ‘девять’ [RNV].

Для того, чтобы получить представление не только о тех ассоциациях и вызванных этими ассоциациями контекстах, в которых использовались в итальянских текстах ономастические единицы, связанные с Россией, но и о тех значениях, которые возникли при использовании названия «Россия» как нарицательного, обратимся к современным данным. В представлении итальянцев Россия, во-первых, очень большая страна, а во-вторых, страна с бурной, не всегда понятной европейцам историей. Отсюда значение «место потрясений, беспорядков» или ситуация с подобными характеристиками. Словарь GDLI приводит такие примеры из художественных и публицистических текстов второй половины XX в., как *far Russia* ‘устроить беспорядок’ или *essere una Russia* букв. ‘быть Россией’. Такие же значения зафиксированы и в диалектах, причем, заметим, примеры только из северных диалектов Италии: Ломбардия *l’è ‘na réusia* ‘это – Россия’, *che Rússia!* ‘Что за беспорядок!’, Венето *in sta casa l’è tuta na rusia* ‘в этом доме – сплошная Россия’, Трентино *far ‘na Russia* ‘устроить Россию’, т.е. ‘устроить шум, создать беспорядок’ [DI].

Мы уже отметили, что словарь В. Швейкарда предоставил исследователям очень объемный и разнообразный материал, осмысление которого дает интереснейшие результаты. К сожалению, Россия оказалась слишком далека от интересов немецкого романиста. В результате в эту очень основательную работу закрались досадные ошибки. Утверждение в статье *Sanct-Pietroburgo* о том, что Санкт-Петербург получил имя в честь Петра Великого (*nome dato in onore di Pietro il Grande*), в какой-то степени допустимо, хотя и неточно: апостол Петр, имя которого носит город, был небесным покровителем императора. Но в статье *Rostov* сообщается, что речь идет о городе Ростове-на Дону: “*città della Russia europea meridionale – Russo Ростов-на-Дону*” ‘город на юге европейской части России – по-русски Ростов-на-Дону’ [DI]. Такое определение совсем не согласуется с отсылкой к источникам XV–XVI вв., где *Ducato di Rostovia* ‘княжество Ростовское’ упоминается рядом с *Ducato Suzdaliense* ‘княжество Суздальское’ [RNV].

Мы ограничились только рассмотрением топонима *Rossia* и этнонима *russo*, а также их производных. Если сдвинуть фокус исследования

и взять за исходную точку территорию для установления топонимов, которые к ней прилагались, то для итальянских текстов XIV-XVII вв. очень интересным окажется традиция исторического именования России и ее населения: *Sarmatia* 'Сарматия', *sarmati* 'сарматы', *Scitia* 'Скифия', *sciti* 'скифы', *rossolani* 'роксоланы', что отражает популярную в Возрождении традицию именования потомков по их предполагаемым предкам. Сами себя итальянцы именовали *latini* 'латиняне' и *etruschi* 'этруски'; см. об этом [Шумилин 2015].

Обращение к корпусам итальянского языка дает возможность установить, какова сочетаемость прилагательного *russo* в итальянском. Легко вычисляемы международные устойчивые сочетания *rouletta russa* 'русская рулетка' и *montagne russe* 'русские горки' в значении «чередование удачных моментов и несчастий». Есть сочетания, отражающие представления о русских обычаях: *servizio alla russa* 'стол по-русски', т.е. дорого и роскошно накрытый стол; *brindisi alla russa* 'тост по-русски', тост с последующим разбиванием бокалов' [GDLI; DI]. Достаточно часто сочетание *pianure russe* 'русские равнины', пространство которых поражает итальянцев, жителей страны, где горизонт часто закрыт горами. Но эта тема предполагает более подробные исследования, которые не вписываются в объем этой статьи.

Источники и сокращения

GDLI – Battaglia S. Grande dizionario della lingua italiana. Vol. 17:Robb – Schi. Torino, 1994.

FU – Fazio Degli Uberti. Il Dittamondo. URL: http://bepi1949.altervista.org/dittamondo/libro_4_1.html (дата обращения 10.04.2018).

DI – Schweickard W. Deonomasticon Italicum. Dizionario storico dei derivati da nomi geografici e da nomi di persona. Vol. 1–4. Tübingen, 2002–2013.

MP – Marco Polo. Il Milione / A c. di V. Bertolucci Pizzorusso. Milano, 1975.

MS – Macinghi Strozzi A. Lettere. Biblioteca italiana, 2005. URL: <http://ww2.bibliotecaitaliana.it/xtf/view?docId=bibit001644/bibit001644.xml> (дата обращения 20.05.2018).

OC – Ottimo commento della Divina Commedia. URL: <https://dante.dartmouth.edu> (дата обращения 20.05.2018).

RNV – Ramusio G.B. Navigazioni e viaggi. Vol. 1–6. Torino, 1978–1988. URL: https://www.liberliber.it/mediateca/libri/r/ramusio/navigazioni_e_viaggi/pdf/naviga_p.pdf (дата обращения 10.04.2018).

- PD – Poeti del Duecento / A c. di G.Contini. T. 1. Milano-Napoli, 1960.
 TLIO – Tesoro della lingua italiana delle origini. URL: <http://tlio.ovc.cnr.it/TLIO>
 VC – Villani G. Cronaca. URL: http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_2/t48.pdf (дата обращения 20.04.2018).

Литература

- Кудрявцев О.Ф.* 1 Визит поневоле: Россия Ивана III глазами венецианского посла Амброджо Контарини // Средние Века, Вып. 75, № 1, 2014.
- Кудрявцев О.Ф.* 2 «Среди варварских народов, совершенно чуждых всякой цивилизации»: информация Иосафата Барбаро о Московской Руси и сопредельных землях // Средние Века, Вып. 75, № 2, 2014.
- Шумилин М.В.* «Я этруск, происхожу от этрусков»: национальная идентичность в комментарии Анния из Витербо к «Вергунниане» Проперция // Проблемы италянистики. Вып.6. Итальянская идентичность: единство в многообразии. М., 2015.
- Benedetto L.F.* Livre de messier Marco Polo. Venezia, 2016.
- Lozinskij G.* La Russie dans la littérature française du Moyen Âge: le pays // Revue des études slaves, t. 9, fasc. 1–2, 1929. URL: https://www.persee.fr/doc/slave_0080-2557_1929_num_9_1_7433 (дата обращения 02.04.2018).
- Muljačić Ž.* Croatica u prvoj knjizi talijanskog deonomastičkog povijesnog rječnika // Folia onomastica croatica, № 12–13, 2003–2004.
- Schweickard W.* “Burgari, Rossi e Bracchi”. Toponimi ed etnici nel “Dittamondo” di Fazio degli Uberti // Medioevo letterario d’Italia, № 3, 2006.

Н.С. Бабенко

Терминологическая база
немецкоязычной версии
лингвистического жанроведения

*Jetzt,
jetzt und erst jetzt,
jetzt und nur jetzt,
jetzt und doch jetzt,
jetzt ist das jetzt erst jetzt,
das nur jetzt ist und doch jetzt ist,
nur jetzt und doch jetzt,
jetzt das jetzt ist,
nicht jetzt das jetzt nicht jetzt ist wenn es jetzt ist,
nicht jetzt wie es jetzt nicht ist,
nicht jetzt wie es jetzt nicht jetzt ist,
jetzt das nicht ist ist nicht jetzt...*

aus Max Bense

*«...намерение и процесс для исследователя
всегда интереснее, чем получаемый результат»*

В.З. Демьянков

Терминоведческие изыскания Валерия Закиевича Демьянкова хорошо известны лингвистам разных школ и направлений: они содержат не только образцы словарных толкований терминов новых лингвистических дисциплин [Краткий словарь когнитивных терминов 1996], но и приемы описания терминологических единиц как носителей информации о развитии лингвистического знания в его разнообразных проявлениях [Демьянков 1992; 2010; 2015]. Опираясь на множество по-своему новаторских образцов терминоведческих штудий юбиляра, хотелось бы предложить экскурс в одну из областей современной немецкоязычной терминологии, а именно в лингвистическое жанроведение (нем. Textsortenlinguistik, Textsortenforschung), которое обладает рядом спе-

цифических черт, отражающих развитие данной дисциплины в современном немецкоязычном языкознании, где сложилась довольно своеобразная терминологическая база, охватывающая большой круг весьма сложных теоретических и практических проблем.

Каждая научная дисциплина стремится разработать наиболее точный и полный понятийно-терминологический аппарат для описания предмета своего изучения, терминологически отграничить свой предмет от других, близких по содержанию, предложить свой репертуар терминов для представления новых знаний. Опыт развития немецкоязычного жанроведения считается довольно показательным как в плане его содержания, так и в плане терминологической специализации данной области лингвистики.

Проблематика *Textsortenlinguistik* ('лингвистическое жанроведение') возникла в современном языкознании в результате развития дисциплин, исконно связанных с изучением текста. В ее формировании участвовали разные источники гуманитарного знания, что непосредственно связано с термином «жанр» (фр. *genre* из лат. *genus*; нем. *Genre, Gattung*; англ. *Genre*), который имеет широкое хождение в разных областях искусствоведения – литературе, музыке, живописи, – и потому его толкование напрямую зависит от сферы употребления. В лингвистику этот термин пришел вместе с идеей разграничения текстов по типам в зависимости от присущего тексту набора функциональных и лингвопрагматических признаков. Введение термина «жанр» в отечественной лингвистике связывается с идеями М. Бахтина, использовавшего словосочетание «речевые жанры», но, как показывают последние исследования, сама жанроведческая проблематика появилась значительно раньше: в ранних работах А.А. Реформатского (1933), но затем его идеи оказались в забвении, а через 20 лет (1953) Бахтин независимо от работ Реформатского в эскизной форме выделил основные проблемные точки теории лингвистического жанроведения (подробнее см. [Алпатов 2018]).

В современной немецкоязычной лингвистике широкое распространение получил термин *Textsorte*, который довольно четко разграничивает лингвистическую и литературоведческую трактовку текста: соответственно, *Textsorte* и *Genre, Gattung*.

Термин *Textsorte* по праву можно считать большой терминологической удачей, что обуславливает его устойчивость в современной германистике и предвещает ему долгое существование в разных гуманитарных науках, связанных с изучением текстов, их назначения и свойств как типовых образований, являющихся частью сложно организованной

и весьма дифференцированной системы языка и занимающих в ней определенное место сообразно их роли в коммуникации.

Появление термина *Textsorte* (русский аналог «речевой жанр» или «жанр текста») связано в немецком языкознании с развитием лингвистики текста, которая в 60–70-х гг. XX в. стала активно заниматься проблемами типологии текстов, в том числе под влиянием теории речевого акта Дж. Остина и Дж. Серля¹.

Немецкоязычный термин *Textsorte* (далее *TS*) представляет собой научную метафору, которая образована путем соединения существительного **Text**, являющегося общепринятым термином и обладающего в разных языках широкими словообразовательными возможностями [Литвиненко 2007], с существительным **Sorte** – единицей из лексикона обыденного языка. Композиты с элементом *-Sorte* в постпозиции представлены в немецком языке очень широко – *Biersorte, Wurstsorte, Wein-sorte, Mehlsorte, Apfelsorte, Kartoffelsorte, Käsesorte, Glassorte, Teesorte, Kaf-feesorte, Tulpensorte* и т.д.

Как видно из примеров, композиты с элементом *-Sorte* несут информацию ярко выраженного потребительского, утилитарного характера: их первые компоненты являются главным образом наименованиями продуктов питания, растений, материалов и т.д., то есть объектами, которые существуют в разных видах и поддаются «сортированию». Компонент *Text* в композите *Textsorte*, не будучи ни продуктом питания, ни растением, ни материалом, выражает общую идею композитов с элементом *-Sorte* о разнообразии форм существования объектов, выражаемых первым компонентом. *Text* предстает как явно утилитарная категория, как явление обыденной жизни². При этом обнару-

¹ Лингвистика текста (нем. Textlinguistik) считается в современном немецкоязычном языкознании базовой для всех языковедческих дисциплин: Alle Sprachwissenschaft ist Textlinguistik ('Любое языкознание есть лингвистика текста' – так назвал свою статью Н.Р. Вольф [Wolf 2009], оценивая результаты многочисленных работ в области лингвистики текста, выполненных немецкими авторами начиная с середины 60-х гг. "Alles, was Sprache ist, und alles, was mit Sprache zusammenhängt, dient dem sprechenden Menschen, der der Texte zur Schaffung seiner Welten und zur Bewältigung dieser Welten bedarf" ('Все, что является языком, и все, что связано с языком, служит говорящему человеку, который оперирует текстами для создания своих миров и для освоения этих миров' [Wolf 2009: 234].

² Нестандартность немецкого термина *TS* нередко вызывает желание у отечественных германистов использовать буквальный перевод на русский язык – «сорт текста», чтобы обратить внимание на особую роль данного композита в немецкой терминсистеме (ср. [Пастухов 2007]).

живается очевидное снижение научной весомости немецкого термина *TS*, но одновременно термин демонстрирует прозрачность своей внутренней формы и незатейливость способа номинации¹.

Немецкоязычная лингвистика к моменту появления многочисленных работ по теории текста не была знакома с идеями Бахтина: перевод его книги «Эстетика словесного творчества» стал доступен в Западной Германии лишь в 1979 г., когда в общем виде уже были сформированы представления о тексте и роли языка в текстообразовании, а в бывшей ГДР господствовала функциональная стилистика в несколько идеологизированном варианте. Концепция речевых жанров Бахтина выросла по сути из критики теории функциональных стилей [Бабенко 2009: 237] и по этой причине не могла найти применение в немецком языкознании Восточной Германии. Отдельный перевод на немецкий язык статьи Бахтина «Проблема речевых жанров» появился лишь в 2004 г. под названием “Das Problem der sprachlichen Gattungen” [Bachtin 2004: 473-484]. К этому времени немецкая лингвистика текста прошла свой особый путь, и публикация статьи Бахтина стала фактом скорее историографическим, чем собственно научным событием. Следует отметить, что в переводах на немецкий язык используемых Бахтиным терминов присутствует буквализм, который не позволяет проводить прямые параллели между двумя версиями теории речевых /языковых жанров: немецкоязычной *Textsortenlinguistik* и русскоязычным лингвистическим жанроведением².

¹ Следует обратить внимание на то, что тест на грамматическую форму множественного числа подтверждает для немецкоязычного композита *TS* большую степень его терминологичности: пара *Textsorte* – *Textsorten* не имеет иных грамматических вариантов, тогда как для русскоязычного термина «жанр/тип текста» перевод во множественное число дает терминологически неравноценные варианты: жанр/тип текста – **жанры/типы** текста можно считать терминологически мотивированными, а жанр/тип **текстов** – **жанры/типы текстов** скорее связаны с нетерминологическим употреблением данных словосочетаний (см. о факторе мн. числа в употреблении терминов [Демьянков 2015]).

² Сравнение двух авторитетных энциклопедических лингвистических словарей на предмет отражения в них терминов, связанных с лингвистическим жанроведением, обнаруживает, что в «Энциклопедическом лингвистическом словаре» (1990) нет статей «жанр текста», «тип текста», «типология текста»; есть лишь одно упоминание о «жанре разговорной речи» в статье «полилог» (с. 381), а в статье «текст» говорится, что изучение текста в разных странах осуществляется под разными названиями: лингвистика текста, структура текста, герменевтика текста, грамматика текста. «Онтологический статус каждой из этих дисциплин см. на следующей странице

В немецкоязычном лингвистическом жанроведении к термину *TS* тесно примыкают уточняющие понятия – *Textmuster* и *Textexemplar*, которыми широко оперируют немецкие лингвисты для разграничения уровней, на которых может себя проявлять текст: термин *Textmuster*¹ указывает на абстрактную модель, по образцу которой происходит текстообразование; *Textexemplar* передает представление о тексте как конкретном воплощении некоторой модели [Heinemann, Viehweger 1991: 170–175]. Данные термины не имеют прямых параллелей в русской терминологии и с трудом поддаются переводу, даже буквальному. Однако попытки учитывать существование данных терминологических единиц и выражаемых ими сущностей представлены в отечественной теории текста рядом примеров (ср. *Textexemplar* ‘текстовый экземпляр’ [Чернявская 2005]).

Термин *TS* впервые появился в 1962 г. и связан с первыми попытками разработать теорию текста [Bense 1962]. Вхождение термина в научный обиход относится к 70-м гг. XX в., когда он активно конкурирует с другими, близкими по общему смыслу обозначениями (*Textklasse*, *Textart*, *Textexemplar*, *Textmuster*). Терминология в этой сфере изначально была чрезвычайно зыбкой; уточнение и разграничение понятий происходило постепенно, по мере развития проблематики, ориентированной на *TS*. Следует обратить внимание на то, что и англоязычная система жанроведческих терминов (ср.: *genre*, *text type*, *discourse type*, *register*) так же недостаточно прозрачна, как и немецкоязычная [Dingwall 1992]; ср. также обзор [Буркетбаева 2005]), но преимущество последней заключается именно в наличии особого термина *TS*, не имеющего точек пересечения с традиционной терминологией и обозначающего довольно точно область его применения.

см. на предыдущей странице определен нечетко, и в целом можно говорить о более общей дисциплине – теории текста» (с. 507). Напротив, немецкое энциклопедическое издание “*Kleine Enzyklopädie. Deutsche Sprache*” (1983) довольно полно отразило бурное развитие жанроведческой проблематики в немецкой лингвистике, включив статьи “*Texttypologie*”, “*Textsorten*”, “*Texttyp*” (с. 231–237). «Стилистический энциклопедический словарь русского языка» (2003) содержит много статей, связанных с трактовкой понятия «жанр» в его проекции на стили. Но самостоятельной ценностью понятие «жанр» в Словаре не наделяется, что существенно отличает данный подход от подходов к жанру текста в немецкоязычной лингвистике.

¹ На первых этапах развития немецкоязычного жанроведения термин *TS* конкурировал с понятием *Textmuster*. В трактовке У. Фикс, *Textmuster* – это идеальный тип воображаемого текста, который прототипически и когнитивно связан с определенным *TS* [Fix 2000: 191].

В зависимости от подхода термин *TS* трактовался либо очень широко, либо очень узко. Термин *TS* охватывал все возможные проявления текста (*Textvorkommen*). В рамках широкого толкования было предложено следующее определение *TS*: “...als bewusst vage gehaltene Bezeichnung für jede Erscheinungsform von Texten, die durch Beschreibung bestimmter nicht für alle Texte zutreffender Eigenschaften charakterisiert werden kann, unabhängig davon, ob und auf welche Weise die Eigenschaften im Rahmen einer Texttypologie theoretisch erfassbar sind” [Isenberg 1978: 566].

Узкое, сугубо терминологическое толкование термин *TS* получил в рамках типологии текстов, которая относится к теоретическому уровню жанроведческой проблематики и определяет зависимость *TS* от позиции в типологии текстов.

Изучение *TS* с самого начала относилось к области интересов лингвистики текста (*Textlinguistik*) [Brinker 1991: 10], которая утверждает, что конкретный текст является не просто текстом, но и представителем определенного типа текста. Сходное понимание присуще носителям языка и отражает общее (дотеоретическое) представление о феномене *TS*, которое интуитивно присутствует в обыденном употреблении языка. Однако научный интерес к *TS* в лингвистике текста концентрируется прежде всего на том, чтобы обосновать и эксплицировать сущность этого явления и установить его значимость в построении общей теории языка.

К 90-м гг. XX в. в немецкоязычном языкознании в условиях бурной полемики вокруг лингвистики текста и ее «младшей дочки» – лингвистического жанроведения (*Textsortenlinguistik*) – в целом образовался круг первостепенных проблем: определение понятия *TS*; разработка классификации и методов дифференциации *TS*; описание отдельных *TS*. Задача состояла и в том, чтобы гармонизировать два подхода к изучению *TS*: исходного, связанного с описанием структурных признаков текста на базе грамматики текста, и возникшего несколько позднее в развитии жанровой проблематики функционального подхода, в рамках которого *TS* понимаются как типы, формы коммуникативной деятельности. Объединение двух подходов, важных для толкования понятия *TS*, существенно осложнило задачу построения гомогенной классификации *TS* и привело к возникновению новой дискуссионной ситуации в немецкой лингвистике текста. Эта ситуация до сих пор далека от разрешения, поскольку проблема упирается в то обстоятельство, что лингвистика текста имеет дело с бесконечным множеством текстов, которые в идеале подлежат группированию в классы по опреде-

ленным моделям и обобщению в рамках типологической классификации. Соотношение этих задач в немецкой лингвистике текста перманентно менялось: первоначально интерес исследователей был сосредоточен на вопросах типологизации текстов. Эти разработки носили в большей степени интуитивный характер, поскольку опирались на абстрактные представления о признаках *TS*, а не на научно разработанные критерии их выделения, учитывающие сложный комплекс реальной картины функционирования *TS*. Критический анализ ситуации, сложившейся в немецкой лингвистике текста к 90-м гг., демонстрировал очевидный разрыв между исследовательской практикой и теоретическими построениями, которые не отвечали ожиданиям адекватной концепции. «Двойной провал» (*doppeltes Scheitern*) [Lage-Müller 1995: 16] стал знаком состояния дел в лингвистике текста, которая не сумела на тот момент достаточно убедительно соединить дедуктивный подход и индуктивный, эмпирию и теорию. Речь шла при этом не о том, что нужно ввести в оборот разные теории и методы, а о корреляции теории с исследованием реальных *TS* в их многообразии. Помимо того, что признавалось отставание эмпирических исследований от типологических, высказывался упрек, что конкретные исследования *TS* должны учитывать обыденные представления носителей языка как партнеров по коммуникации о типологических свойствах текстовых форм и об их употреблении в конкретной ситуации. Фактически речь шла о реконструкции знаний о *TS* в среде носителей языка. По этой причине считалось целесообразным проводить сначала эмпирическую реконструкцию, а затем разрабатывать научную классификацию [Gülich 1986]¹.

На фоне бурных обсуждений конца 80-х – начала 90-х гг. XX в. вопроса о состоянии лингвистики текста появилась исключительно полная библиография с комментариями работ за период с 1960 по 1990 гг., посвященных проблемам изучения *TS* в немецкоязычных странах и главным образом в Германии. Уникальная для понимания истории и

¹ В Лингвистической энциклопедии, изданной в бывшей ГДР в 1983 г., проблематика лингвистического жанроведения и его перспективы оценивались по прошествии 20 лет развития весьма скептически по сравнению с опытом функционально-стилистического анализа текста в версии, разработанной в советском языкознании Э.Г. Ризель. Термин *TS* использовался довольно умеренно для выделения текстовых феноменов как типовых образований, обладающих набором специфических признаков и выполняющих конкретные функции. Сам термин *TS* был отнесен к разряду зыбких и весьма условных понятий на том основании, что с его помощью не снимается проблема дифференциации отдельных форм существования текстов [Kleine Enzyklopädie 1983: 234].

специфики развития немецкоязычного лингвистического жанроведения работа Кирстен Адамчик [Adamzik 1995] дает представление об объеме и разнообразии исследовательской деятельности в рамках лингвистики текста и одновременно о номенклатуре *TS*, охватывающей около 4 000 названий из 7 профильных областей: банковской, юридической, политической, конфессиональной, литературоведческой, экономической, публицистической; здесь же приводятся засвидетельствованные исторические названия *TS*, в том числе и устаревшие. Данный труд, во-первых, закрепил проблематику, связанную с изучением *TS*, как профильную для немецкой лингвистики текста и, во-вторых, с учетом прошлого опыта настойчиво рекомендовал опираться при изучении *TS* и их типологии на принципы интегративного подхода, сочетающего внутритекстовые (структурные) и внетекстовые (функциональные, социальные, когнитивные) аспекты. Работа К. Адамчик стимулировала эмпирические исследования на материале самых разных *TS*, не только аутентичных текстов малого формата (гороскоп, прогноз погоды, лекарственный вкладыш и т.д.), но и целых систем *TS* внутри одной отрасли, например железнодорожной документации.

По мнению К. Адамчик, объем термина *TS* может варьироваться от очень широкого его толкования до узконаправленного. Она выделяет для понятия *TS* два возможных прочтения: неспециализированное и специализированное. Первое связано с представлением о *TS* как множестве, классе текстов, которые «сортируются» в соответствии с некоторыми произвольно выделенными критериями и отграничиваются от других множеств и классов текстов на основании некоторой совокупности признаков. Сам термин *TS* при этом легко поддается замене на синонимы – Textart, Textklasse, Texttyp и другие выражения. Специализированное понимание исключает произвольность выделения классов; речь идет прежде всего о единообразии принципов выделения критериев, которые рассматриваются как релевантные для языковой практики, для описания языка и, в конечном счете, для теории языка в целом [Adamzik 1995: 14–16].

Таким образом, в немецкоязычной лингвистике разработана концепция *TS*, которая опирается на довольно четко очерченные контуры термина *TS*: “Textsorten sind konventionell geltende Muster für komplexe sprachliche Handlungen und lassen sich als jeweils typische Verbindungen von kontextuellen (situativen), kommunikativ-funktionalen und strukturellen (grammatischen und thematischen) Merkmalen beschreiben. Sie haben sich in der Sprachgemeinschaft historisch entwickelt und gehören zum Alltagswissen der Sprachteilnehmer; sie besitzen zwar eine normie-

rende Wirkung, erleichtern aber zugleich kommunikativen Umgang, indem sie den Kommunizierenden mehr oder weniger feste Orientierungen für die Produktion und Rezeption von Texten geben” [Brinker 2001: 124]. Основные положения этого определения *TS* можно свести к следующим пунктам: *TS* – это категория, которая 1) отчетливо осознается носителями языка; 2) является формой существования любого текста; 3) проявляет себя через набор типовых языковых признаков; 4) поддается лингвистическому конструированию; 5) находится под влиянием многообразных внешних факторов; 6) обслуживает коммуникативную деятельность человека.

Существование концепции *TS* в немецкоязычной лингвистике дает основание для расширения зоны действия категории *TS*. В современной теории текста наибольшее распространение получила модель текстуальности, т.е. совокупности сущностных черт, делающих текст текстом, предложенная В. Дресслером и Р.-А. де Бограндом (1981) и включающая 7 признаков – когезию, когерентность, интенциональность, адресованность, информативность, ситуативность, интертекстуальность. Разрабатываются и другие альтернативные модели текстуальности с опорой на такие признаки, как генеративность (*Generativität*), универсальность (*Universalität*), контекстуальность (*Kontextualität*), процессуальность (*Prozessualität*), интенциональность (*Intentionalität*), диалогичность (*Dialogizität*) [Чернявская 2005: 81-82]. Однако типовой аспект продуцирования, существования и функционирования текстов в этих моделях представлен не вполне отчетливо: как правило, он встраивается в характеристику других признаков текста, например интертекстуальности (ср. [Там же: 78]), и не выделяется как самостоятельный признак текста. Современное развитие лингвистического жанроведения в его немецкоязычной версии делает очевидной необходимость расширения состава признаков текста на еще одну единицу, называемую «жанровость» (*Textsortentbezogenheit* ‘жанровая принадлежность текста’), которая указывает на то, что любой конкретный текст (*Textexemplar*) является носителем типовых признаков своего класса, определяющих его место в общем репертуаре текстов и назначение в коммуникации. Следует отметить, что в результате сравнительного изучения *TS* в лингвокультурном аспекте в состав признаков текстуальности в последнее время все чаще включается «культурная маркированность» текста (*Kulturalität*) как характеристика его принадлежности к определенной культуре, ее специфическим формам и нормам [Fix 2011].

Особенностью развития немецкого варианта лингвистического жанроведения является широкое включение этой проблематики в исследования по истории немецкого языка под знаком усиления внимания к прагматическим аспектам историко-лингвистических штудий¹. В 70-е гг. история немецкого языка как дисциплина оказалась по уровню своих задач в существенном проигрыше по сравнению с грандиозными работами в области лингвистики текста и жанроведения. «Прагматический поворот» в изучении немецкого языка был провозглашен на коллоквиуме в Цюрихе 1978 г. [Ansätze 1980] и далее закреплен в энциклопедическом издании, где был представлен весь предшествующий опыт изучения истории немецкого языка и сформулированы специфические задачи историко-лингвистического жанроведения, которое не только должно стать частью общей теории языковых изменений, но и служить основой для создания коммуникативной истории социума на разных этапах его развития [Sprachgeschichte 1984; 1985]. В этой ситуации усилия историков немецкого языка были направлены на обоснование возможностей исследования исторических текстов с ориентацией на прагматику и разработку новых подходов в традиционной для германистики области. Утверждалось, что «прагматическая перспектива» всегда присутствовала в исторических работах, иначе невозможно было бы изучать проблему изменения языка. Но новая программа была ориентирована именно на историческое жанроведение как составную часть исторической прагматики, которая устанавливает зависимость использования языковых средств как функциональных единиц, обусловленных языковым поведением носителей языка. Тем самым история языка, которая прежде в основном была историей грамматических явлений, частично учитывающей внеязыковые контексты, стала претендовать на то, чтобы соединить изучение языковых явлений с историей *TS* (Textsortengeschichte), поскольку форма и отбор языковых средств существуют не сами по себе: они могут быть объяснены только при учете коммуникативных, т.е. прагматических и социальных, условий продуцирования и восприятия этих текстов [Cherubim 1980: 16].

¹ Исторические тексты как объекты лингвистического анализа всегда выступали и выступают исходным материалом разного рода историко-филологических описаний. Смещение акцента в современных исследованиях в сторону исторического жанроведения вполне объяснимо, поскольку научный интерес вызывает реконструкция не поддающихся прямому наблюдению, скрытых явлений и процессов, происходивших в языке и зафиксированных в его письменной форме как актов коммуникации в широком смысле слова.

Исторический взгляд на проблематику *TS* в немецкоязычной лингвистике отчетливо коррелирует с хорошо известным высказыванием М. Бахтина о том, что жанры текста («речевые жанры» в терминологии Бахтина) – это «...приводные ремни от истории общества к истории языка. Ни одно новое явление <...> не может войти в систему языка, не совершив долгого и сложного пути жанрово-стилистического испытания и обработки» [Бахтин 1986: 256]. В этом высказывании, которое часто цитируется, поскольку является обоснованием жанроведения, заключена по сути программа исторического жанроведения: исходным является комплекс внешних стимулов, характеризующих историю общества, от них идет движение к дискурсивным практикам, которые реализуются в разных жанрах текста, и далее происходит отбор и закрепление языковых средств, обеспечивающих коммуникацию в разных сферах использования языка.

В развитие идей лингвистического жанроведения следует заметить, что история языка считается неразрывно связанной с преобразованиями на уровне жанров текста, которые наиболее непосредственно реагируют на изменчивость внешней среды. Их изучение может дать многое (если не все!) для объяснения процессов преобразования языка как инструмента коммуникации. Тип текста (*TS*) стал в современных концепциях истории немецкого языка центральным понятием, поскольку в нем заключено представление об универсальной, обусловленной эволюцией способности человека к порождению речи в типовых формах, которые имеют ярко выраженную прагматическую природу и являются основой для дальнейших культурных процессов преобразований и дифференциаций [Steger 1998: 289]¹.

В последние годы сложилось представление о том, что модель, основанная на выделении жанров текста, при исторических исследованиях более надежна, чем модель, основанная, например, на функциональных стилях [Семенюк 2000: 42]. Вместе с тем для историко-лингвистического жанроведения очевидна и другая особенность: если для

¹ Следует обратить внимание на тот факт, что первое издание двухтомной «Энциклопедии по истории немецкого языка» [Sprachgeschichte 1984; 1985] через довольно короткое время подверглось переработке и дополнению в части статей, посвященных прагмаориентированным подходам к изучению истории немецкого языка на базе *TS*. Причиной тому стало стремительное и существенное расширение знаний в этой области благодаря появлению многочисленных исследований по данной проблематике как в немецкоязычных странах, так и в зарубежной германистике.

древних этапов истории изучение *TS* связано с ограничениями, обусловленными фрагментарностью памятников письменности (*Überlieferungen*), то для изучения более поздних периодов истории языка проблемой оказывается обилие текстов, их разнообразие и сложность организации письменной коммуникации.

Лингвистическое жанроведение в немецкоязычном языкознании находится у истоков своего развития, несмотря на то что с момента его возникновения в 60-е гг. XX в. проделана огромная работа по обоснованию, конкретизации этой проблематики и расширению зоны исследования текстов разных эпох на предмет изучения их дифференционных (термин В.З. Демьянкова), т.е. выявляемых с помощью тонких исследовательских приемов, признаков, благодаря которым одни тексты отличаются от других или, наоборот, объединяются с другими текстами, что обеспечивает коммуникацию в разных ее видах и для разных целей. Весь ход развития этой проблематики показывает, что термин *TS* является центральным понятием немецкоязычного лингвистического жанроведения и концентрирует вокруг себя большой объем исследовательских задач разного уровня сложности: от изучения отдельных жанровых форм текста (например, *Wetterbericht* 'прогноз погоды') до построения типологии текстов разных областей коммуникации (медийной, политической, бытовой, управленческой и т.д.). Грандиозность задач, стоящих перед жанроведением, в свое время сформулировал М.М. Бахтин; он открыл перед лингвистами необъятное поле деятельности. Однако задача оказалась слишком велика: «речь идет, в сущности, об описании в единых концептуальных рамках всех дискурсов, всего разнообразия форм коммуникации» [Степанов 2005: 24]. Из всего сказанного вполне очевидно, что немецкоязычное жанроведение развивается именно в этом направлении, набирая разнообразный эмпирический материал и вскрывая нетривиальные проблемы изучения *TS* как универсальных типовых форм коммуникации. Поскольку лингвистическое жанроведение существует пока еще как проект, то на данном этапе «намерение и процесс для исследователей, пожалуй, интереснее, чем получаемый результат» [Демьянков 2010: 72].

Литература

Алпатов В.М. Реформатский и Бахтин о жанрах речи // Жанры речи. 2018, №1 (17).

- Бабенко Н.С. Textsortenlinguistik vs лингвистическое жанроведение // Русская германистика. Ежегодник Российского союза германистов. Том V. Типология текстов Нового времени. М., 2009.
- Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.
- Буркетбаева Г.Г. Некоторые вопросы теории жанра в современной зарубежной лингвистике // Вопросы когнитивной лингвистики, 2005, № 2.
- Демьянков В.З. Когнитивизм, когниция, язык и лингвистическая теория // Язык и структуры представления знаний. М., 1992.
- Демьянков В.З. Функционализм в зарубежной лингвистике конца XX в. // Дискурс, речь, речевая деятельность. Функциональные и структурные аспекты. М., 2000.
- Демьянков В.З. Что дает когнитивная лингвистика? // Non multum, sed multa: Немного о многом. У когнитивных истоков современной терминологии. Сборник научных трудов в честь В.Ф. Новодрановой. М., 2010.
- Демьянков В.З. Обыденные концепты и научные понятия // Язык. Культура. Перевод. Коммуникация. Сборник трудов (под научной ред. В.З. Демьянкова). М., 2015.
- Краткий словарь когнитивных терминов / Ред.-сост. Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина. М., 1996.
- Литвиненко Т.Е. Типы «-текстов» в современных гуманитарных исследованиях // Вопросы филологии. 2007, № 4.
- Пастухов А.Г. Внешние и внутренние критерии функционально-стилистической дифференциации текстов // Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе. Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 5. Орел, 2007.
- Семенюк Н.Н. Очерки по исторической стилистике немецкого языка. М., 2000.
- Степанов А.Д. Проблемы коммуникации у Чехова. М., 2005.
- Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М.Н. Кожинной. М., 2006.
- Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Чернявская В.Е. Когнитивная лингвистика и текст: необходимо ли новое определение текстуальности? // Вопросы когнитивной лингвистики, 2005, № 2.
- Adamzik K. Textsorten – Texttypologie – Eine kommentierte Bibliographie. Münster, 1995.

- Ansätze zu einer pragmatischen Sprachgeschichte. Zürcher Kolloquium 1978. (Hg.) Horst Sitta. (= Reihe Germanistische Linguistik 21). Tübingen, 1980.
- Bachtin M.* Das Problem der sprachlichen Gattungen // Die Aktualität des Verdrängten – Studien zur Geschichte der Sprachwissenschaft im 20. Jahrhundert. Heidelberg, 2004.
- Bense M.* Theorie der Texte. Eine Einführung in neuere Auffassungen und Methoden. Köln, 1962.
- Brinker K.* Aspekte der Textlinguistik. Zur Einleitung // Aspekte der Textlinguistik. Klaus Brinker (Hg.) Hildesheim Zürich, New York, 1991 (= Reihe Germanistische Linguistik 106–107).
- Brinker K.* Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. 5. durchgesehene und ergänzte Aufl. Berlin, 2001.
- Cherubim D.* Zum Programm einer historischen Sprachpragmatik // Ansätze zu einer pragmatischen Sprachgeschichte. Zürcher Kolloquium 1978. (Hg.) Horst Sitta. (= Reihe Germanistische Linguistik 21). Tübingen, 1980.
- Dingwall S.* Leaving telephone answering machine messages: Who's afraid of speaking to machines? // Text. 1992. 12 (1).
- Fix U.* Das Rätsel. Bestand und Wandel einer Textsorte. Oder: Warum sich die Textlinguistik als Querschnittsdisziplin verstehen kann? // Sprachgeschichte als Textsortengeschichte. Festschrift zum 65. Geburtstag von Gotthard Lerchner. Hg. v. Irmhild Barz, Ulla Fix, Matianne Schröder und Georg Schuppener. Frankfurt a.M., 2000.
- Fix U.* Was ist kulturspezifisch an Texten? Argumente für eine kulturwissenschaftlich orientierte Textsortenforschung // Русская германистика. Ежегодник Российского союза германистов. Том VIII. Культурные коды в языке, литературе и науке. М., 2011.
- Gülich E.* Textsorten in der Kommunikationspraxis // Kommunikationstypologie. Jahrbuch 1985 des Instituts für deutsche Sprache. Düsseldorf, 1986.
- Heinemann W., Viehweger D.* Textlinguistik. Eine Einführung (= Reihe Germanistische Linguistik 115). Tübingen, 1991.
- Isenberg H.* Probleme der Texttypologie. Variation und Determination von Texttypen // Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl- Marx- Universität. Leipzig. Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe, 27, 1978.
- Kleine Enzyklopädie. Deutsche Sprache. Leipzig, 1983.
- Lage-Müller K. von.* Text und Tod. Eine handlungstheoretische Textsortenbeschreibung am Beispiel der Todesanzeige in der deutschsprachigen Schweiz. (= Reihe Germanistische Linguistik 157). Tübingen, 1995.
- Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. Hg. v. Wener Besch, Oskar Reichmann, Stefan

Sonderegger. 1. Hbd. Berlin; New York, 1984. 2.Hbd. Berlin; New York, 1985.

Steger H. Sprachgeschichte als Geschichte der Textsorten. Kommunikationsbereiche und Semantiktypen // Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. 2., vollständig neubearbeitete und erweiterte Auflage, hg. von Wener Besch, Anne Betten, Oskar Reichmann, Stefan Sonderegger. 1. Teilband. Berlin; New York, 1998.

Wolf N.R. Alle Sprachwissenschaft ist Textlinguistik // Русская германистика. Ежегодник Российского союза германистов. Том V. Типология текстов Нового времени. М., 2009.

К.Г. Красухин

Типы морфем и их изменение¹

Главными проблемами морфологии, как теоретической, так и сравнительно-исторической, являются: 1) классификация словоформ языка, т.е. разбиение их на подгруппы; 2) членение словоформ, выявление в них двух классов морфем, которые условно называются полнозначными и служебными. Первый класс морфем выражает основную семантику слова, второй – отношение слова к высказыванию, т.е. к другим словам, вовлечённым в высказывание, и к ситуации, моделируемой высказыванием (в основном к её пространственно-временным рамкам и к реальности описываемого). Первый класс состоит из большого и размытого множества, второй – из малого и компактного. Существует и промежуточный класс морфем, который выражает оттенки в значении и/или переводит слово в другую часть речи. Они составляют также сравнительно небольшое и компактное множество словообразовательных аффиксов. Существует несколько важных различий между словоизменительными и словообразовательными аффиксами. Главное из них заключается в следующем. А. Словообразовательные аффиксы не имеют жёстких значений. М.В. Панов [1956] иллюстрировал это с помощью следующего ряда: *утрен-ник* ‘утреннее представление’, *днев-ник* ‘ежедневные записи и тетрадь для них’, *вечер-ник* ‘студент вечернего отделения’, *ноч-ник* ‘ночной светильник’. Имена, образованные с помощью одного и того же суффикса от основ, относящихся к единой лексико-семантической группе, существенно различаются по значению. Общая семантика суффикса *-ник* может быть охарактеризована довольно приблизительно: ‘имеющий отношение к чему-либо’. Напротив, значение словоизменительных аффиксов чётко и определённо. Оно может быть разнообразно; но всякая словоформа, снабжённая словоизменительным аффиксом, может в зависимости от контекста получить весь спектр значений своего аффикса. В. Словообразовательный аффикс, какое бы ни было его значение, не может присоединяться к целому классу основ, а только к некоторым: ср. *чит-а-ть* – *чит-*

¹ Статья публикуется в авторской редакции.

а-тель, пис-а-ть – пис-а-тель, но толк-а-ть – толк-а-ч¹, игр-а-ть – игр-ок, шатать(ся) – шат-ун. Напротив, словоизменительные аффиксы присоединяются ко всем основам, включённым в словоизменительную парадигму. Словообразование в индоевропейских языках осуществляется с помощью префиксов, суффиксов и аблаута; словоизменение – с помощью флексий, суффиксов и внутренней флексии. Основное отличие словоизменительного суффикса от флексии состоит в следующем. Первый образует особую основу, которая а) может отличаться от первичной, б) допускает присоединение к себе флексий. Соответственно, суффиксы вступают в парадигматические отношения с суффиксами, флексии – с флексиями. Словоизменительные суффиксы особенно характерны для глагола в индоевропейских языках, который всегда образует несколько основ. Этим он отличается от имени, которое в большинстве случаев пользуется только одной словоизменительной основой. Глагольные категории времени и наклонения образуются, как правило, с помощью различных словоизменительных суффиксов.

Так, исходя из высказанных положений, в русском глаголе можно выделить по крайней мере 10 основ.

1. Основа презенса. Она присоединяет к себе специальные окончания настоящего времени; между ними и корнем, как правило, располагается тематический гласный: /читај-у, -ешь, -ет, -ем, -ете, -ут/ (здесь и далее подчёркнут суффикс основы).

2. Основа прошедшего времени. Её образует специальный суффикс *-л-*. Он допускает присоединение к себе окончаний рода (*-а, -о*) и числа (*-и*): /читад-0, -а, -о; -и/. По происхождению суффикс *-л-* тождествен суффиксу отглагольных прилагательных. Но, переместившись в сферу словоизменения, он изменил набор сочетающихся с ним флексий: *устал#* → *устал-ый, -ая, -ое, -ы(е)* vs. *устал#* → *устал-и*.

3. Основа инфинитива. Суффикс *-л-* находится в парадигматических отношениях с показателем инфинитива *-ть* (*чита-ть*). К нему окончания не присоединяются, но основа, к которой он присоединяется, идентична основе претерита. Морфемы *-л-* и *-ть-*, чередуясь в глагольном словоизменении, относятся к одному классу. Поэтому *-ть-* тоже является суффиксом. В русской грамматике этот суффикс не допускает присоединения к себе окончаний.

4. Основа повелительного наклонения. В нашем примере она омонимична презентной: /читај-/. Но императив использует совсем иные

¹ Производное *толкатель* возможно в устойчивом выражении *толкатель ядра*, относящемся к области подъязыка спорта.

окончания, чем формы настоящего времени: ед.ч. /*читај-0*/, мн.ч. /*читај-me*/.

5. Основа юссива¹. Это особое наклонение, выражающее призыв к совместному действию. Оно омонимично форме 1 л. мн.ч.: *читаем*. Достаточным основанием для выделения в отдельную основу является то, что именно к ней присоединяется окончание мн.ч. (*читаем-me*).

Каждая из этих 5 основ с помощью любого префикса переходит в совершенный вид. Таким образом, число глагольных основ удваивается².

Замечание. Взаимоотношение основы и флексий слова зависит от языкового типа: в агглютинативных языках, в отличие от флективных, флексии объединяются не только в парадигмы, но и в синтагмы. Иными словами, окончания в агглютинативных языках соединяются в цепочки: тур. *dal* «ветка», род.п. *dal-in* → мн.ч. *dal-lar*, род.п. *dal-lar-in*. Таким образом, грамматические значения передаются не изменением основ, а исключительно цепочкой аффиксов. В индоевропейских же языках более всего агглютинативных черт сохранилось в образовании и склонении местоимений³.

Членение словесной основы описывается с помощью двух различных подходов: парадигматического, разработанного Ф.Ф. Фортунатовым и развитого в Московской лингвистической школе, и синтагматического, предложенного американскими дескриптивистами (наиболее чётко – в трудах З. Хэрриса). По Фортунатову, каждое слово входит в два множества по двум своим принадлежностям – основной и формальной. «Формой отдельных слов в собственном значении этого термина называется <...> способность отдельных слов выделять из себя для сознания говорящих формальную и основную принадлежность слова. Формальной принадлежностью слова является та принадлежность

¹ Выделено А.А. Кретовым [1998]. Ему же принадлежит идея о множественности основ русского глагола.

² Не вдаваясь в дискуссию о видах в славянских языках, отметим, что их образование стоит на стыке словообразования и словоизменения. От первого у видовой системы нечёткость значений: 1) суффиксы и особенно префиксы модифицируют лексическое значение глагола; 2) грамматическое же их значение не всегда однозначно (*толк-ну-ть* как показатель сов. вида – *сох-ну-ть* – несов.) От второго – обязательность: любая глагольная основа должна иметь видовую характеристику.

³ Конечно, нет языков, в которых бы не было черт различных типов. Возвратная частица в современном русском языке напоминает агглютинативную морфему; явно агглютинативный характер носили общиндоевропейские показатели презенса **-i* и императива **-u* (по происхождению, по-видимому, указательные местоимения со значением соответственно «здесь» и «там»).

звуковой стороны слова, которая видоизменяет значение другой, основной принадлежности этого слова, как существующей в другом слове или в других словах, с другой формальной принадлежностью, т.е. формальная принадлежность слова образует данное слово, как видоизменение другого слова, имеющего ту же формальную принадлежность» [Фортунатов 1956: 135–136]. При этом понятие основной принадлежности текуче: от простой первичной основы могут образоваться вторичные, производные, объединённые дополнительным суффиксом в новую основную принадлежность¹. Так, *волк* – *волка* – *волку* объединено основной принадлежностью, а *волку* – *столу* – *дому* – формальной. Новые основные принадлежности появляются в процессе словообразования: *дом* – *дом-ик*. Такая основа производна по отношению к первичной, но обладает способностью образовывать свои основные принадлежности. Новые основы появляются также благодаря процессам переразложения и опрощения (В.А. Богородицкий, см. ниже).

Согласно же З. Хэррису, любой элемент языка тесно связан в цепочке с другими элементами того же класса, для каждого элемента существуют необходимое, возможное и невозможное окружение. Поскольку система Хэрриса менее известна, чем идеи его ученика Н. Хомского, остановимся на ней подробнее. Базис его теории таков. Если С и D – это окружение, и есть элементы А, В такие, что CAD и CBD, то А и В относятся к одному классу морфем (под морфемой Хэррис подразумевает как служебную морфему, так и основу, и цельное слово). Ср. *Where did the ___ go?*, где позицию ___ может занимать имя *child / young man*². Однако очевидно, что в действительности любой элемент языка входит в большое количество окружений. И элементы А и В могут быть эквивалентными в одном окружении, но вовсе не эквивалентными в другом. В этом случае, по мнению американского исследователя, класс надо разбивать на субклассы, опираясь на следующие критерии: А. Позиция морфемы в окружении. В марокканском арабском претерит выражается постфиксом, а футурум – префиксом: *ana mši-t ld'aru* 'я пришёл в этот дом' vs. *ana n-mši ld'aru* 'я приду в этот дом'. В. Окружения разделяются на объединяющие и разделяющие³. Так, все английские глаголы

¹ «Слова могут заключать в себе более одной формы, так как в основе слова, имеющего форму, могут, в свою очередь, выделяться для сознания говорящих формальная принадлежность и основа» [Фортунатов 1956: 138].

² Для удобства З. Хэррис использует синонимичные выражения.

³ В иной терминологии их можно было бы назвать интегральными и дифференциальными.

могут образовать джерунд на *-ing*. А префиксация служит фактором, разделяющим глаголы. Так, приставка *un-* может присоединяться к корню *dress*, *dis-* – к корню *connect*, тогда как *cover* допускает обе приставки. Следовательно, распределение приставок – это разделяющий признак, тогда как сочетаемость с суффиксом *-ing* – объединяющий признак глагола. Заметим от себя, что префиксация – это типичный словообразовательный процесс, что и объясняет неполноту распределения приставок. А в примерах Хэрриса довольно чётко противостоят исконно английская и заимствованная приставки. Первая сочетается с исконными же английскими корнями и с полностью освоенными заимствованиями, вторая – с книжными заимствованиями. Это – не возражение против теории Хэрриса, а внесение в неё необходимого компонента – историзма. Модель Хэрриса позволяет описать грамматическую систему от фонемы до высказывания, что автор и сделал, изложив систему английских имён и глаголов в виде 16 формул, прибавив к ним 9 правил перехода частей речи и 10 правил построения высказывания на едином морфемном принципе. У Фортунатова и Хэрриса речь идёт в принципе об одних явлениях, рассмотренных с разных точек зрения. Подход Фортунатова – морфологический, релевантный для языков с развитой флексией и системой словообразования. Подход же Хэрриса – синтаксический, ориентированный на сочетаемость, пригодный для описания языков с редуцированной морфологией. Но примечательно, что, описывая правила сочетаемости, Хэррис обращается именно к морфологическим характеристикам сочетающихся языковых единиц.

Чёткое и ясное изложение идей Хэрриса представил К. Боргстрём [Borgstrøm 1954: 277]. Существуют классы *a* и *b*. Первый состоит из морфем, которые могут быть замещены неограниченным количеством единичных морфем; вторые замещаются ограниченным классом морфем. Соответственно, слова состоят из цепочек (последовательностей) морфем. Последовательность морфем является словом, если: 1) в последовательности имеет место хотя бы единичная морфема *a*; 2) как правило, не больше одной *a*; 3) если же имеет место цепочка *a*, она не должна прерываться ничем, кроме ещё одной морфемы *a*. Здесь необходимо оговориться: правило 3) полностью применимо только к агглютинативным и аналитическим языкам. В языках синтетического строя между двумя полнозначными морфемами, объединёнными в слово, как правило, появляется либо интерфикс (*вод-о-род*, *δρυ-ο-κόιτης* ‘живущий на дубе’), либо морфема (*agri-cultura*), хотя присоединение чистой основы ко второму члену композита тоже встречается (*δρυ-τόμος* ‘дровосек’). Так что следует скорее говорить об ограниченном классе мор-

фем, соединяющих полнозначные морфемы (класс *a*) в композиты. Второе замечание связано с тем, что в класс *b* необходимо добавить и 0 морфему, которая тоже присоединяется к морфеме класса *a*. В синтетических языках она может быть омонимична: *дом-0* vs. *коров-0*. Разделение же морфем на классы чрезвычайно важно для теории грамматикализации (см. ниже).

Модель Хэрриса, как и Фортунатова, релевантна и для исторической лингвистики. В ряде работ Г. Хёнигсвальда [Hoenigswald 1960] показано, что одной из причин языковых изменений является нарушение правил сочетаемости для языковых единиц. И именно с проблемы окружения языковых единиц Хёнигсвальд начинает своё исследование. Единица *a* возможна в контекстах типа *A*, невозможна в контекстах *A'*; соответственно, единица *b* возможна в контекстах *B*, но не *B'*. Совокупности контекстов *A* и *B* позволяют определить значение обеих единиц. Первичное состояние языка (I): $a\ b: 1\ 2$ (где *a*, *b* – единицы плана выражения, 1, 2 – единицы плана содержания). Состояние II: $(a + b): 1\ 2$ (слияние, merger: одна единица поглотила другую и имеет два новых значения). Состояние II' $a\ a': 1\ 1'$ (щепление, split: единица разбилась на две, появилось новое значение для новой единицы). Слияние и щепление – важнейшие составляющие процессов языкового изменения. У Хёнигсвальда эти процессы иллюстрированы фонетическими изменениями, но можно подобрать и морфологические. Так, в древнерусском языке противопоставлялись друг другу аорист, имперфект и перфект. Первые образовывались с помощью специальных суффиксов и окончаний, второй представлял собой аналитическую форму: вспомогательный глагол с причастием на *-л-*. Аорист указывал на действие как свершившийся факт, перфект – состояние в результате произошедшего действия, имперфект первоначально означал «находиться в прошлом в состоянии действия» [Мейе 1951/ 2000: 206–213]. К XVII в. формы имперфекта и аориста окончательно вышли из употребления. Перфект, лишившийся вспомогательного глагола, стал передавать все оттенки действия, свершившегося в прошлом. Его собственное значение (состояние в результате прошедшего события) оказалось на периферии (*устал*).

В качестве же щепления можно вспомнить развитие значения джерунда у суффикса абстрактного имени *-ing-* в английском. В итоге образовались две омонимичные формы с различным значением и сочетаемостью. Джерунд – часть глагольной формы, он сочетается с вспомогательным глаголом *be* в различных временах. Имя же с суффиксом *-ing* способно присоединять к себе именные морфемы: ср. *I am meeting with my friends* vs. *Meetings occurred in the entire country*. Морфема мн.ч. -s

характерна для имени, но не для глагольной формы. Следовательно, суффикс *-ing* в английском расщепился на словообразовательную и словоизменительную морфемы¹.

Принципы разбиения языковых единиц независимо от их морфологической или синтаксической направленности легли в основу теоретико-множественной модели языков [Маркус 1970]. В её рамках выделяются: словарь Γ , полугруппа T (т.е. подмножества, выделенные на едином основании для каждого), множество правильно построенных предложений Φ . Соответственно $\Phi \subseteq T$ – это грамматика. Язык определяется как $\{\Gamma, P, \Phi\}$, дополнительная функция P – способ разбиения Γ . Пояснить это можно так:

$\Gamma = \{un, professeur, maison, grand, petit...\}$;

$P(un) = \{un, une; le, la, les, des\}$;

$P(professeur) = \{professeur, professeurs\}$;

$P(maison) = \{maison, maisons\}$;

$P(grand) = \{grand, grande, grands, grandes\}$;

$P(petit) = \{petit, petite, petits, petites\}$ [Маркус 1970: 112]. Таким образом, P в этой системе – функция, выделяющая парадигму отдельного слова. Совершенно очевидно, что в данном случае мы имеем три полугруппы: артикль (основание для выделения – изменчивость по родам, числам); существительные (изменчивость по числам), прилагательные (изменчивость по родам и числам). Морфологические характеристики каждой полугруппы в общем отвечают синтаксическому функционированию входящих в неё слов. И теоретико-множественная модель С. Маркуса представляет собой удачный синтез морфологического и синтаксического подходов к выделению классов слов.

На примере теорий Фортунатова и Хэрриса можно убедиться в плодотворности применения структурно-системных моделей языка к исторической грамматике. Это имеет особое значение в теории реконструкции, когда мы не можем наблюдать процессы языкового изменения непосредственно. Наблюдение над синхронным состоянием языка и исторически засвидетельствованными изменениями верифицирует выводы, полученные в стандартных компаративных процедурах. Для исторической морфологии особое значение имеют такие явления, как грамматикализация, переосмысление и переразложение. Под первым

¹ Конструкция Present Continuous с суффиксом *-ing* развилась из словосочетания *be on -ing*. Предлог в XVII–XVIII вв. редуцировался в частицу *a-*, лишённую собственного значения, сохранившуюся в американском английском до конца XIX в.: *I am a-hunting* ‘я сейчас охочусь’.

в узком смысле понимается переход полнозначных слов в грамматические морфемы (термин и определение впервые предложены в [Meillet 1912]). Главным критерием является изменение значения, проявляющееся в изменении валентности единицы. Сравним два предложения: *Sally is going to town* 'Салли идёт (сейчас) в город' vs. *Sally is going to wake up in a minute* 'Салли проснётся через минуту' [Abraham 1992: 11].оборот *be + going (to)* по сути расщепился. Если за предлогом *to* следует имя, он сохраняет лексическое значение; если же далее стоит глагол, образующий с предлогом инфинитив, – джерунд превращается в будущее (с оттенком непосредственного осуществления вслед за моментом речи). На этом примере хорошо видно, каким образом происходит семантическое изменение грамматикализованной формы: вещные, конкретные значения заменяются на абстрактные, выражающие чистые отношения. Кроме этого, при грамматикализации могут иметь место следующие явления.

А. Как уже отмечалось, словоформа меняет свою валентность: *благодаря* как деепричастие сохраняет глагольное управление – требует объекта в винительном падеже, а предлог *благодаря* сочетается с дательным падежом. Переходя в статус служебных морфем, она сочетается с такими словами / основами, с которыми бы не могла, если бы ее лексическое значение сохранялось. Так, в латыни имя *mens* 'дух, смысл' образует с прилагательными конструкцию в аблативе со значением характеристики внутреннего состояния: *forti mente* 'с сильным духом'. Во французском же лат. *mente* обратилось просто в суффикс наречия; *fortement* 'сильно'. В латыни сочетание **frigida / calida mente* было бы бессмысленным, французские же *froidement* 'горячо', *chaudemment* 'холодно' – вполне осмысленные и закономерные наречия.

В. Слово, подвергшееся грамматикализации, меняет своё фонетическое звучание, как правило, в сторону упрощения. Достаточно сравнить показатели возвратного глагола и возвратные местоимения в балтийских и славянских языках: лит. *save* 'себя' и *-si/-s*, русск. *себе, себя* и *-ся/-сь*.

С. Грамматикализованная единица тяготеет к образованию синтагмы на месте словосочетания. Проявляется это в том, что она занимает жёсткую позицию относительно другого слова, не может быть от него отторгнута. Так, та же возвратная частица в древнерусском и церковнославянском занимала относительно свободную позицию в отношении глагола: *обращь же сѧ штрафес дѣ* (Лк 9: 55); *покаали сѧ биша метевѡрава ѡв* (Лк 10: 13); *сѧ воры сѧ ему не водити* (грамота XVII в.; [Кузнецов 1953: 273]). Это типичная энклитика, подчиняющаяся закону Вакернагеля

[Зализняк 2008]. По данным П.С. Кузнецова, процесс фиксации возвратной частицы в русском языке завершается к XVII в. [Там же]. В болгарском и сербохорватском сохраняется статус частицы как клитики. В литовском языке возвратная частица составляет с глаголом единое фонетическое слово, но её место зависит от характера глагола: она прищипывает к простому глаголу, но в случае префиксации ставится после приставки, перед корнем: *dėti* ‘устанавливать, деть’, *padėti* ‘подевать’ → *dėtiš* ‘устанавливать себе’, но *pasidėti* ‘подевать для себя’. В современном же русском частица *-ся/-сь* фиксирована в позиции за флексией. На этих примерах можно видеть этапы оформления словоформы из синтагмы.

Однако и в современном русском языке грамматикализация этого аффикса не дошла до предела. Возвратная частица стоит после изменяющейся флексии. Пределом же развития синтагмы в единое слово следует, очевидно, считать такое положение дел, когда новая морфема полностью сливается со словом. Такова судьба членных прилагательных в русском языке. Сравним лит. *gėras-is vūras* – др.-русс., ц.-слав. *добрѣ-и мѣжъ*. В литовском языке грамматикализация указательного местоимения не доведена до конца: оно составляет с прилагательным единое фонетическое слово (т.е. его позиция фиксирована), но при склонении изменяется и прилагательное, и местоимение: род.п. *gėrojo vūro* (подчёркнута флексия падежа). В древнейших церковнославянских памятниках встречается род.п. *добраіего*, т.е. форма, в которой склоняются и форма прилагательного, и местоимение. Однако в истории языка эта форма подвергается фузии: *добрааго* → *добраго* → *доброго*. В последней форме исчезает флексия имени, грамматическое значение выражается только окончанием местоимения. Во множественном числе граница между основой имени и местоимением полностью стирается: род.п. *добрѣихъ*, дат.п. *добрѣимъ*, твор.п. *добрѣими*, мест.п. *добрѣихъ*. Вот эти цельные формы и есть завершение грамматикализации. Поскольку же при грамматикализации значение подвергнувшегося ей элемента ослабляется, её пределом можно считать полную утрату значения. Именно это произошло с местоименным постфиксом в современном русском языке. В церковнославянском и древнерусском определённые прилагательные были маркированным членом оппозиции: они не могли стоять в предикативной позиции, присоединялись, как правило, к имени уже названного или предмета, или такого, свойства которого были хорошо известны: *і ты бѣ съ іѡмъ галильскымъ* (Зогр. Мф 26: 69): *оуподоби са црѣствие нбсное чкѡу съвѣшюмоу доброе съмѣ на спль своемъ* (Зор. Мф 13: 24–25). В предикативной позиции они стоять не могли.

Напротив, в современном русском языке полные прилагательные могут занимать любую позицию. Маркированными являются краткие прилагательные: они потеряли склонение, занимают только предикативную позицию. При этом полные прилагательные чаще обозначают предикат при конкретном имени: *этот дом большой*, а краткие – при общем имени: *Человек велик*. Следовательно, местоимение **jъ* в данном случае полностью утратило своё значение. Оно заменило флексию, утерянную прилагательным.

Теория грамматикализации хорошо описывается моделью Хэрриса–Боргстрёма. Самостоятельное имя *man* ничего общего не имеет с морфемой имени деятеля *-er*. Но она может измениться – стать второй частью композита, затем грамматикализироваться. Это означает переход морфемы из полнозначного класса (*a*) в служебный (*b*). В именах *fish-man* и *fish-er* обе вторые морфемы входят в единый класс словообразовательных единиц. Иногда полнозначное слово превращается в так называемый *вербоид* – языковую единицу, имеющую только некоторые формальные признаки слова, но, как правило, лишённую самостоятельного лексического значения. То же *man* в германских языках стало показателем безличного предложения: нем. *man sagt*, др.-англ. *man sealde* ‘получено’. Видимо, эта конструкция появилась под влиянием латинской, засвидетельствованной у Плавта *homo dicit*, дословно ‘человек говорит’, в действительности – ‘говорят’. Полнозначное слово и вербоид развились во французском в совершенно разные единицы: *l'homme dit* vs. *on dit*¹.

В индоевропейском языкознании подобные идеи появились раньше, чем было сформулировано понятие грамматикализации. Ф. Бопп [1816] полагал, что все индоевропейские служебные морфемы происходят из полнозначных слов. Для объяснения их происхождения он старался подобрать наиболее созвучные им лексемы из праиндоевропейского лексикона. И если не все этимологии и объяснения Боппа можно считать убедительными, то по крайней мере для части индоевропейских морфем происхождение из полнозначных слов можно считать доказанным.

Термин *переразложение* был предложен В.А. Богородицким: «Переразложением называется такое явление, когда слова, известным образом разлагавшіяся въ умѣ индивидуумовъ прежняго времени, затѣмъ разлагаются по другому вслѣдствіе перемѣщенія морфологической гра-

¹ Современный английский показатель неопределённо-личного предложения *one* заменил старое *man* под влиянием франц. *on*.

ницы» [Богородицкий 1913: 120]. В качестве примера В.А. Богородицкий приводил древнерусское *рыба-мъ, рыба-ми, рыба-хъ*, перешедшее в *рыб-ам, -ами, -ах*. Эти новые окончания внедрились и в другие склонения: *рабам, рабами, рабах* вместо *раб-омъ, раб-ы, раб-ьхъ*. В этой связи заметим, что образование основы юссива произошло именно в результате переразложения: *почитај-ем#* → *почитаем-* (-0, -те). В западноевропейской лингвистической литературе используется перевод этого термина *reanalysis*; но смысл здесь несколько иной. Под ним подразумевается изменение категориальных характеристик словоформы [Abraham 1992: 13–18]. Иными словами, под эту категорию попадает любое изменение словоформы, к примеру частеречная принадлежность: падежная форма может переходить в наречие, ср. русск. *весной*. В германских языках имя превратилось в союз придаточного предложения: др.-англ. *hwil* ‘время, промежутки’ – н.-англ. *while* ‘тогда, так как’; др.-в.-нем. *wila* – нем. *weil* с теми же значениями (сохранилось и полноточное имя *Weile*). В [Hopper–Traugott 2003: 51–52] упоминается определение, близкое к данному Богородицким, хотя и без ссылки на него: изменение морфемной границы. Так, имя *hamburger*, происходящее из названия города и членившееся как *hamburg-er*, под влиянием имени *ham* ‘ветчина’ изменяется в *ham-burger*, благодаря чему появляется *fish-, cheeseburger* и простое *burger*. Но П. Хоппер и Э. Трауготт не ограничиваются этим и приводят далее примеры, близкие к примерам В. Абрахама. Из этого следует, что в современной европейской и американской лингвистике *reanalysis* имеет более широкое значение, чем *переразложение*. За последним лучше оставить прежний смысл, тогда как *reanalysis* в широком смысле целесообразно перевести как ‘переосмысление’. Итак, основы морфологического изменения суть: грамматикализация, переразложение, переосмысление.

Говоря о переосмыслении, Хоппер и Трауготт подчёркивают, что этот процесс отличается от грамматикализации. Прежде всего, переосмысление не обязательно приводит к формированию грамматических морфем. Авторы с основанием полагают, что второй элемент в сложных словах (таких, как *fishwife* ‘торговка рыбой; вульгарная женщина’, *sweetmeat* ‘цукат, конфета’) не превращается в грамматический показатель, хотя переосмысление здесь налицо: значение этих имён отличается от составляющих их элементов. Отметим, что второй элемент композита *-man* более грамматикализован: *fish-man* по смыслу не отличается от *fish-er*. Что же касается форм *-wife, -meat*, то они не превратились в продуктивные форманты, используются только в небольшом количестве словосложений, так что должны рассматриваться

именно как вторые части композитов, а не суффиксы: *alewife* ‘содержательница пивной’. Кроме этого, переосмысление трактуется Хоппеном и Трауготт как изменение категории без изменения формы, тогда как грамматикализация часто подразумевает фонетические изменения языковой единицы. Оба явления тесно связаны с аналогией, которая способствует распространению видоизменённых форм. Авторы именуют переосмысление синтагматическим фактором, аналогию – парадигматическим. Футурум *be going to* объясняется именно взаимодействием аналогии и переосмысления. 1. *Be going [to visit Bill]* ‘Отправиться навестить Билла’ (союз *to* вводит целевое предложение). 2. [*Be going to*] *visit Bill* (переосмысление: в квадратных скобках временная форма). 3. [*Be going to*] *like Bill* (аналогия: временная форма распространяется и на иной контекст, который в отличие от (2) уже по смыслу не сочетается с оборотом *be going* в его первичном значении). 4. [*gonna*] *like / visit Bill* (переосмысление: будущее выражает и иная форма того же глагола).

Грамматикализация в узком смысле – не единственный фактор морфологической эволюции. Поэтому кратко рассмотрим вопрос: по каким законам изменяется морфология и как её реконструировать? Для ответа на первый вопрос большое значение имеет предложенная В.К. Журавлёвым формула морфологического изменения, аналогичная его же формуле фонетического закона:

А. Формула морфологического изменения

$$\frac{L\{m_1 \leq m_2\}T}{p}$$

(морфема m_2 замещает морфему m_1 в позиции p в языке L во время T)

В. Морфологическая конвергенция (строчные – план содержания, прописные – план выражения):

$$a \times b \rightarrow c$$

А В С

Появление нового морфемного комплекса.

$$1) a:b \quad 2) c \quad 3) c$$

С А : В С

1) Сохранение единиц плана содержания при слиянии единиц плана выражения: совпадение флексий номинатива и аккузатива у неодушевлённых имён в русском языке. Иными словами, одна морфема начинает выражать несколько значений.

2) сохранение оппозиции единиц плана выражения при нейтрализации единиц плана содержания. Так различные флексии приобре-

тают одно значение. Например, в гомеровском греческом имеются два вполне равнозначных окончания родительного падежа тематических основ: *-οιο* и *-ου*.

3) Собственно конвергенция. Здесь В.К. Журавлёв указывает на падежный синкретизм. Это совершенно справедливо, так как в данном случае окончание одного падежа вытесняет другие и перенимает их функции. Так в древнегреческом практически бесследно исчез аблатив, его функция выполняется флексией генитива. Но чаще происходит иначе. Локатив в древнегреческом слился с дативом, но его окончание не исчезло полностью. Во-первых, оно сохранилось в наречиях типа *οἴκου* 'дома', *πανδημεί* 'прилюдно'. Во-вторых, оно присутствует в парадигме как флексия датива III склонения: *λύκω* отражает исконный датив (др.-инд. *vīkāya*, лит. *vīkui*), а *θηρί* – исконный локатив (ср. др.-инд. *ksāmi*). Перед нами особый вид морфологической конвергенции, которую можно назвать так: замена распределения по значениям на распределение по основам. Так же в церковнославянском соотносятся исконный аблатив *-а* (*вълка*) и исконный генитив *-е* (*камене*): первый образует род.п. тематических основ, второй – основ на согласный.

Морфологическая дивергенция выражается следующими формулами:

$a \rightarrow b \text{---} c$

А В С

1) $b \text{---} c$ 2) a 3) $b \text{---} c$

А В --- С В --- С

1) две единицы плана содержания при одной – плана выражения (развитие категории рода у имён общего рода); 2) «пустая» морфологическая оппозиция (*весной* – *весною*; греч. *λύκοιο* – *λύκω*); 3) собственно дивергенция: морфологическая и семантическая (категория одушевлённости в славянских языках).

Причины морфологической эволюции суть следующие.

1. Разрушение старых морфем. Обычно происходит под влиянием следующих факторов. А. В языках с силовым акцентом, особенно если ударение фиксировано на начале слова, редукция безударных гласных может захватывать конечные слоги. Если они содержат флексии, то это способствует разрушению флективного строя. Так видоизменилась морфология в романских, новых германских, индийских и иранских языках. В. Более частотные элементы языка подвержены большим фонетическим изменениям, чем менее частотные. С этим связано развитие супплетивизма в личных местоимениях и глаголах бытия, как к единицам высокой частотности. И флексии сокращаются и редуцируются

под влиянием этого фактора; классический пример – приведённое *весною / весной*. С. Один из важнейших факторов распада грамматической системы – языковые контакты. Так, английский язык в результате взаимодействия с близкородственным древнескандинавским (VII–XI вв.) в значительной степени утратил своё склонение (сохранилось два падежа из 4) и часть спряжения. Взаимодействие же с неблизкородственным французским (XI–XV вв.) привело к практически полному разрушению синтетической морфологии. Напротив, древнескандинавский язык в Исландии, оказавшийся в жёсткой изоляции от других языков, за восемь столетий почти не изменился.

2. Образование новых морфем. Оно происходит, как правило, благодаря грамматикализации в узком смысле слова: полнозначные и служебные слова в определённых условиях превращаются в морфемы. Иногда это сопровождается их фонетическим изменением, иногда нет.

3. Переосмысление морфем: старые морфемы приобретают новые значения. Так, в большинстве индоевропейских языков наречия являются собой застывшие падежные формы, иногда сохраняющие исчезнувшие флексии. Так, греческий суффикс *-ως*, по-видимому, отражает индоевропейский инструменталь или аблатив, полностью исчезнувший в греческом; русское и церковнославянское *вчера* и *завтра* сохраняют исконную общеиндоевропейскую флексию творительного падежа, вытесненную в славянских языках наречным по происхождению *-омъ*. Здесь, как видим, переосмысление шло в двух направлениях. Сначала наречный суффикс *-омъ* вытеснил исконное инструментальное окончание **-a < *-ō (< *-oh₁;* ср. лит. *vilkù*). Затем некоторые застывшие падежные формы переосмысляются как наречия.

Реконструкция морфологии требует, прежде всего, конечно, строгого следования фонетическим законам. Однако морфемы, как было отмечено выше, поддаются различным изменениям – как фонетическим, так и обусловленным аналогией, переразложением, переосмыслением. К этому надо добавить отмеченное Е. Куриловичем давление системы. Оно заключается в том, что наиболее важный системообразующий грамматический формант распространяется по аналогии. В частности, в индоевропейском склонении в определённый момент окончание **(e)s* стало ассоциироваться с множественным числом. Произошло это потому, что флексия **-s* в им.п. ед.ч. в основах на сонорный слилась с ауслаутом (вызвав удлинение предшествующего гласного): **d^hǵ^hóm-s > *d^hǵ^hóm* (греч. *χθών*, др.-инд. *kṣá*); **ph₂-tér-s > *ph₂-tēr* (греч. *πατήρ*, др.-инд. *pítár*) – мн.ч. **d^hǵ^hóm-es, *ph₂ter-es* (*kṣámas, χθόνες, pitáras, πατέρες*). Благодаря этому ряд флексий мн.ч. приобрёл формант *-s#*: аккузатив

*-ns < *-m (флексия ед.ч.) + -s; инструменталь, датив, аблатив *-b^hi/*-b^hyo, *-b^ho, *-mo (суффиксы наречий) + *-s. Более того. Окончание *-s проникло в некоторые формы множественного числа глаголов (1 л. *-mos, лат. 2 л. -tis). Это можно сравнить с развитием семитской глагольной флексии [Koch 1996]: прасемитское окончание перфекта-статива реконструируется как: 1 л. ед.ч. *-ku; 2 л. ед.ч. *-ta. Оно сохранилось в академском -āku/-āta. В аравийских и западносемитских языках 1 л. изменилось под влиянием 2: арабское tu/ta, древнееврейское -ti/-ta, арамейское -et/-t; в эфиосемитских языках – 2 л. под влиянием 1: амхарское -ku/-ka. Таким образом, отступление от фонетического закона в развитии фонем должно получить своё объяснение.

Ещё один важный фактор – многозначность морфемы. В принципе, это универсальная черта, связанная с самой природой языкового знака. Но иногда многозначность делает языковой знак функционально неудобным. И для выражения специфических значений требуется новая языковая единица. Так, в русском языке после падения нескольких типов склонений их флексии были использованы для формирования новых падежей: родительного II, выражающего количество (*недостаток леса* vs. *недостаток лесу*), и предложного II, обозначающего среду протекания события (*Художники находят в снеге много оттенков* vs. *дети играют в снегу*). Флексии -у были заимствованы из исчезнувшего склонения на -у, в которое входило много имён с «вещным» значением: *медъ* – род. и местн. п. *медоу* [Кузнецов 1953; Якобсон 1985]. Другой пример замещения многофункциональной морфемы на более специфическую – окончание индоевропейского среднего залога. Флексия *-é, первоначально выражавшая это значение (с оттенком состояния, неконтролируемого процесса), также являлась окончанием 3 л. перфекта, основообразующим элементом тематического глагола и т.д. В большинстве индоевропейских языков она заменена на *-tó. Эта последняя означала сперва действие, направленное субъектом на себя (т.е. прямо- или косвенно-возвратное). Затем её значение расширилось – она стала обозначать и непереходное действие, и состояние, и терпение.

И, наконец, морфологические изменения подчиняются ещё одной тенденции. В морфологической структуре языка существуют категории, которые можно назвать *семантическими постоянными*: смыслы и отношения, существование которых, очевидно, необходимо для правильной организации речи. В процессе морфологических изменений эти постоянные могут заполняться различными морфемами и служебными словами, но сами по себе сохраняются. Так, понятие *принадлежности*

оказывается тесно связано с понятием *отделения*. В истории индоевропейских языков аблатив и генитив сливались достаточно часто (в балтославянских, отчасти индоиранских языках); при распаде падежной системы принадлежность выражается предлогами со значением отделения (франц. *de*, англ. *of*) [Курилович 1960]. Устойчивой оказалась категория состояния в глаголе. В праиндоевропейском она выражалась с помощью форм перфекта; пережиток этого отразился в некоторых архаических перфектах в древнегреческом и ведийском [Renou 1926; Chantaine 1927]: вед. *tatána* 'натянут', *véda* 'он знает', др.-греч. *ἔφθορα* 'разрушен', *#ο δε* 'он знает' (пофонемно соответствующее ведическому), а также в германских претерито-презентных глаголах: гот. *scal* 'должен', *wait* (= вед. *véda*) и т.д. Затем перфект стал обозначать состояние, возникшее в результате действия в прошлом: *ἔστηκα* 'встал и стою', после чего перешёл просто в претерит. Он был замещён конструкцией, выражавшей временную двуплановость на морфологическом уровне: вспомогательный глагол в презенсе + причастие претерита (*have written* = *a écrit* = *hat geschrieben* = *ἔχει γραφθεῖ*). Эта конструкция тоже в большинстве случаев перешла в прошедшее время [Meillet 1921], породив дискуссию о своём значении и отличии от синтетической формы прошедшего времени [Weinrich 1960]. В любом случае учёт семантических постоянных в изучении морфологической эволюции необходим.

Литература

- Богородицкий В.А. Лекции по общему языковедению. Казань, 1913.
- Зализняк А.А. Древнерусские энклитики. М., 2008.
- Кретов А.А. Суффиксальный стык: Прошлое в настоящем // Филологические записки: Вестник литературоведения и языкознания. Вып. 10, 1998.
- Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. М., 1953.
- Курилович Е. О методах внутренней реконструкции // Курилович Е. Очерки по лингвистике. М., 1960.
- Маркус С. Теоретико-множественные модели языка. М., 1970.
- Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951 (переизд. 2000).
- Панов М.В. К вопросу о слове // Учёные записки Московского городского педагогического института им. В.П. Потёмкина. Вып. 13. М., 1956.
- Фортунатов Ф.Ф. Сравнительное языковедение // Фортунатов Ф.Ф. Избранные труды. Т. I. М., 1956.

Якобсон Р.О. Морфологические наблюдения над славянским склонением // *Якобсон Р.О. Избранные работы.* М., 1985.

Abraham W. Einleitung zum Thema dieses Bandes. Grammatikalisierung und Reanalyse: Einander ausschließende oder ergänzende Begriffe? // *Folia Linguistica Historica*, XIII, 1-2, 1992.

Bopp F. Über das Konjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griech.-lat., pers. und german. Sprache. Frankfurt a/M, 1816.

Borgstrøm K. Internal reconstruction of Pre-Indo-European word-forms // *Word*. Vol. 10, 1954.

Chantraine P. Histoire du parfait grec. Paris, 1927.

Hoenigswald H. Language change and linguistic reconstruction. Chicago; London, 1960.

Hopper P.J., Traugott E.C. Grammaticalization. Cambridge, 2003.

Koch H. Morphological reconstruction // *Comparative method revisited*/ Ed. by Marc Duree & Malcolm Ross. Cambridge, 1996.

Meillet A. L'Evolution des formes grammaticales // *Scientia*, 1912, № 26.

Meillet A. Sur la disparition des formes simples du prétérit // *BSL* v. XIX, 1921.

Renou L. Le valeur du parfait dans hymnes vediques. Paris, 1926.

Weinrich H. Tempus: die gesprochene und erzählte Welt. München, 1964.

П.С. Дронов

Идиомы с компонентами *земля, почва*: метафоры, культурные коннотации и употребление (на материале славянской, германской и кельтской фразеологии)¹

Тема национально-культурной специфики является традиционной для фразеологических исследований; в качестве иллюстрации этого часто приводится высказывание А.М. Бабкина о том, что идиоматика есть «святая святых» национального языка, в котором неповторимым образом «манифестируется дух и своеобразие нации» [Баранов, Добровольский 2008: 251]. Это связано с тем, что значительная часть идиом не имеет прямых эквивалентов в других языках. В.Н. Телия отмечает, что, поскольку характерная для идиом образная мотивированность непосредственно связана с мировидением народа – носителя языка, идиомы обладают национально-культурной коннотацией – «интерпретацией денотативного или образно мотивированного, квазиденотативного, аспектов значения в категориях культуры» [Телия 1996: 215]. При этом выделяются такие пласты культуры, как архетипические (например, противопоставления своего и чужого, верха и низа, далекого и близкого), природно-ландшафтные, мифологические (включая элементы анимизма и фетишизма, с которыми связано придание особого значения частям тела) [Ковшова 2014: 14].

Данная статья посвящена идиомам с компонентами *земля* и *почва* на материале славянских (русский, сербохорватский), германских (английский, немецкий) и кельтских (ирландский) языков. Мы рассмотрим их лексико-грамматические изменения и сопутствующие семантические переносы. Кроме того, помимо культурной специфики мы исследуем сходство и различия в словоизменительных парадигмах и модификациях фразеологических интернационализмов (по А.Д. Райхштейну), или *common figurative units* (по Э. Пиирайнен); ср. рус. (как)

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-28-00130) в Институте языкознания РАН.

сквозь землю провалиться, англ. *to disappear/vanish off the face of the earth*, нем. *wie vom Erdboden verschluckt/verschwunden sein*, сербохорв. *као да је земља прогутала / као да је у земљу пронао (као да га је земља прогутала / као да је у земљу пропао)*.

Рассмотрим именные компоненты: рус. *земля, почва*, сербохорв. *земља (zemlja), землиште (zemljište), тло (tlo)*, англ. *earth, ground, land, soil, sod, turf*. Если не учитывать некоторых специфических значений – впрочем сводимых к основным (ср. *earth* ‘the underground lair of a badger or fox’ [«подземное логово барсука или лисы»] или *land* ‘the space between the rifling grooves in a gun’ [«промежуток между нарезами в стволе винтовки»] [Oxf.]; *Grund* ‘Boden eines Gewässers’ [«дно водоема»] [Duden]; *talamh* ‘land under water’ [«земля под водой»] [Ó Dónaill 1977]) – то на базе толкований, данных в «Толковом словаре» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [Ожегов, Шведова 1992], «Словаре Матицы сербской» [РМС], Оксфордском словаре [Oxf.], словаре «Дуден» [Duden], словаре Н. О’Донеллы [Ó Dónaill 1977], мы можем сделать следующую таблицу значений данных именных компонентов:

Значение	третья от Солнца планета	мир	земная жизнь	суша	поверхность, верхний слой земной коры	рыхлое вещество, из которого состоит поверхность Земли	торф	территория (в т. ч. огороженная и являющаяся собственностью)	страна, государство, административно-территориальное образование	основа, основание, опора (в том числе метафорическая)
<i>земля</i>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>почва</i>						<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
<i>земља</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>земљиште</i>					<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<i>тло</i>					<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<i>earth</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
<i>ground</i>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<i>land</i>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>soil</i>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>sod</i>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<i>turf</i>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<i>Erde</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
<i>Grund</i>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Boden</i>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

<i>Erdboden</i>					<input checked="" type="checkbox"/>			
<i>tír</i>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<i>talamh</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<i>fód</i>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Следует отметить, что ирл. *talamh* имеет некоторые грамматические особенности, влияющие на сочетаемость: относясь одновременно к двум склонениям (пятому и второму), оно имеет две формы родительного падежа: *talaimh* и более архаичную *talún* (до орфографической реформы *talmhain*). Это влияет на их сочетаемость: при употреблении в конструкциях $X Y_{Gen}$, где Y_{Gen} является атрибутом (например, *fear feasa* ‘мудрый человек’, букв. «человек знания», *fear uafáis* ‘ужасный человек’, букв. «человек ужаса»). По данным корпуса [GAOIS], форма *talún* употребляется в словосочетаниях разной степени идиоматичности – коллокациях (в том числе кальках иноязычных композитов), исторических названиях и устоявшихся эпитетах: *tiarna talún* ‘землевладелец’ (от англ. *landlord*), *Conradh na Talún* ‘Земельная лига’ (общественная организация XIX в. во главе с Ч.С. Парнеллом, выступавшая за земельную реформу), *crith talún* ‘землетрясение’, *snó talún* ‘земляной орех’, *Bandia na Talún* ‘Богиня Земли’ (эпитет богини Дану). Когда речь идет о земле в значении ‘огороженная территория, находящаяся в чьей-л. собственности’, могут употребляться обе формы: *giobóg talaimh* ‘клочок земли’, но *géire talún* ‘надел земли’ («нарез земли»).

Идиомы, в которых встречаются вышеуказанные именные компоненты, можно разделить на несколько метафорических моделей.

1.1. Земля / [плодородная] почва как мать

Для идиом этого и последующего типов характерны религиозные коннотации. Очевидно, что чаще всего в составе идиом появляются наиболее многозначные именные компоненты наподобие *земля, talamh*.

Здесь мы видим олицетворение: рус. *мать сыра земля*, англ. *Mother Earth*, нем. *Mutter Erde*, сербохорв. *mater/мајка Земља (mater/мајка Zemlja)* (с той же внутренней формой), ирл. *talamh torthach* ‘земля рождающая’.

1.2. Земля как мир; [плодородная] почва как мир

К этому типу мы можем отнести уподобление земли потустороннему миру (раю или аду) – компаративы *рай/ад на земле, heaven/hell on Earth, Mother Earth; Mutter Erde, den Himmel/das Paradies auf Erden haben – die Hölle auf Erden haben*.

Сюда же входят библеизмы, как интернациональные, так и культурно-специфические:

англ. *the fat of the land*, восходящий к [Быт. 45:18] (русский и немецкий аналоги *тук земли* и *das Fette des Landes* употребляются крайне редко: *тук земли* встречается в [НКРЯ] всего три раза, а *das Fette des Landes* – один раз в [DWDS], XVIII–середина XIX вв.);

рус. *соль земли* [Матф. 5:13] (также *соль земли (чьей-л.): соль земли русской*); англ. *salt of the earth* (с одним примером закрытия атрибутивной валентности в [COCA]: *salt of the Castilian earth*), нем. *das Salz der Erde*;

англ. *Land o' Goshen!* ‘вторичное междометие, выражающее изумление’ (букв. «земля Гесем» – область Нижнего Египта, в которой фараон разрешил селиться Иакову и его сыновьям), *Land/Land's sakes [alive]!* ‘вторичное междометие, выражающее удивление или досаду’ – эфемизмы, основанные на паронимии (замена *Lord* на *land*, а *God* на *Gosh* и впоследствии *Goshen* во избежание богохульства);

ирл. *fód na haithrí* ‘юдоль скорби’ («земля/торф/дерн сожаления/раскаяния»; ср. семантику «нижнего» мира в др.-евр. *‘emeq habbāqā*’, лат. *vallis lacrimarum*, букв. «долина слез», цслав. *юдоль скорби*, англ. *vale of tears*, нем. [*irdisches*] *Jammertal*).

Сюда же можно отнести ирл. *mac tìre* ‘волк’ (букв. «сын земли») – изначально эфемизм, вызванный запретом на произнесение истинного названия живого существа (наподобие медведя в славянских языках). Любопытно, что в составе фразеологических единиц *mac tìre* употребляется крайне редко (в том числе во фразеологических интернационализмах наподобие *волка в овечьей шкуре*: в словаре “Seanfhocla Chonnacht” Т. О’Молле [Ó Máille 2010] в качестве основной дается форма *sionnach i gcráiceann an uain / na saorach* ‘лиса в шкуре ягненка/овцы’, хотя и допускается замена *sionnach* на *mac tìre*).

Земля-мир может употребляться в качестве интенсификатора: рус. *землю / весь свет / весь мир обойти, за тридевять земель* и сербохорв. *иза тридесет земаља (iza trideset zemalja)* ‘очень далеко’; англ. *go to the ends of the Earth* (букв. «дойти до краев Земли»); *to promise the Earth/Moon* ‘пообещать заведомо невыполнимое’ (букв. «пообещать Землю/Луну») и нем. *jmdn. den Himmel auf Erden versprechen* с тем же значением («пообещать кому-л. небо на Земле»); англ. *on earth* ‘вообще, совершенно’ («на земле», ср.: *What on earth is going on?* ‘Что вообще происходит?’; *I don't know on earth* ‘вообще не понимаю») и ирл. *ó thalamh an domhain* с тем же значением («из земли мира», ср.: *Ní fheadar ó thalamh an domhain* ‘я совершенно ничего об этом не знаю’, букв. «не знаю из земли мира»).

1.3. Почва / земля как территория

К данному концепту можно отнести метафорические и метонимические переносы, например:

рус. *плодоносная/благодатная почва для чего-л.*;

англ. *native soil, one's old stamping/stomping ground* 'место, которое кто-л. часто посещал' («старая земля/площадка для топтания/выпаса»); *breeding ground for sth* 'место размножения животных; благоприятные условия для развития чего-л.'; *boots on the ground* 'солдаты (преимущественно, пехотинцы), участвующие в наземной войсковой операции'; *turf wars* 'борьба за сферы влияния' («войны почвы/дерна»);

нем. *Grund und Boden* 'земельный надел, участок'; *Land und Leute* 'регион вместе с его обитателями', *wieder im Lande sein* 'вернуться'; ирл. *an fód dúchais* 'место рождения' («дерн наследия/места рождения»).

Сюда же можно отнести библеизмы (*земля обетованная* и ее аналоги), обозначения **ВООБРАЖАЕМЫХ МЕСТ** (фразеологизмы и композиты):

англ. *to live/be in cloud cuckoo land* 'верить в невозможное и невероятное' («жить в стране облачных кукушек), *never-never land* 'воображаемая страна, в которой все возможно' («страна никогда-никогда») и синонимичные *the land of Cockayne/Cockaigne* («земля Кокань», от фр. *païs de cocaigne* 'земля изобилия', название мифической страны вечной молодости в средневековых Англии и Франции), *the land of milk and honey* (религиозные коннотации; ср. рус. *молочные реки и кисельные берега* без экспликации *земля, страна*); *the land of Nod* (религиозная коннотация и народная этимология: библейская земля Нод сопоставляется с англ. *nod* 'кивать, клевать носом' и воспринимается как пространство сна);

нем. *ein Land, wo Milch und Honig fließen* («земля, где текут молоко и мед», см. выше), *Schlaraffenland* (композит средневенхненемецкого происхождения, от свн. *sluraff* 'лентяй' и нем. *Affe* 'обезьяна'; букв. «земля обезьян-лентяев»);

сербохорв. *земља Дембелуја (zemlja Dembelija)* (производное от турцизма *дембел / dembel* 'лентяй');

ирл. *Tír na nÓg* 'Земля Юных', *Tír na hÓige* 'Земля Молодости' (образованы по той же модели, что и реальные топонимы, ср. *Tír an Fhia* 'остров Тирания, графство Голуэй', букв. «Земля Оленя», *Tír Chonaill* 'графство Донегол', букв. «Земля Конала»).

1.4. Преимущество как получение территории

Сюда относятся англ. *to gain ground* 'добиваться успеха' (букв. «получать землю»), ирл. *talamh a bhaint de duine* 'добиваться преимущества перед кем-л.' ('to gain ground on sth' [Ó Dónaill 1977]); букв. «брать землю

у человека»), нем. *Land gewinnen* ‘улучшать свое положение, добиваться преимущества’ (‘*seine Lage verbessern; sich in eine bessere Position bringen; Vorteile erlangen*’ [Redensarten-Index]; букв. «получать землю»).

Ср. также шутивную немецкую идиому *sieh zu, dass du Land gewinnst!* ‘исчезни’ (‘*scherzh. Verschwinde!*’ [Duden]; букв. «Проследи, чтобы ты получил землю»).

1.5. Удачное приобретение как движение к территории

нем. *jmdn., etw. an Land ziehen* ‘разг., часто шутил.: добиться, получить кого-л./чего-л. для себя’ (‘*ugs., oft scherzh. jmdn., etw. für sich gewinnen*’ [Duden]; букв. «кого-л., что-л. тянуть к земле»).

Следующие концепты включают эвфемистические обозначения смерти как погребения (метафора контейнера) и ухода в иной мир (*уйти в лучший мир* и пр.; идиомы с семантикой ухода из земного мира наподобие нем. *aus der Welt scheiden* нами не обнаружены).

2.1. Уход в иной мир

англ. *to be in a better land/world/place* («быть в лучшей земле / лучшем мире / лучшем месте»).

Сюда можно отнести речевые формулы, такие как рус. [*пусть*] *земля [кому-л. будет] пухом*, сербохорв. *лака му [црна] земља (лака ти [сна] земља*; букв. «легкая ему черная земля»), где *црна* является дополнительным интенсификатором. В русской фразеологии стандартным атрибутом земли при погребении является ее сырость, в немецкой – холод, в сербохорватской – цвет.

Следующим концептом является бинарная оппозиция верха и низа. Семантика низа хорошо заметна в метафорическом употреблении нем. *Boden, Erdboden*, ирл. *talamh*; ср. также производные от исследуемых компонентов, такие как рус. *приземленный* и англ. *down-to-earth*. Мы можем также указать на ориентационные метафоры по [Лакофф, Джонсон 2004], наподобие М-модели VIRTUE IS UP; DEPRAVITY IS DOWN (ДОБРОДЕТЕЛЬ ОРИЕНТИРОВАНА ВВЕРХ; ПОРОК – ВНИЗ), ср. англ. *moral high ground* ‘моральные устои, моральное превосходство’ (букв. «моральная высокая земля»).

2.2. Погребение

рус. *лежать в сырой земле* ‘быть мертвым’; *привыкать к земле* ‘готовиться к смерти’; нем. *jmdn. deckt die kühle Erde* ‘кто-л. умер’ («кого-л. укрывает холодная земля»); нем. конверсивная пара *unter der Erde liegen* ‘быть мертвым’ («лежать под землей») – *jmdn. unter die Erde bringen*

‘умертвить кого-л. или стать причиной его смерти’ («поместить кого-л. под землю»); ирл. *faoi fhód a bheith / fá thalamh a bheith* ‘быть мертвым’ («быть под дерном/землей»).

Следующий концепт представляет собой оппозицию верха и низа.

3.1. Верх vs. низ как полная противоположность

рус. [быть как] небо и земля ‘быть полностью противоположными’; сербск. и хорв. *бити као небо и земља (biti kao nebo i zemlja)*.

3.2. Верх vs. низ: неправильное поведение – это промежуточное пространство

рус. *витать между небом и землей* ‘думать о чем-то, не связанном с актуальной ситуацией и не реагировать на происходящее или делать это с опозданием, как бы перемещаясь в промежуточном пространстве в произвольных направлениях’ [АСРФ]; сербохорв. *ни на небу ни на земљи / између неба и земљи (ni na nebu ni na zemlji, između neba i zemlji)* ‘в непостоянном, неустойчивом положении’ (‘у несталном, несигурном положају’ [РМС]).

3.3. Верх vs. низ: огромные усилия – это изменение конфигурации противоположных точек пространства

англ. *to move heaven and earth to do sth* ‘предпринять большие усилия’ (‘to make a major effort to do sth’ [McGraw-Hill 2002]; букв. «сдвинуть небеса и землю, чтобы сделать что-л.»); нем. *Himmel und Erde in Bewegung setzen* ‘предпринять все для осуществления чего-л.’ (‘alles versuchen, um etw. zu ermöglichen’ [Duden]; «привести в движение небо и землю»); ирл. *an t-aer agus an talamh ag titim ar a chéile* ‘критическая ситуация’ (букв. «небо/воздух и земля падают друг на друга»).

Этот концепт также проявляется в модификациях, ср.:

(1) *Der Messianismus ist das Salz der Erde – und des Himmels dazu; damit nicht nur die Erde, sondern auch der intendierte Himmel nicht dumm werde* («Мессианизм – это соль земли, но и небес тоже; поэтому не только земля, но и желанные небеса не должны становиться глупыми») [DDR-Korpus; DWDS].

Идиомы, основанные на значении ‘плодородный слой почвы’, по-видимому, редки. Обнаруживается один концепт 4.1.

4.1. Удачное приобретение как плодородная почва

ирл. *talamh slán a dhéanamh de rud* ‘принимать что-л. как само собой разумеющееся’ (‘to take sth for granted’ [Ó Dónaill 1977]; букв. «сделать

из чего-л. здоровую землю»). Иная дефиниция встречается в [Bannister 2006]: *You can bank on it! – Is féidir talamh slán a dhéanamh dé!* (т.е. ‘ты можешь на это рассчитывать / это гарантировано’, букв. «можно здоровую землю сделать из этого»). Корпусным материалом поддерживается именно это значение, ср.:

(2) *Bua éasca do Hillary Clinton san fhómhar, mar sin? Níl talamh slán á dhéanamh ag éinne de sin.* “Tá cinntí móra saoil le déanamh agam féin agus ag mo chlann, ceannach tí, athrú poist agus a leithéid, ach táimid á gcur ar an méar fhada go dtí go mbeidh an toghchán uachtaránachta thart <...>” “То есть этой осенью – легкая победа Хиллари Клинтон? Этого не может гарантировать никто («нет хорошей земли, которую делает кто-нибудь из этого»). «Мне самому и моей семье нужно принимать важные решения в жизни – покупка дома, смена работы и т.п., но мы их откладываем («помещаем на средний [букв. долгий] палец»), пока не пройдут президентские выборы’ [GAOIS].

Следующие концепты являются развитием метафоры поверхности.

5.1. Гибель / уничтожение

как исчезновение с поверхности земли

Этот концепт соотносится с семантическим полем ФИЗИЧЕСКОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. Сюда мы можем включить идиомы с одинаковыми образной составляющей и актуальным значением:

рус. *стереть с лица земли (кого-л., что-л.)* ‘1. Полностью прекратить существование чего-л., не оставив никаких следов его прежнего существования; 2. Прекратить существование кого-л. (человека или группы людей, часто сильно ненавидимых субъектом) реально или в сознании окружающих, не оставив никаких следов его прежнего существования’ [АСРФ]; *методы/тактика/политика выжженной земли* ‘такой способ ведения военных действий, когда воюющая сторона полностью разрушает занятую территорию, тем самым ничего не оставляя своему противнику, при этом разрушения осмысляются как результат воздействия огня’ [АСРФ]; *выжженная земля* ‘территория, полностью разрушенная в ходе военных действий, что осмыляется как результат воздействия огня; полное отсутствие специалистов в какой-л. области, являющееся результатом последовательного уничтожения каких-л. социальных, политических или экономических институтов, что напоминает безлюдную территорию, разрушенную в ходе военных действий’ [АСРФ];

англ. *disappear/vanish... from the face of the earth* (с тем же актуальным значением); *wipe sb/sth from/off the face of the earth* ‘уничтожить все сле-

ды существования кого-л. или чего-л.' ('to demolish every trace of someone or something' [McGraw-Hill 2002]); *scorched earth [policy/tactics]*;

нем. *jdн./etw. vom Angesicht der Erde verwunschwinden/hinwegfegen*; [*Politik der*] *verbrannte Erde*;

сербохорв. *збрисати с лица земље* 'уничтожить, истребить' ('уничтжити, истребити' [РМС]).

Первая идиома является библеизмом и восходит к описанию участи грешника в Книге Иова [Иов 18: 17–18]: «Память о нем исчезнет с земли, и имени его не будет на площади. Изгонят его из света во тьму и сотрут его с лица земли». Как и многие идиомы, относящиеся к полю ФИЗИЧЕСКОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, данная идиома допускает конверсию: *стереть с лица земли – исчезнуть с лица земли*; ср. аналогичное преобразование в немецком корпусе:

(3) Irgendwann wurde dieses Treiben aber zu bunt, gewann Eigenleben, und mit einem Schlag *verschwand dieses Funkhaus vom Angesicht der Erde*. 'В конце концов это движение оказалось слишком уж пестрым, зажило своей жизнью, и эта радиостудия во мгновение ока исчезла с лица земли' [Die Zeit, 12.11.2015, Nr. 46; DWDS].

Идиомы *выжженная земля* и *методы/тактика/политика выжженной земли* восходят к английской кальке китайского композита *цзяоту (jiaotu)*, восходящего ко времени японо-китайской войны 1937–1945 гг. [Etymonline].

5.2. Гибель / уничтожение

как приведение к уровню земной поверхности

К этому концепту относится рус. *сравнять с землей* '1. (что-л.) Полностью разрушить что-л. (обычно строения, населенные пункты), не оставив даже следов его прежнего существования, что осмысляется как приведение местности к состоянию, где ничего нет. 2. (кого-л.) Полностью уничтожить кого-л. (обычно группы людей или организации), не оставив даже следов его прежнего существования, что осмысляется как приведение местности к состоянию, где ничего нет' [АСРФ] и ее аналоги с таким же актуальным значением:

англ. *level something to the ground* 'уничтожить или разрушить что-л., сведя к уровню земли' ('to crush or demolish something down to the ground' [McGraw-Hill 2002]).

нем. *etw. dem Erdboden gleichmachen* 'полностью уничтожить' ('völlig zerstören' [Duden]);

сербохорв. *сравнити са земљом (sравniti sa zemljom)* 'уничтожить до основания' ('срушити до темеља' [РМС]).

5.3. Земля (поверхность) как основа / опора деятельности

К этому концепту относятся следующие идиомы:

рус. *выбивать / выбить у кого-л. почву из-под ног* 'отнимать возможность уверенно действовать. Реч. стандарт: кто – лицо или группа лиц, объединенных общими интересами; что – события, действия, поступок; у кого – у лица или группы лиц, объединенных участием в одном деле ○ Несов. в. только в наст. вр. Именная часть неизм. ● Порядок слов нефиксир.' [СОВ] (а также актантная деривация: *выбивать почву из-под ног – терять почву под ногами* 'лишаться уверенности в самом себе, утрачивать веру в успех своего дела, общественного положения и т.п.' [ФСРЛЯ] – *почва/земля уходит из-под ног*);

сербохорв. *бити на свом тлу (biti na svom tlu)* 'с успехом что-л. делать, чувствовать себя уверенно' ('добро успевати, осећати се сигурно' [РМС]; букв. «быть на своей почве/основе» – ср. распространенную в Европе и за ее пределами группу идиом вида *быть в своей стихии / to be in one's own element* по Э. Пиирайнен [Piirainen 2012]); *губи тло под ногама / измиће му тло испод ногу (gubi tlo pod nogama / izmiće mu tlo ispod nogu)* 'теряет опору, поддержку, уверенность' ('губи ослонац, подршку, сигурност' [РМС]; букв. «теряет землю под ногами, у него ускользает земля из-под ног»);

англ. *to have both feet on the ground* 'быть практичным или реалистичным' ('to be practical or realistic' [American Heritage...]; букв. «иметь обе ноги на земле»);

нем. *festen Grund under den Füßen haben* 'иметь надежное основание' ('eine sichere Grundlage haben' [Duden]; букв. «иметь крепкую землю под ногами»); *mit beiden Beinen/Füßen im Leben/[fest] auf der Erde stehen* 'реалистично смотреть на вещи' ('die Dinge realistisch sehen' [Duden]; букв. «обеими ногами/стопами в жизни [крепко] стоять на земле»); *kein Bein auf die Erde kriegen* 'не стать активным в решающий момент, не получить возможности действовать' ('nicht entscheidend aktiv werden können, keine Möglichkeit zum Handeln bekommen' [Duden]; букв. «не получить ни одной ноги на землю»); *vom Grund auf/aus* 'полностью, целиком' ('ganz und gar, völlig' [Duden]; букв. «от земли/основания на/из») [Duden];

ирл. *ó thalamh rud a dhéanamh* 'делать что-л. основательно, тщательно' ('to do sth fundamentally, thoroughly' [Ó Dónaill 1977]; букв. «из/от земли вещь делать»).

В английском и немецком материале к этому концепту относятся кинетические (жестовые) идиомы с компонентами *нога/ноги* (об их употреблении во фразеологии см. [Дронов (в печати)]). Ирландская идиома *ó thalamh rud a dhéanamh* является спорным случаем, поскольку

лежащая в ее основе метафора может быть связана не с землей как поверхностью, а с землей-вместилищем.

В словаре [Duden], помимо прочего, фиксируется идиома *aus diesem kühlen Grund[er]* ‘по этой очень простой, очевидной причине’ (‘ugs. scherzh. aus diesem sehr einfachen, einleuchtenden Grund’ [Duden]; букв. «из этой прохладной земли / прохладного основания»), представляющая собой лексико-синтаксическую модификацию идиомы *aus diesem Grund* ‘на этом основании, по этой причине’. Сходство с первыми строками песни *Das zerbrochene Ringlein* ‘Сломанное колечко’ (слова Й.К.Б. фон Айхендорфа, музыка Й.Л.Ф. Глюка) – *In einem kühlen Grunde* (т.е. указание на могилу, в которой лежит возлюбленная рассказчика) – приводит к употреблению *Grund* в значениях ‘основание, причина’ и ‘земля’ и, соответственно, к двойной актуализации.

У рус. *терять почву под ногами* встречаются спорные случаи употребления с заменой именного или глагольного компонентов, прежде всего, в творчестве Горького:

(4) **а.** – *Землю вы из-под ног у меня вышибли* красотой вашей... [Максим Горький. Трое (1901); НКРЯ]. **б.** – Мужику не то интересно, откуда земля явилась, а как она по рукам разошлась, – как *землю из-под ног у народа господа выдернули?* [Максим Горький. Мать (1906); НКРЯ].

В примере (4а) замена компонента на синонимичный не приводит к изменению актуального значения. В (4б) употреблена модификация двойной актуализации, при которой именной компонент употреблен, прежде всего, в значении ‘территория (в том числе огороженная), являющаяся собственностью’. В результате актуальное значение меняется: правящие классы лишают крестьян доступа к земле и тем самым отнимают у них возможность активно действовать. Ср. аналогичные модификации в публицистическом подкорпусе [НКРЯ]:

(5) **а.** *УВОДЯТ ЗЕМЛЮ ИЗ-ПОД НОГ* В России вновь узаконено помещичье владение [Уводят землю из-под ног (2003) // «Советская Россия», 2003.05.15; НКРЯ]. **б.** Эти права складываются таким образом, что никто не сможет “*выдернуть*” *землю из-под построенного здания*. [Головачев Виталий. ЮРИЙ ЛУЖКОВ: НАС ПОДВОДИТ ТЯГОТЕНИЕ К КРАЙНОСТЯМ // Труд–7, 2001.09.01].

(6) Возможно употребление именного компонента *почва* (6б). **а.** Такой горечи и обиды он не испытывал никогда в жизни. *Земля уходила из-под ног*. Дыхание перехватило. [Виктор Мясников. Водка (2000); НКРЯ]. **б.** Может быть, я не мог его расспрашивать, потому что у самого было точно такое же состояние. *Почва ушла из-под ног*. Я не знал, что мне дальше делать. [Юрий Азаров. Подозреваемый (2002); НКРЯ].

Здесь в обоих случаях описывается сильное эмоциональное переживание. В отличие от идиомы с компонентом *земля, почва ушла из-под ног* употребляется преимущественно в этом значении.

5.4. Деятельность – это отрыв от поверхности

В английской фразеологии обнаруживается конверсивная пара идиом, основанная на данном концепте и связанная с техническим прогрессом; на последнее указывает дефиниция, приведенная ниже: ‘отсылает к началу полета самолета’ (ср. идиомы технического прогресса в [Piiirainen 2012]):

англ. *to get sth. off the ground* ‘начать что-л.’ (‘to get something started (Alludes to an airplane beginning a flight)’ [McGraw-Hill 2002]; букв. «поднять что-л. от земли») с конверсивом *to get off the ground* ‘начаться’ («оторваться от земли»).

5.5. Завершение как переход на твердую поверхность (сушу)

Данный концепт лежит в основе нескольких немецких и ирландских идиом.

Нем. *wieder Land sehen* ‘разговорное: преодолеть худшее, завершить большую часть работы, преодолеть, приближаться к назначенной цели’ (‘ugs. das Schlimmste, den größten Teil der Arbeit hinter sich gebracht haben, hinter sich gebracht haben, dem angestrebten Ziel nahe sein’ [Duden]; букв. «снова увидеть землю») – *kein Land mehr sehen* ‘шутливое: быть подавленным работой или проблемами; находиться в безнадежной ситуации’ [Duden]; букв. «больше не видеть земли»);

ирл. *ó thalamh rud a dhéanamh* ‘to do sth fundamentally, thoroughly’ («из земли делать что-л.»).

5.6. Информация как поверхность / территория

Этот концепт лежит в основе следующих идиом:

рус. *зондировать/прозондировать <нащупывать/нащупать> почву* ‘Осторожно, заранее пытаться разузнать положение дел. Подразумевается подготовка к каким-л. дальнейшим действиям. Реч. стандарт, кто – лицо или группа лиц, объединенных общей целью ○ Именная часть неизм. ● Порядок слов нефиксир.’ [СОВ];

англ. *spy out the land* ‘выяснить или понять существующее положение дел, в особенности перед решительными или активными действиями’ (‘to find out about or come to understand a particular state of affairs or the way a situation exists or has developed, especially before taking any decisive or definitive action’ [Farlex]; букв. «выслеживать землю»);

ирл. *an talamh ar bhrath* ‘to spy out the ground’ [De Bhaldraithe 1959] (букв. «землю нащупывать/чувствовать») / *ag brath na tíre* ‘spying out the land’ [Ó Dónaill 1977] (букв. «в нащупывании земли») с тем же актуальным значением, что и у английской идиомы.

При сходстве идиом и определенной близости образной составляющей надо отметить: если в случае с русской и ирландской идиомами речь идет о скорее кинестетическом поиске (использование осязания), то в английской идиоме актуализирована идея визуального поиска. Данное выражение является библеизмом: *And the LORD spoke to Moses, saying, “Send men to spy out the land of Canaan, which I am giving to the children of Israel”* [Numbers 13:2–3] (в осовремененной Библии короля Иакова)¹. Любопытно, что в современном ирландском переводе 1981 г. “An Bíobla Naofa”, выполненном П. О’Фианнахтой, используется конструкция, полностью аналогичная английской: *chun tír Chanán atá á thabhairt agam do chlann Iosrael a spiúnadh* ‘чтобы землю Ханаанскую, которая дана мной народу Израилеву, разведать’.

Аналоги данных идиом, не содержащие компонента *земля*, также могут быть связаны с метафорой разведки или поиска, ср. англ. *put out one’s feelers* (букв. «высунуть свои усики [имеются в виду чувствительные усики-антенны у насекомых]»).

При замене компонента русской идиомы на *земля* идиоматичность исчезает и возникают свободные словосочетания, ср. (7):

(7) **а.** Осторожно *нащупывая ногами землю*, она сошла с каменных ступенек на холодную влажную траву, проскользнула за угол и там затаилась – показалось, в палатке заворошился кто-то. [Василь Быков. Знак беды (1982); НКРЯ]. **б.** – Дай-ка сирньки, – попросил тот, кому поручали зажечь стог, и сразу же, отделившись от других бандитов, направился, неловкими, *осторожными шагами нащупывая землю*, ко мне. [В.П. Беляев. Старая крепость (1937–1940); НКРЯ].

Следующий концепт основан на метафоре контейнера.

6.1. Исчезновение / гибель / уничтожение как переход внутрь земли

Сюда можно отнести следующие близкие по актуальному значению и внутренней форме идиомы:

рус. как *сквозь землю провалиться* ‘внезапно и бесследно исчезнуть’; *быть готовым сквозь землю провалиться [от стыда, неловкости...]* ‘кто

¹ Ср. в синодальном переводе: «И сказал Господь Моисею, говоря: пошли от себя людей, чтобы высмотрели землю Ханаанскую, которую Я даю сынам Израилевым» [Числа 13:2–3].

готов, рад; хотеть, мечтать исчезнуть куда угодно. Имеется в виду, что лицо или группа лиц (X) испытывает острое желание скрыться куда-л. от стыда, неловкости, смущения, робости и под. <...> неизм. Обычно в роли части сказ. Порядок слов-компонентов нефиксир.' [БФС]; *прова- лись ты сквозь землю; чтоб(ы) ты сквозь землю провалился* 'пожелания гибели или исчезновения';

нем. *wie vom Erdboden verschluckt/verschwunden sein* 'совершенно вне- запно исчезнуть' ('ganz plötzlich verschwunden sein' [Duden]; «как с земли быть проглоченным / исчезнуть»); *jmd. würde [vor Scham] am liebsten im [Erd]boden versinken / wäre [vor Scham] am liebsten im [Erd]boden versunken* («кто-л. больше всего желал бы [от стыда] провалиться сквозь землю»);

сербохорв. *Земљо, отвори се (зини, пропадни, прогутај и сл.) (Zemljo, otvori se / zini / propadni / progutaj...)* 'восклицание ужаса, возмущения чьим-л. поступком, используемое также в случае сильного стыда' ('уз-вик запрепашћења, згражања над чијим поступком, или кад је реч о јаком стиду' [РМС]; букв. «Земля, раскройся/разверзнись/исчезни/про-глоти»); *као да је га земља прогутала (као да га је земља прогутала)* 'кто-л. бесследно исчез, так что о нем ничего неизвестно' ('изгубио се без трага, ништа се о њему не зна' [РМС]; букв. «как будто его земля проглотила»)¹ / *као да је у земљу пропао (као да је у земљу пропао)* (букв. «как сквозь землю исчез»); *[хтео је] да у земљу пропадне од стида / срама ([hteo/htio је да у земљу пропадне / у земљу пропасти од стида/srama)* 'кто-л. очень сильно стыдился чего-л.' ('яко се застидео' [РМС]; букв. «он хотел сквозь землю исчезнуть от стыда/позора»).

В немецком и сербохорватском материале происходит контаминация с метафорой живого организма (ср. также русские конструкции библейского происхождения *земля разверзлась и поглотила что-л.*).

6.2. Появление как выход из земли

Противоположным по значению является концепт 6.2, который встречается в русской и сербохорватской фразеологии, ср. рус. *как из-под земли появиться*, сербохорв. *као из земље (појавише и сл.)* 'неожиданно' ('ненадано, неочекивано' [РМС]; букв. «как из земли [появился и пр.]»). Семантика неожиданного появления может также выражать-

¹ Ср. у Й. Суботича: *Гди толико Балдовинь остає? // Ето има три недєль дана, // Како нема ни трага ни гласа, Како да га є земля прогутала* [Субботић 1846: 223] (текст дан в оригинальной орфографии, представляющей собой вариант славяносербского правописания с использованием церковнославянского долгого є для обозначения [je], т.е. близко к современной украинской орфографии).

ся с помощью именных компонентов *воздух* и *небо*: рус. *из воздуха* [*появиться...*], англ. *out of the blue*.

6.3. Течение времени как переход внутрь земли; напрасные усилия как переход внутрь земли

Нем. *ins Land gehen/ziehen* '1. исчезать, проходить (о времени); 2. начинать' ('1. *vergehen, verstreichen* 2. *einsetzen, beginnen*' [Duden]); букв. «идти/втягиваться в землю»).

Ирл. *ag imeacht fá thalaimh* 'пропасть зря, приложить усилия, которые оказались напрасными' (в словаре П. Динина 'going for nought' [Ó Duinnín 1904]; букв. «в хождении под землю»).

Немецкая идиома *ins Land gehen/ziehen* указывает как на течение времени, так и на начало нового периода. Ирландская идиома *ag imeacht fá thalaimh*, вероятно, является устарелой: ее нет в более поздних словарях. Кроме того, мы не обнаружили ни одного примера в корпусах ирландского языка.

Интересно, что метафоры поверхности и контейнера в исследуемых языках актуализируются по-разному, ср. нем. *wie Pilze aus der Erde schießen* и рус. *расти как грибы* [*после дождя*], нем. *so voll sein, dass kein Apfel/keine [Steck]nadel zu Boden/zur Erde fallen kann* и рус. [*так тесно, что*] *яблоку негде упасть*. Хотя немецкие идиомы допускают грамматическое варьирование, их предложные группы всегда эксплицитованы: *aus der Erde* 'из земли', *zu Boden/zur Erde fallen kann* 'может упасть на землю', ср.:

(8) "Es gibt Tage, da kann man in dem Zug, der morgens von Berlin nach Szczecin fährt, *keinen Apfel zu Boden fallen lassen* – so gut ausgelastet ist dieser Regionalexpress", sagt die Volkswirtin. («Бывают дни, когда в поезде, который едет из Берлина в Щецин, "яблоку нельзя позволить упасть на землю" – настолько забит этот региональный экспресс», – сказала экономист) [Berliner Zeitung, 13.11.2004; DWDS].

Ср. также метафору ЭМОЦИЯ КАК КОНТЕЙНЕР в нем. *im Grunde seines/ihrer Herzens* (аналог рус. *в глубине души*, букв. «в земле/основе своей души»).

7. Земля как быстро получаемый неограниченный ресурс

Этот концепт представлен только в одном немецком фразеологизме: *etw. aus der Erde stampfen* 'добывать что-л. кратчайшим путем, фактически создавать из ничего' ('*etw. auf schnellstem Wege beschaffen, gewissermaßen aus dem Nichts schaffen*' [Duden]); букв. «штамповать что-л. из земли»).

Как и в случае с неожиданным появлением, в других языках в качестве образа быстро добываемого неограниченного ресурса может использоваться *воздух*, ср. рус. *из воздуха*, *торговать воздухом*.

8. Земля – это канал связи

Это частный случай метафоры канала связи, или *conduit metaphor* (см. знаменитую статью [Reddy 1979]). Идиома с этой метафорой и компонентом *земля* обнаруживается только в английском материале:

Англ. *to keep an/one's ear [close] to the ground* 'иметь (или стараться получить) информацию о происходящем или о том, что может произойти' («держать ухо [близко] к земле»).

В основе идиомы лежит образ прикладывания уха к земле для того, чтобы слышать стук копыт, часто встречающийся в фольклоре и художественной литературе; в русском языке обнаруживаются свободные словосочетания (9а, б):

(9) а. *Я ухо к земле приложу – и всю степь слышу*: где-что творится и шебуршится. [Александр Логинов. *Мираж* (2003) // Интернет-альманах «Лебедь», 2003.12.21; НКРЯ]. б. *Я ухо приложил к земле*, Чтобы слышать конский топот, – Но только ропот, только шепот Ко мне доходит по земле. Нет громких стуков, нет покоя, Но кто же шепчет, и о чем? Кто под моим лежит плечом И уху не дает покоя? Ползет червяк? [Евтушенко Евгений. 'В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО' // Труд–7, 2003.08.28; НКРЯ].

Однако в журналистском подкорпусе из шести примеров употребления данного словосочетания в одном оно подвергается тому же семантическому переносу, что и англ. *to keep one's ear to the ground*:

(10) В воодушевлении нуждаются скорее президентские спич-райтеры. Так считаю не я. Так считает американец, *прильнувший ухом к самой иракской земле*. Это Залмай Халилзад, посол США в Багдаде, человек, чьи шифровки до вашингтонских верхов, видимо, не доходят. Иначе стало бы ясно: или президент послал не того посла, или послу срочно нужен другой президент. Халилзад только что заявил нечто ранее немыслимое [Этот знакомый броневик // РИА Новости, 2006.03.21; НКРЯ].

С одной стороны, это может быть английской калькой; с другой стороны, дальнейшим развитием метафоры.

Отдельно следует отметить, что у идиом, имеющих различные концепты, встречается одна и та же структурная модель – цепочка из двух квазисинонимов $X1 + X2$ в именной или предложной группе (наподобие рус. *море-океан*, *в путь-дорогу* или англ. *breach or violation by the Tenant* 'нарушение со стороны арендатора'), используемая в качестве интенсификатора, ср.:

ЗЕМЛЯ КАК МИР: *ó thalaimh ar an domhain* ‘полностью, совершенно’ (букв. «из земли на свете»);

ПОЧВА/ЗЕМЛЯ КАК ТЕРРИТОРИЯ: нем. *Grund und Boden* ‘земельный участок’ (букв. «земля и почва»); *tír talaimh* ‘вся страна’ (букв. «земля/страна земли»);

ЗЕМЛЯ КАК ОСНОВА/ОПОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: *in Grund und Boden* ‘полностью’, букв. «в земле и почве».

В ирландском языке происходит перенос ‘принадлежность к территории’ > ‘личное знакомство с человеком’: *ní de thír ná de thalamh duine é* ‘кто-л. совершенно незнаком кому-л.’, букв. «человек не из страны, не с земли»). *Ó thalaimh ar an domhain* является не просто интенсификатором, а Magn+, по И.А. Мельчуку, поскольку *ar an domhain* ‘на свете, в мире’ само по себе является Magn’ом.

В сербохорватском языке *земля* используется как интенсификатор в коллокации *pijan kao zemlja* (*pijan kao zemlja*) ‘очень сильно, совсем пьяный’ (‘сасвим пијан’ [РМС]).

На основании приведенных выше данных мы можем сделать следующие выводы:

1. Идиомы с компонентами *земля, почва* в разных языках образованы по небольшому числу моделей, причем это обусловлено близкими значениями самих именных компонентов.

2. Идиомы с компонентами *земля, почва* преимущественно являются фразеологическими интернационализмами, однако в каждом из перечисленных языков обнаруживаются культурноспецифичные идиомы; при этом наиболее широко они представлены в ирландском языке (хотя обращают на себя внимание и параллели с английскими и в меньшей степени немецкими фразеологизмами). Это может быть связано с нахождением ирландского языка на периферии Европы и постоянными контактами с английским языком на всех уровнях.

3. В основном образы в основе идиом являются результатом развития метафор поверхности (поверхность *per se* и территория) и контейнера, оппозиции верха и низа (см. концепты под номерами 1, 3, 5, 6).

4. Компоненты *земля, почва* в предложных группах играют роль ориентира (landmark) – поверхности, причем этот ориентир может быть имплицитным (ср. идиомы с близким значением *so voll, dass kein Apfel zu Boden/zur Erde fallen kann* и *яблоку негде упасть*). В случае с русским языком наличие имплицитного ориентира может быть связано с особенностями семантики глагола *упасть* ‘завершить движение сверху вниз [как правило] на какую-л. поверхность’.

Литература

- АСРФ – Академический словарь русской фразеологии / Под ред. А.Н. Баранова, Д.О. Добровольского. 2-е изд., испр. и доп. М., 2015.
- Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Аспекты теории фразеологии. М., 2008.
- БФС – Брилева И.С., Гудков Д.Б., Зыкова И.В., Кабакова С.В., Ковшова М.Л., Красных В.В., Телия В.Н. Большой фразеологический словарь / Отв. ред. В.Н. Телия. М., 2006.
- Дронов П.С. Микродиахронические изменения идиом с компонентом-соматизмом *ноги* // Исследования русской и славянской фразеологии в диахронии и синхронии. *Výzkum ruské a slovanské frazeologie v diachronii a synchronii*: коллективная монография. Оломоуц: Оломоуцкий университет им. Палацкого (в печати).
- Ковшова М.Л. Вместо предисловия... Составила М.Л. Ковшова на основе опубликованных трудов В.Н. Телия // Язык, сознание, коммуникация: Сборник статей. / Отв. ред. В.В. Красных, А.И. Изотов. Вып. 50. М., 2014.
- Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М., 2004.
- НКРЯ – Национальный корпус русского языка. URL: <http://www.ruscorpora.ru>.
- Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М., 1996.
- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 41089 словарных статей. М., 1992. URL: <http://ozhegov.info/slovar/>.
- ФРР – Мелерович А.М., Мокиенко В.М. Фразеологизмы в русской речи: Словарь: ок. 1000 единиц. 2-е изд., стер. М., 2005.
- ФСРЛЯ – Федоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка: ок. 13 000 фразеологических единиц. 3-е изд., испр. М., 2008.
- РМС – Речник Матице Српске. Матица Српска. Речник српскохрватскога књижевног језика. У пет књига. Нови Сад, 1990.
- СОВ – Телия В.Н. (ред.) Словарь образных выражений русского языка. М., 1995.
- Субботићъ I. Краль Дечанскій. Епось у осамъ пѣсама. У Будиму: писмены кр. Свеучилишта Пештанскогъ, 1846.
- American Heritage Dictionary of the English Language. 5th ed. Boston, 2016.
- Bannister G. Gaelic Idioms: English–Irish. BÁC1, 2006.
- COCA – Corpus of Contemporary American English URL: <https://corpus.byu.edu/coca/>.

- De Bhaldraithe T.* English-Irish Dictionary. BÁC1, 1959. URL: <http://www.teanglann.ie/ga/eid/>.
- Duden Band 11. Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich., 2008.
- DWDS – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. URL: <http://www.dwds.de>.
- Etymonline – Online Etymological Dictionary URL: <https://www.etymonline.com/word/scorch>.
- Farlex Dictionary of Idioms. URL: <https://idioms.thefreedictionary.com>.
- GAOIS: Corpas na Gaeilge Comhaimseartha. URL: <http://www.gaois.ie/g3m/ga/>.
- McGraw-Hill – *Spears R.A.* McGraw-Hill's Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs. NY, 2002.
- Nua-Chorpas na hÉireann / The New Corpus for Ireland URL: <https://focloir.sketchengine.co.uk/>
- Ó *Dónaill N.* Foclóir Gaeilge-Béarla. BÁC1, 1977.
- Ó *Duinnín P.* Foclóir Gaedhlice agus Béarla: an Irish-English dictionary, being a thesaurus of the words, phrases and idioms of the modern Irish language. Dublin, 1904.
- Ó *Máille T.S.* Seanfhocla Chonnacht. Curtha in eagar ag D. Uí Bhraonáin. BÁC1, 2010 [1938–1942].
- Oxf. – Oxford Living Dictionaries. URL: <https://en.oxforddictionaries.com/>.
- Piirainen E.* Widespread Idioms in Europe and Beyond: Toward a Lexicon of Common Figurative Units / International Folkloristics. Vol. 5. Bern, 2012.
- Redensarten-Index – Lexikon für Redensarten, Redewendungen, idiomatische Ausdrücke und feste Wortverbindungen. URL: <https://www.redensarten-index.de>.
- Reddy M.* The conduit metaphor: A case of frame conflict in our language about language // A. Ortony (ed.) Metaphor and Thought. Cambridge, 1979.

раздел V Поэтика

и лингвокультурные трансферы

Н.М. Азарова, С.Ю. Бочавер

Типология поэтического билингвизма¹

Постановка вопроса

Типология поэтического билингвизма прежде всего должна пониматься в социолингвистическом ключе. Поэт-билингв в этом случае рассматривается как отправитель поэтического сообщения, для которого определяющим моментом оказывается именно социальный контекст коммуникации. Однако уместно предположить, что сама специфика поэтического дискурса будет своеобразно накладываться на социолингвистические условия и будет корректировать коммуникативные параметры поэтического билингвизма.

Задача построенной типологии – определить параметры, в которых поэт-билингв выбирает тот или иной язык для поэтического высказывания, условия, в которых осуществляются переходы с языка на язык, и описать *выбор основного языка для поэзии* (*main language choice*).

Мы будем доказывать, что естественные и культурные билингвы ведут себя по-разному по отношению как к поэтическому билингвизму как таковому и *выбору основного языка для поэзии*, так и по отношению к переходу с языка на язык – *code-switching*. Также мы утверждаем, что естественный билингв ведет себя по-разному при выборе языка в разных дискурсивных практиках: в поэзии их поведение отлично от науки и СМИ, прозы и поп-музыки.

Кроме того мы покажем, что у поэтов-естественных билингвов *main language choice* происходит иначе, чем у других билингвов, и не всегда можно проследить четкий паттерн для выбора языка. У поэта-билингва выбор языка для общения и основного поэтического языка может не совпадать, при этом выбор основного языка для поэзии, как и у других билингвов, определяется социолингвистическими условиями, но иными. Зачастую алгоритм выбора оказывается ровно противоположным тому, который действует для билингвов в других дискурсивных условиях.

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-28-00130) в Институте языкознания РАН.

Выбор языка

Мы вводим термин *выбор основного языка для поэзии* (main language choice) для того, чтобы четко отделить то явление, о котором идет речь, от *code-switching* в других дискурсивных ситуациях. *Code-switching* – термин, широко использующийся для описания переключения с языка на язык в работах о билингвизме. В отличие от переключения между языками, которое билингвы совершают в быту многократно и зачастую неосознанно, *выбор основного языка для поэзии* совершается намеренно и является частью как поэтической стратегии, так и стратегии социальной саморепрезентации. Поэты рефлексируют о выборе языка, и этот выбор несет значительную смысловую нагрузку и приобретает особое прагматическое значение в поэзии. Именно поэтому было бы неправомерно описывать переход поэта-естественного билингва на другой язык в поэзии как *code-switching*.

Выбор основного языка для поэзии не зависит от того, первый ли это или второй язык для поэта-естественного билингва. Если в бытовом билингвизме говорящий при выборе языка в каждой ситуации опирается на свои знания о типичных функциях первого и второго языков и контекстах их использования или на меру владения этими языками самого говорящего или собеседника, то поэт, напротив, может выбрать свой второй язык как основной поэтический, в том числе для развития этого языка или для большей формализации собственной поэтики.

Очевидно, что такие явления, как уменьшение числа носителей малых языков, статус языка, находящегося под угрозой, или вымирающего языка, связаны с тем, что носители этих языков системно переходят на государственный язык, а миноритарный язык сохраняется только для ограниченного домашнего общения. Напротив, поэт-билингв может использовать в быту государственный язык или язык большинства, а писать поэзию на своем первом языке.

Поэты-естественные билингвы в абсолютном большинстве предпочитают один язык для поэзии и редко переходят с языка на язык. Как правило, подобные переходы, если и случаются, то они мотивированы какими-то вескими причинами, соотносящимися с мировоззрением, поэтикой, биографией и общекультурной ситуацией в среде, где живет поэт. Поэт, будучи естественным билингвом, как правило, пишет стихи только на одном языке. Ученый-билингв может писать или излагать результаты исследования на любом из своих языков, прозаик нередко пишет на двух языках, самыми яркими примерами здесь являются С. Беккет и В. Набоков. В разных дискурсивных ситуациях билингвы свободно

и постоянно переключаются с языка на язык, часто сами того не замечая. Естественный билингв, находясь в своей привычной среде, может переходить между языками десятки раз за день. Ограничения в переключении между языками в бытовом билингвизме накладываются только на те ситуации, где присутствует функциональная дифференциация языков. Например, один из них является языком домашним, а другой – языком официального быта. Возможны и многие другие комбинации: такое функциональное разграничение знакомо в европейском ареале для латыни и народных языков, в Китае – это «мандарин» и «диалекты», в бывших британских колониях – английский и автохтонные языки.

В то же время переходы в поэтической практике можно сосчитать по пальцам на протяжении десятков лет. Преобладание одного языка и его сознательный выбор – это существенное отличие билингвизма в поэзии от билингвизма в любых других условиях.

Естественный и культурный билингвизм

Важное разграничение, необходимое для построения типологии поэтического билингвизма, – это естественный и культурный билингвизм. Два основных проявления естественного билингвизма в поэзии – билингвизм поэта и билингвизм поэтического текста. В первом случае **поэт владеет двумя или более языками, но пишет только на одном из них**. Второй случай, более редкий, это **производство поэтических текстов одним автором на двух или более языках**.

Культурный билингвизм, напротив, не предполагает абсолютного, полного и свободного владения двумя языками, это скорее межъязыковое взаимодействие у поэтов-монолингвов. Один из языков в этой ситуации, как правило, был усвоен позже, и зачастую не в среде естественного бытования этого языка. И. Бродский – культурный билингв, овладевший английским до того, как он переехал в США.

В настоящее время мы наблюдаем **взлёт межъязыкового взаимодействия в поэзии разных стран**, и, хотя межъязыковое взаимодействие нельзя отождествлять с поэтическим билингвизмом, это актуально связанные явления. Межъязыковое взаимодействие, встречающееся у поэтов-монолингвов, как и использование более, чем двух языков, у поэтов-билингвов, мы будем называть **билингвизмом поэтического текста**, в отличие от поэтического билингвизма.

Необходимо отметить, что случаи поэтического билингвизма, где одним из языков оказывается мертвый или спящий язык, стоит рас-

сматривать отдельно. Таковы случаи неолатинской поэзии, использования вэнь-яня в классической китайской поэзии или поэзии на иврите (II–XIX вв.) [Полян 2014; Азарова, Полян 2015]. Переключение между языками, *main language choice* или выбор языка для других дискурсивных режимов происходит в этих ситуациях иначе, и эти обстоятельства заслуживают особого исследования.

Типы поэтического билингвизма и возможных межъязыковых переходов

Тип билингвизма	Естественный	Культурный	
Языки поэта	≥2 «родных» языка	1 «родной» язык + ≥1 выученный язык	
Языки текста	Моноязычный поэтический текст	Двужызычный текст / Последовательные переходы между языками	Двужызычный текст / языковые переходы внутри одного текста

Социолингвистический аспект

Выбор языка поэзии для билингва имеет совершенно разные коннотации и соответствует разным задачам в зависимости от социокультурного контекста. В этом разделе мы кратко опишем несколько наиболее типичных ситуаций выбора языка для поэта.

Государственный язык

В целом случаи, когда поэт выбирает в качестве основного поэтического языка язык страны, где он живет или жил, не просто анализировать и описывать. Такой выбор нередко остается незамеченным, ведь кажется абсолютно естественным, что поэт, живущий в России, пишет по-русски или поэт, живущий в Испании, пишет по-испански. В подобных ситуациях билингвизм поэта остается скрытым от широкой аудитории, так, о билингвизме П. Целана¹ или К. Ороса² знают лишь специалисты. Тем не менее билингвизм оказывает влияние на грамматику поэтического текста и косвенно влияет на идиостиль поэта [Азарова 2016].

Уникальный случай поэтического билингвизма развивается в современном Сингапуре, где поэты выбирают государственный язык,

¹ Paul Celan (1920–1970). Немецкий – румынский.

² Carlos Oroza (1923–2015). Испанский – галисийский.

английский, в качестве языка поэзии, хотя большинство из них являются этническими китайцами и первым языком для многих из них является один из «диалектов» китайского: кантонский, фудзиен, теочью, хайнанский и др. У многих сингапурских поэтов нет текстов, написанных по-китайски.

Внимания также заслуживает недавняя антология галисийских поэтов, пишущих по-испански, «Sin fronteras»¹. Составители этой книги и представленные в ней авторы выступают против националистического контекста, в котором часто фигурирует поэзия на галисийском языке.

Сохранение и развитие малых языков

Сохранение миноритарных языков приобретает все большую общественную значимость. Поэзия может быть важным инструментом в этом процессе, а поэты, выбирающие в качестве своего основного языка миноритарный язык, не только вносят важный вклад в его сохранение, но и помогают развивать и обогащать язык благодаря своей поэтической практике. Показателен случай Анджелы Дюваль (1905–1981), которая благодаря своим стихам на бретонском получила мировую известность [Timm 1986]. Многие поэты получают стипендии, премии (Visibility Award Scheme, Premio Ostana, The Zbigniew Herbert Award 2018, Dirk Martens Prize, etc.)² и признание именно благодаря тому, что пишут на миноритарном языке.

Недавняя антология поэзии народов России представляет панораму современной поэзии на малых языках³, эта антология показательна именно в отношении большого числа поэтов, у которых выбор основного поэтического языка не совпадает с выбором языка бытового и профессионального общения. В современной России поэты-билингвы, использующие русский в быту, пишут на малых языках. Например, Гамзат Изудинов известен в первую очередь как поэт, пишущий по-аварски, однако для своей страницы ВКонтакте он использует русский язык. Во многих странах Европы поэзия билингвов становится элементом политической борьбы и используется для утверждения особого статуса

1 <https://www.editorialrenacimiento.com/los-cuatro-vientos/1919-sin-fronteras.html>

2 <http://www.mod-langs.ox.ac.uk/news/2016/03/21/visibility-award-2-promoting-minority-languages-poetry-translation>; https://en.wikipedia.org/wiki/Premio_Ostana; <https://culture.pl/en/article/the-zbigniew-herbert-international-literary-award-ceremony-2018-live-on-culturepl>; <https://www.flandersliterature.be/literary-prizes>

³ См., например, [Амелин 2017]

языка, или легитимизации претензий региона, где на нем говорят, на независимость, автономию или другое особое положение внутри страны. Наиболее характерными примерами этого являются случаи галисийского и каталанского языков в Испании.

Эмиграция и выбор языка

Переход на язык страны эмиграции

Использование второго языка или языка, усвоенного существенно позднее, чем первый родной язык, или *культурный билингвизм*¹ в поэзии встречается реже, чем в прозе. В списке писателей, перешедших на второй язык [Xophononic writers], прозаиков больше, чем поэтов, лишь 14% в этом списке поэты. Тем не менее в определенных контекстах поэты выбирают именно второй язык в качестве основного поэтического языка. Именно в текстах поэтов-культурных билингвов становится возможным code-switching, или переход с языка на язык внутри одного поэтического текста, что в текстах естественных билингвов, как мы уже отмечали, встречается редко.

Англо-испанский билингвизм в литературе и в поэзии развивался в 60-е гг. в особом социальном контексте, связанном с борьбой за права иммигрантов, так называемым движением Чикано [Simon Rodriguez 2015; Rosales 1997]. [Lipski 2008] отмечает, что рост количества случаев переключения между испанским и английским в драматургии, прозе и поэзии возрастает именно в 1970-е гг. (Aluristo, Tato Laviera, Roberto Fernández, Rolando Hinojoso, Rodolfo Gonzalez), когда билингвизм стал осознаваться как «репрезентация индивидуального и коллективного опыта мексиканцев, переехавших в США» [Toribio 2015: 540]. Поэзия Чикано постоянно обращается к смене кодов, что позволяет более детально рассмотреть роль переключения между языками [Torres 2007]. В [Villanueva 2000] кратко освещена история многоязычия в Мексике и США. Автор бегло переходит от текстов XVI в., где в испанский текст вкраплены слова языка науатль или кечуа, к более современным текстам, где сосуществуют в разных формах испанский и английский, противопоставляя эти случаи естественного билингвизма культурному многоязычию, встречающемуся у Э. Паунда или Т.С. Элиота. Противопоставление это, с одной стороны, хорошо сочетается с оппозицией, используемой в общих исследованиях по билингвизму (bilingual by nature vs. bilingual by choice [Raguenaud 2009; Cohen 1999; Schecter,

¹ Культурный билингвизм в литературе также называется экзофонией. См. [Perloff 2010; Matsumoto 2016; Wright 2008].

Sharken-Taboada, Bayley 1996]); с другой стороны, строгое разделение явлений, которые можно наблюдать в поэзии Чикано, и языковых гибридов у Э. Паунда и Т.С. Элиота не вполне уместно, так как современные поэты могут сочетать естественное и «эстетизированное» многоязычие, а их поэтическая практика может пониматься сейчас как легитимная благодаря тому, что воспринимается на фоне существующей поэтической традиции. К сходным выводам приходят [Mendieta-Lombardo, Cintron 1995], при анализе поэзии Чикано они предлагают различать маркированное и немаркированное переключение между языками; как маркированное они рассматривают внедрение в английский текст испанских слов, обладающих особой «культурной нагруженностью» (culturally loaded) [Ibid: 565].

Таким образом, Чикано **разрабатывают свой поэтический язык, активно используя средства английского и испанского языков и превращая переключение между ними (code-switching) в художественный приём.** Важно отметить, что английский язык при этом нередко существенно отклоняется от литературной нормы, а деформация английского языка в авторской стратегии служит одной из форм социального сопротивления. Создание собственной модели языка и билингвальной поэтики становится средством самоутверждения Чикано как особой социальной группы, см. также [Ch'ien 2004; Baca 2009; Ashcroft 2009; Martinez 2009].

Сохранение родного языка в диаспоре

В противоположность случаям выбора осознанного поэтического моноязычия поэтами-культурными билингвами существуют многочисленные примеры сохранения родного языка как основного поэтического языка в эмиграции. **Непереход на титульный язык как поэтический** в условиях эмиграции, задача сохранения родного языка в иноязычном окружении и восприятие поэтической практики как инструмента этого сохранения **характерны для поэзии русскоязычной диаспоры** (И. Бродский, П. Барскова, О. Юрьев, О. Мартынова). Отметим отдельных поэтов русского происхождения, которые выбирают в качестве поэтического языка английский (Е. Осташевский, М. Янкевич, Е. Туровски), случаи полного поэтического билингвизма – Гали-Дана Зингер (иврит-русский), а также поэтов, перешедших с русского на английский (Филипп Николаев). Напротив, мексиканцы-эмигранты в США чаще переходят на английский, так как проблема угнетения по национально-языковому принципу становится частью их поэтической и языковой стратегии.

**Выбор основного языка для поэзии (main language choice)
в соотношении с мерой близости языков**

	Постоянная страна проживания		При изменении страны проживания	
	Государственный язык	Язык меньшинства	Язык диаспоры	Язык страны эмиграции
Близко-родственные языки	К. Ороса ¹	П. Жимферрер ²	И. Риссенберг ³	А. Штыпель ⁴
Родственные языки	Ф. Пессоа ⁵	А. Дюваль ⁶	И. Бродский	Ж. Керуак ⁷
Неродственные языки	Г. Айги ⁸	Я. Каплинский ⁹	Оуян Юй ¹⁰	Х. Жибран ¹¹ Ха Цзинь ¹²

Многие из этих случаев поэтического билингвизма уже были описаны, поэтому мы ограничимся лишь кратким перечислением. Можно утверждать, что выбор языка в этих ситуациях не мотивирован лингвистически, иначе говоря, языковые сходства, структурная близость или родство языков не влияют на выбор основного поэтического языка. Таблица выше указывает на случаи поэтического билингвизма и выбор основного поэтического языка в описанных выше ситуациях для близкородственных языков, относящихся к одной языковой группе (испанский-каталанский; русский-украинский), родственных языков, относящихся к одной языковой семье (английский-русский; португальский-английский), и неродственных языков, относящихся к разным языковым семьям (английский-китайский; русский-эстонский).

¹ Carlos Oroza (1923–2015). Испанский – галисийский.

² Подробнее в [Бочавер 2015].

³ Русский - украинский.

⁴ Русский – украинский.

⁵ Fernando Pessoa (1888-1935). Английский – португальский.

⁶ Anjela Duval (1905-1981). Французский – бретонский.

⁷ Jack Kerouac (1922-1969) Французский – английский.

⁸ (1934–2006). Русский – чувашский.

⁹ Jaan Kaplinski (р. 1941). Русский – эстонский.

¹⁰ Китайский – английский. Подробнее в [Дрейзис 2015].

¹¹ Khalil Gibran (1883–1931). Арабский – английский.

¹² Ha Jin (р. 1956). Китайский – английский.

Билингвизм и code-switching в поп-культуре

Чаще всего в поп-культуре мы имеем дело с проявлениями культурного билингвизма, где английский был усвоен автором позже в качестве международного языка. В современной музыке, особенно поп и рэпе, очень часто встречаются межъязыковые переходы, а также существование одной и той же песни в виде римейков на разных языках. Важной особенностью является то, что для адресата языковые переходы нередко остаются совершенно незамеченными, а также то, что язык и сам момент code-switching не обязательно предполагает его распознавание, задача понимания не стоит ни с точки зрения отправителя, ни с точки зрения получателя сообщения. Недавний хит Despacito, а также многие песни Рики Мартина или Энрике Иглесиаса наглядно демонстрируют эту особенность.

Текст становится необязательным для понимания из-за быстрого, склеенного произношения, провоцирующего приоритет целого и выхватывание случайных частей из потока сообщения, а также нерасчлененное восприятие по идиоматическому принципу. Подобные тексты нередко включают в себя переходы с языка на язык, которым адресат, скорее всего, не владеет. Возникает немоделирующее соединение знакомых языков, например английского и испанского, при котором адресат, слушающий текст, не должен моментально понимать, на каком языке произносится текст, и при котором не требуется разложение на отдельные языки вне целостного восприятия текста.

Когнитивные основания межъязыковых переходов

Результаты, полученные при построении типологии поэтического билингвизма, заставляют поставить вопрос о причинах столь значительных расхождений в поэтической практике естественных и культурных билингвов, прежде всего по отношению к технологии code-switching.

Переходы между языками в бытовом билингвизме имеют коммуникативные или дискурсивные причины. Дискурсивные причины объясняют и то, что поэты в принципе могут совершать переход на другой язык. Поэт может выработать совершенно новую поэтику на другом языке, может экспериментировать с формой, а повышенный аналитизм при работе со вторым языком этому даже способствует. Эти дискурсивные мотивировки сопоставимы с функциональной дифференциацией языков, которую мы упоминали выше. Однако для бытового билингвизма

не менее важна другая важная мотивировка – это установка на адресата. Определенные переходы билингвы совершают только в той ситуации, когда собеседник их точно поймет, или потому что именно с этим собеседником привычно говорить на том, а не на другом языке. Часто ребенок-билингв говорит с родителями на одном языке, а с друзьями на другом.

В поэзии подобная коммуникативная мотивировка межъязыкового перехода невозможна. Поэзия по определению автокоммуникативна и не имеет адресата в том смысле, в каком его имеет любой другой вид речевой деятельности [Азарова 2012]. Поэт-естественный билингв, таким образом, не может найти достаточной мотивировки для регулярных переходов с языка на язык в поэтической практике. Однако в поп-музыке такие переходы совершаются регулярно как естественными, так и культурными билингвами, ведь это прикладная поэзия, где всегда присутствует адресат, и ее основная задача – быть понятной своему адресату и воздействовать на него.

Очевидно, теми же причинами объясняется загадка автоперевода: поэты-билингвы достаточно редко переводят собственные стихи. Перевод, в отличие от оригинала, гораздо более адресован, рассчитан на определённую целевую аудиторию и существует в строго заданной коммуникативной ситуации.

Исследование выбора основного поэтического языка и поэтического контекста в целом является инструментом понимания естественного и культурного билингвизма и различий между ними. Можно видеть, как естественные билингвы, в отличие от культурных билингвов, избегают частого переключения между языками. Кроме того, это исследование позволяет подтвердить тезис о специфической коммуникативной структуре поэтического текста и фундаментальном различии между поэзией и ее прикладными формами, к которым относится поэтический перевод, бардовская поэзия, рэп, популярная музыка и пр.

Литература

- Азарова Н.М. Критерий «адресат» в установлении границ поэтического дискурса // Логический анализ языка. Адресация дискурса. / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. М., 2012.
- Азарова Н.М. Многоязычие Айги и языки-посредники // Russian literature, Vol. 79–80, 2016.

- Азарова Н.М. Неявные неологизмы и межъязыковые идиомы // Вторые Григорьевские чтения. Неология как проблема лингвистической поэтики: Тезисы докладов международной научной конференции (14–16 марта 2018 г.). М., 2018.
- Азарова Н.М. Поэтический билингвизм Фернандо Пессоа // Критика и семиотика. № 1, 2015.
- Азарова Н.М., Полян А.Л. Устное vs. письменное в поэзии: переосмысление традиционной бинарной оппозиции // Критика и семиотика. № 2, 2015.
- Амелин М. (отв. ред.). Современная литература народов России. Поэзия. Антология. М., 2017.
- Бочавер С.Ю. Билингвизм и межъязыковое взаимодействие в поэзии П. Джимферрера // Критика и семиотика. № 1, 2015.
- Дрейзис Ю.А. Билингвизм vs. мультикультурализм: феномен творчества австрало-китайского поэта Оуян Юя // Критика и семиотика. № 1, 2015.
- Полян А.Л. Иврит III–XIX вв. н. э. как «спящий язык» // Вопросы языкознания. № 5, 2014.
- Ashcroft B. Caliban's Voice: The Transformation of English in Post-Colonial Literatures. London, 2009.
- Vaca D. The Chicano/a Codex: Writing against Historical and Pedagogical Colonization // College English 71 (2009).
- Ch'ien E.N. Weird English. Cambridge, MA, 2004.
- Cohen M. Bilingual by chance or by choice: language maintenance and loss in simultaneous and successive bilinguals // Psycholinguistics on the threshold of the year 2000. Proceedings of the 5th international congress of the international society of applied psycholinguistics. Porto, 1999.
- Dirk Martens Prize – URL: <https://www.flandersliterature.be/literary-prizes> (дата обращения 09.07.2018).
- Exophonic writers – List of Exophonic writers, Wikipedia, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_exophonic_writers
- Lipski J.M. Varieties of Spanish in the United States. Georgetown, 2008.
- Martinez A.Y. 'The American Way': Resisting the Empire of Force and Color-Blind Racism // College English 71 (2009).
- Matsumoto K. Exophony in the Midst of Mother Tongue. Resources between languages // Doing English in Asia. Global Literature and Culture, 2016. URL: https://books.google.co.uk/books?hl=en&lr=&id=Xr3RCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA17&dq=exophonic+writing&ots=oOj_jEDrGK&sig

- =2jPln_5T-e2hyFYyqBsDQIzyS5g&redir_esc=y#v=onepage&q=exophonic %20writing&f=false (дата обращения 13.02.2018).
- Mendieta-Lombardo E., Cintron Z.A.* Marked and Unmarked Choices of Code-Switching in Bilingual Poetry // *Hispania*. Vol. 78, No. 3 (Sep., 1995).
- Perloff M.* Language in migration: multilingualism and exophonic writing in the new poetics // *Textual Practice* 24 (4), 2010/ URL: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0950236X.2010.499660?journalCode=rtpr20>
- Premio Ostana – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Premio_Ostana (дата обращения 09.07.2018).
- Raguenaud V.* *Bilingual By Choice: Raising Kids in Two (or More!) Languages*. Boston, 2009.
- Rosales F.A.* *Chicano! The history of the Mexican American civil rights movement*. Houston, 1997.
- Schechter S.R., Sharken-Taboada D., Bayley R.* Bilingual by Choice: Latino Parents' Rationales and Strategies for Raising Children with Two Languages // *The Bilingual Research Journal* Spring 1996, Vol. 20. No. 2.
- Simon Rodriguez M.* *Rethinking Chicano Movement*. New York, 2015.
- Sin Fronteras – URL: <https://www.editorialrenacimiento.com/los-cuatro-vientos/1919-sin-fronteras.html> (дата обращения 13.02.2018).
- The Zbigniew Herbert Award 2018 – URL: <https://culture.pl/en/article/the-zbigniew-herbert-international-literary-award-ceremony-2018-live-on-culturepl> (дата обращения 09.07.2018).
- Timm L.A.* Anjela Duval: Breton poet, peasant and militant // *Women's Studies International Forum*, Volume 9, Issues 5–6, 1986.
- Toribio J.A.* Code-switching among US Latinos // *Handbook of Hispanic sociolinguistics*. / Ed. M. Diaz-Campos. Malden, MA, 2015.
- Torres L.* In the Contact Zone: Code-Switching Strategies by Latino/a Writers // *MELUS* 32.1 (2007).
- Villanueva T.* Brief history of bilingualism // *Multilingual anthology of American Literature: A reader of original texts with English translations*. New York, 2000.
- Visibility Award 2: Promoting Minority Languages via Poetry Translation – URL: <http://www.mod-langs.ox.ac.uk/news/2016/03/21/visibility-award-2-promoting-minority-languages-poetry-translation> (дата обращения 09.07.2018).
- Wright C.* Writing in the 'Grey Zone': Exophonic Literature in Contemporary Germany // *GFL*, 2008. URL: <http://www.gfl-journal.de/3-2008/wright.pdf> (дата обращения 13.02.2018).

Л.Л. Шестакова

Поэтика иноязычных вкраплений в стихотворном тексте

Русский поэтический дискурс демонстрирует давнюю традицию включения в тексты иноязычных вкраплений. Она ярко проявила себя в поэзии Серебряного века, одной из установок которой стал диалог культур, широкая открытость миру. Наше исследование проведено на материале произведений именно этого периода, с опорой на данные «Словаря языка русской поэзии XX века» (СЯРП) (о концепции Словаря см. [Григорьев 2001; Шестакова 2011: 89–93]). База данных и статьи вышедших томов сводного СЯРП, описывающего язык десяти крупнейших русских поэтов – от Анненского до Цветаевой, показывают, что массив вкраплений в поэзии Серебряного века весьма значителен. В работах [Шестакова 2014; Шестакова, Кулева 2015] речь шла преимущественно о составе вкраплений этого массива, их структурных типах и т.д., здесь же мы сосредоточимся на том, как проявляют себя такие единицы в плане поэтики, в аспекте решаемых с их помощью художественных задач.

Уточним вначале содержание самого понятия «иноязычное вкрапление». Не углубляясь в историю введения и последующей разработки понятия, в трактовку вкрапления как единицы культурного трансфера (см., в частности, [Леонтьев 1966; Крысин 1997; 2004; Листрова-Правда 2001; Новоженова 2012; Ломакина 2014; Бочавер, Фещенко 2016]), сошлемся на точку зрения Л.П. Крысина. В соответствии с ней, под иноязычными вкраплениями понимаются «...слова и обороты, представляющие собой своеобразные клише, идиоматические выражения, обычно передаваемые графическими и фонетическими средствами языка-источника» [Крысин 1997: 133]. Однако фактический материал, который встречается во множестве текстов, подводит к более широкому пониманию вкраплений. Во-первых, к ним можно отнести и другие разновидности слов, передаваемых буквами чужого алфавита, – с одной стороны, скажем, общеупотребительные слова (ср.: у Цветаевой *Nest* – нем. гнездо, у Анненского *pêche* и *mauve* – франц. желтый, цвета

персика и лиловато-розовый), с другой – экзотизмы, которые, по словам Крысина, «“чисто” иноязычны» [Крысин 2004: 59], как и вкрапления. Во-вторых, сюда могут быть отнесены отрывки текста на иностранном языке, цельнооформленные высказывания, в том числе цитатного характера, которые вводятся в русский текст с определенной художественной целью. Это, например, эпитафии к стихотворениям в виде строки на чужом языке, двух строк или отдельных полных строф. Учитывая сказанное, мы будем исходить из широкой трактовки понятия «иноязычное вкрапление», используя в качестве синонимов сочетания «иноязычное включение», «иноязычный элемент».

Общий анализ отобранного материала показывает, что фонд иноязычных вкраплений отражает круг языков, входивших в языковую компетенцию авторов, круг актуальных для них культурных образов и культурную парадигму, заданную происхождением, образованием и окружением автора. Вкрапления заимствуются из латинского, греческого, немецкого, французского, итальянского и др. языков. В качестве источников заимствования выступают христианский дискурс, произведения классической античной литературы, европейской литературы, и это во многих случаях усиливает колорит «книжности» поэтического текста, подчеркивает его включенность в историко-литературный контекст. Массив иноязычных вкраплений, фиксируемых СЯРП, составляют единицы разного языкового статуса – слова, в том числе имена собственные, речевые клише, устойчивые сочетания, составные термины, афоризмы, цитаты в виде текстов разного, порой значительного, объема.

Важно отметить, что иноязычные включения характеризуют словоупотребление одного автора, группы авторов, могут носить общепозитический характер. К примеру, у большинства поэтов, представленных в СЯРП, встречаются латинские включения, что вполне объяснимо; в то же время итальянские вкрапления характерны для Блока, Кузмина, французские – для Маяковского, английские – для Ахматовой, немецкие – для Цветаевой и т.д. Поэзия Кузмина дает картину широкого использования единиц в исконной графике из разных языков, в том числе из греческого. См., например, в оде «Враждебное море»: *десять тысяч / оборванных греков, обнимая друг друга, / крича, заплакали: «Θάλασσα!» («Море!»)* – и в стихотворении «Базилид»: *Рай, рай! В руке у меня был полированный камень, Из него струился кровавый пламень, И грубо было нацарапано слово: "Αβραζας («имя Бога», по Василиду (философ-гностику)). У Пастернака, кроме прочего, находим пример включения на старофранцузском языке: *Honny soit qui mal у pense («Да будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает»)*, а у Мандельштама – на*

польском: «Polaci!» («Поляки!»); приведенная форма неточна, выступает у поэта как своего рода вариант правильной формы *polacy*, которая отмечается в одном из архивных списков стихотворения). Добавим, что у отдельных поэтов иноязычные вкрапления носят ожидаемо единичный характер. У Хлебникова, например, это имеет мировоззренческую основу, у Есенина – социально-культурную.

Поэтика иноязычных вкраплений соотносится с приемами и способами их введения в стихотворные тексты. Сосредоточимся на некоторых приемах общего характера, наблюдаемых у многих поэтов.

Намеренность включения в произведение единиц на языке оригинала обнаруживается, прежде всего, в вынесении их в сильные текстовые позиции, особенно в заглавие и эпитафия. Заглавие как элемент предтекста может задавать не только тему, но и структурную организацию стихотворения, стихотворного цикла, поэмы, их общую стилистическую тональность, звуковое оформление, а эпитафия, более приближенный к тексту, становится обычно отправной «смысловой» точкой вхождения в текст. Справедливо отмечается, что, попадая в сильную позицию, вкрапления на «чужом» языке «оказываются дважды “выдвинутыми”»: благодаря своей позиции и благодаря своей “иноязычности”» [Тищенко, Фатеева 2005: 209].

Материалы СЯРП дают большой ряд примеров заглавий разной структуры, образованных иноязычными элементами: Анненский – «Canzone» (итал. «Песня»), «Notturmo» (итал. «Ночное»), «Träumerei» (нем. «Грезы»), «Nox vitae» (лат. «Ночь жизни»); Ахматова – «Anno Domini» (лат. «В лето Господне», заглавие книги стихов); Блок – «Religio» (лат. «Благочестие»), «Noli tangere circulos meos» (лат. «Не тронь моих кругов»), «Ante lucem» (лат. «До света», название книги стихов); Кузмин – «Fides Apostolica» (лат. «Апостольская вера»), ср. у него же заглавие с последующим переводом: «Природа природствующая и природа оприроденная (Natura naturans et natura naturata)»; Мандельштам – «Encyclica» (лат. «Энциклика» (папское послание ко всему миру)), «Silentium» (лат. «Молчание», прямая отсылка к стихотворению Тютчева); Пастернак – «Enseignement» (франц. «Обучение»), «Materia prima» (лат. «Первоматерия»); Цветаева – «Bohème» (франц. «Богема»), «Ex-ci-devant» (франц. здесь: «Бывшему из бывших»), «Perpetuum mobile» (лат.) и т.д. Типичность вынесения иноязычных вкраплений в заглавия видна и по примерам из других поэтов Серебряного века. Ср.: Бальмонт – «Ad infinitum», «Incubus», «Pax hominibus bonae voluntatis»; Брюсов – «Dolce far niente», «L'Ennui de vivre», «Vox populi»; Северянин – «Nocturne», «Поэза “Villa mon repos”»; Ходасевич – «Sanctus amor», «Passivum» и т.п.

Обычно выполняя назывную, интертекстуальную, а также функцию культурных маркеров, подобные заглавия находят разное отражение в самих текстах. См., например, восьмистрофное стихотворение Кузмина «*Fides Apostolica*» (1921) из книги «Параболы», посвященное Юрию Юркуну (приводится в сокращении):

Et fides Apostolica
Manebit per aeterna...
 Я вижу в лаке столика
 Пробор, как у экстерна. <...>

Левкой ли пахнет палевый
 (Тень ладана из Рима?)
 Не на заре ль узнали вы,
 Что небом вы хранимы?

В кисейной светлой комнате
Пел ангел – англичанин...
 Вы помните, вы помните
 О веточке в стакане, <...>

Напрасно ночь арабочка
 Сурдинит томно скрипки, –
Моя душа, как бабочка,
Летит на запах липки.

И видит в лаке столика
 Пробор, как у экстерна,
Et fides Apostolica
Manebit per aeterna...

В стихотворении заглавие выступает в составе фразы *Et fides Apostolica Manebit per aeterna...* («И апостольская вера останется навеки...»)¹, образующей две начальные и две последние строки текста. Графически контрастируя в этих строках с кириллическими строками, в целом они придают стихотворению кольцевой характер, цельность и завершенность.

¹ «Строки, переведенные как “И апостольская вера останется навеки...” [Кузмин 1990: 270], отсутствуют в *Patrologia Latina*, и, скорее всего, их автором являлся сам поэт» [Табункина 2013: 127].

Тема вечной «апостольской веры», заданная заглавием, получает в стихотворении лексическое развитие: Тень *ладана из Рима, небом вы хранимы, Пел ангел* – англичанин, *Моя душа*, как бабочка, *Летит*. В то же время эти маркеры, как считают исследователи, соотносятся с субъектом посвящения¹. Обратим внимание и на то, что компоненты иноязычного вкрапления входят в повторяющиеся (графически «смешанные») рифменные пары с переменной позиций рифмующихся слов: *Apostolica – столика, aeterna – экстерна; столика – Apostolica, экстерна – aeterna*.

В стихотворении Цветаевой «*Aeternum vale*» (1911) вынесенное в заглавие латинское выражение *Aeternum vale* («Прощай навеки») в каждой из трех строф занимает сильную позицию начала строфы и строки, вновь и вновь актуализируя тему прощания перед уходом, началом поиска нового пути, «новых бездн и новых звезд». При этом в тексте находит отражение звуковой состав слова *Aeternum*, в особенности решительное [р] в сочетании с разными гласными:

Aeternum vale! Сброшен крест!
Иду искать под новым бредом
И новых бездн и новых звезд,
От поражения – к победам!

Aeternum vale! Дух окреп
И новым сном из сна разбужен. <...>

Aeternum vale! В путь иной
Меня ведет иная твердость. <...>

В сходном ключе могут быть рассмотрены и стихотворения с нечасто встречающимися вкраплениями-подзаголовками. Так, после заглавия стихотворения Анненского «С кровати» следует подзаголовок: (*Моей garde-malade*) (франц. сиделка). Слово *garde-malade* (в меньшей степени *кровать*) задает тему болезни, которая далее эксплицируется в тексте словами *подушка* и *больной*:

Весь полный утра, весь душистый,
Мой сад – с *подушки* – точно лес;

¹ В частности, с Римом «связан мотив “охранения небом”, который в биографии поэта имел реальные основания (арест Юркуна и неожиданное освобождение в 1918 г.)» [Там же: 125].

Ну, солнце, угощай *больного*,
Как напоило целый мир.

В позиции э п и г р а ф а чаще всего используются фразовые единицы, имеющие относительно самостоятельный характер. Нередко это литературные цитаты с указанием или без указания авторов¹, например: *Il mio bel San Giovanni.* / *Dante* (итал. «Мой прекрасный Сан Джованни. Данте» – эпитафия к стихотворению Ахматовой «Данте»); *La fleur des vignes pousse / Et j'ai vingt ans ce soir.* / *Andre Theuriet* (франц. «Распускается цветок винограда, а мне сегодня вечером двадцать лет. Андре Терье» – эпитафия к книге стихов Ахматовой «Вечер»); *Musa, mihi causas memora!* / *Publius Vergilius Maro* (лат. «Муза, напомни мне причины! Публий Вергилий Марон» – эпитафия к стихотворению Блока «Я помню вечер. Шли мы розно...»); *Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, Chagrin d'amour dure toute la vie* (франц. «Радость любви длится один лишь миг, Горечь любви длится всю жизнь» – эпитафия к стихотворению Кузмина «Любви утечи», первые строки песенки немецкого композитора и органиста Иоганна Пауля Шварцендорфа (Джованни Паоло Мартини) на слова Жана Пьера Клари де Флориана).

Именно в эпитафиях наблюдается введение больших по объему вкраплений, несущих заметную интертекстуальную нагрузку. Яркие примеры такого рода находим у Блока, Мандельштама, Пастернака, Цветаевой. См., например, эпитафия из текста немецкого поэта Эвальда Христиана Клейста к стихотворению Мандельштама «К немецкой речи». Стихотворение адресовано знакомому Мандельштама, биологу-георетику Б.С. Кузину, и эпитафия начинается со слова-обращения *Друг*:

Freund! Versäume nicht zu leben:
Denn die Jahre fliehn,
Und es wird der Saft der Reben
Uns nicht lange glühn!
(Ew. Chr. Kleist)

(«Друг! Не упusti (в суете) самое жизнь. Ибо годы летят И сок винограда Недолго еще будет нас горячить!»).

¹ «Традиционно в поэзии иноязычные инкрустации использовались в эпитафиях, которые чаще не переводились на русский язык или переводились уже редакторами» [Азарова 2016: 288].

Поэты используют не только стихотворные эпиграфы. В этих случаях в произведении возникает не только графический, но и жанровый контраст его элементов. См., к примеру, прозаический эпиграф на французском языке к стихотворению Цветаевой «Камерата» (уточним: *Камерата* – графиня, кузина герцога Рейхштадтского, сына Наполеона) (курсив автора):

*“Au moment où je me disposais
à monter l’escalier, voila
qu’une femme, envelopée dans un
manteau, me saisit vivement la
main et l’embrassa”.*

*Prokesh-Osten. “Mes relations
avec la duc de Reichstadt”.*

(«В тот момент, как я собирался подняться по лестнице, какая-то женщина в запахнутом плаще живо схватила меня за руку и поцеловала ее». Прокеш-Остен. «Мои отношения с герцогом Рейхштадтским»).

Иногда к стихотворным текстам, обычно крупных жанровых форм, предпосылается несколько эпиграфов, среди которых есть и фрагменты в чужой графике. Один из примеров – сочетание эпиграфов («посылка») к «Поэме философской» Блока (1900). Первый эпиграф на церковнославянском языке из Евангелия от Матфея, второй – на латыни, представляет собой слова из католической мессы (*Introibo ad altare Dei...* – «Войду в алтарь Бога. К Богу, который веселит юность мою»); третий эпиграф, как полагают, принадлежит самому Блоку:

Ты еси Петр, и на сем камени созижду церковь мою.
Еванг. Матфея, XVI. 18

Introibo ad altare Dei. Ad Deum, qui laetificat juventutem meam.

Мне сердце светом озарил
Ты, мой задумчивый учитель,
Ты темный разум просветил,
Эллады мощный вдохновитель.
А ты, певец родной зимы,
Меня ведешь из вечной тьмы.

Божественное, христианское начало, выраженное первым эпиграфом и удвоенное вторым, получает развитие в первой же строфе поэмы:

Здесь на земле единокельны
И дух и плоть путем одним
Бегут, в стремленьи нераздельны,
И Бог – одно начало им.

Философская основа произведения просматривается в строках третьего эпиграфа: *Мне сердце светом озарил <...> Эллады мощный вдохновитель. А ты, певец родной зимы, Меня ведешь из вечной тьмы* (по мнению комментаторов, в первом случае имеется в виду, вероятно, Платон, во втором – Владимир Соловьев, «в стихах которого часто встречаются мотивы зимы, снега, вьюг» и т.д. [Блок 1960: 664]).

Несколько эпиграфов предваряют поэму Цветаевой «Перекоп» (1928, 29–38), имеющую и посвящение: *Моему дорогому и вечному добровольцу*. Посвящение адресовано мужу поэтессы С.Я. Эфрону, служившему во время Гражданской войны в марковской дивизии Добровольческой армии. Первый эпиграф из трех – автоцитата из самой поэмы, второй – строки из стихотворения Теодора Шторма «Frauen-Ritornelle» (Dunkle Zypressen!.. – нем. Темные кипарисы! Мир чересчур весел. И всё будет забыто), третий, как указывает Цветаева, – это фрагмент «живого разговора летом 1928 г.»:

... А добрая воля
Везде – одна!

Dunkle Zypressen!
Die Welt ist gar zu lustig.
Es wird doch alles vergessen.

– Через десять лет забудут!
– Через двести – вспомнят!
(Живой разговор летом 1928 г. Второй – я.)

Обратим внимание на то, что первый эпиграф соотносится с посвящением (*добрая воля – добровольцу*), а второй и третий выражают, на разных языках, усиленную идею забвения перекопских добровольцев: *И всё будет забыто – Через десять лет забудут*.

Следует сказать, что в разные позиции предтекста вводятся и вкрапления – собственные имена. В целом такие вкрапления весьма характерны для поэзии Серебряного века. Они представляют собой разные по структуре собственные имена таких классов, как топонимы, названия произведений литературы и искусства, имена их авторов и т.д., преимущественно из французского, немецкого и итальянского языков. Это демонстрируют и онимы, выносимые в предтекст. Вот примеры некоторых онимных стихотворных заглавий: Анненский – «Villa nazionale» (парк в Неаполе), Ахматова – «Nox» (с подзаголовком: «Статуя “Ночь” в Летнем саду»), Блок – «Madonna da Settignano» (итал. Сеттиньяно – селение возле Флоренции), Пастернак – «Piazza S. Marco» (итал. площадь Сан-Марко в Венеции), «Gleisdreieck» (станция берлинского метро); подзаголовков: Блок – «Из альбома “Kindisch” Т.Н. Гиппиус» (нем. «Детское»), «(Bad Nauheim. 1897–1903)» (нем. город Бад Наугейм), Маяковский – «Раздумье на открытии Grand Opéra»; Цветаева – «На картину “Au Crépuscule” Paul Chabas в Люксембургском музее» (картина «В сумерках» Поля Шабаса); эпиграфа: Кузмин – «Летающий мальчик» (заглавие) / «Zauberflöte» (эпиграф – «Волшебная флейта» (опера Моцарта)) и посвящения: Кузмин – «Вожатый» (заглавие цикла стихов) / «Victori Duci» (посвящение, в котором «обыгрывается имя Виктора Наумова (Victor – победитель)» [Кузмин 1990: 507]). Как видно, в этой группе примеров есть контаминированные предтекстовые единицы (подзаголовки) – сочетающие в себе элементы разной графики; см. также заглавия такого типа: Блок – «Девушка из Spoleto», Цветаева – «Как мы читали “Lichtenstein”» (исторический роман В. Гауфа).

Вкрапления-они́мы, образующие заглавия стихотворений, также получают продолжение в тексте. Они могут, прямо повторяясь, структурировать и скреплять текст, взаимодействовать с другими его элементами. Например, по-разному ведет себя такой культурный знак, как оним *Notre-Dame*, в позиции стихотворного заглавия у Мандельштама (в орфографическом варианте *Notre Dame*; 1912) и Маяковского (1925). В обоих случаях оно, воспроизводясь, рифмуется, но у первого поэта строгая рифма: *Notre Dame* – создам – соответствует торжественному звучанию стихотворения:

Но чем внимательней, твердыня *Notre Dame*,
Я изучал твои чудовищные ребра, –
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам...,

позиции, рифмуются со словами разных частей речи, иногда рифмуются неоднократно, причем рифмоваться может и однословное вкрапление, и элемент вкрапления-сочетания, высказывания. В продолжение данных выше примеров представим по разным авторам, включенным в СЯРП, и другие (корпус примеров демонстрирует большую или меньшую склонность поэтов к межъязыковым рифмам):

Ахматова: хмель – *ma belle*, старину – (*Seigneur, ayez pitié*) de nous, глина – (*O salve*,) *Regina!*, *vis-à-vis* – любви, *Lise* – карниз;

Блок: сама – *cinéma*, крест – *sacer est*, повлеклись – *lawn-tennis*, продавщика – *kodak'a*¹, *Venena* – колена;

Кузмин: родник – *transatlantiques*, Луну – *nous*, крик затих – *Für dich*, (*How*) *do you do!* – дуду;

Мандельштам: грома – *Roma*; ср. рифменные пары в шуточном стихотворении «*Ubi bene, ibi patria...*»: *patria* – обратное, Бена – *bene*;

Маяковский: тлен – *Verlaine*, мышь – *Boulmiche*, дорог – *un grog*, *nihil* – книги, *Signe de Zoro* – так заорет;

Пастернак: снега – *alter ego* и омегой – *alter ego*, нам вслед – *tête-à-tête*, титаны – *tetanus*², *rendez-vous* – траву, *alla breve* – деревья, *Dahin!* – долины;

Цветаева: кавалер – *Herr*, по команде – *Ars Amandi*, верстак – *Tag* и тюфяк – *Tag*³, *vivat!* – в ад, *Vaterland* – Кант. Ср. также у Цветаевой: *bic* (укр.) – мыс.

Поэты с разной степенью оригинальности рифмуют одни и те же иноязычные элементы. Ср.: у Мандельштама: победой – *credo* («Поговорим о Риме – дивный град!..»), у Цветаевой: *credo* – цедок («Поэма воздуха»). В стихотворении Цветаевой «Волшебство» находим редкий пример рифмования двух иноязычных элементов:

Саксонские фигурки
Устраивают жмурки.
«*A vous, marquis, veuillez!*»

¹ Слово *kodak* «склоняется» подобно рифмующемуся с ним слову *продавщик* (*устар.* *продавец*). В этом можно увидеть тенденцию к освоению слова русским языком.

² *Tetanus* – лат. столбняк; данный пример взят из стихотворения Пастернака с характерным названием «Болезни земли».

³ Эти рифменные пары встречаются в поэме Цветаевой «Крысолов»; слово *Tag* входит в состав повторяющегося в поэме выражения *Morgen ist auch ein Tag* («завтра – тоже день»).

Хохочет *chevalier*...

(франц. «Ваш черед, маркиз, извольте!», «рыцарь»).

Заметим, что и в тех случаях, когда иноязычные вкрапления у автора редки, они попадают обычно в конец строки. См., например, у Хлебникова: *Santa Maria!* – Чартория (Из песен гайдамаков) и Есенина: вниз – *miss* («Ты меня не любишь, не жалеешь...»).

Для графически «смешанных» рифм характерна особая смысловая и стилистическая выразительность. Так, у Анненского встречается рифменная пара: в мурье – (Léon) Vannier. *Мурья* – это *устар. прост.* ‘темное, тесное помещение; конура, лачуга’, Léon Vannier – имя парижского издателя современной французской поэзии. Как видно, здесь контрастом графики поддерживается контраст низкого и высокого. Причем, заметим, этот контраст имеет комическую окраску, создаваемую в том числе омоформной рифменной парой: сену – Сену:

Скучно мне сидеть в мурье,
И, как конь голодный к сену,
Я тянусь туда, на Сену,
Я тянусь к Léon Vannier.

Пример семантической рифмы находим в стихотворении Маяковского «Город» (из парижского цикла): *l'énergie* – жизнь (вкрапление входит в состав рекламной фразы: *Un verre de Koto / donne de l'énergie* – «Стакан Кото дает энергию»).

Анализ материала, почерпнутого из сводного словаря поэтического языка, позволил, таким образом, показать объемность массива иноязычных вкраплений в поэзии Серебряного века, особенности поэтики предтекстовых и внутритекстовых вкраплений, формы их эстетизации в стихотворном произведении. Привлечение аналогичного материала из текстов других поэтов – Серебряного века и иных эпох – даст возможность расширить и детализировать полученную картину.

Литература

Азарова Н.М. Поэтический билингвизм как средство межкультурного трансфера // Лингвистика и семиотика культурных трансферов: методы, принципы, технологии. Коллективная монография / Отв. ред. В.В. Фещенко. М., 2016.

- Блок А.А. Собрание сочинений в 8 т. / Под общей ред. В.Н. Орлова, А.А. Суркова, К.И. Чуковского. Т. 1. М.; Л., 1960.
- Бочавер С.Ю., Фещенко В.В. Теория культурных трансферов: от перевода доведения – через cultural studies – к теоретической лингвистике // Лингвистика и семиотика культурных трансферов: методы, принципы, технологии. Коллективная монография / Отв. ред. В.В. Фещенко. М., 2016.
- Григорьев В.П. Предисловие // Словарь языка русской поэзии XX века. Т. 1: А–В. М., 2001.
- Крысин Л.П. Заимствование // Русский язык. Энциклопедия. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1997.
- Крысин Л.П. Русское слово, свое и чужое: Исследования по современному русскому языку и социолингвистике. М., 2004.
- Кузмин М.А. Избранные произведения / Сост., подгот. текста, вступ. ст., коммент. А. Лаврова, Р. Тименчика. Л., 1990.
- Леонтьев А.А. Иноязычные вкрапления в русскую речь // Вопросы культуры речи. М., 1966.
- Листрова-Правда Ю.Т. Иноязычные вкрапления-библейзмы в русской литературной речи XIX–XX вв. // Вестник Воронежского государственного университета. Серия 1. 2001. № 1.
- Ломакина О.В. Иноязычная фразеология и паремиология в текстах Л.Н. Толстого: особенности переключения языкового кода // Вестник Череповецкого государственного университета. 2014. № 7.
- Новоженова З.Л. Иноязычные вкрапления как дискурсивное явление: русское слово в чужом тексте // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2012. Вып. 8.
- СЯРП – Словарь языка русской поэзии XX века. Т. I–VII – / Сост.: В.П. Григорьев (отв. ред.), Л.Л. Шестакова (отв. ред.), Л.И. Колодяжная (ред.), А.С. Кулева (ред.), В.В. Бакеркина, А.В. Гик, Т.Е. Реутт, Н.А. Фатеева. М., 2001–2017.
- Табункина И.А. Стихотворение М. Кузмина «Fides Apostolica» (1921) в контексте литературного и графического наследия Одри Бердсли // Вестник Пермского университета. 2013. № 3 (23).
- Тищенко О.В., Фатеева Н.А. Иноязычные элементы в составе заголовочного комплекса и способы их взаимодействия с текстом (на материале русской поэзии XX века) // Поэтика заглавия: Сб. науч. тр. М.; Тверь, 2005.
- Шестакова Л.Л. Одно- и двусловные иноязычные включения в языке поэзии Серебряного века (по материалам «Словаря языка русской поэзии XX века») // Русский язык: исторические судьбы и современность. М., 2013. № 1. С. 10–15.

менность: V Междунар. конгресс исследователей рус. яз. (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, филол. ф-т, 18–21 марта 2014 г.): Труды и материалы. М., 2014.

Шестакова Л.Л. Русская авторская лексикография: Теория, история, современность. М., 2011.

Шестакова Л.Л., Кулева А.С. Иноязычные вкрапления в текстах поэтов Серебряного века (по материалам сводного словаря поэтического языка) // Изв. РАН. Серия лит-ры и языка. 2015. Т. 74. № 1.

Х. Шталь

«Молитва об откровении великой тайны» Владимира Соловьева и софийная поэзия Якоба Бёме¹

Владимир Соловьев (1853–1900) стал первым русским философом мирового значения. Он стоял у истоков того направления русской религиозной философии, которое ставило, вслед за немецким идеализмом, задачу построения целостной картины мира. Его философия всеединства стремится к согласию разных мировых религий и, в первую очередь, христианских церквей, а также философии и естествознания. Деятельный порыв Соловьева был укоренен в личном опыте мистических переживаний, которые он толковал как видение Божественной Мудрости Софии. Согласно его основному определению Софии, она понимается как тело Бога². Бог предстаёт в форме всеединства, которое осуществилось впервые в мире через воскресшее тело Иисуса Христа. Из этой исходной идеи Соловьев развивает всю свою философию, отчего его философию также можно характеризовать как Софиологию.

¹ Авторизированный перевод с немецкого – к.ф.н. В.Н. Морозова (2018). Цитаты, если не приводится другой источник, также переведены В.Н. Морозовым.

² См., например, в «Чтениях о Богочеловечестве»: «Как в дохристианском историческом ходе основой, материей, была натура, или стихия человеческая, действующим и образующим началом – разум божественный, ο' λόγος τοῦ Θεοῦ, и результатом (порождением) – Богочеловек, т.е. Бог, воспринявший человеческую натуру, так в процессе христианства основой или материей является натура или стихия божественная (Слово, ставшее плотью, или тело Христово, София), действующим и образующим началом является разум человеческий, а результатом является человеко-бог, т.е. человек, воспринявший божество; а так как воспринять божество человек может только в своей безусловной целостности, т.е. в совокупности со *всем*, то человеко-бог необходимо есть коллективный и универсальный, т.е. всечеловечество, или вселенская церковь, Богочеловек индивидуален, человекобог универсален; так радиус круга один и тот же для всей окружности в любой из ее точек и, следовательно, сам по себе есть уже начало круга, точки же периферии лишь в своей совокупности образуют круг» [ПСС 4: 168].

В своём раннем творчестве Соловьев задался вопросом, каковы условия возможности видения Софии, опыта мистического переживания, связанного с этим видением, а также каковы пути обретения такого мистического опыта. В этой связи возникает молитва, обращённая к Пресвятой Божественной Мудрости – Софии: в молитве просится о том, чтоб София открылась молящемуся и всем «причастникам» его молитвы и соединилась с ними и миром.

Появление молитвы, предположительно, относится ко времени нахождения Соловьева в Лондоне в 1874 г. Молитва была найдена в сшитой тетради, названной племянником философа Сергеем Соловьевым «Альбом № 1». «Альбом в жёлтом переплёте» содержит стихи (начиная с 1874 г.), а также заметки спиритического характера (равно как их содержат многие другие рукописи Соловьева)¹. Молитва носит ярко выраженный магический характер, на что, в частности, указывает оборот «заклинаю». В то же время молитва до некоторой степени созвучна софийным мистическим стихам Соловьева – молитва как бы предваряет их, относясь к *восхождению* к видению, в то время как мистические стихи – по преимуществу – являют собой *нисхождение*, «реализацию» средствами поэзии полученного в опыте видения.

Сергей Соловьев впервые представил молитву публике в приложении к биографии философа в шестом издании собрания поэтических трудов Владимира Соловьева, опубликованном в 1915 г.² Восьмое издание стихов Соловьева вошло в Брюссельское издание (СС), дополняющее перепечатку второго издания сочинений Соловьева (1911–1914) двумя томами (1966–1970). Однако издатели не отмечали специально, что между опубликованным ими текстом и изданием Сергея Соловьева

¹ «Текст этой молитвы находится в альбоме в желтом переплете, куда В. С. записывал стихотворения, начиная с 1874 г.». См.: примечание 3 в издании: [СС 12: 148]. Автор заметок – Сергей Соловьев, чьи указания в сокращённом виде приводятся также в седьмом переиздании соловьевских стихов. Ср. примеч. издателя. К вопросу о спиритических заметках см. [Соловьев 1977: 119], а также [Чулков 1992] и [Кравченко 2006].

² «Ко времени первого заграничного путешествия Соловьева относится его альбом в толстом переплете, который я, в моей биографии В. Соловьева, приложенной к 6-му и 7-му изданиям его стихов, назвал “альбомом № 1”. Здесь находится молитва ко Пресвятой Софии, <...>» [Соловьев 1977: 118]. Речь идёт о шестом издании стихотворений Владимира Соловьева. Издание шестое, значительно дополненное, с вариантами, библиографическими примечаниями, биографией и 2-мя портретами. М., 1915. Седьмое издание вышло в свет в Москве 1921 г. Молитва также вновь опубликована в издании [Там же: 118–119].

имеются разночтения¹. По моему мнению, издатели изменили текст молитвы вполне справедливо, поэтому я присоединяюсь к прочтению молитвы издателями Брюссельского собрания сочинений. Сергей Соловьев прибегает к прочтению Ain–Soph, брюссельское издание – к прочтению An–Soph. An–Soph – корректная передача еврейского понятия (אין סוף), которое Владимир Соловьев в своих ранних произведениях передаёт как *Эн–Соф*². Кроме того, Сергей Соловьев, в отличие от собрания сочинений, упомянутого выше, передаёт фразу «да возможем уловить чистую голубицу Сиона» иначе, а именно – «глубину Сиона»; это прочтение связано с его гностическим пониманием молитвы; отсылки к Соломоновой «Песни Песней» он – равно как и другие исследователи вслед за ним – не отмечает специально³. В исследовательской литературе одни ссылаются на Сергея Соловьева [Бурмистров 1998], другие – на Брюссельское издание [Kornblatt 2009]; при этом различия в прочтении между этими изданиями до сих пор не выделялись в качестве предмета исследования. В содержательном отношении сама молитва (если отбросить вводную часть с названием и обращением к Троице и формулой с An–Soph) может быть разделена на три смысловые части, каждая из которых представляет одну из ступеней на пути мистического акта познания согласно теории молодого Соловьева. В раннем творчестве Соловьева эти ступени таковы: 1) подготовка к экстазу, 2) единение, 3) воплощение; в молитве же: 1) подготовка, 2) обращение,

¹ Ср. концепцию издания в предисловии [СС 12: 1].

² Написание Ain–Soph вместо корректной формы Эн–Соф (En–Soph) встречается, например, в сочинении *Theophrastia Valentiniana* (1627) Абрахама фон Франкенберга; в этом понятии обыгрывается омонимия еврейского языка: айн как «ничто» и как буква א, звучащая как «глаз» (ср. [Rusterholz 2007: 29]). В других ранних произведениях Соловьева встречается корректное написание Эн–соф (ср., напр., *La Sophia* [ПСС 2: 92]). Сергей Соловьев в этой связи в одном из писем в январе 1918 г. написал: «Кстати, еврейское написание у меня неверно в одном месте <...>». Лукьянов поясняет: «Возможно, что в последнем случае разумеется начертание “An–Soph” вместо: “En–Soph”» [Лукьянов 1921, III: 147, сноска 1427].

³ Среди прочих погрешностей можно упомянуть следующие: Сергей Соловьев ставит точку вместо двоеточия между «причастниками молитвы моей: Да возможем»; в его редакции слово *божественная* написано с маленькой буквы вместо большой, также отсутствует абзац между: «в долине Саронской. / Пресвятая Божественная София»; он вводит дополнительно слово *всех*: «единая царица <всех> душ»; и прибегает к имени прилагательному *благодатною*, в то время как Брюссельское издание трактует слово как имя существительное *благодатию*: «глубиною неизреченною и благодатию <благодатною> первого сына твоего».

3) просьба¹. Каждая часть содержит три существенных элемента, которые в свою очередь могут раскрываться в последующие троичные формы.

Для уяснения этого принципа приведем текст в форме, специально подчёркивающей трёхчастное деление:

Молитва об откровении великой тайны.
 Во имя Отца и Сына и Св. Духа.
 An–Soph, Jah, Soph–Jah.

«(1.) (а) Неизреченным, страшным и всемогущим именем заклинаю богов, демонов, людей и всех живущих.

(b) Соберите воедино лучи силы вашей, преградите источник вашего хотения и будьте причастниками молитвы моей:

(с) Да возможем уловить чистую голубицу Сиона, да обретем бесценную жемчужину Офира и да соединятся розы с лилиями в долине Саронской.

(2.) Пресвятая Божественная София, а) существенный образ красоты и сладость сверхсущего Бога, светлое тело вечности,

b) душа миров и единая царица душ,

с) глубиною неизреченною и благодатию первого сына твоего и возлюбленного Иисуса Христа

(3.) (а) молю тебя: Снизойди в темницу душевную, наполни мрак наш своим сиянием, огнем любви своей расплавь оковы духа нашего,

(b) даруй нам свет и волю, образом видимым и существенным явись нам,

с) сама воплотись в нас и в мире,
 восстанавливая полноту веков, да покроется глубина пределом и да будет Бог все во всем [СС 12: 148–149, прим. 3].

В исследовательской литературе молитва часто приводится в качестве примера и доказательства рецепции Соловьевым гностической и каббалистической традиций². В этом отношении наука следует за утвер-

¹ К вопросу о формально-эстетическом значении тернарных структур у Соловьева см. [Stahl 2003a; 2003b].

² Бурмистров отмечает, что во всяком случае три имени Бога в «Молитве» являются отсылкой к каббалистике [Бурмистров 1998: 16]. Карлсон классифицирует «Молитву» как гностическую, не проводя при этом её анализа [Carlson 1996: 49–50].

ждением Сергея Соловьева, отмечавшего в биографии философа, что молитва «или почерпнутая Соловьевым из гностических и каббалистических источников или сочиненная им самим на основании этих источников» [Соловьев 1977: 118].

Вопрос источников молитвы до сих пор не решён и не получил развития за пределами трактовки, которую мы находим у Сергея Соловьева. Текст, который мог лечь в основу молитвы Соловьева, пока еще не обнаружен. Имеет место общераспространённое мнение, что молитва находится в одном ряду с его ранними софийными стихотворениями, причём не только по причине нахождения в «Альбоме № 1» вместе с ними, но и в отношении использовавшихся мотивов. В особенности прослеживается содержательная связь со стихотворением «Песня офитов» (их объединяют мотивы розы и лилии, жемчужины и голубки). В этой связи вызывает удивление тот факт, что молитва была включена в первую очередь в гностический контекст соловьевской рецепции: то обстоятельство, что его раннее творчество, в особенности работы лондонского периода, были связаны с гностицизмом, не вызывает никаких сомнений¹. Преамбула, раскрывающая Троицу через, как кажется на первый взгляд, еврейские имена, рассматривалась как аргумент в пользу соловьевской рецепции каббалы, знакомство с которой также связывается с его первой поездкой за рубеж; однако никаких иных каббалистических отсылок из текста «Молитвы» извлечь не удалось.

¹ Следуя мысли Сергея Булгакова, высказанной в «Тихих думах», что в случае «Молитвы» речь может идти о переводе «какого-нибудь гностического текста, быть может найденного Соловьевым во время занятий в Британском музее <...>, например, офитов» [Булгаков 1996: 54], в ряде работ гностический контекст «Молитвы» подчёркивается особо; Корнблатт, к примеру, отмечает, что образы «темницы», в которую София должна спуститься, жемчужины, розы, лилии и противопоставления света и тьмы являются типичными для гностической литературы [Kornblatt 2009: 65]: «Although we find Kabbalistic terms <...>, we will look first at possible Gnostic sources for Solovyov's writing. / Хотя мы находим каббалистические термины, <...>, следует в первую очередь обратиться к возможным гностическим источникам Соловьевского сочинения» [Там же: 61]. В «Молитве» обнаруживаются два гностических термина: «да покроется *глубина пределом*»: глубина есть «отец», граница – «демиург». Ср. с цитатами из Ириней Лионского в работе [Козырев 2007: 61–62]. Рецепция гностической мысли у Соловьева достаточно хорошо изучена, при этом его философские сочинения выдвигаются на передний план, так как известно, что Соловьев первоначально собирался написать свою диссертацию о гнозисе (ср. [Письма II: 315], также см. [Козырев 2007: 30]).

Менее известно, что Сергей Соловьев выделил ещё один, третий горизонт рецепции, а именно Якоба Бёме и связанную с его именем теософскую и радикально-пиетистскую школу, которая в свою очередь широко развила софийную поэзию¹. Отсылки к трудам Бёме, Арнольда, Гихтеля и Пордеджа прослеживаются в ранних работах Соловьева, а также в его письмах². Знакомство с их трудами могло побудить его не просто взяться за написание софийных стихов, но придумать молитву, обращённую к Софии. В молитве содержатся важные для Соловьева мысли о Софии, равно как они прослеживаются в «La Sophia», в других очерках и материалах, относящихся к этому незаконченному произведению, а также в «Чтениях о Богочеловечестве». Далее молитва не показывает признаков, расходящихся с софиологической мыслью Соловьева в его раннем творчестве. Кроме того, то обстоятельство, что молитва была обнаружена среди стихов Соловьева, а не среди выписок, говорит в пользу гипотезы о том, что молитва сочинена самим Соловьевым. Сергей Соловьев пишет, что узнаёт стиль своего дяди и высказывает соображение, не является ли молитва авторской компиляцией Владимира Соловьева из различных традиций:

«По своему характеру молитва эта может принадлежать или 1) гностикам, или 2) Беме и его школе, или 3) Вл. Соловьеву. Еврейское написание может также указать на влияние Каббалы. Но мне кажется, что стиль местами уже очень Соловьевский, хотя, несомненно, что это компиляция из названных источников. «Покрой бездну пределом» – это очень гностично, упоминание о розах и лилиях Сарона намекает на Беме и Пордеча <...>»³.

¹ Ср.: «Язык этого текста и его „гностическое“ содержание указывает на возможное влияние Якова Беме, Джона Пордеджа, а также Готфрида Арнольда и других мистиков-софиологов» [Бурмистров 1998: 16].

² В качестве доказательства часто приводится фрагмент из письма Соловьева к графине С.А. Толстой от 27.04.1877: «У мистиков много подтверждений моих собственных идей, но никакого нового света, к тому же почти все они имеют характер чрезвычайно субъективный и, так сказать, слюнявый. Нашел трех специалистов по Софии: Georg Gichtel, Gottfried Arnold и John Pordage. Все трое имели личный опыт, почти такой же, как мой, и это самое интересное, но собственно в теософии все трое довольно слабы, следуют Бэму, но ниже его. Я думаю, София возилась с ними больше за их невинность, чем за что-нибудь другое. В результате настоящими людьми оказываются только Парацельс, Бэм и Сведенборг, так что для меня остается поле очень широкое» [Письма II: 200].

³ Так пишет в январе 1918 г. Сергей Соловьев в письме Сергею Лукьянову, из которого заимствована эта цитата [Лукьянов 1921, III: 147, прим. 1427].

Однако отсылка Сергея Соловьева к сродности молитвы трудам Якоба Бёме и его последователей до сих пор не становилась поводом для углубленного анализа. Возможная рецепция Бёме и его последователей Соловьевым не исследовалась с должным углублением не только в отношении его творчества в целом, но в частности и в связи с рассматриваемой здесь молитвой¹. Основанием для чего, возможно, послужили различия между позициями Соловьева и Бёме, на которые указывал Николай Бердяев, давая таким образом понять, что не кто иной, как он, является главным русским последователем тевтонского теософа².

¹ У Козырева, акцентирующего рецепцию гностической мысли у Соловьева, раздельно, посвященные Бёме и его последователям, не обстоятельны и не раскрывают сродные мотивы, мысли и структуры (ср.: [Козырев 2007], гл. 5 Соловьев – читатель немецких мистиков, подглавы: Соловьев и Беме; Идея Софии у Джона Поредджа, Готфрид Арнольд и его отношение к гностикам). Давид, напротив, видит в наследии Якоба Бёме главный источник Соловьева: он рассматривает его как единственное основательное учение о Софии в Европе, не углубляясь при этом в детальный анализ его рецепции у Соловьева [David 1962: 60]. Кочеткова [Kochetkova 2007: 92–93] ограничивается парафразой содержания молитвы. Иванов же задаётся вопросом, насколько вообще уместно вести речь о прямом влиянии идей Бёме на Соловьева (ср.: [Иванов 1993: 12]).

² Акцентирование различий в софиологии у Бёме и Соловьева восходит к Бердяеву, ср.: «Если сопоставить софианство Беме и софианство Вл. Соловьева, то явное предпочтение должно быть отдано Беме» [Бердяев 1930, II: 53]. Ср. также бердяевское постулирование собственной близости к Бёме: «В русской же мысли начала XX века наиболее близок к Беме пишущий эти строки» [Бердяев 1930 I: 78]. Мнимые, якобы существенные различия в понимании Софии у Бёме и Соловьева отмечает Корнблатт: «There is a major difference between Boehme's Sophia and that of Solovoyov, however. Although influenced by Kabbalah, Boehme's Wisdom shares none of the erotic imagery of the Kabbalistic sefirot. She is thus devoid of many of the important aspects of Solovoyov's vision, aspects, that may have come more directly from either Kabbalah or the Russian religious tradition: the mystical androgyny, the eroticism and fertility, the paradoxical union / Имеет место существенное различие между Софией у Бёме и у Соловьева. Несмотря на то, что Бёме находился под влиянием каббалы, его Мудрость не несёт отсылок к эротической образности каббалистических сефирот. Она, таким образом, далеко отстоит от ряда важных для соловьевского видения Софии аспектов, которые могли быть почерпнуты или напрямую из каббалы, или из русской религиозной традиции: мистическая андрогинность, эротизм и плодородность, парадоксальное единство» [Kornblatt 2009: 75]. На это следует во всяком случае возразить, что Бёме как раз был приверженцем идеи «мистической андрогинности» и персональной связи с Софией. Несмотря на её «непорочность» (*Jungfräulichkeit*) и необходимую для связи с ней «лишённую жажды» см. на следующей странице

Важную роль сыграла также влиятельная монография о Соловьеве Алексее Лосева [Лосев 1991/2000]. Она не только не содержит главы о Бёме и его школе как источнике вдохновения русского философа, – хотя Лосев, как и многие до и после него, не отрицает знакомства Соловьева с трудами Бёме, – но даже негативно оценивает возможную связь с этой традицией. Лосев рассматривает Соловьева как православного богослова и откровенно умалчивает о том, что его отношение к русской православной церкви менялось и что Соловьев был приверженцем идеи вселенской церкви, совсем не чуравшимся обращаться к источникам из других конфессиональных и религиозных традиций (таких как, например, гностицизм, каббала, радикальный пиетизм, немецкий идеализм вплоть до неокантианства); Лосев также преувеличивает независимость Соловьева от источников¹.

см. на предыдущей странице или «вожделения» (*Begierdelosigkeit*) души, у него есть эротические коннотации, почерпнутые из вокабулярия любви «Песни Песней». Так, София предстаёт как «небесная подруга» и «возлюбленная», «невеста», с которой ищут возможности сочетаться «небесными узами брака». Также и соловьевская София есть «небесная подруга», прямые сексуальные коннотации при этом у него отсутствуют (ср. Соловьев, Предисловие к стихам, апрель 1900 [СС 12: 4]; курсив – Соловьев: «Перенесение плотских животнo-человеческих отношений в область сверхчеловеческую есть величайшая *мерзость* <...>») – кто переносит такие отношения, тот проецирует идеи «Смысла любви» на связь с Софией. Акцентирование мариологической «непорочности» и асексуальности бёмевской Софии в противовес к образу Софии у Соловьева, якобы содержащему сексуально-эротический смысл, впервые появляется у Николая Бердяева [Бердяев 1930 II]. Здесь имеет место искусственно раздутое размежевание понятия Софии у Бёме и Соловьева, которое в действительности лишь затмевает имеющую место преемственность. Отрицание проекций человеческой плотско-эротической любви на Софию, точнее, перенесения соловьевской Софии в пространство женских человеческих качеств Бердяевым надо понять в контексте рецепции Соловьева и софиологии у «младосимволистов», которые именно погрешили в этом отношении, усиливая эротизм и связь с реальными женщинами вопреки интенциям самого Соловьева.

¹ Ср.: «Наконец, трактовавшие о зависимости Вл. Соловьева от немецких идеалистов и мистиков всегда забывали, что эти последние обыкновенно были протестантами, а Вл. Соловьев с начала и до конца оставался православным или по крайней мере считал себя православным <...>»; «Понятие Софии мы находим у теософов Беме и Сведенборга, которых Вл. Соловьев, между прочим, внимательно читал. Но Беме и Сведенборг – либо протестанты, либо тоже пантеисты. <...> Будучи православным теологом, Вл. Соловьев чувствовал себя ближе всего к древнерусским софийным представлениям <...>» [Лосев 1991/2000: 221, 506].

В дальнейшем я покажу, что привлечение контекста Бёме позволяет прояснить целый ряд мотивов соловьевской молитвы. Молитва обнаруживает, как и ранняя софийная поэзия Соловьева в целом, глубокую сродность с традицией софийных стихов, восходящих к Якобу Бёме и пиетистам, вдохновлённым его мыслью. Труды Бёме и его последователей, по-видимому, могут рассматриваться как важнейшие источники молитвы русского философа. Гностические и каббалистические мотивы, в свою очередь, также прослеживаются по этим же источникам. Не случайно утверждение о родстве мысли Якоба Бёме гнозису и рецепции каббалы относится к общим местам бёмеведения¹. Последователь Бёме Готфрид Арнольд прямо выступает за переосмысление и обновление наследия древних гностиков, и его сочинения свидетельствуют, не в последнюю очередь, о влиянии гнозиса на него самого². Гностические и каббалистические аспекты молитвы Соловьева содержатся в произведении философа в уже профильтрованном виде: они почерпнуты им из рецепции Бёме; в этом случае гностические и каббалистические контексты рецепции вторичны и носят опосредованный характер.

Конкретный образец для молитвы, обращённой к Софии, Соловьев мог найти в «Христософии» Якоба Бёме. Предположительно, Соловьев мог познакомиться с этим произведением, будучи слушателем Духовной академии в Сергиевом Посаде в 1873 г. Сергей Соловьев обнаружил в библиотеке Московской духовной академии экземпляр «Христософии» Бёме, содержащий пометки на полях, напомнившие ему почерк самого Владимира Соловьева [Соловьев 1977: 90]. Бёмевская «Христософия, или путь ко Христу. Об истинном покаянии» содержит не толь-

¹ См. о проблеме гнозиса у Бёме и сведения о литературе по этой тематике [Schuff 2014: 115–116]. О проблеме влияния каббалы на Бёме см. [Rusterholz 2007]. См. также анализ разграничений и параллелей между Бёме и каббалистической мыслью, а также её рецепцией в целом [Schmidt-Biggemann 2013: 87–233] (глава “Jacob Böhme und die Kabbala”), а также обзор состояния исследований на этот счёт [Schuff 2014: 132–144].

² Как отмечает Карлос Гилли, восстановление в правах старых и новых гностиков обнаруживается во всей красе в Opus Magnum издателя *Theophrastia Valentinaana*, т.е. у Готфрида Арнольда [Gilly 2000: 424]. Ср. главу «Готфрид Арнольд и его отношение к гностикам» в работе [Козырев 2007: 192–198]. Арнольдова история церкви была переведена на русский язык в пяти томах в конце XVIII столетия [Там же: 193]. Козырев предполагает, что «<...> Соловьев получал через немецких мистиков идущий из глубины времен творческий импульс к активному включению гностических элементов в свою “теософскую” систему» [Там же: 198].

ко сочиненные по образцу Соломоновой «Песни песней» диалоги души с Софией (возможный источник соловьевских диалогов с Софией из незаконченного раннего произведения «*La Sophia*»), но и молитвы, обращённые к Софии. Бёме рассматривает их как «руководство» к обретению молитвы, которое должно быть освоено читателем с помощью Святого Духа¹. Уже в начале сочинения Бёме пишет: «Любезная душа! Здесь потребно мужество; ибо одно высказывание сих слов не производит действия, а производит оное твердо решившаяся воля» [Бёме 1994: 22], что в сущности означает обращение воли к Богу через покаяние и приуготовление души к единению с Создателем. В смиренномудрии человек должен отринуть своенравие и праздное мирское любопытство, чтобы душа, обратившись к Богу, «стремилась единственно к центру своему» [Там же: 71]. Схожие рассуждения обнаруживаем в начале молитвы Соловьёва, обращённой к Софии: «Соберите воедино лучи силы вашей, преградите источник вашего хотения и будьте причастниками молитвы моей». Ср. с Бёме: «Собери все чувства, разум, мысли в одно чувство и сильно устреми воображение свое в рассмотрение себя <...>» [Там же: 43]². Места, отсылающие к сосредоточению воли и обращению её к Богу, встречаются в «Христософии» весьма часто.

«Христософия» содержит также множество конкретных мотивов, которые в свою очередь находят место в молитве Соловьёва. Оба текста отсылают читателя к Соломоновой «Песни песней»: София предстаёт как «жемчужина», «цвет (нарцисс) Саронский», «Роза в долине». К тому же прямые отсылки к Бёме прослеживаются в соловьевском образе Софии как «светлого тела вечности», что соответствует «небесной телесности» (*himmlische Leiblichkeit*, также переведено как «небесная плоть») Христа у Бёме, которая «есть храм <...> Духа святого, живущего в нас» [Там же: 24]. Далее у Бёме также акцентируется святость Имен Бога, в особенности имени Иисуса, через которое можно снискать венец или заслу-

¹ "Wie nun um diese [die Perle, die Jungfrau Sophia] zu bitten sei, folget hienach eine kurze Anleitung. Das Werk aber wird dem Hl. Geiste befohlen in jedem Herzen, da sie gesucht wird. Derselbe formet ihme selber das Gebet" [Böhme 1992: 43]. «Вот та Роза [дева София], которую он так любил и которую все святые до него и после него всегда любили, и кто ее приобретал, называл ее жемчужиною своею или бисером многоценным. Как же испрашивать ее себе, прилагается маленький пример; самое же дело в каждом сердце, ищущем ее, поручается Духу Святому, который составит ему и молитву» [Бёме 1994: 23].

² Ср. с оригиналом: "Er [der Mensch, der in Christo mit Gott reden will] soll alle seine Sinnen und Vernunft samt Einbildungskraft zusammen in einen Sinn raffen und eine solche starke Imagination ihm einfassen <...>" [Böhme 1992: 46].

жить поцелуй благородной Софии¹. Божественные имена у Бёме образуют связь алчущих душ с Богом [Там же]. В «Христософии» содержится молитва, обращённая к Софии, в которой так же, как у Соловьёва, содержатся характеристики её качеств и атрибутов, выполняющие функции имён и носящие заклинательный характер: «О жизнь и сила Божества, обещавшая к нам прийти и обитель в нас сотворить! О сладостная любовь!» [Там же: 29] и т.д. Кроме того, мотив «темницы»², из которой через свет Софии должна высвободиться душа – мотив, традиционно выделяемый в исследовательской литературе как «гностический» у Соловьёва – обнаруживается в тексте «Христософии» Бёме.³

Однако особый аргумент в пользу связи с Бёме неожиданным образом открывается благодаря якобы еврейской или каббалистической «троице»: «An–Soph, Jah, Soph–Jah». Имя Отца An–Soph (Эн–Соф) позволяет проследить связь с Бёме лишь косвенным образом. В романтико-идеалистической традиции, начиная с Эттингера, проводится прямая параллель между бёмевским определением Бога как «Бездны», т.е. *Ungrund*, и каббалистическим понятием Ан–Соф/Эн–Соф;⁴ в свою очередь эта традиция имеет продолжение в философском осмыслении «Абсолюта» у Шеллинга (его учение о «потенциях» сопоставляется с древом сефирот)⁵. В молитве «глубина» отсылает к Богу как то, что превосходит «границу», чтобы стать «всем во всём», то есть всеединством в качестве воплощённого Абсолюта. Хотя «глубина» и является общераспространённым мистическим обозначением Бога и может рассматриваться как гностическое понятие, оно лежит в основании сочинений Бёме и используется по аналогии с «Бездной» (*Ungrund*) и с ее идеали-

¹ Ср. [Böhme 1992: 46].

² Корнблатт сводит этот мотив к гнозису [Kornblatt 2009: 65].

³ «О сладкая любовь! Ты еси свет мой: просвети бедную мою душу в мрачной темнице плоти и крови, изведи на путь правый» [Бёме 1994: 29–30]. Ср. оригинал: “O süße Liebe, bist du doch mein Licht, leuchte doch du meiner armen Seele in ihrem schweren Gefängnis, in Fleisch und Blut. Führe sie doch stets auf rechter Straße” [Böhme 1992: 54].

⁴ *Ungrund* Бёме был отождествлён с каббалистическим Эн–Соф. Как отмечает Рустерхольц, Гершом Шолем использует бёмевское *Ungrund* в качестве немецкого эквивалента для Эн–Соф и пишет о глубоком родстве между мыслью Бёме и каббалой [Rusterholz 2007: 16–17]. Эттингер использует в качестве синонима понятия *Ungrund* также слово «глубина» (*Tiefe*): «Бог есть глубина безо всякого дна, Эн–Соф», “Gott ist die unergründliche Tiefe, der Aen Soph <...>” (цит. по [Grossmann 1979: 131]).

⁵ См., например, [Staudenmaier 1852: 235–236]. Ср. также [Franz 1992: 305].

стической трансформацией во всеединство, Абсолют, как его обозначает Шеллинг¹.

Jah, как и *Эн–Соф*, может быть истолковано через каббалу, как считает Бурмистров, ссылаясь в этой связи на Гершома Шолема: «*Jah* – одно из имен Божиих, соответствующее сфере Хохма (Премудрость)» [Бурмистров 1998: 16]². Другую возможную перспективу толкования даёт контекст Бёме, так как в сочинениях самого Бёме и его последователей обнаруживается слово *Jah*. Речь при этом идёт не о еврейском слове, а о бёмевском написании немецкой частицы *ja*, которую тевтонский теософ использует в качестве Имени Бога применительно к Иисусу и Его Истине: «*ЈАН* есть вечная истина»; «*ЈАН* – есть драгоценное имя ИИСУС»³. Таким образом становится понятным, отчего три имени, кажущиеся еврейскими, не записаны еврейскими буквами (Соловьев не знал в то время еврейского языка), но также не кириллическими, а латинскими буквами: как бы не показалось это неожиданным, это немецкий язык, к которому следует отнести эту строку.

Загадочное написание *Soph–Jah*, не встречающееся в каббале, обнаруживается также именно в этой форме у Бёме, Арнольда и Гихтеля⁴. Бёме определяет *Soph–Jah* следующим образом: «храм *Soph–Jah* вновь будет отворён как подлинный святой Свет силы, истинный Дух, поблэкший в Адаме»⁵. Этот пассаж позволяет понять, отчего *Soph–Jah* в соловьевской молитве занимает место Св. Духа – Якоб Бёме использует здесь

¹ Ср. к вопросу о связи Абсолюта и всеединства у Шеллинга [Baumgartner, Korten 1996: 80]. Понятие всеединства и его связь с Софией как пассивным всеединством у Владимира Соловьева восходят к Шеллингу, который в свою очередь вдохновился понятием Софии у Бёме [Stahl 2005].

² Бурмистров опирается на [Scholem 1974: 108]. Ср. также с каббалистическим *Йах* (*Jah*), отсылающим к «хохма» древа сефирот, т.е. к «мудрости» [Davidowicz 2009: 81].

³ Ср.: [Böhme, Gichtel 1730], *Registereintrag Ja/Jah*. Перевод В. Морозова.

⁴ Стремouxов совершенно верно отмечает, что форма *Soph–Jah* появляется как обозначение божественной Софии у Готфрида Арнольда [Arnold 1963: 22], ср. [Strémooukhoff 1975: 46, прим. 36]. Однако он упускает из виду, что эта форма восходит к Якобу Бёме, из сочинений которого, развивая мистику Софии, её почерпнули Гихтель и Арнольд. У Бёме также «имя Иисус» понимается как «существенная», или «сущностная сила» (*wesentliche Kraft*), «как сверхъестественная мудрость (истая человечность) Бога» [Böhme 1846: 554], цитата из третьей главы сочинения Бёме «О святом причастии». Соловьевская молитва – форма духовной коммуникации, для которой также есть прообраз у Арнольда (ср. в приложении к его книге «Тайна божественной Софии» (*Das Geheimnis der göttlichen Sophia*) “das Lied L”, с. 53–55.; см. об этом также [Dohm 2001: 192, прим. 17].

⁵ Ср. [Böhme 1846: 554–555].

Soph-Jah как имя Премудрости-Софии (мотив храма совпадает с кн. притч. 9,1) и Св. Духа.

Допущение, что три имени Бога у Соловьева имеют в качестве первичного источника не каббалу, а труды Якоба Бёме, упрочивается ещё более, если принять во внимание, что, помимо уже продемонстрированных связей с «Христософией», имеет место ряд аллюзий и на другие произведения тевтонского мыслителя, на что указывают следующие примеры. Так, выражение «Великая тайна» соответствует заглавию книги Бёме *Mysterium Magnum* (издана в 1682 г.); также этот термин встречается в разных работах последователей Бёме. Далее, специфическая выборка мотивов и их комбинации из «Песни песней» в молитве имеют прообраз в традиции Бёме. Помимо упомянутого «цветника (нарцисса) Саронского», у Бёме также обнаруживается мотив лилии как образа Софии (на связь этого мотива с Бёме и Арнольдом обратил внимание уже Сергей Соловьев)¹, а именно в трактате «О трёх (Божественных) Принципах» (*De tribus principiis*). В нём София предстаёт в видении Бёме как лилия, что символизирует её «возвращение <...> при посредстве его сочинений (*Wiederkunft <...> im Medium seiner Schriften*)» [Dohm 2000: 147]. Как пишет Бёме, «и она несла ветвь в своей руке и говорила: Сим хотим мы положить, что Лилия будет расти, а я вновь буду к тебе приходиться»². Толкование цветка Саронского как розы, которое также обнаруживается у Бёме, в эксплицитной форме содержится у Готфрида Арнольда³. Также и связь с Лилией содержится в стихотворении Арнольда о Софии, написанном с отсылками к wybranым местам из «Песни песней»:

Ueber Hohel. II.V.1.2. Ich bin eine lilie des landes / und eine rosen in den thälern: Wie eine rose unter den dornen, also ist meine freundin unter den töchtern.

¹ Ср. также Матфей 6, 28–29: «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них».

² Jakob Böhme: *De tribus principiis, oder Beschreibung der Drey Prinzipien göttlichen Wesens* (1619), в [Böhme 1860: 165]. Ср. также современный перевод на русский язык: Бёме: О Трёх Божественных Принципах. Киев, 2012. Гл. XIV «О рождении и размножении человека, весьма таинственных врат» [Бёме 2012].

³ Толкование саронского цветка как розы и лилии восходит к Средним векам. Роза толковалась при этом как символ Христа. Ср. Фома Чобэмский [Chobham 1993: 242, lin. 337–339], при этом он не ограничивается красной розой и белозной лилией, но вводит третий цветок – фиалку. За эту наводку я благодарна нашему усопшему другу проф. Клаусу Райнхардту.

[На Песн. 1.2. Я нарцисс [«розарий» – у Г. Арнольда] Саронский, лилия долин! Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами].

Da wirst du mir zugleich zur Ros im Thal /
 Weil deine menschheit nur wächst in dem grunde
 Der tiefsten niedrigkeit <...>
 Wie wirstu mein seelen grund so lieblich dir
 Und deinem hohen Namen immer grünen.
 Wie weist dir / o saronsblum / von mir
 So gern in ehrerbietung lassen dienen!
 O reine lilie / blüh in mir /
 O rose / wachs nun für und für /
 So bin ich seelig dort und hier!¹

Мотив соединения розы и лилии используется также английским последователем Якоба Бёме Джоном Пордеджом, чьё произведение о Софии Соловьев также знал. Как у Бёме и Арнольда, у Пордеджа также есть беседы с Софией, хвалебные речи и молитвы, обращённые к ней в поэтической форме. Во введении он также рекомендует неустанное «моление о Ней»². В хвалебной речи и молитве к Софии, написанной в поэтической форме, речь идёт о единении с ней, через которое возобновится рай, вернее, мир земной должен прийти к освобождению посредством превращения падшего творения – именно в этом смысле обращается в молитве к Софии и сам Соловьев. Ср.:

Nach diesem gab mir die Weisheit einen Lobgesang in meinen Mund /
 Ihr solchen zu Ehren zu singen / und Sie zu preisen / daß sie diese neue
 Erde formirt / und das Paradies wieder-erneuert / so auch wirklich

¹ [Arnold 1963: 16–17]: «Во мне ты обернёшься немедля розою в долине / Покуда человечность твоя лишь прорастает чрез почву низменных глубин. <...> Как будешь ты души моей основа столь прелестной тебе и имени высокому цвести вовеки. Как ведомо тебе / о цветок Саронской / в почтении дозволение снискать служить! О чиста Лилия / цветы во мне / О роза / прорастай же для и ради / Блажен я там и тут!» Перевод В. Морозова.

² «Всякая душа / что стремится обрести Божественную Мудрость / должна сперва иметь пылкую жажду / и неустанно прибывать в молитве, чтоб к ней [сей Мудрости] прильнуть». В оригинале: “Eine jede Seele / welche die Göttliche Weisheit zu erlangen gedencket / muß erstlich eine hefftige Begierde nach Ihr haben / und unablässig im Gebeth um Sie anhalten <...>” [Portage 1699: 1].

inwendig in mir gebohren wäre / oder oder getragen würde / und durch
der Weisheit schaffende Krafft dahin gepflantz sey.

Komm schönstes Lieb und ewge Braut der Seelen Wurtzel anzufeuchten.
Strahl aus der Schönheit Glantz! und laß dein süßes Liecht erleuchten
<...>

Schmeltz alle Selbheit draus / und mach es Sündenfrey

<...>

Den andern Eden auch erfreulich draus entspringen /

Die schöne Sarons-Ros' und Lilje geht drin auf ...¹

Пордедж вводит розу и лилию в контекст алхимии². Он понимает Софию как «превосходную искусницу в химии» (*fürtrefflichste Chymistin*) [Pordage 1699: 108]³, которая направляет в «Великом Деле» (*opus magnum*), т.е. напутствует в освобождении мира. В продолжение мысли Бёме София характеризуется у Пордеджа через свет и огонь⁴, где свет ассоцииру-

¹ «После того дарила Мудрость песнь хвалебную в уста мои / чтоб Ей сию во славу петь / Её чтоб прославлять / о том, что землю новую она нам образует / что Рай она сызнава обоснует / и так взаправду словно Рай тот изнутри во мне родится / иль будет выношен во мне / творящей силой Мудрости зачат он будет. Приди ж прекраснейшая Плоть и вечная Невеста, чтоб увлажнить корни души. Сияй же блеском Красоты! Позволь проникнуть Свету сладостному твоему <...> И растопи всякую самость / соделай ж оную ты от греха свободной. <...> Другой Эдем отраднй да возьмёт начало / И да распустаня цветы прекрасные в нём Саронской Розы и Лилии...». Немногим позднее Пордедж характеризует розу и лилию как «добродетели и милости» (*Tugenden und Gnaden*), что прорастают «из новой земли моей» (*aus meiner neuen Erden*) [Pordage 1699: 24], Kap.: Was die Lilien und Rosen des Paradieses in uns. Das fünfte Kapitel, den 26ten Juni.

² Арнольд в своей интерпретации «Песни песней», несмотря на оригинальность, ссылается на английских предшественников; предположительно, речь может идти о Томасе Бромли и Джоне Пордедже. Его толкование «Песни песней» находится в оппозиции к европейской традиции, определявшей «невесту» «Песни песней» как мирскую величину (душа, народ Израиля, церковь – как репрезентация Бога-партнёра). В противовес этой традиции он рассматривал суженую как самостоятельную главную персону (*eigentliche Hauptperson*). См. подробно об этом [Reinhardt 2001].

³ Ср. также [Dohm 2001].

⁴ Ср. также речь Софии, обращённую к душе: «<...> из кротости (*Sanftmut*) моей я жажду превратить тебе лучи сияния твоего огня (*deine Feuerstrahlen*) в свет белый» [Böhme 1992: 64]. Огонь и свет как основные качества божественно-духовного мира, которые можно обнаружить во внутренней человеческой глубине, обстоятельно описывает также [Swedenborg 1997: 54].

ется с лилией (алхимическое *Albedo*), а огонь – с розой (алхимическое *Rubedo*)¹. Роза (луна) и лилия (солнце) суть алхимические образы единства противоположностей, это единство приводит к появлению «источника чудес» (*Quelle der Wunder, FONS Miraculorum*), бессмертию, «философскому камню» (*lapis philosophorum*), дарующему жизненные силы. Этот «философский камень» есть Христос, дарящий силу воскресения роду людскому². Роза, по своему строению напоминающая пятиконечную звезду, связана с пентаграммой, отсылающей к земной природе Бога-человека и его воскресению (роза на кресте), в то время как лилия предстаёт шестиконечной звездой, печатью Соломоновой и знаком Иеговы, символом божественной природы Логоса.

В книге «Тайные фигуры розенкрейцеров» (*Geheimen Figuren der Rosenkreuzer*) изображения цветов сопровождается загадочное изречение:

Кровавая, жаждущая жизни духовная Роза Иерихонская. Светящаяся, молочно-серебрящаяся из капель Лилии в Иосафатской долине³.

Лилия происходит из *Иосафата*, долины, названной в честь царя иудейского Иосафата (букв. значение имени «Господь-судия») как место суда (Иоишь 3, 2: 12) и Божьей милости. Бог прощает Иосафата и освобож-

¹ Роза и лилия – классические образы алхимии, символы «белой» и «красной» тинктуры, также известные как *Albedo* и *Rubedo* [Telle 2013: 567].

² Этот «камень» притягивает как «магнит» любящих мудрость и «твёрдых как железо мужей»: «Я притягиваю всех тех же, кто ищет Бога и Истину; только они и снищут искусство. / Я – камень-магнит божественной любви, мужей твёрдых как железо притягиваю я на пути к истине». Оригинал: «Ich ziehe alle dieselben, welche Gott und die Wahrheit suchen; dieselben allein werden die Kunst finden. / Ich bin der Magnet-Stein göttlicher Liebe, die eisenharten Männer auf dem Wege der Wahrheit ziehe ich» (цит. по [Stracke 1991: 13]).

³ В оригинале: «Sanguinalis animala Rosa Hierichuntis Spiritualis. Lucida, argentea, lactea-stillata ex candida Lilia in Valle Josophat». Ср. латинское описание розы и лилии в «Тайных фигурах розенкрейцеров» [Stracke 1991: 13]. Связь лилии с молоком восходит к греческой легенде, что лилия появилась из капель молока Геры. Этот образ согласуется с представлением о богине мудрости, что «утоляет (голод)» или «кормляет» людей. – Алхимия искала точки соприкосновения символики «белой» и «красной» тинктуры с мотивами «Песни песней». Так упомянутый в ней «друг» понимается как Христос: «Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти тысяч других: голова его – чистое золото; кудри его волнистые, черные, как ворон; глаза его – как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве; <...> губы его – лилии» (Песн. 5, 10–13). Ср. с алхимическим толкованием этого места из Библии [Böhme 1782].

дает его и его народ от врагов после покаяния (2 Пар., 20) и призывает к царству мира (ср. Иоиль 3, 17–21). С этим сюжетом связана более поздняя христианская традиция, согласно которой Страшный Суд будет проходить в Иосафатской долине (также толкуется как Кедронская долина в Старом городе Иерусалима)¹. Роза есть «цветок мудрости» (*flos sapientiae*), она появляется в Иерихоне, с чем связано обыгрывание мотива похвалы Премудрости из Книги Премудрости Иисуса, Сына Сирахова:

Я возвысилась, как пальма в Енгадди и как розовые кусты в Иерихоне; я, как красивая маслина в долине и как платан, возвысилась (Сир. 24, 15–16).

Иерихонская роза (с ботанической точки зрения розой не являющаяся) служит цветком воскресения, равно как и подлинная роза как таковая – будучи изображённой с крестом – символизирует воскресение. Воскресение и Мудрость оказываются, таким образом, тесно связанными друг с другом в образе розы.

Очерченный здесь клубок мотивов, связующий лилию и розу, соединяется в образе обновлённой плоти или тела воскресения. Этому соответствует тот факт, что небесная телесность Софии (равно как и спасённого человека) состоит из света и огня, что является важным топосом софийной поэзии и молитв последователей Якоба Бёме. Ср. в этой связи Готфрида Арнольда: «И будет нова плоть <тело> моя / вся светом и огнём мерцать (*So wird mein neuer leib / Gantz licht und feurig blinken*)»². Так же и у Соловьёва взаимодействуют свет и огонь: «своим сиянием, огнем любви».

Далее и другие мотивы, восходящие к «Песни песней», которые встречаются у Бёме и его последователей, обнаруживаются в соловьевской молитве, например, «жемчужина» (Песн. 4, 9) – это не только гностический образ, поскольку он связывается с соломоновским мотивом «офирского золота» (см.: 1 Кн. Царств 9, 26–28; 2 Лет. 9, 10; «камни офирские»: Тов. 13, 17), у Арнольда названного «сокровищами Офира»³. «Жемчужинка» (*Perllein*) также служит ключевым мотивом бёмевской «Хри-

¹ Ср. [Schegg 1862: 207–208]. Ср. там же: «Иосафат» обозначает «Господь судия».

² Arnold, Gottfried: *Poetische Lob- und Liebessprüche / von der Ewigen Weißheit / nach Anleitung Des Hohenlieds Salomonis: Nebst dessen neuen Übersetzung und Beystimmung der Alten* (1700), добавлено к [Arnold 1963: 73 (Lied LXII)].

³ Ср. [Arnold 1963: 313] о том, что глава должна размякнуть подобно тончайшему злату офирскому, что сокрыто Соломоном. О «жемчужинах офирских» как метафоре Мудрости речь идёт в гностических текстах.

стософии» и неразрывно связана с мотивами «Владычицы» Софии и её «венца», отсылка к чему также есть у Соловьева (ср. стихотворение «У царицы моей есть высокий дворец»)¹. У Бёме жемчужина и венец символизируют высшую райскую силу Софии, «благородный образ» (*edle Bildnis*), усопший в Адаме, «небесную телесность» (в другом переводе: «плоть»). Бёме обращается, таким образом, к контексту апокрифической гностической традиции, хорошо известной из «Песни о Жемчужине» (также – «Гимн Жемчужине»)², включённой в сирийские псевдоэпиграфические «Деяния апостола Фомы», лежавшие в основании учения секты офитов-наасенов. В «Гимне Жемчужине» змея, отпугивавшая всех своим свистом в Египте, охраняла жемчужину, обретение которой приводит к восстановлению героем царства и повторному обретению благородного облачения³. В образе облачения может быть усмотрен намек на «небесную телесность», в которую надо облечься как в телесность или плоть нового Адама и которая тем самым служит основанием для Божьего Царства. Также Египет – это земля, в которой мумификация свидетельствует о высоком значении, придаваемом физическому телу. Речь, таким образом, может идти о христианизации древнеегипетской мудрости как знания о ценности физического тела, значение которого в свою очередь подчёркивает сам Соловьев не раз:

Если спустишься в Египет / И принесёшь Жемчужину, / Что хранится
посреди глубоководного Моря, / В коем Змий пребывает ревущий, /

¹ Ср. у Бёме: «Итак, я хочу сохранить у себя мою жемчужину; я хочу жить в тебе, в твоём умершем было, но ныне во мне оживленном внутреннем человечестве, на небесах и сохранить мою жемчужину до рая. Когда ты совлечешься всего земного, тогда отдам я её тебе в собственность; ныне же в земной твоей жизни дарю тебя лицезрением моим и сладкими лучами жемчужины. Я хочу жить с нею внутрь возкликновения *<sic>* твоего и быть верною и любезною невестою твоею. Я не сочетаюсь с земною плотию, ибо я Царица небес, и царство мое несть от мира сего; но не хочу отвергнуть и внешней твоей жизни и часто буду посещать её лучами любви моей» [Бёме 1994: 36], ср. [Böhme 1992: 66]. К образу «венца» невесты ср. [Böhme 1992: 41–42].

² Ср. об этом [Adam 1959]; [Quispel 1967]. Бёме использует мотив змеи исключительно отрицательно (как символ искуителя); но и Арнольд выражается негативно об офитах как поклонниках змея (в его *Истории церкви*).

³ Ср. также Песн. 4,9: «Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста! пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей». Мф. 7, 6; 13, 45–46: «подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин»; Апок. 21, 21: «А двенадцать ворот – двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины».

Тогда возвратишь свое сияние, / И Мантия покроет его, / И с Братом твоим, наместником царя нашим, / Будешь наследником в Царствии нашем¹.

В восточной церкви этот мотив преломляется в связывании жемчужины с телом воскресения, так как оно вслед за Иоанном Златоустом сопоставляется с причастием². Соловьев использует мотив жемчужины как образа тела воскресения, т.е. небесной телесности спасённого человека; в таком смысле этот мотив фигурирует, например, в его стихотворении «Песня офитов». Таким образом, он и здесь через посредничество Бёме обращается к гностической традиции.

Для разъяснения мотива «чистой голубицы Сиона» до сих пор не было найдено конкретного прообраза. Здесь имеет место комбинация из двух образов Ветхого Завета, которые ассоциируются с Софией и невестой Иеговы и, в свою очередь, восходят к «Песне песней» (ср. Песн. 2, 14: «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса! Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно»; Песн. 3, 11: «Пойдите и посмотрите, дочери сионские, на царя Соломона в венце, которым увенчала его мать его в день бракосочетания его, в день, радостный для сердца его»). «Сион» в языке Ветхого Завета есть невеста Господа (ср. Ис. 49, 18); в текстах христианской традиции, в том числе в (радикальном) пиетизме (например, у Иоганна Конрада Байзеля и Якоба Катса) из образа «Сиона» возникает образ церкви. «Теософские послания» (Амстердам, 1682) Бёме украшают три божественные голубицы, отсылающие к Троице как объединяющей Ветхий (Ноев ковчег) и Новый Завет (Троицын день). Бёме определяет «Сион» как сущий «в новом человеке» [Böhme 1682, 8. письмо, с. 31], и точнее, как «Христа в нас» [Böhme 1992: 57]. «Красота» и «сладость», следуя тексту «Песни песней» (ср. Песн. 7,2; 1,2), трактовались как имена Софии (Sophien-Namen) у Якоба Бёме³ и в софийной традиции в целом.

Данные находки показывают, что соловьевская молитва определённо находится в традиции софийных молитв и стихов, восходящих к Бёме.

¹ Цит. по [Foerster 1997: 456]. Перевод В. Морозова.

² Ср. лемму "Perle" в [Lexikon des Mittelalters VI (1993) 1891–1892]. Так же и в церковнославянской традиции представлен мотив, связующий мудрость, жемчужину и Христа (ср. [Dinekow 1981: 14]).

³ "Nun sei dir, o großer Gott, in deiner Kraft und Süßigkeit, Lob, Dank, Stärke, Preis und Ehre, daß du mich von dem Treiber der Angst erlöset hast. O du schönes Lieb <...> O edles Lieb, gib mir doch deine süße Perle; lege sie doch in mich!" [Böhme 1992: 63].

Соловьев следует им при выборке мотивов из «Песни песней» и их комбинаций и связывает их с другими библейскими местами (например, «полнота времён» Гал. 4, 4), а также с мотивами теософии Бёме и последующей за ним традиции (София как вечная, как светлое тело и мировая душа (Шеллинг, гнозис), Бог как всеединство). При всём при этом молитва Соловьева не исчерпывается синкретическим синтезом упомянутых мотивов. В основе молитвы лежит структура, соответствующая теории мистического познания раннего Соловьева. Это сродство показывает, что он не воспроизводил готовые образы, а создал, принимая во внимание устоявшуюся софийную традицию, свою собственную форму молитвы. Раскрыть специфику этой формы – задача другого исследования¹.

Литература

- Бердяев Н.* Из этюдов о Якове Беме. Этюд I. Учение об Ungrund // Путь, 1930, №20, февраль.
- Бердяев Н.* Из этюдов о Якове Беме: этюд II. Учение о Софии и андрогине. Я. Беме и русские софиологические течения // Путь, 1930, № 21, апрель.
- Бёме Я.* Христософия, или Путь ко Христу. СПб., 1994.
- Бёме Я.* О Трёх Божественных Принципах. Киев, 2012.
- Булгаков С.Н.* Тихие думы. М., 1996.
- Бурмистров К.* Владимир Соловьев и Каббала. К постановке проблемы // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 1998 год. М., 1998.
- Иванов Вяч.Вс.* Россия и гнозис // 500 лет гнозиса в Европе. Гностическая традиция в печатных и рукописных книгах. М.; СПб., 1993.
- Козырев А.П.* Соловьев и гностики. М., 2007.
- Кравченко В.В.* Владимир Соловьев и София. М., 2006.
- Лосев А.Ф.* Владимир Соловьев и его время. М., 2000 [1991].
- Лукиянов С.М.* О Вл. Соловьеве в его молодые годы. Материалы к биографии. В трех томах. Петроград, 1916.
- Соловьев В.С.* (= СС, тт. 1–12): Собрание сочинений В.С. Соловьева. СПб. Фототипическое издание: Брюссель, 1966.
- Соловьев В.С.* (Письма): Собрание сочинений В.С. Соловьева. Письма и приложение. Фототипическое издание. Bruxelles, 1970.

¹ Ср. в [Stahl 2018, в печати] гл. II.3.1.2. *Subjektive Imagination als Vorbereitung der Schau.*

- Соловьев В.С.* (= ПСС, тт. 1–4) Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. М., 2000–.
- Соловьев С.* Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева [1977]. М., 1997; Брюссель, 1978.
- Чулков Г.И.* Автоматические записи Вл. Соловьева // Вопросы философии. 1992. №8.
- Adam A.* Die Psalmen des Thomas und das Perlenlied als Zeugnisse vorchristlicher Gnosis. Berlin, 1959.
- Arnold G.* Das Geheimnis der göttlichen Sophia. Faksimile-Neudruck der Ausgabe von Leipzig 1700 mit einer Einführung von Walter Nigg. Stuttgart; Bad Cannstatt, 1963.
- Baumgartner H.M., Korten H.* Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. München, 1996.
- Böhme J.* Sämtliche Werke. Band 6, Leipzig, 1846.
- Böhme J.* Sämtliche Werke. 2. Auflage. Leipzig, 1860.
- Böhme J.* Christosophia. Ein christlicher Einwegungsweg. Herausgegeben von Gerhard Wehr. Frankfurt am Main; Leipzig, 1992.
- Böhme J.* Theosophischen Send-Brieffe. Amsterdam, 1682.
- Böhme J., Gichtel J.G.* Theosophie Revelata. Das ist: Alle Göttliche Schriften des Gottseligen und Hoherleuchteten Deutschen Theosophi Jacob Böhmens. S.I. (без места), 1730.
- Carlson M.* Gnostic Elements in the Cosmogony of Vladimir Soloviev // Russian Religious Thought. Madison, Wis., 1996.
- Chobham Th. de.* Sermon XXIII // Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis = CCCM 82A. Turnhout, 1993.
- David Z.V.* The Influence of Jacob Boehme on Russian Religious Thought // Slavic Review, New York, 1962. Vol. 21.
- Davidowicz K.S.* Die Kabbala. Eine Einführung in die Welt der jüdischen Mystik und Magie. Köln; Weimar; Wien, 2009.
- Böhme A.F.* Des Hermes Trismegists wahrer alter Naturweg. Oder: Geheimniz wie die grosze Universalintinktur ohne Gläser, auf Menschen und Metalle zu bereiten. Herausgegeben von Einem ächten Freijmürer I.C.H. Mit vier Kupfern. Leipzig, 1782. Rotation III.
- Dinekow P.* Das Werk Kyrills und Methods und die bulgarische Kultur. Sofia, 1981.
- Dohm B.* Poetische Alchimie: Öffnung zur Sinnlichkeit in der Hohelied- und Bibeldichtung von der protestantischen Barockmystik bis zum Pietismus. Tübingen, 2000.

- Dohm B.* ‚Götter der Erden‘: Alchemistische Erlösungsvisionen in radikal-
pietistischer Poesie // Antike Weisheit und kulturelle Praxis: Hermetismus
in der Frühen Neuzeit. Göttingen, 2001.
- Foerster W.* Die Gnosis. Zeugnisse der Kirchenväter. Unter Mitwirkung von
Ernst Haenchen und Martin Krause eingeleitet, übersetzt und erläutert
von Werner Förster. Düsseldorf; Zürich, 1997.
- Franz A.* Philosophische Religion: eine Auseinandersetzung mit den Grund-
legungsproblemen der Spätphilosophie F.W.J. Schellings. Würzburg;
Amsterdam, 1992.
- Gilly C.* Das *Bekenntnis zur Gnosis* von Paracelsus bis auf die Schüler Jacob
Böhmes // From Poimandres to Jacob Böhme: Gnosis, Hermetism and
the Christian Tradition. Amsterdam, 2000.
- Grossmann S.* Friedrich Christoph Oetingers Gottesvorstellung: Versuche.
Analyse seiner Theologie. Göttingen, 1979.
- Kochetkova T.* The Search for Authentic Spirituality in Modern Russian Philo-
sophy. The Perdurance of Solov'ëv's Ideal. Lewiston; Queenston; Lam-
peter, 2007.
- Kornblatt J.D.* Divine Sophia. The Wisdom Writings of Vladimir Solovyov.
Including Annotated Translations by Bors Jakim, Judith Deutsch Korn-
blatt, and Laury Magnus. Ithaca and London, 2009.
- Lexikon des Mittelalters. Band 6. München und Zürich, 1993.
- Pordage J.* Sophia: das ist, die Holdseelige ewige Jungfrau der Göttlichen
Weisheit: oder Wunderbahre Geistliche Entdeck- und Offenbahrun-
gen, so die theure Weisheit einer heiligen Seele gegeben: Empfangen und
im Englischen 1675 beschrieben. Amsterdam, 1699.
- Quispel G.* Makarius, das Thomasevangelium und das Lied von der Perle.
Leiden, 1967.
- Reinhardt K.* Die Auslegung des *Hohenlieds* in der spanischen Mystik und
im deutschen Pietismus. Teresa von Avila und Gottfried Arnold // Trierer
Theologische Zeitschrift. 2001. Vol. 110/3.
- Rusterholz S.* Elemente der Kabbala bei Jacob Böhme // Mystik und Schrift-
kommentierung. Böhme-Studien. Beiträge zu Philosophie und Philo-
logie, Band 1. Berlin, 2007.
- Schegg P.* (*Übersetzung*) Die kleinen Propheten. Uebersetzt und erklärt von
Peter Schegg. Zweite Ausgabe, Erster Theil. Regensburg, 1862.
- Schmidt-Biggemann W.* Geschichte der christlichen Kabbala. Band II, 1600–
1660, Stuttgart-Bad-Cannstadt, 2013.
- Scholem G.* Kabbalah. Jerusalem, 1974.
- Schuff K.* Jakob Böhme: SOPHIA. Eine Einführung. Berlin, 2014.

- Stahl H.* Die intertextuelle Metapher: Das Bild der Trinität in Vlad. Solov'evs Märchen "Das Geheimnis des Fortschritts" // Metapher, Bild und Figur. Osteuropäische Sprach- und Symbolwelten. Hamburg, 2003a.
- Stahl H.* "Erinnert ihr euch an das Bild des schönen Leibes?": Aspekte der Sophiologie Vladimir Solov'evs // Vladimir Solov'ev und Friedrich Nietzsche: eine deutsch-russische kulturelle Jahrhundertbilanz. Frankfurt a.M. et al., 2003b.
- Stahl H.* "Ein Band des geistigen und natürlichen Lebens": Böhme und Schelling in der Sophiologie Vladimir Solov'evs // Sprache – Literatur – Kultur: Studien zur slavischen Philologie und Geistesgeschichte. Festschrift für Gerhard Ressel zum 60. Geburtstag. Frankfurt a.M., 2005.
- Stahl H.* Auf den "geheimen Pfaden der Seele". Vladimir Solov'evs mystische Lyrik // Coincidentia. Zeitschrift für Europäische Geistesgeschichte. Band 6/1, 2015.
- Stahl H.* Schau des mystischen Leibes. Die Schau der Göttlichen Sophia in den philosophischen und literarischen Schriften Vladimir Solov'evs. Münster 2018, в печати.
- Staudenmaier F.A.* (1852): Die christliche Dogmatik. Band 4. Freiburg i.Br., 1852.
- Stracke V.* Das Geistgebäude der Rosenkreuzer. Dornach, 1991.
- Strémooukhoff D.* Vladimir Soloviev et son oeuvre messianique. Paris, 1975. [= Vladimir Soloviev et son oeuvre messianique. Strasbourg. 1935]
- Swedenborg E.* Die Weisheit der Engel, Band 1: Die göttliche Liebe und Weisheit. Aus dem Lateinischen von Friedemann Horn. Zürich, 1997.
- Telle J.* Poesie und Alchemie: Deutsche Alchemikerdichtungen des 15. bis 17. Jahrhunderts. Untersuchungen und Texte. Berlin, 2013.

И.А. Пильщиков

Стиховедческая терминология русского формализма (фрагмент тезаурусного описания)¹

І. Введение

Словарь-тезаурус по стиховедению представляет собой формализованную систему терминов и понятий из области теории и истории стиха, между которыми установлены определенные семантические отношения. Подобный тезаурус может быть использован как для спецификации поэтических текстов (*primary literature*), так и для концептуального описания исследовательских текстов (*secondary literature*) [Бойков, Каряева 2017].

Любой тезаурус представляет собой «карту-схему» проблемной области, одной из проекций которой он является. Иначе говоря, рубрикация словаря-тезауруса представляет собой предметную онтологию данной предметной области. Общий тезаурус по литературоведению до сих пор не создан, несмотря на существование ряда более или менее удачных попыток. Пишущий эти строки и его коллеги несколько лет ведут работу над более узкими тезаурусами – по теоретической метрике и поэтике («поэтологии») и по сопоставительному стиховедению. Теоретические основания тезаврирования этих предметных областей имеют много общего [Бойков, Захаров, Пильщиков, Сысоев 2010; Бойков, Пильщиков 2013].

Вместе с тем «костяк» тезауруса по стиховедению может лечь в основу исторического словаря стиховедческих терминов. Настоящая публикация представляет собой один из первых шагов в указанном направлении. Здесь тезаурусное описание будет использовано для решения задач «истории стиховедческой теории» (*history of verse theory*): это попытка представить динамическую и местами внутренне противоречивую теорию стиха русской формальной школы как единое проблемное поле.

¹ Исследование проведено при поддержке РФФИ (проекты № 16-06-00497 и № 16-07-01180).

Осталось определить, что такое «русская формальная школа» или «русский формализм». В статье «Теория “формального метода”» Борис Эйхенбаум определял «формалистов» по административному признаку, на основании членства в объединении, которое было при этом полупоформальным (*part intended*): «Под “формалистами”, – писал Эйхенбаум, – я разумею <...> только ту группу теоретиков, которая объединилась в “Обществе изучения поэтического языка” (Опояз) и с 1916 г. начала издавать свои сборники» [Эйхенбаум 1927: 116, прим. 1]. Эта точка зрения предопределила позднейшее восприятие формализма, несмотря на все попытки Романа Jakobsona включить в историю формализма не только Опояз, но и Московский лингвистический кружок (МЛК) [Jakobson 1971; Якобсон 1996]. В настоящей работе под «формальной школой» понимаются обе ветви русского формализма – и петроградская, и московская. Характерно, что Борис Томашевский, вошедший в русское культурное сознание как петербургский стиховед *par excellence* и близкий ОПОЯЗу формалист или «параформалист», значительную часть своих стиховедческих работ написал в Москве, где он жил в 1918–1921 гг., и до публикации своих статей представлял их в виде докладов на заседаниях МЛК [Флейшман 1977].

Более того, именно в плане стиховедческой теории внутреннее противостояние двух фракций МЛК (эмпирические позитивисты и феноменологи-шпеттианцы) имеет меньшее значение, чем в других областях поэтики. С одной стороны, у каждого из шести стиховедов, сотрудничавших с МЛК, – Сергея Боброва, Осипа Брика, Максима Кенигсберга, Бориса Томашевского, Романа Jakobsona, Бориса Ярхо – был собственный подход к стиху, характерный и узнаваемый, отличающийся от пяти других, причем не в частностях и деталях, а по своим базовым установкам. С другой стороны, в области стиховедения расхождения между москвичами и опоязовцами были не более существенными, чем внутри Московского лингвистического кружка: Кенигсберг, например, по ряду принципиальных решений ближе к опоязовцу Тынянову, чем к другим сотрудникам МЛК [Шапир 1994; Кенигсберг 1994/1923]. Наконец, не только Томашевский, но и Якобсон, и Брик были сотрудниками обоих формалистических объединений, МЛК и Опояза. Поэтому если мы постулируем существование «русского формализма» как единого историко-научного явления, то единство его будет заключаться скорее в формулировках «повестки», в постановке проблем, чем в конкретных способах и методах их решений [Pilshchikov 2017]. Отсюда «межпарадигматический» (с точки зрения куновской систематики) характер русского формализма, о котором писал Петер Стейнер [Steiner 1984: 269].

Интересно также соотношение «формалистского» и «символистского» стиховедения. Базовые предпосылки для развития стиховедения создали не формалисты, а их предшественники – символисты (это видно уже из определений самой дисциплины – см. ниже п. IV, ст. «СТИХОВЕДЕНИЕ»).

При этом, по замечанию Л.С. Флейшмана, формалистическая теория стиха сложилась не как продолжение, а как отталкивание от символистской: «Борьба “формалистов” с “символистами” является важнейшим моментом в деле построения научной теории стиха. Poleмика с символистскими трудами стимулировала выработку понятия о стихе как метрическом единстве, системный подход к его изучению, пересмотр кардинальных стиховедческих понятий – таких, как проза и стих, метр и ритм, силлабический и тонический стих, стопа, – и переформулировку их <...>» [Флейшман 1977: 113]. Хотя общей для всего лагеря методологии не было ни у критиков (формалистов), ни у критикуемых (символистов) и все формалисты равно антагонистичны по отношению ко всему символистскому стиховедению (и к «стихологии» Брюсова, и к первым опытам статистического исследования стиха в работах Андрея Белого), в использовании стиховедческой терминологии можно обнаружить интересную тенденцию. Если вся терминология Брюсова – включая злосчастную «стихологию», которая, впрочем, является такой же калькой с немецкого *Verslehre*, как и чешское *versologie*, и русское (беловско-бобровско-шенгелианское) *стиховедение*, – подвергается полному и беспощадному отрицанию, то терминология Белого остается в употреблении у формалистов, причем не только у «полусимволиста» Боброва, но и у Томашевского, и у Якобсона. Поэтому часть «беловской» терминологии естественным образом попадает в словарь-тезаурус «формалистического» стиховедения. Но и Брюсова со счетов сбрасывать не стоит, ведь даже ставшее общепринятым лапидарное определение этой области знания – «Наука о стихе» – принадлежит не Белому, а Брюсову [Брюсов 1919].

Фундаментальной оппозицией, характеризующей русскую теорию стиха (в отличие, например, от немецкой или французской) является противопоставление метра и ритма, унаследованное от античного стиховедения, но радикально переосмысленное Андреем Белым [Шапир 1990; Лотман 2008]. По воспоминаниям Владислава Ходасевича, Белый сам был поражен своим открытием:

«Разговоры специально стихотворческие велись часто. Нас мучил вопрос: чем, кроме инструментовки, обусловлено разнозвучание одного и того же размера? Летом 1908 года, когда я жил под Москвой, он [Андрей Белый. – И.П.] позвонил мне по телефону, крича со смехом:

– Если свободны, скорей приезжайте в город. Я сам приехал сегодня утром. Я сделал открытие! Ей-Богу, настоящее открытие, вроде Архимеда!

Я, конечно, поехал. Был душный вечер. Белый встретил меня загорелый и торжествующий, в русской рубашке с открытым воротом. На столе лежала гигантская кипа бумаги, разграфленной вертикальными столбиками. В столбиках были точки, причудливо связанные прямыми линиями. Белый хлопал по кипе тяжелой своей ладонью:

– Вот вам четырехстопный ямб. Весь тут, как на ладони. Стихи одного метра разнятся ритмом. Ритм с метром не совпадает и определяется пропуском метрических ударений. «Мой дядя самых честных правил» – четыре ударения, а «И кланялся непринужденно» – два: ритмы разные, а метр все тот же, четырехстопный ямб.

Теперь все это стало азбукой. В тот день это было открытием, действительно простым и внезапным, как Архимедово. Закону несовпадения метра и ритма должно быть в поэтике присвоено имя Андрея Белого» [Ходасевич 2008/1939: 94].

Приоритет Белого впоследствии признавали все (см. ниже цитаты в ст. «МЕТР») и отсчитывали историю русского стиховедения от публикации статей о 4-стопном ямбе в книге Белого «Символизм» [Белый 1910; Гречишкин, Лавров 1981; Гаспаров 1988]. Поразителен, однако, не столько этот факт, сколько его, так сказать, прямая противоположность: русские адепты статистического стиховедения – Андрей Белый, Ярхо и Томашевский – начали и долгое время вели свою работу совершенно независимо друг от друга. То есть объяснить концептуальную интерференцию простым влиянием одного теоретика на другого невозможно: нужно сравнивать их индивидуальные понятийные и терминологические системы, находя в них точки и линии соприкосновения, взаимного притяжения и отталкивания.

Некоторые теоретики (например, Виктор Жирмунский) были уверены, что стих от прозы отличается наличием метра: диагностировав метр, мы тем самым диагностируем стих. Однако это не так, ведь существует метризованная проза и неметрический стих – верлибр. Таким образом, проблема «стих vs. проза» более фундаментальна, чем проблема «метр vs. ритм», и в логико-методологическом отношении предшествует ей [Шапир 1995]. Однако подходы к этой проблеме в истории русского стиховедения даже более разнообразны и несводимы друг к другу, чем подходы к проблеме метра и ритма [Пильщиков 2017]. Можно ли их сравнить и обобщить, найти единство в разнообразии? Вот здесь-то нам на помощь и приходит тезаурус.

Тезаурус состоит из трех частей: рубрицированного словника, подборки словарных статей и алфавитного указателя словарных статей (т.е. фактически того же словника, но упорядоченного по алфавиту). Каждая статья имеет типовую структуру. Некоторые поля тезаурусной статьи могут оставаться незаполненными (временно или в принципе). Статьи можно читать либо подряд, либо переходя к нужной статье из словника.

В работе представлены фрагменты рубрикации и несколько репрезентативных статей¹. Словник и рубрикация в значительной степени отражают современные представления о структурировании описываемой проблемной области. Эти представления не всегда совпадают с представлениями 90–100-летней давности – периода, когда происходило становление существующей ныне терминологии и лежащих за ней концепций. Некоторые термины, важные для проблемной области в целом, могут отсутствовать в описываемом материале. Тем не менее тезаурусная форма позволяет отразить как множественность интерпретаций конкретных терминов, так и многообразие и неоднозначность концептуальных связей между ними.

II. Структура словарной статьи

1. термин
2. варианты написания
3. автор(ы) термина
4. этимология
5. иноязычные эквиваленты
6. синонимы
7. определение
8. альтернативные определения
9. схема (например, при определении стихотворных размеров или ритмических форм)
10. примеры употребления (цитаты)
11. родовое понятие
12. видовые понятия
13. целое (к которому относится термин)
14. компоненты (части)
15. комбинативные отношения (отношения между членами независимых параллельных классификаций родового понятия)

¹ Другие статьи см. в работе [Пильщиков 2016].

16. отношения смежности (включая каузальные, инструментальные, генетические отношения)
17. ассоциативные отношения (прочие отношения)
18. дисциплина (рубрика первого уровня; в данном частном тезаурусе это рубрика «стиховедение», она введена для совместимости с другими поэтологическими тезаурусами)
19. рубрика (к которой термин относится непосредственно)
20. основные источники
21. дополнительные источники

III. Фрагмент рубрицированного словника

0. Стиховедение

0.0. Общие термины: Стиховедение; Теория стиха.

1. Стих

1.0. Общие термины: Версификация; Просодия; Поэзия; Разбивка (разбиение) на строки; Соизмеримость; Соотнесенность; Соотносимость; Стих₁ [стихотворная речь]; Стих₂ [стихотворная строка]; Стиховой ряд; Стихоразделы; Стихосложение; Стихотворение; Строка.

1.1. Метрика

1.1.0. Общие термины: Вольный стих; Двудуликие строки; Изомерные строки; Константа; ...; Метр; Метрика; Метрический ряд; Монометрия; Полиметрия; Размер стихотворный; Сильное место в стихе; Скандирование, скандовка; Слабое место в стихе.

1.1.1. Системы стихосложения

1.1.1.0. Общие термины: Система стихосложения; Типология систем стихосложения; Эволюция систем стихосложения.

1.1.1.1. Силлабика, силлабическое стихосложение: ...

1.1.1.2. Силлаботоника, силлаботоническое стихосложение:

...

1.1.1.3. Размеры с переменным объемом междуиктовых интервалов: ... Дольник; ... Паузнак; ...

1.1.1.4. Тоника, тоническое стихосложение: ...

1.1.1.5. Свободный стих: ...; Верлибр, Verse libre; ...

...

1.2. Явления начала и конца стихотворной строки

1.2.0. Общие термины: Анакруза, анакруса; Каталектика.

...

1.3. Ритмика

1.3.0. Общие термины: Ритм₁ [ритмическая организация текста]; Ритмика; Ритмический импульс; Ритмическое ожидание; Членение ритмическое.

1.3.1. Акцентуация: ... Ритм₂ [vs. метр]; ...

1.3.2. Границы слов: Диереза, дизереза; Малая цезура; Медиана; Междусловесный перерыв; Модуляции ритмические; Передвижная цезура; Полустишие; Ритмические модуляции; Словораздел; Слово-раздельные вариации; Слор; Цезура; Цезурное наращение; Цезурное усечение.

1.4. Строфика

...

1.5. Рифмика

...

1.6. Лингвистика стиха

...

2. Проза (в отличие от стиха)

...

IV. Примеры словарных статей

МЕТР

1. термин: метр

4. этимология: от греч. *μέτρον* ‘мерило, мера’

5. иноязычные эквиваленты: Metrum (нем.); Versmaß (нем.); mètre (фр.); metre, meter (англ.); metrum (польск.)

6. синонимы: метрическая схема; метрическое задание

7. определение: Схема организации стихотворной строки, определяющая закономерность чередования определенных типов слогов.

8. альтернативные определения: Общий закон чередования сильных и слабых звуков в стихе [Жирмунский 1925: 11].

10. примеры употребления (цитаты):

«Основная проблема теории стиха <...> – противопоставление ритма и метра, как оно впервые было отчетливо выражено для классического русского стиха в известных работах А. Белого о четырехстопном ямбе (“Символизм”, 1910)» [Жирмунский 1925: 6].

«<...> в стихах следует различать <...>: || 1. Метрическую схему, метр, норму, по которой стихи пишутся, и принцип, по которому они сочетаются друг с другом; || 2. Ритм <...>; || 3. Ритмический импульс <...>» [Томашевский 1923: 66].

«<...> метр есть общий закон чередования сильных и слабых звуков, ритм обнимает конкретные частные случаи применения этого закона, вариации основной метрической схемы» [Жирмунский 1925: 11].

«Норма, определяющая ритмическое задание, называется *метром*» [Томашевский 1923: 11].

«<...> метрическую схему надо рассматривать как отвлеченное выражение каких-то соотношений в стихе, не совпадающее с реальной произносительной формой стиха» [Томашевский 1923: 44].

«<...> метр есть принцип совместности стихов. Стихи объединяются в стихотворения по принципу метрического единства» [Томашевский 1923: 44].

12. видовые понятия: ямб; хорей; дактиль; амфибрахий; анапест; дольник; паузник

16. отношения смежности: ритм

17. ассоциативные отношения: неметрическая поэзия; верлибр, vers libre

19. рубрика: метрика: общие понятия (1.1.0)

20. основные источники: [Томашевский 1923]; [Жирмунский 1925]

21. дополнительные источники: [Белый 1910]; [Гаспаров 1974]; [Шапир 1990]

МЕТРИЧЕСКИЙ РЯД

1. термин: метрический ряд

4. этимология: нем. metrische Reihe

5. иноязычные эквиваленты: metrische Reihe (нем.)

6. синонимы: ритмическая цепь

7. определение: Сегмент стиха от первого метрического ударения до последнего.

8. альтернативные определения: Центральный сегмент стиха за исключением анакруссы и клаузулы.

10. примеры употребления (цитаты):

«Ударно-метрический ряд следует выделять из стиха, как ряд правильного чередования метрических ударений и неударяемых слогов. || Ему предшествует анакруза, за ним следует рифмическое окончание. Метрический ряд начинается с первого метрического ударения и кончается последним» [Томашевский 1923: 46].

«Метрический ряд начинается с первого метрического ударения и кончается последним рифмическим ударением, за ним следует *окончание* стиха, или рифмическая концовка (клаузула)» [Томашевский 1923: 49].

«Брик <...> Таким образом, ритмическая цепь начинается с 1 ударения, и кончается последним (за исключением лишь неударного) начала у двудольников). И здесь лишние слоги не замечаются, как усложнение» (МЛК 01.06.1919 [Pilshchikov 2017: 162–163]).

13. целое (к которому относится термин): строка стихотворная, стих₂

16. отношения смежности: анакруса, анакруза; клаузулы

19. рубрика: метрика: общие понятия (1.1.0)

20. основные источники: [Томашевский 1923]

21. дополнительные источники: [Pilshchikov 2017]

РИТМ₁

1. термин: ритм₁

4. этимология: от греч. *ῥυθμός* ‘ритм’

5. иноязычные эквиваленты: *rhythmus* (лат.); *Rhythmus* (нем.); *rythme* (фр.); *rhythm* (англ.)

6. синонимы: ритмическое движение

7. определение: Организация текста во времени.

8. альтернативные определения:

8.1. Общая упорядоченность звукового строения текста.

8.2. «Ритм – это особенным образом оформленное движение» [Брик 1927, № 3: 16].

8.3. «<...> ритм – это движение конструктивных элементов стихотворной речи, материализующееся в тексте стихотворного произведения» (О.М. Брик [Поэзия и проза 1931: 32]).

10. примеры употребления (цитаты):

«Ритм, как научный термин, обозначает особое оформление двигательных процессов. <...> Ритм – это особенным образом оформленное движение. || Надо строго различать движение и результат движения. Если человек, прыгая по болоту, оставляет следы, то чередование этих следов, как бы оно равномерно ни было, не есть ритм. Ритмически оформлено будет самое прыгание, а следы от прыжков – это только данные для суждения об этом прыгании. Говорить, что следы расположены ритмически, не научно. || В стихотворении, напечатанном в книжке, мы имеем организацию именно таких следов движения. Ритмически оформленной может быть только стихотворная речь, а не результат этой речи» [Брик 1927, № 3: 16].

«Брик проводит различие между ритмическим <= ритмом?> в практическом яз<ыке> и в поэтическом. В практическом мы имеем закон инерции, в поэзии же – задание» (МЛК 01.06.1919 [Pilshchikov 2017: 174]).

16. отношения смежности: ритм₂

19. рубрика: ритмика: общие термины (1.3.0)

20. основные источники: [Белый 1910]; [Жирмунский 1921]; [Брик 1927]

21. дополнительные источники: [Шапир 1990]; [Pilshchikov 2017]

РИТМИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬС

1. термин: ритмический импульс

3. автор(ы) термина Брик, Осип Максимович (1888–1945); Томашевский, Борис Викторович (1890–1957)

4. этимология: от лат. *impulsus* ('толчок'), страд. прич. от *impellō* ('толкаю')

5. иноязычные эквиваленты: *rhythmical impulse* (англ.)

10. примеры употребления (цитаты):

«В поэзии как словесном искусстве ритмический закон осуществляется в некотором единообразном чередовании сильных и слабых слогов, объединенных в неизменно повторяющиеся фонетические ряды ("стихи"). Закон чередования выражается нами в определенной метрической схеме. Реальный ритм стиха отступает от этой схемы, как и вообще закономерность в искусстве нигде не переходит в математически правильный закон. Но основное задание, выражаемое метрической схемой, основное движение или "импульс" (по терминологии Брика) ощущается нами в ряде стихов, взятых как целое, каковы бы ни были отступления в отдельных стихах» [Жирмунский 1921: 8].

«<...> в стихах следует различать <...>:|| 1. Метрическую схему, метр <...>;|| 2. Ритм <...>;|| 3. Ритмический импульс – общее впечатление ритмической системы стиха, создающееся на основе восприятия более или менее большого ряда стихов воспринимаемого стихотворения» [Томашевский 1923: 66].

«Поэт, замышляя стихотворение, задается метрической схемой, которую он ощущает в качестве некоторого ритмико-мелодического рисунка, в пределах которого "укладываются" слова. Воплощаясь в слове, ритмический импульс находит выражение в конкретном ритме отдельных стихов. <...> Слушатель воспринимает ритм в обратном порядке. Сперва ему представляется конкретный ритм стиха. Затем, под впечатлением повтора ритмической линии, в результате восприятия серии стихов, слушатель улавливает ритмический импульс <...> Еще более абстрагируя ритмический строй, он обнаруживает обнажаемую скандовкой метрическую схему» [Томашевский 1923: 83].

«<...> правильно говорить не об ударных и неударных слогах, а об ударенных и неударенных. Теоретически каждый слог может быть уда-

ренным и неударенным, – все зависит от ритмического импульса. <...> Постоянные недоумения, которые возникают у исследователей, когда пытаются зафиксировать ударность каждого слога, и оказывается, что при различном произнесении стиха результаты получаются разные, объясняются именно этой путаницей ритмического импульса и готовой строки» [Брик 1927, № 3: 17].

«Ритмический импульс, ритмическая установка движения существует в сознании еще до всякой ее материализации» [Брик 1927, № 3: 18].

16. отношения смежности ритм₁; метр

17. ассоциативные отношения

19. рубрика: ритмика: общие термины (1.3.0)

20. основные источники: [Томашевский 1923]; [Брик 1927]

21. дополнительные источники: [Жирмунский 1921]; [Červenka 1984].

СЛОВОРАЗДЕЛ

1. термин: словораздел

3. автор(ы) термина Брик, Осип Максимович (1888–1945)

6. синонимы: междусловесный перерыв; слор; малая цезура

7. определение: Граница между фонетическими словами.

10. примеры употребления (цитаты):

«Словораздел» – «термин Брика, принятый молодыми московскими ритмиками» [Яacobсон 1923: 29, прим. 35].

«Брик <...> Каждый словораздел может стремиться стать цезурой» (МЛК 01.06.1919 [Pilshchikov 2017: 163]).

«Яacobсон <...> Словораздел ни в коем случае не может трактоваться, как некоторая временная протяженность. В виду этого важно различать в стихах словораздел и синтаксическую паузу» (МЛК 01.06.1919 [Pilshchikov 2017: 174]).

«СЛОВОРАЗДЕЛ, слор, междусловесный перерыв, малая цезура – есть перерыв в стихе между двумя словами. Это обозначение во многом очень и очень условно, так как эксперимент со специальными аппаратами показывает, что нередко звук между отдельными словами совершенно не прерывается. Понятие это введено А. Белым для объяснения различия между формами таких междусловесных пауз или, как он сам писал, – паузных форм» [Бобров 1925: 831–832] (NB! термина «словораздел» у Андрея Белого нет).

12. видовые понятия: цезура

19. рубрика: границы слов (1.3.2)

20. основные источники: [Брик 1927]; [Бобров 1925]

21. дополнительные источники: [Яacobсон 1923]; [Pilshchikov 2017]

СЛОР

1. термин: слор

3. автор(ы) термина: Бобров, Сергей Павлович (1889–1971)

4. этимология: сокращение от *словораздел*

6. синонимы: междусловесный перерыв; словораздел; малая цезура

7. определение: Граница между фонетическими словами. То же, что словораздел.

10. примеры употребления (цитаты):

«СЛОВОРАЗДЕЛ, слор, междусловесный перерыв, малая цезура – есть перерыв в стихе между двумя словами» [Бобров 1925: 831].

12. видовые понятия: цезура

19. рубрика: границы слов (1.3.2)

20. основные источники: [Бобров 1925]

СТИХОВЕДЕНИЕ

1. термин: стиховедение

3. автор(ы) термина: Андрей Белый (Бугаев, Борис Николаевич, 1880–1934); Бобров, Сергей Павлович (1889–1971)

4. этимология: калька с нем. *Verslehre* (*Vers* ‘стих’ + *lehre* ‘изучение’)

5. иноязычные эквиваленты: *Verslehre* (нем.); *versologie* (чеш.); *verse theory* (англ.); *prosody* (англ.)

6. синонимы: наука о стихе; стихология; теория стиха

7. определение: Наука о стихотворной форме литературного произведения (М.Л. Гаспаров [КЛЭ 1972, т. 7: 198]).

8. альтернативное определение: Отдел поэтики в системе теории литературы, изучающий формы строения стиха [Квятковский 1966: 284].

10. примеры употребления (цитаты):

«Лекцией “Стиховедение” А. Белый начал свой курс в литературной студии московского Пролеткульта (октябрь–декабрь 1918 г.)» [Гречишкин, Лавров 1981: 108].

«Практическое стиховедение» [Шенгели 1923/1926: т.л.].

«Работами Андрея Белого открывается новый период в русском стиховедении. Работы эти, безотносительно к тому, что Белый не дал никакой законченной теории, устанавливают совершенно новый метод в изучении стиха, – метод статистический» [Шенгели 1923/1921: 15].

«Метр, как и рифма, ни в какой степени не является ключом к познанию стихового ритма в широком значении этого слова. Поэтому – пути современного стиховедения вряд ли можно считать кратчайшими путями к построению общей теории стиха» [Томашевский 1928/1925: 7].

13. целое (к которому относится термин): теория литературы; поэтика; общая теория стиха

14. компоненты (части): метрика; ритмика; строфика; анакруза, анакруса; какталектика; рифмика; лингвистика стиха

15. комбинативные отношения: просодия

16. отношения смежности: стихосложение; история стиха

17. ассоциативные отношения: поэзия; стихотворение

19. рубрика: стиховедение: общие понятия (0.0)

20. основные источники: <вопрос требует дальнейших разысканий>

21. дополнительные источники: [Шенгели 1923/1921]; [Шенгели 1923/1926]; [Томашевский 1928/1925]

V. Алфавитный список статей, вошедших в настоящую публикацию

Метр

Метрический ряд

Ритм₁ [ритмическая организация текста]

Ритмический импульс

Словораздел

Слор

Стиховедение

Сокращения

КЛЭ – Краткая литературная энциклопедия. М., 1962–1978. Т. 1–9.

МЛК – Отдел лингвистического источниковедения и истории русского литературного языка Института русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук. Ф. 20 (Московский лингвистический кружок).

Литература

Белый А. Символизм: Книга статей. М., 1910.

Бобров С.П. Словораздел // Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов. Т. 2. М.; Л., 1925.

Бойков В.Н., Захаров В.Е., Пильщиков И.А., Сысоев Т.М. Тезаурус как инструмент поэтологии // Моделирование и анализ информационных систем. 2010. Т. 17. № 1.

- Бойков В.Н., Каряева М.С. Поэтология: задачи построения тезауруса и спецификации стихового текста // Моделирование и анализ информационных систем. 2017. Т. 24. № 6.
- Бойков В.Н., Пильщиков И.А. Семантическая модель «Тезауруса по поэтологии» в составе информационно-аналитической системы // Интернет и современное общество: Труды XVI Всероссийской объединенной конференции «Интернет и современное общество» (IMS–2013) (Санкт-Петербург, 9–11 октября 2013 г.). СПб., 2013.
- Брик О.М. Ритм и синтаксис // Новый Лэф. 1927. № 3; № 4; № 5; № 6.
- Брюсов В.Я. Краткий курс науки о стихе (Лекции, читанные в Студии Стиховедения в Москве 1918 г.). Часть I: Частная метрика и ритмика русского языка. М., 1919. На обложке: Валерий Брюсов. Наука о стихе: Метрика и ритмика.
- Гаспаров М.Л. Современный русский стих: Метрика и ритмика. М., 1974.
- Гаспаров М.Л. Белый-стиховед и Белый-стихотворец // Андрей Белый: Проблемы творчества: Статьи, воспоминания, публикации. М., 1988.
- Гречишкин С.С., Лавров А.В. О стиховедческом наследии Андрея Белого // Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 515. (Труды по знаковым системам. XII). Тарту, 1981.
- Жирмунский В.М. Композиция лирических стихотворений. Пб., 1921.
- Жирмунский В.М. Введение в метрику. Теория стиха. Л., 1925.
- Квятковский А.П. Поэтический словарь. М., 1966.
- Кенигсберг М.М. Из стихологических этюдов. 1. Анализ понятия «стих» [1923] / Вступ. заметка и прим. М.И. Шапира // Philologica. 1994. Т. 1. № 1/2.
- Лотман М.Ю. Становление античных размеров в русском стихе: аспекты когнитивной метрики // Russian Text (19th Century) and Antiquity = Русский текст (19 век) и античность. Budapest, 2008.
- Пильщиков И.А. Словник и словарь-тезаурус теории стиха русской формальной школы. М., 2016. URL: https://rvb.ru/philologica/series_rus/series08rus.htm
- Пильщиков И.А. Понятия «стих», «метр» и «ритм» в русской стиховедческой традиции // Труды Института русского языка им. В.В. Виноградова. Вып. XI: Славянский стих. М., 2017.
- Поэзия и проза: Рабочий материал к 5-му уроку (на правах рукописи) // Поэтика. [М., 1931].
- Томашевский Б.В. Русское стихосложение. Метрика. Пг., 1923.
- Томашевский Б.В. Стих и ритм [1925] // Поэтика: Временник Отдела Словесных Искусств Государственного Института Истории Искусств. [Вып.] IV. Л., 1928.

- Флейшман Л.С.* [без подписи]. Томашевский и Московский лингвистический кружок // Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 422. (Труды по знаковым системам. IX). Тарту, 1977.
- Ходасевич В.Ф.* Некрополь: Воспоминания [1939]. СПб., 2008.
- Шапир М.И.* М.М. Кенигсберг и его феноменология стиха // Russian Linguistics. 1994. Vol. 18. № 1.
- Шапир М.И.* Metrum et rhythmus sub specie semioticae // Даугава. 1990. № 10.
- Шапир М.И.* «Versus» vs «prosa»: пространство-время поэтического текста // Philologica. 1995. Т. 2. № 3/4.
- Шенгели Г.А.* Трактат о русском стихе. Ч. 1: Органическая метрика. М.; Пг., 1923(a). (1-е изд., 1921).
- Шенгели Г.А.* Практическое стиховедение. М., 1923(б). (2-е изд., 1926).
- Эйхенбаум Б.М.* Теория «формального метода» [1925] // Эйхенбаум Б. Литература: Теория; Критика; Polemica. Л., 1927.
- Якобсон Р.О.* О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с русским. Берлин, 1923.
- Якобсон Р.О.* Московский лингвистический кружок / Подгот. текста и публ. М.И. Шапира // Philologica. 1996. Т. 3. № 5/7.
- Červenka M.* Rhythmical Impulse: Notes and Commentaries // Wiener Slavistischer Almanach. 1984. Bd. 14.
- Jakobson R.* An Example of Migratory Terms and Institutional Models (On the fiftieth anniversary of the Moscow Linguistic Circle) // Jakobson R. Selected Writings. The Hague, 1971. Vol. 2.
- Pilshchikov I.* Заседание Московского лингвистического кружка 1 июня 1919 г. и зарождение стиховедческих концепций О. Брика, Б. Томашевского и Р. Якобсона // Revue des études slaves. 2017. Т. 88. № 1/2.
- Steiner P.* Russian Formalism: A Meta-poetics. Ithaca; London, 1984.

О.И. Северская

Поэтическая «живопись»

как явление семиотического трансфера

Вопрос о взаимодействии поэзии и живописи возник уже давно, в XVIII в. Еще Г.Э. Лессинг в «Лаокооне» определяет их границы: «Временная последовательность – область поэта, пространство – область живописца» [Лессинг 1953: 457], но замечает, что уживаются они в пространстве искусства «все равно, как два добрых миролюбивых соседа, не позволяя себе неприличного самоуправства один во владениях другого, оказывают в то же время друг другу в смежных областях своих владений взаимное снисхождение и мирно вознаграждают один другого, если кого-нибудь из них обстоятельства заставляют нарушить право собственности» [Там же]. Впервые назвав поэтические (нематериальные, условные) и живописные (материальные, передающие яркость и краски мира) изобразительные средства «знаками» [Там же: 429, 444] и обозначив векторы их взаимодействия [Там же: 444–445] – живопись использует знаки тел и их видимых свойств, поэзия же означает действия, т.е. перемещения тел и изменения их свойств в пространстве и времени [Там же: 445], он предвосхитил тем самым рассмотрение живописной поэтики в терминах теории межсемиотического трансфера, или, по Р.О. Якобсону, «трансмутации» [Якобсон 1975: 198], взаимозамены знаков вербальных и невербальных систем.

При межсемиотическом трансфере, указывает В.З. Демьянков, некоторый знак как элемент структуры и носитель потенциальной формы и функции встраивается в одну из структур другой знаковой системы [Демьянков 2016: 61]. В результате структура-реципиент, по Ю.М. Лотману, «полиглотизируется», становясь точкой взаимодействия как минимум двух «языков» – несоразмерных, но обладающих определенной общностью набора кодов: «Область пересечения кодов обеспечивает некоторый необходимый уровень низшего понимания. Сфера пересечения вызывает потребность установления эквивалентностей между различными элементами и создает базу для перевода» [Лотман 1992: 100]. Именно неадекватность кодов и служит основой интерпретации, поиска нового знания о мире.

Сегодня проблема взаимопереводимости языков искусств не только не теряет своей актуальности, но и становится одной из основных «горячих точек» поэтики, поскольку все чаще появляются поэтические тексты, которые можно назвать мультимедиальными и поликодовыми. Оговоримся, что в научной практике сложилось множество определенных сосуществования в одном текстовом пространстве двух «языков», не имеющих формальных границ: «гибридные структуры», «гибридные дискурсивные практики», «интердискурс», «внутридискурсивная мобильность» и т.д. (обзор соответствующих теорий дает О.В. Соколова [Соколова 2016: 308–311]). Как представляется, лучше все же говорить не о гибридной дискурсивности, а о наличии в текстах-гибридах семиотических кросс-кодов – единых принципов кодирования информации, которые позволяют представить передаваемое поэтическим высказыванием сообщение как бы «подсвеченным» другим видом искусства. В этих кросс-кодах и обнаруживает себя межсемиотический трансфер.

О нем зачастую свидетельствуют заглавия подобных поликодовых произведений, явно отсылающих, например, к языку музыки, как «Фуга» и «Ты хочешь, чтобы музыка играла для тебя...» Н. Искренко [Северская 2009], «Мемуарный рекевием» А. Парщикова, «Джазовая импровизация» И. Жданова, или кино, как «Кинорежиссер» В. Аристова, или живописи: можно вспомнить «Натюрморт» Е. Бершина, «Портрет» И. Жданова. Так озаглавленные тексты, как правило, строятся по законам поставленного им в соответствии жанра. Но указывать на поликодовость могут и ключевые слова и образы, например, поэтические атрибуты «фотографии» во множестве встречаются у А. Драгомощенко и А. Парщикова, профессионально работавших и в фотоискусстве [Северская 2011], а концепция поэтического «театра» присутствует в текстах-манифестах «До слова» И. Жданова, «Амфитеатр печатной машинки. Античность...» С. Соловьева и во «Вступлении» А. Парщикова [Северская 2007]. При этом поэтический текст интегрирует семиотические коды театра, кино, фотографии, живописи и музыки (нередко присутствующие в текстовом пространстве в снятом виде одновременно), воплощая их в слове.

Покажем это на примере взаимодействия кодов двух полярных видов искусства – «временной» поэзии и «пространственной» живописи.

Основными «знаками» в языке живописи принято считать *цвет*, *колорит* (сочетание цветов), *композицию* (*предметы, фигуры*, т.е. «тела» в терминах Г.Э. Лессинга, *и их расположение в пространстве* – горизонтальное, вертикальное, круговое и т.п.).

Все они присутствуют в виде кросс-кодов в стихотворении Е. Бершина «Натюрморт (*холст, масло*)», заглавие и подзаголовок которого сами по себе указывают на «картинность» и выглядят надписью на прикрепленной к картине табличке:

Инне

Обнаженная рыба
упала ничком
на подмости стола.
Опустившись на дно,
сквозь прореху в кувшине
глядело тайком
на её наготу молодое вино.

В позолоченной чашке,
почти у окна,
желтый парус лимона лежал на мели,
словно взяли и выпили море до дна,
не дождавшись,
пока уплывут корабли.

Не умея сдержать вытекающий сок,
над равниной салата
и прочей едой
недоеденный кем-то арбузный кусок
восходил из тарелки зарей молодой.

Под мужским каблуком задохнулось стекло.
А на узкой кровати,
правее стола,
в голубую подушку, дыша тяжело,
вопросительным знаком
хозяйка спала.

Цветовая палитра, которую использует Е. Бершин, не слишком разнообразна, но богата оттенками. Два цвета передаются им эксплицитными цветообозначениями: *желтый* (имплицитно присутствующий и в *позолоте* 'выделяющемся на чем-то золотистым, желтым цветом, оттенком') и *голубой*. Эти два цвета, сочетаясь, образуют другой: блед-

но-зеленый, или *салат(овый)*. Поскольку цвет – это, по энциклопедическому определению, часть светового излучения, воспринятого нашим глазом непосредственно от источника или при его отражении от поверхности, цвет в поэтическом «натюрморте» отражают и предметы. Их цвет буквально *лежит на поверхности*, т.е. является очевидным, поскольку соответствует общему знанию о мире, но при этом представлен в тексте имплицитно: *лимон* не только однозначно *желтый*, но и **лимонный*, *салат* – **салатовый*, *арбуз* – **красный*, *заря* – **алая* или **багровая* (в зависимости от момента времени), а *море* – **синее*. Выявлять оттенки помогают и эпитеты: *молодое вино*, как и *молодая заря*, скорее всего, *розовое*, не набравшее глубины цвета, *розовым* может быть и *сок арбуза*, упомянутый в том же образном ряду. Вместе с тем и предметы, изображаемые объекты могут быть угаданы по цветовому излучению, и опознать их опять же помогают устойчивые ассоциации *голубого* – с *небом*, *золотого* – с *солнцем*.

Что касается колорита, который определяется как «совокупность цветов живописного произведения единой тональности» [Алексеев 1974], то в тексте-«натюрморте» есть и постепенные переходы одних оттенков в другие (например, *золотого*, блестяще-желтого в *желтый* и *лимонный* ‘светло-желтый, с легкой прозеленью’, или же потенциально *красного* – в *алый* ‘ярко- и одновременно светло-красный’ и *багровый* ‘густо-красный с синим отливом’, а *голубого* потенциально – в морской *синий* и даже присущий бурному морю *иссиня-черный*) и определенные цветовые гаммы: теплые *золотистая* и *красная* и холодные *синяя* и *зеленая*. А общий колорит «картины» – *розовато-красный* и *золотисто-голубой*: *золотой* ассоциируется одновременно с божественной властью и с тщетой роскоши в земной жизни, *голубой* же связывает земное и небесное, ассоциируется с водными гладями и бесконечностью небес, с иным, вечным миром, *красные* оттенки указывают на жажду жизни, страсть. Вспомним и про *розовые грезы* ‘желаемое, принимаемое за действительное’ и *голубые мечты* ‘страстно желаемое, но редко достижимое’, эти оттенки смысла также угадываются в подтексте.

«Колорит как обязательный компонент художественной формы в живописи участвует в формировании художественного образа и неминуемо связан с сюжетной и предметной основой произведения», – замечает С.С. Алексеев [Там же]. У Е. Бершина колорит действительно помогает строить образы. Так, *розовато-красный* плавно перетекает от предмета к предмету, скрепляя метафору. А *позолоченная чашка-море* «рифмуется» цветом с *желтым лимоном-парусом*. Вместе с тем цвет и колорит лишь дополняют образы, имплицитируемые значениями слов

и устойчивыми оборотами: *испить чашу до дна* 'достойно перенести всё, что предстоит испытать в сложной жизненной ситуации', *пойти на дно (оказаться на дне)* 'потерпеть в чем-то неудачу/обеднеть, разочариться', *быть на мели* 'находиться в крайне затруднительном положении, в беде, в нужде, без помощи' (и кстати, то же значение имеют эквивалентные по значению обороты фр. *être à sec* и нем. *auf dem Trockenen sein (sitzen)*, буквализирующие образ высохшего или осушенного моря и обнажившегося дна). Таким образом, живописные коды помогают поэту выписать образ, сделать его чувственно воспринимаемым, передав в едином зрительном впечатлении все компоненты тропа одновременно. Перед нами – пейзаж в натюрморте, что допускается канонном жанра: восход солнца, занимающаяся заря над морем (некогда бурным морем жизни? или высохшим морем слез?), символизирующая, как и голубой цвет подушки (в которую было выплакано море слез?), надежду на возрождение после крушения. Важно и то, что заря – молодая, эпитет указывает как на момент зарождения, так и на свойство быть живым, жизнерадостным.

Предметы тоже присутствуют в поэтическом натюрморте: стол, находящийся у окна, справа от него – кровать; на столе – кувшин (с прорехой), в нем – вино, чашка, в ней – лимон, тарелка – с остатками еды: салат, арбуз... на полу – раздавленный каблуком осколок стекла... Особое место занимают упавшая ничком обнаженная рыба и спящая вопросительным знаком женщина, связанные композиционной параллелью. Все предметы, как и в традиционном натюрморте, имеют символическое значение [Егорова 2017]. Рыба и вино – символы христианства и Христа, но следует учитывать и то, что рыбный натюрморт – это одновременно аллегория водной стихии, а вино намекает на плотские удовольствия, как и присутствующие на столе плоды и яства, аллегория стихии земной. Разбитый кувшин и отколовшееся от него и раздавленное стекло символизируют хрупкость человеческой жизни и отношений: не случайно раздавленное стекло задыхается под каблуком мужчины, а женщина спит, тяжело дыша, одно связывается с другим не только по смежности в изображаемой ситуации, но и на языковом уровне (корневым повтором в лексемах *задыхаться/дышать* и повтором сем 'тяжесть' и 'удушье' как в буквальных, так и в переносных смыслах удушья, тяжести и раздавленности). Присутствующий на столе привлекательный с виду и кислый внутри лимон символизирует предательство (это акцентирует и желтый – цвет измены) и одновременно – неутоленность жажды; арбуз же выглядит эротично – это воплощение любви и страсти, но и символ противоречия. При этом, по выражению А. Его-

ровой, «знаки бренности внезапно оказываются символами спасения» [Там же]: *вино*, ассоциирующееся с кровью Иисуса, мелькает в стеклянной *прорехе*, намекая на возможность искупления.

Расстановка предметов и тел в этом поэтическом «натюрморте» такова, что делает его полижанровым: это и «маленький завтрак», о чем говорит сервированный стол, и «рыбный натюрморт», и вариация на тему «суеты сует», на что намекают не только осколки стекла, но и подкисший арбуз, а также включенная в композицию женская фигура во сне, в состоянии «временной смерти», как и *рыба* с содранной шкурой, представляющая «обнаженную натуру». Кроме того, в этом «полотне» можно различить пейзажность (в образе занимающейся над морем зари) и портретность (в изображении женской фигуры), сведенные к натюрмортной формуле, что соответствует тому этапу в развитии натюрморта как живописного жанра, когда, по словам Б. Виппера, «природа наполнилась своей внутренней жизнью, стала излучать настроения, а человек, постепенно и незаметно, из властелина и главного героя, из символа жизни превратился в крошечную точку на горизонте» [Виппер 2005: 53], а в нашем случае – в вопросительный знак. На подобных картинах человек порой превращается в натюрморт, а натюрморт становится портретом интерьера [Там же: 75], и это справедливо и для «Натюрморта» Е. Бершина.

«В произведениях живописи, где все дается лишь одновременно, в сосуществовании, можно изобразить только один момент действия, и надо поэтому выбирать момент наиболее значимый, из которого бы становились понятными и предыдущие и последующие моменты», – пишет Г.Э. Лессинг [Лессинг 1953: 445], отмечая, что преимуществом поэзии в этом случае является, «во-первых, свобода распространять свое описание как на то, что предшествует, так и на то, что следует за изображением определенного единственного момента, который только и может быть показан живописцем; <...> во-вторых, вытекающая отсюда возможность изобразить то, о чем художник заставляет нас лишь догадываться» [Там же: 464]. В рассматриваемом тексте поэт пользуется своим преимуществом, но реализует его не в формате последовательного описания, а посредством чисто живописных приемов, при этом основываясь на значениях слов. Это позволяет нам увидеть то, что предшествовало изображаемому моменту (*выпитая до дна*, до оставшегося на мели ломтика лимона, чашка когда-то была *полной*, *кувшин* – *целым*, потом на нем появилась *прореха*, а еще позже кто-то раздавил появившееся на полу *стекло*, возможно, этот кто-то и *не доел* плод любви и страсти), и заглянуть в будущее, которое кроется в *вопросительном*

знаке, предполагающем некий ответ. Пользуясь определением Б. Виппера, подчеркнем: и поэт, и художник «не изображают предметы, но изображают предметами» [Виппер 2005: 60], натюрморт при этом превращается в «особое художественное миропонимание» [Там же], «предметную живопись» [Там же: 66].

«Натюрморт – эти простые, часто бесполезные в жизни сочетания предметов, которые сам художник волен устанавливать, – свободен от всякой “литературности” и “психологии”», – утверждает Б. Виппер [Там же: 71], замечая, что «как изображение предмета пассивного, только ощущаемого – натюрморт дает наиболее чистое, свободное от случайных ассоциаций содержание» [Там же: 28]. Парадокс в том, что литературный, поэтический «натюрморт» использует «говорящую форму» этого живописного жанра для построения отнюдь не случайных ассоциаций, не столько артикулированных, сколько ощущаемых в словесном представлении предметно-пространственного строя, не привнося в изображаемое «литературности», а задействуя соответствующие кросс-коды.

Стоит сказать несколько слов и о заглавии, как представляется, отражающем суть изображенного на «картине». Как известно, первоначально жанр обозначался пришедшим из голландского термином *stilleven* ‘тихая жизнь’, который потом уступил место англ. *still-life* ‘застывшая жизнь’ и *nature morte* ‘мертвая натура’. Содержательно «Натюрморт» Е. Бершина – это «тихая, застывшая жизнь», именно она является предметом изображения; формально же – это именно *nature morte*, но в приводимом Б. Виппером понимании Дидро – не термин, а оборот речи, скорее, *nature brute*: «Не мертвая натура, а сырая, необработанная, которую еще надо приправить фантазией, поэтическим вымыслом, экспрессией» [Виппер 2005: 47].

Нужно заменить, что натюрмортами современные поэты в своих опытах с поэтико-живописной кросс-кодировкой не ограничиваются. Так, И. Жданов осваивает жанр портрета. Если его «Портрет отца» – это поэтическая «фотография», *гладь фотоснимка в резной рамке равнины*, то собственно «Портрет» конкурирует в изобразительности именно с живописью:

Ты можешь быть русой и вечной,
когда перед зеркалом вдруг
ты вскрикнешь от боли сердечной
и выронишь гребень из рук.

Так в сумерки смотрят на ветви,
в неясное их колдовство,

чтоб кожей почувствовать ветер,
прохладную кожу его.

Так голые смотрят деревья
на листья, упавшие в пруд.
Туда их, наверно, поверья
листвы отшумевшей зовут.

И гребень, и зеркало рядом,
и рядом деревья и пруд,
и, что-то скрывая за взглядом,
глаза твои тайной живут.

Ты падаешь в зеркало, в чистый,
в его неразгаданный лоск.
На дне его ил серебристый,
как лед размягченный, как воск.

Искрящийся ветер, перешитый,
навек перестроенный в храм.
И вечный покой Афродиты
незримо присутствует там.

Улыбка ее и смущенье
твое озаряют лицо,
и светится там, в отдаленье,
с дрожащего пальца кольцо.

Ты вспомнишь: ты чья-то невеста,
чужая в столь зыбком краю.
И красное марево жеста
окутает руку твою.

В этом тексте явно различимы русая девушка, стоящая у окна и смотрящаяся в зеркало, протягивающая руку навстречу своему отражению, отражающиеся в зеркале деревья, трепещущие на ветру и роняющие за окном в пруд листья, как девушка роняет гребень... И все же, при всей живописности, текст И. Жданова изобилует «литературностью», два кода сосуществуют в нем, пересекаясь лишь в ключевых зримо представимых образах.

В. Аристов, по образному выражению Д. Бавильского, «экспериментирует с самой формой поэтического высказывания, крошит её или же вспарывает, как Лючио Фонтана вспарывал свои холсты» [Бавильский 2017: 7], уподобляя поэзию фрескам с их множественными деформациями, лакунами [Там же: 13]: «Ощущение осыпающейся фрески как раз и возникает из этой чреды сгустков, словно бы оставшихся от целого и непрерывного регулярного поэтического текста» [Там же: 18]. У В. Аристова техника фрески – живописи по сырой штукатурке – обозначается многочисленными упоминаниями *влажности* и *размытости*, он к тому же делает размытым изображение, размывает ритм стиха, достаточно часто у него встречаются и указания на ту или иную *фреску*: *неживые люди переходят в фреску / незаметно / подзвучены живыми голосами / подкрашены ненатуральной кровью*, в том числе и через использование прецедентных имен: *Я помню светлые подтеки / На обоях в комнатах / Хоть Лоренцетти хоть Мартини / шедевр братается с шедевром...*

В двух последних случаях, возможно, правильнее было бы говорить о конвергенции или внутренней междискурсивной мобильности. В то время как в подробно рассмотренном выше «Натюрморте» Е. Бершина мы действительно имеем дело с поэтической «живописью». Иными словами, в этом тексте ощущаются признаки реального межсемиотического трансфера, к которым В.В. Фещенко и С.Ю. Бочавер относят континуальность «импортирующего» и «экспортирующего» культурных пространств, открытость и гетерогенность кодирующих систем и подвижность и проницаемость поликодовой системы [Фещенко, Бочавер 2016: 18]. Используемые в этом тексте кросс-коды – *цвет* и *цветообозначения* (эксплицитные и имплицитные знания о мире); *колорит* и *обозначаемые эпитетами оттенки цветов и их сочетания*; *предметы, предметно-пространственный строй и предметные имена и языковые композиционные приемы и компаративные образные средства* – позволяют использовать изобразительные преимущества сразу двух знаковых систем, придавая живописи «литературность», а поэзии – живописность. И при этом вербальное «живописание» осуществляется по собственно живописным законам, реализуя потенциал другой формы знаковости.

Литература

Алексеев С.С. О колорите. М., 1974. URL: <http://art-cons.ru/node/5201> (дата обращения 29.07.2018).

- Бавильский Д.* Портрет неизвестного. О стихах Владимира Аристова // Аристов В. Открытые двory. Стихотворения, эссе. М., 2017.
- Vinper Б.* Проблема и развитие натюрморта. СПб., 2005. URL: <https://studfiles.net/preview/6306733/> (дата обращения 29.07.2018).
- Демьянков В.З.* Языковые техники «трансфера знаний» // Лингвистика и семиотика культурных трансферов: методы, принципы, технологии. Коллективная монография. М., 2016.
- Егорова А.* Как смотреть голландский натюрморт (опубл. 15.02.2017). URL: <https://arzamas.academy/mag/406-naturemorte> (дата обращения 29.07.2018).
- Лессинг Г.Э.* Лаокоон, или о границах живописи и поэзии / Пер. Е. Эдельсона / ред. Н.Н. Кузнецова // Лессинг Г.Э. Избранные произведения. М., 1953.
- Лотман Ю.М.* Избранные статьи в трех томах. Т. I: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн, 1992.
- Северская О.И.* Язык поэтической школы: социолект, идиолект, идиостиль. М., 2007.
- Северская О.И.* Взаимодействие семиотических кодов: поэтический текст как фокус эмпатии // Язык как медиатор между знанием и искусством. Сб. докладов Международного научного семинара / Учреждение Российской академии наук Ин-т рус. языка им. В.В. Виноградова РАН. Отв. ред. Н.А. Фатеева. М., 2009.
- Северская О.И.* Поэтическая фотография // Русская речь, 2011, № 4.
- Соколова О.В.* Гибридизация дискурсов: теоретические основания и типы междискурсивного взаимодействия // Лингвистика и семиотика культурных трансферов: методы, принципы, технологии. Коллективная монография. М., 2016.
- Фещенко В.В., Бочавер С.Ю.* Теория культурных трансферов: от перевода доведения – через cultural studies – к теоретической лингвистике // Лингвистика и семиотика культурных трансферов: методы, принципы, технологии. Коллективная монография. М., 2016.
- Якобсон Р.О.* Лингвистика и поэтика // Структурализм: за и против. М., 1975.

Ю.А. Дрейзис

Интерпретация чуской литературной традиции в современной китайской поэзии¹

Линия преемственности традиционной культуры южных регионов Древнего Китая, как и, скажем, даосская философия, остаётся важной для китайской поэзии в XX–XXI вв., хотя породившее их царство Чу было завоёвано Цинь Шихуаном (258–210 до н.э.) ещё в 223 г. до н.э. Победа над самобытным соперником ознаменовала начало новой эпохи управления, когда центристремительные силы начали преобладать в Китае над силами центробежными.

На протяжении всей истории существования Чу (XI–III вв. до н.э.) противопоставляло себя собственно китайским (хуаским) государственным образованиям. Тем не менее царство Чу прочно вошло в круг китайской цивилизации благодаря очень тесным культурным связям с другими царствами, к которым можно отнести прежде всего иероглифическую письменность, полученную с севера [Bin 2016: 97]. Археологические находки свидетельствуют, что культура Чу изначально была близка культуре других политических образований в бассейне Хуанхэ, но по мере поглощения новых территорий с их предположительно австроазиатским [Norman, Mei 1976] или тайским субстратом [Behr 2006; 2009] чуская культура трансформировалась в оригинальную смесь собственно китайских и инородных элементов.

Одним из величайших достижений этой культуры стала антология «Чуские строфы» (*Чу цы* 楚辭), продолжающая сохранять свою актуальность и сегодня. Самобытность культуры царства Чу проявлялась не только в поэзии: археологические материалы и литературные памятники свидетельствуют о том, что период от V в. до н.э. и до объединения Китая Цинь Шихуаном был для чуского царства временем подлинного расцвета. Чуские ремесленники владели искусством бронзового литья по выплавляемым моделям, изготовления бронзовых зеркал,

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14–28–00130) в Институте языкознания РАН.

многослойного лака, тонкого шёлка и других изделий, выполненных с большим мастерством и творческой фантазией. Общим мотивом чуского искусства было обильное изображение дикой природы и мистических животных: змей, драконов, фениксов, тигров и змееподобных существ. Кроме того, культура Чу была известна своей близостью к шаманизму. Правящий дом поддерживал даосизм и местный шаманизм, дополняя их некоторыми конфуцианскими ритуалами [林庆彰 2008: 176].

Ранние правители династии Хань (206 до н.э.–220 н.э.) романтизировали чускую культуру и стимулировали новый интерес к её элементам, таким как «Чуские строфы». «Чуские строфы» наряду с *Ши цзином* 诗经, или «Книгой песен», – это два главных источника, из которых нам вообще известна древнекитайская поэзия. Канонизация обоих текстов относится к ханьскому времени. Один из главных самостоятельных элементов в составе «Чуских строф» – это поэма «Скорбь отлучённого» (*Ли сао* 离骚), которая устойчиво приписывается полупоэтичному поэту Цюй Юаню 屈原 (ок. 340–278 до н.э.). По содержанию поэма отчётливо распадается на две части. В первой части подробно рассказывается о судьбе лирического субъекта с развёрнутым и предельно эмоциональным изложением его мыслей и переживаний, касающихся надлежащего устройства государства, несостоятельности правящего режима, будущности страны и несправедливости по отношению к самому герою. Во второй части *Ли сао* воспроизводится картина фантастического путешествия. На колеснице, запряжённой драконами и фениксами, герой совершает странствие-полёт через небесное пространство, поднимается к звёздам, посещает недоступные простому смертному места, встречается с божествами и духами [Кравцова 2008: 328–330].

В тексте поэмы неоднократно упоминаются ароматные растения и травы (в отдельных частях «Чуских строф» количество ботанических наименований доходит до сорока), которые служат символом чистоты, незапятнанности перед лицом морального разложения [Ming Di 2018]. Другое часто упоминаемое понятие – это «красота» (*мэй* 美); порой оно служит синонимом «добродетели», порой описывает прекрасное божество, самого поэта или его правителя. Человек, обладающий целостностью и добродетелью, – образ и благородного вассала, и достойного сюзерена. В последующей традиции «ароматные травы» (*сян цао* 香草) стали символами добродетели и морали, а также их носителя – идеального подданного. В сочетании со словом «человек прекрасных душевных качеств» (*мэй жэнь* 美人) «ароматные травы» стали названием целой традиции поэтических текстов, опирающихся на стандарт *Ли сао*, которые продолжают создаваться и в XX в.

Моральный эталон текстов формата *сян цао мэи жэнь* в современности подразумевает скорее амбиции поэтические, чем политические, как это было во времена Цюй Юаня. В стихотворении «Ночь 19 декабря» (*Шиэрюэ шицзю е* 十二月十九夜, 1936) шанхайского поэта Фэймина 废名 (1901–1967) понятие *мэй жэнь* становится атрибутом мышления (*сысян*) как такового (мышление – это *мэй жэнь*). Оно соединяется с образами природной гармонии: звёздного неба, бегущей воды, моря, леса, птиц и цветов. Влияние чуской традиции оказывается заметнее всего в пейзажной лирике. Сюжет путешествия с подробным описанием пересекаемых естественных ландшафтов сначала становится общепринятой сюжетной канвой произведений на даосско-религиозные темы («путешествие к бессмертным»), затем – произведений с отшельническими мотивами, а позднее – и чисто пейзажной лирики. Этот сюжет предопределил характер отношений китайцев к дикой природе как к источнику бессмертия [Кравцова 2008: 328–330].

Мы можем проследить влияние чуской традиции на «пасторальную» поэзию Тао Юаньмина 陶渊明 (365–427); пейзажные зарисовки Мэн Хаожаня 孟浩然 (689/691–740), происходившего из мест, где исторически располагалось чуское царство; особенности выстраивания субъекта у Ли Бо 李白 (701–762) и глубокий печальный голос Ду Фу 杜甫 (712–770). В XX–XXI вв. поэты используют этот богатый репертуар, чтобы отстроить новые формы существования «пасторальной» поэзии (*тяньюань ши* 田园诗). У хубэйского поэта Чжан Чжихао 张执浩 (1965–) обращение к традиционным образам луговых первоцветов служит формальным поводом для апелляции к концептосфере Цюй Юаня с его ощущением первоизданной связи природы и поэтического («Полевые цветы плоскогорья» *Гаююань шан дэ ехуа*, 2003):

я хотел бы хоть с кем-то взрастить это множество маленьких
милых созданий

я хотел бы отнести свою родину
сюда, и здесь – я хотел бы

стать тем, кто никогда не смутится несправедливостью мира,
как этот неизвестно откуда текущий ручей

я хотел бы обливаться слезами весь день, тем самым давая

понять, как

я хотел бы, правда, хотел бы

стать старым отцом с разметавшимися волосами¹

¹ Здесь и далее перевод мой – Ю.Д.

我愿意为任何人生养如此众多的小美女
 我愿意将我的祖国搬迁到
 这里，在这里，我愿意
 做一个永不愤世嫉俗的人
 像那条来历不明的小溪
 我愿意终日涕泪横流，以此表达
 我愿意，我真的愿意
 做一个披头散发的老父亲

Образ «старого отца» напоминает о тексте «Отец-рыбак» (*Юйфу* 渔父), также входящем в свод «Чуские строфы». Поэма совпадает по названию с одной из глав канонического даосского текста «Чжуан-цзы» 庄子, хотя сам автор выступает в ней в качестве ученика. Мифо-поэтическая традиция южного, чуского, шаманизма, отражённая в Чжуан-цзы [Robinet 1983], в современности смыкается с образом «Божественного земледельца» Шэнь-нуна 神农, которого часто изображают простоволосым, собирающим дикие лекарственные травы для приготовления целебных отваров. Полевые цветы превращаются у Чжан Чжихао в антропоморфных «красавиц» («милых созданий»), которых он хотел бы «родить и воспитать» – здесь сквозит ирония над союзом с божественной девой, который составлял фокус внимания в традиции чуской поэзии и наследовавшей ей традиции ханьской оды-фу 赋.

У Ван Цзясиня 王家新 (1957–) эта традиция оживает через создание «антипасторальной» поэзии, как в известном стихотворении 2004 г. «Пастораль» (*Тяньюань ши* 田园诗), где он обыгрывает конвенции классических китайских стихов «о садах и полях». Ван Цзясинь заимствует оптику Цюй Юаня, смешивающую реальность и фантазию, и претворяет её в монтажную технику, при помощи которой он наслаивает природные и метаприродные образы. И Ван Цзясинь, и Чжан Чжихао – поэты из Хубэя, с земель царства Чу. Их современник Чжан Цзао 张枣 (1962–2010), выходец из южной провинции Хунань, также входившей в традиционный чуский ареал, напрямую идентифицируется как «поэт Чу» в воспоминаниях о нём других китайских поэтов [Ming Di 2018]. Тексты Чжан Цзао насыщены прямыми отсылками к культуре древнего Чу, в частности шаманским ритуалам и общению с духами и/или гадалками:

я хочу соединиться со сновидением кого-то из прошлого
 дождевыми каплями разделить вместе вольное облако
 дворцовые покои являются как весенняя ночь, подсказывают
 как рыба в винной пене

чтобы тот, с кем я пью, тоже вздымал и ронял мою руку,
 моя рука ищет ощупью жилку, пустая беседка вдыхает
 и выпускает облака и туманы
 в моём сне я вижу – иной сон

我要衔接过去一个人的梦
 纷纷雨滴同享的一朵闲云
 宫殿春夜般生，酒沫鱼样跃
 让那个对饮的，也举落我的手
 我的手扪脉，空亭吐纳云雾
 我的梦正梦见另一个梦呢

Это цитата из стихотворения с характерным названием «Чуский ван видит во сне дождь» (*Чу ван мэн юй* 楚王梦雨). В традиции образ дождя связан с идеей любовного свидания. В «Оде божественной деве» (*Шэньньюй фу* 神女赋) Сун Юя (IV в. до н.э.) рассказывается, как некий правитель-ван гулял с поэтом у гор Колдуньи (названных так за сходство с иероглифом у 巫 «колдунья»), рядом с развалинами древней башни, над которой реяли и громоздились тучи, принимая причудливые формы. Там поэт поведал правителю, что один из прежних владык повстречал в этом месте божественную деву, которая предложила ему разделить ложе. Когда государь уходил, на прощание она сказала ему: «Я живу на солнечном склоне. Утром я – ранняя туча, вечером я иду дождем, и всё время, каждое утро и каждый вечер, буду у подножия Солнечной Башни». Правитель построил в её честь дворец. У Чжан Цзао история, связанная с любовным свиданием, и её первоначальная образность очищаются от позднейших наслоений поэтических иносказаний, которые придают истории моральное измерение (у Ли Бо, например, она становится метафорой «безудержного блуда» государя, от которого страдает простой народ) [Алексеев 1999]. Чжан Цзао возвращает ей изначальную эротическую составляющую и соединяет с позднейшей традицией объективирующей субъективации: в классическом стихе сам субъект включается в ряд наблюдаемых естественных объектов – объективирующий взгляд автора уравнивает предметы и сознание субъекта как серию равнозначных единиц [Owen 1981: 46]. Поэтический субъект манифестирует своё присутствие, но при этом ускользает от чёткой локализации в мировоззренческом поле; он сюрреалистичен и предельно конкретен одновременно.

Современные авторы выстраивают линию преемственности сюрреалистического от Цюй Юаня – для них он становится пионером пара-

доксального, первооткрывателем мифов и народных песен, моделью и источником вдохновения (в т.ч. для ранних модернистов, как, например, для Вэнь Идо 闻一多 (1899–1946)). Образ поэта, выключенного из мира повседневного и устремлённого в область вечности, был крайне важен для традиции даосской поэзии, но продолжает оставаться актуальным и в настоящее время. В стихотворении поэта Хуан Биня 黄斌 (1968–) «Летом прохожу через деревья» (*Сятянь го шуму* 夏天走过树木) ирреальность проникает в пейзажную зарисовку через размышление над свойствами китайских иероглифических знаков (своего рода «метапастораль»)¹:

проходишь мимо деревьев летом: густая листва, обилие ветвей – сложность, созидательная активность, сила здорового, крепкого роста, возбужающая, как человеческая жажда или честолюбие.

и когда я вспоминаю о слове «дерево», оно кажется мне мирным и кратким.

я думаю, «дерево» наверняка было написано поздней осенью.

когда оно появилось впервые, это несомненно было прекрасно, это было потрясающе.

«дерево» четырёх сезонов, возможно остановившееся в это мгновение, словно обретшее нечто. людьми обобщённое в пиктографическом знаке. дерево, с его корнями, ветвями, стволом, и этот иероглиф, который невозможно было слепить за утро или за вечер, в нём узнавание неразложимости дерева, это обобщение, но не абстракция, в нём красота минимального.

благодаря этому знаку «дерево» существует не только в природе, но и в человеческом восприятии, в человеческой культуре.

и потом «дерево» открывается людьми как бумага, полная иероглифов, содержащих «дерево». как они встречают друг друга?

在夏天走过树木，树木枝繁叶茂，是复杂的，积极的，那茁壮生长的力，就像人的野心和欲望在膨胀。

而当我在行走中想到“木”字，觉得这个字是多么安静和简约呀。

我想，木，肯定是在深秋被人写出来的。

当这个字第一次出现，那个场景一定很美且让人震撼。

四季之木，可能在那一刻都停了下来，像获得了什么。它们被人，用一个象形的字，概括了。木，有根有枝有干，这个字，也不是一朝一

¹ Здесь также важно, что сам иероглиф «Чу» 楚 состоит из двух графем – одна со значением «нога/идти», а другая – «лес» («дерево» + «дерево»).

夕就可以造出来的，其中有人对树整体的认识，是概括的，但又不抽象，还有简约的美。

因了这个字，木不仅在自然中存在，在人心中存在，还在人文中存在了。木后来又被人发明为纸，纸上随处可见带木的字，它们是一种什么样的相遇呢？

Ещё один способ создания поэтического высказывания, пересекающего границу реальности, – описание перемещения в пространстве, причём пространстве полуреальном, как в фантазийном мире Цюй Юаня. Согласно легенде, Цюй Юань был дважды сослан правителем, и поэтому опыт скитальчества составляет важную часть пространства приписываемых ему текстов. Для современного Китая с имеющимся колоссальными объёмом внутренней миграции идея «странствия» играет заметную роль в поэзии. В стихотворении 2014 г. хубэйского поэта Ли Хэна 黎衡 (1986–), который сейчас живёт в Гуанчжоу, она реализуется через описание «метафорического пейзажа» в «Посёлке-которого-нет» (уючжэнь 乌有镇):

у осени десять форм
 сменяющих друг друга в ветре с юга на север
 у осени сорок имён
 их произносят пальмы, *туны* и тополя
 в такой же пасмурный день, чёрные тучи это
 водопады, свисающие с небес
 вышедшие из воды, чтобы вернуться в воду
 внезапно небо, как круглое решето,
 начинает вытряхивать зёрна света, и вечноголодные
 пешеходы медленно-медленно движутся под ним

秋天有十一种形状
 在从南到北的风中交换
 秋天有四十个名字
 由棕榈、梧桐或白杨说出
 一样的阴天，乌云是
 悬挂在天上的瀑布
 从水中来的，要回到水中
 忽而，天空像环形的筛子
 抖出了阳光的谷粒，永远
 饥饿的行人在天空下慢慢地走

Попытка исчислить все возможные имена осени напоминает о чуско-ханьской страсти к каталогизации и бесконечных перечислениях ханьской оды-фу и протофу в формате *сао* 騷 [Connery 2001: 231]¹. Ритмико-мелодические особенности этих форматов не могут быть в должной мере воссозданы в современном стихе, поэтому связь с чуской традицией устанавливается через взаимодействие с содержательными аспектами «Чуских строф», концептосферой *Ли сао*, наследием даосизма и особенностями (само)идентификации автора. Эксперименты братьев Юань (гунъаньская школа 公安派 XVI–XVII вв.) стали основой свободного стиха XX в. В постмаоистской поэзии 1970-х гг. поэты, воспринимающие себя как часть «южной традиции», оказались изолированы от широкого контекста и едва ли присутствовали в качестве заметных фигур «третьего поколения» (*дисань дай* 第三代) 1980–90-х гг., но стали более заметны в XXI в., несмотря на сохраняющуюся маргинализованность их творчества. Единственным исключением может считаться Люй Юань 綠原 (1922–2009), который бежал в Чунцин во время Второй мировой войны, а затем провел большую часть жизни в Пекине в качестве переводчика и редактора. В 1998 г. его стихи были отмечены международной премией Стружского поэтического фестиваля (Македония).

В последние годы именно благодаря продвижению региональной поэзии усилиями Ли Шаоцзюня 李少君 (1967–), бывшего редактора проекта «Chutzpah!», и Тань Кэсю 譚克修 (1971–) поэты из Хубэя, Хунани, Чжэцзяна, Аньхуэя и Гуандуна получают в Китае общенациональное признание. В рамках этой широкой «южной традиции» определённно выделяется поэзия из Хубэя, которая объединяется не только географией, но наследует традиции чуской литературы, философии, перво-бытной религии, фольклора и мифологии.

¹ Несмотря на то что текст *Ли сао* элегичен, среди позднейших текстов, имитирующих его стилистику, немало панегириков, почему в западной синологии и принято использовать термин «ода» для перевода китайского термина *фу*. В особенности знамениты «оды столицам», восхваляющие столичные города и пропагандирующие господствующие идеи. Кроме них, представлены мистические произведения с даосскими мотивами, «эротические» оды, оды-путешествия, аллегорические воспевания и т.п. Предшественниками этих текстов служат произведения *сао* – основа «Чуских строф».

Литература

Алексеев В.М. Ли Бо. В переводе В.М. Алексеева. СПб., 1999.

Кравцова М.Е. Ли сао // Духовная культура Китая. В 5 т. Т. 3. Литература. Язык и письменность. М., 2008.

Behr W. Dialects, diachrony, diglossia or all three? Tomb text glimpses into the language(s) of Chǔ // TTW-3, Zürich, 26.–29.VI.2009, “Genius loci”, 2009.

Behr W. Some Chǔ 楚 words in early Chinese literature // EACL-4. Budapest, 2006.

Bin D. Regional Differences of Writing in the Warring States Period // Journal of Confucian Philosophy and Culture, 25, 2016.

Norman J., Mei Tsu-lin. The Austroasiatics in Ancient South China: Some Lexical Evidence // Monumenta Serica, 32, 1976.

Ming Di. Vanilla Beauty and the Immortal Phoenix. Exploring the Poetry of Chu in China // Poetry International, 22 January 2018. URL: https://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/cou_article/item/28919/Vanilla-beauty-and-the-immortal-Phoenix-exploring-the-poetry-of-Chu-in-China

Owen S. Wang Wei: The Artifice of Simplicity // The Great Age of Chinese Poetry: The High T'ang. New Haven, 1981.

Robinet L. Chuang tzu et le taoïsme «religieux» // JCP, 11, 1983.

林庆彰 Линь Цинчжан. 中国学术思想研究辑刊-二编 Чжунго сюэшу сысян яньцзю цзикань – эр бянь (Исследования китайской научной мысли. Т. 2). 新北市 Синьбэй, 2008.

М.А. Тарасова

Текст и контекст: зачем одному стихотворению несколько переводов?¹

Всякая поэтическая традиция стремится к диалогу с поэтическими практиками других народов. Ведь только так она может что-то дать поэтикам на других языках получить что-то для себя. Такая связь внутри мирового поэтического пространства осуществляется через перевод. В этом отношении очень показательным является тот факт, что в определенные периоды тот или иной автор становится очень популярным среди переводчиков. То есть поэтическая традиция, чувствуя недостаток в определенном языковом выражении, средствах, поэтических приемах, прибегает к переводу стихов автора, для которого характерен определенный, необходимый именно сейчас подход к языку. В то же время каждый поэт, принимаясь за перевод какого-либо поэтического текста, интерпретирует его в рамках своей поэтической и языковой стратегии. Таким образом возникает ряд переводов одного и того же текста, а по факту несколько разных и вполне самостоятельных текстов, которые, однако, находятся во взаимодействии друг с другом и, конечно, с текстом оригинала.

Но зачем несколько раз переводить одно и то же стихотворение? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сначала понять, а для чего вообще делается перевод поэзии, вернее, для кого. Самый очевидный ответ тут будет – для читателя. Ведь часто задачей перевода объявляется обогащение принимающей культуры, ознакомление читателя с иностранными авторами и конкретными текстами.

Но всегда ли это так? Когда мы говорим о переводе, например, современной китайской поэзии, антология которой вышла недавно («Китайская поэзия сегодня» (2017)), это во многом так. Но если речь пойдет о переводе современной англоязычной поэзии, тоже очень популярной среди переводчиков, то этот факт уже не столь очевиден. Ведь перевод делается не для читателя вообще, а для читателя, который интересуется

¹ Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 14-28-00130) в Институте языкознания РАН.

современной поэзией: вряд ли он не знает английского языка (т.е. он может прочитать стихотворение в оригинале и, скорее всего, это делает), но вполне может не владеть китайским. Тогда вопрос о том, для кого делается перевод, например, англоязычной¹ поэзии, остается открытым.

И тут возникает совсем уж неочевидный ответ – для самого переводчика. И действительно, переводчик сам выбирает автора и текст, с которым он будет работать (времена социального заказа давно прошли). Соответственно, поэт-переводчик выбирает то, что важно для него, он выбирает того автора, с которым хочет вступить в диалог, чьи поэтические открытия нужны ему. Фактически, поэтический перевод – это акт совместного творчества поэта-переводчика и поэта – автора оригинала.

И тут мы приближаемся к ответу на вопрос: зачем же одному стихотворению несколько переводов? Если бы мы решили, что перевод делается исключительно для читателя, то и правда, незачем. Чтобы познакомиться с автором или конкретным текстом, достаточно иметь один хороший перевод. Но мы знаем, что у одного стихотворения часто бывает несколько и хороших, и очень хороших, и отличных переводов. И что самое интересное, сделаны эти переводы бывают почти одновременно: в одну эпоху, а иногда и десятилетие, и даже год. Например, переводов «Ворона» Э. По насчитывается порядка 24, конечно, сделаны они в разные эпохи: сразу после появления стихотворения, в Серебряном веке, в советское время, в начале XXI в., что вполне оправдано, так как великие тексты должны переводиться в разные исторические эпохи [Азарова 2012: 201], каждое поколение переводчиков, переосмысляя такой текст, переводит его заново, исходя из современного состояния языка перевода.

Однако самые известные переводы «Ворона» сделаны в Серебряном веке. Это говорит о двух вещах: многие поэты начала XX в. хотели «поработать» с американским автором, они нуждались в его поэтических открытиях, поэзия Э. По была близка поэтике символизма (несколько известных переводов принадлежат ведущим представителям этого течения – Д. Мережковскому, В. Брюсову, К. Бальмонту).

В феномене повторного перевода («переперевода»²) значим фактор, получивший особую актуальность в последнее десятилетие, когда

¹ Примерно то же самое можно сказать про поэзии других европейских народов, но случай англоязычной поэзии все же самый очевидный.

² Сам термин «переперевод», использованный Н.М. Азаровой для обозначения феномена повторного перевода уже переведенного поэтического текста, входящего в философское произведение [Азарова 2018], весьма точно отражает современную ситуацию наличия нескольких переводов одного стихотворения.

благодаря интернету распространение информации стало мгновенным, а виртуальное общение позволило расширить социальные контакты. Один перевод как бы влечет за собой последующие переводы. Конечно, многое зависит от текста оригинала – это должен быть культурно значимый и часто лингвистически сложный текст, такой, чтобы привлечь сразу несколько поэтов-переводчиков. В таком случае появление «первого» (сетевого) перевода воспринимается как вызов, и последующие переводы возникают один за другим. При этом переводы могут создаваться параллельно (т.е. поэты-переводчики не знают, что переводят один и тот же текст) и последовательно (поэты-переводчики порождают тексты как ответы конкретному образцу). Естественно, такое взаимодействие переводчиков стало возможно только в эпоху тотального виртуального общения, когда выложенный в сеть перевод может стать объектом многостраничного обсуждения и тут же породить несколько «ответных» переводов. Например, в октябре 2004 г. в своем блоге в ЖЖ известный современный поэт и переводчик Дмитрий Кузьмин поместил свой перевод стихотворения Э.Э. Каммингса «anyone lived in a pretty how town» (у Кузьмина «кто-то жил в миленьком городе вот»), вокруг которого сразу развернулась дискуссия¹. Практически сразу текст Кузьмина начинают сравнивать с переводом В. Британишского, который достаточно много переводил Каммингса. Интересно, что в этом же году отдельным изданием вышли избранные стихотворения Э.Э. Каммингса в переводе В. Британишского (до этого они публиковались в журнале «Иностранная литература» и в антологии «Современная американская поэзия»). И хоть Кузьмин утверждает, что не знаком с переводом данного стихотворения, опубликованным в 1975 г., этот факт не столь важен, так как именно перевод Кузьмина становится триггером переводческой активности вокруг данного текста. В рамках дискуссии возникает еще два варианта перевода этого стихотворения, авторов которых не удалось установить. Отметим, что первый из них был опубликован под показательным заголовком «заразили»). Приведем для наглядности первые строфы данных переводов:

<i>anyone lived in a pretty how town</i>	<i>кто-то жил в миленьком городе вот</i>
<i>(with up so floating many bells down)</i>	<i>(где звон вверх-вниз колокольный плывет)</i>
<i>spring summer autumn winter</i>	<i>зимой и весной летом и осенью</i>
<i>he sang his didn't he danced his did.</i>	<i>он пел свое да плясал свое нет</i>
	(Пер. Д. Кузьмина)

¹ <https://dkuzmin.livejournal.com/128314.html>

заразили)

*в маленьком городе жил-был не он любой жил в маленьком таком городке
(внизу колокольня что вверх (где звон колокольчиков всплывает вниз)
дивный звон) весной летом осенью зимой
весна лето осень зима один пел свое нет танцевал свое да
чем не был то пел что был (Пер. ex_santime)
танцевал*

(Пер. roгна)

Однако особого внимания заслуживает переосмысление текста, названное «личное отношение к оригиналу», от поэта и переводчика Ники Скандиаки, появившееся также в рамках данной дискуссии:

я помню чудное мгновенье:

*кто-то
жил*

в милом каком городке, под колокола, плывущие над, весну и лето, осень и зиму он пел свое нет, плясал свое так. Люди и взрослые (мал и мал) плевали на то, как он поживал, сеяли нету, сжинали то же, – луна-солнце-звезды-дождь. дети поняли (но не все, и те подросли над, и все поросло: зима весна лето осень)...

Появление такого переосмысления весьма показательно, потому что можно сколько угодно рассуждать о плюсах и минусах того или иного переводческого решения, сопоставляя переводы с оригиналом и друг с другом, однако в конечном счете любой перевод – это именно личное отношение к оригиналу. Скандиака, которая много переводила современную англоязычную поэзию на русский и современную русскоязычную поэзию на английский, своим текстом показала не отношение к конкретному оригиналу, а отношение к переводу как деятельности и к критике перевода. Бессмысленно создавать статьи, критикующие чьи-то переводы (как это было принято в советском переводоведении), бессмысленно тратить время на многостраничные дискуссии в интернете, ведь мы сравниваем два разных понимания текста, две разных его интерпретации, которые очень во многом определяются личностью переводчика.

Любой поэтический текст подразумевает неоднозначность интерпретации. В случае сложной поэзии Каммингса это особенно актуально.

Поэтические тексты, созданные в результате языкового новаторства, в большей или меньшей степени характеризуются затрудненностью декодирования и множественностью интерпретаций. Можно привести несколько примеров лингвистических работ, посвященных вышеупомянутому стихотворению Каммингса [Steinmann 1978; Clark, 1969; Mack-soud 1968; Squier 1966; Nixon 1974; Cowley 1973], каждая из которых демонстрирует свое понимание текста. Вполне логично, что стихотворение, имеющее несколько интерпретаций, имеет и несколько переводов, которые также по-разному интерпретируют данный текст. Каждый профессиональный перевод реализует определенную лингвистическую стратегию, обусловленную свойствами языковой личности и психологическими особенностями поэта-переводчика, определяющими его деятельность, в частности механизмами понимания, оценки и принятия решений во взаимодействии человека и художественного текста, а также возможностями языка перевода.

Так, здесь мы видим, как конкретный текст, имея несколько возникших независимо друг от друга переводов, буквально за считанные дни обрастает новыми переводами и интерпретациями. То есть мы можем наблюдать и параллельное и последовательное возникновение переводов. Отметим, что, кроме упомянутых в данной дискуссии переводов Британишского и С. Бойченко, есть еще переводы Я. Пробштейна, М. Степановой (а также ряд совсем любительских текстов), практически все они были выполнены в 1990-х – 2000-х гг.¹

Подобный феномен, когда наличие нескольких переводов одного стихотворения является поводом для создания новых переводов, интересен тем, что позволяет по-новому взглянуть на акт перевода. Перевод начинает восприниматься как саморазвивающаяся система, внутри которой заложена способность к «пере»созданию новых текстов.

Таким образом, вопрос «зачем» в отношении нескольких переводов одного стихотворения не имеет смысла и должен быть заменен на вопрос «почему». И здесь, как мы видим, примерно одинаковые роли играют и сам текст, и контекст: только культурно значимое поэтическое произведение может иметь несколько переводов, к контексту же отнесем как раз сами переводы, которые своим наличием побуждают поэтов-переводчиков создавать новые переводы или «перепереводы» стихотворения.

Рассмотрим еще несколько интересных особенностей, связанных с повторным переводом поэтического текста. Мы уже отмечали, что

¹ Исключение составляет перевод Британишского, опубликованный в 1975 г.

поэзия Каммингса весьма популярна среди современных поэтов-переводчиков, соответственно, многие его стихи имеют несколько переводов. Совершенно особый случай – стихотворение «in time of daffodils (who know...», имеющее несколько переводов, два из которых принадлежат одному автору – С. Бойченко. Приведем первую строфу оригинала и ее переводы:

*in time of daffodils (who know
the goal of living is to grow)
forgetting why, remember how*

*во времена нарциссов (так!
примерь навыворот этот фрак)
забыв зачем, но помня как*

*во времена нарциссов (кто их знает
ну может тот кто эти вещи поливает)
забывчивые помнят лучше всех*

Выше мы говорили о повторном переводе как свойстве перевода поэзии – т.е. один вариант перевода может «заразить» других поэтов-переводчиков и породить несколько переводов. Однако в рассматриваемом случае перед нами переперевод как таковой – Бойченко дважды переводит стихотворение, при этом переводы имеют разный размер, рифму, отличаются в языковом выражении и т.д. – перед нами два разных поэтических текста. Это еще раз подтверждает наш тезис о переводе как о совместном творчестве переводчика и автора оригинала.

Хотя необходимо отметить, что явление такого переперевода достаточно редкое: здесь нет заразности и соревновательности перевода вслед за другим поэтом, здесь есть переосмысление оригинала современным поэтом-переводчиком, для которого два варианта перевода – это два равноценных текста, представляющих оригинал каждый по-своему или даже в совокупности. Здесь также заложено представление о читателе как о соавторе перевода – каждый сможет выбрать для себя тот вариант стихотворения Каммингса, который ему ближе, при этом важную роль играет параллельная публикация с английским оригиналом. Перед нами тройственные отношения – оригинал и два его перевода, взаимодействуя друг с другом, рожают русскоязычный образ этого стихотворения – для каждого читателя свой. Рассчитывали на такой эффект Бойченко, не вполне понятно. Однако именно так воспринимаются публикации оригинала и нескольких его переводов, которые не сопоставляются по принципу удачности / неудачности, а целиком формируют образ стихотворения в сознании читателя. Впрочем, это должна быть именно параллельная публикация оригинала и

нескольких переводов, а не последовательное появление переводов, как в рассмотренной выше дискуссии, где на первый план выходит соревновательность, стремление выявить «лучший» перевод, передающееся читателю.

Переходной формой по принципу «в споре рождается истина» является коллективный перевод, который стал распространяться в начале XXI в., когда особую популярность приобрели переводческие семинары, на которых совместно работают поэты – авторы оригиналов и их русские переводчики или же только переводчики. Результатом их деятельности может быть как ряд переводов одного текста, что, однако, встречается нечасто, или один перевод, который будет результатом многочисленных перепереводов. Несколько подобных примеров можно найти в антологии «Разница во времени» (2010), созданной по итогам работы X мастерской Современной школы перевода (г. Самара), под некоторыми текстами, опубликованными в ней, обозначено, что авторство переводов коллективное, или же перечислен ряд (до 5) фамилий.

В таких коллективных переводах реализуется противоположная стратегия, когда текст, заинтересовавший сразу несколько переводчиков, не становится объектом дискуссии, а переводы «конкурентов» – объектом критики, но объектом взаимодействия, межличностного, межкультурного и межъязыкового. Однако в обоих случаях перевод можно рассматривать как явление интертекста – диалога между текстами: оригинала и перевода, двумя или более переводами одного оригинального текста (или переводчиками в ходе совместной работы) – и как явление метатекста – способа авторской саморефлексии. Таким образом, мысль Н.А. Фатеевой об «интертекстуальности как способе генезиса собственного поэтического текста и постулирования собственного поэтического “Я” через сложную систему отношений <...> с текстами других авторов (т.е. других поэтических “Я”) [Фатеева 2000: 20] в связи с переводом поэзии приобретает новый смысл. Поэт-переводчик так или иначе реализует свое поэтическое «Я» в переводе, но посредством диалога с другими поэтическими «Я»: автором оригинала, а также авторами ранее сделанных переводов этого же текста или другими переводчиками в процессе совместной работы.

Так, в начале XXI в. перевод становится не просто средством ознакомления читателя с каким-либо текстом или автором, а значимым культурным явлением, дающим возможность межкультурного взаимодействия (между оригиналом и переводом, а также стоящими за ними традициями, языками), а также взаимодействия между переводчиками, создающими ряд конкурирующих переводов или один коллектив-

ный перевод. Оригинал, имеющий несколько переводов (авторов перевода), попадает в арсенал переводчиков и становится способом установления коммуникации между переводными текстами (или авторами одного текста). Возникают тернарные отношения, в которых перевод выступает инструментом культурного трансфера.

Литература

- Азарова Н.М.* Комментарий переводчика. Поэзия Ду Фу и стратегия современного поэтического перевода // Ду Фу. Проект Наталии Азаровой. М., 2012.
- Азарова Н.М.* Философский текст В. Соловьева как место бытования своих и чужих текстов // Сибирский филологический журнал. 2018 (в печати).
- Китайская поэзия сегодня. М., 2017.
- Разница во времени: сб. пер. из соврем. амер. поэзии (по результатам работы семинара-мастерской молодых переводчиков Самар. обл. «Современная школа перевода»). Самара, 2010.
- Фатеева Н.А.* Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов. М., 2000.
- Clark D.R.* Cummings' 'anyone' and 'noone' // *Arizona Quarterly*. (25). 1969.
- Cowley M.* Cummings: One Man Alone // *Yale Review*. (62). 1973.
- Macksoud S.J.* Anyone's How Town: Interpretation as Rhetorical Discipline // *Speech Monographs*. (35). 1968.
- Nixon N.* A Reading of 'anyone lived in a pretty how town' // *Language of Poems*. (3). 1974.
- Squier Ch.L.* Cummings' Anyone Lived In A Pretty How Town // *Explicator*. 1966. №37.
- Steinmann T.* Semantic Rhythm in 'Anyone Lived In A Pretty How Town' // *Concerning Poetry*. (11). 1978.

Образы языка и зигзаги дискурса

Сборник научных статей
к 70-летию В.З. Демьянкова

научное издание

*ответственный редактор В.В. Фещенко
оформление Илья Бернштейн*

Подписано в печать 28.07.2018. Формат 60×90/16.
Гарнитура PTSerif, PTSans.
Печ. л. 35,25. Тираж 500 экз. Заказ №

Издательство «Культурная Революция»
адрес Москва, ул. Новосущёвская, д. 19б
тел. (499) 973 1662
e-mail editor@kultrev.ru